

мастера современной прозы

ФРАНСУА МОРИАК





МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1971

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ • ФРАНЦИЯ

Редакционная коллегия:

Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Марков Д. Ф.,
Мицкевич Б. П., Мулярчик А. С., Палиевский П. В.,
Самарин Р. М. (председатель), Челышев Е. П.

ФРАНСУА МОРИАК

ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ

РОМАН

ФАРИСЕЙКА

РОМАН

МАРТЫШКА

ПОВЕСТЬ

ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН

РОМАН

Составитель М. Ваксмахер
Предисловие Л. Андреева
Редактор Е. Бабун

✓

ЧИСТИЛИЩЕ ФРАНСУА МОРИАКА

На первый взгляд Франсуа Мориак кажется писателем старомодным. На первый взгляд его искусство может показаться анахронизмом — особенно для тех читателей, для которых поучения церковного катехизиса давно не являются нормами поведения, а церковные врата — вратами истины. Как будто и сам Мориак не торопится рассеять такое первое впечатление. В 1969 году, за год до смерти престарелого писателя (родился он в 1885 году), вышел последний его роман — «Подросток былых времен». Книга эта — в который раз! — переносит нас в глушь юго-запада Франции, в ланды Атлантического побережья, где пески и сосны, переносит в те времена, когда даже в барских домах не было электричества. Из книги в книгу, вот уже более полувека, почти что на протяжении всего нашего столетия — ибо первые произведения Франсуа Мориака (сборник стихотворений «Руки, для молитвы сложенные», роман «Дитя под бременем цепей») были опубликованы до первой мировой войны, — кочуют те же идеи и те же образы, все те же окрестности города Бордо, все те же времена: действие абсолютного большинства произведений Франсуа Мориака происходит в конце прошлого — начале нашего века, очень редко перебираясь за грань первой мировой войны. Может показаться, что Мориак-художник не замечает нашего века, словно бы проходит мимо социально-политических и прочих изменений, которые сделали мир совсем иным. «Мое творчество точно приклеено к прошлому», — признавался он сам.

В искусстве Мориака были перемены, и можно говорить об эволюции писателя. Более того, известно его собственное признание о том, как волнующе жить в «эпоху, которая вся в движении». При всем том художественное творчество Мориака являет собой нечто совершенно исключительное верностью некоторым слагаемым, которые были найдены очень давно, в самом начале пути. И ничто, никакие перемены не выбили из воздвигавшегося Мориаком сооружения эти основополагающие элементы.

Не выбили потому, что Мориак созданному его фантазией миру поручил особую роль. Эта роль — исцеление душ, их очищение. Мир Мориака — чистилище, предназначенное для его современников, для людей XX века. Устойчивость сооружения, воздвигнутого Мориаком, объясняется и тем, что его проект основывался на простой исходной идее,

па убеждении в том, что «не будет ничего, если не будет бога». Мысль Мориака двигалась по глубочайшей, прорытой в течение долгих столетий колее, с которой трудно свернуть, коль скоро в нее попал: «Бог не может ни обмануться, ни нас обмануть».

К этому предрасполагало Мориака его происхождение и воспитание, о чем можно узнать из романа «Подросток былых времен». Роман этот автобиографичен, как — в той или иной степени — все произведения Мориака. Как и сам Мориак, подросток из его последнего романа родился в Бордо, в богатой семье, владевшей лесами и виноградниками, в семье, благочестивой до крайности. Из консервативной среды Мориак (и его герой) вырвался к книгам, к искусству, вырвался в 1906 году в Париж, где учился, но недолго, ибо почти тотчас же стал писать, стал сочинять стихи и романы. Вскоре к Мориаку пришла литературная известность, во всяком случае, после выхода в 1922 году романа «Поцелуй прокаженному».

Мориак не вполне расстался с породившей и воспитавшей его средой. Он бережно пронес через всю свою долгую жизнь образ родного края — места действия почти всех его произведений. «Никакая драма не может начать свою жизнь в моем воображении, если я не помещу ее в тех местах, где я жил всегда». Мориак больше жил в Париже, чем в Бордо. Тем не менее изображал он почти исключительно Бордо и его окрестности, а в Париж его герои лишь порой выезжают, ненадолго там задерживаясь.

Мориак написал даже специальную книгу «Провинция», противопоставляя провинцию Парижу. Нельзя сказать, что Мориак идеализировал провинцию (среди его определений — такие, например: «Париж — это населенное одиночество, провинциальный город — это пустыня без одиночества... Провинция лицемерна. Париж навязывает однообразие»). Однако только в провинции, в родных краях юго-запада Франции Мориак видел необходимый материал для создания его особого мира, его «чистилища». Не забудем, что подросток из последнего романа именно у родных речек, под родными соснами ощущает прикосновение вечности. «Художник, который не связан с провинцией, не связан с человеческим», — писал Мориак. И условием этой связи была сама незыблемость ланд («Ланды не изменились, они не изменятся никогда»).

Был бы совершенно неправильным вывод, что Мориак просто-напросто двигался по инерции в колее католицизма. «Колея» во многом определила направление его мысли, отбор проблем, подход к ним, склад мышления. Но Мориак не был бы большим современным писателем, если бы в XX веке он просто пристроился к католической традиции.

Видно, как судорожно хватается за бога герой последнего романа

Мориака. Но только потому, что «вера в вечную жизнь — единственная опора».

Вот тут-то и начинается приоткрываться актуальность Франсуа Мориака, органическая связь его на первый взгляд архаического творчества с самыми болезненными вопросами современности. Мориак создает «чистилище», пытается привести своих героев и своих читателей к богу прежде всего потому, что ему ясно — бог умер. Мориак принадлежит к числу тех европейских писателей, которые с огромной силой показали современное буржуазное общество как общество совершенно определенной стадии — стадии после «смерти бога», когда вера утрачена и, соответственно, полагают они, утрачены объективные основы нравственности, утрачена возможность точного определения, что есть добро, что есть зло.

Мориак менее всего кажется «модерным» писателем. Но надо признать, что он примыкает к числу тех наиновейших властителей дум зарубежной интеллигенции XX века, которые зафиксировали, в общем, достоверный факт: в мире буржуазном не найдена подходящая богу замена, нет иного критерия нравственных оценок, кроме деляческих, чисто меркантильных. Поэтому-то мир этот абсурден, человек остался наедине с бессмысленным миром. Само собой разумеется, в глаза бросается разница между Мориаком и, например, писателями-экзистенциалистами, которые решают ту же проблему вне социальных категорий. Тогда как для Мориака факт потери веры подтверждается безусловным, с его точки зрения, фактом вырождения официального представителя бога на земле, церкви. Если опять же обратиться к последнему роману как произведению итоговому, то ясно видно, что поиски героя прежде всего отмежевываются от церкви: «Мне ненавистна их религия. И все-таки я не могу обойтись без бога».

Мориак был всегда одним из самых резких критиков церкви и официальной религии. Критиком тем более убедительным, что он-то писал о религии со знанием дела, критиковал «их религию», так сказать, изнутри. Он создавал поэтому парадоксальные ситуации. Так, в романе «Клубок змей» католик Мориак устами героя-атеиста осмеивает его благочестивую жену. И не удивительно — религия превратилась для этой особы в «кучу ханжеских привычек». Критика церкви — это один из тех каналов, по которым в искусство Мориака поступали социально конкретные образы. Образы фарисеев символизируют утрату смысла и содержания религии, господство опустошенных ритуалов, бесчеловечных запретов. Таких образов становилось все больше в произведениях Мориака. Следовательно, размежевание с абсурдностью официальной религии приобретало все большее значение для писателя. Именно в одном из более поздних романов создан классический для Мориака об-

раз «доброй христианки». Это — Брижит Пиан из романа «Фарисейка», святоша, считающая себя посланницей бога на земле и постоянно творящая зло во имя веры.

Другим каналом проникновения социально конкретных образов в творчество Мориака было осуждение им буржуазного общества как общества абсурдного, утратившего веру. Правда, в той мере, в какой Мориак мыслил абстрактно-абсолютными категориями, он не давал социальной конкретизации той картины, которую рисовал в своих произведениях. Можно сказать, что так было в первый период творчества Мориака, ибо именно с социальной конкретизацией изображаемого мира связана эволюция писателя. Тогда Мориак изображал «пустыню», из книги в книгу изображал одиноких людей, которые никак не могут найти друг друга, пробиться к сердцу, к душе даже своих близких. Он повторял одну и ту же ситуацию, которая, казалось бы, гарантировала душевную близость героев. Конфликт происходит в семье, драма завязывается меж супругами, меж родителями и детьми. Но тем очевиднее, что это драма разобщенности, отчуждения, абсолютного одиночества.

Обратимся к самому известному из ранних романов Мориака — «Поцелуй прокаженному». Трагедия героя заложена в самой сути этого образа, в тех качествах героя, которые даны автором изначально как обязательное условие решаемой им психологической задачи. Молодой человек по имени Жан Пелудейр остро ощущает, что живет в «пустыне», болезненно воспринимает свое ничтожество, свою никчемность, свою физическую непривлекательность, свое абсолютное одиночество. Потом появляется Нозми — возникает семья. Но брак не соединяет — наоборот, разъединяет героев. В следующем романе, «Прародительница» (1923), смертельными врагами оказываются все три персонажа, состоящие в самом тесном родстве: враждуют жена героя романа и свекровь, а до женитьбы и после скорой смерти жены сражаются друг с другом герой романа и его мать.

В 1925 году появился роман, само название которого обозначало суть человеческих взаимоотношений по Мориаку, — «Пустыня любви». Все здесь одиноки, все разобщены. Супруга любит доктора, но эта любовь только раздражает его. Доктора ненавидит любимая им дочь. Доктор привязан к Мари, но Мари испытывает всего лишь раздражение и скуку, встречаясь с доктором. Антипатию она чувствует и к своему содержателю, который, естественно, к ней равнодушен. Мари увлеклась в свою очередь сыном доктора, молодым Реймоном, как, впрочем, и он Мари, но и здесь сразу же возникло раздражение, злость и страдание. Нельзя сказать, что Франсуа Мориак как-то конкретизирует, социально и исторически уточняет такого рода разобщенность людей,

населяющих созданную им «пустыню». Напротив, он придает ей смысл абсолютного закона, извечного правила.

В романе «Огненный поток» (1923) действие происходит в первые послевоенные годы. Герой романа Даниель — участник войны. Только по этой справке мы догадываемся, что время действия этого романа отличается от обычного времени действия произведений Мориака. Война совершенно ничего здесь не меняет: в этом романе те же проблемы и то же их решение, что и в книгах о предвоенной эпохе. Такая вневременная концепция Мориака влекла за собой заметное однообразие его искусства, определила повторяемость ситуаций и персонажей, их иллюстративность. Все герои раннего Мориака, в общем-то, на одно лицо (что было признано самим писателем). Все они намертво прикреплены к той схеме, из которой исходит писатель. Все то, что происходит в его произведениях, имеет обязательный общий смысл, общее господствует, оно навязчиво и подминает под себя индивидуальное, случайное, специфическое.

Первое произведение Мориака, основанное на гораздо более четкой и последовательной социальной конкретизации мира людей разобщенных, — «Тереза Дескейру» (1927). Этот роман можно считать поэтому началом нового этапа в творчестве Мориака, к которому относятся самые знаменитые его произведения, реалистические романы. Нельзя сказать, что до «Терезы Дескейру» семейные драмы героев Мориака вовсе не получали социального объяснения. Герои «Поцелуя прокаженному» страдают и потому, что их брак — сделка, при заключении которой сердца во внимание не принимались, имелся в виду только деловой расчет. Невесте было сказано одно: от ферм, от баранов, принадлежащих Пеллусейрам, не отказываются. Ей показалось это убедительным. Не любовь соединила и героев «Прародительницы».

Мориак не раз писал, что буржуазные семьи, в том числе и семьи буржуа на его родине, создаются не по любви, а ради сохранения собственности, для продолжения рода и укрепления хозяйства. Таким образом, семья вобрала в себя главное для Мориака качество буржуазного общества: торжество алчности, принцип собственности, который заменил все прочие, стал на место бога.

До «Терезы Дескейру» этот вывод писателя, однако, имел второстепенное значение в той системе мотивировок, которую он предлагал читателю. В «Терезе Дескейру» самым главным стало то, что буржуазная семья, именно буржуазная семья, — клетка. Образ семьи-клетки — еще один из постоянных у Мориака содержательных, наглядных символических образов. Так — семья-клетка — можно было бы назвать роман о несчастной Терезе, несчастной потому, что однажды она вышла замуж за буржуа, и тем самым попала в клетку.

Вспоминая, как она решилась на самый ужасный с точки зрения общепринятой морали поступок — на убийство, да еще на убийство мужа, Тереза не может обнаружить ничего исключительного. Убийцей сделали ее не чрезвычайные обстоятельства, и она не герой детективного романа, то есть человек из ряда воп выходящий. Наоборот, поступок Терезы — следствие нормального состояния «заострение» нормального положения женщины в тюрьме буржуазного общества, в клетке-семье. Нормальное состояние противостоит — вот Тереза ищет спасения и наконец пытается выпутаться с помощью такого противостественного способа, как убийство. Рассказ о самом этом поступке занимает немного места, все прочее — это рассказ о «нормальной» жизни в клетке, с мужем, олицетворяющим буржуазный мир своим ничтожеством, своей безликостью.

Не мир вообще, а буржуазный мир абсурден — это более чем ясно из романа «Тереза Дескейру». Вот вывод, к которому пришел Мориак к концу 20-х годов. Буржуазные, церковные идеалы — нуль, поэтому героиня оказалась в нравственном вакууме, в безнравственном мире. Тереза не виновна, она не чувствует себя виновной. Вина вне ее, вина лежит на том абсурдном мире, в котором нет смысла, есть только алчность.

С максимальной для себя силой царство алчности Мориак нарисовал в романе «Клубок змей»* (1932). Родственники собрались у постели героя этого романа, с нетерпением ожидая его смерти. Герой «сам» об этом рассказывает, составляя письмо к своей жене. Повествование от первого лица — обычный прием Мориака, всегда придававшего своим романам характер исповеди и тем самым привлекавшего внимание к внутренней жизни героя, к его душе и, конечно, к его покаянию. Не случайно в романе «Клубок змей» и соотнесение двух времен, прошлого и настоящего. Как и некоторые другие произведения Мориака, этот роман начинается не с прошлого, а с настоящего, с конечного пункта истории. Затем восстанавливается прошлое, а в конце писатель вновь обращается к настоящему. Благодаря этому все до крайности драматизируется, герои все переживают заново в свете уже известного финала. Даже самые незначительные происшествия в романе «Тереза Дескейру» воспринимаются в перспективе конечной трагедии, с которой автор и начинает рассказ о Терезе. Прошлое героя романа «Клубок змей» также освещено особым светом, источником которого является поставленная в самое начало развязка. В этом романе нет убийств. Но убийство здесь возможно, его нетрудно себе представить, знакомясь с

* Точнее, «Клубок гадюк» («Le noeud de vipères»). Герои романа действительно не просто змей, они — гадюки.

людьми, которые во имя наживы готовы на все. Клубок змей — это семья, члены которой объединены не любовью, а ненавистью. Семья в «Клубке змей» лишена нравственного принципа, как и семья Бернара. Единственным богом стало золото — так люди превратились в «гадюк».

Абсурдно общество алчных, а не общество вообще, свидетельствует и роман «Дорога в никуда» (1939). Этот роман тоже начинается с эпизода, вскрывающего суть взаимоотношений и связей в буржуазном обществе. Леопи Костадо буквально грабит дружественную семью Револю, воспользовавшись тяжелым положением, в которое эта семья попадает. Именно в этом романе Мориак устами поэта Пьера Костадо заявляет: «Мы живем в таком мире, где сущность всего — деньги».

Такого рода умозаключения лежат в основе реализма Мориака. Реализм и католицизм? Как же сумел Мориак соединить и примирить такие понятия?

Отбиваясь от нападков справа, со стороны правоверных католиков и церковников, Мориак прибегал к самому крайнему доводу: он напоминал, что является романистом. Он предпочитал называть себя «католиком, пишущим романы», а не «католическим писателем». Искусство для Мориака было областью, у которой свои законы и свои задачи.

И первой из этих задач, по мнению Мориака, было и остается служение правде путем познания человека. Мориак не симпатизировал «чистому искусству». «У меня есть что сказать людям», — напоминал он. Отвечая мэтру «антиромана» Робб-Гриисе, Мориак писал, что тот «всласть посмеется, если я попрошу его определить терминологию моего личного словаря: добро, зло, совесть, внутренняя жизнь, ответственность, вера, надежда, нечистота, прощение. Он пожимает плечами: все это кончено, все это умерло. Вот в этом-то он ошибается...» Мориак полагал, что «кризис романа... связан с концепцией человека. Злые нападки на психологический роман проистекают из того представления, которое современное поколение составило себе о человеке и которое совершенно негативно... Роман потерял свой объект, вот самое главное...»

В своей литературной теории, в теории романа Мориак придерживался принципа правды как принципа основополагающего. В специальной работе «Роман» (1928) условием правдивости Мориак считал согласование «французского порядка и русской сложности». Не забывая об опыте французского реализма, о примере Бальзака и других классиков XIX века, Мориак особенно настаивал на необходимости модернизации романа по тем образцам, которые сумели показать сложность человеческой души. К этим образцам Мориак относил в первую очередь Достоевского («Достоевский на всех нас, или почти на всех, глубоко повлиял»), Марселя Пруста. Мориак все же считал пример Бальзака устаревшим, потому что изображение «групп» предполагал заменить изо-

бражением отдельных индивидуумов. «Целым миром» Мориак считал мир человеческой души и звал погрузиться в ее тайники, «оставляя героям нелогичность, неопределенность, сложность». Вкус к нелогичности и тайникам души появился у Мориака вследствие прямого влияния Марселя Пруста. Пруст сопровождал Мориака всю его жизнь. «Мое восхищение остается столь же живым», — писал он через 30 лет после встреч с Прустом, после возникшей к началу 20-х годов и вскоре прерванной смертью Пруста дружбы.

Однако, восхищаясь Прустом, Мориак позволял себе сомневаться в методе Пруста. Сомнения питались тем, что в «Поисках утраченного времени» «лица персонажей стираются», а главное, тем, что метод Пруста влечет за собой, как казалось Мориаку, распад человеческой личности, разложение и утрату нравственной перспективы. Мир Пруста тоже мир «без бога», и это пугало Мориака.

Когда мы говорим «писатель-католик», мы ожидаем в произведениях встречи со святыми, однако, читая Мориака, мы оказываемся в мире если не дьяволов, то грешников. Мориак постоянно повторял мысль, особенно для него дорогую: ангел не стоит внимания, внимания стоит только грешник. Не иконы надо любить, говорил Мориак, не легендарных героев, на крестах распятых, а человека, обычного человека, обычная жизнь которого и есть тяжкий крест. «Не грехи отдаляют нас от бога, наоборот, с их помощью, по их вине и благодаря им мы с ним объединяемся». К богу ведет правда, повторял Мориак, правда же горька, правда «на уровне человека» есть открытие его греховности, изображение «пустыни любви», семейных «клеток», гадюк, сплетающихся в мерзкие клубки.

И в свое «чистилище» Франсуа Мориак допускал только людей, пришедших из ада земного. Людей обыкновенных, то бишь грешных, страдающих, ибо только страсти и страдания делают человека человеком, по глубочайшему убеждению писателя.

Так Мориак стал выдающимся мастером изображения страданий, воссоздания души как живого, подвижного, противоречивого организма. Определить с точностью, что в «темных сплетениях» безусловно зло, а что несомненно добро, затруднительно. Любовь незаметно перерастает в ненависть, а добрые порывы дают дурные последствия; «тайники» сердец все время источают злобу, которая у героев Мориака часто бывает ответом на любовь. Нередко эти герои кажутся словно скроенными по модели, созданной Достоевским, модели «человека из подполья» с его болезненным самолюбием, патологической злобой.

Только грешники истинно значительны среди героев Мориака. Значительна Тереза Дескейру — и незначительна дочь ее Мари (в романе «Конец ночи», 1935) как раз потому, что она слишком заурядна, чтобы

грешить, чтобы страдать и искать. Жених Мари Жорж потому внезапно и предпочел мать дочери, что Тереза — необходимость, условие подлинного существования. Мари способна обеспечить лишь мещанское самодовольство, Тереза же вызывает тревогу, не дает успокоиться. Жоржу необходимо то ощущение собственного несовершенства, которое возбуждает в нем Тереза Дескейру.

Франсуа Мориак предпочитает грешников и потому, конечно, что только путь грешников поучителен, только грешник способен покаяться, только страдающий может научиться любить. Нравственный вакуум буржуазного общества Мориак попытался заполнить любовью и богом. «Бог есть любовь», — писал Мориак. Страсти — это жизнь, это правда. Но страсти в мире без бога ведут к распутству, к разврату. Людей растленных, развратников Мориак рисовал нередко. Таков герой романа «Огненный поток» Даниель. Разврат царит в романе «Зло» (1924). До пределов нравственного надения доходит герой романа «Черные ангелы» (1936) Габриель Градер.

Разнуздавшиеся страсти Франсуа Мориак умиряет с помощью любви. Именно любви поручает писатель спасение душ. С того момента, как в его мире появляется любовь, земной ад и превращается в чистилище, в преддверие неземного рая.

Ад семейной жизни в «Поцелуе прокаженному» кончается в тот момент, когда в сердце Ноэми пробуждается любовь к мужу. Это случилось накануне смерти Жана, но смерть не отняла его у жены. Напротив, у его смертного одра она вдруг ощутила его живым и прекрасным. В такой же момент, в момент смерти, Фердинан в «Прародительнице» как бы впервые увидел свою жену, она как бы обрела вторую жизнь благодаря вдруг вспыхнувшей любви.

Любовь создает человека; не только любящий, но и любимый преобразуется. Достаточно было Мари в романе «Пустыня любви» взглянуть на Реймона, как в нем пробудился иной человек, прояснилась его подлинная суть. Правда, полагал Мориак, суть эту определить не просто, она уклончива и меняется в зависимости от того, кто бросает на человека свой отблеск, кто смотрит на него. Возможно, что такое понимание человека сложилось у Мориака под влиянием Пруста. Но в отличие от Пруста суть героев Мориака — всегда нечто полноценное, всегда царство добра.

Самый поразительный пример внезапного обновления героев Мориака — это роман «Клубок змей». Чем сильнее ненависть, чем более она объяснена сущностью алчного общества, тем удивительнее столь успешное приобщение «гадюк» к царству любви. Правда, в романе «Клубок змей» особенно очевидно, что Мориак видит в любви единственный противовес алчности. Рассказчик и жену свою потому так ненавидит,

что она лишила его единственной ценности, — любви, а тем самым оставила на его долю только алчность, превратив его в «лавочника». Вместо чувства люди подают камень — так нередко происходит в романах Мориака, и такое надругательство над потребностью любви вызывает ненависть. Где любовь, там и бог — герой «Клубка змей», «гадюка», вмиг превращается в «единственного, истинно религиозного человека».

Ощувив за своей спиной «высшую силу», Мориак действовал с соответствующей решительностью. Даже в Габриеле Градере из «Черных ангелов» совершенно внезапно просыпаются «нетронутые силы добра и любви». В конце романа Габриель умирает, но «убийца улыбался счастливой улыбкой». Умирает он в доме священника, который к тому же в свою очередь трансформируется, узкий ригоризм уступает в нем место терпимости и человечности.

С письма Габриеля Градера священнику начинается роман «Черные ангелы», с письма-исповеди, за которой следуют эпизоды ужасного прошлого этого человека. «Черные ангелы» доказывают, что нередкий у Мориака прием возвращения в прошлое и обрамление прошлого настоящим выполняют еще одну важную задачу: изображаемый им мир оказывается миром с обязательным конечным выводом. Мориак не позволяет надеяться на иной исход, нежели приобщение к любви, к богу. Свобода его героев, как бы растленны они ни были, ограничена этим жестким кольцом настоящего времени. В прошлом — ад, грехи, муки, в настоящем — чистилище.

Была еще одна причина, которая заставляла Мориака так цепко держаться бога и любви. Мы не полностью привели выше слова Пьера Костадо о сути буржуазного общества. Он сказал следующее: «Мы живем в таком мире, где сущность всего — деньги. Мать права: взбунтоваться против нее — значит восстать против всего нашего мира, против его образа жизни... Остается только... Революция... или бог...»

Слова эти, показавшиеся участникам разговора «такими огромными, непомерными», — действительно «огромные» слова, самое глубокое и смелое обобщение Франсуа Мориака. Итак: или алчное общество, или революция, или бог. Мориак отверг алчное общество — в этом его сила. Мориак предпочел бога революции — в этом его слабость.

Отвращение к алчному обществу превратило Мориака в то, что неопределенно именуется «левым католиком». Политическая левизна Мориака была стимулирована очень давно, на пороге XX века, делом Дрейфуса. Эта левизна привела Мориака в 30-е годы в ряды тех, кто осудил Франко и фашистский переворот в Испании. Мориак порицал другого крупного писателя-католика — Поля Клоделя — за то, что тот открыл врата неба только убитым в Испании фашистам, считая антифашистов недостойными. «Со времени войны в Испании, — говорил Мо-

риак,— я более не могу отвлечься от тех условий человеческого существования, которые навязаны одним людям другими людьми». Мориак считал, что в то время он и Мартен дю Гар «действовали параллельно в плане социальном и политическом».

Но особенно славная страница в политической биографии Мориака — годы Сопротивления. Мориак был противником режима Виши, он как мог сражался против оккупантов, публиковал свои статьи в подпольной прессе, в «Леттр франсэз». «Я ни на один день не покидал оккупированную Францию», — с гордостью вспоминал Мориак. Сопротивление окончательно превратило Мориака в политического публициста. Сборник его статей «Черная тетрадь» принес ему известность писателя-патриота и антифашиста. Тогда именно, в годы войны, Мориак произнес свои знаменитые слова: «Только рабочие в массе своей верны поруганной Франции». Призывая верить в человека, Мориак звал к сопротивлению, звал поверить во Францию, звал к объединению, протягивал руку коммунистам, с большой симпатией говорил о борющемся против фашизма Советском Союзе. Он припоминал, что уже в детстве в его сознание вошла идея «спасительного франко-русского союза», единственной гарантии от порабощения Франции ее врагами.

Свою роль в такой позиции Мориака сыграл генерал де Голль. Позже, в большой книге «Де Голль» (1964), Мориак писал: «...исключая период между 1914 и 1925 годами, я был против национализма, или, точнее говоря, против националистов, тех, кого дело Дрейфуса навсегда обесчестило в моем представлении. Оппозиция фашизму, национал-социализму стала борьбой против обожествленной нации. Но вот каким был вклад голлизма для меня: каждая нация... существует со своими особенными качествами... Де Голль понял, что чем более Франция существует как нация, тем глубже ее воздействие на мир...»

С той поры и до своей смерти Мориак — откровенный приверженец Шарля де Голля, не устававший комментировать политическую историю IV и V Республик. Правда, восторженные оценки де Голля, рожденные испытаниями войны («Де Голль — спаситель»), уступили затем место более спокойным, даже критическим оценкам. Но де Голль остался надеждой Мориака, его политическим кумиром. «За де Голлем миллионы французов, но у него нет писателей, и я счастлив, что он может рассчитывать на мой голос».

Война, Сопротивление вынудили Мориака сознаться: «Политика нас берет силой, мы все погружены в нее, хотим мы того или нет». На самом закате своей жизни он признавал, что «политика — это последняя моя связь с миром». Удивительное дело: очень старый и очень знаменитый Фрапсуа Мориак до последних своих дней не бросал перо политического публициста, печатал свои еженедельные «блокноты» в «Фи-

гаро литерер». Он явно не мог существовать вне этого еженедельного общения с читателем, вне этой хроники.

Мы все время называем Мориака ромапистом. Сборники стихов (почти все написанные в начальный период) не сделали его поэтом, как новеллистом не сделали его несколько новелл, как не сделали его драматургом четыре пьесы и один киносценарий. Но публицистом Мориак стал, он был романистом и публицистом.

Романы Мориака и его публицистика — это не просто разные области творчества писателя. Вторая из них целиком поглотила Мориака-политика. Среди больших писателей нашего века Мориак занимает положение исключительное и потому, что он не надеялся и не пытался воссоединить искусство и политику, не решился допустить политическую проблематику в сферу художественного творчества. Мартен дю Гар, рядом с которым Мориак себя ставил в 30-е годы, превратил семейную хронику «Тибо» в социально-политический роман. А Мориак именно в те годы, когда он осознал значение политики и социальных условий человеческого существования, в годы войны в Испании, принял решение отказаться от «вымыслов», от художественного творчества.

К счастью, он этого обещания не выполнил, но в 40—60-е годы написал романов значительно меньше, чем в 10—30-е годы. По художественному творчеству Мориака последних десятилетий видно, как сузило возможности большого художника категорическое отделение искусства от социально-политической проблематики, которая, как казалось Мориаку, не затрагивала главного — человеческой души. Мориак, помимо своей воли, учинил над собой строгий суд, сказав: «Я всегда думал только о своей собственной истории, как будто история Франции меня не касалась». Суд этот слишком строг — история Франции живо касалась его, как подтверждает его публицистика. Но именно публицистика. Правда, Мориак учел характер эпохи, сказав: революция или бог, представив революцию, хотя и не принятую им, возможной альтернативой алчного общества. Он даже пробовал ввести в давно сложившуюся и очень устойчивую систему своих образов образы людей из мира революционной практики, образы социалистов. Однако эти образы не разрывают систему понятий Мориака, они подключаются им к этой системе, получая соответствующее ей тенденциозное освещение.

В романе «Судьбы» (1928), как и в некоторых других романах, семья буржуа расплзается, дети, внуки выбирают разные пути, порой совсем не тот путь, которым шел Жан Карнак, преуспевающий бордоский буржуа, глава семьи. Его внук Пьер уже совсем иной. Он безразличен к собственности, он бескорыстен, он социалист. Но ему недостает терпимости, человечности, Пьер — фанатик и ригорист. Социалист у Мо-

риака очень смахивает на попа. И кончает он тем, что уходит в монастырь.

«Красный» из повести «Мартышка» (1951) похож на социалиста из «Судеб», хотя эти произведения отделены более чем 20 годами, и какими годами! Конечно, «красный» учитель парисован с большей симпатией. Его дом, его семья — это противоположность той «клетке», в которой томится несчастный мальчик, придавленный злобой и ненавистью. Как обычно у Мориака, в «Мартышке» семья без любви порождает ненависть и не дает человеку возможность выявить свою суть. У «красного» другое дело: в его доме книги, там царит атмосфера больших задач, которыми живет учитель. При первом же соприкосновении с ним мальчик преображается, в нем начинает пробуждаться его подлинная суть. Однако учитель — ригорист вроде Пьера, не видит главного — души ребенка, ибо ушел в абстракции, в идеи классовой борьбы. Так замыкается круг, гибнет живая душа и остается одна надежда — на мир загробный.

Мориак не затруднял себя аргументацией, предпочитая бога революции. Его аргументация недалеко ушла от времен Адама и Евы, от их всем известного жизненного опыта, показавшего греховность человеческой натуры. «Зачем говорить о каких-то преобразованиях, о революциях? — рассуждает Пьер Костадо. — Все это ни к чему не приведет: голод и жажда справедливости столкнутся с голодом и жаждой совсем иного рода, самыми гнусными вожделениями».

Однако Мориак не смог нас убедить в том, что Пьер сделал правильный выбор. Невозможно поверить, что «гадюк» удастся переделать так просто, как предлагает это Мориак. Излечить общество от алчности, перестроить целую общественную систему, на собственности основанную, невозможно с помощью той божьей благодати, которую время от времени Мориак ниспосылает грешникам, попавшим в его «чистилище». Таким образом, писатель впадает в реформизм, который явно вступает в противоречие с его собственными верными выводами, с его реализмом. Мориак это противоречие не разрешал, а усугублял. Поэтому-то он нередко себя самого опровергает. Совсем немного времени прошло после издания романа, который так убедительно доказал необходимость разрыва Терезы Дескейру с мужем, необходимость освобождения из «клетки», как появился роман «Конец ночи», старательно подводивший к совсем иному выводу, к возвращению в семью. По этому роману, прошло 15 лет с того времени, когда Тереза такой ценой заплатила за свою свободу. И что же? Она живет в Париже, но свобода ей явно ни к чему. К тому же возникло и углубляется чувство вины, перерастающее в манию преследования.

Вслед за «Клубком змей» появился роман «Тайна Фронтенак» (1933). Только что была «клетка», были «гадюки», а тут дружная семья. Правда,

Жан-Луи, один из молодых и строптивых Фронтенаков, не желает коптить деньги, хочет заниматься философией. Но тут же он соглашается стать хозяином: «Я понимаю тех, кто заботится об интересах семьи». Ив, начинающий поэт (образ, очевидно, автобиографический), тоже как будто далек от идеалов собственнического мира. Но и в его душе раздается Голос. Сложные проблемы опять очень просто решаются с помощью всепильного божьего перста, указующего на Ива и сообщающего ему: «Я избрал тебя!» «Тайна» семьи Фронтенак — это особенный дух, прочно скрепляющий членов семьи в дружный коллектив, основанный на любви и, само собой разумеется, на идее бога, возникающей вслед за пробуждением чувства любви.

Если сопоставить «Клубок змей» и «Тайну Фронтенак», то видно, как благодаря утопизму Мориака разрушались установленные им же самим, реалистом, закономерности, как законы земного ада подменяются законами чистилища. Алчность, ненависть, деспотизм и прочие свойства буржуа внезапно превращаются в некую оболочку, в неистинный поверхностный слой, который нетрудно снять.

Зигзагообразность пути Мориака-художника объясняется самой сутью его художественного метода, в котором столкнулись его потребность в правде и его потребность в боге. Вторая потребность была глухой стеной, на которую натывалась в определенный момент потребность первая. «Романист живет ясностью; она чудовищно разрастается, и наступает момент, когда он начинает замечать, что откормил зверя прожорливого», — так сам Мориак в книге «Страдания и счастье христианина» (1931) формулировал основное противоречие своего искусства. Когда Мориак (в книге «Романист и его персонажи», 1933) в противовес романистам, рассказывающим лишь о себе, и романистам, копирующим окружающий мир, именовавшим искусство романа искусством по преимуществу «транспонирования реальности», то он имел в виду не только совершенно очевидный общий закон искусства, но и качество своего собственного искусства, которое и позволило ему создать чистилище, то есть воссоединить познание реального мира с выражением воли всевышнего.

«Чудом христианства» называл Мориак то, что «мы можем быть богом». Но это право христианина защищала не церковь, а художник-реалист Мориак, именно поэтому его неизменно осуждали и проклинали истовые католики: «Я считаюсь в католической среде почти порнографическим романистом». Еще бы, он бога отождествлял с человеком, а в человеке увидел «создание падшее и со дня своего рождения оскверненное».

«Оставить землю — значит утратить знание бога и более чем знание: обладание существом бесконечным в тайниках эфемерного создания».

Человек, а не икона привлекал Мориака, но в то же время «романист познает себя, лишь когда он познает бога». Вот границы метода Мориака и основа его непоследовательности. То страдания человека предстают перед нами как страдания реалистически воспроизводимого земного ада, то в них просвечивает легко уловимая схема религиозной проповеди.

В этом нетрудно убедиться, сопоставив два романа — «Фарисейка» (1941) и «Агнец» (1954). Во втором романе появляются персонажи первого, но, как обычно, Мориак просит не считать его продолжением: он ведь не истории с продолжением писал, а пытался исчерпать до конца человеческую душу, отыскать в ней новые возможности.

«Фарисейка» — из лучших романов Мориака. Опять «клетки» — школы, ханжеских запретов, постоянного контроля за душой, осуществляемого как солдафоном — дядей Жана, как нетерпимой ханжой Брижит Пиан, так и терпимым, сплоскительным священником Калю. Из этих «клеток» вырываются живые, трепещущие души, порой исковерканные заточением, как исковеркана душа Жана, ставшего зверенышем. Через все запреты просачивается потребность в любви, любви земной, излечивающей от ненависти, выпрямляющей людей. Обычное для Мориака сострадание к людям, его обостренное внимание к каждому человеку, к самому маленькому и рядовому, вроде Жана, Пюибаро, Октавии, проявляется в «Фарисейке» наилучшим образом. «Прекрасно заставить их поднять голову», — писал о своей задаче Мориак. Эта потребность героев распрямиться, утвердить себя, ощутить в себе человеческую суть придает роману чрезвычайную привлекательность. Поиски бога оборачиваются в «Фарисейке» правдивым изображением человеческих страданий и обретением человеческого достоинства.

Затем Мориак-художник замолк. Он отдался политике. Искусство же его ухитрилось существовать вне истории, вне потрясавших человечество событий, и не случайно так безжизненны, так анахроничны написанные тогда пьесы «Лукавый попутал» (1947) и «Огонь на земле» (1951). Можно заметить, правда, что пьесы Мориака вообще огрубляют его как художника, в них пропадает сложная психологическая ткань, украшающая его романы, в них выступает на передний план занимательная интрига и очередное поучение. Не случайно именно сценарий «Хлеб насущный» (1955) даже сам Мориак считал произведением, цель которого — пропаганда религии.

После публикации двух повестей — «Мартышка» и «Галигай» (1952) — появился «Агнец». Все здесь как будто похоже на «Фарисейку» — и персонажи те же, и муки, и жажда истины. Однако внешнее сходство обманчиво, так как в тех же контурах отчетливо проявляется другая сторона метода Мориака, ощущается граница его неправдивости,

заметна та глухая стена, за которой непосредственно находится, очевидно, рай.

«Агнец» прочно, как железными обручами, стиснут жесткой композицией, благодаря которой все изображается в перспективе раскаяния героев. Молодой человек, некто Ксавье, направляется в семинарию. По пути ему встретился Жан, герой «Фарисейки». Жан задержал Ксавье, и тот попал в мир искушений, любви и страданий. Но в отличие от героев «Фарисейки» Ксавье стал при этом не столько человеком, сколько богом: и любовь безмерную в себе он ощущает, и ноги его кровоточат, и крест на себе несет, и распят на кресте этом. После его гибели все чувствуют себя виновными, все раскаиваются, особенно смилившийся грешник Жан.

Написав «Агница», Мориак-романист умолк надолго. Только через 15 лет появился новый его роман, ставший последним в творчестве писателя. «Подросток былых времен» ближе к «Фарисейке», чем к «Агницу». Вновь перед нами страдающие и ищущие истину люди, вновь их беспокойство и бескорыстие, вновь подкупающая откровенность молодых душ, начинающих пелегкий жизненный путь. Вновь «материнской» шкале ценностей — деньгам, способности к их накоплению — противопоставляются ценности духовные, нравственные, противопоставляются богатства душ человеческих, которые трудно загнать в «клетку».

Появление на самом закате жизни и творчества Мориака романа «Подросток былых времен» — принципиально важный для оценки Мориака факт. При всей поразительной на первый взгляд верности писателя раз и навсегда установленным догмам, которые питались его религиозным утопизмом и консерватизмом, под фундамент искусства Мориака уже к концу 20-х годов был подведен реализм, питавшийся осуждением церкви, «их религии», осуждением буржуазного общества. Именно реализм оказался перспективным слагаемым сложного искусства Мориака, животворящей силой, создавшей самые значительные произведения этого писателя.

Чем чаще Мориак напоминал, что он сын своего класса (а он об этом напоминал), тем яснее было, что мы имеем дело с блудным сыном, сумевшим посмотреть на породивший его класс со стороны, строгим и осуждающим взглядом. Мориак оставил после себя первоклассные образцы «самокритики», тем более убедительные, что писатель этот не решился порвать со своим классом совершенно, надеялся усовершенствовать его в своем «чистилище». Мориак доказал, что невозможно, немислимо жить в мире устаревших ценностей буржуазного общества, общества собственников и церковников. Он был достаточно прозорлив, чтобы остановить своего героя и своего читателя у врат рай, не рискуя изображать царство божие. Он был достаточно крупным и честным писа-

телем, чтобы вновь и вновь населять свое «чистилище» людьми из ада земного.

За их страданиями, за их попытками выбраться из буржуазного ада мы проследим с сочувствием, открывая том лучших произведений Франсуа Мориака.

Л. Андреев

ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ

РОМАН



Thérèse Desqueyroux

Перевод Н. Немчиновой

Господи, смилуйся, смилуйся над безумцами, над безумными мужчинами и женщинами! Разве может считать их чудовищами тот, кто один только знает, почему они существуют на свете, отчего они стали такими и как они могли бы не быть чудовищами?

Шарль Бодлер

Тереза, многие скажут, что ты не существуешь. Но я знаю — ты существуешь: ведь уже годы и годы я слежу за тобой, нередко останавливаю, когда ты проходишь мимо, и я срываю с тебя маску.

Помню, как юношей я увидел твое бледное личико с тонкими губами в душном зале суда, где судьбу твою решали судебские чиновники, менее свирепые, чем расфуфыренные дамы.

Позднее ты появилась передо мной в гостиной помещичьего дома в образе молодой нервной женщины, которую раздражали своими заботами старушки родственницы и простоватый муж. «Да что это с ней? — говорили они. — Уж мы-то, кажется, предупреждаем все ее желания».

А с тех пор, сколько раз я любовался тобой, когда ты сидела задумавшись, подперев изящной, но вовсе не крошечной рукой свой пре-

красный высокий лоб! Сколько раз я видел сквозь живые прутья клетки, именуемой семьей, как ты металась там, словно волчица, и косила на меня злобным и печальным взглядом.

Многие, вероятно, будут удивляться, как я мог создать образ, еще более отталкивающий, чем прочие мои герои. Неужели мне никогда не удастся вывести на сцену людей, излучающих добродетель, открытых сердцем? Однако у человека «открытого сердца» не бывает трагических историй, а мне ведомы драмы сердец замкнутых, тесно связанные с грязной человеческой плотью.

Я хотел бы, Тереза, чтобы страдания привели тебя к богу, долго питал надежду, что ты будешь достойна имени святой Локусты. Но ведь многие из тех, кто верит, однако, в искупление падших и страждущих душ, стали бы тогда кричать о кощунстве.

Как бы то ни было, расставшись с тобой на шумной улице, я надеюсь, что ты не будешь одинока.

!

Адвокат отворил дверь. Терезу Дескейру, стоявшую в коридоре у боковых дверей зала суда, обдало холодом, и она глубоко вдохнула сырой осенний воздух. Она боялась, что на улице ждут любопытные, и не решалась выйти. От ствола платана отделился человек в пальто с поднятым воротником, она узнала отца. Адвокат крикнул: «Дело прекратили» — и повернулся к Терезе:

— Можете выходить, никого нет.

Она спустилась по мокрым ступеням. Маленькая площадь и в самом деле оказалась совсем безлюдной. Отец не поцеловал дочь, даже не взглянул на нее, — он расспрашивал адвоката Дюро, и тот отвечал вполголоса, словно боялся, как бы их не подслушали. До Терезы доносились обрывки разговора:

— Завтра получу официальное уведомление о прекращении дела «за отсутствием состава преступления».

— А тут не может быть каких-нибудь сюрпризов?

— Нет, дело в шляпе, как говорится.
— После показаний моего зятя это стало ясно.
— Ясно... ясно... Всякое случается.
— Ну, раз, по собственному его утверждению, он никогда не считал капель...

— Знаете, Ларок, в делах такого рода показания жертвы...
Раздался голос Терезы:

— Жертвы не было.

— Я хотел сказать — жертвы своей неосторожности.

Оба собеседника повернулись к молодой женщине, зябко кутавшейся в накидку, и мгновение смотрели на ее бледное, ничего не выражавшее лицо. Она спросила, где стоит коляска; оказалось, что отец велел кучеру ждать за городом, на дороге к Бюдо, чтобы не привлекать внимания.

К счастью, темнело теперь рано. Да и добраться туда можно было по самым тихим улицам этого главного города супрефектуры. Тереза шла посередине, спутники — справа и слева от нее; они вновь заговорили между собой, как будто ее тут не было, но, так как она, шагая между ними, мешала обоим, они то и дело толкали ее локтями. Тогда она немного отстала и, сняв с левой руки перчатку, стала отрывать мох со старых каменных стен, мимо которых они проходили. Иногда ее обгонял какой-нибудь рабочий, ехавший на велосипеде, или крестьянская тележка; спасаясь от брызг жидкой грязи, Тереза прижималась к стене. Хорошо было, что сумрак скрывал лица и люди не могли узнать ее. Запах свежее испеченного хлеба и сырого тумана был для нее не только привычным запахом, разливавшимся вечерами в этом маленьком городке, Тереза находила в нем аромат жизни, наконец-то возвращенной ей; она закрывала глаза, впитывая дыхание уснувшей земли и мокрой травы, и старалась не слышать разглагольствований низенького человека с короткими кривыми ногами, который ни разу не обернулся, не взглянул на дочь — упали она на краю дороги, ни он, ни адвокат Дюро и не заметили бы этого. Теперь они уже не боялись говорить во весь голос.

— Господин Дескейру дал превосходные показания. Но ведь тут еще всплыл рецепт! По существу, речь шла о подлоге... И доктор Педма подал в суд жалобу...

— Он взял жалобу обратно...

— Но все-таки... Что за объяснение она дала! Какой-то незнакомый человек передал ей рецепт....

Не столько от усталости, сколько из желания не слышать

больше всех этих слов, которыми оглушали ее много недель, Тереза все замедляла шаг, но расстояние не могло заглушить пронзительный голос отца:

— Сколько раз я твердил ей: «Да придумай ты, несчастная, что-нибудь другое... Придумай что-нибудь другое...»

Действительно, он достаточно твердил ей это, может отдать себе должное. Почему же он все еще волнуется? То, что он называет честью их семьи, спасено, ко времени выборов в сенат никто уже и вспоминать не будет об этой истории. Так думала Тереза, и ей очень хотелось, чтобы эти двое ушли далеко-далеко, но они в пылу спора остановились посреди дороги и все говорили, говорили, жестикулировали.

— Уверяю вас, Ларок, смелость лучше всего: перейдите в наступление, напечатайте статью в воскресном номере «Сеятеля». Если хотите, я могу за это взяться. Заголовок дать энергичный, например «Гнусные слухи»...

— Нет, друг мой, нет! Нет! Да и что отвечать? Ведь совершенно очевидно, что следствие вели спустя рукава, даже не прибегли к экспертизе графологов. Выход, по-моему, только один: молчать и замять дело. Сам я тоже буду действовать, приложу все старания, но в интересах семьи надо все это замять... надо замять...

Собеседники двинулись дальше, и Тереза не слышала, что ответил адвокат. Она тяжело вздохнула, жадно глотая сырой ночной воздух, как будто ей грозило смертельное удушье, и вдруг ей вспомнилась Жюли Беллад, неведомая ей бабка с материнской стороны; ее лицо осталось Терезе неизвестным; напрасно было бы искать у Ларок или у Дескейру какого-нибудь портрета, дагерротипа или фотографии этой женщины — никто о ней ничего не знал, кроме того что она ушла из дому. И воображение подсказывало Терезе, что и она тоже могла бы вот так исчезнуть, уйти в небытие и позднее ее дочка, маленькая Мари, не нашла бы в семейном альбоме образа той, которая произвела ее на свет. А сейчас Мари спит в детской и нынче поздно вечером, приехав в Аржелуз, Тереза войдет к ней, прислушается в темноте к сонному дыханию ребенка, склонится над кроваткой и, словно истомившись от жажды, прильнет губами к дремлющему источнику жизни.

У придорожной канавы стояла коляска с опущенным верхом, свет от ее фонарей падал на крупы поджарой пароконной упряжки. Справа и слева от дороги темной стеной высился лес. С обоих дорожных откосов первые сосны протягивали навстре-

чу друг другу длинные ветви, переплетались верхушками, и под этим зеленым сводом дорога уходила в таинственный мрак. Сквозь спутанную сеть сосновых веток в вышине проглядывало небо. Кучер смотрел на Терезу с явным любопытством. Она спросила, поспеют ли они на станцию Низан к последнему поезду, и он успокоил ее, но сказал, что все-таки лучше не мешкать.

— Вот задала я вам работы, Гардер. Но это уж в последний раз.

— Больше, стало быть, незачем приезжать?

Она кивнула головой, а кучер по-прежнему не сводил с нее глаз. Неужели всю жизнь ее будут так разглядывать?

— Ну что? Ты довольна?

Отец, казалось, заметил наконец, что она тут. Тереза бросила быстрый, испытующий взгляд на его желчное, землистое лицо; фонари коляски ярко освещали желтоватую седую щетину бакенбардов, окаймлявших его щеки. Она тихо ответила ему:

— Я столько выстрадала... Я совсем разбита...

И она умолкла: зачем об этом говорить? Ведь отец не слушает ее, совсем не замечает. Какое ему дело до переживаний дочери! Для него важно только одно: его карьера — восхождение к высотам сената, прерванное из-за скандала с Терезой («Все бабы — истерички или идиотки!»). По счастью, она уже не носит фамилии Ларок, теперь она Дескейру. Она избежала суда присяжных, и отец облегченно вздохнул. Но как помешать противникам растравлять его рану? Завтра же он поедет к префекту департамента. Слава богу, владелец газеты «Ланд консерватрис» у него в руках из-за скандальной истории с совращением малолетних... Господин Ларок подхватил Терезу под локоть.

— Садись скорее, пора ехать.

И тогда адвокат — быть может, с коварным умыслом или просто желая что-то сказать Терезе на прощание — спросил, встретится ли она уже в этот вечер с господином Дескейру. Она ответила: «Ну, конечно. Муж меня ждет...» — и только тут, впервые после суда, представила себе, что через несколько часов она переступит порог спальни, где лежит ее муж, еще не совсем оправившийся от болезни, и что ей придется жить множество дней и ночей в тесной близости с этим человеком.

С самого начала следствия она поселилась в доме отца за чертой города и, конечно, не раз совершала точно такое же путешествие, как сегодня, но тогда она думала только о том, чтобы как можно точнее информировать мужа; перед тем как сесть в

коляску, она выслушивала последние наставления Дюро относительно тех ответов, какие должен давать ее муж при новых допросах, и в те дни Тереза не испытывала никаких мучений, никакого чувства неловкости при мысли, что она сейчас очутится лицом к лицу с больным мужем: ведь тогда шла речь не о том, что произошло в действительности, но о том, что важно было сказать или не говорить. Необходимость защиты сближала их, и еще никогда они не были так спаяны, как в те дни, — их объединяла маленькая Мари, плоть от плоти их. Они старательно сочиняли для следователя простую и связную историю, которая могла бы удовлетворить его логический ум. В дни следствия Тереза садилась в тот же самый экипаж, который ждал ее и сейчас, но всякий раз ей тогда хотелось, чтобы поскорее кончилось ее ночное путешествие, а теперь она мечтала о том, чтобы оно длилось бесконечно! Тереза хорошо помнила, что стоило ей тогда сесть в коляску, как ей уже не терпелось очутиться в Аржелузе, а дорогой она припоминала, какие сведения ждет от нее Бернар Дескейру, не побоявшийся заявить следователю, что однажды вечером жена рассказала ему, как совсем незнакомый ей человек умолил ее заказать для него по рецепту его врача лекарство, так как сам он уже не смеет показаться в аптеке, потому что должен аптекарю денег... Но адвокат Дюро считал, что Бернару не следует заходить слишком далеко и уверять, будто ему помнится, как он упрекал жену за такую неосторожность...

Но вот кошмар рассеялся, и о чем же им с Бернаром говорить нынче вечером? Ей так ясно представился затерявшийся в лесу дом, где он ждет ее; она видела в воображении спальню с кафельным полом, низкую лампу на столе среди газет и аптекарских склянок... Во дворе еще заливаются лаем сторожевые псы, которых разбудил подъехавший шарабан, потом они умолкают и вновь воцаряется торжественная тишина, словно в те ночи, когда она смотрела, как Бернар мучается жестокими приступами рвоты. Тереза старалась вообразить себе первый взгляд, которым они сейчас обменяются. А как пройдет ночь и что будет завтра, и послезавтра, и в следующие дни и недели — в этом доме, где им с Бернаром уже не надо больше придумывать вместе приемлемую версию пережитой драмы. Теперь между ними будет стоять только то, что произошло в действительности... то, что произошло в действительности... И в пани-

ческом страхе Тереза бормочет, повернувшись к адвокату (на самом деле она говорит это для отца):

— Я рассчитываю пробыть несколько дней дома, с мужем. А когда ему станет лучше, вернусь к отцу.

— Ах, так? Ну уж нет, милая моя, нет, нет!

Кучер заерзал на козлах, а Ларок добавил, понизив голос:

— Ты что, совсем с ума сошла? Уйти от мужа в такой момент? Нет уж, будьте теперь неразлучны, будьте неразлучны. Слышишь? До самой смерти...

— Верно, папа. Что это мне в голову взбрело? Значит, ты сам станешь ездить к нам в Аржелуз?

— К чему? Я буду ждать вас у себя, как обычно, по четвергам — в ярмарочные дни. Приезжайте ко мне, как раньше приезжали!

Просто невероятно, что она до сих пор не уразумела, насколько опасно для него и для всех малейшее нарушение приличий. Это смерть! Понятно? Может он положиться на нее? Она причинила своей семье столько неприятностей!..

— Ты будешь делать все, что велит тебе муж. Думаю, что я выражаюсь совершенно ясно.

И господин Ларок втокнул дочь в коляску.

Адвокат протянул Терезе руку с трауром под ногтями.

— Все хорошо, что хорошо кончается,— сказал он от всего сердца, ведь если бы дело пошло обычным ходом, ему это было бы совсем невыгодно: семейство Лароков и Дескейру пригласили бы защитником адвоката Пейрекава из Бордоского судебного округа. Да, да, все хорошо кончилось.

II

Терезе нравился запах прелой кожи, свойственный старым экипажам. Сигареты она забыла, но не очень этим огорчилась, так как терпеть не могла курить в темноте. Фонари освещали откосы дороги, бахрому папоротников, нижнюю часть стволов исполинских сосен. Груды щебня разрывали тень от коляски. Иногда проезжала тележка, запряженная мулами, и мулы сами сворачивали вправо, а задремавший возница даже и не просыпался. Терезе казалось, что она никогда не доберется до Аржелуза, она надеялась, что никогда не доберется; больше часа езды до станции Низан, потом поезд узкоколейки с бесконечными остановками на каждой станции. Сойдет она в Сен-Клере, а оттуда еще десять километров на шарабане (дорога там такая,

что ни один автомобиль не решится двинуться по ней ночью). На каждом повороте еще может вмешаться судьба и избавить Терезу от страшной встречи. Словом, опять заговорило воображение, которому она, несомненно, поддавалась бы накануне суда, если бы следствие поддержало обвинение, — тогда Тереза мечтала бы о землетрясении. Она сняла шляпку, прижалась щекой к пахучей кожаной обивке «викторин»; от толчков раскачивалась ее маленькая головка, ее бледное лицо, вся она безвольно отдавалась дорожной тряске.

До этого вечера она жила, как затравленный зверь, но вот пришло спасение, и только теперь она почувствовала безмерную усталость. Ввалившиеся щеки, резко обозначившиеся скулы, полоска тонких губ и великолепный высокий лоб. Словом, у нее лицо обреченного человека. Да, хоть на суде ее и не признали виновной, она обречена на вечное одиночество. Таким очарованием (а раньше она считалась в обществе неотразимой) обладают все, у кого лицо выдает их тайные терзания, жгучую душевную рану, если они не умеют скрывать свои муки. Забившись в угол коляски, Тереза, эта разоблаченная отравительница, едет по ухабистой дороге, проложенной в густой тени соснового бора, и тихонько проводит правой рукой по своему лицу мученицы, заживо сжигаемой на костре. Что скажет ей при встрече муж, после того как своими ложными показаниями он спас ее? Конечно, сегодня он не задаст ей никакого вопроса... Но завтра? Тереза закрывает глаза, потом, открыв их, смотрит вокруг; лошади идут шагом, и она пытается определить, где она, что это за подъем. Ах, зачем думать о встрече? Может быть, все будет гораздо проще, чем она воображает. Не думать заранее. Заснуть... Почему она уже не в коляске? Стол, накрытый зеленым сукном, за столом какой-то человек. А-а, это следовательно... опять он... Но ведь он же прекрасно знает, что дело прекращено. Однако он отрицательно качает головой: дело не может быть прекращено, имеется новый факт. Новый факт? Тереза отворачивается, чтобы враг не видел ее искаженного лица. «Вспомните хорошенько, сударыня, вы ничего не спрятали во внутренний карман старой пелерины, которую носите теперь только в октябре, когда идете на охоту, стрелять вяхирей? Ничего вы в кармане этой пелерины не забыли?» Отпираться невозможно. Тереза задыхается. Не сводя глаз со своей добычи, следовательно кладет на стол пакетик, запечатанный красным сургучом. Тереза могла бы наизусть сказать, что написано на пакетике, а следовательно вслух разбирает надпись резким своим голосом:

Хлороформ — 10 граммов
Аконитин — 2 грамма
Дигиталин — 0,2 грамма

Следователь разражается хохотом... Тормоз скрежещет о колесо. Тереза просыпается, полной грудью вдыхает туман (должно быть, начался спуск к Белому ручью). Вот так же в юности ей не раз снилось, что по ошибке ее вторично заставляют сдавать выпускные экзамены, и сейчас она испытывает такое же радостное чувство облегчения, какое приносило ей в те далекие годы пробуждение от страшного сна. Немного беспокоило ее лишь то, что нет официального документа о прекращении дела. «Но ведь ты же знаешь, что сначала известят адвоката...»

Свободна! Чего же еще желать? Теперь для нее будет легче легкого жить возле Бернара. Открыть ему всю душу, ничего не оставив в тени, — вот в чем спасение. Вытащить на свет божий все, что было скрыто, и сделать это не мешкая, нынче же вечером. Решение это переполняет сердце радостью. По дороге в Аржелуз она успеет «подготовиться к исповеди», как говорила ее благочестивая подруга Анна де ла Трав каждую субботу в счастливые дни летних каникул. Милая младшая сестра Анна, невинное создание, какое большое место ты занимаешь во всей этой истории! Самые чистые люди не ведают, в чем они бывают замешаны каждый день, каждую ночь и какие ядовитые семена прорастают там, где ступали их детские ножки.

Конечно, эта юная школьница была совершенно права, когда твердила своей подружке Терезе, рассудительной насмешнице: «Ты и представить себе не можешь, какое чувство освобождения испытываешь, когда признаешься на духу во всем и получишь отпущение грехов, — все старое сотрется и можно зажить по-новому». И действительно, стоило Терезе решить, что она все скажет, как она и в самом деле почувствовала облегчение: «Бернар все узнает, я все ему скажу...»

А что она ему скажет? С чего начать признания? Можно ли передать словами это темное сплетение желаний, решений, непредвиденных поступков? Как исповедуются те, кто сознает свои преступления? Но я-то ведь не признавала свое преступление. Я не хотела сделать то, в чем меня обвиняют. Я сама не знала, чего я хотела. Я не знала, к чему ведет неукротимая

сила, клокотавшая во мне и вне меня. Сколько же она разрушила на своем пути! Даже мне самой стало страшно...»

Фонарь с коптившей керосиновой лампой освещал побеленную известкой стену железнодорожной станции Низан и стоявшую у дверей тележку. (Какая тьма сгущается вокруг полосы света!) С поезда, стоявшего на запасном пути, доносились гудки паровоза, похожие на мычание и печальное блеяние. Гардер взял саквояж Терезы и снова впился в нее взглядом. Должно быть, жена велела ему: «Посмотри хорошенько, какая она теперь, поди на ней лица нет...» Тереза безотчетно одарила отцовского кучера прежней своей улыбкой, из-за которой люди говорили: «Право, и не поймешь, хорошенькая она или нет, просто чувствуешь на себе ее обаяние...» Тереза попросила Гардера купить для нее билет — самой ей странно было пройти к кассе через зал ожидания, где сидели две фермерши: пристроив свои корзинки на коленях, обе они вязали, покачивая головой.

Кучер принес билет, Тереза велела ему оставить сдачу себе. Он притронулся рукой к фуражке, потом сел на козлы и, разобрав вожжи, обернулся в последний раз — поглядеть на дочку своего хозяина.

Состав еще не был сформирован. Когда-то, приезжая летом на каникулы или возвращаясь в город к началу учебного года, Тереза Ларок и Анна де ла Трав радовались долгой остановке на станции Низан. Они закусывали в харчевне яичницей с ветчиной, потом, обняв друг друга за талию, прогуливались по дороге. Сейчас она такая темная и мрачная, но в те годы, уже отошедшие в прошлое, Тереза видела ее всю белую, залитую лунным светом. Подружки смеялись, глядя на свои длинные, сливавшиеся вместе тени. Разумеется, говорили об учительницах, о подругах; одна защищала свой монастырский пансион, другая — свой лицей. «Анна!» — громко произнесла в темноте Тереза. Прежде всего надо рассказать Бернару об Анне... Но ведь Бернар обожает точность. Он педантически классифицирует все чувства, каждое рассматривает отдельно и знать не желает, какая сложная сеть путей, переходов и переплетений существует меж ними. Как же ввести его в те туманные области, где жила и страдала Тереза? А ведь это необходимо. Остается только одно: сегодня вечером войти к Бернару в спальню, сесть у его постели и повести его за собой шаг за шагом, пока он не остановит ее и не скажет: «Теперь я понял. Встань. Я прощаю тебя».

Она прошла в темноте через садик начальника станции, услышала запах хризантем, но самих цветов не могла различить. В купе первого класса никого не было. Впрочем, при свете тусклого фонаря ее лица все равно никто бы не разглядел. Читать невозможно, да и любой роман показался бы Терезе пресным по сравнению с ее ужасной жизнью. Может быть, она умрет от стыда, от тоски, от угрызений совести, от усталости, но только уж не от скуки.

Она забилась в угол, закрыла глаза. Да неужели такая умная женщина, как она, не сможет рассказать всю эту драму так, чтобы суть ее стала понятной? Да, да. Когда она кончит, Бернар поднимет ее и скажет: «Иди с миром, Тереза, не тревожься больше. Мы будем жить в Аржелузе, в этом самом доме, до самой своей смерти, и никогда между нами не встанет то, что произошло. Мне хочется пить. Спустиись сама в кухню, приготовь мне стакан оранжада. Я выпью его залпом, даже если он окажется мутным. Я не испугаюсь, если у него будет странный привкус, как у того шоколада, который я когда-то пил по утрам. Помнишь, любимая, как у меня поднималась рвота? Милыми своими руками ты поддерживала мне голову, не отводила взгляда от зеленоватой жидкости, извергаемой моим желудком, приступы рвоты не пугали тебя. Но как ты была бледна в ту ночь, когда я заметил, что у меня онемели и отнялись ноги! Меня бил озноб, помнишь? А этот болван доктор Педмэ поражался, что температура у меня очень низкая, а пульс такой частый...»

«Ах, нет,— думает Тереза,— он не поймет. Надо начать с самого начала...» А где начало наших поступков? Наша судьба, когда мы хотим обособить ее, подобна тем растениям, которые невозможно вырвать из земли вместе со всеми корнями. Может быть, Терезе надо начать с детства? Но ведь и само детство — это некий конец, завершение.

Детство Терезы — чистый, светлый исток самой мутной из рек. В лице она казалась ко всему равнодушной, словно и не замечала мелких драм, терзавших ее подруг. Учительницы часто ставили им в пример Терезу Ларок: «Тереза не ищет иной награды, кроме радостного сознания, что ее можно считать олицетворением высоких человеческих чувств. Совесть — вот ее единственная путеводная звезда. Гордая мысль, что она принадлежит к избранным натурам, поддерживает ее надежнее, чем страх перед наказанием...» Так высокопарно говорила о ней

одна из учительниц. Тереза думает: «А была ли я счастлива? Была ли я так чиста сердцем? Вся моя жизнь до замужества предстает передо мной как свет и чистота,— несомненно, по контрасту с неизгладимой грязью брачной ночи. Лицей и все, что предшествовало супружеству и рождению ребенка, кажется мне теперь раем. Но тогда я этого не сознавала. Могла ли я знать, что в те годы, когда еще не начиналась моя жизнь, я как раз жила подлинной жизнью? Да-да, я была чиста, да, я была ангелом! Но ангелом, исполненным страстей. Что бы там ни говорили мои учительницы, а я страдала и доставляла страдания другим. Я радовалась, что могу причинить кому-нибудь боль, и радовалась боли, которую причиняли мне мои подруги. Страдания наши были очень чисты, никакие угрызения совести не примешивались к ним: наши горести и радости доставляли нам невинные развлечения».

А как приятно было Терезе сознавать, что она нисколько не хуже Анны, с которой они встречались в летние месяцы под дубами Аржелуза. Тогда она могла говорить этой девочке, воспитанной монашками Сакре-Кер: «Чтобы быть такой же чистой, как ты, мне не нужны все эти ваши ладанки и бормотание молитв». Да и чистота Анны де ла Трав проистекала главным образом из неведения. Монахини-воспитательницы накидывали множество покровов на реальную действительность, скрывая ее от своих воспитанниц. Тереза их презирала за то, что они не видят разницы между добродетелью и неведением. «Ты, дорогая, жизни не знаешь»,— говорила она Анне в те далекие, такие уже далекие дни чудесных летних каникул в Аржелузе... И вот, думая о них в поезде узкоколейки, который тронулся наконец, Тереза говорит себе, что именно с воспоминаний об этих днях ей и нужно начать, если она хочет во всем разобраться. Невероятно, но это так — светлая заря нашей жизни уже чревата самыми страшными грозами. «Небо голубое поутру — будет буря днем или ввечеру». А после бури увидишь развороченный ливнем цветник, сломанные ветки и грязь. Когда-то Тереза жила, ни о чем не задумываясь, ничего не загадывала, на жизненном ее пути не было никаких крутых поворотов, она незаметно спускалась по склону, сначала медленно, потом все быстрее. И вот юное, жизнерадостное существо, каким она была в те далекие дни летних каникул, стало погибшей женщиной, которая возвращается нынче осенним вечером в тот же Аржелуз, возвращается крадучись, под покровом темноты.

Как она устала! Зачем отыскивать тайные пружины того, что

уже совершилось? В оконном стекле отражается ее лицо, бледное, неподвижное, как у мертвой, а за окном ничего не видно; колеса стучат по рельсам уже по-другому, паровоз дает долгий гудок, поезд осторожно подходит к станции. В темноте покачивается фонарь в чьей-то поднятой руке, какие-то люди перекликаются, выкрикивают что-то на местном диалекте, пронзительно визжат выгружаемые из вагона поросята. Это станция Юзест. А дальше — Сен-Клер, а оттуда придется ехать до Аржелуза в парабане. Так мало времени осталось у Терезы, чтобы подготовиться к своей защите.

III

Аржелуз поистине стоит на краю света, дальше уж ни проехать, ни пройти. Местные жители называют его «околоток»: тут нет ни церкви, ни мэрии, ни кладбища — просто несколько ферм, разбросанных вокруг ржаного поля; находится он в десяти километрах от маленького городка Сен-Клер, с которым его соединяет единственная и притом ужасная дорога. Вся в выбоинах и ямах, она за Аржелузом разделяется на песчаные тропинки, и до самого океана, на протяжении восьмидесяти километров, увидишь только болота, лагуны, чахлые сосны, дюны, где пасутся овцы, у которых шерсть становится пепельно-серого цвета к концу зимы. Все видные семьи Сен-Клера — выходцы из этого глухого околотка. В середине прошлого века, когда сосновая смола и древесина стали давать прибыль вдобавок к тем скудным доходам, какие жители Аржелуза получали от своих овечьих отар, деды нынешней знати Сен-Клера переселились в этот городок, а их прежние жилища в Аржелузе стали фермами. Резные балки потолка да кое-где сохранившиеся мраморные каминны свидетельствуют об их барском происхождении. Но с каждым годом дома эти все больше оседают, и кое-где широкая стреха обвисшей крыши почти уже касается земли.

Среди этих старых жилищ два еще остались господскими домами. Семейство Ларок и семейство Дескейру сохранили давние постройки в том виде, в каком унаследовали их от своих предков. Жером Ларок, член генерального совета департамента и мэр города Б., главную свою резиденцию имел у въезда в столицу супрефектуры, но ничего не хотел менять в своем аржелузском доме, доставшемся ему от покойной жены (она умерла вскоре после рождения Терезы, оставив ее грудным младенцем). Господин Ларок не удивлялся, что дочь его любит проводить

в Аржелузе летние каникулы. Она приезжала в июле и жила там под надзором тети Клары, старшей сестры отца, глухой старой девы, тоже любившей «этот уединенный уголок», потому что здесь, по ее словам, она не видит, как все время шевелятся чьи-то губы, и знает, что и слышать тут нечего, кроме шума ветра в сосняке. Господин Ларок радовался, что Аржелуз, избавлявший его от присмотра за дочерью, сближает ее с Бернаром Дескейру, за которого ей предстояло выйти замуж, как того желали оба семейства, хотя их соглашение еще не носило официального характера. Бернар Дескейру получил в наследство от отца дом в Аржелузе, стоявший рядом с домом Лароков; правда, он там не появлялся до дня открытия охоты и оставался ночевать только в октябре, так как устроил себе неподалеку «хижинку», куда переселялся во время охоты на вяхирей. Зимой этот рассудительный юноша проводил в Париже, где учился на юридическом факультете. Летом он не много дней посвящал семье, так как ненавидел своего отчима Виктора де ла Трав, за которого госпожа Дескейру, овдовев, вышла замуж, хотя у него за душой не было гроша ломаного, а его мотовство служило предметом толков всего Сен-Клера. Анна де ла Трав, сводная сестра Бернара, казалась ему маленькой девочкой, не заслуживающей никакого внимания. Много ли больше думал он о Терезе? Весь край считал, что они с Бернаром должны пожениться, так как их владения, казалось, были просто созданы для того, чтобы соединиться, и благоразумный юноша был согласен с этим всеобщим мнением. Но он ничего не оставлял на волю случая и полагал, что умение хорошо наладить свою жизнь — великое достоинство, которым можно гордиться. «Человек бывает несчастен только по своей вине», — говорил он. Несмотря на молодость, он был довольно толстым. До женитьбы он отводил одинаковое место труду и удовольствиям; он любил и хорошо поесть, и выпить, а главное, любил охоту. Но зато и занимался он юриспруденцией «как одержимый», по выражению его матери, — ведь муж должен быть выше жены по образованию. Тереза и в юности славилась своим умом, а ум, как известно, ведет к вольномыслию. Но Бернар знал, чем можно урезонить женщину, и к тому же совсем было бы неплохо, как его убеждала мать, заручиться поддержкой в лагере вольнодумцев, и господин Ларок, отец Терезы, мог быть ему полезен. Итак, в двадцать шесть лет Бернар Дескейру после путешествий в Италию, Голландию и Испанию, «заранее солидно изученных», должен был жениться на Терезе Ларок, самой богатой и самой

умной девушке во всем крае, пусть даже и не самой хорошенькой. («Но как ее увидишь, сразу подпадаешь под ее обаяние, не замечая, хорошенькая она или дурнушка».)

Тереза даже улыбнулась, таким карикатурным предстал в ее воображении Бернар, произносивший эти слова. «Но, в сущности, он был гораздо развитее большинства возможных для меня женихов». В ландах женщины куда тоньше мужчин — ведь мужчины со школьной скамьи общаются только между собой и душевной тонкости не приобретают; их сердце навсегда отдано ландам, мыслями они всегда в ландах, для них ничего не существует, кроме удовольствий, какие им предоставляют ланды; им казалось бы не только разлукой с родным краем, но изменой ему, если бы они перестали походить на своих фермеров, не говорили бы на местном диалекте, отказались бы от грубых манер и диких повадок. А разве у Бернара под этой грубой оболочкой нет своего рода доброты? Когда он был почти что при смерти, фермеры говорили: «Как не станет его, то уж больше не найдешь здесь настоящего хозяина». Да, есть у него и доброта, и здравый смысл, и добросовестность — он никогда не говорит о том, чего не знает, не переоценивает своего ума и способностей. Юношей этот неотесанный Ипполит был недурен собой, но предпочитал не гоняться за девушками, а травить зайцев в ландах.

Однако совсем не его видит Тереза, прижавшись лбом к окошку вагона и закрыв глаза, не он, равнодушный жених, возникает перед ее мысленным взором, не Бернар, а его младшая сестренка Анна: вот она с раскрасневшимся личиком катит на велосипеде в прежние, далекие дни из Сен-Клера в Аржелуз в девятом часу утра, пока еще не настал самый зной, но уже цикады искрами перелетают от сосны к сосне и под чистейшим небом земля уже начинает обдавать жаром, как раскаленная печь, где гудит яркое пламя. Тучи мошкары поднимаются над высокими зарослями вереска. «Накинь на плечи пелеринку, а то у нас в гостиной холодно, как в погребке», — говорила Тереза, а тетя Клара добавляла: «Деточка, я, конечно, дам вам понить холодненького, но только немного погодя, когда вы остынете, вы ведь вся в поту». Анна выкрикивала глухой тете Кларе слова приветствия. «Да ты не надрывайся, милочка, она все по губам понимает»... Но Анна старательно выговаривала каждое слово, искривляя во все стороны свой маленький ротик. Тетушка отвечала невпопад, и наконец подружки, не выдержав, убегали в сад, чтобы посмеяться на свободе.

В тесном купе Тереза вспоминает эти дни своей юности, такие чистые, но исполненные неизъяснимого, трепетного блаженства, когда еще неведомо было, что эти сияющие отблески радости — единственная ее доля счастья на земле. Ничто, ничто не предвещало, что не будет у нее в жизни более светлых минут, чем те, которые она проводила в разгар жаркого лета в темной гостиной, на старом диване, обитом красным репсом, сидя рядом с Анной, когда та рассматривала фотографии в альбоме, поддерживая его коленями. Откуда же приходило тогда счастье? Разве было хоть малейшее сходство во вкусах Анны и Терезы? Анна терпеть не могла читать, любила только шить, болтать всякий вздор и смеяться. Ни о чем она всерьез не думала. А Тереза с жадностью поглощала и романы Поль де Кока, и «Беседы по понедельникам» Сент-Бева, и «Историю консульства» Тьера — словом, все, что валялось в стенных шкафах загородного дома. Ничего общего во вкусах, и только в одном были они единоподушны: обоим очень правилось быть вместе в эти знойные летние дни, когда приходилось укрываться от огня небесного в полумраке комнат. Иной раз Анна вставала посмотреть, спадает ли жара. Но едва она приоткрывала ставни, солнечный свет врывался, как струя расплавленного металла, и как будто загоралась циновка на полу, и вновь приходилось все закрывать, прятаться от жгучих лучей.

Даже к вечеру, когда солнце только понизу окрашивало в красный цвет стволы сосен и последний кузнечик неистово стрекотал у самой земли, под дубами стояла жара. Подруги усаживались у кромки ржаного поля, словно на берегу озера. Принимая переменчивые образы, над ними скользили грозовые облака; пока Тереза успевала разглядеть крылатую женщину, которую Анна увидела в небе, растаявшее видение вытягивалось в какого-то страшного зверя.

В сентябре уже можно было после полдника выйти из дому, побродить по безводному, жаждущему краю — в Аржелузе нет ни одного ручейка, нужно долго идти среди песков, пока не доберешься до истоков речки под названием Юр. Она рождается из множества родников, которые бьют в узких травянистых ложбинках среди корней ольхи. В их ледяной воде босые ноги коленели, но стоило ступням обсохнуть, их снова обжигала земля. Одна из тех «хижинок», где в октябре прячутся охотники, подстерегая вяхирей, служила Терезе и Анне убежищем от жары, не менее приятным, чем темная гостиная. Говорить им было не о чем, да и не хотелось говорить, они не обменивались ни еди-

ным словом; одна за другой проносились минуты этих долгих невинных привалов, девушки не двигались, словно боялись пошевелиться, как охотник, когда он услышит подлетающую стаю и подает спутникам знак: «Тише!» И обоим подругам казалось, что от малейшего жеста рассеется неясное и такое чистое ощущение счастья. Первой, очнувшись от дремоты, выходила из хижины и потягивалась Анна, ей не терпелось пострелять на закате солнца жаворонков. Тереза не выносила этой забавы, но шла вслед за подругой, не могла с ней расстаться. Анна снимала с гвоздя охотничье ружье, которое не отдавало при выстреле. Стоя на косогоре, Тереза смотрела, как охотница, забравшись в рожь, как будто целится в солнце, намереваясь его погасить. Тереза затыкала себе уши. Короткая ликующая трель обрывалась в синеве, и охотница подбирала раненого жаворонка, осторожно сжимала его в ладонях и, лаская губами перышки, вдруг душила его.

— Завтра приедешь?

— Ну что ты! Не каждый же день!

У Анны не было желания видиться с подругой ежедневно. На ее разумный ответ нечего было возразить. Даже самой Терезе не приходило в голову спорить, раз Анна предпочитает видиться реже. Конечно, ничто бы ей не помешало приезжать каждый день, но зачем встречаться очень уж часто. «Так в конце концов можно и опротиветь друг другу», — говорила она. Тереза отвечала: «Да... да... Главное, не насилуй себя, приезжай, только когда захочется, когда не будет ничего лучшего». Тоненькая, полудетская фигурка исчезала вдали, на темной уже дороге слышался дребезжащий звонок велосипеда.

Тереза возвращалась домой; фермеры издали кланялись ей, дети к ней не подходили. В этот час овцы вразброд паслись под дубами, и вдруг вся отара пускалась бежать, а пастух орал на них. Тетя Клара, поджидавшая племянницу на крыльце, по обыкновению глухих людей начинала говорить, говорить без умолку для того, чтобы не заговорила Тереза. Отчего становилось так тоскливо? Читать не хотелось, ничего не хотелось делать, и Тереза вновь отправлялась побродить. «Не уходи далеко, скоро ужин». Тереза выходила на дорогу, там было пустынно до самого горизонта. У порога кухни начинал звякать колокол. Пожалуй, уже пора и лампу зажигать. Тетя Клара неподвижно сидела за столом, положив крест-накрест руки на скатерть, и для этой глухой старухи тишина была столь же глубокой, как и для юной дикарки Терезы.

Бернар, Бернар, как ввести тебя в этот неясный мир, тебя, принадлежащего к породе слепцов, к безжалостной породе все упрощающих людей? «Нет,— думает Тереза,— он с первых же слов прервет меня: «Почему же вы вышли за меня замуж? Я ведь не бегал за вами...» В самом деле, почему она вышла за него? Он действительно не проявлял нетерпения. Тереза хорошо помнила, как мать Бернара, во втором браке госпожа де ла Трав, сообщала всякому встречному и поперечному: «Он прекрасно мог бы подождать, но она сама этого захотела, да, сама захотела. У нее, к сожалению, не такие принципы, как у нас, она, например, курит, дымит, как паровоз, это ее стиль. А все-таки характер у нее прямой, открытый, правдивый. Мы быстро привьем ей здоровые взгляды. Конечно, не все нам по душе в этом браке... Да, да... Вот, например, эта Беллад, ее бабка с материнской стороны... мы же знаем... Но ведь все это уже позабылось, верно? Дело тогда замяли, не довели до скандала. Скажите, пожалуйста, вы верите в наследственность? У ее отца, разумеется, дурной образ мыслей, но поведение самое похвальное, прямо святой человек. Дочери он всегда подавал только хорошие примеры. К тому же и связи у него большие, они всегда могут пригодиться. И наконец, надо же на некоторые вещи закрывать глаза. А кроме того — хотите верьте, хотите нет,— Тереза богаче нас. Просто невероятно, но это так! Да еще она преклоняется перед Бернаром, а это не повредит...»

Да, она преклонялась перед Бернаром, это ей давалось без труда. При встречах в Аржелузе — в гостиной или под дубами, у кромки ржаного поля, — ей стоило только вскинуть на него глаза, а уж он умел вызвать в ее взгляде выражение простодушной влюбленности. Видеть у своих ног такую добычу Бернару было, конечно, лестно, но это не удивляло его. «Не играй, пожалуйста, с ней,— твердила мать,— она томится».

«Я вышла за него замуж из-за того, что...» Нахмутив брови, закрыв ладонью глаза, Тереза старается вспомнить. Во-первых, сыграла роль ребяческая радость, что благодаря этому браку она станет невесткой Анны. Но радовало это главным образом самое Анну, Тереза же такие родственные связи не ставила ни во что. По правде говоря (чего тут стыдиться?), для нее было безразлично, что у Бернара имение в две тысячи гектаров. «Страсть к собственности была у нее в крови». В отцовском доме, когда после долгих трапез убирали со стола посуду и подавали спиртные напитки, Тереза зачастую оставалась в обществе мужчин и с интересом слушала их разговоры о фермах, о

фермерах, о крепежном лесе, сосновой смоле и скипидаре. Ее увлекали цифры, подсчеты. Несомненно, ее соблазняла мысль сделаться хозяйкой таких больших сосновых лесов. «Впрочем, и он тоже влюбился в мои сосны». Но, может быть, в Терезе говорило более смутное чувство, которое она сейчас пытается определить: быть может, она искала в браке не столько материального могущества, богатства, сколько убежища. Что толкнуло ее на этот брак, как не чувство страха? Юная, но практичная девушка, с детства приученная к хозяйству, она поспешила войти в подобающий для нее круг, занять в нем раз и навсегда определенное место. Она хотела укрыться от какой-то невидимой опасности. Никогда она не казалась такой рассудительной, как в пору ее помолвки с Бернаром, она стремилась вступить в семейный клан, «устроиться», войти в добропорядочный мирок, спасти себя.

В ту весну, когда их обручили, они ходили гулять по песчаной тропе, которая вела от Аржелуза к Вильмежэ. На дубах еще держались засохшие листья, темными пятнами пачкавшие небесную лазурь, побуревший прошлогодний папоротник припал к земле, а из нее уже пробивались штыки новых побегов ядовито-зеленого цвета. Бернар говорил: «Будьте осторожны, не бросайте сигарету, может случиться пожар — в ладах совсем не осталось воды». Тереза спрашивала: «А правда, что в папоротнике есть синильная кислота?» Бернар не знал, достаточно ли ее в папоротнике, чтобы отравиться. И ласково говорил: «Уж не хочется ли вам умереть?» Тереза смеялась. Он сказал, что ей надо быть проще. Терезе вспомнилось, как она закрыла глаза, а две большие руки сжали ее голову и низкий голос шепнул ей на ухо: «В этой головке, верпо, есть еще и другие ложные мысли?» Она ответила: «Вы их изгоните, Бернар». Они с любопытством смотрели, как работают каменщики, которые делали пристройку к ферме Вильмежэ. Владельцы ее, проживавшие в Бордо, предназначали эту ферму в качестве летней резиденции для своего сына, у которого была «слабая грудь». Сестра его умерла от той же болезни. Бернар презирал этих Азеведо. «Они кланутся и божатся, будто они не евреи... А стоит только посмотреть на них! Да еще все страдают чахоткой и прочими недугами». На душе у Терезы было спокойно. Скоро, к свадьбе, из монастыря Сен-Себастьян придет Анна. Она должна вместе с сыном помещика Дегилема собирать пожертвования во время венчания. Анна просила Терезу ответить ей «с обратной поч-

той» и описать в письме, как будут одеты другие подружки невесты: «Нельзя ли прислать образчики тканей? Ведь в наших общих интересах выбрать такие тона, чтобы они гармонировали друг с другом...» Никогда еще Тереза не испытывала такого душевного покоя, ей казалось, что это покой, а на самом деле то была дремота, сонное оцепенение ядовитого гада, таившегося в ее груди.

IV

Свадьба состоялась в Сен-Клере, в тесной церкви, где болтовня дам заглушала одышливую фисгармонию, а их крепкие духи перекрывали запах ладана, и в этот знойный день Тереза почувствовала, что она погибла. Она, как лунатик, вошла в клетку и вдруг очнулась, когда гроыхнула и захлопнулась тяжелая дверь. Ничего как будто не изменилось, но она поняла, что отныне уже не может погибнуть одна. В густой чаще семейных устоев и правил она будет подобна тлеющему огню, который ползет под зарослями вереска, охватывает пламенем одну сосну, потом другую, перекидывается с дерева на дерево, и вот уже пылает целый лес исполинских факелов. В толпе гостей не было ни одного лица, на ком хотелось бы остановить свой взгляд, — только Анна. Но детская радость младшей подружки стеной отделила ее от Терезы. Чего она радуется? Она не ведает, что нынче вечером их разлучит не только расстояние, но также и то, что Тереза стояла на грани мучений, ее отделяло то непоправимое, что должно было испытать ее невинное тело. Анна останется на том берегу, где пребывают чистые существа, Тереза смешается с толпой тех женщин, которые извели все. Вспомнилось, что в ризнице, когда она наклонилась поцеловать Анну, поднявшую к ней смеющееся личико, перед ней вдруг возникла бездна, вокруг которой она, Тереза, создавала целый мир туманных печалей и туманных радостей; в несколько мгновений ей открылось безмерное различие между темными силами, бурлившими в ее сердце, и простодушной, милой мордочкой, испачканной пудрой.

Еще долго после этого дня и в Сен-Клере и в городе Б. люди, толкуя об этой свадьбе Гамаша * (больше сотни фермеров и слуг пировали под дубами), всегда вспоминали, что новобрач-

* Имеется в виду описанная в «Дон Кихоте» Сервантеса пышная свадьба богатого крестьянина Гамаша.— *Здесь и далее примечания переводчиков.*

ная — «хоть и не красавица, но зато само обаяние» — всем показалась в этот день некрасивой, даже страшной. «Она сама на себя не походила, совсем другая стала...» Люди видели только то, что внешность ее изменилась, и винили в этом белое подвенечное платье, которое было ей не к лицу, винили жару — они не распознали, что видят ее истинное лицо.

В день этой полудеревенской, полугосподской свадьбы вечером группы гостей, расцвеченные яркими платьями девушек, преградили дорогу автомобилю новобрачных и проводили их шумными приветствиями. На дороге, усеянной цветами белой акации, они обгоняли выписывавшие загзаги тележки, в которых лошадьми правили подвыпившие крестьяне. Вспомнив о той ночи, что последовала за свадьбой, Тереза шепчет: «Это было ужасно...», потом спохватывается: «Да нет... не так-то ужасно...» А разве она очень страдала во время их путешествия на итальянские озера? Она играла в сложную игру «не выдавай себя». Жениха обмануть нетрудно, но мужа!.. Кто угодно может произносить лживые слова, но ложь тела требует иной науки. Не всякому удастся изображать желание, наслаждение, блаженную усталость. Тереза сумела приучить свое тело к такому притворству и черпала в этом горькую усладу. В мире неведомых ей ощущений, в который мужчина принуждал ее проникнуть, она с помощью воображения допускала, что там и для нее, возможно, есть счастье, но какое оно? Перед ней словно был пейзаж, затянутый густой сеткой дождя, и она старалась представить себе, каким он был бы при ярком солнце, — вот так Тереза открывала, что такое страсть.

И как легко было обмануть Бернара, ее спутника с пустым взглядом, всегда обеспокоенного тем, что номера картин, выставленных в музеях, не соответствуют указаниям путеводителей, довольного тем, что он в кратчайший срок увидел все, что полагалось посмотреть. Он весь уходил в наслаждение, как те очаровательные поросята, на которых забавно смотреть, когда они, хрюкая от удовольствия, бросаются к корыту. («Я стала этим корытом», — думает Тереза.) У него был такой же, как у них, торопливый, деловой, серьезный вид и такая же методичность. «А разве так можно? Разве это хорошо?» — осмеливалась иногда спросить изумленная Тереза. Он, смеясь, успокаивал ее. Где он научился классифицировать все, что касалось плотских утех, различать ласки, дозволенные порядочному человеку, от повадок садиста? Тут он никогда не проявлял ни малейшего колебания. Однажды вечером в Париже, где они оста-

повились на обратном пути, Бернар демонстративно покинул мюзик-холл, возмущаясь спектаклем, который там давали: «И подумать только, что иностранцы видят эту мерзость! Какой позор! А ведь по таким зрелищам они судят о нас!..» Терезу поразило, что этот стыдливый человек через какой-нибудь час заставит ее терпеть в темноте его мучительные изобретения.

«Бедняга Бернар, а ведь он не хуже других. Но вожделение превращает человека, приближающегося к женщине, в чудовище, совсем на этого человека не похожее. Ничто так не отдаляет нас от нашего сообщника, как его чувственное исступление. Я видела, как Бернар утопает в пучине похоти, и вся замирала, как будто этот сумасшедший, этот эпилептик при малейшем моем движении мог удушить меня. Чаще всего уже на грани последнего наслаждения он вдруг замечал, что остается тут один; мрачное неистовство прерывалось: Бернар отступал, чувствуя, что я, будто отброшенная волной на берег, лежу, стиснув зубы, холодная, ледяная».

От Анны пришло только одно письмо — она очень не любила писать, но каким-то чудом каждое ее слово было приятно Терезе: ведь в письмах мы выражаем не столько подлинные наши чувства, сколько те, какие должны испытывать, чтобы доставить удовольствие адресату. Анна жаловалась, что она не может больше ездить на велосипеде в сторону Вильмеж — теперь там живет молодой Азеведо, она лишь издали видела его шезлонг, стоявший в папоротниках, — чахоточные внушают ей ужас.

Тереза несколько раз перечитывала это письмо и не ждала от Анны других вестей, поэтому она была очень удивлена, когда на другой день после прерванного посещения мюзик-холла в обычный час доставки почты увидела на трех конвертах почерк Анны де ла Трав. Отделы «до востребования» разных почтамтов переправили супругам Дескейру в Париж целую пачку писем, так как путешественники не останавливались в некоторых городах, торопясь «вернуться в свое гнездышко», как говорил Бернар, а в действительности по той причине, что они уже не могли постоянно быть вместе: муж изнывал от скуки без своих охотничьих ружей, без своих собак, без деревенской харчевни, где подавали «удивительно приятное кисленькое винцо, какого нигде не найдешь»; а тут еще эта женщина, такая насмешливая, холодная, явно не испытывающая никакой радости на супружеском ложе и не желающая говорить об ин-

тересных вещах!.. А Терезе хотелось поскорее вернуться в Сен-Клер — так осужденному, томящемуся в пересыльной тюрьме, любопытно бывает посмотреть на тот остров, куда его сослали на вечную каторгу. Тереза с трудом разобрала на каждом из трех конвертов дату, обозначенную почтовым штемпелем, и уже хотела было распечатать самое давнее письмо, как вдруг Бернар издал глухое восклицание и крикнул ей что-то — слов она не расслышала: окно было отворено, и как раз на этом перекрестке автобусы с ревом меняли скорость. Бернар отложил бритву и углубился в чтение письма матери. Тереза как сейчас видит его летнюю рубашку с короткими рукавами, обнаженные мускулистые руки, до странности белые, и внезапно побагровевшие шею и лицо. В это июльское утро уже стояла душная жара, солнце, сиявшее в закопченном небе, подчеркивало, как грязны видневшиеся перед балконом фасады старых домов. Бернар подошел к Терезе и крикнул:

— Ну это уж просто безобразие! Хороша твоя любимица! Ну и Анна! Кто бы мог подумать, что моя сестрица выкинет такую штуку!..

И в ответ на вопрошающий взгляд Терезы сказал:

— Представь себе, влюбилась в молодого Азеведо! Да, влюбилась в этого чахоточного юнца, для которого родители сделали пристройку в Вильмежэ... И кажется, дело тут серьезное... Она заявляет, что дождетсЯ своего совершеннолетия и выйдет за возлюбленного... Мама пишет, что девчонка совсем сошла с ума. Только бы Дегилемы не узнали. А то молодой Дегилем, чего доброго, пойдет на попятный и не посватается! Ты получила письма? Это от нее? Ну, сейчас все узнаем. Распечатай поскорее.

— Хочу прочесть все три письма по порядку. И к тому же я не собираюсь показывать их тебе.

Даже тут сказАлся ее характер — вечно она все усложняет. Но, в общем, важно только одно — чтобы она образумила девчонку.

— Мои родители рассчитывают на тебя, ты ведь имеешь огромное влияние на Анну. Да-да, не спорь. И они ждут тебя как свою спасительницу.

Пока Тереза одевалась, он пошел отправить телеграмму и заказать два билета на Южный экспресс. Терезе он посоветовал начать укладываться.

— Да почему ты не читаешь письма этой дурочки?

— Жду, когда ты уйдешь.

Еще долго после того, как он затворил за собой дверь, Тереза лежала на диване и курила, уставясь глазами в золотые, но уже потускневшие буквы большой вывески, укрепленной на балконе противоположного дома. Наконец она разорвала первый конверт. Нет-нет, не может быть, чтобы это писала ее маленькая глупенькая Анна, воспитанница монастырского пансиона, ограниченная девочка! Разве могли из-под ее пера вырваться такие пламенные слова! Нет, не могла из ее черствого сердца — а ведь Тереза догадывалась, что у Анны черствое сердце — излиться эта Песня песней, эта исполненная счастья жалоба женщины, захваченной страстью, умирающей от восторга при первом любовном прикосновении.

«...Когда я его встретила, то просто не могла поверить, что это он: ведь он бегал, играя с собакой, он весело кричал. Нельзя было и вообразить, что это тяжело больной человек. Конечно, он вовсе не болен, родные просто стараются побережь его, потому что в их семье были трагические случаи. Он даже не кажется хрупким, а, скорее, худеньким. И знаешь, он привык, чтобы его баловали, лелеяли. Ты меня не узнала бы: ведь это я приношу и накидываю ему на плечи пелерину, когда спадает жара...»

Если бы Бернар вернулся в эту минуту и вошел в номер, он удивился бы, увидев свою жену, сидевшую на постели, — это была какая-то незнакомка, странная, не похожая на Терезу женщина. Она нервно бросила сигарету, разорвала второй конверт.

«...Я буду ждать сколько понадобится, меня не запугают никакими запретами, моя любовь их и не чувствует. Меня теперь не выпускают из Сен-Клера, но ведь Аржелуз не так-то от него далеко, и мы с Жаном прекрасно можем встречаться. Помнишь нашу с тобой охотничью хижинку? Выходит, что это ты, дорогая, заранее выбрала место, где мне довелось испытать такое счастье. Только ты, пожалуйста, не подумай, будто мы делаем что-то дурное. Он такой деликатный. Ты и понятия не имеешь о юношах, подобных ему. Он много учился, много читал (так же, как ты), но у молодого человека это не раздражает меня, и мне ни разу не приходило желания поддразнить его. Ах, как бы я хотела быть такой же ученой, как ты! Душенька моя, как ты, должно быть, наслаждаешься теперь, когда извела блаженство, мне еще не знакомое, и как же должно быть велико это блаженство, если я вся трепещу, едва приближаюсь к нему! Когда мы с Жаном встречаемся в охотничьей хижине (той самой, в которую ты приносила с собой наш полдник), когда он

обнимает меня и рука его замирает на моей груди, а я прикладываю ладонь к его груди — там, где бьется сердце (он называет это «последней дозволенной лаской»), меня охватывает чувство счастья, такого осязаемого, что, право, я, кажется, могла бы потрогать его. И все же мне думается, что за пределами этой радости есть что-то, какая-то иная радость. И когда Жан, весь бледный, уходит, воспоминание о наших ласках, ожидание того, что будет завтра, опьяняет меня, и я бываю глуха к жалобам, мольбам и оскорблениям моих близких — ведь эти жалкие люди не знают и никогда не знали... Прости меня, дорогая, я говорю тебе о счастье, как будто и ты еще не познала его; но ведь я совсем новичок по сравнению с тобой, и я уверена, что ты будешь за нас с Жаном — против наших мучителей».

Тереза разорвала третий конверт, в нем была короткая, наспех набросанная записка:

«Приезжай скорей, дорогая. Они нас разлучили, меня стерегут. Они воображают, что ты встанешь на их сторону. Я им сказала, что положусь на твое суждение. Сейчас я тебе все объясню: он не болен... Я счастлива и страдаю. Я счастлива, что страдаю из-за него, и радуюсь его страданиям — ведь они доказывают, что он любит меня...»

Дальше Тереза не стала читать. Всовывая листок обратно в конверт, она обнаружила там не замеченную прежде фотографию. Подойдя к окну, она стала пристально вглядываться в снимок, запечатлевший юношу с такими густыми волосами, что голова его казалась слишком большой. Тереза узнала на снимке то место, где он был сделан: знакомый пригорок, где Жан Азеведо стоял, гордо выпрямившись, подобно библейскому Давиду (позади простирались ланды, где паслись овцы). Куртку он перекинул через руку, ворот рубашки был расстегнут... («Он называет это «последней дозволенной лаской...»») Тереза подняла глаза и удивилась, увидев в зеркале выражение своего лица. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы разжать стиснутые зубы, проглотить слюну. Она смочила одеколоном лоб и виски. «Итак, Анна изведала счастье любви... А что же я? А как же я? Почему не я?» Фотография осталась на столе, рядом блестела булавка...

«Я это сделала... Да, сделала...» В тряском поезде, вдруг ускорявшем ход на спусках, Тереза твердит про себя: «Да, я так сделала. Два года назад в номере гостиницы я взяла и вонзила булавку в фотографию, в то место, где у человека сердце, и сделала это не в ярости, а спокойно, словно так и полагалось

поступить, потом разорвала пронзенную фотографию на клочки, бросила их в уборную и спустила воду».

Вернувшись, Бернар обрадовался, что у жены серьезный вид, словно она поразмыслила без него и выработала план действий. Умная женщина. Только напрасно она так много курит, отравляет свой организм! По мнению Терезы, не стоило придавать большого значения капризам юной девушки. Нетрудно будет ее образумить... Бернару приятно было слышать успокоительные слова, приятно было сознавать, что в кармане у него лежат билеты на обратный путь, а главное, ему льстило, что его родные уже прибегают к помощи его жены. Он заявил, что сколько бы это ни стоило, но на прощание он непременно свез жену позавтракать в хорошем ресторане в Булонском лесу. В такси же он без умолку говорил о своих планах на охотничий сезон: ему не терпелось попробовать собаку, которую натаскивал для него в Аржелузе егерь Бальон. Мать пишет, что благодаря прижиганиям его лошадь больше не хромает. В ресторане было еще немного народу; бесчисленная армия официантов внушала им некоторую робость. Тереза до сих пор помнит характерный запах, стоявший в этом ресторане: тут пахло геранью и всякими закусками. Бернар никогда еще не пил рейнвейна: «Вот черт, его тут не держат!». Но что ж поделаешь, ничего, не каждый же день праздник! Широкая спина Бернара закрывала зал от глаз Терезы. За большими зеркальными окнами скользили и останавливались автомобили, бесшумно, как в кино. Тереза видела, как около ушей Бернара перекачивались желваки, она знала, что это сокращаются височные мышцы. Сразу же после первых глотков вина лицо у Бернара побагровело: этому красивому малому, выросшему в деревне, уже несколько недель не хватало простора, движений, от которых быстрее сгорает в организме ежедневная порция пицци и спиртных напитков. Тереза не чувствовала к нему ненависти, но как ей хотелось остаться одной, подумать о своей муке, припомнить, где ей было особенно тяжело, ну, просто почувствовать, что Бернара нет рядом с нею, что не нужно заставлять себя есть, улыбаться, следить за выражением своего лица, стараться притупить взгляд, а свободно предаться тайному отчаянию: твоя подруга бежала с необитаемого острова, где она, как ты воображала, должна была томиться возле тебя до конца жизни; она перелетела через бездну, отделяющую тебя от других людей, соединилась с ними, словом, живет теперь на другой планете... Да

нет, какая уж там «другая планета»! Анна всегда принадлежала к миру несложных натур. В дни их одиноких каникул Тереза подолгу всматривалась в ее юное лицо, когда девочка спала, положив голову ей на колени. Обманчивый облик! Подлинную Анну де ла Трав она никогда не знала — ту Анну, которая теперь бежит на свидания к Жану Азеведо в заброшенную охотничью хижину, затерявшуюся между Сен-Клером и Аржелузом.

— Что с тобой? Почему ты не ешь? Не надо им ничего оставлять, просто жаль оставлять, когда дерут такие деньги. Может, тебе плохо от жары? Чего доброго, в обморок упадешь? А может, тебя мутит? Уже?

Тереза улыбнулась — улыбнулись только ее губы. Сказала, что она думает о похождениях Анны (надо было упомянуть об Анне). Бернар ответил, что теперь он вполне спокоен, раз Тереза взяла это дело в свои руки, и тогда она спросила, а почему его родители противятся этому браку. Он решил, что она смеется над ним, и попросил ее «не говорить парадоксов».

— Во-первых, как тебе известно, эти Азеведо — евреи. Мама хорошо знала старика Азеведо — того самого, который отказался креститься.

Но Тереза ответила, что в Бордо люди, носящие старинные фамилии португальских евреев, принадлежат к весьма родовитым семьям.

— Азеведо уже были очень важными особами, когда наши предки, нищие пастухи, тряслись от лихорадки среди своих болот.

— Послушай, Тереза, ведь ты согласишься просто из духа противоречия. Все евреи — одного поля ягоды... Да к тому же все эти Азеведо вырожденцы, все насквозь туберкулезные, каждому это известно.

Она зажгла сигарету размашистым движением, которое всегда шокировало Бернара.

— А вспомни-ка, Бернар, отчего умерли твой дед и твой прадед? А когда ты женился на мне, ты поинтересовался, от какой болезни скончалась моя мама? Неужели ты полагаешь, что в твоём роду и в моём тоже нет ни чахоточных, ни сифилитиков? Найдутся, друг мой, найдутся — да ещё в таком количестве, что можно заразить весь мир.

— Позволь тебе сказать, Тереза, что ты заходишь слишком далеко! Даже в шутку, даже для того, чтобы подразнить меня, ты не должна касаться нашей семьи.

Он был уязвлен, он гордо выпятил грудь, ему хотелось одержать верх и не показаться Терезе смешным. Но она все не сдавалась.

— И мое и твое семейства просто нелепы со своей близорукой осторожностью. Они приходят в ужас от всем известных недугов, но совершенно равнодушны к гораздо более многочисленным, но скрытым изъянам души и тела. Ты вот употребляешь иногда выражение «секретные болезни», верно? Самые опасные для потомства болезни как раз и остаются секретными; в наших семьях о них никогда не думают, ведь наши родные прекрасно умеют прикрывать, прятать семейную грязь; если б не слуги, никто бы ни о чем и не подозревал. К счастью, существуют слуги...

— Я не стану тебе отвечать; когда ты закусишь удила, лучше подождать, пока ты выдохнешься. Со мной это еще полбеды — я же знаю, что ты шутишь. Но у нас дома это не пройдет. Мы не любим шуточек, которые затрагивают честь семьи.

Семья! Тереза потушила сигарету и уставилась взглядом в одну точку. Она видела перед собой клетку с бесчисленными живыми прутьями решетки — клетку, где кругом уши и глаза. И там она, Тереза, сидит, скорчившись в углу, обхватив руками колени, уткнувшись в них подбородком, и так и будет сидеть, дожидаясь смерти.

— Ну, Тереза, очнись! Если бы ты видела, какое у тебя сейчас лицо!

Она улыбнулась, снова надела маску.

— Да это я просто так... Ты совсем дурачок, дорогой мой.

Но когда ехали обратно в такси и Бернар прижимался к ней, она рукой отстраняла, отталкивала его.

В этот последний вечер перед возвращением в родные края они легли спать в девять часов. Тереза приняла таблетку, но напрасно ждала она сна — сон все не приходил. На мгновение она забылась в темноте, но тут Бернар, пробормотав что-то невнятное, повернулся и она ощутила, как его большое и горячее тело прижалось к ней; она оттолкнула его и, чтобы избавиться от этих жарких прикосновений, вытянулась на самом краешке постели, но через несколько минут он вновь перекатился к ней, словно его тело бодрствовало, даже когда спало сознание, и даже во сне искало свою привычную добычу. Резким толчком, от которого он, однако, не проснулся, она вновь отстранила его... Ах, если бы отстранить его раз и навсегда! Сбросить с постели куда-то в темноту.

В ночном Париже перекликались автомобильные гудки, как лунными ночами перебрехивались в Аржелузе собаки, как пели наперебой петухи, и ни малейшей прохлады не вливалось с улицы.

Тереза зажгла лампу и, опершись локтем о подушку, внимательно вглядывалась в человека, неподвижно лежавшего возле нее, — в молодого мужчину, которому шел двадцать седьмой год; сбросив с себя легкое одеяло, он спал так спокойно, что даже не слышно было его дыхания; взлохмаченные волосы падали ему на лоб, еще гладкий, на виски без единой морщинки. Он спал, этот безоружный и нагой Адам, спал глубоким и как будто вечным сном; жена набросила одеяло на это неподвижное тело, поднялась с постели, нашла письмо, которое она не дочитала, подвинулась ближе к лампе.

«Если бы он захотел, чтобы я убежала из дому, я бы все бросила и бежала с ним без оглядки. Мы останавливаемся на краю, на самом краю «дозволенной ласки» — останавливаемся по его воле, а не потому, что я сопротивляюсь, вернее, это он сопротивляется, а я хотела бы перейти ту неведомую мне последнюю черту, о которой он говорит, что одно уж приближение к ней — несказанное блаженство; послушать его, так надо всегда оставаться по эту ее сторону, он гордится тем, что умеет остановиться на наклонной плоскости, тогда как другие удержаться уже не в силах и катятся вниз».

Тереза растворила окно, разорвала три письма на мелкие клочки, наклонилась над каменной пропастью, где в этот пред-рассветный час слышался только стук колес ручной тележки. Обрывки бумаги, кружась в воздухе, падали на балконы нижних этажей. Тереза вдохнула свежий запах зелени. Откуда, из каких полей принес его ветер в эту асфальтовую пустыню? Тереза представила себе, как упала бы она на мостовую, разбилась насмерть и вокруг ее тела засуетились бы люди — полицейские и ночные бродяги... «Нет, Тереза, у тебя слишком много воображения, ты не покончишь с собой». Да, по-настоящему ей и не хотелось умереть, ее призывала неотложная задача, и выполнить ее нужно было не из мести, не из ненависти, но для того, чтобы проучить эту юную дурочку из Сен-Клера, поверившую в возможность счастья. Пусть она узнает, так же как сама Тереза, что счастья на земле не существует. Если у Терезы нет с Анной ничего общего, пусть общим для них будет только это — тоска, отсутствие высокой цели, высокого долга, и пусть ждет их только низменная, будничная обыденность и безутеш-

ное одиночество. Уже заря осветила кровли. Тереза вновь вытянулась на своем ложе около спящего мужа, но, лишь только она легла, он тотчас подошел к ней.

Проснувшись она с ясной головой, спокойная, рассудительная. Зачем заглядывать так далеко? Семья зовет ее на помощь, и надо действовать сообразно требованиям семьи, так будет надежнее, по крайней мере не сойдешь с правильного пути. И Тереза соглашалась теперь с Бернаром, когда он в сотый раз доказывал, что, если брак Анны с молодым Дегилемом расстроится, это будет просто катастрофа. Дегилеми люди не их круга, у них дед был пастухом... но ведь у них лучшие во всем краю сосновые леса; Анна же, в конце концов, не так уж богата — от отца ей печего ждать, кроме виноградников в болотистой низине около Лангона, их чуть не каждый год затопляет! Анне ни в коем случае не следует упускать такого жениха, как Дегилем. От запаха шоколада Терезу за завтраком мутило, эта легкая тошнота подтверждала другие признаки: беременна, уже! «Лучше сразу же завести ребенка, — сказал Бернар, — потом можно будет и не думать об этом», и он уважительно посмотрел на женщину, носившую во чреве своем его будущего наследника, единственного владельца бесчисленных сосен.

V

Скоро Сен-Клер! Сен-Клер... Тереза измеряет мысленным взором путь, который прошла в воспоминаниях. Удастся ли ей довести Бернара хотя бы до этого рубежа? Трудно надеяться, что он согласится проделать весь этот извилистый путь таким медленным шагом, ведь ничего существенного она еще не успела сказать. «Когда я вместе с ним дойду до того перевала, до которого добралась, мне еще столько останется ему открыть». И она задумывается над загадкой собственной своей души, она вопрошает ту молодую замужнюю даму, чье благоразумие все так хвалили, когда она поселилась в Сен-Клере; ей вспоминаются первые недели, прожитые в прохладном и темноватом доме родителей Бернара. Ставни тех окон, которые выходят на городскую площадь, всегда закрыты, но слева за решеткой виден сад, пламенеющий гелиотропами, геранью, петуниями. Тереза служила доверенным лицом, посредницей между супругами де ла Трав, укрывавшимися от солнца в полумраке маленькой гостиной первого этажа, и Анной, бродившей по дорожкам сада, из

которого ей запрещалось выходить. Тереза говорила родителям: «Будьте помягче, кое в чем уступите ей, предложите, например, поехать с вами попутешествовать, прежде чем она примет какое-либо решение. Я добьюсь, что она согласится поехать. А в ваше отсутствие я кое-что предприму». Супруги де ла Трав считали желательным, чтобы Тереза встретилась с молодым Азеве-до. «От любовой атаки ничего хорошего нельзя ждать, мама», — говорила Тереза. По мнению госпожи де ла Трав, никакие слухи, слава богу, еще не просочились. Одна только мадемуазель Моно, почтовая служащая, в курсе дела — она перехватила несколько писем Анны, «но эта девица будет нема как могила. Она у нас в руках и болтать не посмеет».

«Надо избавить бедную девочку от лишних страданий», — говорил Гектор де ла Трав. И все же он, отец, еще недавно готовый исполнить любой, самый неленый каприз Анны, теперь вполне соглашался с женой: «Что поделаешь, лес рубят — щепки летят», или говорил: «Когда-нибудь она нам еще спасибо скажет». Так-то оно так, но что, если она заболит? Супруги умоляли, и глаза у обоих затуманивались, — несомненно, они мысленным взором следили за своей дочерью, видели, как бродит по солнцепеку их исхудавшая девочка, которая с отвращением отказывается от пищи; она ходит по саду, не замечая, что тончет цветы на клумбах, жметя к решетке, как дикая козочка, ищет лазейку. Госпожа де ла Трав говорила, покачивая головой: «Не могу же я вместо нее пить мясной сок, верно? В саду она наедается фруктов — только чтоб за столом ничего не есть». А Гектор де ла Трав утешал себя: «Если бы мы дали согласие, она сама бы потом упрекала нас, хотя бы из-за того, что наплодила несчастных детей». Жена сердилась — зачем он как будто ищет оправданий? Хорошо, что Дегилемы еще не вернулись. И по счастью, им безумно хочется женить сына на нашей Анне... А дождавшись, когда Тереза выйдет из комнаты, они спрашивали друг друга: «И чем только этим девочкам забивают головы в монастыре? Ведь дома-то у нее перед глазами хорошие примеры, и мы всегда следили, какие она книги читает. Тереза говорит, что сильнее всего могут вскружить голову молоденьким девушкам назидательные романы из «Розовой библиотеки», но Тереза всегда сыплет парадоксами. К тому же Анна, слава богу, не такая уж страстная любительница чтения, мне никогда не приходилось делать ей замечаний на этот счет. Она может стать превосходной семьянишкой. Право, если нам удастся уговорить ее поехать с нами, переменить обстанов-

ку... Ты помнишь, как ей помогли морские купания, когда мы повезли ее в Сали, после того как она болела корью и бронхитом? Поедем, куда она захочет, вот именно — куда захочет. Бедная наша девочка, так ее жаль!» Господин де ла Трав, вздыхая, говорил вполголоса: «Эх, какая уж ей радость путешествовать с нами!» «Что ты сказал?» — переспрашивала жена — она уже стала туга на ухо. «Ничего, ничего», — отвечал он. Но не вспомнилось ли этому старику, уютно расположившемуся в богатом доме жены, не вспомнилось ли ему вдруг путешествие с любимой женщиной, блаженные часы его молодой влюбленности?

В саду Тереза разыскивала Анну. Бедняжка так исхудала, что прошлогодние платья висели на ней как на вешалке. «Ну, что?» — громко кричала она, заметив подругу. Пепельно-серый гравий на дорожках, высохшая, шуршащая под ногами трава, запах опаленной солнцем герани и эта юная девушка, казавшаяся в знойный августовский день более чахлой, чем сжигаемые солнцем цветы, — от всего этого у Терезы больно сжималось сердце. Иной раз грозовой ливень вынуждал их укрыться в оранжерее; крупные градины стучали по стеклам.

— Ну почему же тебе не поехать? Ведь все равно ты не видишь его.

— Да, я не вижу его, но знаю, что он близко, всего в десяти километрах отсюда. Я знаю, что, когда ветер дует с востока, он слышит церковный благовест в то же самое время, что и я. Разве тебе все равно, где будет Бернар — в Париже или в Аржелузе? Я не вижу Жана, но знаю, что он недалеко. В воскресенье, за мессой, я даже не пытаюсь повернуть голову и посмотреть, нет ли его в церкви, — с наших мест виден только алтарь, и толстая колонна отгораживает нас от всех. Но при выходе...

— В прошлое воскресенье его не было?

Тереза знала, что его не было, и знала, что Анна, которую тянула за руку мать, тщетно искала в толпе любимое лицо: Жана не было.

— Может, он нездоров... Может, его письма перехватывают. Мне ничего не известно.

— Странно все-таки, что он не находит возможности передать тебе записку.

— Если бы ты захотела, Тереза... Да нет... Я же знаю, что ты в щекотливом положении.

— Согласись поехать в путешествие, и без тебя, может быть, мне удастся...

— Я не могу отправиться куда-то далеко от него.

— Да ведь он все равно уедет отсюда, детка. Через несколько недель его не будет в Аржелузе.

— Ах, замолчи! Это нестерпимая мысль. И ни единой весточки от него! Я не могу так жить. Я уже едва дышу. Чтобы не умереть, я должна поминутно вспоминать его слова, которые наполняли меня радостью. Но я столько раз их твердила, что теперь уже не уверена, действительно ли он говорил их. Нет, погоди, при нашей последней встрече он сказал слова, которые до сих пор звучат у меня в памяти: «В моей жизни нет никого, кроме вас...» Да, он именно так и сказал, а ведь это значит: «Вы — самое дорогое для меня в жизни...» Не могу в точности вспомнить.

Сдвинув брови, она словно вслушивалась в эхо этих утешительных слов и до бесконечности расширяла их значение.

— А какой он с виду, этот юноша?

— Ты представить себе не можешь!

— Неужели он совсем не похож на других молодых людей?

— Я хотела бы описать его тебе, но не могу найти слов...

В конце концов, он, возможно, показался бы тебе самым обыкновенным. Но я-то знаю, что это совсем не так.

Она уже и сама не могла сказать, что именно отличает его от других, он был озарен ослепительным светом ее любви к нему. «А меня, — думала Тереза, — страсть сделала бы еще более зоркой, от моих глаз ничто не ускользнуло бы в том человеке, которого бы я полюбила».

— Тереза, если я соглашусь поехать, ты увидишься с ним? Передашь мне его слова? Будешь пересылать ему мои письма? Если я поеду, если у меня хватит мужества поехать...

Тереза уходила, покидала это царство света и зноя и вновь проскальзывала, словно темная оса, в кабинет, где сидели родители Анны, выжидая, чтобы спала жара, а их дочь уступила. Много понадобилось этих посреднических переговоров, чтобы Анна согласилась наконец поехать с родителями. И вероятно, Терезе так и не удалось бы ее уговорить, если бы не известие о скором возвращении Дегилемов. Анна затрепетала перед этой новой опасностью. Тереза убеждала ее, что молодой Дегилем не только богатый жених, но, «пожалуй, и недурен собой».

— Да что ты, Тереза! Я и глядеть на него не хочу, он в очках, плешивый, старый.

— Ему двадцать девять лет.

— Ну я же и говорю — старый! Да и все равно, старый или не старый...

И вот наконец за ужином супруги де ла Трав заговорили о Бпаррице, забеспокоились, в какой там устроиться гостинице. Тереза наблюдала за Анной — оцепеневшая, безмолвная, тело без души. «Ну заставь же себя, пожалуйста, съесть что-нибудь... ведь можно же заставить себя...» — твердила госпожа де ла Трав. Анна машинально подносила ложку ко рту, ни искорки света в глазах. Никто и ничто для нее не существовало, кроме отсутствующего... Иногда губы ее чуть трогала улыбка: ей вспоминалось какое-нибудь его слово, ласка, которую он дарил ей в «хижине», затерявшейся среди зарослей вереска, тот случай, когда Жан Азеведо неосторожным движением чуть порвал ей блузку. Тереза смотрела на Бернара, склонившегося над тарелкой; так как он сидел спиной к свету, ей не видно было его лица, но она слышала, как он неторопливо жует, перемалывает челюстями пищу, священнодействует... Она спешила встать из-за стола. Свекровь говорила: «Она хочет, чтобы окружающие ничего не замечали. Я бы с удовольствием побаловала ее, но она не любит, чтобы за ней ухаживали. А такого рода недомогания вполне естественны, раз она в положении. Бывает и хуже. Но что ни говорите, а она ужасно много курит. — И госпожа де ла Трав пускалась в воспоминания о своей первой беременности: — Помню, когда я ждала тебя, Бернар, мне непременно нужно было нюхать резиновый мячик — только благодаря этому меня переставало выворачивать наизнанку».

— Тереза, ты где?

— Здесь, на скамейке.

— Ах да, вижу огонек твоей сигареты.

Анна присела рядом, прислонилась головой к неподвижному плечу Терезы и, глядя на небо, сказала: «Он видит эти звезды, слышит звон к вечерне... — И еще она сказала: — Поцелуй меня, Тереза». Но Тереза не наклонилась к доверчиво прильнувшей к ней головке. Только спросила:

— Тяжко тебе?

— Нет, нынче вечером не тяжело! Я поняла, что так или иначе встречусь с ним. Теперь я спокойна. Главное, чтоб он это знал, а он это узнает от тебя. Я решила согласиться на поездку.

Но, когда вернемся, я через каменные стены пройду, рано или поздно брошусь к нему на грудь — в этом я уверена, как в том, что я живу на свете. Нет, Тереза, нет, хоть ты по крайней мере не читай мне нотаций, не говори о семье...

— А я и не думаю о семье, детка, я о нем думаю: нельзя же так вот врываться в жизнь человека, у него ведь тоже есть отец, мать, свои интересы, есть работа, есть, может быть, любовная связь...

— Нет, он мне сказал: «Кроме вас, у меня никого нет на свете...» А в другой раз так говорил: «Наша любовь — вот единственное, чем я дорожу сейчас».

— «Сейчас»?

— Ну что ты вообразила? Неужели ты думаешь, что он хотел сказать «в этот час»?

Терезе уже не нужно было спрашивать Анну, тяжело ли ей: она знала, что девочка, сидящая рядом, в темноте, страдает, но не испытывала к ней жалости. Почему ее надо жалеть? Ведь так сладостно тихонько повторять имя какого-то человека, которого ты полюбила, и верить, что ваши сердца неразрывно связаны. Одна уж мысль, что он существует, живет, дышит, вечером засыпает, положив голову на согнутую руку, что он просыпается на заре, словно его молодое тело разрывает дымку утреннего тумана...

— Ты плачешь, Тереза? Это из-за меня ты плачешь? Ты, стало быть, любишь меня.

Девушка опустила на колени, прижалась головой к боку Терезы и вдруг выпрямилась:

— Послушай, меня что-то толкнуло. Там что-то движется.

— Да, вот уже несколько дней, как он шевелится.

— Ребенок?

— Да, он уже живой.

Они вернулись домой обнявшись, как ходили когда-то по пизанской, по аржелузской дороге. Тереза вспоминает, что трепещущая у нее под сердцем ноша внушала ей тогда страх: сколько страстей, сокрытых в самой глубине ее естества, должно перейти к этому бесформенному зародышу! Ей не забыть, как она, не зажигая огня, сидела в тот вечер у раскрытого окна в своей комнате (Бернар крикнул ей, когда она еще была в саду: «Не зажигай света, комары налетят!»). Она считала, сколько месяцев осталось до рождения ребенка. Ей хотелось верить в бога и вымолить у него, чтобы это неведомое существо, которое она еще носит во чреве, никогда не появлялось бы на свет.

Странно, что дни, потянувшиеся вслед за отъездом Анны и супругов де ла Трав, вспоминаются ей теперь как пора тупого оцепенения. Было решено, что, оставшись в Аржелузе, она найдет какой-нибудь способ воздействовать на этого Жана Азеведо, чтобы заставить его выпустить из когтей добычу, но она ничего для этого не делала — ее тянуло ко сну, к покою. Бернар согласился на это время поселиться в Аржелузе, и даже не в своем доме, а у Лароков, так как там было удобнее, а кроме того, там жила тетя Клара, что избавляло их от всех хозяйственных хлопот. Но что было Терезе до чужих людей? Пусть сами разбираются в своих делах. А ей бы так вот и жить в дремотном бездействии, пока она не разрешится от бремени. Ее возмущало, зачем Бернар каждое утро напоминает ей, что она обещала потолковать с Жаном Азеведо. И она обрывала его: она уже с трудом переносила общество мужа. Возможно, что в ее раздражительности повинна была, как полагал Бернар, ее беременность. А сам Бернар тогда испытывал первые приступы мнительности, свойственной людям такого склада, хотя редко бывает, чтобы она проявлялась у них раньше тридцати лет. Его преследовал страх смерти, удивительный у такого креныха и здоровяка. Но что можно было ему ответить, когда он страдальчески говорил: «Вы не знаете, что я чувствую...» У этих чревоугодников, у этих потомков праздных и упитанных людей тело только с виду кажется могучим. Посадите сосну в плодородную, удобренную почву, она станет расти очень быстро, но скоро сердцевина дерева начнет гнить, и сосну, как будто в полной ее красе, придется срубить. «Это у вас нервное», — успокаивали Бернара, но он-то хорошо чувствовал роковую трещину — «раковину», таящуюся в металле. И эта мнительность вдруг дала себя знать: он перестал есть, лишился аппетита. «Почему же ты с врачами не посоветуешься?» Он с притворным равнодушием пожимал плечами — в действительности же неопределенность меньше страшила его, чем возможный смертный приговор. Ночами Тереза иногда просыпалась от его хриплых стонов. Он брал жену за руку и прикладывал ее ладонь к своей груди, чтобы Тереза слышала, с какими перебоями стучит у него сердце. Тереза зажигала свечу, вставала и капала валерьянку в стаканчик с водой. «Ведь это, в сущности, случайность, что валерьянка — целебное средство, — думала она. — Почему бы ей не быть смертельным

ядом? Ведь, кроме вечного сна, ничто нас не успокоит, ничто не может по-настоящему усыпить. Почему же этот нытик так боится смерти? Ведь она бы раз и навсегда его успокоила». Бернар засыпал раньше ее. Каково было ей ждать сна, лежа рядом с этим крупным телом, слушать, как его храп порою переходил в тоскливый стон. Слава богу, теперь Бернар ее не домогался — из всех физических усилий плотская любовь казалась ему самой большой угрозой для сердца. На заре кричали петухи, будили людей на фермах. Восточный ветер доносил из Сен-Клера благовест — там звонили к заутрене. Тереза смыкала наконец глаза. Но тогда вскакивал лежавший рядом с нею муж, поспешно одевался, умывался по-крестьянски, едва ополаскивая лицо холодной водой. Потом, прощмыгнув в кухню, как голодная собака, вытаскивал из кладовой остаток вчерашнего ужина и завтракал наспех, обглаживая остов курицы, быстро прожевывая ломти холодного жаркого, или просто закусывал гроздью винограда и коркой хлеба, натертой чесноком, и этот торопливый завтрак был для него единственной приятной едой за весь день. Он бросал куски собакам — Фламбо и Диане, и они, щелкая зубами, подхватывали подачку на лету. Туман приносил с собою запахи осени. То были часы, когда Бернар переставал страдать и вновь чувствовал в себе всемогущие силы молодости. Скоро полетят вяхири — надо заняться мапками, привадами, у которых выколоты глаза. В одиннадцать часов он возвращался домой и приходил в спальню, когда Тереза еще была в постели.

— Ну что? Как с этим Азеведо? Ты же знаешь, что мать ждет в Биаррице вестей от паса.

— А как твое сердце?

— Не говори ты мне о сердце! Вот спросила, и я опять стал его чувствовать. Разумеется, это доказывает, что тут все на нервной почве... Ты ведь тоже думаешь, что это нервное?

Тереза никогда не отвечала так, как ему хотелось:

— Откуда мне знать? Ведь только тебе одному известно, что ты испытываешь. Твой отец умер от грудной жабы, но это, разумеется, еще не значит, что и у тебя... тем более в твоём возрасте. Конечно, сердце — слабое место у всех Дескейру. До чего ты смешон, Бернар, со своим страхом смерти! Неужели у тебя не бывает, как у меня, например, чувства нашей полной бесполезности? Нет? Тебе не кажется, что жизнь таких людей, как мы, удивительно похожа на смерть?

Бернар пожимал плечами. Она раздражала его своими парадоксами. Дело нехитрое показывать свое остроумие, надо только все говорить наперекор здравому смыслу. Но зря Тереза тратит на него порох, добавляя он, лучше поберегла бы его для разговора с молодым Азеведо.

— Тебе известно, что в середине октября он уезжает?

В Вилландро, последней станции перед Сен-Клером, Тереза размышляет: «Как убедить Бернара, что я вовсе не была влюблена в этого юношу? Он наверняка вообразит, что я влюбилась без памяти. Как все слепцы, которым любовь совсем неведома, он должен вообразить, что такое преступление, как то, в котором меня обвиняют, может объясняться только любовной страстью». Надо, чтобы Бернар понял, что в ту пору она была еще далека от ненависти к нему, хотя зачастую он был ей противен; однако ей и в голову не приходила мысль, что другой мужчина казался бы ей милее. В конце концов, Бернар был не так уж плох. Она терпеть не могла создаваемые в романах образы необыкновенных личностей, какие никогда не встречаются в жизни.

Из всех, кого она знала, незаурядным человеком она считала только своего отца. Она старалась приписать какое-то душевное величие этому упрямому, недоверчивому радикалу, который сразу ставил на несколько лошадок: он был и помещик, и промышленник (кроме лесопилки в Б., он еще занимался на своем заводе в Сен-Клере переработкой смолы, добывавшейся в собственных его владениях и в сосняках его многочисленной родни). Главным же занятием господина Ларока была политика, и, хотя его резкость вредила ему, в префектуре к нему прислушивались. А как он презирал женщин, даже Терезу — еще в те времена, когда все восхищались ее умом. А со времени семейной драмы у его дочери он твердил адвокату: «Все они идиотки или истерички». Этот антиклерикал любил выставлять себя человеком целомудренным. Хоть он и напевал иногда какую-нибудь песенку Беранже, но терпеть не мог, когда при нем затрагивали в разговоре некоторые темы, и густо краснел тогда, как юноша. Бернар слышал от де ла Трава, что господин Ларок женился девственником. «И знакомые уверяют меня, что и теперь, когда он давно уж вдовее, у него нет любовницы. Оригинальнейший папаша!» Ну да, оригинальнейший. Но если вдали от отца Тереза создавала приукрашенный его образ, то при свидании с ним она сразу чувство-

вала всю его будничность. В Сен-Клере он бывал редко, чаще приезжал в Аржелуз, так как не любил встречаться с супругами де ла Трав. Хотя по уговору в доме запрещалось говорить о политике, но при них за обедом, как только подавали суп, начинался нелепый спор, вскоре становившийся злобным. Терезе было стыдно вмешиваться в это, и она из гордости не открывала рта, пока спор не затрагивал религии. Тут уж она не выдерживала и бросалась на помощь отцу. Все кричали, и так громко, что даже тетя Клара улавливала обрывки фраз и тоже вмешивалась в схватку; выкрикивая слова своим ужасным голосом глухого человека, старая радикалка давала волю своим политическим страстям: «Да, да, нам известно, что творится в монастырях». А в сущности, думала тогда Тереза, тетя Клара в бога верит больше, чем любой из де ла Травов, ополчилась же она против вседержителя за то, что по его соизволению она и глухая и безобразная, да так и умрет, не изведав ни любви, ни плотских наслаждений. С того дня, как госпожа де ла Трав в порыве негодования вышла из-за стола, стали по обоюдному согласию избегать в спорах всякой метафизики. Впрочем, достаточно было и политических тем, чтобы вывести из себя противников, хотя при всем различии их взглядов они были единодушны в главном: все они полагали, что единственное благо в этом мире — собственность и самое ценное, ради чего и стоит жить на свете, — это владеть землей. Так чего же они спорят, мечут громы и молнии? И если уж хотят пускать пыль в глаза, то все-таки знали бы меру. Терезе, у которой «чувство собственности было в крови», хотелось, чтобы вопрос ставился с циничной простотой — она ненавидела громкие слова, которыми ее отец и де ла Травы прикрывали общую им всем страсть. Когда ее отец заявлял о своей «неуклонной преданности демократии», она одергивала его: «Ну чего ты стараешься? Мы ведь одни!» Она говорила, что ее тошнит от высокопарных фраз в политике, ей была непонятна трагическая сторона классовых конфликтов — ведь она выросла в краю, где даже бедняк владеет клочком земли и стремится приобрести ее побольше, где всеобщая тяга к земле, страсть к охоте, склонность хорошо поесть и хорошо выпить создают некую братскую связь между буржуа и крестьянами. А ведь Бернар имел к тому же образование, про него говорили: «Его кругозор шире, чем у окружающих». Тереза сама радовалась тому, что муж у нее такой человек, с которым можно поговорить: «В общем, он гораздо выше своей среды».

Так она думала до тех пор, пока не встретила с Жаном Азеведо.

Это было ранней осенью, когда ночная прохлада держится все утро, а сразу после завтрака, как бы ни жгло солнце, за-долго до сумерек поднимается дымка тумана. Уже летели первые стаи вяхирей, и Бернар возвращался домой только к вечеру. Но в то утро он после дурно проведенной ночи отправился в Бордо посоветоваться с врачом.

«Мне тогда ничего не хотелось,— думает Тереза.— Я прогуливалась с часок по дороге, потому что беременным полезно ходить пешком. В лес старалась не углубляться — ведь из-за этих охотничьих хижин приходится поминутно останавливаться, подавать свистом сигнал и ждать, когда охотник крикнет, что можно пройти, но иногда в ответ услышишь долгий свист, значит, в дубняк спустилась на деревья перелетная стая, а тогда надо притаиться и сидеть тихонько. Потом я возвращалась домой, дремала у огня в гостиной или в кухне, и все мне подавала тетя Клара, а я, как богиня, не устаивающая взглядом смиренную жрицу в своем храме, не обращала ни малейшего внимания на эту старую деву, гнусавым голосом рассказывавшую всякие истории, которые слышала от фермеров и кухарок; она говорила, говорила без умолку — ведь тогда ей не нужно было делать усилий, чтобы расслышать чужие слова; почти всегда она рассказывала какой-нибудь мрачный случай из жизни фермеров, которых она хорошо знала, старательно лечила, самоотверженно ухаживая за больными. Она говорила о том, как морят на фермах стариков голодом, заставляют работать до самой смерти, как оставляют калек без всякого ухода и как порабощены там женщины изнурительным трудом. С каким-то удовольствием она передавала на местном наивном диалекте самые жестокие слова этих людей. По правде говоря, она только меня одну на всем свете и любила, а я принимала как должное, что она становится передо мной на колени, чтобы расшнуровать мои ботинки, снять с моих ног чулки и согреть ступни старыми своими руками.

Приходил за распоряжениями Бальон, если на следующее утро ему надо было ехать в Сен-Клер. Тетя Клара составляла список покупок и поручений, возлагавшихся на него, отдавала ему рецепты на всех больных в Аржелузе: «Прежде всего сходите в аптеку — аптекарю целого дня не хватит, чтобы приготовить все эти лекарства...»

Моя первая встреча с Жаном... Тут надо припомнить все

обстоятельства, каждую мелочь. Я решила пойти в ту заброшенную охотничью хижину, где мы с Анной полдничали когда-то и где она, как мне было известно от нее, назначала свидания этому Азеведо. Нет, я вовсе не собиралась совершать туда паломничество. Просто сосны в той стороне поднялись так высоко, что там уже невозможно было подстергать вяхирей и можно было не бояться помешать охотникам. Хижина стала для них непригодна: разросшийся кругом нее лес скрывал горизонт; между рядов высоких сосен уже не проглядывали широкие полосы неба, где охотник, подстерегающий добычу, видит полет стаи. Не забыть бы, что октябрьское солнце еще палило, что мне трудно было идти по песку, да и мухи не давали покоя. А как тяжело мне было нести свой живот! Я так мечтала посидеть на ветхой скамейке в хижине. Когда я отворила дверь, из нее вышел какой-то молодой человек с непокрытой головой; я сразу узнала в нем Жана Азеведо и сначала подумала, что помешала его любовному свиданию, такой у него был смущенный вид. Я хотела было уйти, но, странное дело, он только и думал, как бы меня удержать: «Да нет же, входите, пожалуйста, клянусь, что вы мне ни-сколько не помешали». Почему он спросил меня, видно ли снаружи то, что происходит внутри хижины? Я вошла по его настоянию и очень была удивлена, что там никого нет. Может быть, пастушка убежала через другой выход? Но не слышно было, чтобы хрустнул хоть один сучок. Он тоже узнал меня и сразу же заговорил об Анне. Я села, он стоял — в той же позе, как на фотографии. Я старалась угадать сквозь его легкую рубашку, где то место на груди, которое я проткнула на снимке булавкой; я смотрела на него с любопытством, но без всякого волнения и беззлобно вспомнила то, что написала мне Анна: «Я прикладываю ладонь к его груди — там, где бьется сердце... он называет это «последней дозволенной лаской...» Был ли он красив? Великолепной лепки лоб, бархатные глаза, свойственные его племени, слишком полные щеки и препротивные прыщики — признак волнения крови у юношей, а главное — влажные ладони, которые он торопливо вытирал носовым платком, прежде чем пожать мне руку. Но глаза и горящий взгляд были прекрасны. Мне понравился и его большой рот, чуть приоткрывавший острые зубы, право, казалось, что он сейчас высунет язык, как молодой пес, когда ему жарко. А какая я была тогда? Вполне в духе семейства Дескейру, насколько мне помнится. Я говорила с ним надменно, с пафосом обвиняла

его в том, что «он внес смятение и раздоры в почтенную семью». Ах, надо вспомнить его непритворное изумление — этот юнец искренне расхохотался: «Так вы воображаете, будто я хочу жениться на Анне? Вы полагаете, что я домогаюсь этой чести?» Я поразилась, и мне сразу стало ясно, какая глубокая пропасть отделяет Анну, пылающую страстью, от этого равнодушного юноши. Он энергично защищался: конечно, как ему было не поддаться очарованию такой прелестной девочки. Но ведь поиграть не запрещается, и именно потому, что тут не могло быть и речи о браке, игра казалась ему безобидной. Он, разумеется, только притворялся, что разделяет намерения Анны... И когда я высокомерно оборвала его, он с горячностью возразил, что сама Анна может засвидетельствовать его порядочность — он никогда не заходил слишком далеко. В конце концов, мадемуазель де ла Трав обязана ему часами искренней страсти, вероятно единственными, которые ей суждено испытать за всю ее унылую жизнь. «Вы говорите, что она страдает, но поверьте мне, эти страдания — лучшее, что она может ждать от судьбы. Я знаю вас по рассказам и уверен, что все это можно вам сказать, ибо вы не похожи на здешних мещан. Перед отплытием в мрачное путешествие на борту старой сенклерской каравеллы я снабдил Анну запасом разнообразных чувств и мечтаний — быть может, они спасут ее от отчаяния и, уж во всяком случае, от оупения». Теперь уж я не помню, раздражали ли меня эта непомерная претенциозность, эта рисовка или они мне даже нравились. Да и по правде сказать, он говорил так быстро, что сначала я не успевала улавливать смысл, но вскоре я привыкла к этому многословию. «Как! Вы считаете меня способным желать такого брака? Бросить якорь в этих песках или же взвалить на свои плечи ношу — потащить за собой в Париж глупенькую девочку? Прелестный образ Анны, конечно, сохранится в моей памяти, и в ту минуту, как вы меня тут застигли врасплох, я как раз думал о ней... Но разве допустимо, чтобы человек застыл на одном месте? Каждое мгновение должно приносить ему свою особую радость, отличную от всех пережитых им радостей».

Сочетание в одном существе этой жадности юного животного и несомненного ума показалось мне таким необычным, что я слушала не прерывая. Да, я положительно была ослеплена. Правда, дешевой мишурой! Но все-таки ослеплена. Помню дробный стук овечьих копыт, звон бубенчиков, дикие крики пастухов, возвещавшие, что приближается стадо. Я ска-

зала этому юноше, что может показаться странным, если нас увидят вдвоем в этой хижине; мне хотелось, чтоб он ответил: «Не надо уходить, давайте притаимся и будем тихонько ждать, пока стадо пройдет дальше». Меня порадовало бы это молчаливое ожидание, словно мы два сообщника. Я вдруг тоже стала требовательной и хотела, чтобы каждая минута дарила мне острые переживания. Но Жан Азеведо беспрекословно отворил дверь хижины и вежливо посторонился, пропуская меня первой. Он проводил меня до Аржелуза, убедившись, что я против этого не возражаю. Как быстро, казалось мне, мы дошли, но за это время мой спутник успел затронуть в разговоре множество тем! И до чего по-новому он освещал то, что я уже хорошо знала, как мне думалось. Когда, например, он заговорил о религии, я сказала то, что обычно говорила дома, а он прервал меня: «Да, да, конечно... но ведь это гораздо сложнее...» И он бросал в споре доводы, восхищая меня их оригинальностью. А было ли чем восхищаться?... Кажется, я и теперь могу повторить эту мешанину, которой он меня угощал: он говорил, что долго воображал, будто всего важнее самоуглубление, искание бога. «Взойти на корабль и пуститься в море, избегая, как смертельной опасности, людей закоснелых, возмнивших, что они уже все нашли, застывших на одном месте, где они вырыли себе берлоги, чтобы погрузиться в дремоту. Я долго их презирал...»

Он спросил у меня, читала ли я книгу Рене Базена «Жизнь отца Фуко». Я ответила деланным смехом. И тогда он сказал, что эта книга потрясла его. «Жить среди опасностей, в самом глубоком смысле этих слов,— добавил он,— это, пожалуй, означает, что человек не столько ищет, сколько уже нашел своего бога и, обретя его, остается в его орбите...» Он восторгался «деяниями мистиков», жаловался на необузданность своей натуры, не позволяющую ему следовать их примеру,— ведь, «даже обращаясь к ранней юности, я не помню себя целомудренным». Это бесстыдство, эта легкость, с которой он выворачивался наизнанку, право, были даже забавны после нашей провинциальной скрытности, молчания, которыми каждый из нас охраняет свою внутреннюю жизнь! Сплетни в Сен-Клере касаются чисто внешних обстоятельств, сердца всегда остаются замкнутыми. Ну что я, в сущности, знаю о Бернаре? Быть может, в нем есть нечто значительное, бесконечно более важное, чем та карикатурная фигура, какой я представляю его себе. Жан говорил, я слушала молча, на язык приходили толь-

ко избитые фразы из наших обычных словопрений. Подобно тому как у нас в ландах телеги всегда делают «по колее», то есть с достаточно широким ходом, для того чтобы колеса попадали в проторенные дорожные колеи, все мои мысли до сих пор шли «по колее» моего отца и родителей моего мужа. Жан Азеведо шагал с непокрытой головой; у меня все еще перед глазами его рубашка с отложным воротом, открывавшим треугольник узкой, мальчишеской груди и слишком широкую шею. Чувствовала ли я влечение к нему? Ах, господи, нет! Но вот мне впервые встретился человек, считавший, что важнее всего — умственная жизнь. Он то и дело упоминал имена своих учителей, говорил о своих парижских друзьях, передавал их слова, рассказывал о книгах, и я не могла считать его каким-то феноменом: он входил в обширную когорту избранных умов, тех, кто «поистине живет», как говорил он. Он приводил имена, и мысли не допуская, что я могу их не знать, и я не показывала вида, что слышу их впервые в жизни.

Когда за поворотом дороги показалось ржаное поле Аржелуза, я невольно воскликнула: «Уже!» Над этой тощей нивой, с которой уже сжали хлеб, стлался дым от сжигаемых на костре сорняков; через выемку в откосе дороги двигалась овечья отара, словно поток грязноватого молока, и, пройдя, овцы сразу же начинали пастись, словно щипали вместо травы песок. Жану нужно было идти полем к себе в Вильмежэ. Я сказала, что провожу его: «Все эти вопросы очень меня интересуют». Но нам вдруг не о чем стало говорить. На стерне острые края соломинок влезали в сандалии и больно кололи мне ноги. Мне казалось, что Жану хочется поскорее остаться одному и без помехи отдаться своим мыслям. Я напомнила ему, что мы еще не поговорили об Анне. «Мы не свободны в выборе тем для разговоров, да и для размышлений тоже, или же тогда надо согласиться с мистиками и следовать их правилам... — величественно сказал он. — Такие люди, как мы, всегда плывут по течению, идут по линии наименьшего сопротивления». Словом, он все сводил к тому, о чем читал в этот период в книгах. Мы решили встретиться еще раз, чтобы обсудить, как вести себя с Анной. Он говорил рассеянно и вдруг, не ответив на вопрос, заданный мной, наклонился и с каким-то детским торжеством показал мне белый гриб, понюхал его, потом приложил шляпку к губам».

Бернар поджидал Терезу на крыльце. «У меня ничего не нашли! Ничего! — закричал он, зайдя в сумрак ее фигуры. — Представь себе, у меня, при моем-то сложении, оказывается, малокровие. Невероятно, но факт! Внешность обманчива. Начну теперь курс лечения... Буду принимать капли Фаулера — в них есть мышьяк. Очень важно, чтоб у меня снова появился аппетит...»

Тереза помнила, что вначале она даже не почувствовала раздражения: все, исходившее от Бернара, меньше, чем обычно, раздражало ее (как будто все его слова и возгласы доносились откуда-то издалека). Она его не слышала, теперь она душой и телом устремилась в другой мир, где живут жадные существа, где каждый хочет одного — познавать, постигать — и, как твердил Жан с видом глубокого удовлетворения, жаждет «стать самим собой». Когда за столом она заговорила о своей встрече с ним, Бернар крикнул: «Отчего ты мне сразу не сказала? Странная ты все-таки особа! Ну как? О чем вы договорились?»

Тереза тотчас же придумала план, который и в самом деле они потом осуществили: Жан Азеведо напишет Анне письмо, в котором в очень мягких выражениях лишит ее всякой надежды. Бернар презрительно засмеялся, когда Тереза сообщила, что этот молодой человек совсем и не домогается руки Анны. Какой-то Азеведо не мечтает жениться на мадемуазель де ла Трав! «Да ты что, с ума сошла? Просто-напросто он понял, что тут ничего не выйдет, а эти ловкачи не станут рисковать, когда заранее знают, что их карта будет бита. Какая ты, голубушка, еще наивная».

Бернар не велел зажигать лампы — из-за комаров, и поэтому не видел, каким взглядом посмотрела на него Тереза. «У меня опять появился аппетит», — говорил он. Не напрасно он ездил в Бордо — доктор возвратил ему жизнь.

«Часто ли я виделась с Жаном Азеведо? Он уехал из Арже-луза в конце октября... Раз пять или шесть мы прогуливались вместе. Особо надо сказать о той прогулке, когда мы с ним сочиняли письмо Анне. Наивный юноша, он подбирал успокаивающие слова, но, ничего ему не говоря об этом, я чувствовала всю их жестокость. Наши последние прогулки сливаются у меня в воспоминаниях. Жан Азеведо описывал мне Париж,

свой товарищеский круг, и я старалась вообразить его мир, где царит единственный закон: стать самим собой. «Вы здесь обречены лгать до самой смерти». Почему он это сказал? С каким-то тайным умыслом? В чем он подозревал меня? «Не могу представить себе, — заявил он, — как вы можете выносить эту удушливую атмосферу. Поглядите на это огромное и однообразное пространство, на это болото, затянутое льдом, сковавшим здесь все души! Иной раз появится трещина, видна черная вода: кто-то в ней бился из последних сил, пошел ко дну, и ледяная корка вновь спаялась... ведь здесь каждый, как и повсюду, рождается со своим собственным законом, здесь, как и повсюду, у каждого своя особая судьба; и все же приходится подчиняться всеобщей печальной участи; некоторые ей противятся, и тогда в почтенных семьях происходят драмы, о которых хранят молчание. Как здесь говорят: «Надо помалкивать...»

«Это верно!» — воскликнула я. Случалось, я расспрашивала о каком-нибудь нашем родственнике — двоюродном дедушке или бабке, чьи фотографии исчезли из всех альбомов, и никогда я не получала ответов; только про одного мне сказали: «Он исчез... его заставили исчезнуть...»

Не опасался ли Жан Азеведо, что и меня постигнет та же участь? Он уверял, что ему бы и в голову не пришло говорить о таких вещах с Анной, так как она, несмотря на свою страстную любовь к нему, очень простодушна, вряд ли способна постоять за себя и скоро будет укрощена. «Но вы! В каждом вашем слове я чувствую, как вы изголодались, как вы алчете истины...» Надо ли передавать Бернару в точности наши разговоры? Сущее безумие надеяться, что он в силах хоть что-нибудь понять тут! Пусть он все-таки знает, что я не сдалась без борьбы. Помню, я однажды возразила этому юноше, что он приукрашает ловкими фразами самое гнусное приятие нравственного падения. Я даже призвала на помощь нравоучительное чтение, которое нам предлагалось в лицее. «Быть самим собою? — повторила я. — Но это возможно лишь в той мере, в какой мы сами создаем свою жизнь». (Не стоит развивать эту мысль, хотя для Бернара, пожалуй, и следовало бы ее развивать.) Жан Азеведо утверждал, что нет ужаснее падения, чем отречься от самого себя. Он заявлял, что не найдет ни одного героя, ни одного святого, которому не случилось бы, да еще не раз, напрягать всю волю, чтобы преодолеть свою натуру. «Надо превзойти самого себя, чтобы обрести бога», — твердил он. И еще он говорил: «Принять себя — это обязывает

лучших из нас бороться с собою, но открыто, в честном сражении, без хитрых уловок. И нередко случается, что эти освободившиеся рабы добровольно связывают себя узами самой стеснительной религии».

Не надо спорить с Бернаром, насколько обоснованна такая мораль, надо даже согласиться с ним, что все это — жалкие софизмы, но пусть он поймет, пусть попытается понять, как увлекательны были эти речи для женщины моего склада и что я испытывала по вечерам в нашей столовой в Аржелузе. Рядом, в кухне, Бернар снимал охотничьи сапоги, рассказывал на местном диалекте, удачна ли была охота и какую добычу он принес. Пойманные вяхири трепыхались в мешке, брошенном на стол, вздували его; Бернар ел не спеша, радуясь, что аппетит вернулся к нему, потом он с любовью отсчитывал капли Фаулера. «Это здоровье», — твердил он. В камине пылали дрова, и за десертом Бернару нужно было только повернуть свое кресло, чтобы протянуть к огню ноги в домашних войлочных туфлях. В руках он держал «Птит Жиронд», но глаза у него слипались. Иногда он всхрапывал, но чаще дышал так тихо, что его и не слышно было. Жена Бальона шаркала шлепанцами в кухне; потом она приносила подсвечники со свечами. И воцарялась тишина, аржелузская тишина! Тот, кто не бывал в нашем глухом краю, не знает, что такое тишина: она окружает дом плотной темной массой, такой же, как лес, где ночью все замирало, лишь иногда ухала сова (и тогда казалось, что в темноте раздаются чьи-то рыдания).

И эту гнетущую тишину я особенно сильно ощутила после отъезда Жана Азеведо. До тех пор пока я знала, что днем снова встречу с ним, само уж его присутствие делало безобидным мрак, сгустившийся за окнами; Жан спал где-то неподалеку, все ланды и ночная тьма были полны им. Но вот он уехал из Аржелуза, назначив мне при прощальной нашей встрече свидание через год, и выразил при этом надежду, что к тому времени я буду свободна. (Не знаю, право, сказал ли он это не задумываясь или с какой-то задней мыслью. Я склонна думать, что молодому парижанину уже стала невыносима наша тишина, наша особая, аржелузская тишина, и что мной он дорожил как единственной своей аудиторией.) Но как только мы с ним расстались, я словно вошла в бесконечный туннель, и там все сгущается, сгущается тьма. Выберусь ли я, выберусь ли на вольный воздух или задохнусь тут? До моих родов, которые произошли в январе, ничего не случилось...»

Тут Тереза в нерешительности останавливается, пытаясь отвлечься мыслями от того, что случилось в ее доме, в Аржелузе, на третий день после отъезда Жана. «Нет, нет! — думает она. — Это же не имеет никакого отношения к тому, что я должна буду сейчас объяснить Бернару. Не могу я терять время, блуждая по тропинкам, которые не ведут никуда». Но мысль человеческая упряма, невозможно помешать ей устремиться в ту сторону, куда ей захочется: Терезе не удастся выбросить из памяти тот октябрьский вечер. На втором этаже, в спальне, раздевался Бернар. Тереза внизу ждала, чтобы прогорело полено, после чего ей надо было идти наверх, а пока она была счастлива хоть минутку побыть одной! Что сейчас делает Жан Азеведо? Может быть, выпивает в том маленьком баре, о котором он ей рассказывал, а может быть (ведь ночь такая теплая), катается со своим другом в автомобиле по пустынным аллеям Булонского леса. Может быть, работает за письменным столом, а вдали глухо гудит Париж. Жан сам создает для себя тишину, отвоевывает ее от грохота мира; тишина не навязана ему извне, как та тишина, что душит Терезу; тишина в Париже — дело его рук, она простирается не дальше, чем свет от его лампы, чем полки, заставленные книгами... Вот о чем думала Тереза. Вдруг за дверью залаяла, потом заскулила собака, и знакомый, такой усталый голос, раздавшийся в прихожей, успокоил пса — Анна де ла Трав отворила дверь; она пришла из Сен-Клера пешком, темной ночью; башмаки у нее были все в грязи. На маленьком, сразу постаревшем личике лихорадочно блестели глаза. Она бросила шляпу на кресло, спросила: «Где он?»

Тереза и Жан, написав письмо и отправив его по почте, решили, что дело кончено, — они никак не думали, что Анна не захочет отказаться от своего счастья. Но разве человек уступит логическим доводам и рассуждениям, когда речь идет о самой его жизни! Анне удалось ускользнуть от надзора матери и сестры в поезд. По темной дороге к Аржелузу ее вела белесая полоса неба между вершинами сосен. «Во что бы то ни стало увидаться с ним. Если мы увидимся, я опять его завоюю. Надо увидаться с ним». И вот Анна шла, спотыкаясь, выворачивая ноги в рытвинах; она изо всех сил спешила добраться до Аржелуза. И вдруг Тереза говорит, что Жан уехал, что он в Париже. Анна не верила, отрицательно качала головой. Нет, не может быть, иначе ей не выдержать, сейчас она рухнет тут от усталости и отчаяния.

— Ты лжешь! Ты всегда лгала!

И когда Тереза возмущилась, Анна добавила:

— Да, вот уж в ком живет дух нашего семейства! Ты выдаешь себя за свобододолюбивую женщину... А на деле, как только вышла замуж, сразу же стала служить семейке... Да, да, ты, разумеется, думала, что поступаешь хорошо — предаешь меня ради моего же блага, хочешь спасти, верно? Можешь не объяснять, и так все понятно.

Она толкнула входную дверь. Тереза спросила:

— Куда ты?

— В Вильмеж, к нему.

— Я же тебе говорю, что его нет там уже два дня.

— Не верю тебе.

Она вышла. Тогда Тереза зажгла фонарь, висевший на крюке в прихожей, и двинулась вслед за ней.

— Ты ошиблась, Анна,— это дорога на Биурж, а в Вильмеж вон туда надо свернуть.

Они прошли через полосу тумана, поднявшегося над лугом. Проснулись собаки. Вот наконец и дубы Вильмеж; нет, это не спящий, а мертвый дом. Анна ходит вокруг этого пустого склепа, стучится, колотит в дверь кулаками. Тереза стоит неподвижно, поставив фонарь на траву. Она видит, как легкий силуэт ее подруги приникает к каждому окну нижнего этажа. Вероятно, Анна всякий раз произносит имя любимого, но не выкрикивает его, не зовет, зная, что это бесполезно. Несколько минут ее не было видно — она зашла за дом, затем она появилась, опять подошла к двери, опустилась на крыльцо и, обхватив руками колени, уткнулась в них лицом. Тереза заставила ее подняться, вывела на дорогу. Анна шла, шатаясь, и все твердила: «Завтра утром поеду в Париж. Париж не так уж велик, я найду его в Париже...» Но говорила она это, как усталый ребенок, который больше не в силах сопротивляться и уже готов смириться.

Бернар, проснувшийся от громкого их разговора, накинул халат и ждал в гостиной. Напрасно Тереза старается прогнать воспоминание о сцене, разыгравшейся между сестрой и братом. Человек, который мог грубо схватить за руки измученную девочку, потащить ее по лестнице на третий этаж, втолкнуть в спальню и запереть дверь на ключ,— ведь это твой муж, Тереза, тот самый Бернар, который через два часа будет твоим судьей. Дух семьи вдохновляет его, избавляет от всяких коле-

баний. Бернар всегда, при любых обстоятельствах знает, что надлежит сделать в интересах семьи. Ты вот с тоской и тревогой готовишь длинную защитительную речь, но ведь только люди, не имеющие принципов, могут поддаться чужим доводам. Бернару наплевать на твои оправдания: «Я знаю, что мне надо делать». Он всегда знает, что ему надо делать. Если иной раз придет в замешательство, то скажет: «Мы это обсудили в семейном кругу и признали, что...» Как можешь ты думать, что он еще не вынес тебе приговор? Судьба твоя решена бесповоротно, так что лучше постарайся уснуть.

VIII

После того как де ла Травы увезли побежденную Анну в Сен-Клер, Тереза почти до самых родов безвыездно жила в Аржелузе. Вот когда она по-настоящему познала тишину, царившую там, именно в эти долгие ноябрьские ночи. Письмо, посланное ею Жану Азеведо, осталось без ответа. Вероятно, он нашел, что не стоит заводить скучную переписку с какой-то провинциалкой. К тому же она в положении, это не такое уж приятное воспоминание. Может быть, теперь, на расстоянии, Тереза казалась пресной этому дурачку? Для него были бы гораздо привлекательнее в женщине притворная сложность и рисовка! Разве он мог понять эту обманчивую простоту, этот прямой взгляд и всегда уверенные движения? Вероятно, он считал ее способной поймать его на слове, как это было с Анной, готовой все бросить и бежать с ним. Жан Азеведо не доверял женщинам, которые слишком быстро складывают оружие, так что нападающий не успевает снять осаду. Больше всего он боялся одержать победу, пожать плоды победы. Тереза старалась проникнуть в духовный мир этого юноши. Но восхищавшие Жана книги, которые она выписала из Бордо, показались ей непонятными. Она жила в полной праздности. Нечего было и думать, что она станет готовить приданое для будущего ребенка, «это не ее жанр», — ехидничала госпожа де ла Трав. В деревнях немало женщин умирают родами. Тереза доводила тетю Клару до слез, уверяя, что и она умрет, как ее мать, что ей не выжить, она в этом уверена. И всегда добавляла, будто ей «все равно, что придется умереть». Какая ложь! Она еще никогда так страстно не жаждала жить, и еще никогда Бернар не выказывал такого внимания к ней. «Да он заботился вовсе не обо мне, а о том, кого я носила во чреве. Напрасно он с

ужасным своим местным произношением твердил: «Возьми еще кюре... Не ешь рыбы... Ты сегодня уже и так много ходила...» Меня это нисколько не трогало — ведь так же ухаживают за нанятой кормилицей, чтобы у нее было хорошее молоко. Свекор и свекровь берегли меня, как священный сосуд, вместилище их будущего потомства; несомненно, они в случае чего пожертвовали бы мною ради этого эмбриона. Я утратила ощущение своего собственного существования! Я была лишь лозой виноградной: в глазах всего семейства значение имел лишь плод, который созревал во мне.

До конца декабря пришлось жить в потемках. Как будто еще мало было тени от бесчисленных сосен, непрерывные дожди множили и множили вокруг нашего угрюмого дома миллионы движущихся прутьев водяной решетки! Когда единственная дорога на Сен-Клер уже угрожала стать непроезжей, меня перевезли в этот городок, в другой дом, где было чуть посветлее, чем у нас в Аржелузе. Старые платаны на Большой площади еще оспаривали свои листья у ветра и дождя. Тетя Клара не пожелала переселиться в Сен-Клер, чтобы стать моей сиделкой, — старуха могла жить только в Аржелузе, но она приезжала очень часто, в любую погоду в своем деревенском шарабане и привозила мне лакомства, которые я так любила в детстве и, по ее мнению, любила и до сих пор: серые ржаные пышки на меду, сладкий пирог по названию «фугас» или «румаджд». С Анной я виделась только за столом, она не обращалась ко мне ни с единым словом, с виду была тихая, смирившаяся, сразу утратила свою свежесть. Зачесанные назад, туго стянутые волосы открывали ее некрасивые восковые уши. Имени молодого Дегилема не произносили, однако госпожа де ла Трав уверяла меня, что хотя Анна еще не сказала «да», но уже и не говорит «нет». Ах, как верно судил о ней Жан: немного времени понадобилось, чтобы накинуть на нее узду и умирить ее. Бернар чувствовал себя хуже, потому что опять стал выпивать перед обедом рюмку-другую «для аппетита». О чем говорили эти люди вокруг меня? Они много толковали о приходском священнике (мы жили как раз напротив церковного дома). Всех интересовало, например, почему кюре в течение одного дня четыре раза прошел куда-то через площадь, а возвращался, вероятно, другой дорогой...».

Помня некоторые свои разговоры с Жаном Азеведо, Тереза теперь более внимательно присматривалась к этому еще не

старому священнику; он мало общался с прихожанами, и они считали его гордецом: «Здесь такие повадки не годятся». При его редких посещениях господ де ла Трав Тереза отметила, что у него высокий лоб, седые виски. У этого человека нет ни одного друга. Как он проводит вечера? Почему избрал такую жизнь? «Он строго соблюдает все правила,— говорила госпожа де ла Трав,— каждый вечер читает молитвы, но нет на нем, знаете ли, благодати. Его не назовешь благочестивым. А наше благотворительное общество он совсем забросил». Она жаловалась, что кюре распустил оркестр, организованный попечителем общества; родители обижаются, что он больше не водит подростков на футбольные матчи. «Это очень мило, что он сидит, уткнувшись в книгу, но ведь этак недолго и приход унустить». Чтобы послушать его, Тереза несколько раз ходила в церковь. «Ну, дорогая, что это вам вздумалось? Ведь в вашем положении можно и не посещать церковные службы...» Проповеди священника касались догматов, принципов морали и были безличны. Но Терезу интересовали модуляции его голоса, его жесты, то или иное слово, казавшееся более весомым, чем другие... Ах, он, может быть, помог бы ей разобраться в путанице ее мыслей и чувств, ведь он так отличался от всех, он тоже принимал жизнь трагически; к своему внутреннему одиночеству он присоединил еще и ту пустыню, которая создается вокруг человека, надевшего сутану. Какую поддержку находил он в ежедневном исполнении церковных обрядов? Терезе хотелось пойти к мессе в будний день, когда никого не бывает в церкви, кроме мальчика-служки, и священник, склонившись над кусочком хлеба, бормочет слова литургии. Но ее любопытство показалось бы странным всему семейству и жителям городка: стали бы кричать, что она обратилась в лоно христианства.

Сколько ни страдала Тереза в эту пору, но лишь после родов она по-настоящему почувствовала, что больше не в силах выносить такую жизнь. Внешне это ни в чем не сказывалось, между ней и Бернаром не происходило никаких сцен, с его родителями она держала себя даже более почтительно, чем он сам. Трагедия как раз и была в том, что не находилось ни малейших причин для разрыва и не предвиделось никаких событий, которые помешали бы тоскливой обыденности идти своим чередом до самой смерти. При разногласиях должна быть какая-то почва для столкновений, но Тереза почти не

видела Бернара и еще меньше — его родителей; да их слова и не доходили до нее, она и не подумала бы отвечать на их замечания. Они ведь говорили на разных языках. В самые важные слова они вкладывали разный смысл. А если у Терезы вырывалось какое-нибудь искреннее восклицание, то ведь в семействе уже было раз и навсегда установлено, что она обожает дерзкие выпады. «Я делаю вид, что не слышу,— говорила госпожа де ла Трав,— а если она настаивает на своем, я не придаю значения ее словам. Она знает, что с нами эти штучки не пройдут».

И все же госпожа де ла Трав с трудом переносила странные причуды снохи: Тереза терпеть не могла, когда знакомые ахали, уверяя, что маленькая Мари вылитая мать. Обычные в этих случаях шуточки («Ну, уж от этой дочки вы не отречетесь...») приводили ее в крайнее раздражение, которое ей не всегда удавалось скрыть. «Да она ничуть на меня не похожа,— твердила Тереза.— Посмотрите, какая она смуглая, глаза черные как угольки. И вот поглядите на мои фотографии — я была худенькая, белесая девчушка».

Она не желала, чтобы Мари походила на нее. Мать хотела, чтобы у нее не было ничего общего с этой крошкой, плотью от плоти ее. И уже по городу пошли слухи, что Тереза Дескейру не страдает избытком материнской нежности. Но госпожа де ла Трав уверяла, что Тереза по-своему любит дочку. «Конечно, нечего требовать, чтобы она следила, как купают малютку, меняют ей пеленки,— эти заботы ей не свойственны, но я вижу, как она целыми вечерами просиживает у колыбельки, даже воздерживается тогда от курения и все смотрит, смотрит на спящую крошку... Кстати сказать, у нас превосходная, отлично вышколенная няня, да и наша Анна тут. Ах, вот уж из Анны, можно поклясться, выйдет замечательная мамаша!..» И правда, с тех пор как в доме появился ребенок, Анна возродилась к жизни. Колыбель всегда привлекает женщину, но Анна была просто счастлива, когда брала малютку на руки. Чтобы свободнее было приходиться в детскую, она помирилась с Терезой, но от былой нежной их дружбы остались лишь привычные ласковые жесты и прозвища. Анна очень боялась материнской ревности Терезы: «Ведь малютка знает меня лучше, чем свою маму: как увидит — смеется. В прошлый раз Мари была у меня на руках, и, когда Тереза хотела ее взять, девочка заплакала, раскричалась. Она так явно любит меня больше, чем маму, что мне даже неловко бывает».

Анна могла бы и не испытывать неловкости. В эту полосу своей жизни Тереза была далека от дочери, как и от всего остального. И людей, и вещи, и свое собственное тело, и даже свою душу она воспринимала словно какой-то мираж, словно туман, повисший в воздухе. И в этом небытии только один Бернар обретал чудовищную реальность: его плотная фигура, гнусавый голос, безапелляционный тон, самодовольство. Вырваться из этого мира... Но как? И куда идти? Первые жаркие дни действовали на Терезу угнетающе. Однако ничто не предвещало поступка, который она уже готова была совершить. Что было в этом году? Она не может вспомнить никаких неприятностей, никаких ссор, помнит только, что в день праздника тела господня Бернар был как-то особенно противен ей, когда она смотрела утром в щель между ставнями на крестный ход. Бернар оказался, пожалуй, единственным мужчиной в этой процессии. Городок вмиг опустел, как будто на улицу вместо традиционного агнца выпустили льва... Люди попрятались, чтобы им не пришлось обнажать голову или становиться на колени. Лишь только опасность миновала, двери пооткрывались одна за другой. Тереза внимательно смотрела на священника, который шел, почти что зажмурив глаза, и держал обеими руками свою странную ношу. Губы его шевелились: к кому зывал он с таким скорбным видом? И сразу же вслед за ним важно выпагивал Бернар — он «исполнял свой долг».

Шла неделя за неделей, и за все это время не выпало ни одной капли дождя. Бернар жил в непрестанном страхе — боялся лесного пожара, и у него снова начались боли в сердце. В стороне Лушá сгорело пятьсот гектаров сосняка. «Если бы дул северный ветер, погибли бы мои сосны в Балисаке». Тереза все ждала чего-то, чего — и сама не знала, от этого ясного, невозмутимого неба... Может, никогда больше не будет дождя... И в один прекрасный день затрещит в огне весь лес кругом, сгорит даже сам городок. Почему, спрашивается, в ландах никогда не горят селения? Как несправедливо, что пламя всегда подбирается к деревьям, а людей не трогает. В семействе Дескейру без конца говорили, спорили о причинах бедствия: может, кто-то бросил непогасший окурок. А может, это поджоги? Тереза мечтала, что вот она встанет ночью, выйдет тихонько из дому, заберется в тот лес, где больше всего вереску, бросит там зажженную сигарету, и на заре огромное облако дыма за-

тянет небо... Но она гнала от себя эту мысль: любовь к соснам была у нее в крови — не на сосны обращала она свою ненависть.

Настала минута открыто взглянуть на то, что она сделала. Какое объяснение дать Бернару? Ничего не остается, как напомнить ему шаг за шагом, как все это случилось. Это было в день большого пожара около Маню. В столовую, где паспех завтракала вся семья, то и дело входили люди. Одни уверяли, что горит как будто очень далеко от Сен-Клера, другие утверждали, что уже пора бить в набат. Воздух в этот знойный день был пропитан запахом горячей смолы, а солнце казалось запачканным сажей. Перед глазами Терезы встает лицо Бернара: повернувшись к Бальону, он слушает его сообщение, а сильной волосатой рукой держит над стаканом пузырек с лекарством, не замечая, что капли Фаулера одна за другой падают и падают в воду. Он залпом выпил стакан, и Терезе, разомлевшей от жары, даже и в голову не пришло сказать ему, что он выпил двойную дозу лекарства. Все встали из-за стола, только она одна осталась, продолжая лениво раскрывать ножичком свежий мпидаль, чуждая всему этому волнению, равнодушная к этой драме, да и ко всякой другой, кроме своей собственной. В набат не стали бить. Бернар наконец вернулся. «Ну хоть раз ты, Тереза, правильно сделала, что не волновалась,— горит далеко, в стороне Маню...— Потом спросил: — А капли я принял?» — и, не дождавшись ответа, накапал в стакан лекарства. Тереза промолчала — вероятно, от лени, от усталости. На что она надеялась в эту минуту? «Не может же быть, что я промолчала умышленно!»

Однако и ночью, когда у постели Бернара, который мучился рвотой и плакал, доктор Педмэ стал расспрашивать, что произошло днем, она ничего не сказала о том, что случилось за столом. А ведь так было легко, не бросая на себя тень, обратить внимание доктора на то, что Бернар принял много мышьяку. Могла же она произнести такую, например, фразу: «В ту минуту до меня как-то не дошло... Мы все ужасно взволновались из-за этого пожара... Но теперь я готова поклясться, что он принял двойную дозу». Однако она промолчала. Было ли у нее хоть поползновение сказать это? Темный замысел, который за завтраком, неведомо для нее самой, уже был в ее душе, начал всплывать из самых глубин ее существа, еще бесформенный, но уже наполовину осознанный.

После ухода доктора она долго смотрела на уснувшего наконец Бернара и думала: «Нет же доказательств, что он заболел *из-за того*. Может быть, у него приступ аппендицита, хотя никаких других симптомов и нет... у него, наверное, инфекционный грипп». Но через день Бернар был уже на ногах. «Весьма возможно, что все было именно *из-за того*». Но Тереза не могла бы за это поручиться, а ей так хотелось быть уверенной. Вот и все. «У меня вовсе не было такого чувства, что я во власти чудовищного искушения, мне казалось, что мною движет любопытство — правда, удовлетворить его было небезопасно. Но в первый день, когда я, прежде чем Бернар вышел в столовую, накапала лекарство в его стакан, помню, я твердила себе: «Один-единственный раз, только чтобы выяснить... тогда я буду знать, из-за того ли он заболел. Один-единственный раз — и конец».

Поезд замедляет ход, дает долгий гудок, снова идет быстрее. Два-три огня в темноте: станция Сен-Клер. Но Терезе больше уже ничего не надо анализировать: она ринулась в зияющую пропасть преступления, и преступление затянуло ее; что последовало за ним, Бернар знает так же хорошо, как она сама; болезнь его внезапно вернулась, и Тереза ухаживала за ним дни и ночи, хотя, казалось, сама выбилась из сил. Она не могла тогда проглотить ни куска. Бернар даже уговаривал ее попробовать полечиться кашлями Фаулера, и она взяла рецепт у доктора Педмэ. Бедняга доктор! Как он удивлялся, что Бернара рвет какой-то зеленоватой жидкостью. И никогда бы он не поверил, что у больного может быть такое несоответствие между пульсом и температурой; ему неоднократно случалось констатировать, что при паратифе пульс может быть ровным, хотя больного сильно лихорадит, но что означал этот частый пульс при температуре ниже нормальной? Несомненно, инфекционный грипп. Грипп — этим все сказано.

Госпожа де ла Трав думала было вызвать для консультации известного врача, но ей не хотелось обижать доктора Педмэ, старого друга дома. К тому же Тереза опасалась напугать Бернара. Однако в середине августа, после особенно тревожного приступа, доктор Педмэ сам пожелал услышать мнение одного из своих авторитетных коллег. По счастью, на следующий день состояние Бернара улучшилось, через три недели уже говорили, что он выздоравливает. «Ловко я отделался,— шутил Пед-

мэ.— Вызвали бы светило медицинского мира, и вся слава излечения досталась бы ему, а не мне».

Бернар потребовал, чтобы его перевезли в Аржелуз, рассчитывая, что его окончательно вылечит осенняя охота на вяхирей. Терезе пришлось тогда нелегко — острый ревматизм приковал тетю Клару к постели, и все пало на молодую хозяйку: двое больных в доме, ребенок, не считая всяких хлопот и дел, лежавших на тете Кларе. Тереза с большой охотой старалась заменить ее в заботах о бедняках Аржелуза. Она обегала все фермы, заказала по рецептам лекарства для заболевших, как это делала тетя Клара, заплатила за них из своего кошелька. Ее не печалило, что ферма Вильмежэ заперта. Она больше не думала о Жане Азеведо, да и ни о ком другом. Она шла одиноко через туннель в головокружительной темноте, она должна была идти, идти, не размышляя, как животное, чтобы выбраться из черного мрака удушливого дыма, вырваться на чистый воздух. Скорее! Скорее!

В начале декабря болезнь с новой силой обрушилась на Бернара: как-то утром он проснулся, дрожа от озноба, а ноги у него онемели, ничего не чувствовали. Что же за этим последовало? Господин де ла Трав вечером привез из Бордо врача для консультации; осмотрев больного, тот долго молчал. (Тереза держала в поднятой руке лампу, и жена Бальона вспоминала потом, что хозяйка была бледна как смерть.) На скудно освещенной лестничной площадке Педмэ, понизив голос, чтобы не услышала насторожившаяся Тереза, рассказал своему коллеге, что аптекарь Даркей показал ему два подделанных рецепта, подписанных, однако, им, доктором Педмэ; на одном рецепте чья-то преступная рука добавила: «Капли Фаулера», а на другом выписаны были довольно сильные дозы хлороформа, дигиталина и аконитина. Бальон принес в аптеку эти рецепты вместе со многими другими. Даркей встревожился, что отпустил ядовитые вещества, и на следующий день прибежал к Педмэ... Да Бернар знает обо всем этом не хуже самой Терезы. Его тотчас отправили в санитарной карете в Бордо, положили там в клинику, и с того дня ему стало лучше. Тереза осталась в Аржелузе одна, но, каким бы глубоким ни было ее одиночество, она слышала вокруг нараставший гул: забившийся в нору зверь чуял, что приближается стая псов. Она изнемогла, словно после неистового бега, словно бежала из последних сил и была совсем уже у цели, уже протянула руку, как вдруг ее швырнули на землю, и она упала как подкошенная.

Однажды вечером в конце зимы приехал отец и заклинал ее снять с себя обвинение. Все еще можно спасти. Педмэ согласился взять обратно жалобу, поданную им в суд, заявив, будто уже не может сказать с уверенностью, что один из рецептов не написан целиком его рукой. Что касается аконитина, хлороформа и дигиталина, он, конечно, не мог прописать их в таких больших дозах, но поскольку в крови больного не обнаружено ни малейших следов этих веществ...

Тереза вспоминает сцену объяснения с отцом, происходившую у постели тети Клары. Им не хотелось зажигать лампу, и комнату освещали только отблески огня, пылавшего в камине. Тереза говорила монотонно, как школьница, вызубрившая урок (этот урок она вытвердила в долгие бессонные ночи):

— Мне встретился на дороге какой-то человек — не здешний, не из Аржелуза. И он сказал мне, что раз я посылаю кого-то в аптеку Даркея, то он очень просит заказать там лекарства и по его рецепту — ему самому не хочется показываться в аптеке, так как он должен Даркею деньги... Он не сообщил мне ни своей фамилии, ни адреса — сказал, что сам придет ко мне за лекарством...

— Тереза, придумай что-нибудь другое! Умоляю тебя во имя нашей семейной чести! Придумай, несчастная, что-нибудь другое!..

Отец упрямо повторял свои упреки, глухая тетка, приподнявшись на подушках, тщетно прислушивалась и, чувствуя нависшую над Терезой смертельную опасность, стонала: «Что он тебе говорит? Чего им от тебя нужно? Тебе хотят сделать что-то плохое?»

Тереза нашла в себе силы улыбнуться больной старухе и взять ее за руку, а сама, как школьница на уроке катехизиса, монотонно твердила: «Мне встретился на дороге человек. Было уже темно, так что я не разглядела его лица, он не сказал мне, на какой ферме живет... Недавно вечером он приходил за своим лекарством... К несчастью, никто в доме его не заметил».

IX

Вот наконец Сен-Клер. Тереза вышла из вагона, ее никто не узнал. Пока Бальон сдавал ее билет, она обогнула здание вокзала и, лавируя между штабелями досок, вышла на дорогу, где стоял шарабан.

Теперь этот шарабан ее убежище: на разбитой дороге нечего бояться встречи со знакомыми. Но вся история ее преступлений, восстановленная в памяти с таким трудом, рухнула, ничего не осталось от подготовленной исповеди. Нет, ей нечего сказать в свою защиту, даже невозможно привести какую-нибудь причину; проще всего — молчать или же только отвечать на вопросы. Чего ей теперь бояться? Минует ночь, как все ночи, завтра взойдет солнце; она уверена, что выбралась из беды, что бы дальше ни случилось. И ничего не может случиться хуже того равнодушия, той отчужденности, которые отделяют ее от всего мира, даже от нее самой. Да, смерть при жизни — она ощущает в себе смерть, насколько может это ощущать живой человек.

Глаза ее привыкли к темноте, и на повороте дороги она разглядела ферму, низкие постройки которой походили на спящих животных, лежащих на земле. Здесь, бывало, Анна всегда пугалась собаки, бросавшейся под колеса ее велосипеда. Дальше заросли ольхи показывали, что там сырая ложбинка, где в самые знойные дни прохлады овевала разгоревшиеся щеки подружек. Девочка на велосипеде, ее сверкающие в улыбке белые зубы, ее шляпа с широкими полями, защищавшими от солнца, треньканье велосипедного звонка и торжествующий голос: «Смотри! Еду, не держась руками за руль!» — в душе Терезы еще жив этот смутный образ, все, что она может найти в прошлом, на чем может отдохнуть измученное сердце. И она машинально твердит под ритмическое цоканье копыт старой лошади, трусившей рысдой: «Бесполезность моей жизни — и ничтожность моей жизни — одиночество безмерное мое — безысходная моя судьба». То единственное, чем все могло бы разрешиться, Бернар не сделает. Ах, если бы он мог открыть ей объятия, ни о чем не спрашивая! Если б она могла припасть головой к человеческой груди и заплакать, ощущая ее живое тепло.

Она заметила тот косогор у хлебного поля, где когда-то в жаркий день сидел Жан Азеведо. Подумать только, ведь она воображала в ту пору, что в мире есть такое место, где все ее существо могло бы расцвести, — среди людей, которые понимали бы ее, быть может, восхищались бы ею и дарили ей свою любовь! Но одиночество привязалось к ней, как язвы к прокаженному. «Никто не может ничего сделать для меня; никто не может ничего сделать против меня».

— Вон наши навстречу идут.

Бальон натянул вожжи. Приближались две тени. Значит, Бернар, такой еще слабый, вышел ей навстречу — ему, значит, не терпится узнать, чем все кончилось в суде. Тереза приподнялась на сиденье и еще издали крикнула: «Дело прекратили!» В ответ раздалась короткая реплика: «Это было известно». Бернар помог старухе тетке взобраться в шарабан и разобрал вожжи. Бальону велел дальше идти пешком. Тетя Клара сидела посередине, между супругами. Пришлось кричать ей в самое ухо, что все уладилось (впрочем, у нее было весьма смутное представление о случившейся драме). Как обычно, глухая старуха начала говорить, говорить до потери дыхания, заявила, что «у них всегда одна тактика, что это повторяется дело Дрейфуса: «Клеветите, клеветите — всегда что-нибудь останется». Они забрали силу, и республиканцы зря не держатся на чеку. Как только этим зверям вонючим дают поблажку, они на людей набрасываются...» Ее кудахтанье избавляло супругов от необходимости разговаривать — они не обменялись ни единым словом.

Потом тетя Клара, тяжело дыша и отдуваясь, поднялась по лестнице с зажженной свечой в подсвечнике.

— А вы еще не ложитесь? Тереза, должно быть, измучилась. В спальне тебе оставили, дорогая, чашку бульона и холодного цыпленка.

Но супруги все еще стояли в прихожей. Старуха видела, как Бернар отворил дверь в гостиную, пропустил первой Терезу и скрылся за дверью вслед за ней. Не будь этой проклятой глухоты, она бы уж приникла ухом к двери... а теперь, что ж, никто и не думает ее остерегаться — она будто заживо замурованная. Все же тетя Клара погасила свечу, ощупью спустилась на первый этаж, поглядела в замочную скважину: Бернар как раз переставлял лампу, лицо у него было ярко освещено, оно казалось испуганным и вместе с тем торжественным. Тереза сидела спиной к двери; накидку и шляпу она бросила на кресло, ноги протянула к огню, и от ее мокрых ботинок поднимался пар. На мгновение она повернула голову к мужу, и старуха тетка обрадовалась, увидев, что Тереза улыбается.

Тереза улыбалась. В те немногие минуты, когда она прошла рядом с Бернаром короткое расстояние от конюшни до дома, она вдруг поняла, или вообразила, будто поняла, как ей надо

себя вести. При первом же взгляде на Бернара рухнули все ее надежды объяснить ему свой проступок, довериться ему. Как меняются в разлуке наши представления о людях, которых мы хорошо знаем! Всю дорогу она безотчетно старалась создать новый образ Бернара, найти в нем человека, способного ее понять или хотя бы попытаться понять, но с первого же взгляда увидела его таким, каким был он в действительности, — человеком, который никогда, ни разу в жизни не мог поставить себя на место другого и попытаться увидеть то, что видит твой противник. Нет, право, разве Бернар стал бы ее слушать? Он ходил взад и вперед по сырой комнате с низким потолком, и под его ногами трещал подгнивший местами пол. На жену он не смотрел — он весь был поглощен приготовленной заранее речью. Да и Тереза знала, что она сейчас ему скажет. Самым простым всегда оказывается тот выход, о каком мы прежде и не думали. Сейчас она скажет ему: «Я исчезну, Бернар. Не беспокойтесь обо мне. Если хотите, исчезну немедленно, сегодня же ночью. Ни лес, ни темнота меня не пугают. Мы с ними старые друзья, давно знаем друг друга. Я создана по образу и подобию этого бесплодного края, где нет ничего живого, кроме перелетных птиц да диких кабанов. Я согласна стать изгнанницей. Сожгите все мои фотографии, и пусть никто, даже моя дочь, не услышит больше моего имени, и пусть вся ваша семья считает, что меня как бы и не было никогда».

И Тереза уже открыла рот, уже произнесла:

— Позвольте мне исчезнуть, Бернар.

При звуках ее голоса Бернар обернулся, бросился к ней из дальнего угла комнаты; на лбу у него вздулись жилы, он лепетал заикаясь:

— Что?! Вы осмеливаетесь иметь свое мнение? Осмеливаетесь выражать какие-то желания? Довольно! Ни слова больше! Вы должны только слушать, получать от меня распоряжения, беспрекословно подчиняться моим решениям.

Теперь он уже не заикался, теперь он говорил тщательно подготовленными фразами. Облокотясь на каминную полку, он изъяснялся строгим тоном, вытащил из кармана исписанный листок бумаги и заглядывал в него. У Терезы пропал страх, ей даже хотелось расхохотаться. Он был смешон, просто-напросто смешон. Ну какое значение имеет то, что он там декламирует, да еще с таким противным произношением, над которым не смеются только в Сен-Клере? Все равно она уедет. К чему вся эта трагедия? Подумаешь, велика важность, если

бы не стало этого дурака! На листке белой бумаги, дрожавшем в его руке, четко выделялись его неухоженные ногти; манжет, конечно, он не носит, он из числа тех мужланов, которые кажутся чучелами, когда вылезают из своего захолустья, а жизнь их ровно никому не нужна — ни для какого-нибудь дела, ни для какой-нибудь идеи, ни для какого-нибудь человека. Вообще, просто по привычке придают такое непомерное значение любой человеческой жизни. Робеспьер был прав, и Наполеон был прав, и другие... Бернар заметил, что она улыбается, и, расвирепев, повысил голос. Терезе волей-неволей пришлось слушать:

— Но вы в моих руках!.. Понятно это вам? Вы должны подчиняться решениям, принятым нами на семейном совете, в противном случае...

— Что в противном случае?

Она откинула притворное равнодушие, заговорила дерзким и насмешливым тоном, даже крикнула:

— Слишком поздно! Вы дали суду показания в мою пользу и уже не можете взять их обратно. Иначе вас привлекут за лжесвидетельство...

— Всегда может открыться какой-нибудь новый факт. У меня в ящике секретера заперто неоспоримое доказательство. Срока давности, слава богу, тут не установлено.

Она вздрогнула. Спросила:

— Чего вы хотите от меня?

Он стал рыться в своих записках, а Тереза несколько секунд вслушивалась в мертвую тишину Аржелуза. До часа переклички петухов было еще далеко, ни один ручеек, ни одна струйка воды не журчала в этой пустыне, ни малейший ветерок не шевелил вершины бесчисленных сосен.

— Я исхожу не из своих личных соображений. Сам я ступываюсь, для меня важны только интересы семьи. Все мои решения всегда были продиктованы интересами семьи. Ради чести семьи я согласился обмануть правосудие. Пусть меня судит бог.

Этот высокопарный тон корбил Терезу. Ей хотелось попросить Бернара говорить попроще.

— Для нашей семьи важно, чтобы нас с вами считали живущими в супружеском согласии и чтобы я, по мнению общества, был уверен в вашей невинности. С другой стороны, я хочу как можно надежнее уберечь себя...

— Я вам внушаю страх, Бернар?

Он пробормотал:

— Страх? Нет. Ужас! — и продолжил дальше свою речь: — Давайте договоримся поскорее, пусть все будет решено раз и навсегда. Завтра мы с вами выедем из этого дома и поселимся в доме, принадлежащем нашей семье, — я не хочу, чтобы ваша тетка постоянно торчала у меня перед глазами. Еду вам будет подавать жена Баллона в вашу спальню; во все остальные комнаты вам входить запрещается; бегать по лесу можете сколько угодно. По воскресеньям мы вместе будем ездить к мессе в Сен-Клер: надо, чтобы люди видели, что вы идете со мной под руку; а в первый четверг каждого месяца, когда в Б. бывает ярмарка, мы в открытой коляске будем приезжать в гости к вашему отцу, как мы это делали раньше.

— А Мари?

— Мари завтра уезжает со своей няней в Сен-Клер. Затем моя мать увезет ее на юг под предлогом поправления здоровья. Я полагаю, вы и не рассчитывали, что вам оставят дочь? Ее тоже надо укрыть от опасности. Ведь в случае моей смерти она по достижении двадцати одного года вступит во владение наследством. Отчего же после мужа не уничтожить и ребенка?

Тереза вскочила, едва сдержав крик.

— Так вы думаете, что я это сделала из-за ваших сосен?

Значит, этот дурак не увидел ни одного из множества тайных истоков ее преступления и придумал самую низменную причину.

— Разумеется, из-за сосен... А для чего же иначе? Надо искать по методу исключения. Попробуйте указать какой-нибудь другой мотив... Впрочем, это не имеет значения и уже несколько не интересует меня, я больше не задаюсь таким вопросом, вы теперь ничто, но — увы! — существует имя, которое вы носите. Через несколько месяцев, когда общественное мнение будет считать, что мы живем в добром согласии, Анна выйдет за молодого Дегилема... Вам известно, что Дегилемы потребовали отсрочки? Они хотят еще поразмыслить... И после свадьбы Анны я смогу наконец поселиться в Сен-Клере, а вы — вы останетесь здесь. Под предлогом неврастения или чего-нибудь другого...

— Сумасшествия, например.

— Нет, это в дальнейшем повредило бы Мари. Но уважительные причины всегда найдутся. Вот так-то.

Тереза тихо сказала:

— В Аржелузе... до самой смерти?..

Она подошла к окну, растворила его. В эту минуту Бернар испытывал искреннюю радость: он всегда немного робел перед этой женщиной, чувствовал себя приниженным. Но как он господствовал над ней в этот вечер! Она должна понять, что все презирают ее! Он гордился своей сдержанностью. Госпожа де ла Трав без конца твердила ему, что он просто святой человек, вся семья восхваляла его благородство; впервые в жизни он чувствовал величие своей души. Когда ему в лечебнице с величайшими предосторожностями открыли, что Тереза покушалась на его жизнь, он проявил хладнокровие, за которое его превозносили, но это не стоило ему никаких усилий: ведь ничто не имеет действительно большого значения для людей, неспособных любить. Поскольку в сердце Бернара не было любви, он испытал лишь трепетную радость избавления от страшной опасности; так может чувствовать себя человек, вдруг узнавший, что он, сам того не ведая, долгие годы жил в тесной близости с буйным сумасшедшим. Но в этот вечер Бернар почувствовал свою силу — он был господином положения. Его восхищало сознание, что никакие трудности жизни не могут сломить такого прямого и здравомыслящего человека, как он; сразу же после налетевшей бури он готов был утверждать, что каждый сам виноват в своем несчастье. Страшнейшая драма произошла у него, а он вот «справился» с ней, как справлялся с любым делом. О его беде почти что и знать не будут, приличия соблюдены, никто больше не вздумает жалеть его (он не хотел, чтоб его жалели). Что унижительного в том, что он женился на чудовище, раз он в конечном счете укротил его? Кстати сказать, в холостяцкой жизни есть свои приятные стороны, а оттого, что он заглянул смерти в глаза и чудом избежал ее, у него необычайно обострились все его страсти — любовь к своим владениям, к охоте, к своему автомобилю, к вкусной еде, к хорошему вину — словом, к жизни.

Тереза долго стояла у окна; она смутно видела белевшую в темноте дорожку, слышала запах хризантем, защищенных садовой решеткой от овечьих отар. За оградой черной стеной вздымались дубы, скрывая сосны, но влажный ночной воздух был пропитан запахом смолы. Тереза знала, что сосновый бор окружает дом, словно вражеские полчища, невидимые, но подступившие совсем близко. И вот эти сумрачные стражи, чьи глухие жалобы она слышит, будут видеть, как она томится тут в долгие зимы, как она изнывает знойным летом от жары, они

станут свидетелями ее медленной смерти от удушья. Она закрыла окно и подошла к Бернару.

— Так вы намерены силой удерживать меня здесь?

— Называйте это как угодно, но помните, что отсюда вы выйдете только со связанными руками.

— Зачем преувеличивать? Я же вас знаю: не такой уж вы злой, каким стараетесь казаться. Неужели вы хотите, чтобы на ваше семейство пал такой позор? Нет, на этот счет я спокойна.

Тогда Бернар, как человек рассудительный, все хорошо взвесивший, объяснил ей, что бегство означало бы, что она признает себя виновной. Позор обрушится на их семейство, и избежать его можно будет только одним способом: отсечь зараженную часть тела, отречься от преступницы перед лицом всех людей.

— Именно к этому решению сперва и склонялась моя мать. Мы даже хотели предоставить правосудию идти своим путем, не будь тут замешана судьба Анны и судьба Мари. Но сделать это еще не поздно. Не торопитесь с ответом. Я прощаюсь с вами до завтра.

Тереза сказала вполголоса:

— У меня еще отец есть.

— Отец? Но мы с ним вполне солидарны. У него своя жизнь, политическая карьера, его партия, идеи, которые он защищает. Он думает только о том, как бы замять это скандальное дело, замять во что бы то ни стало. Согласитесь, что он немало сделал для вас. Ведь если следствие вели спустя рукава, то именно благодаря ему. Да, несомненно, он уже и выразил вам свою волю, в категорической форме выразил. Разве не так?

Бернар больше не повышал голоса, вновь был почти вежливым. Нельзя сказать, что ему стало жаль Терезу. Но эта женщина, которая, казалось, даже не дышала, была повергнута ниц, заняла наконец подобающее ей место. Все пришло в порядок. Он с гордостью думал, что у кого-нибудь другого счастье всей жизни рухнуло бы от такого удара, который обрушился на него, Бернара Дескейру, а он вот сумел выправить положение. Каждый человек может ошибиться, да, относительно Терезы, можно сказать, ошибались решительно все, даже госпожа де ла Трав, обычно очень быстро и верно выносявшая суждения о своих знакомых. И все дело в том, что теперь не придают особого значения принципам и не замечают, насколько опасно то воспитание, какое получила Тереза. Конечно, она — чудовище, но что бы там о ней ни говорили, а если б она верила в бога... страх — первая ступень к благоразумию. Так полагал Бернар.

А еще он думал, что весь город жаждет насладиться зрелищем позора их семьи, но как же обыватели будут разочарованы, видя каждое воскресенье за мессой дружную супружескую чету. Право, хоть бы поскорее настало воскресенье, хочется посмотреть на эти физиономии... А справедливая кара, кстати сказать, от этого ничего не потеряет. Он взял со стола лампу и держал ее в высоко поднятой руке, свет падал на склоненную голову Терезы.

— Вы еще не идете к себе в спальню?

Тереза, казалось, не слышала. Он вышел, оставив ее в темноте. На нижней ступени лестницы сидела, скорчившись, тетя Клара. Видя, что она с беспокойством смотрит на него, Бернар заставил себя улыбнуться и, взяв ее под локоть, помог ей подняться. Но она упиралась, словно старая собака, не желающая отходить от постели умирающего хозяина. Бернар поставил лампу на каменный пол и крикнул тете Кларе в ухо, что Тереза уже чувствует себя гораздо лучше, но ей хочется побыть несколько минут одной.

— Вы же знаете ее причуды.

Да, старуха знала ее причуды, на свое несчастье, она не раз входила к племяннице как раз в то время, когда той хотелось побыть одной; зачастую стоило тете Кларе приотворить дверь, и она уже чувствовала себя непрошеной гостьей.

Она с трудом поднялась и, опираясь на руку Бернара, добралась до своей комнаты, расположенной над большой гостиной. Бернар вошел вслед за ней, заботливо зажег для нее свечу, стоявшую на столе, затем, поцеловав ее в лоб, вышел. Старуха не сводила с него глаз. Чего только не умела она разгадать по лицам людей, которых не могла слышать! Она выждала, когда Бернар войдет к себе в спальню, тихонько отворила свою дверь... но увидела, что он еще стоит на лестничной площадке и, опершись на перила, свертывает сигарету; она поспешно юркнула обратно, ноги у нее дрожали, дыхание перехватило, она не в силах была раздеться, так и лежала на постели одетая, с открытыми глазами.

Х

А в гостиной сидела в темноте Тереза. Под пеплом, покрывавшим угли, в камине еще тлел огонь. Тереза не двигалась. Теперь, когда уже было поздно, в памяти всплывали обрывки ис-

поведи, которую она подготовила в поезде. Но стоит ли корить себя за то, что она не воспользовалась этим обдуманым признанием? По правде говоря, столь складная история не очень соответствовала действительности. Зачем, например, ей вздумалось придать такое большое значение ее разговорам с Жаном Азеведо? Вот глупость! Как будто разглагольствования этого юнца могли идти в счет! Нет, конечно, нет! Она повиновалась глубокому, непреложному закону. Она не погубила этой семьи — так теперь семья погубит ее, у них имеются основания считать ее чудовищем, но и она тоже считает их чудовищами. Ничем не проявляя внешне своих намерений, они хотят не спеша, действуя методично, уничтожить ее. «Теперь против меня пустят в ход весь мощный семейный механизм. Я ведь не сумела ни сломать его, ни выбраться из-под его колес. Совершенно бесполезно искать другие причины, кроме основной: «все дело в том, что они — это они, а я — это я...» Носить маску, стараться соблюдать приличия, обманывать. У меня для этого и на два года не хватило терпения; подумать только, что другие люди, такие же люди, как я, терпят до самой смерти, — вероятно, им помогает природная способность принаравливаться к обстоятельствам, усыпляющая сила привычки, и в конце концов они тупеют и погружаются в сон, зато остаются в лоне всемогущей семьи. Но я-то, я-то, я-то?..»

Она встала, растворила окно. Потянуло предрассветным холодом. Почему бы ей не убежать? Стоит только вылезти из окна. Бросятся они в погоню за ней? Отдадут ее опять в руки судебных властей? Можно все-таки попытать счастья. Будь что будет, только бы не эта бесконечная агония. Тереза уже пододвинула кресло, приставила его к подоконнику. Но ведь у нее нет денег. Ей принадлежат тысячи, тысячи сосен, и все это ни к чему: без разрешения Бернара она не может получить ни единого гроша. Лучше уж пуститься бежать напрямик через ланды, как бежал когда-то Дагер, убийца, за которым гнались, — Тереза в детстве чувствовала к нему беспредельную жалость (как ей запомнились жандармы, искавшие его; жена Бальона угощала их в кухне вином); а нашла на след несчастного Дагера собака господ Дескейру. Его схватили полумертвого от голода в зарослях вереска. Тереза видела, как его провезли в телеге на соломе связанным по рукам и по ногам. Говорили, что он умер на арестантской барже, не доехав до Кайенны. Арестантская баржа... Каторга... А разве они не способны отдать

и ее в руки правосудия, как собирались сделать? О какой это улке говорил Бернар? Лжет, вероятно... если только не нашел в кармане старой пелерины пакетик с ядом...

Надо проверить, решила Тереза. Она ощупью стала подниматься по лестнице. Чем выше поднималась, тем становилось светлее,— наверно, уже заря светит в окно. Вот наконец лестничная площадка у чердака, на ней шкаф, где висит старая одежда, которую до сих пор никому не отдают, потому что надевают ее на охоту. В выпетшей пелерине есть глубокий карман; тетя Клара клала туда свое вязанье в те времена, когда и она подстерегала в хижине вяхирей. Тереза засовывает в карман руку и вытаскивает запечатанный пакетик:

Хлороформ — 10 граммов.

Аконитин — 2 грамма.

Дигиталин — 0,2 грамма.

Она перечитывает эти слова, эти цифры. Умереть. Она всегда безумно боялась смерти. Главное, не смотреть смерти в глаза, думать только о том, что надо сделать: налить в стакан воды, растворить в ней порошок, выпить залпом, вытянуться на постели, закрыть глаза. Стараться не думать о том, что будет после смерти. Почему бояться вечного сна больше, чем всякого другого? Если ее сейчас кинуло в дрожь, то только потому, что на рассвете всегда бывает холодно. Тереза спускается по ступенькам, останавливается у той комнаты, где спит Мари. Нянька храпит так громко, словно рычит какой-то зверь. Тереза тихонько входит. Сквозь щели в ставнях пробивается занимающийся дневной свет. В тени белеет узкая железная кровать. На одеяльце лежат два крошечных кулачка. В подушке утопает еще расплывчатый детский профиль. Тереза узнает ушко Мари, слишком большое, как у матери: верно говорят, что девочка — вылитая мать. Вот она лежит, отяжелевшая, спящая. «Я ухажу. Но эта частица меня самой останется, и судьба ее свершится до конца, ничего оттуда не выкинешь, ни на йоту не изменишь». Склад ума, склонности, закон крови, закон нерушимый. Терезе приходилось читать, что самоубийцы, дошедшие до отчаяния, уносят с собой в небытие своих детей. Мирные обыватели в ужасе роняют газету: «Да как возможны подобные вещи?» Поскольку Тереза — чудовище, она чувствует, что это вполне возможно и что еще бы немного, и она... Она опускается на колени, едва касается губами маленькой ручонки, лежащей на одеяле, и, вот удивительно, что-то нарастает в самой глубине ее

существа, поднимается к глазам, жжет ей щеки: скупые слезы женщины, которая никогда не плакала!

Потом Тереза поднялась, еще раз окинула взглядом ребенка, прошла, наконец, в свою комнату, налила воды в стакан, сломала сургучную печать и остановилась в нерешительности, какой из трех ядов взять.

Окно было отворено; петухи своим пением, казалось, разрывали пелену тумана, а прозрачные его ключья цеплялись за ветки сосен. Все кругом было залито светом зари. Как же расстаться с этим сиянием? Что такое смерть? Ведь никто не знает, что такое смерть. Тереза не была уверена, что это небытие. Она не могла с твердостью сказать: там никого нет. И как была она противна себе за то, что ей страшно. Ведь она не колебалась, когда хотела столкнуть другого человека в бездну небытия, а сама вдруг упирается. Какая унижительная трусость! Если предвечный существует (на мгновение возникло воспоминание: праздник тела господня, удушливый, жаркий день, одинокий человек в тяжелом золотом облачении, чаша, которую он держит обеими руками, шевелящиеся губы и скорбное лицо) — да, если предвечный существует и если такова воля его, чтобы жалкая слепая душа переступила порог, пусть он по крайней мере примет с любовью чудовище, сотворенное им. Тереза вылила в стакан с водой хлороформ — его название было более привычно и меньше пугало ее, ибо вызывало представление о сне. Надо спешить. Дом уже просыпается: жена Бальона со стуком открыла ставни в спальне тети Клары. Что она там кричит глухой старухе? Обычно та ее понимает по движениям губ. Захлопали двери, кто-то бежит по лестнице.

Тереза едва успела набросить на стол свою шаль, чтобы скрыть пакетики с ядом. Не постучавшись, ворвалась жена Бальона.

— Мамзель померла! Я пришла, а она мертвая лежит на постели, совсем одетая. Уже зачоченела.

Тете Кларе, старой безбожнице, опутали пальцы четками, положили ей на грудь распятие. Приходили фермеры, преклоняли колени и выходили, окинув взглядом Терезу, стоявшую в изножии кровати («А кто ее знает, может, и старуху-то она извела»); Бернар поехал в Сен-Клер известить родных и заняться необходимыми хлопотами. Вероятно, он думал, что эта смерть пришла вовремя — отвлечет внимание от главного. Тереза глядела на мертвое тело, на старое преданное существо, которое

пало ей под ноги в то мгновение, когда она хотела ринуться в бездну смерти. Что это? Случайность? Совпадение? Скажи ей кто-нибудь, что это произошло по особому произволению, она бы только плечами пожала. Люди шушукались: «Видели? Она хоть бы для виду слезинку проронила». А Тереза в сердце своем говорила с той, кого уже не стало: «Как же мне теперь жить? Быть живым трупом, да еще во власти тех, кто меня ненавидит? Даже и не пытаться что-нибудь увидеть за стенами своего склепа?»

На похоронах Тереза занимала положенное ей место. А в ближайшее воскресенье она вошла в церковь под руку с Бернаром, и, вместо того чтобы пройти к своей скамье через боковой придел, он нарочно провел ее через неф. Тереза откинула траурную вуаль лишь после того, как заняла свое место между свекровью и мужем. Присутствующим в церкви не было ее видно за колонной, а против нее был только клирос. Ее окружили со всех сторон: сзади — толпа, справа — Бернар, слева — госпожа де ла Трав, и только одно оставалось ей открытым, как арена, на которую вырывается из тьмы бык, — вот это пустое пространство, где между двумя мальчиками-служками странно наряженный человек что-то шепчет, слегка расставив руки.

XI

Вечером Бернар и Тереза возвратились в Аржелуз, но теперь в дом Дескейру, где уже много лет почти что и не жил никто. Камин там дымили, окна плохо затворялись, под двери, которые изгрызли крысы, задувал ветер. Но в том году осень была так хороша, что сначала Тереза и не замечала этих неприятностей. Бернар целыми днями пропадал на охоте. Вернувшись домой, он тотчас располагался на кухне, обедал с Бальонами — Тереза слышала звяканье вилок, монотонные голоса. В октябре быстро темнеет. Книги, которые Тереза велела перенести из соседнего дома, она уже знала наизусть. Бернар ничего не ответил на просьбу жены переслать в Бордо, в книжную лавку, ее заказ на новинки, он только позволил ей пополнить запас сигарет. Что ей было делать вечерами? Мешать кочергой жар в камине? Но ветер выбивал в комнату дым от горящих смолистых поленьев, у нее першило в горле, щипало глаза, и без того раздраженные курением табака. Как только Бальонша уносила остатки почти нетронутого ужина, Тереза тушила лампу и ло-

жила в постель. Сколько часов лежала она, вытянувшись под одеялом, тлещно ожидая сна? Тишина Аржелуза мешала ей спать: когда ночью дул ветер, все-таки было лучше — в смутной жалобе, звучащей в вершинах сосен, была какая-то человеческая ласка. Тереза отдавалась душой этой убаюкивающей песне. Беспокойные ночи поры равноденствия лучше усыпляли ее, чем тихие ночи.

Как ни были томительны бесконечные вечера, все же случилось, что Тереза возвращалась с прогулки еще засветло, и тогда какая-нибудь фермерша, завидев, ее, хватала своего ребенка за руку и спешила увести его во двор или же встретившийся гуртоправ, которого она знала и в лицо и по имени, не отвечал на ее приветствие. Ах, как было бы хорошо затеряться, исчезнуть в большом, многолюдном городе! В Аржелузе каждый пастух знал сочинявшиеся о ней истории (ей приписывали даже смерть тети Клары). Она не посмела бы тут переступить чужого порога, из дому выбиралась через боковую калитку, обходила фермы стороной; стоило вдалеке застучать колесам крестьянской тележки, она сворачивала с большой дороги на проселочную; она шла быстро, а на сердце у нее было тревожно, как у птицы, вспугнутой охотником; заслышав дребезжащий звук велосипедного звонка, она пряталась в зарослях вереска и замирала там, пока не проедет велосипедист.

По воскресеньям на мессе в Сен-Клере она не испытывала такого страха, и там ей становилось немного легче. Общественное мнение городка как будто стало более благосклонным к ней. Она не знала, что отец и семейство де ла Трав рисовали ее как невинную жертву, смертельно сраженную клеветой. «Мы боимся, что бедняжка не оправится, она никого не желает видеть, и доктора говорят, что в этом ей никак нельзя противоречить. Бернар окружает ее заботами, но, знаете ли, психика ее затронута».

В последнюю ночь октября бешеный ветер, примчавшийся с Атлантики, долго терзал вершины деревьев, и Тереза в полусне прислушивалась к этому шуму, похожему на гул океана, однако на рассвете ее разбудила не эта жалоба леса. Она откинула ставни, но в комнате по-прежнему было темно: шел дождь, мелкий и частый, струившийся по черепичным кровлям хозяйственных служб, по еще густой листве дубов. Бернар не пошел в тот день на охоту. Тереза закуривала сигарету, бросала, выходила на лестничную площадку и слышала оттуда, как ее муж бродит

на нижнем этаже из комнаты в комнату; запах крепкого трубачного табака проникал в ее спальню, заглушая запах сигарет, которые курила Тереза,— сразу на нее пахнуло прежней ее жизнью. Первый день осеннего ненастья... Сколько же времени ей еще предстоит томиться в этой комнате у камина, где едва тлеют угли! В углах плесень, из-за сырости отстали обои; на стенах еще видны следы висевших там фамильных портретов, которые Бернар увез в Сен-Клер, чтобы украсить ими гостиную, и все еще торчат уже ненужные ржавые гвозди. На каминной полке по-прежнему стоят в фигурной рамке из поддельной черепахи три фотографии, такие бледные, словно покойники, запечатленные на них, умерли вторично: отец Бернара, его бабка и сам Бернар в детстве, с челкой на лбу и локонами до плеч. Надо прожить тут весь этот день, а потом жить тут недели и месяцы..

Когда стало смеркаться, Тереза не выдержала: тихонько отворила дверь, спустилась по лестнице и вошла в кухню. Бернар, сидевший на низком стуле перед очагом, вскочил, Баллон перестал чистить ружье, а его жена выронила из рук вязанье. Все трое смотрели на Терезу с таким выражением, что она спросила:

— Что, испугались меня?

— Входить в кухню вам запрещено. Вы разве не знаете?

Тереза ничего не ответила и попятилась к двери. Бернар окликнул ее.

— Ну, раз уж мы встретились... то я считаю нужным сообщить вам, что дальнейшее мое пребывание здесь больше не является необходимым. Нам удалось создать в Сен-Клере атмосферу симпатии к вам, все считают или делают вид, что считают вас несколько... неврастеничной. Мы уверили всех, что вы больше любите жить в одиночестве, а я часто навещаю вас. Впредь я освобождаю вас от обязанности ходить к мессе...

Тереза пробормотала, что ей «совсем не было неприятно» ходить к мессе. Бернар ответил, что дело не в том, что ей приятно или неприятно. Искомый результат достигнут — вот и все.

— И поскольку месса для вас ничего не значит...

Тереза открыла было рот, хотела что-то сказать, но промолчала. А Бернар повелительным тоном заявил, что она должна вести себя так, чтобы ни единым словом, ни единым жестом не повредить столь быстрому и неожиданному успеху. Тереза спросила, как чувствует себя Мари. Он ответил, что Мари чувствует себя хорошо и завтра она с Анной и госпожой де ла Трав усзжает в Болье; он и сам проведет там некоторое время — месяца

два, три, не больше. Затем он отворил дверь и, посторонившись, пропустил Терезу.

На тусклой осенней заре она услышала, как Бальон запрягает лошадь. Потом раздался голос Бернара, конское ржание и удалявшийся стук колес. И опять лил дождь, падавший на черепицы, на запотевшие окна, на пустынное поле, на все сто километров ланд и болот, на последние еще не укрощенные движущиеся дюны и на океан.

Тереза курила, закуривая одну сигарету от другой; часа в четыре надела непромокаемый плащ и решила пройтись под дождем. В темноте ей стало страшно, и она вернулась к себе в комнату. Огонь в камине погас, она дрожала от холода и, чтобы согреться, легла в постель. Часов в семь Бальонша принесла ей яичницу с ветчиной, Тереза отказалась от еды: ее уже стало мутить от вкуса и запаха свиного сала. Каждый день жирные мясные консервы или ветчина. Бальонша уверяла, что у нее больше ничего нет. Хозяин запретил резать птицу. И стала жаловаться, что Тереза заставляет ее без толку подниматься и спускаться по лестнице, а ведь у нее, Бальонши, и сердце болезненное, и ноги отекают. Тяжелая у нее работа. Только ради господина Бернара она и взялась за это дело.

Ночью Терезу лихорадило, но голова была необычайно ясной, и в воображении она рисовала себе жизнь в Париже. Вот ресторан, где она была с Бернаром, но теперь она не с ним, а с Жаном Азеведо и какими-то молодыми женщинами. Вот она положила на стол свой черепаховый портсигар, закурила сигарету «Абдулла». Вот она говорит, изливает свою душу, а в это время оркестр играет под сурдинку. Ее рассказ слушают с восторгом — вокруг такие внимательные, но не удивленные лица, и одна женщина говорит: «Вот так же было и у меня... Да-да, я тоже испытала это...» Какой-то писатель отводит ее в сторону: «Вы должны написать о том, что вам пришлось пережить. Мы напечатаем в нашем журнале эту «Исповедь женщины наших дней». Домой ее отвозит в своей машине молодой человек, вздыхающий о ней; они едут по аллее Булонского леса, сама она не чувствует волнения, но ей приятно, что сидящий слева от нее юноша горит страстью. «Нет, сегодня вечером не могу, — говорит она ему, — сегодня я обедаю у подруги». — «А завтра?» — «Тоже не могу». — «Значит, вы никогда не бываете свободны по вечерам?» — «Почти никогда... можно сказать, никогда».

Но в ее жизни есть человек, рядом с которым ей все кажется ничтожным; человека этого никто не знает в их кругу, он очень скромный, совсем безвестный, но все существование Терезы вращается вокруг этого солнца, видимого лишь ее взгляду, только она одна знает жар его объятий. Париж гудит, как ветер в соснах. Приникшее к ней тело возлюбленного, такое легкое, стесняет ее дыхание, но пусть уж она лучше задохнется, лишь бы он был здесь, рядом. (И Тереза делает такое движение, как будто обнимает кого-то, правой рукой сжимает себе левое плечо, а ногти левой руки впиваются в правое плечо.)

Она встает, идет босая к окну, отворяет его; ночь не холодная, но даже и надеяться нельзя, чтобы хоть один день в эту осень не шел дождь: с утра до вечера дождь, дождь, и так до скончания веков. Будь у нее деньги, она бы убежала в Париж и пошла бы прямо к Жалу Азеведо, доверилась бы ему; он сумел бы найти ей работу. Жить в Париже одной, да еще на свой собственный заработок, ни от кого не зависеть! Освободиться от этой семьи. Пусть само сердце выбирает себе близких — не по крови, а по духу, но и по плоти также; найти поистине родных тебе людей, — даже если их будет немного, даже если они будут разбросаны по свету... Наконец она уснула при открытом окне. Проснулась на рассвете от холода и сырости; она так замерзла, что у нее стучали зубы, но не могла решиться встать и затворить окно, не было даже сил протянуть руку и укрыться сбившимся одеялом.

В этот день она так и не встала с постели, не умылась, не привела себя в порядок. Проглотила несколько кусочков мясных консервов и выпила кофе, чтобы закурить сигарету: натошак она больше не могла теперь курить, желудок не позволял.

Она пыталась возвратиться к своим ночным вымыслам; днем в Аржелузе шуму не прибавлялось, а после обеда уже наступала такая же тьма, как и ночью. В пору самых коротких дней в году, да еще при упорном ненастье, все смешивалось: утренние, вечерние, дневные часы; утренняя мгла быстро переходила в вечерний сумрак, а кругом стояла нерушимая тишина. Терезе теперь совсем не хотелось спать, и ее сны наяву становились от этого еще более четкими; она терпеливо искала в своем прошлом забытые лица, губы, которые влекли ее к себе; она возрождала смутные воспоминания о случайно встреченных мужчинах, которых в ночных грезах призывало ее невинное

тело. Она придумывала себе счастье, рисовала радости жизни, создавала сказку о какой-то немыслимой любви.

— Она теперь и не вылезает из постели, — через некоторое время докладывала Бальонша мужу, — и не ест ничего, до консервов и до хлеба не дотрагивается. Но не беспокойся, бутылочку-то всю выпивает. Сколько ни дай вина этой дряни, все вылакает. Да еще, знаешь, сигаретами своими простыни прожигает. Рано или поздно она пожар тут устроит. Курит, без конца курит — даже пальцы и ногти пожелтели, как будто она их в арнику опустила. Подумать только, простыни-то добротные, домотканые. Не жди, голубушка, что я тебе часто буду менять белье.

Бальонша ныла, что она не отказывается подметать комнату Терезы и перестилать постель, но ведь эта чертова лентяйка не желает вылезать из-под одеяла. Да и стоит ли для нее стараться? Несчастная старуха Бальонша больными своими, отекавшими ногами взбирается по лестнице с кувшинами горячей воды, но как поставит их утром у двери, так они и стоят до вечера.

Мысли Терезы уже отвлеклись от образа того неведомого возлюбленного, который она создала себе на радость, ее уже утомило вымышленное счастье, она пресытилась им, и теперь фантазия уводила ее от действительности иными путями. Вот она лежит на смертном одре. Вокруг стоят на коленях люди. К ложу ее приносят умирающего мальчика (одного из тех, кто убегал при виде Терезы); она возлагает на его голову руку с пожелтевшими от никотина пальцами, и мальчик встает исцеленный. Возникали у нее и другие, совсем скромные мечты: вот она построила себе дом на берегу моря; она так ясно представляла себе сад, террасу, расположение и назначение комнат; она подбирала для них обстановку, искала место для каждой вещи, расставляла там и тут мебель, что была у нее в Сен-Клере, спорила сама с собой, покупая ткани. Затем декорация становилась расплывчатой, оставалась садовая беседка и скамья у моря. Тереза сидит на этой скамье, положив голову кому-то на плечо. Зазвонил колокол, призывая к обеду; она встает, входит в темную аллею, кто-то идет рядом с нею и вдруг обнимает ее обеими руками, прижимает к себе. «Поцелуй, — думает она, — должен остановить время»; ей кажется, что в любви бывают мгновения бесконечности — так говорило ей воображение, но верна ли эта догадка? Этого ей никогда не узнать. Опять она видит белый домик, колодец; скрипит насос, благоухают во дворе только что политые гелиотропы; ужин будет отдыхом перед счастьем,

ожидающим ее вечером и ночью. Незыблемым счастьем, которому невозможно смотреть в лицо, оно беспрдельно, сердце человеческое не в силах вместить его. Итак, любовь, которой Тереза была лишена больше всех, пронизывала все ее существо, Тереза была одержима ею. Она почти и не слышала визгливого голоса Бальонши. Что там кричит эта старуха? «Рано или поздно господин Берпар без предупреждения вернется с юга. И что же он скажет, когда заглянет в вашу комнату? Ведь это настоящий свинарник! Вставайте-ка скорее, сударыня, не то придется поднять вас силой». Тереза садится на постели, с тупым удивлением смотрит на свои ноги. Ноги худые, как у скелета, ступни кажутся огромными. Бальонша надевает на нее капот, заталкивает ее в кресло. Тереза ищет возле себя сигареты, но ее рука повисает, как плеть. Негреющие лучи солнца вливаются в распахнутое окно. Бальонша суетится, орудует половой щеткой, пытит, чертыхается, а ведь, говорят, эта Бальонша добрая женщина. Когда к Рождеству колют откормленного ею кабана, она проливает слезы. А злится она из-за того, что Тереза ничего ей не отвечает: молчание Бальонша считает для себя оскорбительным, как знак презрения.

Но Тереза не в силах была говорить. Когда все ее тело ощутило свежесть чистых простынь, она, как ей кажется, сказала «спасибо», но на самом деле ни звука не слетело с ее губ. Бальонша прошипела уходя: «Ну, уж этих простынь вы не прожжете!» Тереза испугалась, что старуха унесла сигареты, и со страхом протянула руку к ночному столику: сигарет там не оказалось. А как же ей жить без сигарет? Ей необходимо постоянно ощущать в пальцах эту сухую и упругую палочку, ей необходимо без конца нюхать и разминать сигареты, видеть, что комната утопает в сизом облаке дыма, который она втягивает и выпускает изо рта. Бальонша придет теперь только вечером, весь день — без сигарет. Тереза закрыла глаза, а ее пожелтевшие пальцы все еще делали привычные движения, будто разминали сигарету.

В семь часов вечера пришла Бальонша, принесла свечу, поставила на стол поднос: молоко, кофе, кусок хлеба. «Ну, как? Больше вам ничего не надо?» Она злорадно смотрела на Терезу, ждала, что та попросит сигарет, но Тереза лежала молча, повернувшись лицом к стене.

Бальонша, вероятно, плохо затворила окно, от порыва ветра оно распахнулось, и ночной холод ворвался в комнату. У Терезы не хватило мужества откинуть одеяло, встать и подбежать боси-

ком к окну. Она лежала неподвижно, скорчившись и натянув одеяло до самых глаз, чувствуя на веках и на лбу ледяное дыхание ветра. В сосновом бору не стихал беспредельный гул, похожий на гул океана, и все же там царила тишина, глубокая тишина Аржелуза. Тереза думала, что, если бы она жаждала мученичества, она бы не куталась так в одеяла. Она попробовала было откинуть их, но выдержала холод лишь несколько мгновений. Потом ей удалось выдержать немного дольше — она как будто повела игру, совсем безотчетно, без всякого участия воли; страдания стали ее единственным занятием и, кто знает, может быть, смыслом ее существования в мире.

ХИ

— Письмо от хозяина!

Тереза не брала протянутое ей письмо, но Бальонша не отставала: наверно, тут сказано, когда хозяин вернется, и ей, Бальонше, надо про это знать, чтобы вовремя все приготовить.

— Может, хотите, чтобы я прочитала?

Тереза ответила: «Прочтите! Прочтите!» — и, как всегда в присутствии Бальонши, повернулась лицом к стене. Но то, что чуть не по складам читала вслух Бальонша, вывело ее из оцепенения:

«Я был очень рад, узнав из сообщений Бальона, что у вас в Аржелузе все благополучно...»

Бернар писал, что вернется на машине, но так как он намерен останавливаться по дороге в тех или иных городах, то не может указать точной даты своего приезда.

«Во всяком случае, вернусь я не позднее двадцатого декабря. Не удивляйтесь, что я приеду с Анной и Дегилемом. В Болье они обручились, но это еще не официальная помолвка. Дегилем непременно хочет сначала увидеться с вами. Уверяет, что этого требуют приличия, но я чувствую, что он хочет составить себе мнение о некоторых обстоятельствах — вы, конечно, догадываетесь каких. Вы так умны, что прекрасно справитесь с этим испытанием. Помните: вы больны, у вас затронута психика. В общем, я полагаюсь на вас. Я буду вам признателен, если вы постараетесь не разрушить счастья Анны, не помешаете благополучному осуществлению плана, который во всех отношениях удовлетворяет нашу семью. В противном случае вы дорого заплатите за малейшую попытку повредить нам. Однако я уверен, что этого нам нечего опасаться...»

Это было в ясный и холодный день. Тереза встала с постели, подчинившись настояниям Бальонши, и, опираясь на ее руку, немного прошла по саду, но за завтраком она с трудом справилась с кусочком белого мяса цыпленка. До двадцатого декабря оставалось еще десять дней. Бальонша уверяла, что, если Тереза встряхнется, будет выходить из дому, дышать свежим воздухом, она живо встанет на ноги.

«Не то что она со зла упрямится,— говорила Бальонша мужу,— она просто совсем раскисла. Господин Бернар умеет дрессировать непослушных собак: чуть что, наденет парфорсный ошейник. Ну, с этой-то не пришлось долго возиться, видишь, ползает теперь на брюхе. Но лучше бы он все-таки ей не доверял...»

Тереза действительно изо всех сил старалась отказаться от мечтаний, дремоты, от самозабвения. Она заставляла себя ходить, есть, а главное, вновь обрести ясность мыслей, здраво смотреть на вещи и на людей; ведь приди она в ланды, пострадавшие от пожара по ее вине, она ступала бы там по слою пепла, ходила бы среди обгоревших черных сосен — так же вот готова она была говорить и улыбаться в кругу этой семьи — ее семьи.

Восемнадцатого декабря, в пасмурный, но не дождливый день Тереза сидела у камина в своей спальне и дремала, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза. Вдруг ее разбудил шум мотора. Затем она услышала голос Бернара, раздавшийся в прихожей, а также голос госпожи де ла Трав. Когда Бальонша, запыхавшись, ворвалась в спальню, забыв постучаться, Тереза уже стояла перед зеркалом, подрумянивала себе щеки и подкрашивала губы. Она сказала: «А то, пожалуй, напугаю жениха Анны...»

Бернар допустил промах — не поднялся первым делом к жене. Молодой Дегилем, обещавший своим родителям «смотреть в оба», отметил такое невнимание со стороны мужа и решил, что оно «наводит на некоторые размышления». Немного отодвинувшись от Анны, он поднял меховой воротник теплого пальто и счел нужным сказать, что «эти деревенские гостинные нечего и пытаться натопить». Он спросил у Бернара: «У вас сделан под домом подвал? Нет? Ну, так у вас пол всегда будет подгнивать, разве только что положить под него слой цемента...»

На Анне было беличье манто и фетровая шляпка без ленты и без банта («Но,— заметила госпожа де ла Трав,— хоть на

этом колпачке нет никаких украшений, он стоит дороже, чем прежние наши шляпы с перьями и с эгретками. Правда, фетр тут чудесный, куплен у Лельгака, а фасон создан самим Ребу»). Госпожа де ла Трав протягивала ноги к топившемуся камину, но все поворачивалась властным и пухлым лицом к двери. Она обещала Бернару быть на высоте положения, но заявила ему: «Смотри не проси, чтобы я поцеловала ее. Нельзя же этого требовать от матери. Меня и то уж в дрожь бросает при мысли, что придется поздороваться с ней за руку. Один бог знает, каких ужасов она натворила, но, представь себе, не это меня больше всего возмущает, мы же знаем, что есть люди, способные на любое злодейство, меня ее лицемерие возмущает. Вот что страшно. Ты одно вспомни: «Мама, лучше сядьте вот в это кресло, вам будет удобнее». И ведь как она боялась «напугать» тебя! «Дорогой мой бедняжка так боится смерти, что, если мы вызовем врача для консилиума, это его доконает...» Господь бог видит, я ничего не подозревала, но, услышав из ее уст «дорогой мой бедняжка», я просто поразилась...»

Но сейчас, в гостиной их аржелузского дома, госпожу де ла Трав беспокоило только одно: явная неловкость, которую испытывал каждый из присутствующих; она внимательно наблюдала за Дегилемом, устремившим на Бернара свои сорочьи глаза.

— Бернар, ты бы сходил посмотреть, что делает Тереза... Может быть, ей нездоровится.

Анна, равнодушная, как будто отрешившаяся от всего, что может произойти, первая услышала знакомые шаги: «Да вот она, уже спускается по лестнице». Бернар прижал руку к груди: опять началось сердцебиение. Какое идиотство, что он не приехал сюда вчера вечером! Нужно было заранее прорепетировать эту сцену с Терезой. Что-то она скажет? Она способна все испортить, не сделав ничего такого, за что ее можно было бы упрекнуть. Как она медленно спускается по ступенькам! А все уже встали, все повернулись к двери, и наконец Тереза отворила ее.

Несомненно, Бернар долгие годы помнил, как при появлении этого изможденного существа, этого маленького, бледного и накрашенного личика у него прежде всего мелькнула мысль: «Суд присяжных». Но возникла она не по поводу преступления Терезы. Ему вдруг вспомнилось цветное приложение к «Пти пари-зьян», украшавшее в числе многих других картинок дощатую беседку в аржелузском саду его родителей; и в знойные дни

под жужжание мух и неистовое стрекотание кузнечиков в траве он, ребенком, со страхом вглядывался в эту красно-зеленую картину, изображавшую «Узницу замка Пуатье».

Так и теперь он испуганно смотрел на это бескровное, исхудалое лицо и корил себя за свое безумие: ведь надо было сразу же, во что бы то ни стало устранить эту ужасную женщину, отбросить ее, как выбрасывают в воду бомбу, которая с минуты на минуту может взорваться. Сознательно или безотчетно, но Тереза вызывала у каждого мысль о какой-то драме, хуже того — о каком-то происшествии из уголовной хроники; она, несомненно, могла быть только преступницей или жертвой... Собравшиеся в гостиной родственники встретили ее возгласами удивления и жалости столь непритворными, что Дегилем заколебался в своих выводах, не знал, что ему и думать. А Тереза объяснила:

— Но ведь все это очень просто. Погода была плохая, я совсем не выходила на воздух и потеряла аппетит. Я почти ничего не ела. Но ведь лучше похудеть, чем располнеть, верно?.. Давай, Анна, поговорим о тебе. Я так рада...

Тереза взяла ее за руки (она сидела, Анна стояла) и долго глядела на нее. С исхудалого, как будто истаявшего лица на Анну смотрели такие знакомые глаза; когда-то, в детстве, их пристальный взгляд раздражал ее, и она говорила Терезе: «Что ты так смотришь на меня? Перестань!»

— Я так радуюсь твоему счастью, Анна.

И на губах Терезы мелькнула улыбка, поздравлявшая Анну с ее «счастьем», адресованная и господину Дегилему, его плешивой голове, жандармским усам, покатым плечам, его коротенькой визитке и его жирненьким ляжкам, обтянутым брюками в серую и черную полоску (да что ж, мужчина как мужчина, словом — муж). Затем она вновь перевела глаза на Анну и сказала:

— Сними шляпку... Ну вот, я и узнаю тебя, душенька.

Анна же видела теперь совсем близко кривившийся рот Терезы, ее глаза, никогда не проливавшие слез, но она не знала, о чем в эту минуту думала Тереза. Господин Дегилем высказал мысль, что и зимою деревня не так уж страшна для женщины, если она любит свое гнездышко. «В доме всегда столько работы...»

— Что же ты не спросишь меня о Мари?

— Правда, правда... Расскажи о Мари...

И тут Анна как будто вновь стала недоверчивой, враждебной — не зря же она несколько месяцев очень часто и с

одинаковым выражением повторяла своей матери: «Я бы ей все простила, она в конце концов душевнобольная, но ее равнодушие к Мари я не могу вынести. Мать, которая несколько не интересуется своим ребенком. Приводите тут какие угодно оправдания, а я считаю это гнусным».

Тереза догадывалась, что думает Анна: «Она презирает меня за то, что я не заговорила прежде всего о Мари. Как объяснить ей? Она не поняла бы, что я полна собой, всецело занята собой. Анна ждет не дожидется детей, чтобы раствориться в них, подобно своей матери, подобно всем женщинам-семьянинкам. А мне всегда необходимо думать о своем, я стараюсь обрести себя... Анна скоро позабудет и свою юность, и свою дружбу со мной, позабудет и ласки Жана Азеведо — все позабудет при первом же писке младенца, которым ее наградит вот этот гном, даже не сняв свою визитку. Женщина-семьянинка жаждет утратить свою индивидуальную жизнь. Как прекрасна такая жертва во имя блага всего рода, и я чувствую красоту этой обезличенности, этого самоотречения... Но я-то, я...»

Тереза попыталась не слушать того, что говорили вокруг, а думать о Мари; крошка теперь, должно быть, уже лепечет. «Приятно было бы послушать ее болтовню, но только недолго, она быстро наскучила бы мне и захотелось бы поскорее остаться наедине с самой собой...» Она спросила Анну:

— А Мари, наверно, уже хорошо говорит?

— Повторяет все, что услышит. Ужасно забавно. Закукарекает петух или машина даст гудок, она сейчас же поднимет пальчик и скажет: «Слышишь? Бибика кличит». Такая душечка! Такая прелесть!

Тереза думала: «Надо прислушаться, о чем они там говорят. В голове у меня так пусто... О чем это толкует господин жених?» И, сделав над собой усилие, она слушает.

— У меня в Балисаке имение, но наши смолокуры не такие усердные, как здесь: собирают смолу четыре раза в год, а в Аржелузе — семь, а то и восемь раз.

— Ну, ваши смолокуры просто лодыри, ведь цены-то на смолу завидные.

— Да-да. Нынче смолокур зарабатывает по сто франков в день! Но мы, кажется, утомили вашу супругу.

Тереза откинула голову на спинку кресла. Все встали. Бернар решил переночевать в Аржелузе. Дегилем сказал, что он

сам поведет его машину, а завтра шофер пригонит ее обратно и привезет багаж Бернара.

Тереза сделала усилие, чтобы привстать, но свекровь удержала ее.

Тогда она закрыла глаза и услышала, как Бернар сказал матери:

— Ну уж эти Бальоны! Сейчас я им задам такую головоломку, что они ее долго будут помнить!

— Слушай, ты все-таки не увлекайся, а то они, чего доброго, возьмут расчет, а нам это ни к чему: во-первых, они слишком много знают а кроме того, имение... Одному только Бальону известны все его границы.

Затем, отвечая на какую-то реплику Бернара, которую Тереза не расслышала, госпожа де ла Трав добавила:

— Будь все же поосторожнее, очень-то ей не доверяй, следди за каждым ее жестом, никогда не позволяй, чтобы она одна входила в кухню или в столовую!.. Да нет, она не в обмороке, она спит или притворяется...

Тереза открывает глаза, перед ней Бернар, он держит в руке стакан и говорит:

— Вот выпейте скорее. Это испанское вино, оно очень укрепляет силы.

А затем, поскольку Бернар всегда делает то, что решил, он идет в кухню и дает там волю своему негодованию. Разговор идет на местном наречии. Тереза слушает кудахтанье Бальонши и думает: «Бернар чего-то испугался! Но чего именно?» Он возвращается.

— Мне кажется, вам приятнее будет есть в столовой, а не у себя в комнате. Я уже отдал распоряжение, чтобы вам накрывали на стол, как прежде — в столовой.

Право, Бернар стал таким же, как в дни следствия, — союзником, желающим во что бы то ни стало вызволить ее из беды. Он хочет, чтобы она выздоровела, чего бы это ни стоило. Да, он, несомненно, испугался. Вот он сидит перед ней, ворошит кочергой жар в камине. Тереза наблюдает за ним, но не может угадать, какой образ возникает в пламени перед его выпуклыми глазами, а видит он там красно-зеленый рисунок приложения к «Пти паризьен» — «Узница замка Пуатье».

Сколько бы ни лил дождь, на песчаной почве Аржелуза не остается ни одной лужи. В самой середине зимы достаточно солнышку выглянуть на один час, и уже можно спокойно гу-

лять в туфлях на веревочной подошве по дорогам, устланным ковром сухих и упругих сосновых игл. Бернар пропадал на охоте по целым дням, но к вечеру всегда возвращался домой, спрашивал, как Тереза себя чувствует, еще никогда он так не заботился о ней. В их отношениях не было натянутости. Он заставлял ее взвешиваться каждые три дня, позволял курить только после еды и не больше двух сигарет. По его совету Тереза очень много ходила пешком по лесу: «Физические упражнения возбуждают аппетит лучше всякого аперитива».

Теперь Тереза уже не боялась Аржелуза. Ей казалось, что сосны расступаются, размыкают свои ряды, ветвями подают ей знак, чтоб она уходила на волю. Как-то раз вечером Бернар сказал ей: «Я прошу вас подождать только до свадьбы Анны. Пусть все ланды еще раз увидят нас с вами вместе, а после вы будете свободны». В ту ночь она не могла сомкнуть глаз: тревога и радость не давали ей спать. На рассвете она услышала пение петухов — казалось, они не перекликаются, а поют хором, все разом, наполняя и небо и землю единым ликующим воплем. Итак, Бернар выпустит ее на волю, как выпустил он когда-то в ланды дикую кабаниху, которую не мог приручить. Когда Анна выйдет замуж за своего Дегилема, пусть себе люди болтают что угодно. Бернар привезет Терезу в Париж, она погрузится в его пучину, а он вернется домой. Так было у них условлено. Ни развода, ни официального «раздельного жительства» — для посторонних предлогом выставят ее здоровье. («Она чувствует себя хорошо только в путешествиях».) Бернар будет регулярно ей высылать ее долю дохода от сбора смолы.

Бернар не расспрашивал Терезу о ее планах, пусть она убирается ко всем чертям. «Я только тогда успокоюсь,— говорил он матери,— когда она вытряхнется отсюда». — «Надеюсь, она примет свою девичью фамилию... Но все равно, если она опять примется за свое, тебя живо найдут». Однако Бернар утверждал, что Тереза «брыкается только в оглоблях». А будет она чувствовать себя свободной, так, может быть, станет благоразумнее. Во всяком случае, надо рискнуть. Такого же мнения держался и господин Ларок. В конечном счете лучше всего, чтобы Тереза исчезла с горизонта: так ее скорее забудут, люди отвыкнут сплетничать о ней. Теперь самое главное — молчать. Мысль эта укоренилась в их головах, и они уже не могли отказать от нее: Терезу надо вывести из оглобель. Ах, как им хотелось сделать это поскорее!

Тереза очень любила самый конец зимы, когда обнажены земля и лес, и все же бурые лохмотья засохших листьев упорно цепляются за ветви дуба. В эти дни она открывала, что тишины в Аржелузе не существует. В самую тихую погоду лес стонет, как будто плачет над своей судьбой, убаюкивает себя, и, даже когда он засыпает, ночами слышится его бесконечный шепот. А ведь может случиться, что в ее будущей жизни, невообразимой жизни, ей доведется встречать зарю в таком одиночестве, что она пожалеет о часах утреннего пробуждения в Аржелузе, о ликующем вопле бесчисленных петухов, и долгие годы ей летом будут вспоминаться кузнечики, стрекошущие днем, и ночной скрип сверчков. Париж. Кругом будут не сосны, терзаемые людьми, а люди, опасные люди. Вместо полчищ деревьев — полчища людей.

Супруги Дескейру сами удивлялись, что чувствуют себя друг с другом так непринужденно. Терезе пришла мысль, что мы спокойно терпим соседство неприятных для нас людей, если уверены, что можем расстаться с ними. Бернара теперь интересовало, и сколько весит Тереза, и как она рассуждает: она говорила при нем так свободно, как никогда не говорила прежде. «В Париже... когда я уеду в Париж...» Там она поселится в гостинице, а может быть, подыщет себе квартиру. Она собиралась ходить на лекции, на доклады, на концерты — начать с азов свое образование. Теперь Бернар и не думал следить за ней, без опаски ел за столом суп, пил вино. Доктор Педмэ, встречавший их иногда на дороге к Аржелузу, говорил своей жене: «Удивительно, что они как будто совсем и не разыгрывают комедию».

ХIII

В теплое мартовское утро, около десяти часов, волна людей уже текла по улицам Парижа, подступала к террасе «Кафе де ла Пэ», где сидели за столиком Бернар и Тереза. Она бросила сигарету и, как это делают жители ланд, тщательно раздавила окурки подошвой.

— Бойтесь, что асфальт загорится?

И Бернар деланно засмеялся. Он корил себя, зачем ему вздумалось проводить Терезу до Парижа. Конечно, поехали они только после свадьбы Анны, и проводить даже надо было, считаясь с общественным мнением, но главное — он подчинил-

ся желанию Терезы. Право, у этой женщины просто талант создавать нелепые положения: пока она как-то связана с его жизнью, ему, вероятно, не раз придется потворствовать ее безрассудным желаниям; она сохраняет некое подобие влияния даже на такой уравновешенный, такой положительный ум, как у него. И когда пришла минута расстаться с ней, он против своей воли испытывал чувство грусти, хотя никогда бы не сознался в этом: кажется, трудно найти человека более чуждого сентиментам такого рода, а уж тем более по отношению к Терезе это просто немыслимо. И ему хотелось избавиться поскорее от душевного смятения. Только и вздохнешь свободно, когда сядешь в Южный экспресс. Автомобиль будет ждать его ныпче вечером в Лангоне. Вскоре после этой станции, у дороги на Вилландро, начнутся сосновые леса. Он смотрел на профиль Терезы, видел, как ее взгляд останавливается на каком-нибудь лице, возникшем в толпе прохожих, и следит за ним до тех пор, пока оно не исчезнет. И вдруг Бернар сказал:

— Тереза... Я хотел вас спросить...

Он отвел глаза, потому что не мог выдержать взгляда этой женщины, и быстро добавил:

— Почему вы это сделали? Потому что ненавидели меня? Я внушал вам отвращение?

Он слушал собственные слова с удивлением и досадой. Тереза улыбнулась, потом с очень серьезным видом подняла на него глаза. Наконец-то! Бернар задал тот вопрос, над которым она задумалась бы прежде всего, будь она на его месте. Может быть, не напрасна будет исповедь, так долго подготавливавшаяся ею — сначала в коляске на пути в Низан, затем в поезде узкоколейки, увозившем ее в Сен-Клер, в ту ночь, когда она так страстно, так терпеливо вспоминала, делала тяжкие усилия, чтобы найти истоки своего проступка. Может быть, наступила наконец минута, когда мучительное копание в себе возместится ей. Должно быть, она невольно внесла смятение в душу Бернара, все усложнила. И вот он задал ей вопрос, как будто случившееся ему не очень ясно и он не знает, что об этом думать. Теперь он не так примитивен в своих суждениях и не так безжалостен. Тереза бросила на этого нового для нее Бернара снисходительный, почти материнский взгляд. Ответила она, однако, насмешливым тоном:

— А разве вы не догадывались, что всему причиной ваши сосны? Я хотела одна владеть вашими соснами.

Он пожал плечами:

— Если я когда-нибудь и верил этому, то сейчас уже не верю. Почему вы это сделали? Теперь-то вы можете мне сказать?

Она смотрела куда-то вдаль; на покрытом грязью тротуаре, по которому текла густая толпа прохожих, в ту самую минуту, когда ей предстоит броситься в людской поток, биться там или покорно пойти ко дну, перед ней вдруг забрезжила заря: она увидела возможность возвращения в потаенный и печальный край, жизнь в типине Аржелуза, всю отданную размышлениям, уход в свой внутренний мир, совершенствование, поиски бога... Бродячий торговец, марокканец, продававший коврики и стеклянные бусы, подумал, что она улыбается ему, и подошел. Тереза сказала все так же насмешливо:

— Я хотела было ответить вам: «Не знаю, почему я это сделала», но теперь, представьте себе, я, пожалуй, знаю. Возможно, я сделала этого для того, чтобы увидеть в ваших глазах тревогу, любопытство, словом, смятение, которые я уже целую минуту вижу в них.

Он проворчал сердитым тоном, напомнившим Терезе их свадебное путешествие:

— Как видно, вы до конца намереваетесь острить... Нет, скажите серьезно: почему?

Она перестала улыбаться и спросила в свою очередь:

— А вы, Бернар, наверно, всегда знаете причины своих поступков, да?

— Конечно... По крайней мере мне так кажется.

— Я бы очень хотела, чтобы ничего не осталось скрытым от вас, знаете, я вся истерзалась, стараясь во всем разобраться. Но поймите, все причины, какие я могла бы привести, едва я выразила бы их словами, показались бы мне ложными...

Бернар нетерпеливо перебил ее:

— Но был же все-таки день, когда вы решились, когда вы сделали то самое...

— Да, в день большого пожара около Мано.

Они придвинулись друг к другу и заговорили вполголоса. На этом людном парижском перекрестке при свете нежаркого солнца и дуновениях довольно холодного ветра, приносявших запах пряного заморского табака и развевавших фестоны желтых и красных маркиз над террасой кафе, Терезе казалось странным говорить о знойном дне Аржелуза, о небе, затянутом облаком дыма, о закопченной небесной лазури, о вьедливом запахе гари, который шел от сгоревшего соснового бора, и о

своим оцепеневшем в дремоте сердце, где медленно зарождался преступный замысел.

— Вот как это произошло. Мы сидели в столовой — там всегда закрывали ставни в жаркие часы и потому было темно. Вы говорили с Бальоном, повернув к нему голову, и позабыли считать капли, падавшие в стакан...

Тереза не смотрела на Бернара и говорила, заботясь только об одном: как бы не упустить мельчайших подробностей, и вдруг услышала, что он смеется, и тогда взглянула на него — да, он смеялся обычным своим глупым смехом, а потом сказал: «Ну что это, право! За кого вы меня принимаете?» Он ей не поверил. (Да и по правде сказать, разве можно было поверить тому, что она говорила?) Он язвительно хихикал, и она узнавала прежнего Бернара — самоуверенного, самодовольного, который не даст себя провести. Он уже обрел свое обычное расположение духа и она снова сбилась. Он ехидно сказал:

— Значит, эта мысль пришла вам внезапно, по наптию свыше, так, что ли?

Как он залился на себя, что вздумал расспрашивать Терезу. Ведь тем самым он мог потерять преимущества, которые ему давало презрение к ней, подавлявшее эту сумасшедшую, и она, черт ее подери, уже подняла голову! И зачем это он уступил неожиданному желанию понять? Да и что можно понять у свихнувшихся баб? Но вот сорвался с языка вопрос... Нечаянный, необдуманный...

— Послушайте, Бернар, я говорю не для того, чтобы убедить вас в своей невиновности, вовсе нет!

И с какой страстной горячностью она принялась обвинять себя: пусть она действовала как лунатик, но ведь для этого надо было, по ее словам, чтобы мысль о преступлении уже целые месяцы созревала в ее сердце, чтобы она уже давно вынашивала преступный замысел. Это же ясно видно. С какой сознательной яростью, с каким упорством она после первых попыток продолжала осуществлять свое намерение.

— Я чувствовала себя преступницей лишь в ту минуту, когда рука моя колебалась. Я сердилась на себя за то, что проделываю ваши мучения. Я считала, что надо идти до конца и не медлить! Я подчинялась какому-то ужасному долгу. Да, это было как будто долгом.

Бернар прервал ее:

— Бросьте громкие слова! Попробуйте наконец сказать мне, чего вы хотели. Попробуйте.

— Чего я хотела? Несомненно, мне легче было бы сказать, чего я не хотела. Я не хотела разыгрывать роль почтенной дамы, делать положенные жесты, произносить избитые фразы, словом, на каждом шагу отрекаться от той Терезы, которая... Вот, Бернар, хочу сказать правду, а почему-то мои слова звучат фальшиво!..

— Говорите тише, вон тот господин, что сидит впереди нас, обернулся.

Бернар хотел теперь только одного: поскорее кончить объяснение. Но он знал, что эта свихнувшаяся женщина с превеликим удовольствием готова копаться во всяких психологических вывертах. И Тереза тоже понимала, что этот человек, на секунду приблизившийся к ней, вновь далек от нее, бесконечно далек. И все же она упорствовала, даже пробовала силу своей прелестной улыбки и низких, хриловатых интонаций своего голоса, которые прежде ему так нравились.

— А теперь, Бернар, я хорошо чувствую, что Тереза, которая инстинктивно гасит окурок сигареты, помня, что из-за пустяка могут загореться заросли вереска, Тереза, которая любила сама считать свои сосны, сама выясняла, сколько собрано смолы, Тереза, которая гордилась, что она вышла замуж за одного из Дескейру, заняла подобающее ей место в одном из наиболее почтенных в ландах семейств, словом, довольная тем, что она хорошо устроилась, эта Тереза — существо реальное, но столь же реальна, столь же полна жизни и другая Тереза, и нет ни малейшего основания приносить в жертву эту другую!..

— Какую еще «другую»?

Она не знала, что ответить, он посмотрел на часы. Она сказала:

— Придется мне все-таки приезжать иногда по делам и чтобы повидать Мари.

— По каким делам? Имущество у нас общее, и я сам управляю им. Мы же не будем возвращаться к этому вопросу, у нас все уже решено, правда? Вы будете занимать свое место на всех официальных церемониях, на которых для чести нашего имени и в интересах нашей семьи люди должны видеть меня с вами вместе. При такой многочисленной родне, как у нас, слава богу, достаточно бывает свадеб и похорон. Удивительно, например, будет, если дядя Мартен дотянет до осени. Вот и появится для вас повод приехать, — конечно, ненадолго, ведь вам у нас, кажется, все уже опротивело.

Конный полицейский приложил свисток к губам, и тогда открылись невидимые плюзы, и армия пешеходов поспешно пересекла улицу, прежде чем на черный асфальт мостовой опять потоком хлынули такси. «Мне нужно было бы уйти как-нибудь ночью в Южные ланды, как это сделал Дагер. Идти бы среди чахлах сосен, какие растут на этой скудной земле, идти, идти, пока не иссякнут силы. У меня не хватило бы мужества окунуть голову в лагуну и держать ее под водой, чтобы захлебнуться (как это сделал в прошлом году один аржелузский пастух, потому что сноха не давала ему есть). Но вот лечь в песках и закрыть глаза я могла бы... Только ведь ни воронье, ни муравьи не станут ждать...»

Тереза смотрела на живую человеческую реку, в которую она сейчас бросится, и тогда быстрое течение подхватит ее, повлечет, потащит по перекатам. Теперь ничего уж не поделаешь. Бернар опять достал часы:

— Без четверти одиннадцать. Едва успею заехать в гостиницу.

— Вам не жарко будет в дороге.

— Какое там! В автомобиле придется нынче вечером одеться потеплее.

И Тереза увидела мысленным взором дорогу, по которой Бернар покатит в машине, представила себе, как будет дуть ему в лицо холодный ветер, несущий запахи болот, смолистых щепок, дыма от сжигаемых сорных трав, запах мяты и тумана. Она поглядела на Бернара и улыбнулась той улыбкой, из-за которой в ландах дамы говорили: «Красавицей мадемуазель Терезу не назовешь, но она просто очаровательна!» Если бы Бернар сказал: «Я прощаю тебе. Едем со мной», она встала бы и пошла за ним. Но Бернар, на минуту поддавшийся было неуместному волнению и сердившийся на себя за это, теперь испытывал только отвращение к необычным поступкам и к словам, отличным от тех, которыми принято обмениваться каждый день. Бернар походил на прочные аржелузские тележки, сделанные «по колее», — ему нужны были проторенные, привычные дороги. И нынче вечером, вернувшись в Сен-Клер и войдя в столовую, он вновь попадет в свою колею и обретет душевный покой.

— Я хочу в последний раз попросить у вас прощения, Бернар.

Тереза произнесла эти слова чересчур торжественно и без-

надежно — это была последняя ее попытка возобновить разговор. Но Бернар запротестовал:

— Не стоит больше говорить об этом.

— Вы будете чувствовать себя очень одиноким; пусть меня там не будет, я все-таки занимаю некоторое место. Для вас было бы лучше, если бы я умерла.

Он слегка пожал плечами и почти весело попросил ее «не расстраиваться из-за него».

— В каждом поколении Дескейру был свой старый холостяк! Эта роль выпала на мою долю. У меня все необходимые данные для нее (вы, полагаю, согласитесь со мной). Жалею только, что у нас родилась дочь, а не сын, — угаснет имя. Правда, даже если бы мы продолжали жить вместе, второго ребенка мы бы не захотели иметь... Так что, в общем, все идет хорошо. Не вставайте, пожалуйста. Посидите еще тут.

Он знаком подозвал такси и на секунду подошел к Терезе напомнить ей, что по счету уже уплачено.

Она долго смотрела на бокал Бернара, где еще оставалось на доньшке немного портвейна, потом снова стала разглядывать прохожих. Некоторые, по-видимому, поджидая кого-то, ходили взад и вперед. Какая-то женщина дважды обернулась и с улыбкой поглядела на Терезу (работница, а может быть, просто нарядилась работницей). В этот час пустели швейные мастерские. Тереза и не думала уходить из кафе — ей не было ни скучно, ни грустно. Она решила не ходить в этот день к Жану Азеведо и вздохнула с облегчением, ей совсем не хотелось видаться с ним: опять разговаривать, подыскивать выражения. Она знала Жана Азеведо, но тех людей, с которыми стремилась сблизиться, она не знала — знала только то, что они не потребовали бы от нее слов. Тереза больше не боялась одиночества: она уже предчувствовала, что стоит ей подольше посидеть неподвижно, и вокруг нее поднимется темный круговорот, смутное волнение, так же как потянулись бы к ней муравьи и сбежались бы собаки, если б тело ее неподвижно вытянулось в песках Южных ланд. Ей захотелось есть, она встала и увидела себя в большом зеркале, вставленном в резную раму старинного английского стиля: что ж, этой молодой даме очень идет ее дорожный костюм, облегаящий фигуру! Но со времени ее заточения в Аржелузе лицо ее все еще оставалось изможденным, худеньким, оно словно истаяло, скулы выступали, нос казался коротким. Она подумала: «Я женщина

без возраста». Она позавтракала на улице Руаяль (так она часто делала в своих мечтах). Ей не хотелось возвращаться сейчас в отель. Приятное тепло разливалось по телу после полбутылки пуйи. Она спросила сигарет. Какой-то молодой человек за соседним столиком чиркнул зажигалкой и поднес ей огонек; она улыбнулась. Подумать только, всего лишь час тому назад ей хотелось ехать вечером с Бернаром по дороге на Вилландро, все больше углубляясь в мрачный сумрак соснового бора! А разве так уж важно любить тот или иной край, сосны или клены, океан или равнину? Ничто ее теперь не интересует, кроме людей, существ из плоти и крови. «Мне мил не этот каменный город, не музеи, не лекции, а живой лес, который тут волнуется, его раздирают такие яростные страсти, что с ними не сравнится ни одна буря. Стоны аржелузских сосен в тишине ночи только потому и тревожат, что в них есть что-то человеческое».

Тереза немного выпила и много курила. Она посмеивалась про себя довольным смехом. Тщательно подкрасив щеки и губы, она вышла на улицу и двинулась куда глаза глядят.



ФАРИСЕЙКА

РОМАН



La pharisienne

Перевод Н. Жарковой

— Мальчик! Подойди-ка сюда!

Я обернулся в полной уверенности, что зовут кого-то из моих товарищей. Оказалось, нет, звали как раз меня — это, улыбаясь, окликнул меня бывший панский зуав. Верхнюю его губу пересекал шрам, и улыбка поэтому получалась ужасно мерзкая. Полковник граф де Мирбель появлялся раз в неделю во время переменки, когда наши средние классы выпускали во двор. Его подопечный Жан де Мирбель — обычно в переменку он отбывал очередное наказание, стоя у стены, — медленно делал шаг навстречу грозному дяде. Мы издали следили за тем, как он шел на расправу. Наш учитель господин Рош в качестве свидетеля обвинения раболепно отвечал на вопросы полковника, высокого кряжистого старика с «кронштадткой» на голове и в сюртуке военного покроя, застегнутом до самого подбородка, под мышкой он, по обыкновению, держал хлыст, сплетенный, вероятно, из бычьих жил. В том случае, если наш соученик Жан вел себя плохо и «переходил все гра-

ницы», он под конвоем господина Роша и своего опекуна плелся через весь двор. На наших глазах вся троица исчезала в подъезде левого крыла здания и подымалась по лестнице, ведущей в дортуары. Мы бросали игры и стояли неподвижно, прислушиваясь к длинному жалобному вою — так скулит побитая собака (а может, это нам только казалось...). Через некоторое время появлялся господин Рош, рядом с ним шествовал полковник, и на его побагровевшем лице шрам казался совсем белым. Белки светло-голубых глаз чуть наливались кровью. Господин Рош шагал, повернувшись к полковнику всем телом, внимательно прислушивался к его словам, подобострастно хихикал. Пожалуй, нам, ученикам, представлялся единственный и неповторимый случай видеть ухмылку на этой ненавистой бледной физиономии под рыжей курчавой шевелюрой. Он был нашим ужасом и наваждением, этот господин Рош! Когда он запаздывал к началу урока, я, глядя на пустую кафедру, молил бога: «Господи, сделай так, чтобы господин Рош умер, пресвятая богородица, сделай, чтобы он сломал себе ногу, нашли на него ну хоть какую-нибудь болезнь...» Но он, наш наставник, пользовался железным здоровьем, и его тонкая рука, сухая его рука была тверже и страшнее любой палки. После таинственных пыток, которым подвергали Жана (наше детское воображение, безусловно, преувеличивало размеры дядино-го внушения), де Мирбель входил в класс с красными глазами, с зареванным лицом, с полосками высохших слез на грязных щеках и молча шел к своей парте. Но мы не поднимали глаз от тетрадей.

— Да, да, ты, Луи, иди сюда! — крикнул мне господин Рош.

Впервые он пазвал меня просто по имени. Я замешкался на пороге нашей приемной, глядя в спину стоявшего передо мной Жана де Мирбеля. На столике лежал развернутый накет, а в нем красовались два эклера и ромовая баба. Полковник спросил меня, люблю ли я пирожные. Я молча кивнул.

— Ну и отлично, значит, кушай себе на здоровье. Кушай, кушай... Чего же ты ждешь? Если не ошибаюсь, это сынок Пианов? Я их семью знаю... Такой же робкий, как его бедняга папаша... Но мачеха, Брижит Пиан, вот это женщина, настоящая мать игуменя! Нет, ты стой здесь! — приказал он Жану, попытавшемуся было улизнуть. — Так легко ты у меня не отделаешься. Будешь смотреть, как твой приятель лакомится пи-

рожными... Ну, что же ты, приступай, чудачок! — добавил он, вперив в меня наливающиеся бешенством глаза, сидевшие чересчур близко к твердому горбатуму носу.

— Он у нас робкий, — сказал господин Рош. — Не заставляй себя просить, Пиан.

Мой приятель глядел в окно. Я видел сзади его нечистую шею, торчавшую из-под отложного незастегнутого воротничка. Пожалуй, страшнее всего на свете были эти двое мужчин, низко нагнувшихся надо мной и улыбавшихся мне прямо в лицо. Я учуял знакомый запах господина Роша — от него разлило хищником. Я пробормотал, что не голоден, но полковник возразил, что пирожные можно есть даже после сытного обеда. Я не сдавался, и господин Рош крикнул, чтобы я проваливал ко всем чертям, что не все такие идиоты. Я бросился бежать, а вслед мне донесся голос господина Роша, звавшего Мулейра. Мулейр славился своей недетской тучностью и в столовой ел за троих. Тяжело дыша, он явился на зов. Господин Рош хлопнул дверь приемной, и вскоре оттуда появился Мулейр с перепачканными кремом губами.

Стоял июньский вечер, еще по-дневному душный. Приходящие ученики разошлись по домам, а нас, пансионеров, из-за жары выпустили в неурочное время погулять во дворе. Мирбель подошел ко мне. Тогда мы еще не дружили, и, думаю, Жан презирал в душе слишком осмотрительного мальчика, примерного ученика, каким я был в ту пору. Он вытащил из кармана коробочку из-под пилюль, приоткрыл ее.

— Смотри.

В коробочке сидели два жука-рогача, мы почему-то называли их козерогами. Жан бросил им вишню для пропитания.

— Да они вишен не любят, — сказал я, — они живут на дубах, под трухлявой корой.

Мы поймали жуков еще в четверг, перед самым отъездом из загородного дома нашего коллежа, в тот предзакатный час, когда начинают летать насекомые.

— Возьми любого, лучше вон того, он побольше. Только осторожнее бери, они еще не дрессированные.

Я не посмел сказать, что мне некуда девать козерога. Но я был доволен, что Жан говорит со мной так мило. Мы присели на ступеньку крыльца, ведущего в главное здание школы. В этом старинном, не очень просторном особняке благородных пропорций жили две сотни ребят и человек двадцать учителей.

— Я хочу выдрессировать их, чтобы они возили тележку,— пояснил Жан.

Он вынул из кармана коробочку поменьше и привязал ее ниткой к рожкам насекомого. Мы поиграли немножечко. Такие переменки выпадали нам нечасто, и сегодняшним летним вечером ни один ученик не стоял наказанный у стены и никто не требовал, чтобы мы играли в общие игры. Мальчики расселись на ступеньках крыльца, кто плевался, кто усердно тер абрикосовую косточку: если оттуда вынуть ядрышко и просверлить дырочку, то получится чудесный свисток. Здесь, на дворе, за этими высокими стенами, до сих пор стояла накопившаяся за день духота. Ветки тощего платана не шевелились. Господин Рош торчал, расставив ноги, на своем обычном посту, возле уборных,— нам запрещалось там засиживаться. Оттуда тянуло смрадом, который только отчасти заглушался запахом хлорки и жавеля. По ту сторону стены, по улице Лейтеир, катил, дребезжа на неровных плитах мостовой, фиакр, и я страстно завидовал неведомому седоку, кучеру, даже лошади завидовал. Ведь они не были обречены сидеть под замком в коллеже и трепетать перед господином Рошем.

— Непременно дам Мулейру по морде,— вдруг сказал Жан.

— А что это такое, скажи, Мирбель, панский зуав?

— Сам не знаю,— пожал он плечами.— По-моему, они еще до семидесятого года сражались за папу Римского и их в порошок стерли.

Он помолчал с минуту, потом проговорил:

— Хотя бы они с Рошем не умерли, пока я стану большим.

Ненависть искажила его черты. Я спросил, почему только с ним одним так обращаются.

— Дядя говорит, что для моего же блага. Говорит, что, когда его брат умирал, он поклялся ему сделать из меня человека.

— А твоя мама?

— Она всем его рассказням верит... А может, не смеет возражать. Она не хотела отдавать меня на полный пансион. Ей знаешь, чего хотелось? Чтобы мне наняли учителя и чтобы я остался жить в Ла-Девизе... А он уперся, сказал, что я слишком испорченный по натуре...

— А моя,— не без гордости заявил я,— поселилась в Бордо, чтобы наблюдать за моим воспитанием.

— Но ты ведь пансионер...

— Только на две недели, потому что Виньот, приказчик

Ларжюзона, заболел, и делами занимается папа... Но она мне каждый день пишет.

— И все-таки Брижит Пиан тебе не родная мать...

— Все равно что родная... Будто самая настоящая мама!

Но тут я замолчал и почувствовал, что лицо у меня горит. А вдруг мои слова услышит моя настоящая мама? А вдруг мертвые подслушивают, что мы с них говорим? Но если моя мама знает все, она знает и то, что никто не занял в моем сердце ее места. Как бы чудесно ни относилась ко мне мачеха... Я не соврал, она и правда писала мне каждый день, но я даже не распечатал ее сегодняшнего письма. И нынче вечером, когда перед сном я буду реветь в нашем душном дортуаре, то вовсе не о ней, Брижит Пиан, а о своей сестре Мишель, о папе, о нашем Ларжюзоне. А ведь именно папа настаивал, чтобы меня отдали в пансион на круглый год и они могли бы жить в деревне, но мачеха сделала по-своему. Сейчас они сняли квартиру в Бордо и я могу возвращаться домой каждый вечер.

Моя сестра Мишель, а она ненавидела вторую жену нашего отца, уверяла, что мачеха нарушила клятву, данную перед свадьбой, — жить безвыездно в Ларжюзоне и выставила в качестве главного предлога меня. Мишель, безусловно, была права: если мачеха вечно твердит, что я слишком нервный, слишком впечатлительный ребенок и не вынесу жизни в интернате, она знает, что делает, — это единственный аргумент, которым можно убедить отца поселиться в Бордо. Все это мне было известно, но особенно я над этим не задумывался. Пускай взрослые улаживают свои дела сами! Важно, что последнее слово осталось за мачехой. Однако я отлично понимал, что папа несчастлив вдаль от своих лесов, своих лошадей и своих охотничьих ружей. Как он, должно быть, наслаждается эти последние дни... Эта-то мысль и помогла мне с честью перенести двухнедельный затвор. И кроме того, скоро будут раздавать награды. Вот тогда-то Брижит Пиан вынуждена будет вернуться в Ларжюзон.

— Скоро будут награды раздавать! — воскликнул я.

Мирбель, зажав в каждой ладони по козерогу, поднес их друг к другу.

— Целуются! — заявил он. И, не глядя в мою сторону, добавил: — Ты еще не знаешь, что дядя придумал: если я на

этой неделе не получу хорошую отметку по поведению, меня на каникулы в Ла-Девиз не возьмут. Поместят в пансион к одному кюре в Балюзаке, это в нескольких километрах от вашего дома... Кюре берется заставить меня учиться по шесть часов в день и вообще меня подтянет! Говорят, он в таких делах мастак.

— А ты, старина, попытайся получить хорошую отметку по поведению.

Жан безнадежно махнул головой: с Рошем не выйдет, он уже несколько раз пробовал!

— Он с меня глаз не спускает. Знаешь ведь, где я сижу — прямо у него под носом, по-моему, он из всего класса только за мной и следит. Стоит мне посмотреть в окно...

Все это была чистейшая правда, и Мирбелю ничто не могло помочь. Я пообещал ему, что если он будет жить в Балюзаке, то во время каникул мы будем с ним часто видеться. Я хорошо знал господина Калю, тамошнего кюре, и, по моему мнению, он был вовсе не такой уж страшный, скорее, даже хороший...

— Нет, плохой... Дядя говорит, что ему отдают на воспитание испорченных мальчиков. Мне передавали, что он совсем запугал обоих братьев Байо... Но я не дам себя пальцем тронуть...

Может быть, балюзакский кюре вел себя так мило только в отношении меня одного? Поэтому я промолчал в ответ на слова Мирбеля. Я сказал только, что, раз его мама так редко с ним видится, она вряд ли откажется провести с ним каникулы.

— Если дядя захочет... Она все делает, что он хочет,— злобно добавил Жан. И по его голосу я понял, что он вот-вот разревется.

— Хочешь, я помогу тебе делать уроки?

Жан отрицательно помотал головой: уж слишком он отстал. И потом Рош все равно заметит.

— Когда я сдаю ему работу на «удовлетворительно», он кричит, что я списал.

Как раз в эту минуту Рош поднес к губам свисток. На нем был длинный черный сюртук с засаленными лацканами. Хотя стояла невыносимая жара, он по-прежнему щеголял в теплых войлочных ботинках. Редкие огненно-рыжие волосы высоко открывали его костистый, весь в желтых пятнах лоб. Глаза были как у судака, а веки красные, воспаленные. Построив-

шись парами, мы двинулись в столовую; я ненавидел ее потому, что там всегда воняло жирным супом. Было еще светло, но сквозь засаленные окна не видно было неба. Я заметил, что за нашим столом только один Мирбель не набросился жадно на пищу. Папский зуав сумел в конце концов выдумать для своего подопечного наказание: отобрать его у матери и поместить на лето к священнику в Балюзак, подальше от их поместья! Ничего, у меня есть велосипед, я смогу хоть каждый день к нему ездить. Вдруг меня затопило ощущение счастья. Я поговорю о Жане со священником, ведь со мной он вел себя так мило, что даже позволял рвать у него в саду орехи. «Правда, я сын Пиана, пасынок госпожи Брижит, «благотворительницы»... Вот я и попрошу мачеху вступить за Жана. Все это я изложил ему, когда мы парами шли в дортуар.

В дортуаре, куда свежий воздух поступал только из одного окна, открытого на узкую улочку Лейтеир, нас спало двадцать человек. В изножье каждой постели стоял на ночном столике тазик, и в тазик мы ставили стаканы для чистки зубов, так, чтобы служитель мог сразу налить воду из кувшина и в тазики и в стакан. Через пять минут мы должны были раздеться и лечь. Как обычно, наш надзиратель господин Пюибаро припустил в лампах газ и жалобным голосом прочел три стиха, обладавших властью вызывать у меня слезы: я оплакивал свое одиночество, свою будущую смерть и свою мать. Мне было тринадцать лет, а она скончалась шесть лет назад. Исчезла в мгновение ока. Еще накануне вечером она целовала меня, и меня переполняло ощущение нежности и жизни, а на утро... взбесившаяся лошадь примчалась с пустым тильбюри... Так я и не узнал, как и что произошло, о несчастном случае со мной не говорили, а с тех пор, как папа женился вторично, он вообще не произносил имени своей первой жены. Зато мачеха заставляла меня молиться о покойной маме. И допытывалась, поминаю ли я ее в своих молитвах каждый вечер. Получалось так, будто за маму нужно молиться вдвое больше, чем за какого-нибудь другого усопшего.

Брижит с детства знала маму — они были кузинами, — и иногда мама приглашала ее провести у нас в поместье летние каникулы. «Непременно позови свою кузину Брижит, — говорил папа. — Дачу ей снять не на что, ведь она раздает все, что у нее есть...» Мама соглашалась не сразу, хотя у нас почему-то полагалось восхищаться Брижит. Возможно, мама ее побаивалась. Так по крайней мере уверяла моя сестра Мишель:

«Мама ее насквозь видела, она понимала, что кузина забрала папу в руки».

Впрочем, я мало обращал внимания на слова Мишель, по увещевания мачехи оказывали на меня свое действие, ведь и правда, мама не успела приготовиться к смерти. Понукания Брижит казались мне понятными, такое уж я получил дома воспитание. И верно, надо много и долго молиться перед богом за мамину несчастную душу.

Натянув одеяло и потихоньку всхлипывая, я начал читать за маму молитву, а тем временем наш надзиратель господин Пюибаро совсем привернул газ в лампе, и огненная бабочка света превратилась в маленький синенький лучик. Потом он спял сюртук и прошелся между рядами кроватей; воспитанники уже мирно посапывали во сне. Приблизившись к моей постели, он, очевидно, услышал всхлипывания, хотя я удерживался изо всех сил, подошел ко мне и положил на мокрую от слез щеку свою ладонь. Потом со вздохом подоткнул мое одеяло, совсем как подтыкала мама, и вдруг, склонившись надо мной, поцеловал меня в лоб. Я обвил руками его шею и тоже поцеловал его в колючую щеку. После чего он неслышными шагами удалился к себе в альков. Я видел, как за коленкоровыми занавесями пляшет его тень.

Почти каждый вечер господин Пюибаро подходил ко мне с утешениями. «Слишком нежное сердце, опасная чувствительность», — уверяла мачеха, которая была связана с нашим надзирателем работой в благотворительном обществе, где он выполнял секретарские обязанности.

Несколько дней спустя, когда мои родители уже перебрались в Бордо и лакей в шесть часов пришел в колледж, чтобы отвести меня домой, я наткнулся на Пюибаро, который, казалось, подкарауливал кого-то. Откинув влажной ладонью волосы, спадавшие мне на лоб, он вручил мне запечатанное письмо и попросил самолично опустить его в ящик. Я пообещал, хотя был удивлен: все письма, посылаемые из школы, проходили через руки специального цензора.

Только выйдя на улицу, я прочел на конверте адрес. Письмо было адресовано мадемуазель Октавии Тронш, учительнице, преподававшей в частной школе тут же, в Бордо, на улице Пармантад. Я отлично знал эту Тронш: в свободное от уроков время она приходила к нам, и мачеха давала ей всевозможные поручения. На обороте конверта господин Пюибаро вывел печатными буквами: «Лети, мое письмецо, и принеси моему

сердцу луч надежды». Шагая чуть позади нашего лакея, который тащил под мышкой мой портфель, я читал и перечитывал странную надпись, читал ее на бульваре Виктора Гюго, читал на улице Сент-Катрин, читал в вечерних сумерках, тех сумерках, что пропитаны запахом абсента и предвещают распределение наград.

II

Вот тут-то, сознаюсь, я и совершил свой первый гадкий поступок, за который меня до сих пор мучают угрызения совести. Хотя господин Пюибаро, вручая мне конверт, не дал никаких особых указаний, я понимал, что он считает меня достойным своего доверия больше прочих моих соучеников. Много позже я пытался себя убедить, что в тринадцать лет не отдавал, мол, себе отчета в том, как это важно для нашего надзирателя. Но если быть вполне откровенным, я отлично знал, о чем идет речь, и предугадывал, что это может обернуться драмой для господина Пюибаро, тем более что он был лицом полудуховного звания. Без сомнения, он принадлежал к светской организации (уже давно ныне не существующей), к некоему промежуточному ордену, где никаких обетов не давалось и были известны случаи, довольно многочисленные, когда кто-нибудь из «братьев» с разрешения высшего духовного начальства уходил из общины и вступал в брак. Но господин Пюибаро занимал особое положение. По роду своих занятий он был связан с епархиальным начальством благотворительного общества, а также с большинством родителей своих учеников. Он был известен буквально всему городу, а не только в среде высшего духовенства и буржуазии: его фигура примелькалась на улицах самых бедных кварталов, и стоило ему появиться там на перекрестке, как его тут же окружала детвора, так как для ребят у него всегда были припасены леденцы. Все уже давно перестали дивиться его сюртуку, его высокому цилиндру, как-то нелепо торчавшему на голове. Кроткое его лицо казалось длиннее из-за бачков, подрезанных на уровне скул. Летом он носил свой цилиндр в руке и беспрерывно вытирал открытый лоб и редкие шелковистые волосы, падавшие чуть ли не до плеч. Лицо с мягкими чертами было скорее смазливym, и при этом — страдальческие глаза и вечно влажные ладони.

Моя мачеха, весьма высоко ставя добродетели господина Пюибаро, сурово осуждала его «чрезмерную, даже болезненную чувствительность». Уж кому-кому, а ей меньше, чем любо-

му другому, следовало открывать тайну этой переписки. Но меня жгло желание сказать именно ей об этом письме. Меня словно распирало от важности только что узнанной тайны, мною уже всецело владело одно желание: удивить, поразить. Однако, очутившись в кругу семьи, я не посмел и рта открыть.

Как сейчас помню тот вечер. Квартира, которую снял под давлением мачехи отец, помещалась на Интендантском бульваре на третьем этаже. Летними вечерами грохот экипажей на мостовой, звонки электрического трамвая, пущенного только в этом году, заглушали наши голоса. За две недели, проведенные в деревне, отец снова успел приобрести свой обычный здоровый цвет лица и теперь, когда впереди уже маячили летние каникулы, находился в прекрасном расположении духа. Однако после замечания своей супруги ему пришлось встать из-за стола и надеть галстук-бабочку и черный пиджак. В городе она не терпела ни малейшей небрежности в одежде, к которой папа привык в Ларжозоне.

Сама она, несмотря на жару, была в шемизетке и тугом гипюровом воротничке, доходившем чуть ли не до ушей, над ее крупной физиономией с большими матовыми щеками высилась гора взбитых волос, прикрытых еле заметной сеточкой. Глаза у нее были черные, пристальные, жесткие, зато губы вечно улыбались, хотя она редко показывала свои длинные желтые расшатанные зубы с точечками золотых пломб. Двойной подбородок придавал ей величественный вид, и это впечатление величественности еще подчеркивала посадка головы, неторопливая поступь, зычный голос матери-командирши.

С первого взгляда любому становилось ясно, что она создана, чтобы управлять некоей общиной. После смерти отца, барона Майара, бывшего при Империи префектом в Жиронде, Брижит пожертвовала большую часть своего состояния на покупку и приведение в порядок маленького монастыря в окрестностях Лурда; по ее мысли, там должны были найти себе приют великосветские девицы и устав предполагался совсем новый, отчасти вдохновленный духовным наставником Брижит аббатом Маржи, но, прежде чем восстановительные работы были доведены до конца, аббат и его духовная дочь разругались.

Поэтому Брижит Майар то и дело прибегала к советам моего отца, который в юности просто ради практики работал у одного стряпчего в Бордо и неплохо разбирался в кляузных во-

просах. Он убедил Брижит не затевать скандального и заранее обреченного на провал процесса. В свою очередь отец схотнo советовался с ней по вопросам хозяйства, которое переживало немалые трудности, столь трагически разрешенные смертью моей матери.

Человек, не знавший причин, породивших в свое время такую странную и глубокую близость между моим отцом и Брижит Майар, лишь с трудом мог понять, что заставило эти два столь различных во всем существа соединить свои судьбы. Рядом с этой внушительной дамой, с этой желчной мадам Мен-тенон, наш бедный большеглазый папа казался чуть жалким, слишком у него был слабый и добрый вид, и говорил он с запинкой, и рот у него был, как у типичного гурмана, чересчур длинные усы, казалось, специально созданы для того, чтобы окунать их кончики в аперитивы и соусы, даже цвет лица выдавал его страсть к чревоугодию.

Вспоминаю, что между супругами в тот знаменательный вечер, когда вышло наружу дело Пюибаро, сидела моя сестра. Мишель тогда было четырнадцать лет. Все дружно считали, что кожа у нее слишком смуглая, нижняя челюсть слишком тяжелая, лоб слишком низкий и зарос волосами. Зато глаза были великолепные, и, когда она улыбалась, в крупном рту сверкали белоснежные зубы, и все это привлекало к ней сердца; руки, правда, слишком мускулистые для такой юной особы, зато Мишель на законном основании гордилась своими ножками и охотно показывала их, хотя наша мачеха уже обрядила ее в полудлинные платья.

Откровенно говоря, в отношении Мишель наша мачеха проявляла достаточно долготерпения и почти при любой стычке первая ретировалась под натиском этой весьма агрессивной девицы. «Мой долг,— любила она повторять,— коли уж я не имею на девочку никакого влияния, мой долг, повторяю,— любой ценой поддерживать мир семейного очага». Она торжествовала, так как воспитательницы из Сакре-Кер тоже ничего не могли поделать с Мишель, «с этой вспыльчивой девочкой, которая вечно всем противоречит»,— говорила она отцу, а он возражал: «Да нет же, нет, дорогая, не нужно ничего драматизировать! Правда, она упрямщица, пошла характером в мою мамушку, вспыхивает как спичка... Но при хорошем муже все образуется...»

Брижит качала головой и вздыхала: она смотрела на вещи с высшей точки зрения. Слава ее жизни, да и весь ее смысл —

было смотреть на вещи с самой высшей точки. Тот вечер, когда разразилось дело Пюибаро, был субботний. Мы услышали гул толпы на Интендантском бульваре, там после вечерней зори маршировали солдаты. Папа и Мишель вышли на балкон и оперлись о перила, а я стоял чуть подальше, рядом с мачехой. Острокрылые стрижи носились над самыми крышами. Движение на улицах прекратилось. От стен еще сочился дневной зной, только изредка ветерок приносил запах лип, и наконец он завладевал всем городом, как в прежние времена, еще до того, как появились автобусы; тогда на улицах пахло лошадьми, мокрой мостовой, цирком. Я боролся против искушения выдать тайну господина Пюибаро, но уже знал, что сдамся. Мачеха методично расспрашивала меня об экзаменах. Она хотела знать, какие вопросы были заданы по каждому предмету и как я на эти вопросы отвечал. Я догадывался, что интересуется она моими экзаменами лишь по обязанности, а думает совсем о другом. Однако говорила она о том, о чем говорила мне уже сотни раз: при любых обстоятельствах жизни и в своих отношениях с людьми она не ведет колебаний, знает, как себя вести, что сказать. Я решил:

— Мама, я хочу вам кое-что сообщить... Но, — лицемерно добавил я, — не знаю, имею ли я право...

В ее черных глазах, рассеянно глядевших мимо меня, вдруг вспыхнул огонек интереса.

— Я не знаю, дитя мое, что ты мне хочешь доверить. Но существует одно правило, которому ты обязан слепо следовать: ничего никогда не скрывай от своей второй матери, от той, на которой лежит миссия воспитывать тебя.

— А если эта тайна касается других лиц?

— В первую очередь если она их касается, — живо отозвалась она. И вдруг жадно спросила: — А о ком идет речь? О твоей сестре?

Хотя Мишель недавно исполнилось четырнадцать, мачеха подозревала ее в самых тяжких преступлениях. Я отрицательно покачал головой: нет, речь идет не о Мишель, а о господине Пюибаро и Октавии Тронш.

Мачеха еле удержала крик, готовый сорваться с ее губ.

— Как? Как? — Она схватила меня за руку. — Господин Пюибаро? Октавия?

В ту пору я был еще несведущ в вопросах любви между мужчиной и женщиной и не замечал поэтому, что мачеха просто неспособна говорить на эту тему хладнокровно и сразу

же впадает в состояние транса. Я начал было рассказывать ей о письме и о приписке на обратной стороне конверта, но она прервала меня:

— Дай мне письмо, да живо!

— Письмо? Но ведь я опустил его в ящик...

Она разочарованно протянула:

— И напрасно опустил, ты должен был отдать его мне.

Я отвечаю за душу Октавии, которая уже сейчас играет не последнюю роль в частной школе и надеется рано или поздно стать директрисой. И мое право, да нет, прямой мой долг знать буквально все, что ее касается... Так или иначе, письмо я все равно прочту, — добавила она уже спокойнее.

Тут только она заметила мое смятение: что подумает обо мне господин Пюибаро, ведь он так меня любит? Мачеха дала мне понять, что ей вовсе незачем ссылаться на меня и что она сама сумеет добиться от Октавии нужного признания.

— Запомни, дитя мое, я ничего худого не подозреваю. Мы должны верить таким достойным людям, как господин Пюибаро, который, впрочем, если на то будет его воля, может вернуться к светской жизни. Пока у нас нет доказательств противного, мы обязаны расценивать его поступок лишь как неосторожность. Я давно считала, что его чересчур болезненная жалостливость рано или поздно приведет к какому-нибудь необдуманному шагу, но благодаря тебе я смогу теперь вовремя вмешаться... — И она добавила вполголоса, сцепив зубы, во внезапном порыве бешенства: — Октавия... Как вам это понравится! Все они сучонки...

Медь военного оркестра гремела со стороны улицы Виталь-Карль, у каждого солдата музыкальной команды на берете вместо полагающегося помпона поблескивала электрическая лампочка, и это новшество приводило горожан в восторг. Мачеха вернулась в гостиную, а я остался стоять на балконе над толпой, опершись о перила. Мальчишки и девчонки бежали за солдатами, детвора держалась за руки и перерезала шоссé живой цепью криков и хохота. Я уже ослабел и поддался чувству стыда и страха: что же будет с несчастным Пюибаро? Я еще не мог понять всей глубины его отцовского инстинкта, когда он в дортуаре склонялся над моей постелью, подтыкал со всех сторон одеяло, целовал меня в лоб. Но я отлично понимал, что нынешним вечером я предал, предал человека до того обездоленного, что он в тринадцатилетнем мальчике ищет прибежища от своего одиночества. Я вспомнил вдруг «Мальчика-

шпиона» Альфонса Доде, вспомнил, как твердил немецкий солдат маленькому Стену: «Некарашо! Некарашо!» Значит, то, что я сделал, плохо? Мачеха уверяет, что я только выполнил свой долг... Но откуда же тогда эти угрызения совести?

Я пошелся в гостиную. Мачеха сидела у окна и пыталась читать (лампу не зажигали из-за мошкеры, а сидеть с закрытыми окнами было слишком душно). Смутный инстинкт подсказывал мне, что я должен во искупление содеянного сделать что-нибудь доброе: я стал говорить с ней о Мирбеле, попросил ее походатайствовать за него перед священником из Балюзак. Я смотрел на ее большое лицо, казавшееся в сумерках бледным пятном; уже совсем стемнело, и мачеха отложила книгу, она сидела не шевелясь, выпятив грудь, следуя давнишней привычке, вынесенной еще из монастыря, где запрещалось прислоняться к спинке стула. (Вспоминаю, кстати, что она никогда не клала нога на ногу.) Я знал, что мачеха почти не слушает меня, так как все мысли ее заняты делом Пюибаро — Тронш.

— Балюзакский священник? — переспросила она. — Бедный аббат Калю! Подумать только, что именно он слывет каким-то чудовищем... Но благодаря новому ученику он сможет купить себе несколько книжек... Возможно, я обязана открыть глаза полковнику...

Я стал горячо молить ее ничего не предпринимать, ведь она сама сейчас сказала, что аббат Калю вовсе не свирепый, вовсе не тюремщик, а главное, я не хотел жертвовать Жаном де Мирбелем как своим товарищем во время летних каникул, чему я заранее радовался. К моему счастью, мачеха заявила, что по зрелом размышлении этот распущенный Мирбель только выиграет в обществе священника, а все прочее следует предоставить воле господней.

В течение всей следующей недели я боязливо следил за господином Пюибаро, но я по-прежнему числился в его любимчиках, а он по-прежнему выказывал мне свое расположение. Экзамены подходили к концу, жара стояла невообразимая, и занятия шли вяло. Сам господин Рош ослабил узду и читал нам в классе «Солдата Шапозо». Во дворе старших классов трудились столяры, воздвигая специальный помост для раздачи наград. Каждый день мы репетировали хор из «Гофоллии» Мендельсона.

Весь мир объят его благоволением,
Хвалите господу, хвалите...

Если бы не Мишель, я, возможно, никогда и не узнал бы о первых раскатах драмы Пюибаро — Тронш. Хотя Мишель была на редкость прямодушной девочкой и уж никак не была расположена подслушивать под дверьми, но в отношении нашей мачехи она держалась настороженно, следила за всеми действиями Брижит Пиан, следила зорко, недружелюбно и неулыбно. К тому же Октавия Тронш, нежно любившая Мишель, недолго сопротивлялась расспросам девочки. Так мне стали известны роковые последствия моей нескромности.

Октавия Тронш в свободные от уроков утра приходила работать к нашей мачехе; в четверг и субботу она являлась в восемь и уходила в одиннадцать. Волосы у нее были какие-то тусклые, редкие, цвет лица нездоровый, но все это искупалось прелестными глазами, правда тоже неяркими и небольшими, и милой улыбкой бледных губ. Дети обожали ее, и из-за этого обожания все остальные учительницы старались при случае ее уколоть. Корсаж свободно висел на ее худеньких плечах, такой плоской груди, пожалуй, не было ни у кого. Зато ниже талии фигура приобретала вполне женские очертания, и юбка строгого монастырского покроя не скрывала округлости бедер и всего, что полагается. Когда в то утро она вошла в гостиную госпожи Пиан, мадам Брижит встретила ее несколько необычной улыбкой:

— Вы совсем извелись от жары, душенька. По лицу видно.

Октавия заверила, что не чувствует себя усталой.

— Это заметно даже не так по вашему лицу, как по вашей работе, дочь моя.

В голосе Брижит вдруг зазвучали суровые нотки:

— Рассылая последний номер нашего «Бюллетеня», вы наделали уйму ошибок. Кое-кто из дам мне жаловался, что получил «Бюллетень» с большим запозданием.

Октавия сконфуженно извинилась.

— Это еще не все, — продолжала мачеха, — помните, я продиктовала вам циркуляр и поленилась его перечитать (да-да, поленилась — видите, я и себя тоже не щажу), так вот, в этом циркуляре полно ошибок и пропусков... Некоторые фразы вообще никакого смысла не имеют...

— Вы правы, я действительно последнее время не знаю, что у меня с головой,— пробормотала Октавия.

— С головой или с сердцем? — сладким голосом спросила Брижит, и ее тон никак не вязался с сурово-озабоченным выражением лица.

— О, мадам Брижит... Что вы имеете в виду?

— Я не требую, чтобы вы открывали мне свои тайны, дочь моя. Доверия приказами не добьешься.

И так как Октавия пробормотала что-то вроде, что «у нее нет никаких тайн от мадам Брижит», та продолжала:

— Вы сами знаете, где кончается наша власть над чужой совестью. Вы одна из наших старейших сотрудниц. Я доверяю вам не слепо, напротив, доверяю с открытыми глазами, но с материнской заботой. Мы все проходим в жизни через трудные часы, бедное мое дитя...

Это уже было выше сил Октавии, она упала на колени, уткнулась лицом в лоно Брижит Пиан. А Брижит смотрела сверху вниз на жалкий пучок волос, туго стянутых на затылке, на синеватую кожу, на первые позвонки, выступавшие из-под расстегнувшегося воротничка. К счастью еще, бедняжка Октавия не могла видеть брезгливого лица мадам Брижит. «Даже такая... — думала она — даже такая дурнушка!» И она заговорила громко, но ласково:

— Значит, вы тоже, бедная моя Октавия, верите, что любимы?

Подняв голову, Октавия Тронш запротестовала:

— Я, я любима? О мадам, неужели я такая глупая, чтобы в это поверить... Не об этом речь, уверяю вас!

На несколько секунд лицо Октавии стало непередаваемо прелестным, обаятельно милым в своем смирении.

— С меня хватит и того, что нашелся человек, который хочет, чтобы я жила только для него и для детей, если, конечно, бог их нам пошлет...

— Конечно, конечно, милая моя Октавия,— проговорила мачеха, подымая гостью с колен.— Сядьте-ка поближе ко мне и успокойтесь. Пускай раньше я полагала, что вас ждет более высокое, более святое призвание, я буду счастлива, если вы сумеете создать семейный очаг, достойный подлинной христианки. Нет ничего более естественного, более простого. Признаться, ваше волнение меня даже удивляет.

— Нет, нет, мадам... Все это не так просто, если бы вы только знали...

Воображаю, как в этот миг наслаждалась моя мачеха, конечно, в высшем смысле: она смаковала радость, доступную лишь одному господу богу,— знать все о судьбе человека, верящего, что он открывается нам, упиваться сознанием того, что она, мадам Пиан, вольна склонить чашу весов в ту или другую сторону. Ибо мачеха не сомневалась в своем влиянии на трепетную совесть господина Пюибаро и получила подтверждение этого непосредственно от самой Октавии. И, только искусно пройдя всю шкалу оттенков от полного доверия до тревоги, позволила себе воскликнуть: «Ваше волнение передалось и мне!..» — и со страхом осведомилась у бедняжки, не идет ли речь о женатом или разведенном человеке, и, когда обвиняемая потупила голову, пытаясь скрыть слезы, Брижит спросила, и в голосе ее прозвучал чуть ли не ужас:

— Несчастное дитя! Неужели я должна истолковать ваше смущение как доказательство того, что тот, о ком мы говорим, связан такими узами, которые нельзя порвать? Неужели вы решитесь порвать даже узы господни?

— Нет, мадам, нет! Он свободен: духовные власти согласны. Господин Пюибаро, ибо вы уже догадались, что речь идет о нем, так вот, господин Пюибаро уходит на этой неделе из коллежа, и нам уже дозволено думать друг о друге...

Мачеха поднялась, положив этим конец излишням Октавии.

— Можете не продолжать. Я не желаю больше слушать. Пусть соответствующие власти несут за это ответственность. А я вправе иметь по этому вопросу свою точку зрения, которая, возможно, не совпадает...

— Конечно, мадам Брижит,— воскликнула Октавия, заливаясь слезами,— господин Пюибаро не так уж твердо уверен в своем праве. Он мне твердит, что только вы, вы одна можете его просветить, что только вы одна достаточно умудрены, дабы вернуть мир его душе. Поймите меня, мадам, дело совсем не в том, не подумайте, пожалуйста... Достаточно на меня посмотреть: ведь господин Пюибаро вовсе не из низких побуждений... Но он говорит, что при одной мысли о том, что у него когда-нибудь будет такой сын, как ваш Луи, он рыдает от счастья.

— Да, да,— хмуро проговорила мачеха.— Рассчитывая завладеть благородным, простодушным существом, демон выбирает обходные пути...

— Ох, мадам Брижит, неужели, говоря с ним, вы упомянете о дьявольских кознях?

Она живо схватила руку мачехи, восседавшей на своем обычном месте — перед письменным столом, заваленным бумагами и папками.

— Дочь моя, если он меня ни о чем не спросит, сама я ему ничего не скажу... Ну, а если спросит, буду держаться границ того, в чем я чувствую себя наиболее искушенной, но уж в этом случае скажу все напрямик, без пугливых уверток, без церемоний, словом, как я обычно говорю.

Октавия умоляюще сложила руки и подняла на непроницаемый лик мадам Брижит свои кроткие овечьи глаза.

— Но ведь если он сожалеет, что не смог стать отцом, в этом, возможно, и нет ничего худого... Таково мнение его наставника. Господин Пюибаро в течение долгих лет всячески старался побороть это чувство! Поэтому — откуда нам знать, — может, таково знамение, может, его долг уступить этому зову?

Мачеха покачала головой:

— И эту гипотезу отбрасывать тоже нельзя... Хотя, откровенно говоря, она как-то плохо вяжется с предначертанием господа, обычно он не возносит душу на высоту, дабы низвергнуть ее в бездну. Допустим даже, господину Пюибаро предписано свыше отказаться от своей миссии, сделать шаг назад, зажить жизнью, где не требуется умерщвления плоти, — в это я еще смогу поверить, если мне будут даны бесспорные знамения, ибо ничто и никогда не должно разрушать нашей веры.

— Он говорит, что повинен в грехе гордыни, что слишком переоценил свои силы и что он должен благодарить провидение за то, что все это произошло не слишком поздно, — упорствовала Октавия, хотя в голосе ее звучала мольба.

— А если он в этом так уверен, — сухо перебила ее мачеха, — то зачем же тогда он колеблется, зачем впутывает меня во все эти споры?

Октавия призналась, что вся беда именно в том, что во все он уж не так уверен и меняет свои решения чуть ли не каждый день, и, заливаясь слезами, добавила, что теперь ей ясно, что «мадам Брижит уже вынесла свое решение и разговор будет беспощаден». Мачеха тут же пошла на попятный.

— Да нет же, нет, Октавия, не думайте, пожалуйста, что я из принципа отношусь враждебно к тому, чего требует от вас слабая плоть. Господин Пюибаро здесь не единственная заинтересованная сторона, и я охотно верю, что, во всяком слу-

чае, вы призваны к выполнению супружеского и материнского долга. Да нет же,— повторила она, устремив ястребиный взгляд на жалкую фигурку девушки (и, очевидно, мысленно представляя себе набухший живот под этим фартучком и это непривлекательное лицо, еще подурневшее от беременности),— да нет, возможно, отказ господина Пюибаро от своей высокой миссии должен послужить на пользу вам. Я вдруг поняла, что вам просто необходимо его отступничество и в нем одно из условий вашего спасения.

Иными словами, Брижит Пиан приписывала господу богу, «иже еси на небесех», свойственную ее натуре способность все усложнять, во всем искать окольных путей. Но Октавия Тронш в приливе надежды воспрянула, как спрыснутый водой цветок, и подняла к Брижит свое страдальческое нежное личико.

— О, мадам Брижит, теперь вашими устами говорит сам бог,— восторженно воскликнула она.— Да, да, это ради меня, ради меня одной, ничтожной, господин Пюибаро отказывается от радостей возвышенной жизни, от безмятежного существования в коллеже, гордостью которого он был...

— И вы хладнокровно примете эту жертву, дочь моя? — вдруг в упор спросила Брижит Пиан.

Октавия озадаченно промолчала.

— Заметьте, я вовсе не считаю, что вы должны от него отказаться. Я просто говорю, что, помимо всех иных вопросов, перед вами встает особая проблема: имеете ли вы право требовать, чтобы такой человек жертвовал ради вас плодами своего апостольского служения, славой своей перед господом, своей честью перед людьми? Ибо не будем скрывать от себя, что отступничество такого рода особенно — и в первую очередь — лишает всякого доверия в глазах мирян самого отступника. К чему обманывать себя? Перед ним захлопнутся все двери, и, так как я не знаю человека, более незащитного перед лицом житейских трудностей, вы должны будете признать, что именно из-за вас ему придется вести тяжелое, чтобы не сказать плачевное, существование.

И тут снова лицо Октавии Тронш осветилось смиренной улыбкой:

— Вот этого-то я и не боюсь, мадам Брижит. Тут я спокойна: мне хватит мужества на двоих, и, пока я жива, он ни в чем не будет нуждаться, если даже мне придется идти в поденщицы... У него будет все самое необходимое и даже больше...

— У вас не такое уж блестящее здоровье, секретарская ра-

бота, которую вы выполняете здесь — а это сущий пустяк, — и то для вас уже непосильная нагрузка сверх ваших преподавательских обязанностей. Я вам это не в упрек говорю.

И в самом деле, Октавия Тронш с трудом переносила ночные бдения; хлопоты по устройству благотворительных базаров после целого дня, проведенного в школе, лишали ее последних сил. Мачеха повторила, что, как это ни мучительно, долг Октавии — смотреть на вещи именно под этим углом. И так как Октавия робко заметила, что они надеются, что общество, где господин Пюибаро столько лет работал безвозмездно, может быть, сочтет возможным назначить ему жалованье, Брижит искренне удивилась такому отсутствию чувства такта, такой нечуткости. Как только может эдакое прийти в голову? Тут и объяснять нечего.

— По-моему, вы, дочь моя, просто утратили здравый смысл... Я не говорю уже о том, что не в наших обычаях тратить деньги, принадлежащие беднякам, на работу, за которую охотно возьмутся духовные лица, а также многие из верующих. Нет-нет, мы с нашей стороны готовы сделать все возможное, чтобы порекомендовать господина Пюибаро, конечно, в той мере, в какой нам позволяет осторожность рекомендовать человека, по собственной вине поставившего себя в столь сомнительное положение, — кстати сказать, он не имеет, насколько мне известно, ни надлежащего звания, ни диплома.

Когда наша мачеха ввергала какое-нибудь живое существо в бездну отчаяния, она не без наслаждения тут же вытаскивала его на поверхность — милость, ничего ей не стоящая. Итак, убедившись, что Октавии Тронш уже некуда падать ниже, она стала потихоньку выволакивать ее из бездны и даже сумела внушить ей кое-какую надежду. Обе они единодушно пришли к некоему решению, о котором я накануне раздачи наградузнал из уст самого господина Пюибаро.

Мы трудились целый день, украшая школьное здание папскими штандартами, перемешивая их со знаменами Республики. Господин Пюибаро пересекал двор, и я пошел, как обычно, ему навстречу, пользуясь неписаной привилегией, которую не пытался оспорить у меня никто из моих однокашников. Он усадил меня на ступеньки помоста и сообщил, что принял одно очень важное решение. Мадам Брижит, «которая, подобно всем истинно святым людям, скрывает бесконечную свою доброту под маской суровости», поняла, что он нуждается в спокойствии и одиночестве, дабы хорошенько поразмыслить и принять

наилучшее решение, и потому она милостиво изъявила свое желание видеть его нынешним летом в Ларжюзоне.

— В Ларжюзоне? — ошеломленно переспросил я.

Есть такие места на земле, которые никак нельзя связать в своем воображении с той или другой личностью. Поэтому я не мог установить никакой связи между страной моих детских каникул и присутствием там учителя из нашего коллежа. Его пригласили под официальным предлогом заниматься со мной латынью.

Я пытался представить себе господина Пюибаро знойным днем на аллеях Ларжюзона в его сюртуке и цилиндре. Я спросил, будет ли он ходить в сюртуке и там, у нас. Он ответил, что задерживается как раз из-за покупки летнего костюма.

Господин Рош покинул свое любимое местечко у уборных. Взгромодившись на лестницу, засучив рукава, он, вооруженный молотком, обратил всю свою неизбывную злобу против шляпки гвоздя. Ученики обменивались летними адресами. Маленький оркестрик репетировал в парадном зале увертюру к «Путешествию в Китай». Жан Мирбель стоял, по своему обыкновению опустив голову и глубоко засунув руки в карманы, у стенки, хотя сейчас все наказания, даже в отношении его, были отменены; на нестриженных волосах его была надета набекрень каскетка, такие выдавались у нас плохим ученикам. Щеки его покрывал легкий пушок, и поэтому он казался много старше своих соучеников (он дважды оставался на второй год). Пожалуй, не столько плохое поведение, а именно возраст отделял его от нас: отделяла бурная река, где он барахтался без помощи, брошенный на произвол судьбы, жертва неведомого рока, и даже не с кем было словом об этом обмолвиться.

III

Экипаж, нанятый в Лангоне, остановился у калитки сада перед домом священника. Первым вышел полковник. Он только что плотно позавтракал, и поэтому багровая его физиономия побагровела еще сильнее, отчего шрам казался совсем белым. «Кронштадтку» он сбил на левый бок. На лацкане короткого прорезиненного плаща, едва покрывавшего бедра — он сам имел его «разлетайка», — красовалась полуувядшая роза. Сухие петушиные ноги были плотно обтянуты клетчатыми панталонами. А гетры были белые.

Жан, нагруженный чемоданом и сумкой, поплелся за ним

через сад, так густо засаженный овощами, что негде было ступить. Дом священника был окружен, вернее осажден, картошкой, горошком, помидорами и салатом десяти сортов. Кусты смородины и персиковые деревья стояли стеной вдоль узкой тропки, она вела к низенькой дверце, над которой красовалось распятие, вырезанное из сердцевины бузины.

Оба, и дядя и племянник, не сомневались, что за ними следят из пыльного окошка первого этажа. Но, только услышав удар молотка в дверь, аббат Калю вышел навстречу гостям. И оказался выше дяди на целую голову. Поверх сутаны у него был подвязан синий фартук, такие фартуки носят садовники. Видимо, он не брился уже несколько дней, и щетина расплзлась по всему лицу, не пощадив даже скул. Из-под низкого лба смотрели голубые детские глаза, нос был солидный, с раздвоенным кончиком, зубы крепкие; но Жан де Мирбель поначалу ничего не заметил, он глядел только на огромные руки, перепачканные замазкой, поросшие густой шерстью.

— Привез вам вашего воспитанника, господин кюре, признаюсь, подарочек не из приятных. Ну, иди поздоровайся с господином кюре, да пошевеливайся. Повторять тебе, что ли, сотни раз? Надеюсь, что ты не собираешься с первой же минуты показывать свой характер.

Держа берет в руке, Жан поклонился, но не сказал ни слова.

— Экая дубина! Хотя, пожалуй, я даже доволен, что вы сразу же поняли, с какого сорта мальчиком вам придется иметь дело. Чтобы он простое «здравствуйте» сказал, и то приходится его дубасить!

— Мы еще успеем познакомиться, — произнес священник.

Слова эти были сказаны холодным, равнодушным тоном. Не пускаясь в дальнейшие разговоры, хозяин провел их на третий этаж, чтобы показать мальчику отведенную ему комнату. Комнату эту выгородили из чердака, побелили мелом, поставили только самую необходимую мебель, зато все кругом блестело чистотой, а окошко выходило на старенькую церковь, стоявшую среди погоста, на равнину, где между сосен прятался Сирон, крохотный приток Гаронны; однако даже отсюда, сверху, можно было проследить бег воды по особенно нежной зелени прибрежных зарослей ольхи.

— Я сплю и работаю прямо под этой комнатой, так что нас разделяют одни половицы. Даже дыхание его мне будет слышно.

Папский зуав заверил, что это ничуть не лишняя мера предосторожности и что с такого удальца «нельзя спускать глаз

ни днем, ни ночью». Когда они перешли в просторную комнату нижнего этажа, которую аббат называл гостиной, где стояли столик и четыре кресла, а обои пестрели пятнами сырости, полковник шепнул на ухо священнику:

— Мне нужно поговорить с вами наедине. А ты отправляйся в сад и жди, когда тебя позовут... А ну, живо!

Но кюре прервал его и проговорил спокойным тоном:

— Прошу прощения, полковник, но я предпочитаю, чтобы он присутствовал при нашей беседе. Это входит в мою систему воспитания, и я прошу оказать мне доверие: ребенок должен точно знать, что ему ставят в вину и что именно в нем следует исправлять.

— Я вас предупреждаю, что это чревато неприятными последствиями... Вы же его еще не знаете... Мне было бы свободнее без...

Полковник хмурился, но кюре настоял на своем. Итак, Жан остался и торчал посреди гостиной, устремив взгляд на дядю.

— Ну, как бы вам проще объяснить? Дубина, господин кюре, — этим все сказано. Словом, неисправимый, не-ис-пра-вимый, — повторил он по слогам своим резким голосом.

Да-да, другого слова он не находил. Как многие люди, мнящие себя выше других, он располагал весьма скудным запасом слов и выполнял этот пробел стертыми языковыми штампами, сравнениями, модуляцией голоса и жестами.

— Его хоть убей, господин кюре... Правда, иной раз он может пойти на попятный, надеясь избежать взбучки. И вместе с тем не глуп, не без способностей... Но обязанностей своих не выполняет, уроков не учит...

— А что он любит? Я имею в виду, какие у него вкусы, склонности?

— Что любит? — полковник даже онемел. — И в самом деле, что ты любишь? Бездельничать? Это само собой ясно, а еще что? Да ну же, отвечай!.. Вот видите! Видите, каков он! Отвечай, или я тебя изобью!

Кюре удерживал карающую длань полковника.

— Не надо, я потом сам узнаю его склонности.

— Склонности? Ну и скажете вы тоже, господин кюре. Но меня не проведешь. А он, он узнает вашу систему, которая, надеюсь, не особенно сложна, — добавил он, подмигнув священнику. — С дрянной лошастью у меня одна система — шпоры да хлыст... Я не зря сказал «с дрянной»... Мне бы хотелось кое о чем поговорить с вами наедине.

Жан де Мирбель залился краской. Он низко наклонил голову, и теперь священник не видел его лица, а только волосы.

— Вряд ли нужно добавлять, что я действую в качестве опекуна и от имени графини де Мирбель, матери стоящего перед вами шалопая, и что вам предоставляется полная свобода — смело прибегайте к любым мерам воздействия, лишь бы они помогли вам привести его к повиновению. Само собой разумеется, в границах, не вредящих здоровью ребенка.

— Само собой разумеется! — повторил кюре, не сводя глаз с повинной головушки.

— Сейчас я подумал и могу ответить на ваш вопрос о его склонностях. Он любит читать и, ясно, читает всякую пакость. Поэтому здесь особенно нужен глаз да глаз. Уже успел набраться разных идей... Да что там говорить! О, он вовсе не всегда такой молчаливый, как сейчас, — когда он с вами спорит, он за словом в карман не лезет. Вы не поверите, во время пасхальных каникул он посмел утверждать при нашем кюре, господине Талазаке, что если министр Комб человек честный, если он верит, что делает благое дело, разгоняя конгрегации, то он не только не виноват, но еще заслужил перед господом.

— Он утверждал это? — с проблеском интереса спросил священник.

— Да, да... Как вам это понравится? Что вы об этом скажете? И уперся как бык, ничего не помогло: ни увещевания господина Талазака, ни гнев наших дам, ни даже взбучка, которую пришлось ему задать.

— Ты действительно это утверждал? — повторил кюре. И он задумчиво посмотрел на этого маленького лисенка, попавшего в его гостиную, который, казалось, весь взъерошившись, ищет какую-нибудь лазейку, чтобы улизнуть.

— Если вы владеете каким-нибудь секретом и сумеете вправить ему мозги, Мирбели будут вам весьма и весьма признательны. Ибо, подумайте сами, господин кюре, наше имя, наше состояние, будущее нашего рода, наконец, — все упирается в этого негодника. Он заявил, что лучше сдохнет, а не поступит в Сен-Сир или в армию, как водится в нашем семействе. Впрочем, он и отстал слишком. Ни в какое училище он не сможет подготовиться. У него хватило цинизма заявить, что он вообще ничего не хочет делать, даже заниматься своими поместьями не будет. Вот видите, видите! Не возражает, хихикает. Немедленно прекрати хихиканье, а то я тебя изобью!

Жан отступил к стене. Улыбка открыла его острые, белые,

неровно посаженные зубы. И он поднес к лицу руку привычным жестом ребенка, которого бьют часто и больно.

— Не горячитесь, полковник,— проговорил кюре.— Теперь это уже касается меня. Можете ехать спокойно. Я буду держать вас и графиню в курсе дела. Впрочем, и мальчик тоже вам напишет.

— Нет уж!

Это были первые слова, произнесенные Жаном.

— До свидания, малыш! — сказал дядя.— Вручаю тебя в надежные и крепкие руки,— добавил он, пожимая огромную ладонь кюре.— Мне говорили, что они умеют добиваться прекрасных результатов...

И он громко, с каким-то странным подвизгиванием расхохотался. Священник пошел проводить его до экипажа.

— А главное, не давайте ему спуску,— сказал в заключение полковник, вручая священнику конверт с деньгами на первые расходы.— Он не барышня, шкура у него дубленая. И ничего не опасайтесь, я вас в любом случае выгорожу, а главное, не обращайтесь внимания на то, что вам будет писать моя невестка. Тут уж я решаю, я руковожу.

Кюре вернулся в гостиную и увидел, что Жан все еще стоит на прежнем месте. Когда священник приблизился к нему, он невольно отступил на шаг и тем же жестом прикрыл согнутым локтем лицо, словно защищаясь от удара.

— Помоги мне накрыть на стол,— сказал священник.

— Я вам не слуга.

— В этом доме каждый сам себе слуга. Только вот стряпает у нас Мария, но ей семьдесят один год и ее мучит ревматизм. А накроешь ты для себя. Я лично никогда не полдничаю. Сейчас сюда приедут на велосипедах твой друг Луи Пиан с сестрой. Они будут здесь с минуты на минуту.

Он открыл дверь в столовую.

— Торт и сливы в буфете, там же початая бутылка оршада. Когда будете пить оршад, сходи и принеси воду: она в кувшине в подполе. До вечера, сынок... Да, кстати, ты уже знаешь, что мой кабинет находится прямо под твоей спальней. Там у меня много книг... Боюсь, что они не в твоём вкусе. Но если поискать... В общем, можешь рыться на полках, сколько тебе угодно. Мне ты не помешаешь...

Жан услышал тяжелые шаги священника на деревянной лестнице, потом у себя над головой, затем с визгом проехались

по полу ножки стула, и все стихло: только стрекот кузнечиков, кукареканье петухов, жужжание мух.

— Хочет меня умаслить, только зря он воображает, что меня на это возьмешь...

И все же Жан открыл дверь в столовую и потянул ноздрями, вдыхая запах торта. Столовая была обставлена лучше других комнат: старинные стенные часы, длинный буфет в стиле Луи-Филиппа, стол вишневого дерева, наводненный до блеска, плетеные стулья; здесь царилла какая-то удивительная, пахнущая яблоками свежесть, за стеклянной дверью открывался вид на низенькие крыши хлевов, на ближний луг, где еще стояли стога необранного сена.

Как-то меня спросили: «А откуда, в сущности, вам известны все эти события, ведь вы-то не были их непосредственным свидетелем? По какому праву вы приводите здесь разговоры, ведь вы их не слышали?» Дело в том, что я пережил большинство героев этой книги, людей, занимавших в моей жизни значительное место. А потом я по самой своей природе архивариус и храню, помимо одного личного дневника (дневника господина Пюибаро), еще и записи, которые Мирбель обнаружил, разбирая бумаги, оставшиеся после господина Калю. Так, в частности сейчас, передо мной лежит письмо, которое читал и перечитывал кюре, пока Жан в столовой кружил вокруг стола и, не выдержав искушения, слопал сливу... А тем временем я вместе со своей сестренкой Мишель неся на велосипеде по пыльной белой дороге; тогда еще дороги не покрывали гудроном... (Проезжая через Валландро, мы встретили возвращавшегося домой графа де Мирбеля, в сбитой на ухо «кронштадтке», и Мишель успела разглядеть его тощие ляжки — он сидел, закинув ногу на ногу, — его шрам и увядшую розочку на отвороте прорезиненного плаща.)

Конечно, я воспользовался своим правом соответственно расположить материал, оркестровать эту реальность, эту подлинно существовавшую жизнь, которая умрет только вместе со мной и которая жива наперекор годам, покуда живы еще мои воспоминания. И если я придавал литературную форму диалогам, то, во всяком случае, я ни буквы не изменил в письме графини де Мирбель, в письме, полученном аббатом Калю накануне, за два дня до прибытия Жана. Написано оно синими чернилами, острым почерком, и под ним стоит подпись: Ла Мирандье-Мирбель.

«Господин кюре,

Если я беру на себя смелость обратиться непосредственно к Вам, то лишь потому, что я узнала от госпожи Байо, что Вы в качестве воспитателя применяете совсем иные методы, чем те, какие приписывает Вам мой деверь граф Адемар де Мирбель. Благословляю небеса за то, что ему не пришла в голову мысль навестить вышеупомянутых Байо, и, таким образом, он верит в Вашу репутацию воспитателя трудных детей и считает, что Вы, по его выражению, «сумеете подкрутить гайку». Я была не столь щепетильна, как мой деверь, и, хотя мне представлялось довольно щекотливым сделать первый шаг в отношении этих бывших аптекарей, предки которых состояли в услужении у моих предков, я не колеблясь отправилась к ним и была сторицей вознаграждена за свой поступок, так как я знаю теперь, какому человеку я пишу, знаю, что полностью могу положиться на Ваш характер. Вы должны, господин кюре, знать кое-какие подробности, могущие просветить Вас насчет моего несчастного мальчика и его права. Прежде всего он питает ко мне любовь куда более неистовую, чем обычно питают к своим матерям его сверстники; Жан убежден, что я не плач^у ему тем же чувством, считает, что я сужу о нем сообразно созданному его дядей образу, и я должна признать, что, если говорить о внешней стороне наших отношений, мальчик вполне прав — со стороны может показаться, что я без борьбы отступилась от сына и отдала его в руки этого палача. Простите на слове, господин кюре, но, когда Вы сами увидите графа, Вы меня поймете.

Тут я должна сделать Вам одно признание, как это мне ни трудно, но ведь я обращаюсь к священнику, к человеку, привыкшему отпускать людям грехи. Я бессильна против моего деверя: во-первых, потому, что он по завещанию получил особые полномочия в отношении моего сына, но еще более потому, что я у него в руках, так как мой муж во время своей последней болезни передал Адемару компрометирующие меня бумаги, и довольно серьезно компрометирующие. Коль скоро я всегда действовала сообразно велениям моей совести и полностью пользовалась своими женскими правами, я не могу считать себя женщиной виновной, господин кюре. Неосмотрительная, неспособная к хитростям, расчетам — это верно, все это было. Я могла бы без труда обмануть мужа, а возможно, имела на то все права. Чего только не претерпела я совсем еще юной: тут и систематическая травля, какую способна изобрести лишь ревность, и заточение, словом, тайная пытка, поскольку этому способствовала наша

уединенная жизнь в замке под Арманьяком, и мстительные выходы, благо они сходили с рук. Словом, хватит для настоящего романа, и не знаю, может, я и напишу его когда-нибудь, потому что я умею писать, и это-то меня и погубило. Таким образом, Адемар держит в руках мои злосчастные письма, которые вернул мне мой адресат и которые я, на свою беду, не уничтожила вовремя, и где я, побуждаемая демоном литературы, в живых выражениях описывала свои чувства; свет прощает женщине, уступившей чувствам, но никогда не простит открытого их выражения.

Теперь Вы знаете мой секрет, господин кюре. Хотя я не верю больше в таинства религии, я верю еще в достоинство ее служителей и их скромность. Вы должны знать следующее: Адемар только потому распоряжается судьбой Жана, что моя честь в его руках и, если я подниму голос, он меня загубит. Вот Вам еще один характерный штрих: он опасается, что держит меня в руках недостаточно крепко, и не прочь был бы на мне жениться, его прельщает мое состояние, довольно значительное; добавлю справедливости ради, что такова была последняя воля его умирающего брата; он все время твердит, что женщину можно укротить по-настоящему только в браке. Даже мысль, что де Мирбель, урожденная Ла Мирандье, могла бы потребовать развода, не приходила в голову ни тому, ни другому. Адемар прибегает к шантажу, однако говорит об этом намеками: он дает мне понять, что, если я стану его женой, Жан будет воспитываться у нас в Ла-Девизе, что все вопросы по его воспитанию буду решать я, что часть года я смогу проводить у своих родителей. Госпожа Ла Мирандье имеет, как Вы понимаете, большие связи, и я отнюдь не отказалась от мысли о блестящем реванше, который могут принести мне литературные успехи... Что делать? Окончательного отказа я деверю не даю, пытаюсь как-то выиграть время. Адемару уже за шестьдесят, и, когда он встает из-за стола, он неестественно багровеет; нарушения режима, которые неизбежны при его образе жизни и которых я великодушно стараюсь не замечать, могли бы подсказать другой женщине кое-какие мысли, но я абсолютно не способна к любым расчетам, и если я могла совершать безумства, то низости — никогда. Давая Вам все эти необходимые сведения, я смею надеяться. Вы не осудите меня, исходя из узких взглядов, которые, как я знаю, внушают Вам отвращение, а будете судить меня с позиций человеческой и просвещенной религии и не откажете мне в милости, какую я могу получить только от

Вас. Мне хотелось бы, чтобы Вы попросили для меня у Адемара разрешения навещать Жана в Балюзаке. Вам он не откажет, особенно если Вы напишете ему, что мой визит пойдет на пользу делу. Скажите ему, что я могу остановиться у Вас. Но я поселись в гостинице в Валландро, чтобы не причинять Вам лишнего беспокойства. Жду со всем нетерпением материнского сердца Вашего ответа и прошу Вас, господин кюре, верить в искреннюю и пылкую благодарность, которую я уже испытываю к благодетелю моего единственного и обожаемого сына».

Кюре взял со стола красный карандаш и подчеркнул фразу: «остановлюсь в гостинице в Валландро». Как раз сейчас я смотрю на эту красную черточку, чуть выцветшую с годами... Очевидно, он считал, что тут главный стержень письма и все прочее написано ради одной этой коротенькой фразы. Так, во всяком случае, подумалось мне вначале, но, по правде говоря, не мог же кюре обладать пророческим даром, и фраза, вероятно, подчеркнута после того, как дальнейшие события наполнили эти слова подлинным содержанием. Но в тот вечер он мог понять, что ни за какие блага мира Адемар де Мирбель не согласится предать гласности документы, направленные против невестки и могущие опозорить их славный род. Не особенно правдоподобно звучало также и утверждение, будто полковник на седьмом десятке, сам человек состоятельный, задумал вдруг жетиться на графине.

Господин Калю вынул из ящика стола папку с надписью на обложке: «Лицемерки». Он вложил в нее письмо, запер ящик, потом прислушался к гулу наших голосов, доносившихся с первого этажа, к нашему хохоту, звону тарелок; опершись локтями на доску письменного стола, он просидел неподвижно несколько минут, закрыв лицо своими огромными ладонями.

IV

— Приторно,— сказал Жан, осушив стакан оршада.— Мне бы чего-нибудь покрепче.

И он начал шарить в буфете. Я отлично понимал, что он просто хорохорится, но в душе я был шокирован. А вдруг Мирбель и впрямь неисправимый мальчик. Он шумно двигал начальными бутылками, открывал их, принимаясь, желая по запаху определить содержимое.

— Это, по-моему, черносмородиновая наливка, или дягилевка, или ореховая, словом, питье для монашек... Однако кюре

вроде бы не из тех, кто пробавляется сиропами... Ага, вот оно — это-то он, надо полагать, и хлещет! — вдруг крикнул Жан, потрясая начатой бутылкой коньяка. — И к тому же 1860 года! — Он прищелкнул языком. — Как раз в том году, когда мой дя-дюшка Адемар заработал при Кафельфидардо свой знаменитый шам...

Мишель запротестовала: кто же пьет коньяк ни с того ни с сего среди бела дня? Его подают к десерту.

— К десерту сам кюре заявится.

— Надеюсь, Жан, ты все-таки воздержись?

— Так тебе и воздержусь! И ликерными рюмками пить не стану!

Не так-то легко мне было догадаться, где начиналось комедианство. Молчаливый школьник, которого вечно наказывали в коллеже, ничуть не походил на этого юного громилу. Я не сразу понял, что он разошелся вовсе из-за присутствия Мишель — ведь он почти с ней не разговаривал, а на ее вопросы буркал что-то невнятное. Казалось, он просто ее не замечает.

— Это уж слишком, Жан, тебе будет нехорошо.

— Заметь, одним духом...

Он запрокинул голову, но, видимо, переборщил и закашлялся. Мишель хлопнула его по спине. По комнате пополз запах коньяка.

— Господин Калю заметит, — сказал я.

— А мы в бутылку водички подольем, он подумает, что коньячок выдохся...

— А запах! От тебя же разит коньяком, да и в доме пахнет...

Тут мы услышали над головой скрип отодвигаемого стула и стук грубых башмаков на лестнице. Встав на пороге, кюре втянул носом воздух и оглядел нас.

— Нашли-таки мой коньяк, бродяги, — весело проговорил он и обратился к Жану: — А ну, признайся, что он недурен, ты в этом деле должен знать толк. У вас в Ла-Девизе, уверен, коньяки первосортные, место больно подходящее... А ты, Луи, свел бы своего приятеля к Сирону. Любит он рыбу ловить? Любит? Ну, тогда покажи ему рыбное местечко. Щуки прямо бесчинствуют, но есть тихие заводи...

Он распахнул стеклянные двери столовой, которые выходили на задний двор, и с минуту смотрел нам вслед. Мы шагали по наполовину скошенному лугу. Лето выдалось грозное, и сено не успевали сушить. Мы направились к ольшанику, вытянувшемуся вдоль берега. Бурные и голубые стрекозы извеща-

ли нас о близости невидимой отсюда протоки. Под ногами захлюпала вода — луг здесь был болотистый. Жара и после полудня стояла влажная, изнурительная. Очевидно, спиртное придало Жану смелости, так как он нарочно отстал от меня на довольно значительное расстояние, чтобы я не мог расслышать, о чем они говорят с Мишель, шедшей с ним рядом. Я показывал им дорогу, чувствуя, как меня охватывает глухая тоска, источник страданий, окрасивших и искалечивших всю мою жизнь. Но я не имею права умолчать об этой ране, полученной мною еще в ребячестве. Ничто так не распространено, как ревность в самой простейшей ее ипостаси. У меня она, эта мука, началась с тринадцати лет, на этом болотистом лугу, когда я напрягал слух, чтобы расслышать хоть обрывки слов, которыми обменивались моя сестра и мой друг, причем ревность этого рода свойственна далеко не всем и, хочу надеяться, не является уделом рода человеческого, ведь над ним и без того тяготеет немало проклятий.

Уже и тогда нелегко мне было разобраться, был ли я уязвлен в своей любви к Мишель или в дружеской привязанности к Жану. Мне просто противно было, что Мишель говорит с ним вполголоса, доверительным тоном, чего до сегодняшнего дня удостаивался один лишь я. Мишель принадлежала мне, и до сих пор я не делился ею ни с кем, и вот Жан увел ее в сторонку, смешит ее, тот самый Жан, которого я в своих мечтах с восторгом уже целые две недели встречал на всех ларжюзонских тропках, которого я мысленно вовлекал во все свои каникулярные затеи, этого Жана я мечтал безраздельно иметь для себя, для себя одного, но и он тоже ускользал от меня. Как я не предвидел этого заранее? «Они обращаются со мной как с мальчишкой, они от меня таятся...» Время от времени я останавливался и ждал их. На повороте тропинки я даже потерял их из виду, и мне пришлось возвращаться обратно. А когда я подошел к ним, оба дружно замолкли.

— О чем вы говорите?

Они смешливо переглянулись и не ответили. Жан жевал травинку. Мишель слегка покраснелась и, чтобы посмотреть мне в лицо, откинула голову, так как ей мешали поля большой соломенной шляпы. А я уперся: о чем они говорили? «О том, что не должно интересоваться маленьких мальчиков», — отрезала Мишель. Жан нагнулся к ее уху, и на сей раз я расслышал: «Значит, по-вашему, он просвещен?»

Быть просвещенным на нашем лицейском языке значило

быть в курсе всех таинств жизни и, в частности, тайны зачатия. Я побагровел и бросился вперед, вдвойне несчастный: значит, они нарочно отстают, чтобы поговорить о запрещенных вещах, значит, они вроде как бы сообщники, и это еще больше отдаляло меня от них.

Мачеха позволила мне пригласить Жана в Ларжюзон к завтраку. Я решил не передавать ему этого приглашения, которому так радовался заранее, но сейчас я с ужасом думал о завтрашнем дне, когда или Мишель отнимет у меня Жана, или Жан отнимет у меня Мишель. Нет, уж лучше вообще его не видеть! Пускай дохнет со скуки у своего кюре! В конце концов, дядя Адемар знал, что делает, когда велел держать его в ежовых рукавицах. У нас в коллежке все говорили, что «Мирбель — грязный тип», и не исключали его только потому, что его опекун был героем Кастельфидардо. Возможно, именно в эту самую минуту он рассказывает Мишель то, что я именовал про себя «пакостные истории». Незачем Мишель ходить к нему в гости. Я непременно предупрежу мачеху. Лучше уж никогда его не видеть, навеки от него отречься, чем ощущать, как сдавливает тебе глотку, как свербит под ложечкой эта боль, против которой нет лекарства, раз лекарство находится вне моей досягаемости: оно в желаниях, в сердце, в тайных помыслах моего друга и моей сестры, объединившихся против меня! Пытка, о которой не скажешь вслух! Конечно, тогда, стоя на берегу быстротечного Сирона, опершись о ствол высокой сосны, вспоенной щедрым потоком, омывающим ее корни, я еще не знал, что в этой пытке нельзя признаваться вслух, и только из гордости стремился скрыть свою досаду. Я не хотел больше ждать и, чтобы сбить их с толку, пошел быстрее, вытер слезы, задышал ровно и соорудил равнодушную мину. А они хохотали — еще задолго до того, как я их увидел, я услышал варывы хохота. Над потревоженным папоротником мелькнула соломенная шляпка Мишель, наконец-то они появились. Сестра спросила, как доберется завтра Жан де Мирбель до Ларжюзона, ведь велосипеда у него нет.

— Мой велосипед эта скотина отняла, — пояснил Жан.

Скотинной он величал своего дядюшку. Я холодно ответил, что ничем помочь не могу.

— А я думала оставить ему свой велосипед, — протянула Мишель, — я вечером поеду на твоём, а ты сядешь на раму...

— Восемь километров на раме? Нет уж, спасибо. Не желаю я портить свой велосипед. Если Мирбелю угодно, пусть идет в

Ларжюзон пешком — подумаешь, великое дело пройти восемь километров!

— Так я и знала, — сердито воскликнула Мишель. — Молился на свой велосипед! Надеюсь, ты не собираешься закатить нам скандал?

— Не закатит, — сказал Жан и схватил меня за руку не то играючи, не то со злобой. — Ну как, Луи, согласен?

Я резко вырвал руку, отошел в сторону и сел на пенек.

— Дуется, — заметила Мишель. — Теперь это на целый день!

Вовсе я не дулся — я страдал. Я смотрел на водяных паучков, боровшихся с течением. Прозрачная вода перекачивала длинные волокна мха. В струях резвились голяны. Их силуэты четко вырисовывались на фоне песчаного дна. Вокруг стоял запах влаголюбивых растений и раздавленной нашими подошвами мяты, тот запах, который я вспомню в свой смертный час и скажу «прощай» светлым дням, капувшим в вечность летним дням, застарелой моей боли, юной моей любви. Я не дулся, я страдал, как страдает взрослый мужчина. Очевидно, те двое присели где-то неподалеку от меня, за папоротниками их не было видно, но я слышал их шушукание. Вдруг раздался голос Жана, и я понял, что он нарочно говорит громко:

— Не беспокойтесь, он образумится. Ну а если упрется, примем серьезные меры...

Я вскочил и бросился к нему.

— Какие еще меры? Сунься только, скотина...

Он схватил меня за запястья, мне стало больно, но я изо всех сил стиснул зубы, чтобы не крикнуть.

— А ну, повтори, что ты не дашь своего велосипеда сестре!

— Пусти меня, ты мне руку вывернул.

— А ну, повтори, что не желаешь ехать на раме!

Вдруг тиски, сжимавшие мои запястья, разжались — это Мишель, не помня себя от ярости, с криком набросилась на моего палача:

— Я вам запрещаю трогать моего брата!

— А что особенного? Подумаешь, не рассыплется.

Они стояли лицом к лицу, меряя друг друга враждебным взглядом. И вдруг великий покой снизошел на меня: они ссорятся, они стали врагами, Мишель предпочла меня ему, а он, он вовсе не любит Мишель. Это из-за меня они сцепились. Я почувствовал в груди сладостную легкость и, как всякий раз, когда боль отступала, я считал, что исчезла она навсегда. Я уже не ненавидел их, во мне вновь расцвела нежность к ним обоим.

Ясно, мы с Мишель вернемся домой на моем велосипеде, но не мог же я уступить сразу, и к тому же мне было ужасно приятно видеть, что они идут не рядом, а поодаль друг от друга. Сейчас настала очередь Мирбеля плестись впереди, жуя травинку, а я шел в нескольких шагах от него, держа сестру за руку. Я держал сестру за руку и смотрел на шагавшего впереди Жана... И это было счастье. Выпала роса. Гроза, уже не ворчавшая больше где-то на горизонте, вдруг заметно приблизилась, и мрачный лик ее склонился над верхушками сосен. Мужчины и женщины сутились вокруг повозки, наполовину загруженной сеном.

— Н-да,— произнес я,— а этот Мирбель порядочная скотина...

— И все-таки он милый...

— Милый-то милый, да скотина.

— Так или иначе, давай сделаем, чтобы он приехал к нам завтракать.

Горло у меня снова перехватило, и я спросил у Мишель, неужели ей этого так уж хочется.

— А ты думаешь, в нынешнем году у нас в Ларжюзоне очень весело с твоим Пуибаро и Брижит, которая все время вьется вокруг этого жирного белого червяка?

— Что ты, Мишель!

— Вот увидишь, Брижит сумеет сделать так, что мы все возненавидим Ларжюзон, даже папа. Конечно, я оставляю свой велосипед Мирбелю...

— Ага, оставишь! — не помня себя от бешенства, заорал я. — Оставишь — значит, пойдешь домой пешком.

Жан оглянулся. Он торжествовал, что мы снова ругаемся: говорил же он, что меня надо образумить! Уж кто-кто, а он знает, как нужно обращаться с детишками...

Мы приближались к дому священника и орали все трое разом:

— Нет, ты скажи — мой велосипед или не мой?

— Вот это здорово, еще просить у него разрешения, — обратился Жан к Мишель. — Садитесь быстрее на велосипед, пока он не успел его взять. И если не желает ехать на раме, что ж, пускай чешет восемь километров пешком.

Я успел их опередить и схватил велосипед, но уехал недалеко: Жан вцепился в руль, всунул между спиц ногу, и я рухнул на землю. Господин Калю, очевидно наблюдавший за нами, быстро вышел из дома, подбежал ко мне и поднял на ноги.

У меня была только небольшая ссадина на руке. Священник обернулся к Мирбелю.

— Иди в мою комнату, принеси йод и пачку ваты, она лежит на туалетном столике.

Он бросил это приказание своим обычным спокойным тоном, но еле сдерживая раскаты голоса и не отрывая взгляда от лица Мирбеля и его сжатых кулаков. Мой приятель повиновался с неожиданной быстротой. Когда он спустился вниз, священник уже промывал мою рану под краном. Не оборачиваясь к Жану, он скомандовал:

— Протри ватой вот здесь. Помажь йодом, да не слишком. Щиплет? А теперь, Мишель, выкладывайте ваши свидетельские показания.

Мишель начала что-то плести. По ее словам получалось, будто мы с Жаном оба виноваты: Мирбель вел себя грубо, а я нарочно поддразнивал его.

— А ну, пожмите друг другу руки,— сказал аббат.

Я взял руку Жана, и он ее не отдернул. После чего господин Калю заявил, что наша дружба восстановлена. Он не решил нам возвращаться вдвоем на одном велосипеде, завтра он даст Жану свой велосипед, чтобы тот съездил в Ларжюзон. Несколько часов аббат свободно может обойтись без велосипеда, так как сейчас у него в приходе серьезных больных нет. Но так как всегда может произойти нечто непредвиденное, он просит Жана вернуться к четырем часам.

— А вы, дети, приезжайте с ним сюда, проведете день вместе.

В голосе его уже стихли раскаты гнева. Дождь так и не состоялся: ветер разогнал тучи. Священник попросил нас полить салат и посоветовал разуться, чтобы не промочить обувь. А за наш труд он разрешил нам полакомиться смородиной. Мария уже вдосталь наварила варенья.

Когда священник ушел в дом, Жан заявил, что он в слуги к нему не нанимался и не позволит обращаться с собой, как с лакеем. Но когда мы с Мишель скинули туфли, Жан не устоял, быстро снял сандалии и взялся за ручку лейки, которую несла Мишель. Таково детство — этот летний день, когда мы бегали разувшись по гравию, больно коловшему босые ступни, и нарочно брызгались водой, остался в нашей душе как память о незамутненном и мирном счастье; однако мою радость омрачила грусть, так как Жан брызгал водой не меня, а Мишель. А Мишель, задрав свою юбочку до колен, делала вид, что сердится,

и все время пронзительно хохотала, но не обычным своим смехом. Но я запрещал себе страдать. Во мне еще жила задремавшая на время боль, которая могла пробудиться от любого пустяка, и поэтому я, желая оглушить себя, орал еще громче тех двоих. Когда солнце скрылось за верхушками сосен, пришла пора подумать об отъезде. Жан осведомился, в каком часу завтракают у нас в Ларжюзоне.

— Обычно в полдень, но приезжайте, как только сможете, — сказала Мишель. — Мы встаем в восемь. Когда кюре даст вам велосипед, тогда и приезжайте...

Я запротестовал — как можно надолго оставлять господина Калю без велосипеда. А вдруг его вызовут к больному... На что Жан возразил злобным тоном, что «помереть можно и без помощи священника». Слова эти, видимо, неприятно поразили Мишель, и я заметил, что, прощаясь с Жаном, она держалась натянуто. И все-таки дважды обернулась и кивнула Мирбелю, махавшему нам своим беретом. На нем была матросская блуза, а под ней фуфайка в белую и красную полоску. Сандалий он так и не надел и стоял голоногий, а панталоны у него были подвернуты выше колен и подхвачены резинкой.

Позже я узнал от самого Жана, как прошел его первый вечер в доме священника. Сначала он бродил без толку вокруг дома. Вряд ли Балюзак заслуживал такое громкое название, как поселок: одна-единственная харчевня, а из торговых заведений — только аптека, принадлежавшая некоему Вуайо, но кюре запретил своему воспитаннику даже переступить ее порог. Это был, пожалуй, единственный запрет впрямую. Аббат Калю уже сообщил Жану, что у него в кабинете множество книг; в жизни Жана книги играли огромную роль, но никто из его близких даже не подозревал об этом. Ведь по отцовской линии он происходил из семьи, где склонность к чтению, особенно у мальчиков, рассматривалась как некий тревожный признак. Впрочем, и его опекун и его родная мать были убеждены, что Жан интересуется только похабными или скабрезными книгами, на что, откровенно говоря, имели основание, если судить по поведению Жана.

Жан ничего не мог поделать с охватившей его страстью: при одной мысли, что в доме полно книг, пускай они будут специально написаны для священнослужителей, при одной мысли, что ему разрешается рыться в книжных шкафах, он испытывал соблазн, близкий к греховному. Но он боролся против искуше-

ния, он не желал, чтобы господин Калю считал, будто его, Жана де Мирбеля, можно взять голыми руками и что он сам сунет голову в ловушку. Однако же не выдержал и поднялся на второй этаж, стараясь ступать как можно аккуратнее, чтобы не скрипнули ступеньки.

На лестничной площадке стоял крепкий табачный дух. Жан помялся в нерешительности с минуту, подошел было к двери, но гордость помешала ему войти в кабинет. Он не подозревал, что аббат прислушивается к каждому звуку, что он уже различил шорох сандалий и подстерегает его как страстный рыбак, заметивший, что вокруг наживки вьется форель. Господин Калю не выдержал и первым приоткрыл дверь.

— Тебе что-нибудь надо, плутишка? — И так как Жан отрицательно мотнул головой, он добавил: — Может, хочешь книгу взять?

Мальчик вступил в облако табачного дыма. Такого количества книг он никогда в жизни не видел: от пола до самого потолка, наваленные на стульях, на каминной доске, без переплетов, с переплетами... да еще стремянка на колесиках, чтобы можно было добраться до верхних полок, и конторка, за которой можно стоя читать или писать! Чудеса, да и только! Ясно, книжечки скучноватые... Но заранее трудно сказать, впрочем, Жан еще не встречал в своей жизни такой книги, которая была бы безнадежно скучной.

Аббат снова уселся за письменный стол, не обращая на Жана внимания. А он взобрался на стремянку: какая жалость, что так ноет затылок, даже подташнивает... И повинен в этом коньяк, которого он глотнул из чистого бахвальства, а тут еще этот табачный дух! Поэтому он быстро слез со стремянки, взял первую попавшуюся книгу, прочел название: «Трактат о похоти. Письма и максимы о комедии. Логика. Трактат о свободе воли». Автор — Боссюэ. А вдруг его вытошнит прямо здесь, в кабинете, да еще, чего доброго, он хлопнется в обморок. Нет-нет, надо держаться любой ценой! Надеясь обмануть дурноту, он открыл книгу, заставил себя прочесть: «Та женщина из притчи, что кичится благовониями, коими пропитывает ложе свое, и ароматами, кои вдыхаешь в опочивальне ее, а затем присовокупляет: «Забудемся в упоении и насладимся желанными объятиями», ясно показывает этими словами, к чему приводят благовония, приготовленные, дабы ослабить нас и привлечь нас к чувственным радостям средствами, казалось бы не оскорбляющими прямо целомудрия...»

— Ты совсем бледный, малыш, даже позеленел... Тебе нехорошо?

Жан запротестовал: нет, это пустяки, только чуточку тошнит...

— Поди ляг.

Мальчик отказался: само пройдет, сейчас ему уже полегче стало. И снова, сделав над собой усилие, он попытался вникнуть в прочитанную страницу... Аббат услышал, как грохнулось тело Жана об пол, но грохнулось мягко, потому что при падении он успел ухватиться за стремянку. Жан смутно чувствовал, как его подняли и несут две сильные руки. Потом его стошнило. Кюре хладнокровно, без малейшей брезгливости подставлял ему таз, придерживая его голову своей широкой ладонью. Наконец Жан открыл глаза и сказал, что хочет выйти в сад. Он был буквально в отчаянии, что сразу же из-за этой неожиданной дурноты попал в лапы неприятеля.

— Я тоже собираюсь выйти,— сказал аббат.— Дочитаю молитвы в церкви. Пойдем-ка со мной. Вот увидишь, какая у нас славная церковка... Построил ее Бертран де Гот, который потом стал папой Климентом V, он наш земляк, из Валландро, если только не из Юзеста, где находится его могила... Если бы все папы были такими...

Жан ответил, что старые камни его ничуть не интересуют...

— А все-таки пойдем, навестим нашего господина...

Наконец-то кюре открыл свои карты! Не смея поднять глаз, Жан буркнул, что уже давно не верит во все эти сказки...

— В самом деле? — спросил господин Калю, и по его голосу чувствовалось, что он ничуть не шокирован этими словами.

— Вас это удивляет?

Мирбель поглядывал на своего собеседника уже свысока.

— Почему, в сущности, я должен удивляться? — сказал кюре.— Куда удивительнее верить... Удивительно другое: то, во что мы верим, есть истина; удивительно то, что истина существует, что она нашла себе воплощение и что я держу ее, пленницу, здесь, у себя, под древними сводами, которые тебя ничуть не интересуют, с помощью и властью этих вот огромных лапидов, приведших в такой восторг твоего дядю Адемара. Да, малыш, я и сам-то опомниться не могу — до того это абсурдно, безумно то, во что мы верим, и все-таки это — истина!

Что он, издеваться над ним, над Жаном, вздумал? На всякий случай Жан бросил:

— А мне теперь это совершенно все равно!

Он пытался не уступать противнику, дерзко взглянуть ему в глаза, но почему-то глаза его сами опустились.

— Теперь да, малыш. А потом посмотрим.

— Я вам все равно не дамся, — крикнул с вызовом Жан.

— Не мне ты дашься... Куда уж мне...

— А раз не вам, так кому же тогда, здесь, кроме Марии, больше никого нет!

Кюре не ответил. Вдруг он что-то вспомнил и озабоченно спросил:

— Скажи, как же ты в таком случае устраивался в коллеже? С такими вещами, как исповедь и причастие, не шутят...

Жан самодовольно ответил, что такие пустяки его никогда не смущали: каждую субботу — исповедь, ну он и плел на себя невесть что... каждое воскресенье — причастие: если человек ни во что не верит, то какая ему разница? Ото всех этих исповедей и причастий ему ни жарко, ни холодно... Он ждал взрыва, но взрыва не последовало.

— Ты так считаешь? — только спросил господин Калю.

Жан с заносчивой миной выдержал устремленный на него взгляд, грустный и кроткий взгляд, и вдруг ему почему-то стало неловко.

— Каждую, говоришь, субботу? Каждое воскресенье?... И сколько же времени так продолжалось? Целых два года? Боже мой, боже мой!

Господин Калю залюбовался этим красивым лицом, этим чистым лбом под темными волосами, где, как огненные полосы, пролегали пряди посветлее. И только сказал:

— Поди полежи немного перед ужином, иди, мальчик.

И он направился к церкви, так и не оглянувшись. Шагал он быстро, ссутулившись, и казался поэтому не таким высоким.

V

В памяти моей почти не сохранились подробности первого визита Жана в Ларжюзон, я не отличаю его от последующих. В течение всего августа мы были неразлучны. Если Жан не приходил к нам, к нему в Балюзак отправлялась Мишель. И понятно, я увязывался за ней и ни за какие блага мира не остался бы сидеть дома; каникулы мне были не в каникулы при мысли, что они там вдвоем без меня, так что вся моя жизнь подчинялась одному — быть всегда при них.

Откровенно говоря, сначала это меня почти не мучило. Те-

перь гораздо реже повторялись те страшные дни, когда они держались вместе и дружно избегали меня, и, напротив, участились такие, когда Мишель бранила обоих мальчишек и старалась отбиться от шуточек, которые мы изобретали, чтобы поддразнить «девчонку». В нашей троице согласия не было: или мне, или моей сестре выпадала роль жертвы. По-настоящему счастлив я был лишь тогда, когда мне приходилось защищать Мишель от Жана, от его порой довольно злобных поддразниваний. Но почти всегда получалось так, что именно в ту минуту, когда я считал, что они поссорились окончательно, они вдруг без всякой видимой причины мирились. Чаще всего, именно когда я верил, что надежно защищен от их сговора, именно тогда раздражались непонятные, мучительные для меня сцены, как, скажем, в тот день, когда мы довели Мишель до белого каления своими намеками на «историю с пирожными», после которой мы с ним стали друзьями до гробовой доски, твердил Жан. «Да какая история?» — допытывалась Мишель. Мы переглядывались, перемигивались и, приложив в знак молчания палец к губам, торжественно клялись, что никогда не расскажем про это девчонке. И тут мы начали скакать вокруг Мишель, тянули ее за волосы и удирали прочь, показывая кукиш со словами «что, съела...». Я держался на почтительном расстоянии, но Жан кружил вокруг нее как одержимый какой-то, дергал ее, потом снова убегал... Вдруг Мишель рванулась вперед и ногтями вцепилась Жану в щеку. Он даже не отбивался, но не устоял на ногах и упал в траву, а, когда поднялся, мы с сестрой увидели, что щека у него расцарапана до крови. Мы застыли в растеряности, Мишель побледнела.

— Ой, Жан, скорее вытри кровь, у меня носового платка нет.

А он не вытирал, и кровь текла у него по щеке. Я подумал было, что сейчас он набросится на Мишель, но нет, он улыбнулся ей. И как улыбнулся, новой, не своей обычной улыбкой! Эта улыбка словно бы свидетельствовала, что Жан имеет на Мишель права, и Мишель имеет права на Жана, и он волен принимать от нее все, даже боль. Они, совсем еще дети, вступали, сами того не ведая, в тот мир, где удары равнозначны ласкам, где ругательства куда полнее, чем самые нежные слова, выражают всю силу любви. И завеса закрыла их, я уже их не видел, я остался один по ту сторону завесы, несчастный мальчишка, затерявшийся в мире, населенном этими переменчивыми чудовищами: взрослыми людьми.

Если Мирбеля удалось немного приручить, то вся заслуга в этом принадлежала моей сестре, а отнюдь не господину Калю (по крайней мере так было до конца августа, вплоть до некоего события, о котором я расскажу в свое время). То, чего добился кюре от своего воспитанника в первый же день, конечно, нельзя сбрасывать со счета, но в последующую неделю успехи были самые мизерные. «У меня в доме поселилась кошка, — писал в своем дневнике тем летом господин Калю, — кошка, которая бесшумно входит и выходит из библиотеки, причем и стула не заденет, обнюхает книги, проскользнет в столовую, присядет у краешка стола и жадно лакает суп. От борьбы он отказался, соглашается работать час в день, но воскресеньям ходит к мессе. Я слишком скоро обнаружил себя: ему ненавистна моя кротость, «ваша поповская кротость», как заявил мне как-то с отвращением этот юнец из Бордо... А мне хотелось, чтобы ничто ни во внешнем моем облике, ни в моем лексиконе его не отвращало. Да-да, именно так: никакой елейности в тошнотворном смысле этого слова. Какой жесткой была елейность Иисуса Христа! Алмазом какой твердости надо стать, дабы взрезать сердца ближних! Жана меньше бы отвращала моя жестокость, против которой он хорошо вооружен...»

Возможно, аббат Калю разгадал секрет Жана, но не разгадал моего. Да и то сказать, кто бы мог его понять и растолковать мне самому? Никто не может взять на себя бремени ребенка, оно никому не под силу.

Господин Пюибаро пекся о моих занятиях и о моей душе с немалым пылом, но я не испытывал к нему за это благодарности. Конечно, он меня любил, и домашние твердили, что я «его просто обожаю», и я безропотно дал втянуть себя в эту игру. «У Луи с языка господин Пюибаро не сходит...» Но на самом-то деле я с легким сердцем согласился бы больше никогда в жизни его не видеть и не испытал бы при этом ни малейшей печали. Никто еще не сумел измерить всю глубину равнодушия ребенка в отношении взрослых, даже тех, с которыми он по видимости наиболее тесно связан. За исключением Жана, Мишель да еще папы и покойной мамы — но это уже совсем в ином плане, — ни одно живое существо не представлялось мне реальным. Те, что зовутся «другие», были в моих глазах статистами, они толклись где-то в глубине сцены, кружили в хороводе вокруг моего истерзанного или, напротив, полного радости сердца в зависимости от того, как складывались мои отношения с Мишель и Жаном, но сердца моего не видели.

Господин Пюибаро мог разгуливать со мной по аллеям парка, наставлять меня, вести умные речи о воспитании духа, я отвечал ему с чуть лукавой любезностью, которая так легко открывала мне все сердца, если я прилагал к этому хоть какие-то усилия! Но не мог же бедняга Пюибаро догадаться, что сердце мое за тысячи миль отсюда и мучится своей мукой; что я говорю слова, не имеющие никакого отношения к моим подлинным мыслям и чувствам; что я бессовестно и легко ускользаю прочь, оставляя ему лишь внешнюю оболочку внимательного, умненького мальчика, на которого он изливал сокровища своей прекрасной души.

Было у меня перед ним еще одно преимущество — я знал его историю, но она меня совсем не интересовала. Этим летом господин Пюибаро сбросил свою прежнюю кожу и почти догнал наш век. Цилиндр уступил место панаме, скюртук — пиджаку, но даже в самые знойные дни он щеголял в черных панталонах и крахмальных рубашках. Со мной он держался тона христианского наставника и поведал мне о себе куда больше, чем полагается слышать мальчику моих лет. Теперь, когда прошло столько времени и когда господин Пюибаро стал прахом, я, перечитывая его дневник, с внезапным волнением вникаю в его споры с самим собой, в ту драму, которой я был рассеянным свидетелем, ибо мой учитель касался именно тех вопросов, какие по мере приближения к могиле все неотступнее преследуют и меня.

Первую неделю пребывания господина Пюибаро в Ларжю-зоне Брижит Пиан не испытывала скуки: даже дня ей не хватало на то, чтобы до конца исчерпать счастье, какое она вкушала, помогая бедняге распутывать клубок его внутренней жизни; не было у нее ощущения, что она зря теряет время, что зарывает в землю талант свой, каковой заключался в том, чтобы просвещать ближних насчет путей, которые в извечной премудрости своей господь начертал им. А тут у нее в доме, под самым боком находится господин Пюибаро, ей послан небом счастливейший случай, когда она может развернуться, хотя сама Брижит не скрывала от себя опасности: слишком уж пылкую, конечно, отнюдь не греховную, радость черпала она в этом благочестивом занятии, испытывая поначалу непомерное удовольствие оттого, что Пюибаро внимает ей как оракулу. Покорность, увы, оказалась внешней! Очень скоро Брижит Пиан должна была признать, что овечка попалась с норовом, чего никак нельзя было предположить по первому взгляду. К концу

второй недели она уже твердила про себя: «Уклончивая душа...» Словом, она начала даже обвинять его в том, что он бежит благодати, то есть ее указаний.

Главной страстью Брижит Пиан было подымать человеческие души, по собственному ее выражению, на горные вершины, и она старалась открыть глаза несчастному Пюибаро на козни лукавого, специализирующегося на том, чтобы извращать смиренное представление, какое составляет о себе христианская душа. Мой наставник был убежден, что он отнюдь не переоценивает своих сил, считая себя предназначенным общей участи людской, и что он, пока еще не упущено время, обязан идти торной тропой, какой идут все смертные, к числу коих принадлежит и он сам: взять себе жену, народить детей, кормить их, как кормит птица небесная выводок свой. Но Брижит Пиан знала, что необходимо подчас совлечь с души маску лжесмирения, в которую она рядится, она утверждала с полным убеждением, словно получила сообщение лично от самого господа бога, что если Пюибаро до сих пор не ушел из нашего коллежа, то лишь потому, что самим провидением предназначен к монашеству. По ее словам, единственно спорный вопрос был лишь в том, в двери какой обители ему постучаться, какому монашескому уставу подчиниться.

Однако мадам Брижит не только не выиграла битву за душу господина Пюибаро, хотя и вела атаки на выбранном ею самой поле брани, но и вынуждена была признать, что ее влияние наталкивается на чужое влияние, куда более мощное, чем ее, и чье же, чье, великий боже! На влияние этой Октавии Тронш, внушавшей моей мачехе чувство, близкое к тому, что люди светские именуют презрением. Однако Брижит Пиан знала, что не следует никого презирать и что душа даже такой Октавии Тронш имеет в глазах господа бога свою ценность.

Наша мачеха дивилась тому, что отсутствующая Октавия приобрела куда более сильную власть над Пюибаро, чем в городе, где они встречались чуть ли не ежедневно. Хотя мой наставник не виделся с Октавией, зато он часто получал от нее письма, и, когда за первым завтраком он читал очередное послание в присутствии мадам Брижит, читал с неописуемым вниманием, та пожирала взглядом эти странички. И в самом деле, если Пюибаро порой не без огорчения взирал на невзрачную внешность Октавии (хотя не мог противостоять духовной прелести, которой она вся лучилась), эти прежние чувства уступили теперь место восхищению, нежности и уважению, и так про-

должалось все время их разлуки, когда Октавия открывала ему себя лишь на этих страничках, написанных поздним вечером, перед сном.

Эту переписку я обнаружил в бумагах господина Пюибаро, но приводить ее здесь не хочу, и вовсе не потому, что она этого не заслуживает, но боюсь, что найдется немного читателей, способных прочувствовать всю прелесть истинного смирения, которое и само-то себя не знает и не отдает себе отчета в силе своей лучистости. Однако обойти ее молчанием я тоже не могу, так как победа, одержанная Октавией над моей мачехой, ударила рикошетом, и ударила больно, сразу по нескольким судьям.

Хотя Октавия питала безграничное уважение к мадам Брижит, она, находясь на спасительном от нее расстоянии, нашла в себе мужество сопротивляться и предостерегала своего друга против пренебрежения нашим собственным разумением. Она утверждала, что «даже особа, безмерно превосходящая нас своими добродетелями, опытностью, высотой духа, не может восполнить наше знание божественной воли, каковое есть плод добродетели самоотречения... По-моему, весьма полезно слушать советы, идущие извне, если только, конечно, они не отвращают человека от той настороженной и неизменной покорности тому, что вершится в нем самом. Ведь господь бог говорит первым делом в нас самих. Или Вы считаете, друг мой, что это не так? Даже представить себе невозможно, что сила моих чувств к Вам находится в противоречии с волей господа. Мне светит Ваш свет, и, когда я пытаюсь бороться против искушения спешить на его зов, я сразу попадаю в потемки. Лишь одно меня поддерживает — я слишком дорожу Вашим благом, духовным и земным, и откажусь от Вас не без отчаяния в душе, но зато, верьте мне, почти без борьбы. Какой бы я ни была эгоисткой (а видит бог, я эгоистка!), я слишком люблю Вас, чтобы думать о себе. Я люблю Вас до такой степени, что не стала бы ни минуты бороться против влияния, которое оказывают на Вас в Ларжюзоне, если бы только была уверена, что оно послужит Вашему счастью и что вокруг нашего такого простого и обычного случая не ткутся хитросплетения. К тому же, поскольку может судить простая, бедная девушка, существует один пункт, в котором мадам Брижит заблуждается: она еще не в той мере, как Вы или я, прониклась истиной, что любая живая плоть, даже уязвленная, — все равно святыня и что вопреки первородному греху самая прекрасная тайна небес — это рождение младенца. Я слы-

шала, что проповедует она на сей счет, но, возможно, я недостаточно точно толкую ее слова. О, друг мой, как дорого мне в Вас чувство любви к детям, которым наградила Вас господь, к милым детям, какими должны все мы стать, если хотим войти в царство небесное! Но так как нам не дано уподобиться им, прекрасно уже то, что мы можем производить их на свет божий. Разумеется, существуют более высокие призвания... Однако, если я стану Вашей женой, не думаю, что мы нарушим волю Христа, его требование оставить все и идти за ним, ибо я заранее подчиняюсь его обожаемой воле через Вас, любимый мой, и через тех, кто родится от нас... При одной этой мысли я трепещу от счастья...»

Господин Пюибаро не показывал мне этих писем, и я мог оценить всю глубину поражения мачехи лишь по ее дурному настроению, проявлявшемуся чаще всего за семейными трапезами, атмосфера которых сгустилась до такой степени, что мы положительно задыхались.

Я понял, что дела господина Пюибаро идут плохо и что его отношения с Брижит Пиан окончательно испортились, но я сам был слишком несчастлив, чтобы обращать на это внимание. С того дня, как Мишель расцарапала Жану щеку, между ними воцарился нерушимый мир. Уже прошли те блаженные дни, когда мой приятель, превратившись в школьника, вместе со мной дразнил «девчонку». Теперь, когда Жан появлялся у нас в Ларжюзоне, их единственной заботой было выкроить хоть несколько свободных минут, чтобы побыть наедине, и, желая от меня отделаться, они изобретали тысячи хитростей, ровно столько же, сколько изобретал я, чтобы не упускать их из виду. Я сам стыдился своей назойливости, мне самому она была отвратительна, и, однако, упорно плелся за ними, притворялся, что не вижу раздраженных, досадливых взглядов, которыми они обменивались.

Бывало, кликнет меня мачеха, или придет в голову господину Пюибаро вернуть мне исправленный латинский перевод и указать ошибки в тексте, или самому мне понадобится отлучиться на минутку из комнаты, я уже твердо знал, что, возвратившись, не застаю ни Мишель, ни Жана, куда-то упорхнувших. И в той аллее, где только что звучал смех Мишель, где мой приятель звал собаку своим ломающимся, уже не детским баском, я услышу лишь шорох ветра в сбрызнутой грозовым ливнем листве. Сначала я выкрикивал эти два имени: «Мишель!

Жан! Где вы?» — но потом замолкал, понимая, что если даже они меня услышат, то нарочно понизят голос до шепота и будут ступать на цыпочках, чтобы сбить меня со следа.

Я лишь очень смутно представлял себе, чем, в сущности, их привлекает уединение, так как моя еще не проснувшаяся для подобных ощущений плоть молчала. Ревность рождается тогда, когда перед вашими глазами стоит мучительно непереносимая картина радостей, которые любимое существо получает от другого и щедро дарит их другому. Сомневаюсь, чтобы в ту пору я мог представлять себе нечто подобное. Но их счастье, в какой-то мере зависящее от моего отсутствия, — вот что причиняло мне боль, готовую вырваться в крике.

Хорошо помню тот день, когда господин Пюибаро вдруг решил покинуть Ларжюзон. Во время завтрака говорил только один аббат Калю, приехавший к нам вместе с Жаном. Господин Пюибаро изредка вставлял короткие реплики, но мадам Брижит не разжимала губ. Будь я не так отвлечен своими мыслями, я непременно сробел бы — такое мрачное выражение застыло на ее широком лице. Сидя напротив жены, папа совсем съезжился, уткнулся в тарелку и жевал, не смея поднять глаз. Жан и Мишель с противоположных углов стола переговаривались взглядами, а я сидел рядом с господином Пюибаро и делал вид, что внимательно слушаю его слова. Но на свете ничего для меня не существовало, кроме этой немой перестрелки взглядами между моей сестрой и моим другом, кроме этого безмятежного спокойствия, которое спустилось на Мишель потому, что здесь находился Жан. В ее глазах я тоже был лишь частицей отдельного от них мира, другими словами, просто не существовал. Ушел, как и все прочие, в небытие.

Начался грозовой ливень, и поэтому обычное питье кофе под дубом было отменено. Мачеха извинилась за свое молчание, сославшись на мигрень, и попросила меня сходить к ней в спальню за таблеткой антипирина. Моего двухминутного отсутствия оказалось достаточно, чтобы Жан с Мишель, презрев дождь, убежали в сад. Я хотел было броситься за ними, но дождь припустил, и мачеха запретила мне выходить: «Пускай Мишель мокнет, а ты оставайся здесь».

Неужели она ничего не замечает? А ведь поведение Мишель должно было бы ее ужаснуть. Но ей не было дела ни до кого, кроме как до моего наставника. Мигрень оказалась невыдуманной, и мачехе пришлось пойти прилечь. А папу ничто в мире

не могло заставить отказаться от послеобеденного сна. Итак, я остался один в бильярдной и смотрел сквозь стеклянные двери на парк, омываемый струями дождя. В соседней гостиной вели беседу аббат и Пюибаро; сначала они говорили вполголоса, но скоро я уже слышал каждое их слово. Мой наставник жаловался на тяжесть и неделикатность некой тирании. Насколько я мог понять, аббат Калю советовал господину Пюибаро не мешкая удирать отсюда куда глаза глядят и подсмеивался над его малодушием.

«Они, должно быть, укрылись в заброшенной ферме», — думал я. И представлял себе Мишель и Жана в неудобной кухне, где огонь, да и то изредка, разжигали лишь пастухи и где стены казались черными от бесчисленных рисунков и надписей, читая которые Жан смеялся, а я их просто не понимал. Они там ласкаются. Меня Мишель никогда не ласкала, даже в минуты нежности, нежность у нее получалась грубоватая. И Жан тоже, даже в лучшие наши часы, говорил со мной повелительным тоном. Грубиян-то грубиян, только не с Мишель. Ей он говорил: «У вас руки совсем холодные» — и брал ее руки в свои ладони и долго-долго не отпускал. Никогда со мной он не был ласков. А я так ждал от людей ласки! Вот какие муки терзали меня, когда я смотрел на мокрый парк.

Аббат Калю решил воспользоваться временным затишьем и вернуться в Балюзак до следующего дождя. Он попросил меня позвать Жана. Я позвонил в колокол, но позвонил зря: Жан не появился. Тогда аббат Калю заявил, что его воспитанник уже достаточно взрослый и вполне может добраться до дому один. Попрощавшись с мадам Брижит, которая, оправившись от мигрени, вышла пройтись с господином Пюибаро по главной аллее, аббат сел на велосипед и укатил. А я смотрел, как взад и вперед перед крыльцом прохаживается мачеха вместе с моим наставником, причем говорит только он один. Разговор был недолгий, и, хотя до меня не доносилось ни одного слова, произнесенного громче других, я догадался, что дело плохо. Проходя мимо меня, господин Пюибаро ласково провел ладонью по моим волосам. Был он бледнее обычного.

— Завтра я уезжаю, малыш. Пойду складывать вещи.

Я рассеянно выслушал его слова: где же, где Мишель с Жаном? Даже к полднику они не вернулись. Я вдруг сообразил, что никогда еще они не оставались наедине так долго. Грусть куда-то испарилась, теперь я испытывал гнев, ярость, желание

причинить им боль, одним словом — все, что есть самого низкого в том возрасте, когда тот человек, которым мы станем впоследствии, уже полностью сложился, полностью оснащен для будущего целым набором склонностей и страстей.

Ливень кончился. Я шагал под деревьями, отяжелевшими от дождя. Порой капля падала мне на ухо, сползала вдоль шеи. Лето стояло вялое, без стрекоз. Если бы только в Ларжюзоне был хоть какой-нибудь другой мальчик, хоть какая-нибудь другая девочка, с которыми я мог бы водиться без тех двоих!.. Но я не мог припомнить ни одного лица, ни одного имени. На повороте аллеи я увидел мачеху, она шла мне навстречу. С минуты она смотрела на меня, положив мне на лоб ладонь. Я не удержался и заревел и поэтому не смог сразу ответить на ее вопрос.

— Они от меня убегают, — наконец пробормотал я.

Мачеха решила, что речь идет о прятках или еще какой-нибудь игре.

— А ты сделай вид, что их не замечаешь, тогда они сами попадутся.

— Да нет же, они только этого и хотят...

— Чего хотят?

— Быть одни, — вполголоса твердил я.

Мачеха нахмурила брови.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она.

Проснувшееся было на миг подозрение прошло мимо ее сознания; она была слишком поглощена собой, билась в тенетах собственных своих переживаний, но зерно, брошенное мною, все же попало на благодатную почву, и рано или поздно оно даст росток.

— Человек всегда бывает наказан за то, что чересчур печется о других, — с горечью прошептала Брижит Пиан. — Видишь ли, Луи, дорогой мой мальчик, иной раз у меня закрадывается сомнение, уж не слишком ли много вкладываю я страсти в дело их спасения. Да-да, я знаю, что самый ничтожный из них все равно имеет неисчислимую ценность... Я охотно пожертвовала бы жизнью, лишь бы спасти хоть одного... И однако порой меня охватывает страх, а вдруг я зря теряю время (во всяком случае, теряю по видимости, разумеется, ибо один господь бог может судить об этом), так вот, теряю зря время ради посредственных, чтобы не сказать дурных, созданий. Таково испытание, ниспосылаемое великим душам, они вынуждены истощать все свои силы, идти ощупью в потемках, служа людям мелким, низким...

Слово «низким» даже с каким-то присвистом сорвалось с ее брезгливо поджатых губ. Я догадался, кто, по ее мнению, является человеком мелким, ясно — господин Пюибаро. Но почему он так ее интересуется? Может, она его любит? А если не любит, размышляя я, почему же тогда она из-за него бесится? Ведь если мы не любим человека, разве способен он причинить нам зло или добро?

Я еще издали заметил Мишель, сидевшую на ступеньке крыльца. Хотя я ни о чем ее не спросил, она сообщила мне, что они катались на велосипеде и что Жан отправился прямо в Баюзак, не заезжая к нам. Должно быть, она успела побывать у себя в спальне: волосы были причесаны особенно тщательно, лицо и руки чисто вымыты. Сестра краешком глаза наблюдала за мной, стараясь угадать, что я думаю о ее словах, но я притворился равнодушным и не без удовольствия ощущал себя хоть и несчастным, но в то же время хозяином своих чувств.

Спать я пошел раньше обычного, намереваясь еще почитать в постели, но ничего не получилось: с нижнего этажа до меня доносились яростные раскаты спора. На следующий день я узнал от Мишель, что мачеха не сдержалась и устроила господину Пюибаро ужасную сцену. Впрочем, и он потерял всякое самобладание, доведенный до бешенства тем, что в ответ на его пространственные объяснения, почему он собирается жениться на Октавии, Брижит, возведя глаза к небесам, заявила, что всегда ждала этого испытания, что она охотно соглашается на жертву, какую он от нее требует.

— Причем тут ваша жертва, мадам Брижит?.. Это дело касается только меня одного...

Но мадам Брижит не желала ничего слушать. Она была оскорблена, но сделала вид, что прощает нанесенные ей оскорбления. Такова была ее обычная тактика, применяемая в отношении людей, которые считали нужным указать ей, что она неправа или совершила несправедливый поступок: признавать это и каяться, бия себя в грудь, она ничуть не собиралась, она просто подставляла ударившему ее по правой щеке левую и еще уверяла, что ей ниспослана великая радость — быть оклеветанной и непонятой людьми, ибо могла добавить еще одну петлю к тугой власянице добродетелей и совершенств, облекавшей ее с головы до ног, над созданием коей она трудилась не покладая рук. Такая позиция доводила людей до бешенства и исторгала из их уст злые слова, но и это шло мадам Брижит на пользу — и перед собственной своей совестью, и перед господом богом.

Однако в тот вечер переполнявший ее гнев бурно вырвался наружу, и мадам Брижит явнохватила через край, потому что на следующий день за первым завтраком (его подали раньше обычного, так как господин Пюибаро уезжал восьмичасовым поездом) она унизила себя до того, что разыграла сцену публичного покаяния.

— Нет-нет, не возражайте, я вела себя недостойно,— твердила она, опьяняясь собственным самоуничтожением...— Я заявляю об этом в присутствии Луи: когда на моих глазах душа впадает в заблуждение и идет к своей гибели, сдержаться я не могу... Но даже переизбыток усердия не может служить извинением таким вспышкам. Сколько бы мы ни укрощали свою патуру, все мало, и я должна смиренно признать, что у меня огневая натура,— добавила она, не скрывая удовлетворения.— Простите меня, мой друг.

— Да нет же, мадам Брижит,— запротестовал Пюибаро,— мне тяжело видеть, как вы унижаете себя передо мной, я этого недостойн!

Но мадам Брижит уже закусилала удила и, видимо, намеревалась извлечь выгоду из своего жеста: что сделано, то сделано, ей ничего не стоило дойти до последних пределов смирения и этим маневром вынудить свою жертву сложить оружие; смирение лишь возвеличивало ее в собственных глазах (еще одна петелька к власянице совершенства).

— Впрочем, вы сами убедитесь по моему отношению к Октавии и к вам, что я зла на вас не держу. И сказала я вам то, что считала долгом своей совести сказать. Теперь это дело уже прошлое, передаю вас обоих в руки божии, и не будет у вас более верного друга, чем я, в вашей новой жизни, где, боюсь, столько ловушек и столько испытаний поджидает вас.

Господин Пюибаро схватил ее руку и с жаром поднес к губам: что с ними станется без мадам Брижит? Положение Октавии в школе, его собственное положение в Обществе зависит, в сущности, от нее: достаточно ей сказать всего слово... Он жадно всматривался в лицо своей благодетельницы, но лицо это вдруг лишилось всякого выражения. Изъясняться Брижит Пиан стала весьма туманно. Она упомянула провидение, на которое мы обязаны полагаться, которое никогда не оставляет нас своей милостью и предначертаниям коего мы должны следовать даже в самые тяжелые минуты, когда нам кажется, будто все нас покинули. И так как господин Пюибаро твердил свое, Брижит

повторила, что не она решает, что в совете у нее только один голос, как и у всех прочих членов Общества.

— О мадам Брижит, — твердил он, — вы прекрасно знаете, что если возьмете нашу судьбу в свои руки...

Но в это утро на мою мачеху нашел стих самоуничтожения, и чем упорнее настаивал господин Пюибаро на ее всемогуществе, видя в нем гарантию их будущей с Октавией трудовой жизни, тем упорнее она тушевалась и даже с какой-то радостью старалась отойти на задний план, раствориться!

VI

После отъезда господина Пюибаро в Ларжюзоне на несколько дней воцарилось спокойствие. Мачеха редко показывалась на люди: целыми днями она сидела в кабинете, отвечала своим многочисленным корреспондентам, получала от них письма. Наконец-то зной вступил в свои права, но грозы уже не кружили над верхушками сосен, а погромы хивали в кое-чьих сердцах. Жан за эту неделю приезжал к нам на велосипеде всего только раз, провел со мной все послеобеденное время, но я не получил от его общества никакого удовольствия: инстинкт страдания, никогда меня не обманывавший, подсказал мне, что Жан действует так не по собственному почину, а выполняет некий план, разработанный заранее вместе с Мишель.

Когда мы решили пойти посидеть у ручья на берегу, сестра не выразила желания сопровождать нас. В тот день Жан обращался со мной очень ласково, о чем еще так недавно я мечтал, и тем не менее никогда я не испытывал такой грусти — ведь сама эта ласковость была из того же источника, что и моя грусть, а источником этим было влияние, которое приобрела над Жаном Мишель. Я страдал потому, что он утопал в блаженстве, он, мальчик, которого вчера еще мучили и не считали за человека.

Говорили мы мало, он думал о чем-то своем, а мне точило душу одно подозрение: они условились встретиться с Мишель не здесь, у ручья, а где-то еще. Почти каждый день, когда я сидел за уроками, Мишель одна, без меня, уезжала кататься на велосипеде. Должно быть, они встречались где-нибудь на полдороге между Балюзакон и Ларжюзонем... А сегодня он приехал к нам, чтобы ввести меня в заблуждение... Жан стругал ножом ветку ольхи, а я наблюдал за ним. Он пообещал сделать мне свисток. Его загорелое лицо светилось счастьем.

— А все-таки аббат Калю молодец. Ты только подумай, написал дяде и попросил, чтобы мама приехала меня навещать... Дядя разрешил: мама приедет на следующей неделе и будет ночевать в Валландро.

— Как я рад, старик, просто чудо!

Да-да, я был рад: значит, он сияет от счастья из-за предстоящего приезда своей мамы! Из-за Мишель, конечно, тоже. Но не только из-за одной Мишель...

— Ты мою маму никогда не видал? А знаешь, она у нас настоящая красавица.— Жан даже языком прищелкнул от восхищения.— Самые знаменитые художники умоляли ее позировать им для портрета. Впрочем, сам увидишь: она хочет заехать к вам сюда, лично поблагодарить твою мамеху. В письме она так прямо и написала, что непременно будет у вас. Пишет, что будет очень рада выразить лично свою благодарность, а ведь это не в ее привычках! Я ей много рассказывал и о тебе и о Мишель. Уверен, что Мишель ей понравится. Мама любит такие непосредственные натуры. Одного я боюсь, как бы Мишель не вздумала разыгрывать из себя пайнюку, а то, когда она хочет показать свою воспитанность, сложит губки бантиком — вот уж не в ее духе. И прилизывать волосы ей тоже не стоит, ты как считаешь?

Я промолчал в ответ: ведь говорил он сам с собой, и что я такое в его глазах? Он поглядел на часы, зевнул и вдруг, ничего не говоря, обнял меня за шею и поцеловал. Его захлестывала нежность, и мне перепала одна ее капля, потому что я был здесь, под рукой, но я понимал, что поцелуй его предназначался не мне, а Мишель.

В тот день, прощаясь, они холодно пожали руки друг другу. Но когда Жан уже взгромоздился на седло велосипеда, они быстро, полушепотом обменялись несколькими словами. Во время обеда наша мамеха только и говорила о графине де Мирбель и ее предстоящем визите. По ее словам выходило, что благодаря своему очарованию и красоте графиня является самой прелестной представительницей высшего общества. Конечно, о ней много в свое время говорили. Само собой разумеется, из чисто христианского милосердия мы не можем верить разным сплетням, да и сама Брижит Пиан ничуть не верила этим гадостям: раз мы не видели что-либо своими собственными глазами, значит, и не имеем права утверждать, что это, мол, так и есть. Впрочем, хотя скандал был действительно

шумным, надо признать, что Юлия де Мирбель, овдовев, живет весьма уединенно в своем замке Ла-Девиз и в Париже у Ла Мирандьезов провела только несколько месяцев, и поведение ее достаточно красноречиво свидетельствует о высоких душевных качествах.

Словом, из всех этих речей вытекало, что мачеха — дочь префекта Империи — придавала непомерное значение предполагаемому визиту знатной дамы, чьи родители не удостоили бы родителей нашей Брижит даже взглядом. В этом плане предстоящее посещение графини де Мирбель тешило самолюбие нашей мачехи, если вообще что-либо могло его еще тешить, так как она, бесспорно, принадлежала к самому высшему обществу нашего города не так в силу своего происхождения и богатства, как в силу своей почти загадочной власти над людьми, жаждущими истины, равно как и в силу своей разительной добродетели. Только имя Мирбелей открыло Жану двери Ларжюзона, а иначе наша мачеха подняла бы несусветный крик, хотя и теперь у нас его не называли иначе, как «испорченный мальчик» и «сумасброд».

После ужина, когда на небе заблестел серпик луны, Мишель заявила, что она хочет прогуляться по парку. Тут папа, выйдя из состояния оцепенения, сказал ей как раз ту фразу, какую говорила ей в подобных обстоятельствах покойная мама: «Накинь что-нибудь на головку, а то от ручья тянет сыростью...»

Ту же самую радость, что переполняла нынче Жана, я читал теперь в глазах Мишель, ту же радость, то же упоение. Свет луны падал на ее лицо, и оно казалось мне алчущим, почти животным из-за сильно развитой нижней челюсти и пухлой нижней губы. Да и впрямь Мишель от природы была именно такой, я не встречал в жизни человека, который был бы так одержим стремлением вкушать счастье, как моя сестра в свои пятнадцать лет. Эта одержимость выказывала себя во всем, даже в манере впиваться зубами, губами в мякоть плода, не просто нюхать розу, а зарываться кончиком носа в самую сердцевину цветка, даже в том, как она, валяясь рядом со мной на траве, умела мгновенно засыпать, будто во власти какого-то магического забытья. И однако она не ждала сложив руки, когда на нее посыплются наслаждения: ее снедал инстинкт борьбы и побед, что она и доказала блистательно, заговорив со мной этим вечером о Жане. Ибо, именно чтобы пого-

ворить о нем, Мишель предложила мне пройтись с ней по парку. Еще не дойдя до луга, затянутого туманом, она решилась: обняла меня голой рукой за шею, и я почувствовал, как она жарко задышала мне прямо в ухо — и один бог знает, что за безумную тайну она мне поведала... Я сначала не поверил, слишком уж все это было чудесно!

— Да-да, представь себе, мы жених и невеста... Да-да, это вполне серьезно, хотя ему только семнадцать, а мне скоро будет пятнадцать... Ясно, никто нам не поверит, да еще будут над нами потешаться... Поэтому-то мы никому ничего не говорим, кроме тебя, тебя одного, наш миленький Луи... Чего же ты ревешь? Разве, по-твоему, это не чудесно?

Чудесно! Слово «чудесно» было самое ее любимое из всех других слов. Я уткнулся лицом ей в плечо, и Мишель не утешала меня, ни о чем не спрашивала, привычная к моим слезам, поскольку я проливал их по любому поводу. И тем не менее на меня снизошло великое спокойствие: раз все уже решено, значит, незачем думать об этом, не на что надеяться, нечего ждать, кроме вот этой роли, которую они мне отвели, роли поверенного их тайн. Никогда уже я не буду ни первым, ни единственным в сердце Мишель. Снизу, с лугов, доносился приглушенный льдистый шум воды. От Мишель прямо пахло теплой гвоздикой, она вытирала мне глаза своим носовым платочком и все говорила, говорила полупенотом.

Предчувствие меня не обмануло: действительно они по несколько раз на неделе встречались за мельницей господина Дюбюша. Оба смертельно боялись, что их накроет мачеха. Мишель заставила меня поклясться, что я не проговорюсь, не наведу ее на след. Тут я вспомнил, что уже пожаловался Брижит Пиан на Жана и Мишель, сообщил, что они от меня прячутся. Но сказал я это без всякой задней мысли (так-таки и без всякой задней мысли?..). А что, если тогда я пробудил ее подозрения?

— Если бы ты знал, Луи, как я ее боюсь, ей ненавистно счастье! Я же знаю, за что она на меня злится — главным образом за то, что я не хожу с постной физиономией. Нам вечно приходится быть настороже! А Жан страшно неосторожный!

И она заговорила о Жане с такой непринужденностью, на какую лично я не был способен. Мишель отлично понимала, на какой риск она идет: даже дядюшка со всеми его выдумками не подозревает, какой Жан ужасный человек. Теперь я

часто думаю, почему сестра называла Жана таким ужасным, ведь он сам мне признавался, что целовал Мишель невиннейшим из поцелуев и счел бы страшнейшим святотатством позволить себе что-либо большее... Быть может, она догадывалась, что не всю жизнь будет он таким ягненком... Впрочем, она его не боялась. И к тому же все равно она станет его женой, а не кого-либо другого: она сама его выбрала, и он тоже сам ее выбрал, пускай они еще совсем дети. Если даже ей суждено прожить сотню лет, и то она никогда не взглянет ни на какого другого мальчика. Так что нечего об этом и говорить. Жан такой умный, такой сильный...

— А еще он ужасно красивый, как, по-твоему?

Нет, по-моему, он был вовсе не такой красивый. Да и что такое красота в глазах ребенка? Само собой разумеется, мальчик моих лет гораздо чувствительнее к силе и мощи. Но, очевидно, вопрос Мишель глубоко запал мне в душу, раз теперь, прожив долгую жизнь, я до сих пор помню тот уголок аллеи, где Мишель спрашивала меня, красив Жан или нет. Сумею ли я сейчас дать более точное определение тому, что я зову красотой, и сумею ли ответить на вопрос, по каким именно признакам я ее распознаю, идет ли речь о человеческом лице, о небосклоне, о тучах, цвете, слове, песне? Об этом плотском содрогании, одинаково захватывающем и душу, об этой радости без надежды, об этом безысходном созерцании, которое не восполнишь никакими объятиями...

— Послушай, Мишель,— сказал я наконец,— ты знаешь, что говорят о Жана в коллеже, говорят, что он грязный тип?

— Ну и пускай... А вот господин Калю не считает, что он грязный тип. Сейчас я тебе такое скажу, что ты закачаешься: лучше быть грязным типом, чем такой святой, как Брижит Пиан...

— Мишель, опомнись!

— Нет, не опомнюсь! Лучше в аду, только без нее, чем в раю с ней!

— Ой, Мишель, дорогая, это же кощунство, ты накличешь на себя беду! — возмутился я. — Скорее проси прощения! Скорее зарекись!

Мишель послушно, но небрежно осенила себя крестным знаменiem и пробормотала: «Каюсь от всего сердца в том, что совершила против тебя такой грех, всеблагий боже!» — и тут же без всякого перехода фыркнула.

— А знаешь, что аббат Калю сказал Жану насчет Брижит? Что есть люди, которые избрали себе господа бога, но весьма сомнительно, избрал ли их бог...

— Господин Пюибаро,— начал я, шокированный словами сестры,— господин Пюибаро считает, что для священника аббат Калю слишком остроумен, что он слишком резок и что у него крамольные идеи.

Мишель не понимала, что значит «крамольные идеи». Но меня уже терзали совсем иные подозрения, и я не ответил на расспросы сестры.

— Скажи, Мишель,— бухнул я вдруг,— скажи, мне очень важно знать... Только ты на меня не рассердишься, нет? Он тебя целовал?

— Ясно, целовал! — ответила Мишель. И пылко добавила: — Ты и представить себе не можешь... Это просто чудесно! Но запомни, Луи, больше ничего не было! Ни-ни! И не воображай, пожалуйста...

Великий боже, что же такое они могли делать, что еще хуже, чем целоваться? Щеки у меня пылали огнем. Я смотрел на Мишель, которая была старше меня всего на один год (но она уже была женщина, а я еще мальчишка). Какой же она показалась мне старой! Старой, опытной и греховной!

— Какой ты дурак, Луи! Ведь я же тебе говорю, что мы жених и невеста...

Она тоже пыталась себя успокоить, совесть ее была нечиста. Но внезапно сестру захлестнула новая волна счастья, и она начала напевать своим еще не установившимся голосом, который вдруг срывался, ту арию Гуно, которую точно такими же ночами пела мама:

Темнота, предвестница молчания...

Я лег в постель, но уснул не сразу не потому даже, что меня больше обычного терзала грусть, меня мучили угрызения совести. Я старался вспомнить, как именно встретила Брижит Пиан мою жалобу на Жана и Мишель, которые «от меня прячутся». Слишком хорошо я ее знал, и поэтому меня ничуть не успокаивало то, что внешне она ничем не обнаружила своих чувств; мне известна была ее железная выдержка, знал я также, что никогда она не поддается первому порыву. Напротив, она копила свои претензии и предъявляла счет только через несколько недель, когда уже никто не помнил, из-за чего сыр-бор загорелся. Она могла, например, сделать мне за-

мечание за какую-либо промашку, совершенную при таких-то и таких-то обстоятельствах ровно год назад, а раньше об этом даже не заикалась.

Кое-какие почти неприметные перемены в поведении мадам Брижит усилили мое беспокойство, и я посоветовал сестре быть поосторожнее. Я обратил внимание Мишель на то, что мачеха почти совсем не сидит у себя в комнате, что в любое время дня она, невзирая на зной, бродит по лестницам и даже выползает в сад. Она появлялась на пороге гостиной, не стукнув дверью, не скрипнув половицей. Мишель пыталась меня успокоить: все это потому, что после отъезда господина Пюпбаро нашей мачехе, мол, больше некого пилить. Но в один прекрасный день, когда Жан явился к нам в Ларжюзон, я по кое-каким признакам догадался, что он попал в орбиту Брижитовых подозрений. Еще утром, за первым завтраком, она, удивленно подняв брови, сказала, что не понимает, как это Мишель может носиться по дорогам во время сиесты, когда даже лошади и те стоят в стойле.

Словом, первые зигзаги молнии, предвещавшие бурю; у меня по крайней мере было то утешение, что мои страхи оказались напрасными и что беда пришла без моего участия. До сих пор мне все как-то не удавалось рассказать о чете Виньотов; он сам — приказчик Ларжюзона — и его супруга только недавно обосновались в нашем поместье. Их взяли по рекомендации мадам Брижит, и, я в том твердо уверен, появление этих людей послужило началом подспудных разногласий между нашим отцом и его второй женой. С первых дней замужества Брижит не поладила со стариком Сэнтисом, бывшим нашим приказчиком, который родился здесь, в поместье, и отец поэтому легко мирился, даже, казалось, не замечал его пьянства, распутства и манеры резать в глаза правду-матку. Человек, проживший всю свою жизнь в городе, поселившись в деревне, начинает с первых же недель вести с крестьянами систематическую борьбу, восстанавливая их против себя: тема, достаточно хорошо известная еще по произведениям Бальзака. Но в противоположность тому, что рассказывается в этих книгах, на сей раз городская дама наголову разбила ларжюзонских крестьян. Как-то раз Сэнтис в подпитии так нагрубил моей мачехе, что отец вынужден был с ним расстаться. Но до самой смерти не простил своей второй жене то, что она вынудила его к этому шагу.

Зато Виньотов, которым протезировала Брижит, отец при-

нял скрепя сердце: он терпеть не мог своего нового приказчика и не переставал жалеть о старике Сэнтисе, пускай даже заядлом пьянице и гуляке.

В наших краях, где каждый язык представляет собой опасность, языки Виньотов были, пожалуй, наиболее опасными. Физиономия мадам Виньот, казалось, состояла из одного только огромного, как клюв, носа, оседланного пенсне, из накладных лоснящихся волос, неестественно черных, а щек и губ вроде бы и совсем не было, так как из-за отсутствия зубов их втянуло в зияющее пустотой пространство рта. Так вот, мадам Виньот всякий раз, возвращаясь после обхода поставщиков, непременно являлась к мадам Брижит с донесением, причем в редчайших случаях прибегала к методу лобовой атаки, но весьма успешно заменяла ее многозначительными намеками и подхихикиванием. Удивительным было другое: эта старуха — богомолка и ханжа, всю свою жизнь прожившая в деревне, — без малейшего смущения распространялась о таких вещах, как, скажем, адюльтер, это уж само собой, но даже о кровосмешении и любом отклонении от нормы, вплоть до содомового греха, как будто понимала в этих делах толк, и сообщала об этом с язвительным смешком и игривым подмигиванием.

Все связи с поселком лежали на этой престарелой даме, а дядюшке Виньоту были отданы под начало леса и поля, и он, восседая в шарабане, поставленном на неестественно высокие колеса, целыми днями разъезжал от фермы к ферме, озирая во время этих поездок свои владения, так сказать, с птичьего полета. Сколько парочек, считавших себя в надежном укрытии под покровом сумерек или полуденного зноя, он обнаруживал своим ястребиным оком! Правда, иной раз он не мог разглядеть саму добычу, зато какой волчьей радостью наполнялось его сердце, когда он замечал за кустиком два велосипеда, символически сцепленные рулями. И вот в один прекрасный день неподалеку от хижины, служившей приютом для охотников на вяхирей, он заметил два велосипеда — один низенький, прислоненный к другому, побольше и попыльней, и в низеньком он узнал как раз тот самый, который накануне мадемуазель Мишель просила его смазать... (Будто смазывать велосипеды — его дело!)

Следуя своей методе, Брижит поначалу словно бы не придавала значения донесению дядюшки Виньота. Просто сделала вид, что не верит, и тем самым, так сказать, удвоила его бди-

тельность. Чем упорнее она отказывалась вникать в его намеки, тем более грубые обвинения он громоздил, даже осмелился заявить, что мадемуазель Мишель и мальчишка аббата Калю, мол, того... Все это было сказано в сопровождении самых что ни на есть страшных клятв. Он собственными глазами все видел или почти видел. Ибо не было силы на свете, способной убедить дядюшку Виньота, что такой вредный малый, как подопечный аббата Калю, мог пробыть целый час в запертом сарайчике с девушкой и не... «Да бросьте вы! Дураков нету! Кому вы это рассказываете! Сами были молоды, знаем, как дело делается. А что она барышня, подумаешь тоже... Впрочем, достаточно на нее поглядеть, уж это такая... Давным-давно Абелина Виньот — сама-то она ничуть не удивилась — ее раскусила. «Да ну, говорю, Абелина, может, это просто бабья болтовня...» — «Держи карман шире — это она мне говорит, — да ты только посмотри, какие у нее бедра и все такое прочее». Вот беда-то! И подумать только, что у мадемуазель перед глазами такой пример, как мадам Брижит!»

Прежде чем выработать план действий, мадам Брижит решила подождать приезда графини де Мирбель. Впрочем, дело с различных точек зрения было важное и щекотливое: господин Пиан обожал Мишель, и трудно было предвидеть, как он воспримет эту весть. Если судить по записям в дневнике аббата Калю, где он приводит эту историю, наша мачеха, по всей видимости, сдержала свой первый порыв, послушавшись голоса совести (ибо она в эту пору особенно щепетильничала, хотя и не дошла еще в игре совести до полного маньячества). Но ее смущало другое обстоятельство, то, что она не может сдерживать чувства радости при виде этой беды, которой ей, второй матери Мишель, следовало бы стыдиться и оплакивать. Однако для мадам Брижит в подобных сложных ситуациях было важно одно: укротить совесть логикой. Ей требовалось найти благовидный предлог, какой мог бы узаконить эту недостойную радость и ввести ее в систему самоусовершенствования.

На сей раз помогло то, что на протяжении минуты ей удалось сосредоточить свою мысль на блестящей перспективе породниться через Мишель с Мирбелями — правда, на перспективе весьма отдаленной и весьма сомнительной, да и, принимая в расчет юный возраст Жана, было бы безумием связывать с этим свои надежды. Но мадам Брижит силой своей незаурядной воли не только удалось без труда отогнать эту

мысль-искусительницу, но и превратить ее в свое моральное торжество, добавив с примерным усердием еще одну петлю к власянице своих добродетелей. Да-да, в глазах света она, безусловно, могла бы извлечь немалые преимущества из этого скандала, но нет, она сумеет направить все ко спасению этого заблудшего дитяти. Если эта девочка еще не скатилась в бездну, то, во всяком случае, приблизилась к ней в столь раннем возрасте — это, безусловно, огромное несчастье, но зато легче будет принять самые решительные меры, дабы вернуть Мишель на путь истинный. Положение, таким образом, станет вполне ясным; с глаз господина Пиана спадет наконец пелена, и можно будет освежить тогда дух этого дома; и, в конце концов, Мишель пойдет только на пользу унижение, которому ее справедливо подвергнут.

Мадам Брижит заботливо вскармливала свои милосердные планы в отношении Мишель, ибо она отнюдь не пренебрегала такой статьёй, как милосердие. Как же не проявить снисходительности, стоит только вспомнить, чьей дочерью является это несчастное дитя. Первая мадам Пиан была ввергнута во мрак внезапной и страшной кончиной, над коей витало подозрение, причем весьма обоснованное, что это было самоубийство. У Брижит хранилось некое досье, которое она из чистого сострадания воздерживалась предъявлять ослепленному любовью супругу. До сих пор ей удавалось бороться против этого законного желания, невзирая на обидные и даже прямо несправедливые сравнения, которые под горячую руку позволял себе господин Пиан. Один бог знает, какого мужества, даже героизма стоило это молчание Брижит. Но, возможно, близок день, когда ради спасения дочери ей придется представить слабому отцу и обманутому мужу письменные доказательства того, что оплакиваемая им супруга не стоит его слез, но зато опрометчивая дочка, если даже она и согрешила, заслуживает снисхождения, ибо на ней тяжким бременем лежит дурная наследственность.

Так разукрашивала всеми цветами радуги Брижит Пиан свое торжество, заранее смакуя наслаждение. По природе своей она была логиком и не сворачивала с прямого пути, где веками служили очевидные принципы и где каждый ее шаг тут же немедленно находил свое оправдание. Позже она подпадет под власть своих неосознанных тревог, которые до сих пор ей без особого труда удавалось оттеснять в самые глухие закоулки души: она свернет с торного пути и будет блуждать

в глухих зарослях постыдных побуждений. Придет такой день, когда все совершенное ею станет мучительным наваждением, которое обратит к ней свой незнакомый и ужасный лик. Но до этого было очень далеко, и пока по ее вине предстояло еще страдать множеству других людей, и лишь потом откроется этой женщине подлинная любовь, которой, как ей думалось, она верно служила, но которой она так и не знала.

VII

От того дня, когда к нам в Ларжюзон пожаловала графиня де Мирбель, в памяти моей сохранилось лишь одно яркое воспоминание: тогда Жан предстал передо мной совсем в другом свете. Скверный мальчишка, испорченный не по годам, лентяй, которого и дяде Адемару и нашему господину Рошу не удавалось исправить даже ударами плетки, опасный субъект, хотя подчас он бывал мил, даже нежен,— вот что представлял собой Мирбель, источник зла, мне угрожавшего. Конечно, я любил его, но не испытывал к нему ни на грош уважения. И в силу некоторого противоречия, которое не слишком меня смущало, моя родная сестра, связавшая свою судьбу с Жаном, словно упала в моих глазах.

Но в присутствии своей мамы Жан показался мне совсем другим: он не спускал с нее глаз, а если и спускал на минутку, то лишь затем, чтобы прочесть на наших лицах выражение восторга. Стоило графине бросить какое-нибудь забавное словцо, и Жан поворачивал в мою сторону смеющийся взгляд, будто боялся, что я не пойму остроты или не оценю такой умины. Он уже наслаждался нашим удивлением в первые минуты встречи, когда мы увидели столь изысканное и столь молодое создание, бывшее к тому же матерью почти взрослого семнадцатилетнего сына. В наши дни чудо вновь обретенной молодости стало общедоступным: только не скупись. Но если в те времена мать семейства сумела сохранить девичью стройность талии, это вызывало всеобщее удивление. Поэтому вначале мы были поражены именно юным видом графини, а не ее красотой, пусть не броской, но зато близкой к совершенству.

Графиня панически боялась солнца и прилагала столько же отчаянных усилий, чтобы его избежать, сколько прилагают их сейчас, чтобы подставить под солнечные лучи все тело. Ей, видно, мало было вуалетки, окутывавшей ее соломенную

шляпку и почти все лицо: достаточно было солнечного луча, как она еще открывала свой кружевной зонтик, и сняла доходявшие до локтя перчатки только во время завтрака. Графиня зорко следила, какое впечатление производит она на нас, и вела себя поэтому с подчеркнутой простотой. После того как нам подали кофе, который мы пили под дубом, Жан утащил мать в боковую аллею парка, чтобы она могла поболтать без свидетелей с Мишель. Во время их недолгого отсутствия аббат Калю и мои родители обменялись довольно-таки кислыми замечаниями по адресу графини.

— Безусловно, в своем роде она совершенство,— проговорила мачеха.— Разумеется, только с точки зрения света, что меня, понятно, мало интересует. Этот культ собственного тела, возведенный в степень идолопоклонства... А как по-вашему, господин кюре?

Хотя в эту эпоху Брижит Пиан еще считала аббата Калю добрым и ученым пастырем, правда чуточку простоватым, лишенным всяческого честолюбия, его суждения она находила слабыми, даже странными, и по ее собственному выражению «он был у нее на примете». Она считала себя вправе надзирать за каждой сутаной, находившейся у нее под рукой.

— Графиня де Мирбель — «литераторша», — проговорил кюре и долго еще хохотал над своей не слишком смешной остротой, — знаете, она романы пишет.

— И печатает? — спросил я.

— Нет, — ядовито бросила мачеха, — довольствуется тем, что сама их переживает.

Великий боже! Злословие, да еще при ребенке, ведь это может его неприятно поразить. Петелька, даже целых две петельки соскользнули с прилежно сплетаемой власяницы совершенства, но Брижит Пиан спохватилась: то, что она сейчас сказала, не имело под собой ничего реально доказуемого, она сожалеет, что не сумела вовремя удержаться от своей выходки.

— Отпускаю вам ваш грех, мадам, — сказал аббат Калю.

— Есть слова, которые священнослужитель не может проносить не подумав, — отрезала мадам Брижит, хмурия брови.

Мы еще издали увидели графиню, она шла к дому между сыном и Мишель. Жан шагал, повернув голову к матери; он смеялся и, когда Мишель отвечала на вопросы графини, с бес-

покойством поворачивался к ней. Нас он даже не заметил: два обожаемых существа заслоняли от него все и вся. Я страдал, но ревности не чувствовал. Я был растроган до слез. Жан вовсе не такой, каким мы его себе представляли, он добрый, хотя временами и может показаться злым. Брижит Пиан не спускала глаз с приближавшейся к нам группы. Ее большое лицо с опущенными уголками губ походило на маску, но я ничего не сумел прочесть за этой слащавой миной. Аббат Калю тоже не сводил с них глаз, он выглядел каким-то грустным и озабоченным. Наконец, когда они приблизились настолько, что мы уже различали их слова, между матерью и сыном вспыхнул спор.

Жан умолял мать позволить ему проводить ее в Валландро. Она отрицательно качала головой: нужно со всей строгостью придерживаться программы, намеченной дядей Адемаром. Они решили, что она пораньше пообедаст с Жаном в доме священника, потом карета увезет ее в Валландро и она сразу же ляжет спать — поезд уходит завтра в шесть утра, так что ей придется подняться до зари. Таким образом, они распрощаются нынче вечером у господина Калю.

Но Жан был не из тех, кто легко отказывается от своих желаний. Все доводы матери проходили мимо его ушей, не убеждали его: что бы она ни говорила, самым главным было его желание провести с ней хотя бы часть ночи. А в душе он лелеял тайный план просидеть с ней в номере до самого утра и вместе встретить восход солнца.

— Вы только подумайте, мама, ведь мы и так всю жизнь в разлуке, ведь я никогда, никогда вас не вижу, а вы отказываетесь подарить мне всего один вечер, одну ночь, вам же это совсем не трудно.

Говорил он своим упрямо-требовательным тоном, доведившим до бешенства нашего господина Роша. Но мать отказывала сыну в его просьбе, проявляя не меньшую твердость, чем сын в своих настойчивых мольбах. Мишель из деликатности отстала. Голоса споривших становились громче, и мы услышали заключительные слова спора, произнесенные сухо и, видимо, не подлежащие пересмотру:

— А я говорю — нет и буду говорить — нет, ты вечно просишь больше того, что тебе дают. Ты как будто нарочно портишь мне этот такой радостный день... Нет, замолчи, не желаю больше ничего слушать.

И она подошла к нам, озарив не только нас, но и все окру-

жающее улыбкой, которой полагалось бы быть лучезарной, если бы в ней не чувствовалось натянутости и неостывшего трепета гнева. Жан искоса, но вызывающе смотрел на графиню. Наша мачеха и Мишель подали черносмородинный сироп и оршад, после чего графиня направилась к своему экипажу и на прощание снова рассыпалась перед мадам Брижит в изъяснениях благодарности, но всем нам почудилось, будто она держала себя гораздо сдержаннее и холоднее, чем в начале своего визита. Я следил за удаляющейся коляской. Жан сидел на передней откидной скамеечке. Но тут графиня с треском раскрыла свой зонтик и заслонила от нас его упрямое лицо, уже не освещенное радостью.

Дальнейшие события, о которых я сейчас расскажу, не выдуманы, даже малейшие их подробности воспроизведены с абсолютной точностью, хотя Жан говорил со мной об этой ночи лишь намеками, да и то не часто; зато аббат Калю посвятил им в своем дневнике несколько страниц.

Как только коляска свернула на шоссе, Жан снова пошел в атаку. Когда на него находил стих упрямства, он напоминал охотничью собаку, идущую по следу. Но все было напрасно: мать упорствовала в своем решительном и бесповоротном отказе. Исчерпав все разумные доводы, она повернулась к аббату Калю, в молчании наблюдавшему за этой сценой.

— Коль скоро, господин аббат, вам доверено воспитание Жана, соблаговолите вразумить его.

Аббат сухо заметил, что «на сегодняшний день он умывает руки». На что графиня довольно дерзко ответила, что именно сейчас или никогда пришло время показать свою знаменитую железную хватку. При этих словах Жан, побелев от ярости, поднялся со скамеечки и, воспользовавшись тем, что лошади на подъеме замедлили шаг, выпрыгнул из экипажа, чудом не попав под колесо.

Кучер резко натянул вожжи, лошади встали на дыбы. Когда графиня и аббат подбежали к Жану, он уже поднялся на ноги. Он остался цел и невредим. Мать и сын, стоя друг против друга на пустынной дороге, с минуту молча мерились взглядами. Небо нахмурилось, но изредка проглядывало солнце, кузнечики смолкли, потом снова затянули свою бесконечную трескучую песню. Кучер с трудом удерживал лошадей на месте, их жалили оводы, и он, щелкая кнутом, старался отогнать их.

— Я вынуждена признать правоту дяди Адемара, ты действительно невыносимый ребенок.

А Жан неумолимо повторял свои доводы, он не видел мать целый триместр, она приехала специально затем, чтобы с ним повидаться, а теперь хочет лишить его радости провести вместе с ней единственный вечер, ведь других не будет.

— Жан, милый мой мальчик,— сказала графиня,— я дала обещание твоему дяде, и я сдержу слово... В следующий раз я выговорю нам с тобой целую ночь и непременно приеду еще раз во время каникул. Но не надо сейчас настраивать дядю против нас обоих. Ну, иди скорее, садись между нами. Он вам не мешает, господин кюре? А ты прижмись ко мне крепче... как маленький,— добавила она, привлекая к себе Жана.

Жан не упорствовал больше, смирился. Наконец-то он уступил! Тени сосен стали длиннее и пересекали дорогу от обочины к обочине. Аббат Калю отвернулся.

— Сейчас самое время ловить цикад,— вдруг заявил Жан.— Они вместе с солнцем спускаются по стволам сосен и поют прямо над ухом.

Графиня с облегчением вздохнула. Слава богу, заговорил о другом, наконец-то отстал. Когда они остановились у дома священника, графиня предупредила кучера, что они поедут в Валландро в половине восьмого и не стоит поэтому распрягать лошадей. Но кучер взбунтовался: лошадок надо покормить и напоить, по такой жаре за ними особенно смотреть надо. Пришлось уступить. Графиня добилась от своего возницы только одной уступки — пусть хоть сбрун с лошадей не снимает.

За столом она жаловалась на то, что слишком плотный завтрак, который подавали у Пианов, мешает ей отдать должное стряпне Марии, и в частности жареным цыплятам. Было только семь часов, и от солнечных лучей, пробивавшихся горизонтальной полосой сквозь опущенные шторы, вся маленькая столовая, казалось, пылала в огне.

— Здесь ужасно мило! — восхитилась графиня де Мирбель.— Совсем как та столовая, которую описал Ламартин в своем «Жослене»...

Накладывала она себе на тарелку крохотные порции и все время оглядывалась на кухонную дверь. Обед затянулся. Мария совсем захлопоталась без помощников, и от одного блюда до другого проходило несколько долгих минут. Два-три раза пришлось подниматься с места господину кюре, он сам отправлялся на кухню и приносил очередное блюдо, но обслужи-

вал гостью хмуро, невесело, очевидно, еще не совсем успокоился после сцены, разыгравшейся на дороге. Впрочем, Жан не удивлялся тому, что на его наставника не действовали чары графини. Это было в порядке вещей. «Не могли они друг другу понравиться», — думал он. К тому же она почти не скрывала своего желания поскорее уехать. Кончилось тем, что графиня, поняв всю неловкость своего поведения, поспешила оправдаться: кучер нагнал на нее страху, у него типичная физиономия висельника.

— И знаете, я не так уж хочу очутиться поздно ночью одна на дороге, наедине с таким субъектом...

Тут снова вмешался Жан.

— Давайте, мама, я провожу вас на велосипеде.

Графиня досадливо прикусила губку:

— Жан, опять ты начинаешь! Ведь ты же мне обещал...

Он потупился. Мария поставила на стол «крем» — свой шедевр.

— Такого вы еще никогда не пробовали, — заметил аббат.

Графиня с явным усилием проглотила несколько ложечек. Ей было уже совсем невмоготу, но в ней жило врожденное стремление всем нравиться, и к тому же было бы слишком жестоко уехать, оставив здесь эти несчастные физиономии. Поэтому она постаралась быть как можно любезнее с хозяином дома и как можно нежнее с сыном. Но кюре по-прежнему хмурился. Сразу же после десерта он вышел в сад, чтобы на свободе почитать требник. Графиня догадалась, что сделал он это умышленно, пусть перед разлукой мать с сыном побудут хоть немного наедине. Жан тоже догадался и подошел к матери. Он безошибочно мог сказать, что она ощущает в эту минуту: он знал, что ей не терпится поскорее уехать и что она стыдится своего нетерпения. Она принудила себя ласково провести ладонью по кудрям сына, но то и дело исподтишка бросала взгляд на настенные часы, висевшие над камином. Перехватив ее взгляд, Жан пояснил: «Они у нас сильно спешат...» Мать запротестовала — она еще может побыть со своим мальчиком несколько минут. И, думая о чем-то своем, давала ему последние наставления. Этот аббат Калю, в конце концов, вовсе уж не такое страшное лицо... Жан не должен чувствовать себя здесь несчастным.

— Да нет, мама, нет... Напротив, я счастлив, ужасно счастлив, — добавил он робко и пылко.

Мать не видела, как зарделись его щеки, не заметила, что он весь дрожит. Еще накануне Жан твердо решил признаться

во всем матери, он так надеялся, что она не поднимет его на смех, не будет над ним издеваться, а примет все всерьез... Но он упустил время, и теперь было уже слишком поздно надоедать ей своими излияниями... Да и вообще лучше в последнюю минуту прощания не произносить имени Мишель. Всеми этими соображениями он старался прикрыть главную причину своего молчания, хотя сам не смел себе в том признаться: какой толк открывать душу этому созданию, которое сейчас так от него далеко. Много лет спустя, сидя у меня в Париже, на улице Вано, в уголке перед камином, Жан рассказал мне об этих самых мрачных часах своей жизни: в памяти его навсегда остался тот вечер, все еще дышавший зноем, столовая в доме аббата Калю, где он сидел совсем рядом со своей обожаемой мамой, так что их колени соприкасались, и ловил ее взгляд, то и дело обращавшийся к стрелкам часов. Сквозь стеклянные двери он видел кюре, который шагал взад и вперед по своему садику, читая требник.

— Я приеду, миленький, непременно приеду еще до конца каникул, обещаю тебе, и уж тогда вечер будет в полном твоём распоряжении.

Он ничего не ответил. Графиня велела кучеру опустить верх коляски. Жан вскочил на подножку и прижался губами к шее своей матери.

— Сойди, дружок, ты же сам видишь, он с трудом удерживает лошадей...

Взметнулось облако пыли, потом улеглось. Жан подождал, пока коляска скроется за поворотом, и поплелся в сад. Там он разулся, взял лейку и начал поливать цикорий, который он накануне рассадил. Аббат Калю все так же молча отправился в церковь служить вечерню. Когда он вернулся, Жан уже лег и сонным голосом крикнул ему через двери: «Покойной ночи». Перед тем как лечь самому, кюре спустился на первый этаж посмотреть, закрыта ли дверь на засов. Против своего обыкновения он не повесил ключ на гвоздик в коридоре, а взял его с собой и спрятал под подушку. Потом, став на колени перед постелью, он стал молиться и молился дольше обычного.

В первую минуту господину Калю почудилось, что его разбудил порыв ветра: по спальне вдруг пронеслось яростное его дуновение, хотя ночь была ясная и лунный свет лежал на половицах. Где-то громко хлопнула ставня. Высунувшись из окна,

кюре увидел, что хлопает ставня Жана, прямо над его головой. Очевидно, неплотно был задвинут шпингалет. Кюре накинул на себя сутану, поднялся на верхний этаж, чтобы закрыть окно, и, стараясь не скрипнуть дверью, заглянул в спальню Жана. И тут же порывом ветра сбросило со стола вазу, где стоял большой букет вереска, собранный Мишель. Аббат сразу же заметил, что постель Жана пуста. Он с трудом перевел дыхание, потом сошел вниз и оглядел входную дверь — засов не поднят, замок не сломан. Значит, безумный мальчишка мог убежать только через окно, — очевидно, спустился по водосточной трубе. Аббат вернулся в спальню, достал из-под подушки ключ и вышел в сад.

Ночь была отдана во власть ветра и луны. Дом священника был окружен плотным кольцом шорохов — это стонали на ветру сосны, и шумели они совсем не так, как шумит море, грозно и прерывисто; ровную и мощную зыбь сосен не нарушали ни грохот волн, ни всплеск пенных валов. Первым делом аббат направился к сарайчику, где хранились два велосипеда (он взял в Валландро напрокат второй для своего воспитанника), и обнаружил в углу только свой. При свете луны он разглядел под водосточной трубой, которая спускалась с угла дома, следы беглеца: очевидно, Жану пришлось прыгнуть с довольно большой высоты, так как на песке ясно отпечатались две ямки от каблучков. Аббат снова отправился к сарайчику, вывел свой велосипед и остановился в нерешительности.

Была уже полночь; вероятно, мальчик убежал часов в одиннадцать, вмешиваться уже поздно — зло совершилось. Какое зло? К чему забивать себе голову пустяками? Почему бурная ссора матери с сыном в номере гостиницы Валландро посреди ночи непременно должна закончиться трагически? А главное, ему-то, священнику из Балюзака, какое ему до всего этого дело? Само собой разумеется, он взял на себя заботу о Жана и, таким образом, взял на себя ответственность за его судьбу, но к утру мальчик вернется домой, и самое разумное — просто закрыть глаза на эту ночную эскападу: иной раз полезно кое-чего не заметить, и никогда не следует доводить дело до, возможно и заслуженного, наказания, которое может сразу свести на нет все наши предыдущие успехи... И все-таки, и все-таки!.. Священник прошел между рядами смородины, открыл ворота и посмотрел на пустынную дорогу, над которой бодрствовала луна.

Бессмысленно спешить на помощь ребенку, ребенку, к кото-

рому он так привязался и который, возможно, как раз в эту минуту проходит через самое страшное свое испытание. Ясно, мать имела на то свои причины, раз не захотела провести ночь в обществе сына. Все мольбы Жана разбивались о ее решимость, упрямую, дикую, близкую к ненависти. Аббат Калю попытался уверить себя, что все это бредни... Какие там бредни, он отлично знал цену женщинам такого сорта: их требовательность (кстати, перешедшая по наследству к Жану), иступленность желаний, повинувая которым они готовы переступить через труп даже родного сына. А возможно, он преувеличивает опасность потому, что любит Жана.

Первый раз в жизни он так привязался к своему ученику. С того самого дня, когда он взялся воспитывать «трудных детей», с ним такого еще не случалось. А взялся он за это дело не потому, что к этому его побуждала материальная необходимость. Его брат, владелец поместья в Сотернз, которому аббат уступил свою часть наследства, каждый год высылал ему небольшую сумму денег в зависимости от урожая; вместе с жалованьем и случайными, правда весьма скромными, доходами этих денег с лихвой хватало, так как в основном он жил за счет своего огорода, своего птичника и тех подношений натурой, которые доставляли ему прихожане.

И если он брал на себя воспитание подростков, когда сами родители уже отказывались собственноручно их исправить, то делал это отнюдь не из корысти — просто он умело расставлял силки, терпеливо шел по следу и никогда не отчаивался, он верил, что рано или поздно загонит к себе в дом такого вот дикого зверька, который заслуживает неустанных забот и из которого можно сделать человека. И считал, что, беря к себе в воспитанники только непокорных, он легче обнаружит нужный ему экземпляр. Бесспорно, господин Калю действовал так скорее в силу остаточного романтизма, естественного наследия семинарии, где он учился, чем в силу какой-то особой склонности к «трудным детям»; но склонность эта отвечала его тайпой, тщательно скрываемой даже от себя самой слабости к юным созданиям, которых уже коснулась рука жизни или угрожала косянуться, которым было все равно, пропадут ли они, спасутся ли, и за которых он отвечал перед отцом небесным. Дело тут было не в добродетели, а в пристрастии, в природных наклонностях.

До сего дня священник терпел своих пансионеров, потому что любил детство, любил юность. Но у всех детей, которые ему

попадались до сих пор, преходящее очарование юного возраста прикрывало собой прочную, неизменную основу вульгарности, глупости и хамства. Мимолетная прелесть молодости украшала своим фейерверчным огнем маленького бесчувственного мещанина, созданного по общему образцу и подобию. А с Жаном де Мирбелем аббат Калю впервые получил то, чего ждал от господ бога: ему было послано дитя, имеющее душу живую.

Но душу неприступную. Впрочем, это было не так уж важно, аббат Калю принадлежал к тому сорту людей, которым смолоду присуще бескорыстие, обычно приходящее лишь с годами, и сердце их не просит ничего в обмен на щедрый свой дар. Хуже было другое: Жан не из тех, кто позволял себя любить или себе покровительствовать. Аббат не способен был даже предотвратить опасность этого ночного свидания матери с сыном, Жан находился в зависимости от своего наставника, и можно было ограничиться прямым запретом. Что будет, когда мальчик покинет дом священника и перед ним откроются все дороги мира? (Ибо аббат не мог себе даже представить, что Жан навсегда оседет в арманьякском замке и будет прозябать там.) И однако даже в эти минуты кюре из Балюзака не считал, что с него сняты обязанности, которые он взял на себя в отношении этого мальчугана... Где-то он сейчас? Где его искать? Где его настичь? Ясно, на заре он возвратится домой; будь иначе, аббат бросился бы на розыски. А пока что ничего сделать нельзя, разве сварить кофе и позаботиться, чтобы он не остыл. Он вошел в кухню, распахнул ставни, чтобы впустить свет луны, подбросил в печку лучинок и разжег огонь; потом сел на низенький стульчик Марии, вынул из кармана четки из оливковых косточек и застыл в неподвижности. Лунный свет падал на его неухоженные волосы, а так как сидел он, упершись локтями в колена, огромные кисти рук, чуть выставленные вперед, казалось, жили какой-то своей непонятной, странной жизнью.

VIII

Задумав улизнуть из дому, Жан решил ждать, когда с нижнего этажа до него донесется сонное дыхание аббата. Часы еще не пробили одиннадцать, а он уже катил по залитой луной дороге. Ветер дул ему в спину, ехать поэтому было совсем легко, и он нажимал на педали без усилия, в состоянии какого-то

спокойного опьянения; в душе зрела уверенность, что никакие силы никогда не смогут помешать ему, раз он что-нибудь задумал. Он увидится с мамой нынче ночью, просидит у изголовья ее постели до самой зари; он был в этом так же твердо уверен, как и в том, что настанет такой день, когда он заключит в свои объятия Мишель. Никогда еще он не ездил ночью на велосипеде один, в сиянии идущего с небес света, подгоняемый ветром в этом пустынном мире. Его не мучили дурные предчувствия, он не думал о том, что может произойти из его встречи с матерью: при посторонних она взяла верх, но наедине с ним она непременно сдастся.

Ехал он быстро и вскоре промчался через полосу тумана, подымавшегося от Сирона там, где дорога идет под гору, неподалеку от первых домиков Валландро. И тут он вдруг разом пал духом. Он сообразил, что двери гостиницы уже закрыты. Что он скажет, как объяснит свой приезд, как велит разбудить маму? Какой бы предлог изобрести? Ну и ладно, просто скажет ей, что ему стало совсем худо при мысли, что он ее больше не увидит, и что сам господин Калю посоветовал ему попытать счастья. Не будет же мама среди ночи, да еще в гостинице, подымать историю, наверняка побоится скандала, а он сумеет ее растрогать, он непременно ее растрогает, во всяком случае, беситься он больше не станет, уткнется лицом в ее юбку и будет реветь, будет целовать ей руки.

Он добрался до площади, где от стоявших в ряд тележек с задранными кверху оглоблями падали на землю тени, похожие на рогатых зверей. Свет ущербной луны бил прямо в облупившийся фасад постоянного двора «Ларрю», а также в черные буквы вывески: «Постой для пеших и конных». В кабачке еще горел огонь, оттуда доносился стук бильярдных шаров. Жан прислонил велосипед к стене и спросил у толстой сонной девки, дремавшей на стуле перед пустой стойкой, бутылку лимонада. Девка нелюбезно буркнула в ответ, что уже слишком поздно, что буфет уже закрыт, что после одиннадцати посетителей не обслуживают. Тогда он задал ей давно приготовленный вопрос: остановилась ли у них графиня де Мирбель, он должен сообщить ей нечто важное.

— Графиня? Какая еще графиня?

Девка подозрительно взглянула на Жана, решив, что ее дурачат. И заявила, что ей и без того дел хватает, некогда ей слушать разные басни, а ему лучше вернуться домой, чем в таком возрасте шляться по кабакам.

— Но как же так, у вас остановилась одна дама, — Жан подумал, что, возможно, мать не назвала своего имени, — белокурая, в соломенной шляпке, в сером костюме...

— Белокурая? Пойдите-ка...

И в ее тупом взгляде зажегся огонек.

— В сером костюме, — повторила она, — и еще вуалетка у нее с мушками, и еще такой красивый чемодан, она оставляла его у нас на хранение...

Жан нетерпеливо прервал эти излияния: в каком номере остановилась дама?

— В номере? Да она здесь не остановилась. Она только за своими вещами заехала... Она в Балозе будет ночевать, — твердила служанка. — Я сама нынче утром носила на почту телеграмму, чтобы ей оставили номер в гостинице «Гарбе».

Подумав, Жан сообразил, что как-никак Балоз — это их префектура и мать, очевидно, решила, что в гостинице «Гарбе» больше удобств, чем в здешней. Но зачем же тогда она уверяла его, что будет ночевать в Валландро? Он осведомился, далеко ли до Балоза. Двенадцать километров... Всего час езды на велосипеде.

— Она хотела в гостинице «Гарбе» переночевать, — вдруг словоохотливо заговорила служанка (и в голосе ее прозвучала неприязнь к этой даме, которая, видите ли, брезгует их гостиницей). — Хорошо еще, если в придорожной канаве ей ночевать не придется...

Жан встревожился:

— Почему? Разве лошади такие бешеные?

— Лошади! Еще чего! За ней машина, знаете, такая, что на керосине ходит, приезжала. Весь Валландро на улицу высыпал! А уж грохоту было, все вокруг керосином и маслом провоняло, а пылица!.. Да еще курицу у мадам Гафэн задавили... Ничего не скажешь, за нее, за курицу, честно говоря, хорошо заплатили... А если бы вы только видели господина, что за ней приезжал! Очки огромные, лица из-под них не видно, будто в маске, даже страх берет! А плащ на нем серый, до самых пят... Господи, чего только люди не наведумывают...

— Значит, вы говорите, отель «Гарбе» в Балозе? На соборной площади? А вы точно знаете?

Он поблагодарил служанку, вскочил в седло, но в Балюзак не поехал, а свернул направо. Ветер дул теперь ему в лицо, и приходилось бороться против этой невидимой силы, против этой враждебной, а может, и милосердной силы, не пускавшей его

в Балоз. Будь здесь маленькие Пианы, он, конечно, не решился бы при них показать свою слабость, но сейчас он был один и поэтому на первом же подъеме слез с велосипеда. Хотя дул холодный ночной ветер, по лицу его струился пот, и ужасно ныли икры. И думал-то он сейчас только о том, что устал: он был уже мужчиной, но во всем, что касалось его матери, оставался настоящим ребенком. Он даже вообразить себе не мог, что она причастна к человеческим страстям и человеческим преступлениям, к тому, что он знал или предчувствовал. В его глазах и отец и дядя были самыми настоящими палачами. Из первых лет жизни в Ла-Девизе память его удержала пронзительный голос отца, который, словно злобный голенастый петух, кружил вокруг его мамы, этой безмолвной мученицы. Правда, дядя Адемар — у него был такой же крикливый голос — вел себя с невесткой повежливее, но ни разу Жана не коснулась мысль, что, быть может, она заслужила ненависть с их стороны.

И однако дня не проходило без того — когда, конечно, они бывали вместе, — чтобы мать не разрушала представления, какое он себе о ней создал; и всякий раз он убеждался в ее черствости, а главное, в неискренности. Поэтому-то ложь матери о почевке в Валландро не должна бы была так уж его удивить, ибо в Ла-Девизе, а особенно в Париже, где она провела у своих родителей, Ла Мирандбезов, целых пять месяцев — с января по июнь, — Жан во время пасхальных каникул десятки раз ловил графиню на противоречиях; говоря неправду, она даже не давала себе труда сводить концы с концами. Если, к примеру, она твердила, что ей ужасно хочется побывать на такой-то и такой-то пьесе, о которой много говорили, она забывала, что на предыдущей неделе уходила вечером из дому под предлогом посмотреть именно эту самую пьесу, а на следующее утро давала о спектакле восторженный, но довольно туманный отзыв. Сколько раз Жан со своей бескомпромиссной детской логикой и с абсолютной верой в любое материнское слово выводил графиню из себя вечным припевом: «Мама, да ведь вы сами говорили...» А то, что она говорила раньше, слишком часто, пожалуй, даже никогда, не вязалось с тем, что она говорила в каждый следующий момент. Однако она даже не пыталась вывернуться: «Неужели я так сказала? По-моему, ты что-то выдумываешь, маленький...» Но если в душу Жана закрадывались порой смутные подозрения, стоило ему очутиться далеко от матери, их словно дождем смывало. Да и как ему было не верить, что при таком прелестном лице и душа обязательно должна быть такая

же. Идея греховности в его представлении была несовместима с этим чистым лбом, с этим чуть вздернутым носиком, с тяжелыми веками, с глазами цвета морской волны — глаукопис (Жан специально подчеркнул это слово в своем греческом словаре), особенно с этим низковатым голосом, с этим незабываемым голосом, слегка надтреснутым, даже и сейчас я восхищаюсь им при встречах с этой старой дамой, над которой время оказалось невластно, разве только руки выдают ее возраст: под поблекшей кожей по-прежнему совершенна лепка лица — так чудо греческой скульптуры переживает века — и все такие же глаза, зеленоватые, цвета водорослей, хотя век уже коснулось увядание.

На последнем подъеме перед Балозом Жан вел велосипед за руль; то, что он услышал от служанки в гостинице, его ничуть не смутило, зато он с тревогой думал о предстоящей сцене с матерью в гостинице «Гарбе» в присутствии чужого человека. Кстати, у кого из маминых знакомых есть автомобиль? Скорее всего, это Рауль. У Мирандьезов Раулем называли известного драматурга, называли с той небрежной снисходительностью, с какой люди светские величают просто по имени прославленных жрецов искусства и, в частности, того, о ком идет речь. На самом-то деле звали его вовсе не Раулем, и я с умыслом не назову здесь его настоящего имени, полностью забытого в наши дни, но достаточно популярного в свое время наряду с именами Доннэ, Бернштейна и Порто-Риша. Но если его творчество, расценивавшееся тогда очень высоко, если названия самых шумевших его пьес стерлись в памяти людской, то сам он оставил глубокий след в жизни многих женщин, они живы еще и по сей час и, подобно графине де Мирбель, влчат тусклое существование, прозябают себе, прежде чем кануть в забвенье.

Жан ни на минуту не мог допустить даже мысли, что существуют какие-то тайные узы между его мамой и этим сорокалетним дородным мужчиной. «Просто ей было интересно, да и удобно, проехаться на автомобиле», — думал он, но как же нехорошо с ее стороны, что она не взяла его с собой, ведь он бы с ума сошел от счастья... Жан пересек неширокую мрачную улицу, выводившую прямо к собору, который стоял в центре площади, окруженной аркадами. На площади ни души, он объехал ее всю на велосипеде и не без труда обнаружил гостиницу, совсем утонувшую в густой тени собора. Под гостиницу приспособили службы помещавшегося здесь в свое время епархиального управления, и от здания собора ее отделял только

узенький переулочек. Ворота и главный подъезд были заперты, все ставни закрыты, но ставни в двух окнах второго этажа, так по крайней мере показалось Жану, прикрыты не совсем плотно. Что делать — звонить, стучать, поднять среди ночи всех на ноги? Да, но под каким предлогом? Конечно, можно было бы попросить номер, но денег у него с собой слишком мало. Заплатит ли за него мама?.. Однако он заколебался. И хотя Жан ровно ничего не подозревал, в глубине души он смутно чувствовал, что делать этого нельзя, что пора остановиться на том пути, на который он вступил очертя голову. Повернуть обратно в Балюзак значило признать себя побежденным, а вот на это Жан не пошел бы ни за что на свете. Он решил забраться на невысокий карниз, идущий между двух контрфорсов собора, и так дожждаться утра. Переулок был такой узкий, что окна гостиницы оказались чуть ли не над ним. Когда мама утром выйдет из гостиницы, он крепко-крепко поцелует ее и ничего не скажет, а она сама будет так удивлена, что ни о чем его не спросит, но зато поймет, как он ее любит, ведь только ради нее он как сумасшедший катил всю ночь на велосипеде, бодрствовал до утра, только чтобы еще раз ее поцеловать, чуть не падает с ног от голода и усталости. А сейчас она спит за этими стенами и, конечно, здесь, на втором этаже, в том номере, где ставни чуть распахнуты, потому что она всегда открывает на ночь окна. Луна скрылась за островерхой крышей собора, но от ее рассеянного света побледнело небо, где мерцало теперь всего лишь несколько самых упорных звезд. Жан замерз, и все тело его затекло от сидения на каменном карнизе. Он спустился, лег на траву, но, очевидно, не разглядев, попал в крапиву и со стоном вскочил на ноги. Разбуженная шумом собака полаяла немного и успокоилась. До первого петушиного кукареканья было еще далеко. Тогда он стал думать о Мишель и сам уже утеревший чистоту, думал о ней целомудренно; в воображении своем он держал ее в объятиях, но держал не ради чувственного наслаждения, а лишь для того, чтобы найти покой в бдении верного сердечка. А совсем рядом, по ту сторону переулка, за этими полураскрытыми ставнями...

Позже он узнал все, что касалось его матери. Все любовные связи этого Рауля были широко известны и все мечены одним и тем же страшным клеймом. Множество романов носят или могли бы носить название «Сердце женщины», множество профессиональных психологов пытаются заглянуть в его сокровенные тайны... Но такие мужчины, как тот, кто в гостинице

«Гарбе» делил этой ночью ложе с графиней Мирбель, лишь для того и существуют на свете, чтобы сводить эту тайну к довольнотаким скромным пропорциям. Все жертвы Рауля точно знали, чего они от него ждут. Все, кто принадлежал ему, узнавали друг друга по этой не знающей утоления жажде. И все, порвав пути человеческого долга, скитались в вечной погоне за тем, что довелось им испытать. «Вы сами себя не знаете,— нашептывал он им,— не знаете самое себя, не знаете своих пределов, не знаете, до каких границ вы способны дойти». Бросая их, он оставлял им в наследство опасную науку сладострастия, которая достигается немалым трудом, чего не ведают люди добродетельные, ибо по-настоящему извращенные создания встречаются на нашей земле так же редко, как и святые. Не всякий день встретишь на дороге святого, но не часто встретишь и того, кто способен вырвать у вас стон, крик, где слышатся также и ужас, особенно явственно звучащий по мере того, как тени лет ложатся на ваше тело, подтачиваемое и разрушаемое временем и желанием, годами и не знающей утоления страстью. Еще ничего не написано о пытке старости, через которую проходят некоторые женщины, и для них-то ад начинается еще на этой земле.

Жан уже давно дремал, закинув голову и упираясь затылком в угол, образуемый стеной и ребром контрфорса. Он сам не знал, что его разбудило: или неудобная поза, или, быть может, холод, или, быть может, мужской голос в окне над ним:

— Поди сюда, посмотри: никак не пойму, почему так освещено небо, что это, луна или уже заря?..

Обращался он к кому-то находившемуся в комнате, кого Жан не мог видеть со своего наместа. Мужчина стоял к нему в профиль, чуть отступив от окна. Он кутался в темный шелковый халат.

— Только накинь что-нибудь,— добавил мужчина,— ночь холодная.

Он оперся локтями о подоконник и слегка подвинулся, давая место женщине, но все равно заполнял собой почти весь оконный проем, и деликатной белой фигурке лишь с трудом удалось втиснуться между косяком и его массивным торсом.

— Какое блаженное безлюдье, и эта тишина... Нет, нет, дорогой, мне не холодно...

— Ну что ты говоришь, накинь на плечи хотя бы мой реглан. Фигурка исчезла, потом вернулась, укутанная в мужской

плащ, в этом наряде она стала шире, а головка казалась совсем маленькой. Так они простояли некоторое время молча.

— Какая мы, в сущности, малость, — заговорил мужчина. — Как, по-твоему, вот все эти люди, что спят в этих домах, видели ли они мои пьесы или знают меня только по имени?

— Они же выписывают «Иллюстрасьон».

— Верно, — подтвердил мужчина, видимо, слова спутницы приободрили его, — приложения к «Иллюстрасьон» расходятся по всей стране... Хотя, боюсь, попадают они главным образом в парикмахерские... Ты только взгляни, эта площадь — просто декорация какая-то! Однако сцены на открытом воздухе не мой жанр, у меня действие должно происходить в четырех стенах...

Она ответила что-то вполголоса и засмеялась, но тут же приглушила свой смех. Он рассмеялся тоже и добавил:

— Одну из четырех стен долой, таков должен быть в моем представлении театр, лучшая моя пьеса, о которой я мечтаю...

— Значит, без диалогов?

Они зашептались. Жан не слышал ничего — только с силой тарана стучала в уши кровь.

Пробило час.

— Нет, нет, пора спать...

И снова этот приглушенный смешок. Женщина припала головкой к услужливо подставленному мужскому плечу. Жан тупо смотрел на конек крыши, возвышавшийся над фасадом гостиницы; ворота, должно быть, совсем старенькие, к створке прибита подкова. Он прочел вывеску: «Гостиница Гарбе. Свадьбы и званые обеды». В уме он сравнивал того мужчину у окна — каждую интонацию его голоса Жан узнавал — с тем солидным господином с крашеными прядями волос, сквозь которые просвечивала очень белая кожа черепа, это его Мирандэзы называли Раулем. Мальчик инстинктивно искал помощи в самом себе против этой острой, никогда еще не испытанной боли и нашел ее в слове, которое произнес четко, чуть не по слогам: «Забавно!» Потом повторил насмешливым тоном: «Нет, до чего же забавно!» И потом еще: «Ну что ж, матушка!» Послышался легкий стук ставен. «Подумаешь, велика важность, а если им это приятно? Ведь они никому ничего худого не делают...» Внезапно его охватил страх при мысли, что его обнаружат, что придется с ними говорить, выслушивать их объяснения. Он вообразил себе лицо матери, пристыженной, что-то бормочущей, и содрогнулся от ужаса... Он вскочил в седло велосипеда, пересек площадь и в первые минуты даже не почувствовал устало-

сти, так он радовался, что между ним и тем номером гостиницы с каждым оборотом колеса увеличивается расстояние, но на первом же подъеме ослабел, сошел на землю и потащил за собой велосипед, потом увидел стог, рухнул в сено и потерял сознание.

До чего же хорошо греет сено! Хотя с зарей похолодало, Жан горел как в огне. Голова разболелась. Там, в туманном еще небе, кто-то звонко запел — должно быть, жаворонок. Под самым его ухом квохтала наседка, разгребавшая вместе с цыплятами землю вокруг стога. Жан попытался встать на ноги, по телу прошла дрожь. «Лихорадку схватил», — подумалось ему. Он снова взял велосипед за руль и поплелся вперед. Шагах в ста, на перекрестке дороги, ведущей в Юзест, он заметил над дверью дома сосновую ветку и вспомнил, что здесь над харчевнями вместо вывесок прибивают ветки. С трудом он добрался до харчевни и заказал себе чашку горячего кофе; старуха хозяйка недоверчиво оглядела его и что-то буркнула себе под нос на местном диалекте... Солнце уже добралось до скамейки, на которую он присел у порога харчевни. А вдруг на дороге неожиданно появится автомобиль? Да нет, они встанут поздно, у них, у этих сволочей, еще уйма времени... А какие все-таки сволочи... Не потому, что занимаются любовью, а потому, что кривляются... А его теперь не проведешь, хватит... Никто никогда не проведет, это уж точно. Все спят со всеми — такова жизнь. Интересно, с кем спит дядя Адемар? А Рош? А господин Калю? Здорово было бы поймать его с поличным. Он их всех об этом спросит... Если только не сдохнет прямо здесь.

Он окунул губы в кофе, медленно отхлебнул несколько глотков, потом отвернулся, и его стошнило. Прижавшись лбом к стене, он прикрыл глаза, у него даже не хватило сил согнать мух с пылающего жаром лица. На дороге протренькал велосипед, потом замедлил ход. Жан услышал возглас, кто-то несколько раз подряд выкрикнул его имя. Рядом с его лицом возникло большое, искаженное тревогой лицо аббата Калю. Возможно, сделай Жан над собой усилие, он попытался бы понять, ответить. Но коль скоро кюре здесь, можно положиться на него, расслабиться. Он почувствовал, что кюре поднял его на руки, как ребенка, и уложил на кровать в какой-то темной комнатке, где пахло конюшней. Господин Калю закутал мальчика в свою поношенную черную пелерину, потом долго препирался с хозяйкой харчевни: он хотел нанять повозку, а она не соглашалась, потому что в Балозе нынче базарный день. «Вам заплатят

сколько нужно», — раздраженно твердил господин Калю. Наконец по мощеному двору зацокали конские копыта. На дно повозки положили соломы. Кюре поднял задремавшего Жана, чья голова беспомощно перекатывалась по его плечу, и положил на солому, покрыв его своей пелериной. Затем снял вязаную фуфайку, которую надел утром под сутану, свернул и сунул под голову мальчику.

Плеврит оказался тяжелым: в течение двух недель можно было ожидать самого худшего. Папский зуав провел двое суток в доме священника, и они вместе пришли к единодушному решению: не пугать графиню. Ей просто сказали, что у Жана сильный бронхит, и она не выказала ни малейшего беспокойства. В ту пору еще не были разработаны методы лечения плеврита в горной местности или, во всяком случае, практиковалось это лишь в редких случаях. Врач, приглашенный из Бордо для консультации, оказался сторонником хвойного воздуха при лечении подобных заболеваний и уговорил полковника согласиться на предложение господина Калю: кюре брался за два года потихоньку, не слишком налегая на учебу, подготовить мальчика к экзаменам на бакалавра. Но папский зуав дал свое согласие еще и потому, что не мог без содрогания даже подумать о том, чтобы послать своего племянника в коллеж, описанный «скандальной женитьбой Пюибаро».

В тот вчера, когда было принято решение оставить Жана на два года в Балюзаке, аббат страстно возжелал, чтобы бог явился ему во плоти, дабы можно было в знак благодарности лобызать ему руки, припасть к его ногам. Жан хранил враждебное молчание и открывал рот лишь затем, чтобы тоном приказания потребовать то, что ему нужно. Господин Калю не знал, что именно произошло в Балозе, но он видел рану, и этого ему было достаточно, а как был нанесен удар и каким оружием, он рано или поздно узнает, а может быть, и никогда не узнает. Но не в том дело, главное — не дать распространиться заразе. Как-то в сумерках он подсел к изголовью кровати, на которой дремал Жан, и спросил, не пугает ли его перспектива провести зиму в Балюзаке. Мальчик ответил, лучше все, что угодно, только не ихний Рош, однако очень жаль, что он не может выполнить свое намерение «расквасить ему морду».

Кюре выслушал эти слова как остроумную шутку.

— ...Вот увидишь, какой я развожу в камине огонь, вечерами можно работать, читать, делать записи, потягивать орехо-

вую воду, а западный ветер стонет в сосняке, швыряет в ставни пригоршни дождя...

С притворной развязностью Жан заметил, что, очевидно, «здесь не хватает любви...». Господин Калю спокойно ответил, что главное — иметь любовь в сердце своем.

— Как бы не так! (По-прежнему не своим, а каким-то чужим голосом.)

Аббат все так же спокойно спрятал в карман сутаны четки, вынул трубку и понюхал ее (курить в спальне Жана он себе запрещал).

— Ну я-то что,— пробормотал он.— Я человек старый, и у меня есть надежная гавань.

— Как же, как же, боженька, известное дело!

Кюре поднялся и положил ладонь на лоб Жана.

— Ты прав, бог прежде всего и везде!

А главное, у него сейчас есть сын, злой мальчик, вернее, хочет казаться злым, но, так или иначе, это его дитя...

Жан приподнялся на подушках и крикнул:

— Только, пожалуйста, не воображайте! Если хотите знать правду, мне ненавистно все, что вы собой представляете...

— У тебя опять температура поднимется,— сказал кюре.

Как он исстрадался, бедный мальчуган! «Он ополчился против меня только потому, что я под рукой и ему некого больше кусать...» Аббат погрузился в размышления, он поставил локти на колени и слегка отвернулся, так чтобы лицо оставалось в тени, потому что он знал, Жан, зарывшись в подушки, пытается разглядеть, достиг ли нанесенный им удар цели, но, даже если бы свет лампы падал на кюре, больной все равно ничего не смог бы прочесть в этих лишенных всякого выражения чертах. И вдруг Жану стало стыдно своих слов.

— Я это не про вас сказал,— опустил голову, пробормотал он.

Аббат Калю пожал плечами.

— Я понимаю, тебе просто требовалась разрядка... но скоро ты уже сможешь принимать гостей.

— У меня нет знакомых.

— А Пианы?

— Раз они не пришли сюда, раз не написали...

— Они каждый день о тебе спрашивают.

— Да, но все-таки не пришли...— твердил свое Жан и отвернулся к стене.

И правда, один из наших фермеров, живший в Балюзаке и доставлявший нам по утрам молоко, одновременно сообщал нам новости о Жане. Однако кюре тоже дивился, почему мы сами не подаем признаков жизни. Он отлично понимал, что Мирбель огорчен нашим кажущимся равнодушием, однако не мог измерить всю глубину его обиды. Поэтому-то балюзакский священник, убежденный, что все это штучки «мамаши Брижит», решил, как только больному станет полегче, съездить в Ларжюзон, хотя бы просто для очистки совести.

IX

Почта в Ларжюзон прибывала обычно во время первого завтрака, когда наша семья была вся в сборе. Мачеха посещала раннюю мессу или спускалась прямо из своей спальни и, как правило, выходила в столовую уже тщательно одетая и застегнутая. В то утро, когда я вслух прочел письмо от господина Калю, где он сообщал о внезапной болезни Мирбеля, она сидела с жестким, хмурым выражением лица, что предвещало дурной день; в одиннадцать часов она должна была давать урок катехизиса детям, идущим к первому причастию, которые, по ее словам, сплошь были кретины, ровно ничего не понимали из того, что им рассказывают, сидели с непроницаемо-тупыми физиономиями и развлекались только тем, что щипали друг дружку за наиболее мясистые части тела. Да к тому же еще грязнули, непременно наследят на паркете, и пахнет от них не слишком приятно. И не надейтесь, что они вам хоть вот столечко благодарны, как бы не так! Бейся не бейся, делай им добро, а их же родители при первом подходящем случае ограбят ваш дом да еще вас самих прихлопнут.

В дни, посвященные изучению катехизиса, мы все знали, что достаточно самой невинной искорки, чтобы последовал оглушительный взрыв, ибо господь бог наградил мадам Брижит огневой натурой.

— Боже мой! — крикнула Мишель, когда я дочитал письмо. — Мы немедленно должны ехать в Балюзак. А я еще не одета.

Тут раздался голос нашей мачехи:

— Ты собираешься нынче утром ехать в Балюзак?

— Конечно, а как же, бедный Жан...

— Я запрещаю тебе туда ехать.

— А почему сегодня утром нельзя?

— Ни утром, ни вечером,— отрезала мадам Брижит, побелев от злости.

Мы, ошеломленные, переглянулись. Хотя отношения мачехи и сестры были вообще-то натянутые, но до сих пор Брижит избегала открытых столкновений.

— Что это с вами? — дерзко спросила Мишель. — С чего это я буду ждать до завтра?

— И завтра ты не поедешь. Никогда больше не поедешь в Балюзак,— крикнула мачеха. — И не строй удивленной физиономии, лицемерка.

Отец поднял от страницы «Нувелист» испуганное лицо.

— Но почему, Брижит, вы так горячитесь?

— Боюсь, что я слишком поздно начала горячиться. — Фраза эта была произнесена торжественным тоном.

И так как Мишель осведомилась, в чем именно ее обвиняют, мачеха заявила:

— Ни в чем я тебя не обвиняю. Я верю в зло только тогда, когда вижу его своими собственными глазами.

Отец поднялся. На нем был старый коричневый халат. Из-под расстегнутого ворота рубашки торчали пучки серой шерсти, обильно покрывавшей его грудь.

— Так или иначе, вы говорите...

Мачеха устремила на мужа ангельски-кроткий взгляд:

— Мне больно причинять вам боль. Но вы должны все знать: мне говорили, что Мишель видели у мельницы Дюбюша вместе с Мирбелем.

Мишель твердо заявила, что это правда, что иногда она встречалась там с Жаном. Но что же тут плохого?

— Не разыгрывай наивность, это тебе не к лицу. Тебя видели.

— Ну и что же, что видели? И видеть было нечего.

Отец нежно привлек Мишель к себе:

— И в самом деле, нет ничего плохого в том, что ты встречалась с маленьким Мирбелем у мельницы Дюбюша. Но хотя ты еще ребенок, ты выглядишь старше своих лет, а здешние люди — особенно женщины — настоящие ехидны.

Тут Брижит прервала его:

— Конечно, ехидны... И вам совершенно незачем защищать от меня Мишель. Я только потому и вмешиваюсь, чтобы спасти ее от сплетен; возможно, все это одна клевета, и хочу надеяться, что я вмешалась не слишком поздно. Этот Мирбель — развращенный субъект. Господи, прости меня, что я принимала его

в нашем доме! Интересно, до чего он дошел?.. — добавила она вполголоса мрачно и задумчиво. — Вот в чем вопрос.

Какой же она вдруг стала кроткой! Отец схватил ее за запястье:

— Договаривайте до конца! Что там еще?

— Еще... Но прежде всего отпустите мою руку! — крикнула она. — Не забывайте, кто я такая! Вы хотите знать правду? Пожалуйста, вот вам правда!

Разгневанная мачеха обогнула стол, под прикрытием столового серебра и посуды схватилась обеими руками за спинку стула и в такой позе, опустив свои перенопчатые веки, дабы полнее сосредоточиться в себе самой, изрекла наконец:

— Мишель девушка, и она любит мужчину. Вот что произошло.

Воцарилось молчание, мы не смели поднять от тарелок глаза. Мадам Брижит, внезапно отрезвев, не без тревоги наблюдала за отцом и дочерью.

Октав Пиан выпрямился. И показался мне очень высоким, таким, каким я помнил его еще при маминой жизни. Он был оскорблен в своей нежной любви к Мишель, в том чувстве, которое отцы питают к дочерям, в чувстве, сотканном из уважения и целомудрия, столь уязвимого, что они никогда не прощают тому, кто хоть раз посягнет на эту святыню. Он разом вырвался из плена бездонной тоски, и та, что стояла сейчас перед ним до ужаса живая, вытеснила память о покойной жене.

— Девочка, которой нет еще и пятнадцати? Да разве это мыслимо? И вам не стыдно?

— Мне-то чего стыдиться? Я ни в чем не обвиняю Мишель. — Мачехе удалось утишить гневные раскаты голоса. — Я только повторяю: я хочу верить, верю всей душой в ее невинность, в ее относительную невинность...

Но ведь бывают же девочки-матери и в пятнадцать, и даже в четырнадцать лет. Сразу видно, что Октав Пиан не ходит к бедным с благотворительными целями!

До сих пор еще у меня в ушах звучит голос, каким она произнесла «девочка-мать». Нельзя было вложить в эти слова более яростного отвращения. Я вполголоса спросил Мишель, что это такое — девочка-мать. Она не ответила (может, и сама не знала). Устремив взгляд на папу, она проговорила:

— Ты ведь ей не веришь?

— Конечно, не верю, дорогое дитя.

И он снова привлек Мишель к себе. Тут заговорила мачеха:

— Значит, нужно позвать тех, кто тебя обвиняет, кто, по их словам, видел тебя собственными глазами?..

И так как Мишель крикнула: «Ну, конечно, а как же иначе!» — отец добавил вдруг совершенно спокойным тоном:

— Ага, догадываюсь, это Виньоты, ну ясно, Виньоты, известное дело... Если вам достаточно сплетен этих людишек...

— А кто вам сказал, что меня это устраивает? Я повторяю вам, что никого не обвиняю. Я просто выполнила свой нелегкий долг: передала свидетельские показания. И все. А ваше дело — выяснять правду. Мой долг кончается там, где начинается ваш.

Брижит Пиан скрестила на груди руки и стояла так перед нами, беспристрастная, неуязвимая, заранее обеленная господом богом и сонмом его ангелов.

— И что же, по словам ваших Виньотов, делала Мишель?

— Спросите их об этом сами. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я оскверняла свои уста... Слушать их будет нелегко... Но если это нужно, если вы считаете мое присутствие необходимым, я почерпну силы в моей любви к вам всем и, в частности, к тебе, Мишель. Можешь смеяться сколько угодно: никогда я тебя так не любила, как в эту минуту.

С век ее скатилась слеза, другая, но мачеха не вытерла щеку, пока мы все их не улицезрели. Тогда спокойным голосом папа велел мне пойти за Виньотом.

Обычно Виньот входил, держа в руке берет; правый глаз его был закрыт — на охоте кто-то засадил ему в физиономию дробинку. Зато другой с идиотским упорством глядел вам прямо в лицо. Ноги у него были кривые, борода нечесаная, во рту торчали корешки зубов. Свои деревянные башмаки он оставлял у порога и, прошмыгнув в полуоткрытую дверь, бесшумно скользил по паркету в одних носках. Стоило вам оглянуться, и он уже торчал у вас за спиной, раболопно хихикающий, воняющий потом и чесноком, хотя никто не видел и не слышал, как он входил в комнату.

Едва переступив порог, Виньот понял, к чему клонится дело. Отец велел мне удалиться и нежно сказал Мишель, чтобы она шла в свою комнату и дожидалась, когда ее позовут. Я вышел в гостиную, но остался стоять у двери, меня буквально душило от волнения; и, как мне помнится сейчас, главную роль тут играла постыдная надежда на то, что Мишель разлучат с Жапом. А я, я стану, таким образом, связующим звеном между ними: захочу — и они смогут общаться, захочу — не смогут, а

самое важное все будет проходить под моим контролем. Конечно, все это было не так четко сформулировано, как формулирую я сейчас, но передумано, перечувствовано с невероятной силой. Поэтому-то я бросился как оглашенный за Виньотом и так затормозил этого осмотрительного мужчину, что он вынужден был, вопреки своей привычке, немедленно последовать за мной, не успев даже надеть «палито» (как он называл свою куртку). А теперь я стоял и подслушивал у двери.

— Этого я не говорил... А что видел, то видел... Нет, ясно, в хижину я не заглядывал. Сколько времени они сидели молча? А что они делали, если не говорили? Тут и смотреть нечего, и так все понятно... Может, в глаза друг дружке глядели? Дай-то бог... Мне-то что, мне-то все равно...

Я плохо слышал вопросы отца. Тона он не повысил, говорил так же медленно, как обычно. Время от времени он вставлял какое-нибудь местное словечко, и тогда я разбирал хоть что-то, потому что отец выделял его голосом из фразы. Он снова стал хозяином, которому нет нужды орать, который умеет привести в повиновение человека одной игрой интонаций. Мачеха пыталась что-то сказать, но он прерывал ее.

— Позвольте мне сначала кончить с Виньотом.

Словом, за дверью шел не спор, не дискуссия, а именно судилище. Когда отец замолкал, из затихшей столовой доносился лишь трубный звук — такова была манера Виньота сморкаться. Но тут мачеха распахнула дверь, и я едва успел отскочить. Она даже не удостоила меня взглядом. В соломенной шляпке, предназначавшейся для прогулок по саду и водруженной на шиньон, в белых митенках она вышла в прихожую, взяла свой зонтик и спустилась по лестнице с видом человека, не столько разгневанного, сколько поглощенного своими заботами. Позже, через некоторое время, я узнал от самой Мишель, что отец, как и раньше, проявил былой дух решимости, уже давно нами не наблюдавшийся.

Внешне он вроде бы встал на сторону жены, запретив Мишель не только ездить в Балюзак, но даже переписываться с Жаном. С удивлением я узнал, что запрет этот распространяется также и на меня. Для полной уверенности, что запрет его не будет нарушен, отец вплоть до нового распоряжения отобрал наши велосипеды. Молодую монахиню, наставницу частной школы, многим обязанную моим родителям, попросят во время летних каникул позаниматься с Мишель. В глубине души отец не заподозрил ни в чем худом свою любимицу дочку, что и

сказал ей сам, нежно целуя, а все эти строгие меры были приняты лишь с целью уберечь ее от сплетен и пересудов, так как жители Ларжюзона — люди жестокие и злоязычные. Мадам Брижит могла бы торжествовать, если бы отец одновременно не предложил Виньотам искать себе другое место. Удар был направлен прямо на их покровительницу. Напрасно Брижит твердила, что это дело опасное, что в лице Виньотов мы приобретаем себе врагов, причем врагов, хорошо против нас вооруженных. Но отец заявил, что он сумеет обезоружить Виньотов и что он располагает достаточно мощным средством, чтобы заткнуть им рот.

Таким образом, эта клевета, имевшая столь важные последствия для многих героев этой повести, имела все же одну положительную сторону, она вырвала — увы, на слишком короткий срок — нашего отца из состояния оцепенения, в каком он пребывал последние шесть лет. Брижит смогла убедиться в том, что на ее пути стал противник, которого она долгое время не принимала в расчет. Любовь ее мужа к Мишель была как бы продолжением его страсти к первой мадам Пиан. Так что дело тут, в сущности, было опять же в покойнице — вот что, без сомнения, поняла наша мачеха и вот чем можно объяснить ее поведение в последующие дни.

Во всех житейских обстоятельствах Брижит искренне стремилась к добру или по крайней мере была убеждена, что искренне к нему стремится: вот чего не следует упускать из виду, читая эти мемуары. Я мог бы окрасить ее образ совсем в другие тона, чем те, которыми она столь жестко обрисована на этих страницах. Конечно, я слишком близко соприкасался с ее жертвами, видел их страдания, но, описывая ее дела, самые, казалось бы, черные, было бы несправедливым поддаться искушению осветить эту грозную душу только под одним углом.

Необходимо напомнить, что, когда Брижит Майар еще до брака с моим отцом проводила почти каждое лето в Ларжюзоне, она оказалась причастной к одной из тех молчаливых супружеских драм, которые длятся до самой смерти без всяких внешних вспышек, без объяснений. Мой отец видел, как страдает обожаемое им существо, его первая жена Марта, как страдает она из-за другого мужчины, но ничем не мог ей помочь и лишь усугублял ее угрызения совести зрелищем своей собственной печали. Человек простой и не привычный к самоанализу, он обрел в лице Брижит проникательного толкователя. Он был связан

с ней тесными узами, но им суждено было порваться в силу обстоятельств, их же породивших. Брижит хвасталась тем, что спасла нашего отца от самоубийства; и в самом деле, в ту трудную минуту он уцелел лишь благодаря заботам внимательной конфидентки, которая не только следовала за ним по лабиринту мучительного испытания, но даже забежала вперед, как бы перекидывала мост между несчастным страдальцем и его женой, так как доводилась ей кузиной и подругой детства.

Сделавшись второй мадам Пиан, Брижит совершенно чисто-сердечно полагала главной своей обязанностью довести дело до конца, вырвав супруга из-под влияния покойницы, тем более что и сам-то он женился вторично только в надежде найти исцеление. Личная неприязнь, ревность, скрываемая ото всех, даже от самой себя, безусловно, определили в дальнейшем действия моей мачехи, но поначалу она имела право верить в свою миссию, возложенную на нее мужем.

Когда через несколько месяцев Брижит убедилась, что Марта по-прежнему царит в сердце ее мужа, царит силой добродетели, которая вопреки самой пылкой страсти, по-видимому, устояла, когда Брижит убедилась, что для нашего отца покойница окружена ореолом героизма, ибо способна была пойти на смерть ради любви, но не нарушить супружеского долга, мачеха решила, что в первую очередь следует установить, подлинный ли это ореол. В тот самый день, когда мужу будут представлены неоспоримые доказательства того, что первая мадам Пиан совершила прелюбодеяние, встала на путь добродетели лишь после того, как ее покинул любовник, и что, наконец, покончила с собой от отчаяния, — в тот день, по мнению Брижит, ее супруг сбросит с себя постыдное иго наваждения. А ведь еще задолго до того, как в руки ее попало неопровержимое свидетельство виновности Марты, вспоминая кое-какие ее признания, Брижит не сомневалась, что ее покойная кузина согрешила; и, возможно, страстное желание занять ее место объяснялось именно тем, что она могла заполучить улики, безнаказанно обшаривая комнаты, роясь в шкафах и ящиках секретеров.

Ей сопутствовала сказочная удача: в первые же недели супружества она нашла искомый документ, столь превосходивший все ее ожидания, что она сочла благоразумным хранить о нем полное молчание. Итак, как мы видим, Брижит Пиан была способна чувствовать жалость и подавила искушение поделиться своим открытием с мужем, ибо питала еще надежду исцелить его иными методами, не открывая ему глаз.

И верно, со времени отбытия Виньотов из Ларжюзона отец, казалось, полностью исцелился. Потерпев в этом пункте поражение, Брижит зато восторжествовала во всех прочих. Она могла только приветствовать принятое в скором времени решение отца: по возвращении в город Мишель отдадут на полный пансион к сестрам из Сакре-Кер, где до сих пор она была приходящей. (В глазах Октава Пиана это не было наказанием, а, напротив, наиболее надежным способом разлучить девочку с ее грозной мачехой.)

Итак, мадам Брижит могла бы чувствовать себя полностью удовлетворенной, если бы не одно обстоятельство: в лице дочери отец защищал свою покойную жену. Возвращение к жизни Октава закрепило победу, но победу не Брижит, а Марты: той, которой он принадлежал на веки веков. Вот она, бесспорная истина, которую прозревала своим смятенным умом наша мачеха, и это открытие побудило ее, пусть с запозданием, взорвать мину замедленного действия.

Тем временем за нами с сестрой было установлено строжайшее наблюдение. На нашу беду, барышня на почте, тоже из подопечных мадам Брижит, получила, очевидно, недвусмысленное распоряжение относительно нашей корреспонденции. Все письма, адресованные в Ларжюзон, должны были оставаться до утра в почтовой конторе, а почтальону их вручали только утром следующего дня; каждый конверт, уходивший от нас, тоже не миновал взгляда мачехи.

Таким образом, Мишель могла рассчитывать только на меня как связного между ней и Жаном. Не то что она хотела нарушить слово, данное отцу — не переписываться с Жаном, — просто она задумала передать ему золотой медальон в форме сердечка, который носила на груди и где хранилась прядка маминых волос. Я был неприятно поражен тем, что сестра решилась расстаться с дорогой нам обоим реликвией ради Мирбеля и не особенно-то рвался предпринять пешеходное путешествие, длинное и утомительное еще и потому, что пришлось бы идти в обход городка из страха, что меня увидят и донесут родителям. К тому же столь долгое отсутствие непременно насторожило бы мачеху, которая стала относиться ко мне с удвоенной заботой, лишенной всякого оттенка недоброжелательства; случалось, она привлекала меня к себе на грудь, откидывала челку с моего лба и с глубоким вздохом шептала: «Бедный, бедный ребенок!»

Чем сильнее настаивала Мишель, тем больше я упирался, не желая рисковать. Последние недели каникул были, таким образом, окончательно испорчены нашими вечными и бессмысленными спорами. Я не сумел воспользоваться счастливым случаем и провести с сестрой эти долгие дни, о которых мне так сладостно мечталось, хотя теперь между нами никто не стоял. А с Мирбелем, думал я, мы увидимся осенью в коллеже. Тогда я не знал, что он проведет весь год в Балюзаке. Хотя я и рисовал себе самые мрачные картины относительно моей дальнейшей участи, она была мне неизвестна. Я льстил себя надеждой, что в коллеже Мирбель будет безраздельно принадлежать мне одному. Ясно, я буду ему особенно мил как брат Мишель. Но они не увидятся больше, не смогут переписываться, а я по-прежнему буду с ним: единственный соученик, который что-то будет значить в глазах Мирбеля.

Как-то, дело было в сентябре, часов около четырех в конце аллеи показался священник на велосипеде. Мишель крикнула: «Аббат Калю едет!» Брижит тут же велела нам удалиться в свои комнаты, и, так как Мишель заупрямилась, отец сурово повторил приказание мачехи. Сам он тоже остался встречать аббата, что было явным нарушением его привычек — стоило слуге доложить о приезде гостей, как папа немедленно запирался у себя в кабинете. Само собой разумеется, он хотел быть уверенным в том, что его супруга не наговорит на Мишель лишнего, помимо того, о чем было между ними условлено. Я лично не был свидетелем этой встречи и поэтому приведу страницу из дневника господина Калю, который записал эту сцену в тот же вечер. (Я сохраняю в неприкосновенности его сухой и сдержанный тон.)

«Поразительная женщина, чудо извращенности. Видимость зла в ее глазах и есть зло в той же мере, в какой ей выгоднее так считать. Натура глубокая, но сродни живорыбному садку, где легко проследить любой взмах рыбьего хвоста; так и в случае с мадам Брижит можно невооруженным глазом увидеть самые тайные мотивы ее действий. Если когда-нибудь безапелляционность ее суждений и моральных приговоров обернется против нее самой, какие же ждут ее муки!

Шокирована тем, что я выступаю в роли адвоката этих двух ребятишек и считаю, что для Жана первая его любовь — огромное благо. Поджав губы, она обзывает меня «савойским вика-

рием» *. Я набрался храбрости и предостерег ее против предрезостного толкования божьей воли, чем слишком часто злоупотребляют люди благочестивые. Но дорого же мне обошлась моя неосторожная критика, задевшая рикошетом и священнослужителей! С этих выигрышных позиций милейшая дама обрушилась на меня с упреками, что я, мол, отрицаю за церковь ее право на поучение; и я уже представляю себе письмо-донос, которое она вполне способна настрочить в епархию! Мадам Брижит не так старается вникнуть в наши мысли, как запомнить из чужих речей то, что, по ее мнению, может скомпрометировать человека в глазах начальства, а при надобности и вообще погубить. Я ей об этом сказал, и мы расстались, обменявшись поклонами: я поклонился ей почтительно, но весьма сухо, а она просто кивнула, почти невежливо.

На обратном пути из-за кустов, росших у ворот, вдруг вылезает вся пунцовая, не смеющая поднять глаз Мишель. Я сошел с велосипеда. Она сказала:

— Вы поверили ей?

— Нет, Мишель, не поверил.

— Господин кюре, я хочу, чтобы вы знали... Если бы я вам исповедовалась... Я бы ничего не могла сказать плохого о Жане.

Она залилась слезами. Я пробормотал что-то вроде: «Да благословит вас обоих господь бог».

— Скажите ему, что я не могу с ним видаться, не могу ему писать, что осенью меня отдадут в пансион... А как за мной следят! Знаете, какие распоряжения даны на мой счет... Но все равно, скажите Жану, что я буду его ждать, сколько бы ни потребовалось... Скажете?

Я попытался пошутить:

— Странное поручение для старого священника, Мишель!

— Старый священник!.. Кроме меня, вы один на всем свете его любите,— сказала она это как нечто само собой разумеющееся, как самую простую, самую очевидную вещь. Я не нашелся, что ответить. И даже невольно отвернулся. Потом она вручила мне для Жана сверточек.

— Я дала папе слово не писать Жану, но ведь к сувенирам это не относится. Скажите ему, что это самое-самое ценное, что

* «Исповедание веры Савойского викария» — один из разделов романа Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании», проповедующий особую религию, отвечающую требованиям природы и естественных человеческих чувств.

у меня есть. Пусть хранит, пока мы с ним не встретимся. Скажите ему...

Но тут она махнула мне рукой, чтобы я скорее уезжал, а сама нырнула в кусты: за деревьями белел рогатый чепец монашки».

Аббат Калю застал Жана там, где его оставил, мальчик полулежал в шезлонге у западной стены дома. На коленях валялась открытая книга, но он не читал.

— Ну и надделал же ты шуму в Ларжюзоне, мальчуган!

— Вы были в Ларжюзоне?

Мирбель попытался придать себе равнодушный, почти отсутствующий вид, но ему это плохо удавалось.

— Да, был, и мамаша Брижит такого там натворила. Вообрази себе, что Мишель...

При первых же словах аббата Жан не сдержался и воскликнул:

— Она могла бы мне ответить. Когда любишь, нарушаешь все запреты, всем рискуешь...

— Она же еще девочка, Жан, но самая храбрая девочка, какую я когда-либо видел.

Не глядя на Кюре, Жан осведомился, говорил ли тот с ней.

— Говорил, но всего несколько минут. И хорошо запомнил, что она просила тебе передать: она не может с тобой видаться, не может тебе писать, а с осени будет жить в пансионе Сакре-Кер. Но она будет ждать тебя годы, если потребуется.

Кюре говорил монотонным голосом, как ученик, отвечающий хорошо вызубренный урок: каждое слово как бы приобретало особый вес.

— А еще? Это все?

— Нет, не все. Она просила меня передать тебе вот это... И сказала, что это самое ценное, что у нее есть, и просила хранить до тех пор, пока вы не встретитесь.

— А что это такое?

Кюре и сам не знал. Положив пакетик на колени Жана, он вошел в дом. Через неплотно закрытые ставни он видел, как Жан, не отрываясь, смотрит на маленькое позолоченное сердечко, лежавшее вместе с цепочкой у него на ладони, как потом он поднес медальон к губам таким жестом, словно хотел его выпить.

Кюре присел к столу, открыл рукопись «Теория веры у Декарта» и несколько раз прочел последний параграф. Но сосре-

доточиться ему не удалось, и он снова подошел к окну. Мирбель лежал, закрыв лицо обеими руками; и можно было не сомневаться, что медальон покоится в углублении его ладоней и касается его губ.

Вот уже два дня Жан выходил в столовую к завтраку и обеду. Итак, он явился ровно в семь, сел напротив кюре, но сегодня тоже, как и обычно, упорно молчал. (Господин Калю с некоторых пор взял привычку читать за едой журнал или газету и нарочно клал их возле своего прибора.) Однако, когда подали суп, он заметил, что Жан исподтишка наблюдает за ним. Если Жан до сих пор молчит, значит, он робеет, смущен, не знает, как приступить к разговору. Но, с другой стороны, кюре боялся, как бы не спугнуть его неловким словом. Поэтому, должно быть, он больше обращал внимание на то, с аппетитом ли ест Жан: последнее время мальчик стал очень разборчив в еде. Когда после обеда они снова уселись возле дома, кюре спросил, что бы такое приготовить ему на завтра вкусенькое. Жан ответил, что ему ничего особенного не хочется, но ответил без своей обычной запальчивости. И вдруг спросил в упор:

— А вас действительно так уж интересует мое здоровье?

— Да будет тебе, Жан!

Но Жан совсем по-ребячески буркнул «нет, кроме шуток», сел на свой шезлонг и взял за руку стоявшего рядом аббата. И, не глядя на него, проговорил:

— Я с вами вел себя как свинья... А вы, вы... То, что вы сделали сегодня...

Он заплакал взхлеб, как плачут дети, не стыдясь своих слез. Господин Калю присел рядом с ним и взял его руки в свои.

— Вы не знаете, не можете знать... Если Мишель меня бросит, я убью себя... Не верите?

— Нет, почему же, малыш, верю.

— Правда, верите?

Как нуждался Жан в доверии, как хотелось ему, чтобы верили его слову!

— Я сразу понял, что это серьезно.

И так как Жан вполголоса начал: «Неужели все это мне не пригрезилось? Неужели в Балозе я действительно это видел?», аббат прервал его:

— Не рассказывай мне ничего, если тебе будет слишком больно.

— Знаете, она нам все соврала. Все это выдумки, что она ночевала в Валландро. Она сняла себе номер в гостинице «Гарбе» в Балозе.

— Все женщины говорят одно, а делают другое — это уж известно...

— Но она была не одна... Там она встретила с одним типом. Я видел их ночью у окна.

Он их видел, и его устремленные в одну точку глаза все еще видели их. Аббат Калю нежно взял его голову в ладони и тихонечко встряхнул, словно желая пробудить ото сна.

— Никогда не следует вмешиваться в чужую жизнь вопреки желанию людей, запомни этот урок навсегда, мальчик. И никогда не следует открывать дверь ни в их вторую, ни в их третью жизнь, известную одному лишь господу богу. И никогда не следует оборачиваться на тайный град, на тот проклятый, на тот чужой град, если не хочешь обратиться в соляной столп...

Но Жан заупрямился и с блуждающим взором рассказывал и рассказывал о том, что он до сих пор еще видел и будет видеть до последнего своего часа.

— Мужчина, почти старик... Я его знаю: он из Парижа, пьески пишет... Волосы крашенные, сам брюхатый, а рот... Фу, гадость!..

— А ты скажи себе, что для нее он воплощение ума, таланта, красоты. Любить человека — значит видеть в нем чудо, невидимое для всех прочих и видимое только тебе одному... Пора возвращаться в дом, — помолчав, добавил он. — Теперь быстро темнеет, а ты легко одет.

Мирбель покорно поплелся вслед за кюре. А тот довел мальчика под руку до библиотеки, которая служила аббату спальней, и Жан прилег на его постель. Господин Калю зажег лампу и пододвинул к постели кресло.

— А они? — спросил он. — Они тебя видели?

— Нет, я сидел на карнизе собора, там было темно. Да и уехал я до рассвета. Потом спал в стогу. Если бы вы меня не нашли, я, пожалуй, окошел бы на дороге, как паршивый пес. Когда я подумаю, что вы для меня сделали...

— А что же, по-твоему, я должен был ждать твоего возвращения в постели, так, что ли? Я взялся тебя воспитывать, значит, я за тебя отвечаю. Вообрази, каких неприятностей мне бы это стоило...

— Но ведь вы же не поэтому? Не только поэтому?

— Вот-то дурачок!

— Потому что вы немножко меня любите, да?

— Будто Жана де Мирбеля любит только один старик кюре!

— Правда? Нет, это невозможно!

— Взгляни на это золотое сердечко... Куда ты его дел? Надел на шею, как она раньше надевала? Носишь на груди? Да-да, носи его на груди, там его место, пусть ты всегда его чувствуешь, пусть в тяжелую минуту тебе достаточно будет коснуться его рукой.

— Но она же еще совсем девочка, она меня не знает, не знает, какой я, она даже понять меня не может, до того она чистая, даже если бы я пытался ей объяснить... И вы, вы тоже не знаете, что я делал...

Аббат Калю положил ему ладонь на лоб.

— Ясно, ты не святой, ты не из породы праведников. Но ради таких-то, как ты, и сошел Христос на землю, чтобы найти их и спасти. Мишель любит тебя таким, каков ты есть, так же как господь любит тебя таким, каким тебя создал.

— А мама меня не любит.

— Просто страсть помешала ей ощутить всю силу своей любви к тебе. Но любить тебя она любит.

— А я ее ненавижу.

Слова эти Жан произнес с натугой, неестественным тоном, к которому он нет-нет, да и прибегал.

— Думаете, я шучу? Нет, правда, правда, я ее ненавижу.

— Верю, так ненавидят тех, кого любят. Наш отец небесный возжелал, чтобы мы любили врагов наших; и подчас это гораздо легче, чем не возненавидеть тех, кого мы любим.

— Да,— подтвердил Жан,— потому что они причиняют нам слишком много боли.

Он прислонился виском к плечу кюре и тихо добавил:

— Если бы вы только знали, как мне было больно... И даже сейчас еще больно, каждый час, каждую минуту, словно я трогаю незажившую рану. Я так мучаюсь, что хоть в крик кричи, хоть умирай...

— Послушай, мальчик, женщинам надо многое прощать... Я не могу тебе сейчас объяснить, почему именно. Ты поймешь меня позже, ведь и ты сам, быть может, причинишь им немало зла... Даже те, которые внешне имеют все, что только можно пожелать, и те заслуживают нашей жалости... Не той смутной жалости, жалости сообщника, а жалости Христовой, человеческой

и божьей, так как бог знает, из какой нечистой глины он вылепил свое создание. Но еще не время нам с тобой говорить о таких вещах.

— Я уже не ребенок, вы сами знаете!

— Да, ты уже мужчина, возраст измеряется страданиями.

— Ох, значит, вы понимаете...

Долго еще они беседовали, священник и мальчик, даже после того, как Жан уже лег по-настоящему у себя в комнате. И когда сон неодолимо смежал его веки, Жан попросил аббата не уходить из комнаты, пока он совсем не заснет, и прочитать здесь свои молитвы.

Х

Меня разбудило пение петуха. Неужели уже рассвело? Я чиркнул спичкой: пяти еще не было. Я решил подождать еще немного. Как ни умоляла меня Мишель сходить в Балюзак, я ее просьбу не выполнял, а вот сегодня утром решил отправиться туда по собственному почину. Вчера вечером, после отъезда господина Калю, я узнал от мачехи, что Жан де Мирбель не вернется в этом году в коллеж. Заметила ли она, что я вздрогнул всем телом? Попыла ли, что наносит жестокий удар этому бледненькому мальчику, который старался казаться равнодушным? Так или иначе, она добавила, что это меняет ее планы, что вначале она с согласия моего отца решила отдать меня пансионером в какое-нибудь другое училище, дабы избавить меня от дурного влияния этой заблудшей овцы, но сейчас в этом надобности нет. Не увижу я в коллеже и господина Пюибаро, но мачеха может только радоваться тому, что он ушел. Я и без того чересчур склонен к сентиментальности, поэтому господин Пюибаро гибельный для меня наставник.

Жан в Балюзаке, Мишель в пансионе. А я-то, я? В тот день я впервые увидел открытый лик своего извечного врага — одиночества, с которым мы теперь прекрасно уживаемся. Мы притерлись друг к другу: оно наносило мне все мыслимые удары, и уже не осталось у меня живого места, куда бы можно было еще ударить. Я не избежал ни одной из его ловушек. Сейчас этот мучитель отвязался от меня. Мы сидим друг против друга у камина, мы помешиваем дрова длинными зимними вечерами, когда стук сорвавшейся с ветки сосновой шишки, рыдание ночной птицы столько же говорят моему сердцу, как человеческий голос.

Любой ценой увидеть Жана, увидеть в последний раз... Мы условимся, куда и как нам писать друг другу... Мне-то писать ему нетрудно, а вот куда ему посылать письма, адресованные мне? Как получают письма до востребования? Увидеть его в последний раз, убедиться, что я еще для него существую и что Мишель не окончательно вытеснила меня. Розы на оконных занавесках чуть зазелели: значит, рассветает. Я оделся, стараясь не дышать. Паркет не скрипнул под моей ногой, всего только стена отделяла меня от огромной спальни родителей, где две кровати красного дерева, кровати мсье и мадам Пиан, были поставлены как можно дальше одна от другой.

Дверь тоже открылась бесшумно. Правда, ступенька скрипнула, но Брижит таким пустяком не разбудишь. Я решил пройти через кухню — так я мог быть уверен, что меня не услышат. В кухне на оконнице висел ключ от входной двери.

— Куда это ты в такую рань?

Я еле сдержал крик, готовый сорваться с губ.

Она стояла на верхнем марше лестницы, облитая утренним светом, падавшим из окошка на крыше, неестественно прямая в своем халате аметистового цвета. Толщенная коса, похожая на жирную змею с перевязанной красной ленточкой мордой, свисала до пояса.

— Куда ты собрался? А? Отвечай.

Я и не собирался врать. Все равно я рта открыть не успею, а она уже все узнает. К тому же с отчаяния я совсем ослабел. Именно отчаяние и спасло меня, другими словами, я решил сыграть на своей чувствительности, граничащей с истерией, проявления которой пугались даже самые грозные особы, и, вместо того чтобы подвергнуть меня наказанию, начинали еще возиться со мной, как с больным. Итак, я захрипел, стал задыхаться; я даже слишком преуспел в своих стараниях, но остановиться уже не мог. Брижит легко подхватила меня своими мощными руками и отнесла к себе в спальню, отец проснулся от шума, сел на постели и глядел на нас так, словно видел еще какой-то мучительный кошмар.

— Ну-ну, успокойся, я же тебя не съем. Вот, выпей глоток — это флердоранжевая вода.

Мачеха уложила меня на свою постель. Я твердил, заикаясь:

— Потому что я никогда больше его не увижу... Я хотел с ним попрощаться...

— Речь идет о Мирбеле, — пояснила Брижит отцу. — Вот до чего дошло! Я уже начинаю думать, не слишком ли поздно при-

нимать меры. Патологическая чувствительность! Бедный ребенок, какая тяжелая наследственность,— пробормотала она вполголоса.

— К чему говорить при нем о наследственности? — так же тихо сказал отец. — На что вы намекаете?

— Действительно намекаю! Намекать — это как раз в моем стиле!

— А разве не в вашем? — Отец язвительно хихикнул и, покачивая головой, повторил: — Разве не в вашем?

Впервые в жизни я видел папу таким бледным, он сидел на кровати, и его ноги, поросшие густой черной шерстью, не доставали до пола. Толстые, синие, вздувшиеся вены оплетали его икры от колен до отекавших лодыжек. Из растянутого ворота рубахи торчали серые пучки волос. Ноги были чудовищно худые, даже какие-то болезненно тощие. Брижит стояла в своем епископском облачении, с гладко зачесанными над выпуклым лбом волосами, с толстой, жирной и блестящей косой и не спускала с мужа подозрительного, злобного взгляда.

Отец поднялся, взял меня на руки и отнес в мою кровать. Я рыдал, уткнувшись ему в сорочку. Он подоткнул под меня одеяло. Хмурое солнце пробивалось в спальню через отверстия в ставне, вырезанные в форме лилий. До сих пор у меня в ушах звучит его голос: «Вытри глаза, дурачок, высморкайся и спи», и, откинув волосы с моего лба, он пристально посмотрел на меня, словно увидел впервые.

Я мог бы никогда не узнать того, о чем расскажу сейчас (с чувством ужасной неловкости и стыда, но я должен это сделать...), и в самом деле я так ничего и не знал до конца первой мировой войны, когда я помирился с дядей Мулисом, братом покойной матери, с которым я никогда не встречался из-за какой-то семейной ссоры, впрочем, подробности ее не так уж важны. Он обожал свою сестру Марту и перед смертью выразил желание повидать меня. Он был, как и наш дедушка, городским архитектором. До самой старости на нем лежал отпечаток того, что моя мачеха с отвращением именovala «богемщиной, актерскими штучками» и обличала эту атмосферу развращенности, в которой, по ее словам, выросла мама, что в конце концов и погубило ее. Дядя, старый холостяк и циник, сообщил мне с запозданием более чем на двадцать лет обстоятельства, сопровождавшие мое появление на свет. Не то чтобы он мог с полной уверенностью утверждать, что я не сын Октава Пиана, но он

считал более чем вероятным, что я обязан жизнью двоюродному брату мамы, некоему Альфреду Мулису, «прекрасному, как бог», по выражению дяди (он показал мне его фотографию, но никакой красоты я не заметил и не испытал никакого удовольствия при мысли, что рожден от этого курчавого малого с бараньей физиономией). С самого раннего детства он боготворил свою кузину, и она отвечала ему тем же. Больше я на эту неприятную тему распространяться не намерен и сообщу только самое существенное, а именно то, что содержалось в бумагах, обнаруженных моей мачехой в первый год ее замужества.

Если верить дяде Мулису, это была как бы своего рода памятка, написанная маминой рукой, где сопоставлялись даты, шли подсчеты, и из них-то выходило, что если я сын Октава, то появился на свет божий на два месяца раньше срока, и действительно, при рождении я весил много меньше нормальных детей, меня заворачивали в вату, и вообще со мной много намучились. Но с какой целью все это писалось? Очевидно, это был черновик письма, во всяком случае, такого мнения придерживался дядя, хотя полной уверенности у него не было.

Но Октав Пиан имел причину сомневаться в том, что я его родной сын, он считал, что причина эта известна лишь ему одному, и обнаруженный мачехой документ подтверждал эти сомнения. Дядя Мулис знал о нем от своей сестры... Трудно, очень трудно касаться такой щекотливой темы, приходится прибегать к обинякам! Короче, из слов дяди я понял, что Октав принадлежал к тому довольно распространенному типу мужчин, которых, так сказать, парализует избыток любви: попытка жестокая, особенно если твою страсть не разделяют и на твое смехотворное отчаяние смотрят холодным или насмешливым взглядом...

Мне хотелось бы, чтобы читатель почувствовал, с каким отращиванием я пишу о таких вещах, но именно это доказывает, что пишу я невымышленную историю, ибо романист инстинктивно избегает подобных положений, способных внушить ужас. Но коль скоро мы отрываемся от вымысла и идем по следам судеб, реально пересекавшихся с нашей, мы на каждом шагу наталкиваемся на эту скудость чувств, на отклонения или, хуже того, на неполноценность, которой особенно непереносимо касаться тем из нас, кто так или иначе стал ее жертвой. Ренан как-то сказал, что истина, должно быть, печальна: он рассматривал истину в метафизическом плане. Но в сфере человеческой истина не просто печальна, но еще и смешна, постыдна, до того

постыдна, что и говорить о ней не хочется из простого чувства безразличности. Поэтому ее обходят молчанием и требуется скандальный бракоразводный процесс или обращение к папскому суду, чтобы она стала достоянием публики.

В октябре мы с мачехой вернулись в город, а Октав Пиан остался в Ларжюзоне. Супруги расстались окончательно, без предварительного сговора: это вышло как-то само собой. Отец, еще не державший в руках вышеупомянутого документа (забытого как бы случайно в ящике его ночного столика и, следовательно, вот-вот могущего попасться ему на глаза), был соответственным образом подготовлен и даже, я бы сказал, напичкован Брижит и поэтому расстался со мной без сожаления и явно предпочел одинокое пребывание зимой в деревне постоянному присутствию этой ненавистной ему женщины и сына, один вид которого пробуждал в нем тревогу. В моей памяти он так и остался вновь влившимся в состояние оцепенения, в какую-то дремотную вялость, из которой он вышел только на несколько дней, чтобы защитить Мишель. Очевидно, именно в это время он начал пить, но окончательно опустил только после нашего отъезда.

Мишель отдали пансионеркой в Сакре-Кер, и мы с мачехой остались вдвоем. Два года до окончания моего учения прошли безрадостно, но я мучился не так сильно, как предполагал раньше. Учился я легко, и Брижит не доставлял никаких хлопот этот неразговорчивый мальчик, который без всякого понукания сидит целыми вечерами над уроками или готовится к контрольной работе. В первый год отец приезжал из деревни раз в месяц, в тот день, когда из Сакре-Кер выпускали Мишель. Он возил нас с ней завтракать в ресторан. До сих пор помню чувство наслаждения, какое я испытывал, выбирая по карточке самые любимые мои блюда: устрицы, филе из зайца, гусиное рагу с бобами в горшочке. Уверенность в том, что Жан и Мишель разлучены, и, конечно, навсегда, словно бы усыпила мою к ним любовь и в то же время ревность, просыпавшуюся лишь на короткий миг: чтобы любить и осознавать свою любовь, мне всю жизнь необходимо было страдать.

Здесь я хочу рассказать о двух эпизодах, из-за которых моя дружба с Мирбелем застыла на мертвой точке. Однажды вечером я вернулся из коллежа, было это еще в первую зиму нашего пребывания в городе, и мачеха, не подымая глаз от книги,

буркнула: «Тебе письмо». Но меня не так-то легко было обмануть этим показным равнодушием. «Это от Мирбеля»,— заявил я, взглянув на конверт. И тотчас с той бессознательной хитростью, к которой нередко прибегают дети, желая умаслить и обвести вокруг пальца самых несговорчивых родителей, я невинно спросил: «Можно прочитать?» Сначала Брижит Пиап неопределенно качнула головой, потом заявила, что полагается на меня и, если я считаю, что должен показать ей письмо, я сам его покажу. И пока я разбирал каракули Жана де Мирбеля, мачеха ни разу не взглянула в мою сторону, а он писал о «собачьей жизни», которую ему приходится вести в Балюзаке, о том, что от такой жизни «впору пустить себе пулю в лоб», умолял меня сообщить ему хоть что-то о Мишель: «И возможно, ей самой удастся приписать в конце твоего письма несколько слов. Я буду ужасно рад, и, по-моему, это ничуть не нарушит данного ею слова. Скажи ей, даже и представить себе нельзя, что значит жить в мерзком поселке, затерянном среди сосен, с глазу на глаз со стариком священником, хотя он, ничего не могу сказать, чудесный малый и делает для меня все, что может. Но я-то, я отнюдь не чудесный, вот в чем беда. Скажи ей, что всего три строчки, и я буду на вершине блаженства. Она даже, увы, вообразить не может, как они мне помогут...»

Помню, какая холодная злоба охватила меня, когда я кончил читать письмо Мирбеля и не обнаружил ни слова, обращенного непосредственно ко мне. Гнев пересилил печаль. Раз так, то лучше не думать о Жана, лучше сбросить его со счетов... Не слишком часто в жизни мне предстояло испытать это чувство, это внезапно подкатывающееся к сердцу желание начисто порвать с людьми, забыть о них! Я протянул письмо мачехе, и она начала не торопясь читать, а дочитав, аккуратно сложила и показала в улыбке свои лошадиные зубы.

— Настоятельница, — сказала она, — вручила мне целый пакет писем от этого господина. Ибо у него хватает глупости отправлять свои послания Мишель прямо на адрес монастыря, и, ты подумай только, каждое письмо начинается слезной просьбой к настоятельнице или к той сестре, которая первой вскроет конверт, дать прочесть это письмо Мишель! Что и доказывает, — поучительно добавила она, — что развращенность может идти рука об руку с глупостью и они прекрасно между собой уживаются.

С этими словами она бросила письмо Жана в камин, предала его всеистребляющему пламени.

Что касается второго эпизода, то я не уверен, можно ли сблизить его по времени с первым. Скорее всего, мне кажется, встреча с аббатом Калю произошла зимой следующего года. Однажды в четверг, когда я вышел из дому, кто-то окликнул меня. Я сразу узнал аббата Калю, хотя он сильно похудел. На костлявых плечах свободно болталась поношенная сутана. Очевидно, он поджидал меня. Так как я сообщил ему, что иду в книжную лавку Фере, он вызвался меня проводить.

— Вот-то Жан обрадуется, когда я вечером расскажу ему, что встретился с тобой!

— Ну, как он поживает, хорошо? — с равнодушным видом спросил я.

— Нет, — сказал аббат Калю, — нет, нехорошо ему, бедняге.

Кюре ждал моих вопросов, но зря ждал, так как я остановился у дверей магазина Фере и начал листать старые книги, выставленные прямо под открытым небом. Неужели же я был тогда до такой степени черствым? Не думаю, так как прекрасно заметил искаженное горем лицо склонившегося надо мной кюре, и еще до сих пор, после стольких лет, воспоминание об этих минутах больно мучает мою совесть.

— Если уж говорить начистоту, он, наш Жан, меня сильно беспокоит. Нынешний год он даже в Ла-Девиз поехать не смог, его мать укатила на всю зиму в Египет. Конечно, работает он много, ну, охотится. В октябре я устроил для него охоту на вяхирей. И вообрази, он сбил сто сорок семь штук. Подыскал я ему даже лошадь, представь себе, на мельнице у Дюбюша, правда, кляча изрядная, но все-таки кататься верхом вполне можно. Знаешь, чего ему не хватает? Общества...

— А вы? — простодушно спросил я.

— Ну, я...

Он неопределенно махнул рукой и ничего не сказал. Без сомнения, он уже давно понял всю глубину своего бессилия, он не располагал ничем, что требовалось для счастья мальчика в возрасте Жана. И его образованность, и еще в большей степени его нежность не имели никакой цены в глазах Жана. Да и кем иным он мог быть в глазах подростка, как не тюремщиком, и особенно остро аббат чувствовал это, когда вечерами заставлял Жана на кухне у горячей печки, притулившегося на соломенном стуле, на том самом месте, где мальчик усаживался сразу после завтрака, и на коленях у него лежала все та же книга, открытая все на той же странице. Жан даже не подымал на аббата своего хмурого лица. Кататься верхом одному стало

ему неинтересно, особенно на такой старой кляче. Когда же по возвращении домой кюре не заставал Жана дома, он догадывался, где его воспитанник ищет убежища. Тогда я еще не знал этой второй причины беспокойства аббата: Жан часто засиживался в аптеке у этой мадам Вуайо, которая была открытым врагом аббата. После окончания уроков туда заглядывали школьный учитель и учительница. В комнате за аптекой пили кофе и комментировали статьи Жореса или Эрве.

Хотя я отлично понимал, к чему ведет аббат, я ни словом ему не помог, и он перешел к щекотливой теме без предварительной подготовки.

— Очень сожалею, что я погорячился тогда в разговоре с мадам Пиан,— сказал он.— Впрочем, полагаю, что она не способна долго хранить на кого-нибудь зло, и уверен, что то решение, которое она приняла относительно Мишель и Жана, продиктовано самыми высокими побуждениями. Поэтому-то я не буду их оспаривать, я просто положился на ее благоразумие. Но как тебе самому кажется, дитя мое, не могла бы Мишель время от времени посылать письмецо балюзакскому аббату? Чего же тут худого? Пусть даже привета Жану не передает, пусть просто напишет мне два словечка о том, как ей живется, и это уже будет для твоего друга огромной поддержкой. Скажу больше, Луи,— тут он почти зашептал мне в ухо,— это может стать для него спасением. Потому что дело идет о том, что его надо спасать... понимаешь?

Я видел совсем близко его детски-умоляющий взгляд и чувствовал его кислое дыхание. Нет, я ничего не понимал, и все-таки на сей раз я растрогался, но склонился на просьбу ради кюре, а вовсе не ради Жана. Кюре взял с меня слово, что я передам Мишель его поручение, и я избавил своего собеседника от неприятной обязанности просить меня не передавать мачехе наш разговор: я по собственному почину заверил его, что буду молчать. Он охватил своей огромной пятерней мой затылок и прижал мое лицо к своей грязноватой сутане. Я проводил его до трамвайной остановки. Пассажиры на задней площадке казались по сравнению с ним чуть ли не карликами.

Переписка между аббатом Калю и Мишель, переписка, которая могла бы предотвратить или хотя бы отсрочить немало бед, прервалась на третьем же послании: Мишель имела неосторожность вручить письмо для отправки своей соученице из приходящих, потому что, естественно, не могла сдерживать своих чувств и писала только Жану, хотя на конверте стоял адрес

аббата. Письмо перехватили монахини и вручили его Брижит Пиан, которая сама рассказала мне об этом происшествии, причем даже не особенно винила Мишель.

— Это священник ввел ее в искушение,— говорила она.— Я в этом ни минуты не сомневаюсь, и, хотя случай из ряда выходящий, я вымолила прощение твоей сестре; должна признать, настоятельница проявила подлинное великодушие. А дело аббата Калю пухнет с каждым днем,— добавила она с чувством невольной радости,— и как раз это письмо будет главным обвинительным документом...

Итак, она уже дошла до того, что стала думать при мне вслух. Любила ли она меня? Долгое время я был уверен, что в моем лице она лелеет и холит живое доказательство греха первой мадам Пиан. Но теперь я склонен считать, что она питала в отношении меня ту привязанность, на какую только была способна, и что я в какой-то мере затрагивал ее материнский инстинкт, который заложен в лоне даже самых бесчувственных женщин.

XI

В те два года мое существование было теснейшим образом связано с Брижит Пиан. Наши спальни разделяла только маленькая гостиная, где она работала и принимала посетителей. Дверь почти никогда не запиралась, мате́ха захлопывала ее лишь в тех случаях, когда в гостиную кто-нибудь входил. Но стоило ей чуть поднять голос — а голос у нее от природы был зычный,— и я без труда слышал все разговоры, особенно зимой, когда не раскрывали окон и с Интендантского бульвара до нас доходил только глухой шум.

Когда я узнавал голос господина Пюибаро, я нередко, хотя и не всегда, под каким-нибудь предлогом выходил из своей комнаты поздороваться с ним, но гораздо чаще он заглядывал ко мне, чтобы перед уходом меня поцеловать. Мое обращение с ним изменилось одновременно с тем, как изменилось его положение в свете. Этот бедный, тощий человек в дешевеньком пальтишке, плохо защищавшем от холода, купленном в магазине готового платья, в нечищенных ботинках не мог внушить мне того чувства уважения, какое внушал моему любимчику классный наставник, облаченный в добротный сюртук.

Справедливости ради добавлю, что вид его возбуждал во мне

жалость или по крайней мере ощущение какой-то неловкости, которое мы испытываем при виде нашего нищенствующего брата и которое мы привыкли считать жалостью. Но когда я размышлял о несчастьях, выпавших на долю господина Пюибаро, признаюсь, я в какой-то мере разделял отношение к нему Брижит Пиан и чуточку презирал его за то, что он мог поддаться искушению, смысл коего был мне еще не ясен, но уже и тогда я склонен был относиться к таким вещам с гадливостью и подозрением. Возможно, я не испытывал бы такой брезгливости к явным признакам его падения, если бы в моих глазах они не были связаны с вопросами высшего порядка и если бы господин Пюибаро, женившись на Октавии, не отказался от своего положения лица полудуховного звания добровольно. Впрочем, тогдашняя моя точка зрения мало в чем изменилась: до сих пор я считаю, что все наши беды идут оттого, что мы не способны сохранить свою чистоту и что человечество, храня чистоту, избежало бы множества несчастий, гнетущих нас (даже тех, которые внешне не имеют прямого отношения к плотским страстям). Лишь очень малое число людей дало мне подлинное представление о благах любви и добра, и это были именно те, которые умели властвовать над своим сердцем и биением своей крови.

Господин Пюибаро являлся каждые две недели к моей мачехе за пособием, на это пособие и жила молодая чета. А остальное время он бегал по городу в поисках места, но место все не находилось. Октавия забеременела, но, так как врачи опасались выкидыша, ей пришлось до родов лежать в постели, и она не могла обходиться без чужой помощи. Говорили, что каждое утро к ним приходит монашенка из монастыря Успения Богоматери и ведет их хозяйство. Больше ничего об этих несчастных я не знал да, признаться, и не слишком часто думал о них.

Однако я заметил, что всякий раз, когда дважды в месяц Пюибаро являлся к нам и если визит его оканчивался вручением пресловутого конверта, между моим бывшим наставником и моей мачехой велись вполголоса долгие споры, изредка прерываемые глухими возгласами. В голосе Пюибаро преобладали настойчивые, умоляющие ноты, а мачеха отвечала обычным своим упрямым тоном отказа и отрицания, столь хорошо мне знакомым. А иногда говорила только она одна тоном человека, диктующего свои законы существу низшему, вынужденному

помалкивать. «Вы отлично знаете, что так оно и будет, раз я того хочу, и вам придется подчиниться,— крикнула она однажды так громко, что я расслышал каждое ее слово.— Я сказала, я того хочу, однако я плохо выразилась, ибо мы не должны делать того, чего хотим, а лишь то, чего хочет бог: поэтому не надейтесь, что я вечно буду вас покрывать».

В ответ мой бывший наставник, невзирая на то, что буквально всем был обязан моей мачехе и полностью от нее зависел материально, упрекнул ее в том, что она следует не духу, а букве закона, короче, забылся до того, что заявил, будто ближние должны расплачиваться за ее требовательную совесть и что именно за их счет она демонстрирует щепетильность и непреклонность своих моральных устоев. И добавил, что не уйдет, пока не добьется от нее того, что просит. (Через дверь я не мог разоб-
раться, о чем именно идет речь.) Мачеха в ярости крикнула, что, раз он так ставит вопрос, уйдет она. Я услышал, как она выплыла из гостиной, довольно громко хлопнув дверью. А через несколько минут господин Пюибаро, бледный как мертвец, зашел ко мне в комнату. В руках он держал конверт, который, как я догадываюсь, она швырнула ему в физиономию. Панталоны туго обтягивали его костистые колени. Крахмальных манжет он не носил. Пластрон да черный галстук — единственное, что уцелело от того одеяния, в каком он щеголял в коллеже.

— Вы слышали? — спросил он. — Рассудите нас, дорогой Луи.

Не думаю, чтобы многих детей моего возраста так часто просили рассудить споры взрослых. То доверие, которое я внушал Пюибаро еще во время его педагогической деятельности в коллеже — почему он и вручил мне в тот знаменательный вечер письмо, адресованное Октавии Тронш,— снова побудило его прибегнуть к моему посредничеству; впрочем, доверие это опиралось на рассудок и проистекало из подлинного культа детей. По его словам выходило (и он имел неосторожность развивать свои взгляды в моем присутствии), что мальчики от семи до двенадцати лет счастливо наделены необычной ясностью ума, а порой и духа, однако с приближением зрелости дар этот постепенно тускнеет. Хотя мне шел уже пятнадцатый год, я в его глазах еще хранил все преимущества, данные детству. Бедняга Пюибаро! Женитьба не способствовала его красоте. Он почти совсем оплешивел. Сквозь белокурые пряди волос просвечивала кожа черепа. На бескровном лице по-прежнему алели скулы, и он каплял.

Летом в Ларжюзоне он, занимаясь со мной латынью, обычно подвигал свой стул к моему, так и сейчас он подвинулся ко мне поближе.

— Ты, ты поймешь...

На «ты» он обращался ко мне в редких случаях, как к ребенку непогрешимого чутья, только в минуты душевных излияний. Он сообщил мне, что доктор не надеется, что Октавия может доносить ребенка до положенного срока, и поэтому она нуждается в полнейшем физическом и моральном покое. И он, желая утишить самую мучительную тревогу жены, обманывает ее насчет истинного происхождения скромной суммы, получаемой им каждые две недели. Она и представления не имеет, что деньги эти идут от Брижит Ппан, и верит, что муж сам зарабатывает на жизнь и что наконец-то он добился места в епархиальном управлении.

— Да, да, я лгу ей, лгу ежечасно, и один бог знает, ценой каких страданий и стыда дается мне эта ложь. Вправе ли мы называть ложью те сказки, которыми мы утешаем больного, — вот в чем вопрос, что бы ни говорила по этому поводу мадам Брижит...

Он пристально поглядел на меня, будто ждал от меня, как от оракула, новость каких откровений. Я пожал плечами.

— Пусть она говорит, господин Пюибаро. Поскольку ваша совесть спокойна, то...

— Все это не так-то просто, дорогой мой Луи... Во-первых, потому что Октавия волнуется, удивляется тому, что мадам Брижит ни разу не пришла ее проведать с тех пор, как она слегла. Твоя мачеха до сегодняшнего дня отказывалась посетить Октавию, «коль скоро я не могу искупить оскорбление, нанесенное истине», как она посмела мне написать! Мне пришлось объясняться с Октавией, я пощажу тебя от рассказа об этой сцене: ибо ложь родит ложь, тут я должен согласиться с мадам Брижит. Получается лабиринт, из которого нет выхода. Словом, я стараюсь как могу сохранить лицо. А вот теперь мадам Брижит перешла уже к угрозам: она объявила, что, как человек совестливый, не имеет права поддерживать дольше мою ложь, требует, чтобы я сказал Октавии правду относительно этих денег... Нет, ты только вообрази...

Я вообразил. И я мог бы сказать господину Пюибаро, что удивляться надо другому — как это мачеха согласилась так долго обманывать Октавию. Но не сказал, а намеком дал ему по-

нять, что мне тоже по душе такая непреклонность. Как раз в эту пору я ознакомился с произведениями Паскаля в брэншвигском карманном издании. Тип, который представляла собой Брижит Пиан, возвысился в моих глазах и даже приукрасился через сравнение с матерью Агнессой и матерью Ангелиной и всеми прочими прославившимися своей гордыней обитательницами Пор-Рояля. Как сейчас вижу безжалостного мальчишку, каким я был тогда: вот он сидит в углу у камина, и перед ним столик, заваленный словарями и тетрадами, а напротив примостился тощий мужчина, протянувший к огню свои небольшие белые грязноватые руки, и от его рваных ботинок идет пар. Кроткие и усталые глаза его видят в пламени образ женщины, слегшей под тяжестью своего бесценного бремени, над которым нависла угроза. В этом был его мир со своей реальностью, но Брижит Пиан отказывалась принимать это в расчет, и меня ввести туда он тоже не мог. Наша мачеха твердила ему: «Я вас уже давным-давно предупреждала, так что пеняйте на себя...» Да, правда, все произошло именно так, как предсказывала Брижит, и сам ход событий столь наглядно доказал ее правоту, что она поверила, будто бог послал ей в дар высшее озарение.

— Она ушла, пригрозив на прощание, что придет завтра вечером навестить Октавию,— мрачно добавил Пюибаро.— Принесет нам бульон, но зато требует, чтобы я к этому времени подготовил Октавию, сообщил ей всю правду о моем положении. Как быть? Чего бы я не дал, лишь бы избавить бедняжку Октавию от зрелища моего позора! Ты же знаешь, хладнокровием я похвалиться не могу. И наверняка не сдержу слез...

Я спросил, почему он не дает частных уроков. Разве не может он работать репетитором? Он отрицательно покачал головой: у него нет диплома, а брак с Октавией закрыл перед ним двери большинства домов, где его раньше принимали.

— Как жаль, что я не нуждаюсь в репетиторе,— сказал я не без самодовольства.— Но я по-прежнему первый ученик...

— Ну, ты-то! — воскликнул он, глядя на меня с нежностью и восхищением.— Ты уже и сейчас не меньше моего знаешь. Сдавай экзамены, малыш, непременно храни все бумажки. Может, они тебе и не понадобятся в жизни, но как знать... Если бы у меня был диплом...

Сын бедных родителей, воспитанный из милости своими будущими коллегами, угадавшими незаурядные способности мальчика, Леонс Пюибаро учился всему, чему хотел, и, бесспорно,

мог бы с успехом продолжать учение, если бы в возрасте восемнадцати лет его не сунули в коллеж в качестве помощника надзирателя, так как там не хватало младшего учебного персонала. Пришлось надзирать за другими, и поэтому Пюибаро учился урывками и был знаком с литературой только в объеме хрестоматии и учебников. Зато он лучше, чем многие студенты университета, знал великих классиков Греции и Рима. А теперь все эти знания не могли ему помочь заработать в месяц хотя бы триста франков, необходимых на жизнь.

Мне очень хотелось, чтобы он поскорее ушел, и я стал листать словарь, надеясь, что он догадается, как я занят. Но он раскис, забываясь в этой уютной и теплой атмосфере, возле этого обожаемого им мальчика, раздумывая над тем, как открыть всю правду Октавии и не слишком ее при этом растревожить.

Я спросил его:

— Почему же непременно вы сами должны ей все рассказать? Поручите это кому-нибудь другому... Например, той сестре из монастыря Успения Богоматери, она ведь у вас каждое утро бывает.

— Прекрасная мысль, Луи! — воскликнул он, хлопнув себя ладонями по тощим ляжкам. — Один лишь ты способен разобраться в таком сложном деле. А сестра, о которой ты упомянул, она просто святая, и Октавия ее очень-очень любит. И она в свою очередь тоже боготворит Октавию. Просто смотреть приятно на них двоих, причем каждая считает, что ей далеко до другой... Хотел бы я, чтобы мадам Брижит на них посмотрела, как смотрю я... она тогда поняла бы, что такое истинное самоуничтожение...

Он замолк, заметив, что я недовольно поджал губы, и тут он понял, что я нахожусь под влиянием мадам Брижит даже в большей степени, чем находился в свое время он сам.

На следующий день к вечеру Брижит Пиан велела остановить лаццо на улице Мирей перед домом, где в меблированной квартире поселилась чета Пюибаро, причем эту меблированную квартиру мачеха выбирала сама и сама ее оплачивала. Руки ее были заняты множеством пакетов и свертков, так что нельзя было даже приподнять подол юбки, шагая по этой мерзкой лестнице. Грязная вода стекала в открытую сточную канаву. Впрочем, Брижит Пиан уже был знаком этот запах, ноздри дамы-благотворительницы принимались к любой вони. Во всех

городах мира в жилищах бедняков стоит густой дух похлебки и отхожего места. И тут опять-таки мне не хотелось бы поддаться искушению и обратить против Брижит Пиан ее, так сказать, наиболее достохвальные деяния. Каковы бы ни были истинные подспудные мотивы, Брижит Пиан по праву могла называться щедрой дарительницей, а в известных случаях, как, например, у одра больного, действительно не щадила себя. Более того, она придерживалась убеждения, что полезнее вытащить из нищеты малое количество бедолаг, чем помогать многим и помогать малыми порциями. Помню, когда мы вместе с ней ходили за покупками, она закупала нитки, шерсть, бакалею в отдаленных от центра лавчонках, владельцам которых протезировала, изо всех сил старалась поставить их на ноги и посылала туда за покупками своих знакомых. Впрочем, все это ничуть не мешало ей допекать своих подопечных коммерсантов, находившихся на грани полного банкротства, советами и угрозами и возмущаться неблагодарностью людей, которые назло вам не желают преуспевать, хотя им оказывают значительную денежную помощь.

Иной тактики она придерживалась в отношении четы Пюибаро, подкармливала их, но предоставляла им самим бороться с нуждой. Делала ли она это с умыслом? Кто возьмется утверждать! Возможно, она и сама не знала. Лично я склонен думать, что она считала за благо их нищенскую жизнь, какую сама им предсказала, и то, что они были так явно наказаны за непослушание. Держать чету Пюибаро в полной от себя зависимости значило ежечасно торжествовать свою победу. Ну а что касается ее чувств к Октавии, возможно, мадам Брижит содрогнулась бы, если бы осознала их до конца.

Первое, на что упал взгляд мадам Брижит, когда она вошла в комнату, где лежала больная, было пианино, стоявшее перпендикулярно к изголовью кровати, так что в комнате, где находился еще шкаф, стол и комод, заваленные пузырьками, чашками и грязными тарелками, буквально негде было повернуться. (Господин Пюибаро начинал свой день с того, что захламлял помещение, хотя накануне монахиня наводила в квартире порядок.) После обмена первыми любезностями, вопросами и ответами о состоянии здоровья хозяйки чета Пюибаро со страхом — да еще с каким! — заметила, что мадам Брижит сразу уставилась на злополучное пианино и что с минуты

на минуту начнется дознание. Фирма, дававшая напрокат музыкальные инструменты, обещала взять пианино обратно. Но обещания своего не сдержала. Даже сегодня утром господин Пюибаро ходил объясняться по этому поводу, но безрезультатно. Как втолковать Брижит Пиан, что они уступили своей фантазии, фантазии тем более нелепой, что ни он, ни она не умели играть, хотя оба с одинаковым удовольствием подбирали по слуху полюбившиеся им псалмы. Будь они даже не такие бедняки, и то эту прихоть трудно было бы извинить, а уж когда человек живет на доброхотные давания других...

Поэтому Октавия, желая отвлечь внимание посетительницы от опасной темы, заторопилась заговорить о другом. Она до глубины души благодарна мадам Брижит за то, что та запретила Леонсу вводить ее дольше в заблуждение относительно происхождения тех денег, которые он приносит домой каждые две недели. Но делал он это только из самых лучших побуждений и потому, что жалеет ее. Однако она уже давно заподозрила обман, но поначалу решила, что это ловкий мапевр мадам Брижит, которая, спросите любого, делает добро тайно, подобно тому как другие таятся, делая зло. (Октавии не был чужд порок лъстивости, впрочем, в той среде, где она выросла, явление это довольно распространенное, да и как не польстить влиятельным особам, от которых зависишь.) Она добавила, что вполне понимает и разделяет угрызения совести, которые мучают мадам Брижит. Но мадам слушала ее рассеянно, то и дело поглядывая на пианино, потом, прервав Октавию на полуслове, заявила, что она очень сожалеет, что огорчила господина Пюибаро и что, возможно, она и дальше по слабости своей шла бы на обман, если бы дело касалось безбожницы, — кстати, таких теперь, глухих к слову божию, развелось множество. Но лично она считает, что настоящая христианка, а Октавия именно настоящая, должна давать себе отчет в последствиях своих поступков, равно как и в испытаниях, каким провидению угодно будет ее подвергнуть... «Раз уж всевышний предначертал вам жить благодеяниями своего друга и раз господину Пюибаро не находится подходящего места, я не вправе лишить вас той пользы, которую вы можете извлечь из этого урока».

В своем дневнике Леонс Пюибаро, расценив эти слова как прямую жестокость, добавляет: «Не присягну, что она произнесла эту фразу с сознательной иронией, во всяком случае, ей было приятно найти неуязвимый с точки зрения религии предлог, дабы скрыть, какое она испытывает удовольствие при

мысли, что оказалась права, что в беспросветно нищенском нашем существовании у нас только и есть, что этот конвертик, за которым еще надо ходить к ней дважды в месяц».

— Вот что любопытно,— проговорила мадам Брижит,— пианино, если не ошибаюсь, не фигурировало в списке вещей, который мне вручили, когда я снимала для вас квартиру.

— Верно,— подтвердила Октавия, и голос ее дрогнул.— В этом безумстве виновата только я.

И она посмотрела на свою благодетельницу с кроткой, обезоруживающей улыбкой, перед которой редко кто мог устоять, но чело мадам Брижит по-прежнему хмурилось.

— Прости, любимая,— прервал Октавию муж,— не ты, а я первый заговорил о пианино и, признаться, больше думал не о твоём, а о своем удовольствии.

Какой же он допустил промах, назвав в присутствии мадам Брижит свою жену «любимая». Мадам Пиан не терпела бесстыдства супругов, пусть даже состоящих в наизаконнейшем браке, особенно когда они имеют наглость словом или жестом подчеркивать свою мерзкую близость. А уж в отношении этих двух такая интимность была ей буквально непереносима.

— Насколько я понимаю,— спросила она с неестественной кротостью,— вы взяли пианино напрокат?

Преступники молча потупили голову.

— Значит, один из вас может давать уроки музыки? Боюсь, что вы оба не имеете никакого представления о сольфеджио, не говоря уже о том, что и нот вы не знаете.

Октавия робко заметила, что они сочли возможным позволить себе это развлечение...

— Какое развлечение? По-вашему, это развлечение — тыкать одним пальцем в клавиши, ведь я десятки раз видела в школе, как вы пытались бренчать на рояле и даже не понимали, насколько вы смешны в глазах ваших учениц.

И мадам Брижит, которая смеялась только в редчайших случаях, испустила что-то вроде кудяхтанья.

Октавия еще ниже опустила повинную голову. Ее желтовато-тусклые волосы, заплетенные в две косички, упали ей на плечи. Под ночной кофтой из грубой ткани судорожно подымалась и опадала грудь.

— Вы совершенно правы, мадам Брижит, мы виноваты,— сказал Пюибаро.— Но, прошу вас, не надо волновать Октавию,— умоляюще добавил он вполголоса.— Если вам угодно,

мы поговорим об этом, когда я приду к вам в следующий раз. Я вам все объясню...

— Хорошо,— прошипела мадам Брижит,— простите меня... Поговорим об этом в другой раз и в другом месте, и тогда вы скажете мне, на какие деньги вы взяли напрокат это пианино.

— На ваши же, конечно... Я полностью признаю, что, когда человек живет от щедрот благодетелей, он совершает непростительный грех, расходуя в месяц двадцать франков на прокат пианино, тем более что играть на нем не умеет. Но, прошу вас, отложим объяснение до следующего раза...

— Какое объяснение? Все уже объяснилось, все стало ясно,— сказала Брижит тоже вполголоса (но Октавия слышала каждое ее слово).— По-моему, говорить больше не о чем. Мне кажется, что ни вы, ни она просто не отдаете себе отчета в том, что перешли все мыслимые границы. Надеюсь, вы понимаете, что я не о деньгах говорю! Тут дело не в деньгах...

Господин Пюибаро прервал Брижит, напомнив ей, что, по ее же словам, говорить больше не о чем, и полуобнял Октавию, которую душили рыдания. Но на мадам Пиан, обеспокоенную слезами Октавии, внезапно накатила стих гнева, который ей редко когда удавалось обуздать и в котором она сама смиренно прозревала проявление своей огневой натуры, дарованной ей, на беду, небесами. Хотя она всячески старалась не повышать тона, сквозь стиснутые зубы со свистом неудержимо вырывались злобные слова:

— Так или иначе, мне остается только извлечь пользу из этого случая. Это уж как хотите! Всему есть свои границы, даже добродетели, я обязана ограждать себя от излишних слабостей и, как бы сострадательна я ни была в отношении вас, я не собираюсь превращать свою доброту в глупость...

— Умоляю вас замолчать или уйти! Разве вы не видите, до чего вы довели Октавию?

Леонс Пюибаро забылся до такой степени, что схватил свою благодетельницу за руку и подтолкнул к дверям.

— Как, друг мой, вы, вы осмелились меня коснуться?

Неожиданное покушение на ее особу сразу вознесло мадам Брижит на горние вершины ее обычного совершенства.

— Леонс, Леонс,— простонала Октавия.— Это же наша благодетельница; мне худо потому, что ты ведешь себя с ней непозволительно.

Тут господин Пюибаро в приступе ярости, порой ослепляю-

щей малодушных, крикнул во все горло вслед выходящей из комнаты мадам Брижит:

— Мы здесь у себя, дорогая!

Высокая фигура моей мачехи величественно возникла в проеме двери.

— Ах, у себя? Вот как...

Победа над собой далась ей так легко, такой ее охватил в эту минуту покой, что она уверилась, будто он ниспослан ей небесами. Откровенно говоря, ей не следовало бы ничего добавлять к своим последним словам, тем более что они и так заткнули рот ее незадачливому противнику. Но все-таки она не сдержалась и нанесла последний удар:

— Значит, прикажете посылать вам квитанции на квартирную плату? Но, если не ошибаюсь, она не на ваше имя.

Господин Пюибаро с треском захлопнул дверь и подошел к кровати, где горько рыдала Октавия, закрыв лицо руками. Он обнял жену, прижал ее к груди.

— Ты сам виноват, Леонс, мы ей всем обязаны, и она права — это пианино...

— Родная моя, ну успокойся, это же вредно малышу...

Малышом они называли того, кого еще не было на свете, обожаемое дитя, которому, может быть, и не суждено было родиться. И так как Леонс Пюибаро, прижимая голову Октавии к своему плечу, все твердил: «Жестокое создание», она запротестовала:

— Нет, Леонс, нет, нехорошо так говорить. У нее просто такой характер. А характер, если хочешь знать, — пробный камень для всех нас. Легко не совершить преступления, когда сам бог отводит от человека возможности его совершить, но изо дня в день смирять свою натуру — это совсем другое дело, тут человек ничего поделать не может, тут требуется особая благодать. Мадам Брижит как раз очень бы помогло пребывание в монастыре со строгим уставом...

— Да брось ты! Если бы она попала в монастырь, она сразу забрала бы всех в свои руки, вся община тряслась бы перед ней, она уж сумела бы найти там себе жертвы. Наоборот, надо радоваться, что она не в монастыре, что никто не отдан в ее власть полностью и душой и телом! Вот где она проявила бы себя во всей красе. А мы с тобой хоть свободны, свободны умереть с голоду и никогда ее больше не видеть...

— Ты прав, с ее помощью монахини быстро достигали бы мученического венца,— сказала Октавия, слабо улынувшись сквозь не просохшие еще слезы.— Вспомним жизнь прославленных игумений: если в монастыре попадаетея настоятельница вроде мадам Брижит, она ведет свою паству к небесному блаженству самой трудной и в то же время самой короткой тропой, ибо они не слишком заживают на свете... Нет, нехорошо так говорить про нашу благодетельницу,— добавила она.— Ох, как плохо!

Они помолчали немного. Потом Леонс Пюибаро, сидя на постели и грызя бисквиты, принесенные мадам Брижит, спросил:

— А что с нами будет?

— Ничего, пойдешь к ней завтра утром,— сказала Октавия.— Я ее хорошо знаю: сегодня ночью она будет мучиться угрызениями совести и сама первая попросит у тебя прощения. Так или иначе, Луи все устроит.

Но он уперся: нет, ни за что на свете он не желает больше терпеть такое отношение.

— Кто спорит, трудно идти на унижения, милый, пожалуйста, труднее всего на свете, особенно мужчине, да еще такому, как ты. Но именно это-то от тебя и требуется.

— А еще труднее вот почему: она вообразила, что бог подтвердил ее правоту, ибо все, что она предсказывала в отношении нас, полностью сбылось. Скажи, как ты думаешь, нас действительно покарал бог?

— Нет,— горячо запротестовала Октавия.— Не покарал, а просто послал испытание. Мы не обманулись. У нас с тобой общее призвание. Мадам Брижит не понимает, что именно к этому-то мы и были призваны — страдать вместе.

— Да, именно из этих страданий рождается наше счастье.

Октавия обвила шею мужа своими худенькими руками:

— Нет, правда, скажи, ты ни о чем не жалеешь?

— Я страдаю только потому, что не могу заработать нам на жизнь,— вздохнул он,— но если господь бог пошлет нам малыша... тогда все померкнет перед этой радостью.

Она шепнула ему на ухо: «Не думай об этом слишком много, не слишком на это надейся...»

— Что? Как так? Что ты имеешь в виду?.. Тебе доктор что-нибудь сказал, чего я не знаю?

Он приступил к пей с вопросами, а она только головой качала: нет, доктор ничего нового не сказал, но просто ей

пришло в голову, что вдруг от них потребуется именно это... «Нет, нет!» — твердил Леонс Пюибаро, а она все говорила, что надо смириться, заранее смириться сердцем и душой, как смирился Авраам, и что тогда, возможно, им вернут Исаака... Господин Пюибаро все повторял свое «нет», но уже потише, потом упал на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, сдавленным голосом стал вторить привычным словам вечерней молитвы, которую начала читать Октавия.

Дочитав молитву, она замолчала и закрыла глаза. Тогда Леонс Пюибаро зажег свечу, подошел к пианино, посмотрел на блестящие белизной клавиши и неуверенно, одним пальцем, стал подбирать мотив, самый свой любимый мотив духовной песни, которую поют дети, идущие к первому причастию, и в такт дрожащим звукам повторял вполголоса слова: «Небеса спустились на землю, о возлюбленный господь, сойди в душу мою...»

ХII

Еще не выйдя на улицу, Брижит Пиан обратила последние вспышки гнева против самой себя. Как могла она до такой степени не совладать с собой и что подумает чета Пюибаро? Ведь они-то не видят ее совершенства изнутри, не способны измерить ни его высоты, ни его широты, ни его глубины. Будут судить по этой желчной вспышке, которой она, по правде говоря, и сама стыдилась. Что же такое природа человека, думала она, шагая по улице Мирей в направлении к бульвару Виктора Гюго. Всю свою жизнь только и делаешь, что борешься с самим собой, и, когда уже веришь, что избавился от слабостей, которые в других тебя ужасают, вдруг при виде какого-то пианино выходишь из себя!

Правда, иной раз и соскакивала петля с той самой власяницы совершенства, над изготовлением которой неустанно и ежеминутно трудилась Брижит Пиан, но то было в порядке вещей, и она утешалась тем, что происходит это без свидетелей. Но чета Пюибаро, особенно Октавия, принадлежала к числу тех, перед кем она уж никак не желала добровольно демонстрировать свои слабости. «Они теперь меня за торговку считают», — думала Брижит, которая непрерывно совершенствовалась в своей духовной жизни, как совершенствовалась бы, изучая иностранный язык. Моя мачеха приходила в ярость при мысли, что какие-то Пюибаро, не имеющие никакого

представления о том, как вознеслась она за эти последние месяцы, могут из-за чисто внешнего проявления досады числить ее среди самых вульгарных ханжей. Установить с точностью, до каких степеней совершенства вознеслась Брижит Пиан, ей мешало естественное чувство смирения. Но она охотно поднялась бы еще раз по мерзкой лестнице, лишь бы напомнить чете Пюибаро, что и святые иногда поддавались гневу. Святая ли она или нет? Во всяком случае, она сознательно старалась стать святой и, сделав один шаг вперед по пути святости, грудью отстаивала завоеванный плацдарм от малейшего посягательства. И не встретился на ее пути такой человек, который мог бы объяснить ей, что тот, кто пролагает себе путь к святости, постепенно обнаруживает все яснее свое ничтожество и слабость свою и приписывает одному лишь богу — не из набожности приписывает, а в силу простой очевидности — те немногие добрые дела, совершенные под влиянием благодати. А Брижит Пиан проделывала этот путь в обратном направлении, терпеливо, день за днем накапливая поводы благодарить создателя за то, что он создал ее столь совершенным существом. Некогда ее смущала та сухость, какая неизменно присутствовала в ее отношениях с богом. Но с тех пор, как она прочла, что чаще всего бог помогает новообращенным выбираться из жизненной грязи, посылая им реальную ощутимую благодать, она поняла, что столь огорчительная для нее неощутимость этой благодати не что иное, как знак того, что лично она уже давно поднялась над низинами половинчатого благочестия. Таким образом, эта холодная душа, кичась своей холодностью, не задумывалась над тем, что никогда, даже делая первые шаги в поисках совершенства, не испытывала ничего похожего на любовь, и обращалась она к своему Учителю лишь с единственной целью — взять его в свидетели своих редкостных заслуг и своего быстрого продвижения к идеалу.

Однако, шагая по переулкам, соединяющим улицу Мирей с Интендантским бульваром, пробираясь сквозь туман, окутывавший весь квартал улиц Дюфор-Дюбержье и Виталь-Карль, Брижит Пиан испытывала чувство душевного неуют, причина которого была более глубокой, чем неприятное сознание, что она пала в глазах четы Пюибаро. Ее точило глухое беспокойство (иногда оно задремывало, но не исчезало окончательно), а вдруг она не добилась в своих счетах ажюра и ее тоже будут судить с неумолимой строгостью, какая, по ее мнению,

присуица незримому владыке. В иные дни, особенно часто это бывало после встречи с Октавией Пюибаро, вспышки света прорезали мрак, таившийся на дне ее души, и внезапно она начинала видеть себя всю. С ослепляющей очевидностью она обнаруживала (правда, лишь на мгновение), что существует иная жизнь, кроме ее жизни, иной бог, кроме ее бога. В мгновение ока исчезало куда-то обычно переполнявшее ее удовлетворение тем, что Брижит Пиан — это Брижит Пиан, и тогда она, отверженная и нагая, лязгала зубами на бесплодном берегу под медными небесами. Откуда-то издали доносилось пение ангелов, к которому примешивались ненавистные голоса Октавии и Леонса Пюибаро. Было это всего-навсего кратковременной вспышкой, и Брижит с помощью особенно доходчивой и усердной молитвы ухитрялась обрести равновесие духа. Тогда она припадала к подножию алтаря и сегодня тоже припала в нашем городском соборе, вернув тишину своей душе, и умилялась этой тишине, как знаку Учителя, скрытого от наших глаз. Но перед потирной чашей и перед статуей Богородицы, вознесенной над хорами, которой скульптор придал черты лица императрицы Евгении, в душе она вновь ощущала эту нависшую над ней угрозу осуждения и твердила про себя: «Пусть, я принимаю испытание, посланное мне свыше». В ее понимании это означало: «Учти, господи, что я принимаю испытание, и не забудь внести это безропотное приятие в графу моих барышей». Но так как мир все не снисходил на ее душу, она направилась к исповедальне и призналась священнику, что согрешила, впад в гнев не то что несправедливый (ибо он был справедливым), но виновата она в том, что не сумела сдержать своего законного негодования в границах, строго очерченных милосердием.

Если бы на следующий день после завтрака господин Пюибаро пришел к Брижит, его встретила бы особа, сложившая свое грозное оружие и полная решимости показать ему пример смирения, ибо в том, что касается смирения, мачеха не знала соперников. Но когда мой бывший наставник, бледный от волнения, спросил слугу, дома ли мадам Брижит, он услышал в ответ, что ее телеграммой срочно вызвали в Ларжюзон и она укатила туда вместе с обоими детьми: у мсье Октава Пиана случился удар и текст телеграммы был столь малоутешительный, что мадам запаковала и увезла с собой все, что «есть только у нее самого траурного».

Кончина моего отца не породила никаких подозрений. Сэнтис (он снова вступил в должность приказчика после того, как рассчитали Виньотов) нашел его рано утром уже остывшим: отец лежал, уткнувшись лицом в коврик у кровати. Подобно большинству буржуа нашего края, Октав Пиан всегда много ел и слишком много пил, но, с тех пор как он остался один в Ларжюзоне, он стал пить безобразно и накануне своей кончины, очевидно, превзошел даже эту меру, так как бутылка арманьяка, начатая вечером, была обнаружена пустой в его кабинете, где он любил посидеть вечером, покуривая у камина трубку и дожидаясь полуночи.

Теперь-то я знаю, что угрызения совести, мучившие мою мачеху, сводились в основном к мысли о том документе, который она справедливо, нет ли считала отягчающей уликой против моей покойной матери. Долгое время я думал, что, уезжая из Ларжюзона, она с умыслом оставила эту бумагу в ящике ночного столика и была уверена, что Октав Пиан рано или поздно ее обнаружит. Но я заходил слишком далеко. Теперь я могу до конца объяснить смысл тех слов, которые мачеха беспрерывно твердила, бродя по своей спальне в ночь перед похоронами и после похорон моего отца и к которым я, лежа без сна и вглядываясь напряженно в темноту, прислушивался с ужасом, считая, что Брижит Пиан лишилась рассудка. В щелку под дверью, прогрызенную крысами, я видел свет, через определенные промежутки свет пропадал, так как от меня его закрывала блуждающая тень мачехи. Хотя на ней были войлочные ночные туфли, старый паркет скрипел под ее шагами. «Давайте подумаем...» — повторяла она полным голосом. До сих пор в моих ушах стоит это «давайте подумаем», произнесенное тоном человека, который хочет любой ценой привести в порядок свои мысли: могла же она показать мужу этот документ, а ведь не показала. Старалась его никогда ничем не волновать, а ведь ей ничего не стоило положить копец культу памяти покойной Марты. А она неизменно воздерживалась. И вообще маловероятно, что он открывал именно тот ящик. Единственно, в чем ее можно было упрекнуть, — это в том, что она не сожгла бумагу... не без задней мысли, что муж рано или поздно ее обнаружит: «Я положила на бога... Да, да, именно так: на суд божий. От господ бога зависело, откроет Октав этот ящик или не откроет. И даже тогда от бога зависело, поймет ли бедняга Октав смысл этой записи, обратит ли он на нее внимание. Впрочем, нет ника-

ких доказательств, что он понял смысл этой записи. Установлено одно: документа в ящике нет, а печь в передней забита пеплом, видимо, он жег какие-то бумаги. Но ведь он уничтожил все касающееся его первой жены, и этот документ в том числе. Он был не в себе, пил, начал спиваться...» Понятно, я не точно воспроизвожу здесь ее слова, вернее, восстанавливаю по памяти ход ее рассуждений, опираясь на то, что мне стало известно впоследствии и чего тогда я еще не знал. Из всех сил я пытался обнаружить след, по которому шла ее растревожная совесть, но не слишком уверен, что эти «давайте подумаем», не смолкавшие в течение всей ночи, могли связать воедино ее разбредавшиеся мысли.

Мишель делала вид, что не замечает Брижит, бедняжка Мишель, которая тоже переживала полосу угрызений совести, угрызений, общих со мной, — мы с ней еще долго не могли от них отделаться, но сейчас, на закате дней, я не нахожу даже бледного их следа. Мишель искренне горевала об отце, которого обожала, однако все ее помыслы здесь, в Ларжюзоне, накануне похорон, были полны одним — увидит ли она Жана, и после траурной церемонии дочерняя печаль ее словно бы померкла, уступив место глубокому разочарованию: в числе провожающих Мирбеля не оказалось.

Так как она боялась, что ее трудно будет узнать под густой креповой вуалью, она поручила мне предупредить ее, когда появится Жан де Мирбель. Я решил исполнить просьбу Мишель и с жадным любопытством, но с холодным сердцем шарил глазами в толпе сходящихся в церковь горожан и крестьян. Среди всех этих тупых животных физиономий, этих хорьковых носов, лисьих и кроличьих мордочек, среди бычьих лбов, среди пугающе пустых женских глаз, уже давно потухших или, напротив, живых, блестящих, глухих, как глаза гусынь, я искал то лицо, тот высокий лоб под коротко стриженными выющимися волосами, те глаза, те насмешливые губы, но искал напрасно. Ясно, Жан побоялся попасться на глаза нашей мачехе, но, так как по обычаю вдова не провожает гроб на кладбище, я надеялся, что Жан решится прийти прямо туда.

Такое утро, как сегодняшнее, сулило прекрасный день, но вскоре бледное солнце заволокло дымкой. До самой последней минуты — и стоя у открытой ямы, и во время церемонии, когда живые, казавшиеся уже полумертвыми в гуще навалившегося тумана, передавали из рук в руки лопаточку и

скупые комья земли барабанили о крышку гроба Октава Пиана, который, может быть, вовсе и не был моим отцом,— до самой последней минуты я надеялся, что из толпы теней вынырнет Жан... Несколько раз Мишель судорожно хватала меня за руку, она тоже ждала и ошибалась. Еще много-много времени мы оба с сестрой со стыдом вспоминали эти минуты. Однако боль, какую мы испытывали при этом, свидетельствует, что мы нежно любили отца и сумели сохранить эту нежность. Ныне я уже не ополчаюсь на тот закон, которому повиновалась моя сестра на маленьком ларжюзонском погосте. Она принадлежала к числу тех чистых и тех гармонически уравновешенных натур, чей инстинкт, лишь за редкими исключениями, не совпадает с их долгом и кого сама природа побуждает совершать как раз то, чего от них ждут небеса.

К вечеру мачеха удалилась к себе в спальню, и мы до самой ночи слышали ее шаги. Вопреки всем обычаям никто из нас не принял участия в поминальном обеде, и мы с Мишель, забившись в гостиной на втором этаже, слышали голоса гостей и звон посуды. За отсутствием родственников на поминках нас представлял наш нотариус и опекун мсье Мальбек. После кофе он поднялся к нам, пунцовый, почти веселый. К счастью, мы знали, что его ждут клиенты и что нам недолго придется терпеть его присутствие. Если бы я писал роман, я непременно набросал бы на этих страницах портрет Мальбека, и получился бы, безусловно, забавный тип из тех, про кого люди обычно говорят: «Ну просто бальзаковский персонаж...» Но его роль в нашей жизни сводилась к тому, чтобы освобождать нас от всего, что мешало бы нам сосредоточиться на движениях нашего сердца и ума. Он надоедал мне иной раз до ужаса. Когда он у себя в нотариальной конторе заставлял меня выслушивать тексты документов, которые я подписывал инициалами, я спасался тем, что мысленно рассказывал себе разные истории. В юности я считал (или действовал, словно и правда так думал), будто такие вот стареющие, лысые субъекты в пенсне и с бакенбардами, словно нарочно загримированные под деловых людей, свободны от любых страстей и все человеческие чувства им чужды.

После отъезда мсье Мальбека, после того как разъехались последние кареты, мы поддались наваждению, казавшемуся нам кощунством,— мы говорили только о Мирбеле в этой комнате, где обычно курили и где за перегородкой еще вчера стоял гроб нашего отца. В этот день мы знали, что теперь

ничто не помешает нам отправиться к Жану де Мирбелю в Балюзак. Кладбище, куда мы завтра пойдем, находится за чертой поселка, как раз на дороге в Балюзак. Мы легко доберемся туда пешком. Брижит Пиан, по всей видимости, не способна будет за нами уследить, а смерть отца освобождала Мишель от данной ею клятвы.

На следующий день туман был еще плотнее, чем накануне. Так что вряд ли мы могли встретить кого-нибудь в лесу. Стоя у могильного холмика, покрытого уже увядшими цветами, Мишель дважды заставила себя прочитать «De Profundis»*, показавшийся мне бесконечно длинным. Затем, погрустневшие при мысли, что мы оставляем одного нашего бедного папу, мы так быстро зашагали, что наперекор туману на лбу у меня даже выступили капельки пота. Мишель шла впереди в белом беретике (у нее не было с собой другой траурной шляпки, кроме той, в которой она вчера ходила на кладбище). Жакет туго обтягивал талию, уже и тогда не особенно тонкую. Да и плечи у нее были слишком прямые. Моя память почему-то удержала эти недостатки ее фигуры. Но от этой коренастой девочки веяло силой, бьющей через край жизненной энергией.

Несколько домиков, составлявших поселок Балюзак, показались нам погруженными в мертвый сон. Стояли они вразброд, так что улицы не получалось, не было также намека на площадь. Дом священника стоял поодаль, отделенный от церкви погостом. На другом конце поселка находилась новая школа, а против нее — кабачок, он же бакалейная лавка, кузница, а также аптека Вуайо, которая в тот день была заперта. Больше двух третей прихожан аббата Калю жили на своих фермах в нескольких километрах отсюда. По мере нашего приближения тревога Мишель заразила и меня. Мы стали как бы одним общим сердцем, одним дыханием. Я подвернул черные панталоны над своими траурными ботинками на пуговках.

Огород имел заброшенный вид. «Подожди, не стучи, дай я отдышусь», — сказала Мишель. Она не сделала того, что делают в подобных обстоятельствах теперешние девушки, — не попудрилась, не накрасила губ, у нее и сумочки-то с собой не было, только карман в нижней юбке. Я ударил молотком в дверь. Удар прозвучал гулко, словно в пустом склепе. Прошло полминуты, затем мы услышали скрип стула, шлепанье

* Начало псалма «Из глубины взываю к тебе» (лат.).

войлочных туфель. Нам открыл дверь призрак, и этим призраком был аббат Калю. После нашей встречи на Интендантском бульваре он исхудал еще сильнее.

— Ох, дорогие детки... Я собирался было вам написать... Хотел непременно прийти... да не решился из-за мадам Пиан, понимаете?

Он ввел нас в гостиную, открыл ставни. Нас сразу словно окутал ледяной покров. И когда аббат неуверенно осведомился, не боимся ли мы простудиться, я ответил, что мы действительно очень разгорячились и, если можно, лучше подняться на второй этаж. Аббат чуть нахмурился, извинился, что там у него беспорядок, и, еле заметно пожав плечами, сделал нам знак следовать за ним. Я чувствовал, что Мишель вся напряглась, ожидая внезапного и желанного появления: вот сейчас Жан свесится через перила. А может, он стоит за дверью, которую как раз в эту минуту открывает аббат Калю.

— Кровать не убрана, — извинился аббат. — Мария стареет, да и я нынче утром что-то занемог...

Что за мерзость запустения! На нечистых серых простынях валялись книги. Среди бумаг, разбросанных на камине, красовалась тарелка с остатками пицци. В камине, прямо на золе, стоял кофейник. Аббат Калю пододвинул нам два стула, а сам сел на постель.

— Мне очень хотелось бы вам сказать, что я разделяю ваше горе. Но сейчас я не в силах думать ни о ком и ни о чем. Я в плену у собственных бед. Может быть, вы знаете, где он? Ведь должны же ходить какие-то слухи... Мне лично ничего не известно, и боюсь, что мне так ничего и не будет известно, ибо кто-кто, а семья, вы сами понимаете, не сообщит мне о результатах поисков! Простите, что я так говорю... С тех пор, как это стряслось, я и десятком слов ни с кем не перемолвился... Здешние люди меня сторонятся или открыто над мной смеются...

— Что стряслось? — спросил я.

Но Мишель уже все поняла.

— Что с ним случилось? С ним ничего не случилось?

Аббат Калю прикрыл ладонью руку Мишель, судорожно вцепившуюся ему в запястье, и повторил, что ничего не может нам ответить, что именно ему никто ничего не сообщает и, конечно, не сообщит... Только тут он заметил, что мы сидим с опалелым видом.

— Да неужели вы не знаете, что он ушел? Значит, вам не говорили, что он ушел? Вот уже неделя, как ушел...

Мы с Мишель воскликнули одновременно:

— Ушел? Почему?

Аббат воздел вверх руки, потом бессильно уронил их на колени.

— Почему? Заскучал, разумеется... Да и какое ему здесь было житье со стариком священником... Но сам он никогда бы до этого не додумался, тут явно кто-то вмешался... Нет-нет, я не могу вам ничего сказать — вы еще дети. Ох, Мишель, Мишель, только вы одна могли бы... одна вы...

Впервые в жизни я видел, как плачет старый человек, священник. И плакал он не так, как плачут взрослые. Его голубые глаза, в которых стояли слезы, должно быть, были совсем такие, как шестьдесят лет назад, когда их утирала ему, мальчику, в минуты великих ребячьих горестей его мама. Да и губы он кривил совсем по-детски.

— А я-то думал, что сделал все, что мог... Я обязан был не отставать от вас, Мишель, добраться до вас, силой привезти вас сюда. Но, видно, у меня разума не хватило: затеял с вами какую-то дурацкую переписку! Конечно, вы не удержались от искушения и вложили в конверт, адресованный мне, письмо для Жана... Я обязан был это предвидеть. А знаете, дело обо мне передано в епархию. Ваша мачеха, милейшая дама, направила туда довольно-таки подробный навет. На мое счастье, кардинал Леко не так грозен, как может показаться на первый взгляд. Ясно, его высокопреосвященство поднял меня на смех! Обозвал меня «посланцем любви» и прочитал к случаю латинские стихи. Очевидно, заранее было решено обернуть дело в шутку, не придавать ему серьезного значения. Кардинал — человек жесткий, от его шуток страх берет, но у таких людей, как он, сердце обычно уживается с незаурядным умом. Я и сам понимаю, что он был со мной очень добр...

На мгновение аббат прикрыл лицо своими широкими ладонями. Мишель спросила, что ей теперь надо делать. Он отвел руки и посмотрел на Мишель, его мокрое от слез лицо осветилось улыбкой.

— О, для вас, Мишель, все это очень просто: коль скоро вы будете живы и он будет жив, ничего еще не потеряно... Вам, надеюсь, известно, что вы для него представляете? От-

даете ли вы себе отчет в глубине его чувств? А вот я, что я могу сделать? Нет, знаю, человеку всегда остается возможность страдать, страдать за других. Верю ли я в это? — спросил он сам себя вполголоса, словно забыв о нашем присутствии. — Да, верю. Слишком жестока доктрина, утверждающая, будто наши поступки ни к чему не ведут, будто все заслуги человека бесполезны и ему самому и тем, кого он любит! В течение многих веков христиане верили, что бедный крест, на котором они были распяты справа или слева от господя, помогает их собственному искуплению и искуплению любимых ими существ... А потом Кальвин лишил их этой надежды, но я-то, я еще не утратил ее... Нет,— повторил он,— не утратил.

Мы с Мишель переглянулись, мы решили, что он бредит, и испугались. Аббат вытащил из кармана большой носовой платок в лиловую клетку, вытер глаза и, сделав над собой усилие, заговорил твердым голосом.

— Ты, Луи,— обратился он ко мне,— ты можешь написать в Ла-Девиз: вполне естественно, что ты осведомляешься у графини о своем товарище. Конечно, ее ответ придется перетолковать на человеческий язык, потому что никто так не умеет лгать, как она... Может быть, он уже вернулся... Далеко они не уедут,— добавил он.

— Значит, он не один? — спросила Мишель.

Аббат пристально смотрел на огонь, куда подбросил еще одно полено. Я заметил, что путешествовать без денег нельзя и что Мирбеллю домашние почти ничего никогда не посылали.

— Он все время на это жаловался. Помните, господин кюре?

Аббат Калю по-прежнему ворошил кочергой в камине и словно не расслышал моего вопроса. Мы поднялись и стояли перед ним, а он, видимо боясь новых вопросов, нетерпеливо ждал нашего ухода. Мишель сдалась первая. Она бросила прощальный взгляд на грязную, неприбранную комнату и начала медленно спускаться с лестницы, ведя ладонью по этим перилам, которых столько раз касалась рука Жана. От сырости обои отклеились, плиточный пол в прихожей был покрыт жидкой грязью.

— Если вы что узнаете, непременно напишите мне,— проговорил аббат.— И я тоже вам напишу...

— Я не спрашиваю у вас имя той особы, с которой Жан

уехал,—неожиданно сказала Мишель. (Я потом узнал, что Сэн-тис передал ей слухи, ходившие насчет Гортензии Вуайо и мальчишки — воспитанника аббата Калю.) — Впрочем, об этом не так уж трудно догадаться,— со смехом добавила она.

До сих пор я помню этот смех. Кюре распахнул входную дверь, и туман, пронизанный запахом дыма, вполз в прихожую. И тут аббат Калю заговорил очень быстро, не глядя на нас, не отпуская створки двери:

— Что вам из того? Вам это совершенно неважно, Мишель, ведь нет на свете другого человека, который значил бы в его глазах больше, чем вы. Вы были его отчаянием. Что вам из того,— повторил он,— что другая сумела воспользоваться этим просто потому, что была здесь, рядом... Сжальтесь надо мной, не спрашивайте меня ни о чем... Впрочем, здесь вам любой об этом расскажет. Вам даже нет нужды никого спрашивать. Но не бедному старику священнику говорить с вами на такие темы: ведь вы еще дети. Все, что я могу позволить себе, Мишель,— сказать вам еще раз: если Жану суждено быть спасенным, то только через вас. Что бы ни случилось, не бросайте его. Он не предал вас по-настоящему.... Да и меня тоже не предал. Я привязался к нему, как к сыну, посланному мне на старости лет; одно только — забыл спросить его согласия. Я сам присвоил себе родительские права, но на него-то они не накладывают никаких обязательств. Он оскорбил лишь одного господа бога, а я не сумел научить Жана любить Его, он так Его и не познал за все время, что прожил здесь со мной, и остался таким, как в первый день, помните, когда вы поспорили в саду!

Еще бы я не помнил: как ни юн я был, прошлое уже стало для меня той бездной, где самые, казалось бы, второстепенные события моего детства превращаются в утраченное блаженство.

Быть может, именно в тот самый вечер, заперев за нами дверь и подождав, пока нас поглотит туман, аббат Калю написал эти строки, которые находятся сейчас перед моими глазами: «Оценить прочность наших связей с богом больше всего и полнее всего помогает нам характер нашей привязанности к людям, в частности, к одному какому-нибудь человеку. Если источник всех наших радостей и всех наших мук является этот человек, если наш душевный покой зависит от него одного, все ясно: мы отошли от отца небесного так далеко, как

только можно отойти, не совершив преступления. Не то чтобы любовь к отцу небесному обрекала нас на душевную черствость, но она обязывает нас питать к созданиям божьим ту любовь, которая не была бы самоцелью, чистую любовь, почти непостижимую для тех, кто ни разу не смог испытать ее. Я ждал, что этот ребенок подарит мне отцовские радости, а ведь я пожертвовал ими ради тебя, господи, приняв на себя духовный сан. Как же мог я подавить и обуздать жившее в нем животное начало, если, сам того не сознавая, находил в этом какую-то прелесть? Ибо куда легче ненавидеть зло в себе самом, чем в любимом существе».

Мишель шла впереди меня, а когда я пытался ее догнать, она ускоряла шаг, показывая тем, что предпочитает быть в одиночестве. Она высоко несла голову, и ничто в ее внешнем облике не выдавало уныния. А мне важнее всего было поскорее добраться до дому, пока мачехе не донесли о нашем долгом отсутствии: эта тревожная мысль оттесняла все прочие. Когда мы пересекли прихожую, направляясь каждый в свою комнату, дверь маленькой гостиной приоткрылась и Брижит окликнула нас. Не хотим ли мы чаю, спросила она. После прогулки необходимо согреться. Мишель ответила, что не голодна, но, так как мачеха настаивала, сестра согласилась, не желая, без сомнения, чтобы та подумала, будто она, Мишель, боится и избегает разговоров. Итак, мы вошли в гостиную, где уже был накрыт стол. У Брижит Пиан было не то выражение лица — уж я-то хорошо ее знал, — какое предвещает начало военных действий. Однако я не сомневался, что она догадывается, откуда мы явились, и, хотя я понимал, что она с трудом сдерживает гнев, он как-то не вязался с ее усталой и удрученной миной. Она сама налила нам чаю, намазала маслом тартинки, причем подала Мишель первой, и наконец спросила как о чем-то само собой разумеющемся, видели ли мы аббата Калю. Мишель кивнула, но гроза, которую я со страхом ждал, не разразилась.

— Тогда, значит, — проговорила мачеха грустным и соболезнующим тоном, — вы уже, должно быть, знаете...

Мишель дерзко прервала ее: да, мы действительно все знаем, но она лично предпочитает, чтобы об этом вообще не было разговоров... И так как она направилась к дверям, Брижит окликнула ее:

— Постой, Мишель, не уходи.

— Предупреждаю, если вы собираетесь читать мне проповеди, то я не в состоянии...

Вызывающий тон сестры, казалось, ничуть не задел Брижит, у которой, без всякого сомнения, был свой замысел. Но какой?

— Я вовсе не собираюсь читать тебе проповеди, успокойся. Я только хочу, и мне это очень важно, чтобы ты признала мою правоту.

Лицо Мишель приобрело жесткое выражение, она старалась догадаться, с какого фланга последует атака. Поднеся чашку к губам, она мелкими глотками прихлебывала чай и, таким образом, была свободна от необходимости отвечать и вынудила Брижит поднять забрало.

— Ты мне скажешь, что не следует ждать признания своей правоты от людей и что голос совести в данном случае ценнее любых свидетельств. Но я, как и все прочие, слабое существо и хочу, нет-нет, не восторжествовать над тобой, бедная моя девочка, а скорее уж для собственного спокойствия, да, для спокойствия духа, прошу тебя признать открыто, что я видела грозящую тебе опасность, что этот мальчишка еще хуже, чем я опасалась, и что я сумела защитить тебя от него так же, как сделала бы это твоя родная мать, если не лучше...

Мы уже давным-давно привыкли к тому, что все поучения Брижит Пиан, так сказать, целенаправленны, и поэтому первым нашим побуждением, как и обычно, было догадаться, куда она гнет. Не сомневаюсь, что в эту минуту она говорила, пожалуй, искреннее, чем когда-либо. По ее поведению можно было догадаться, что в данном случае слова ее продиктованы страхом, не дававшим ей ни минуты передышки после кончины нашего отца. Но мы тогда еще не имели об этом ни малейшего представления. А она, Брижит, ждала, что ответ сестры ободрит ее. Мачеха, видимо, полагала, что Мишель не удастся уклониться и она вынуждена будет признать ее правоту. Поэтому Мишель была далека от мысли, какой удар она наносит Брижит, когда крикнула ей прямо в лицо:

— Вы хотите, чтобы я признала, что ваша взяла? Пожалуйста, охотно признаю. Только вы, именно вы разлучили нас. Это из-за вас он впал в отчаяние. И если он погиб, то вы виновница его гибели, и если я сама...

Нет, небеса не разверзлись! Брижит Пиан все так же сидела в кресле, только против своего обыкновения чуть сгорбилась. И ответила она, почти не повышая голоса:

— От горя ты потеряла разум, дорогая Мишель... Или тебе не все рассказали. Если кто его и погубил, то погубила эта Вуайо.

— Одно мое письмо, одно-единственное, могло спасти его от этого шага. Если бы я могла с ним поговорить, если бы вы не встали между нами, да еще с таким чудовищным ожесточением, что пытались даже погубить аббата Калю в глазах его начальства...

Голос Мишель пресекся, она разревелась, впервые в жизни она рыдала перед мачехой, словно бы непогрешимый инстинкт ненависти шептал ей, что сейчас ее врагиня не будет упиваться слезами падчерицы, напротив, они довершат ее смитение.

— Да нет же, нет же,— твердила Брижит Пиан тем самым голосом, каким бормотала что-то несвязное тогда ночью у меня под дверью.— Согласись по крайней мере, что ты имела дело с человеком свихнувшимся, со злодеем...

— Со злодеем? Злодей только потому, что в восемнадцать лет дал увлечь себя...

Мишель загнулась и не смогла выговорить «женщине».

— Да,— повторила Брижит с той страстью в голосе, с какой человек старается оградить свой душевный покой.— Да, именно со злодеем, я правильно сказала. Ладно, не будем говорить об этой женщине, раз тебе неприятно. Так или иначе, он сын благородных родителей, а повел себя, как бродяга с большой дороги, и, если существует на свете людское правосудие, его следовало бы засадить в тюрьму...

Мишель пожала плечами. Слова мачехи показались ей до такой степени несуразными, что весь пыл ее сразу угас. Поэтому она ограничилась ответом, что Брижит Пиан — а это всем известно — не помнит себя от счастья, когда речь заходит о таких вот историях. Если бы за подобные преступления сажали всех юношей, то никаких тюрем не хватило бы, пришлось бы строить новые...

— Не все юноши взламывают секретеры,— отпарировала Брижит.— Не все бегут из дома, украв сбережения своего благодетеля.

Она бросила эту фразу без заранее обдуманного намерения, очевидно полагая, что нам известны все обстоятельства бегства Жана. Но, взглянув на искаженное ужасом лицо Мишель, она только сейчас поняла свой промах. Брижит вскочила с места, чтобы поддержать Мишель, но та оттолкнула ее руку

и оперлась о мое плечо. Я стоял у стены, Мишель пробормотала:

— Это клевета. Это все, конечно, выдумали Виньоты...

— Как, бедные мои детки, значит, вы ничего не знали?

Брижит обвела нас удивленным и счастливым взглядом. Никогда еще мачеха не говорила с нами таким мирным, чуть ли не нежным тоном. Теперь она могла быть спокойна: мы вынуждены будем, хотим мы того или не хотим, подтвердить, что самая любящая мать поступила бы точно так же. Сумерки сменились ночным мраком. Лицо Брижит было освещено только отблесками огня, пылавшего в камине.

— Несчастному аббату Калю не хватило мужества сказать вам о гнусном поступке своего воспитанника, как это я сразу не сообразила. Очень сожалею, Мишель, дорогая, что я так грубо нанесла тебе удар. Теперь-то ты понимаешь? Я защищала тебя от злодея. Я догадывалась, к чему идет дело, я специально наводила справки у графа де Мирбеля — увы, слишком поздно — и за это прошу у тебя прощения; я разрешала тебе видеться с этим порочным мальчиком — вот в чем моя вина, огромная вина. Как я могла положиться на уверения аббата Калю? Правда, и на его счет я тоже хранила иллюзии...

Приняв наше молчание за знак согласия, мачеха поддалась невинному удовольствию разнежиться, пооткровенничать.

— Бывают минуты, — продолжала она, — когда видишь все недостаточно ясно. Верьте мне, я сама иной раз подумывала... Да-да, сомневалась... Смерть вашего отца ударила меня сильнее, чем вы можете думать. Мы отвечаем за все души, которые бог послал нам на нашем пути: «Что сделал ты с братом твоим?» Этот вопрос, который бог задал Каину, я задавала себе перед телом, столь неожиданно покинутым душой. Скоропостижная кончина сама по себе несет некое указание, которое приводит нас в трепет... Меня все сильнее охватывает страх за всех, за кого я в ответе. Иной раз и я могла заблуждаться. Но, бог свидетель, я всегда действовала к вящей славе его и ради блага душ человеческих... Ты, кажется, что-то сказала, Мишель?

Мишель отрицательно покачала головой, оторвала себя от стены и вышла из комнаты. Я бросился было за ней, но мачеха остановила меня:

— Нет, не надо, оставь сестру наедине с ее мыслями.

Прошло несколько минут. Брижит Пиан ворошила кочергой

— От горя ты потеряла разум, дорогая Мишель... Или тебе не все рассказали. Если кто его и погубил, то погубила эта Вуайо.

— Одно мое письмо, одно-единственное, могло спасти его от этого шага. Если бы я могла с ним поговорить, если бы вы не встали между нами, да еще с таким чудовищным ожесточением, что пытались даже погубить аббата Калю в глазах его начальства...

Голос Мишель пресекался, она разревелась, впервые в жизни она рыдала перед мачехой, словно бы непогрешимый инстинкт ненависти шептал ей, что сейчас ее врагиня не будет упиваться слезами падчерицы, напротив, они довершат ее смятение.

— Да нет же, нет же,— твердила Брижит Пиан тем самым голосом, каким бормотала что-то несвязное тогда ночью у меня под дверью.— Согласись по крайней мере, что ты имела дело с человеком свихнувшимся, со злодеем...

— Со злодеем? Злодей только потому, что в восемнадцать лет дал увлечь себя...

Мишель запнулась и не смогла выговорить «женщине».

— Да,— повторила Брижит с той страстью в голосе, с какой человек старается оградить свой душевный покой.— Да, именно со злодеем, я правильно сказала. Ладно, не будем говорить об этой женщине, раз тебе неприятно. Так или иначе, он сын благородных родителей, а повел себя, как бродяга с большой дороги, и, если существует на свете людское правосудие, его следовало бы засадить в тюрьму...

Мишель пожала плечами. Слова мачехи показались ей до такой степени несуразными, что весь пыл ее сразу угас. Поэтому она ограничилась ответом, что Брижит Пиан — а это всем известно — не помнит себя от счастья, когда речь заходит о таких вот историях. Если бы за подобные преступления сажали всех юношей, то никаких тюрем не хватило бы, пришлось бы строить новые...

— Не все юноши вламывают секретеры,— отпарировала Брижит.— Не все бегут из дома, украв сбережения своего благодетеля.

Она бросила эту фразу без заранее обдуманного намерения, очевидно полагая, что нам известны все обстоятельства бегства Жана. Но, взглянув на искаженное ужасом лицо Мишель, она только сейчас поняла свой промах. Брижит вскочила с места, чтобы поддержать Мишель, но та оттолкнула ее руку

и оперлась о мое плечо. Я стоял у стены, Мишель пробормотала:

— Это клевета. Это все, конечно, выдумали Виньоты...

— Как, бедные мои детки, значит, вы ничего не знали?

Брижит обвела нас удивленным и счастливым взглядом. Никогда еще мачеха не говорила с нами таким мирным, чуть ли не нежным тоном. Теперь она могла быть спокойна: мы вынуждены будем, хотим мы того или не хотим, подтвердить, что самая любящая мать поступила бы точно так же. Сумерки сменились ночным мраком. Лицо Брижит было освещено только отблесками огня, пылавшего в камине.

— Несчастному аббату Калю не хватило мужества сказать вам о гнусном поступке своего воспитанника, как это я сразу не сообразила. Очень сожалею, Мишель, дорогая, что я так грубо нанесла тебе удар. Теперь-то ты понимаешь? Я защищала тебя от злодея. Я догадывалась, к чему идет дело, я специально наводила справки у графа де Мирбеля — увы, слишком поздно — и за это прошу у тебя прощения; я разрешала тебе видаться с этим порочным мальчиком — вот в чем моя вина, огромная вина. Как я могла положиться на уверения аббата Калю? Правда, и на его счет я тоже хранила иллюзии...

Приняв наше молчание за знак согласия, мачеха поддавалась невинному удовольствию разнежиться, пооткровенничать.

— Бывают минуты, — продолжала она, — когда видишь все недостаточно ясно. Верьте мне, я сама иной раз подумывала... Да-да, сомневалась... Смерть вашего отца ударила меня сильнее, чем вы можете думать. Мы отвечаем за все души, которые бог послал нам на нашем пути: «Что сделал ты с братом твоим?» Этот вопрос, который бог задал Каину, я задавала себе перед телом, столь неожиданно покинутым душой. Скоропостижная кончина сама по себе несет некое указание, которое приводит нас в трепет... Меня все сильнее охватывает страх за всех, за кого я в ответе. Иной раз и я могла заблуждаться. Но, бог свидетель, я всегда действовала к вящей славе его и ради блага душ человеческих... Ты, кажется, что-то сказала, Мишель?

Мишель отрицательно покачала головой, оторвала себя от стены и вышла из комнаты. Я бросился было за ней, но мачеха остановила меня:

— Нет, не надо, оставь сестру наедине с ее мыслями.

Прошло несколько минут. Брижит Пиан ворошила кочергой

поленья в камине, и временами яркий язык пламени освещал ее большое лицо, потом снова огонь замирал, и тогда во вновь наступавшей темноте я видел только ее лоб и мясистую мякоть бледных щек.

— Нет,— вдруг сказал я,— лучше ее одну не оставлять.

Я вышел из гостиной и поднялся на третий этаж, где помещалась спальня Мишель. Я постучал, никто не отозвался. Я открыл дверь и подумал, что Мишель, должно быть, лежит, не зажигая огня, она часто так лежала. Я окликнул ее вполголоса, потому что боялся пустых комнат, темноты. Но нет, в спальне Мишель не оказалось. Я бросился искать ее и обшарил весь дом — от кухни до бельевой. Никто ее не видел. Я вышел на крыльцо: ночь выдалась холодная, вся залитая светом невидимой луны. Я вернулся в гостиную.

— Я не знаю, где Мишель,— еще с порога крикнул я,— я везде ее искал...

— Ну и что же, она вышла, может быть, отправилась в поселок. К чему, дурачок, принимать такой трагический тон?

Мачеха поднялась. И так как я, рыдая, пробормотал в ответ, что Мишель в такой час нечего делать в поселке, Брижит расстроено пробормотала, что «эти дети ее совсем с ума сведут». Но последовала за мной на крыльцо. Кто-то шел по аллее.

— Это ты, Мишель?

— Нет, мадам, это я, Сэнтис.

Сэнтис, заклятый враг мадам, вернулся на свою прежнюю должность, и было бы неприлично выгнать его сразу же после смерти отца. Он страдал одышкой, и мы еще издали слышали в темноте его хриплое дыхание. Он сообщил нам, что дал мадемуазель Мишель фонарик, на ее велосипеде фонарика нет. Она велела передать мадам, что ей необходимо срочно уехать, пускай к ужину ее не ждут.

— Куда же она поехала?

— И ты еще спрашиваешь? В Балюзак, конечно! В конце концов, может, это и к лучшему,— добавила Брижит Пиан, и мы вернулись с ней в гостиную, куда уже принесли лампу.— Она, видимо, надеется, что аббат Калю сумеет объяснить ей все происшествие в смягченном виде... Но это пустое! Кража со взломом — это кража со взломом.

Она погладила меня по голове.

— Ох, бедный мой мальчик,— вздохнула она,— какие примеры ты видишь в таком возрасте, когда о подобных вещах

тебе и знать не полагается, но зато какой урок, Луи! Взгляни на свою сестру, она, безусловно, хорошая девочка... И однако никакие силы небесные не могли ее удержать от этой поездки зимней ночью через лес. Вот что делает с человеком страсть, вот до чего она нас изничтожает. Обещай мне, что хоть ты не будешь таким, что ты не позволишь превратить себя в животное.

Она хотела поцеловать меня в лоб, но я уклонился от поцелуя и сел в сторонке, подальше от лампы.

ХIII

Ненависть, которую я почувствовал к нашей мачехе, не выразила себя ни одним словом. Однако Брижит, должно быть, ощутила ее дыхание в тот вечер, когда мы с ней поужинали в одиночестве и до одиннадцати часов ждали возвращения Мишель. На сей раз мачеха впусую окликнула ее: Мишель сразу прошла к себе на третий этаж, даже не заглянув в гостиную. Я односложно отвечал на рассуждения мачехи, вручившей мне подсвечник и свечу. Чуть позже, когда я все еще не решался вытянуть ноги под ледяным одеялом, она вошла ко мне в спальню, на ней уже был ее аметистовый халат, но тяжелая коса не поблескивала тускло за спиной, жирная змея попалась в ловушку и сразу же, от шеи, забилась под халат.

— Ночь очень холодная, я принесла тебе грелку, — сказала мачеха.

Подсовывая грелку под одеяло, она пощупала мои ноги. Впервые в жизни она пришла поцеловать меня на ночь, подоткнуть одеяло.

— Бедняжка Мишель не посмела признаться нам, что аббат Калю окончательно открыл ей глаза. Я понимаю ее страдания, не надо к ней сейчас приставать, позже она сама поймет, что я была права... А как ты думаешь? — допытывалась она и, подняв свечу, заглянула мне в лицо.

Но меня уже сморил спасительный сон. Закрыв глаза, я повернулся к стене и погрузился в полудремоту, как будто нырнул под воду. Мачеха вздохнула: «Какое счастье так сразу засыпать» — и ушла к себе в спальню, ушла к своему одиночеству. Ночью меня разбудил скрип половиц. Я понял, что ее снова мучают угрызения совести, и возрадовался этому самым недостойным образом: тогда я еще не знал всего ужаса пытки,

какую налагают на себя ревнители бога, не зная, что бог есть Любовь.

На следующий день за первым завтраком Мишель, бледная, с темными кругами под глазами, не слишком охотно отвечала на мои вопросы.

— Аббат Калю утверждает, — сказала она, — что назвать это воровством нельзя. По мере надобности он давал Жану немного денег. В тот раз Жан взял их без спроса, но он отлично знал, что его семья немедленно покроет недостачу, он оставил расписку вместо денег, которые взял, и аббат уверен, что рано или поздно Жан их вернет...

Я спросил Мишель, правда ли, что Жан сломал замок. Мишель нехотя подтвердила это, но, заметив мою гримасу, отказалась отвечать на дальнейшие вопросы и повернулась ко мне спиной. Странное дело, поступок Жана, казавшийся мне чудовищно ужасным, вдруг снова пробудил мою нежность к нему. По доброй своей воле я не мог бы ни отречься, ни предать его и трепетал при мысли, что связан узами любви с человеком, способным на преступление.

Уже много позже, и то по крупинкам, я узнал подоплеку этого происшествия, и узнал не от аббата Калю, а от самого Жана. И сейчас еще порой, когда я являюсь с очередным визитом к графине де Мирбель, она говорит об этих событиях без малейшего чувства неловкости. «Вот вам прекрасный сюжет для романа, — твердит она своим обычным тоном лакомки. — Я, конечно, сама могла бы воспользоваться им, но дарю его вам. Все равно я испортила бы его, это не мой жанр, это же не любовная история...» В ее глазах любовью имеет право называться только великосветский адюльтер.

В основе этого воровства и последовавшего за ним бегства, так тяжело отразившихся на судьбе Жана де Мирбеля, лежит, в сущности, «добрый поступок» аббата Калю, совершенный им много лет назад, еще тогда, когда он только поселился в Баюзаке.

В ту пору своей жизни он проходил через полосу самых горьких для священнослужителя испытаний: его угнетала мысль, превратившаяся в уверенность, — большинство людей, думалось ему, в нем не нуждается, мало того, им нет дела до царствия небесного, они даже представления не имеют, что это такое, и никогда их не касалась благая весть. На их взгляд, существует некая система ритуалов, предусмотренных для тех

или иных случаев жизни, а духовенство, так сказать, только исполнители. Не более того. Что же тогда остается священнику, как не замкнуться, поддерживать в собственном своем сердце робкий огонек лишь для себя самого и малого числа душ и ждать, пока в нашем мире не проявит себя во всем своем блеске мысль господня!

В таком состоянии духа находился аббат Калю, когда после двенадцатилетнего пребывания в духовной академии он в результате наветов, разоблачающих его недостаточную ортодоксальность, вынужден был покинуть кафедру. Он смиренно согласился принять приход в Балюзаке, в самом захолустном углу ландов, хотя и знал, что приход этот пользуется в епархии дурной славой. Дни свои он заполнит молитвой, будет совершенствовать свои знания. Все силы отдаст малочисленной пастве, которую ему доверили, не ожидая особого успеха. В первое же воскресенье после приезда в Балюзак он произнес проповедь; говорил он, как обычно, самыми простыми словами, какими только умел, перед сорока своими слушателями, впрочем, не так уж стараясь приспособиться к их уровню. Темой проповеди он взял как раз миссию священнослужителя: он словно бы размышлял вслух, и в первую очередь для самого себя. А на следующий день он обнаружил под дверью письмо на восьми страницах без подписи: какая-то женщина слушала его, поняла его. Очевидно, эта особа получила кое-какое образование. Пришла она в церковь, говорилось в письме, просто от нечего делать, из любопытства, а вышла оттуда потрясенной; однако она упрекала священников за то, что они ждут, когда к ним придут заблудшие овцы, вместо того чтобы по примеру своего Учителя самим искать их, следовать за ними, даже взвалить их себе на рамена и унести с собой. В письме намекалось, что есть такие постыдные деяния, в коих человек не может признаться вслух, что существует такое отчаяние, от коего не может избавиться своими силами ни одна живая душа, если господь не сделает к ней первого шага.

В то утро аббат Калю решил, что ему дано знамение свыше. По своей натуре он (подобно Паскалю) был склонен ждать от бога видимых проявлений, материальных свидетельств. Этот крик, исторгнутый его первой же проповедью в этой затерянной деревушке, он счел поддержкой, данной ему в печали его, ответом на его тревогу, а также кротким упреком, ему адресованным. К следующей воскресной проповеди он готовился с

особым тщанием и, хотя придал ей обобщающий смысл, взвешивал каждое слово, дабы незнакомка могла понять ответ, предназначавшийся ей одной. Бросив взгляд на молящихся, он сразу же обнаружил за колонной пару карих, устремленных на него глаз, свежее, но безвольное личико. В тот же день он узнал, что это учительница из Валландро, что она частенько бывает в Балюзаке, а зачем бывает — неизвестно; в ответ на его расспросы люди только хихикали да качали головой. Аббат Калю записал в своем дневнике, что, подымаясь на кафедру, он боролся с собой и не без смятения довел до конца свою проповедь. Но дальнейших записей об этом происшествии нет, вернее, есть только туманные намеки, непонятные для посторонних, ибо по просьбе учительницы он тогда же наложил на нее покаяние и был связан тайной исповеди.

Я расскажу здесь только то, что сам знаю, и расскажу по возможности глухо. Учительница, еще невинная девушка, подпала под власть чар Гортензии Вуайо — так сказать, амазонки (и пусть не думают, что такая разновидность неизвестна в деревнях). Есть такие существа, которые раскидывают свою паутину и могут поститься годами, пока в их сети не попадется жертва: терпение порока неиссякаемо. И достаточно такому существу только одной-единственной жертвы и только одной-единственной встречи, дабы обеспечить себе годы мирного насыщения. В конце того сентября, когда господин Калю стал балюзакским кюре, аптекарша Гортензия Вуайо уехала на воды в Виши. Хотя Гортензия считала, что ее подружку не так-то легко будет приручить, главным образом из-за угрызений совести, однако она даже не представляла себе, что ее владычество может быть поколеблено, и ничего не опасалась, тем более что на десять лье вокруг не было, по ее мнению, никого, кто бы мог повлиять на эту девицу. Поэтому она не приняла всерьез письмо, полученное в один прекрасный день и извещавшее об окончательном разрыве, но все-таки ускорила свое возвращение. Прибыв в Балюзак, она сразу же обнаружила своего врага и решила, что одолеть его будет легче легкого.

И опять-таки, верный своему обещанию ничего не выдумывать, я не стану описывать перипетии этой борьбы, тем паче что сам мало что о ней знаю. Но, очевидно, война велась не на шутку, если уж аббат Калю, никогда не обременявший просьбами начальство и ненавидевший подобные демарши, сумел добиться перевода раскаявшейся грешницы в другой го-

род. На своем новом месте девушка, однако, не была защищена ни против писем аптекарши, ни против ее частых визитов, тем более что Гортензия первая в Балюзаке купила себе в этом году автомобиль. Но накануне своего второго визита она получила короткое письмо, опущенное в Марселе: девушка извещала свою бывшую подругу, что она проходит в монастыре, готовящем сестер-миссионерок, искус послушницы, и назначала ей свидание на небесах.

Вскоре аббат Калю понял, хотя никаких объяснений не последовало, что пробудил в душе аптекарши ненависть, которая никогда не сложит оружия. Его мало трогала опасность, грозившая ему самому, ибо он считал себя неуязвимым в данном случае; он тревожился лишь о самой Гортензии, так как был способен вникнуть в тайны ее мук, как бы постыдны они ни были. Ибо он всегда был чрезвычайно внимателен к непредвиденным ответным ударам, неведомым еще последствиям наших поступков, когда мы, пусть даже с самыми лучшими намерениями, вмешиваемся в чужую судьбу.

Пока что врагиня аббата проявляла себя лишь на той территории, где можно было легче его уязвить. В ту пору антиклерикальные страсти достигли высшего накала; объединившись с балюзакским учителем и его женой, аптекарша создала своего рода комитет пропаганды, и вскоре вся округа почувствовала на себе плоды его деятельности. Но в самом Балюзаке Гортензия Вуайо пользовалась чересчур плохой репутацией, и удары ее почти не достигали цели, так что года два-три аббат считал, что ему нечего опасаться. Однако без особой пужды он старался мимо аптеки не проходить, а когда где-нибудь на перекрестке сталкивался лицом к лицу с Гортензией, он первый отворачивался — так смущал его этот беспощадный взгляд светлых глаз.

Она могла годами подстерегать свою добычу; но случай отомстить представился ей довольно быстро. Так что вполне понятно и даже извинительно, что поначалу аббат Калю не поостерегся, он знал, что вышеупомянутая дама молодыми людьми не интересуется, а с другой стороны, и во внешности ее не было ничего привлекательного. Гортензия чаще всего щеголяла в так называемых «жюп-кюлот» — в те времена такие полуюбки-полубрюки считались обязательными для велосипедисток; кроме того, она носила болеро с большим декольте и широкий пояс с огромной серебряной пряжкой, изображавшей затыльное сплетение Г и В. Прическу она себе делала

по тогдашней моде а ла Клео де Мерод, то есть расчесывала свои желтые волосы на прямой пробор и гладко их прилизывала, до самых мочек напуская на уши, а на затылке очень низко закручивала огромный пучок, утыканный шпильками. Все лицо ее было сплошь усеяно веснушками, особенно густо они сидели на носу и на скулах, оттуда переползали на веки, и казалось, что две-три веснушки утонули даже в глубине ее рыжих, как у хищника, глаз.

Аббат Калю воспользовался периодом выздоровления Жана, дабы закрепить над ним свою победу, во всяком случае, он так считал. Как и все мы, он находился под властью иллюзий вопреки разочаровывающим урокам опыта, а опыт этот гласит: ничто нельзя считать завоеванным раз навсегда, ни в любви, ни в дружбе. Жан де Мирбель, преданный, как сам он считал, своей матерью, сломленный болезнью, вполне способен был почувствовать мимолетную благодарность и уступить нежности. Но та самая сила, что жила в Жане, с первого же дня направленная против священника, продолжала существовать, хотя аббат Калю не подозревал об этом. Люди не могут относиться к священнослужителю безразлично: или он привлекает их, или отталкивает. Мирбель, в частности, испытывал неприязнь, инстинктивное отвращение к человеку целомудренному, так сказать, в силу своей профессии. Жан всячески старался побороть этот инстинкт, но не мог с собой совладать, ему ненавистен был даже самый запах этого дома без женщины. Он злился на своего воспитателя, считавшего вполне естественным, что мальчик, почти юноша, должен подчиняться тем же строгим правилам, как и сам аббат, и злился тем яростнее, что сердце его и дух не были открыты чарам милосердия, чистоты, уладам небесной любви, а ведь те, кто испытывал подобные чувства, просто вообразить себе не могут, что большинство людей глухи к ним, глухи до такой степени, что даже не имеют о них ни малейшего представления. По мере того как к Жану де Мирбелю возвращались силы, буквально все — и монотонная, затворническая жизнь, и борьба с самим собой, с собственной своей неблагодарностью в отношении человека, которому он был стольким обязан, — все это, повторяю, соединенными усилиями вызывало к жизни в душе Жана уснувших было демонов. И любовь, которую питал к своему питомцу аббат Калю, тоже сыграла здесь не последнюю роль, ибо такова была натура Жана: он брал на вооружение против вас же самих ту

любовь, которую вы ему расточали. Сколько раз, много позже, я сам слышал из его уст: «Ненавижу, когда меня любят».

В силу некоего противоречия, в котором Мирбель даже не пытался разобраться, он злился на аббата Калю как раз за то, что тот применительно к своему питомцу несколько смягчает нравственные и религиозные законы, особенно ненавистные Жану; аббат закрывал глаза на многое, старался не докучать ему. А Жан не только не был ему за это благодарен, но, пользуясь слабостью аббата, начал «бегать». Он повадился было ходить в кабачок, но, будучи от природы человеком необщительным, производил впечатление гордеца и не обзавелся друзьями. Зато он очень и очень нравился девицам, и к концу зимы произошла первая история. Родители девицы принесли аббату Калю жалобу; он попытался уладить историю, но взялся за дело весьма неловко. Подобно большинству целомудренных людей, он считал, что великая любовь служит надежной защитой для юноши против всех и всяческих страстей. Поэтому-то он и не опасался удара с этой стороны, свято веря, что Жан никогда не изменит Мишель. Действительно, множество юношей могут хранить верность любимой девушке, но еще больше таких, как, скажем, Мирбель, которые не видят никакой связи между той любовью, что владеет их сердцем, и своими любовными похождениями. Одна-единственная женщина существует для них, и они выходят из себя, если кто-нибудь осмелится подойти с общей меркой к тому полурелигиозному культу, который они питают к своей избраннице, и к тем заурядным любовным приключениям, где говорит только плоть.

Именно из-за этого и разгорелся первый спор между аббатом и Мирбелем, и Жан дал волю своему долго скрываемому гневу. Он сразу же взял над своим противником верх, высмеяв аббата за то, что тот и не помышляет осуждать его распутство с точки зрения христианской морали, а говорит с позиций старомодного любовного кодекса, а в этот кодекс уже давно никто, кроме семинаристов, не верит. Не помня себя от гнева, он посмел крикнуть аббату, что запрещает ему говорить о Мишель, что вообще никому не позволит произносить в его присутствии это имя. Чем больше распалялся Мирбель, тем неохотнее возражал ему аббат Калю, но Жан не был ему признателен за эту не скрывавшую себя боль. «Он ополчился на меня, как онолчается сын на слабого отца,— в вечер сцены

записал в своем дневнике аббат Калю.— Но христианскую душу, даже в самой слабой степени христианскую, мы обязаны любить только ради господа бога, того бога, в которого эта душа не верит».

Сам Мирбель не рассказывал мне в подробностях о том, куда завел его гневный порыв, однако легко догадаться, что эта фраза аббата Калю содержит в себе намек на самые жестокие слова. Жан отлично отдавал себе отчет в своей жестокости, и, хотя какая-то часть его души с возмущением восставала против этого, он шел напролом и даже с каким-то ожесточением погружался в беспричинную злобу. Однако вовсе не со злым умыслом нанести своему благодетелю последний удар Жан сдружился с аптекаршей. К Вуайо его затащили учитель с женой. В тот дождливый февральский день, когда этот подросток, которого Гортензия неделями подстерегала, укрывшись за гардинами, пересек в своем школьном капюшоне их дворик, прошелся по лужам и вступил на крыльцо аптеки, она, должно быть, испустила вздох облегчения, хотя до минуты мести было еще очень далеко.

Жан и сам не мог объяснить толком, какого сорта удовольствие он черпал в обществе этой бледной дамы с хриловатым, однако не лишенным приятности голосом, говорившей почти без местного акцента, в этих беседах под лампой-молнией, возле ровно гудящей печки, за рюмкой арманьяка, развязывавшего языки. Хотя антиклерикальные страсти учителя, связанные с тогдашней политической борьбой, не представляли для Жана Мирбеа ни малейшего интереса, насмешливые замечания аптекарши находили в нем немедленный отклик; никогда раньше он не слышал, чтобы люди говорили таким языком, и, однако, ему казалось, что этот язык ему знаком.

В тот первый вечер она потребовала, чтобы Жан являлся к ней только в сумерки, пусть он не сразу входит в аптеку, а лишь убедившись предварительно, что его не видят, так как кюре, с которым у них раньше были кое-какие недоразумения, безусловно, не одобрит этого знакомства, но утаить их встречи от аббата будет не так уж трудно. Жан возразил, что не намерен разбираться в ссорах своего наставника. В последующие дни оба поняли, что между ними установилось полное душевное согласие.

Характерной чертой этой женщины (не имевшей настоящего образования, но прочитавшей чуть ли не всех современ-

ных писателей, и плохих и хороших) было то, что, отрицая существование бога, она относилась к нему с ненавистью и требовательно — нелогичность эта, однако, ничуть ее не смущала. Она упрекала это неведомое ей существо, хотя в него и не верила, как упрекают те, для кого нет на этой земле иных путей, кроме его заклания.

Без сомнения, она не открыла Мирбелю свою тайную язву. Но получилось так, что Жан, не имевший, казалось бы, никакой явной причины разделять с этой женщиной, старше его на целых двадцать лет, такую ожесточенную злобу, тоже не прощал судьбе того, что создан именно таким, а не иным. Но он был из рода Мирбелей, был единственным наследником патрицианской семьи, и страннее всего казалась в нем эта враждебная, упрямая сила, направленная против любого порядка и любого насилия, посягающих на счастье. Гортензия Вуайо отлично знала, из какого отравленного источника черпает она свою ненависть; ни за какие блага мира не согласилась бы она открыть эту тайну Жану, хотя при желании вполне могла бы это сделать. А он, этот подросток, не знал, почему все отталкивает его от радости в этом мире, кроме девочки, которую он даже не надеялся когда-нибудь увидеть снова, кроме священника, который как раз и воплощал в себе все, что Жану было столь ненавистно.

Возможно, Гортензии Вуайо было бы не так легко достичь своей цели, если бы Жан не стал в ее руках орудием, которым она умело воспользовалась. Между ними с первого же дня установилось полное согласие, и это глубокое взаимопонимание облегчило ее маневры. Ей вовсе не нужно было притворяться, будто он ей симпатичен, потому что она действительно испытывала к нему симпатию; и вот этот-то мальчик сам попался в ее паутину, с наслаждением увяз в ней. Ей даже не пришлось прибегать к хитрости, чтобы его заманивать. Каждый вечер аббат Калю ходил в церковь читать молитвы и задерживался там допоздна. А Жан тем временем выбирался из дома через заднюю калитку, выходящую в сторону, противоположную главной дороге, и огибал деревню. К Гортензии попадали не только через помещение аптеки, достаточно было перелезть через заборчик и оттуда садиком пройти в дом.

Пусть даже Мирбель не опасался встреч с покупателями, он всячески избегал самого аптекаря; этот маленький старичок, целыми днями запечатывавший в конвертики лекарства с таким напряженным вниманием, будто от этого зависела жизнь

больного, вел себя с каким-то подчеркнутым смирением, но, судя по его ехидной усмешке и взглядам, был не таким уж смиренником. Старичок управлял имуществом своей супруги (таков был главный пункт их тайного соглашения: за мужем не признавалось никаких прав на особу жены, зато все имущество находилось в его ведении), вечерами он обычно уходил из дому, а когда возвращался, никогда не заглядывал в комнату за аптекой, если там, по его выражению, «собирался кружок».

Примерно недели через две аббату Калю доложили об этих тайных сборищах. На сей раз он подавил первое гневное движение души, и когда завел на эту тему разговор с Мирбелем, то внешне держался вполне бесстрастно, да и сначала со всех сторон обдумал, какой тактики ему держаться. Он ни в чем не упрекнул Жану, напротив, признал, что одиночество не может ничем привлечь юношу в восемнадцать лет, но у него-де есть достаточно веские основания — Жану их знать незачем — считать Гортензию Вуайю своим заклятым врагом. Итак, он, аббат, воззвал к лояльности Жана: поскольку тот живет у него в доме, поддерживать отношения с этой дамой будет прямым предательством. Если Жан считает, что не может жить в Балюзаке, не посещая аптеки, пусть скажет без обиняков, аббат сумеет найти какой-нибудь благовидный предлог и попросит графиню де Мирбель забрать своего сына: вот этого-то Жан и боялся больше всего на свете, зная, что его непременно отдадут в интернат какого-нибудь коллежа иезуитов. Впрочем, его тронул и самый тон аббата. Он не мог отрицать, что Гортензия Вуайю желает зла его учителю; не то чтобы она при Жане прямо нападала на аббата, Жан этого не потерпел бы, но любое ее слово метило в него; и мальчик, возвращаясь из аптеки и садясь за стол, краснел от стыда, отвечая сквозь клубы пара, подымавшиеся над супницей, на улыбку аббата Калю, на детский взгляд его глаз. Поэтому-то он и дал обещание не ходить больше в аптеку. Много позже он уверял меня, что обещал вполне чистосердечно, в полной решимости сдержать свое слово. Было это примерно в то время, когда аббат Калю раздобыл лошадь для верховой езды и когда он остановил меня на улице, намереваясь завязать с Мишель переписку, имевшую печальные последствия, о которых я уже рассказывал.

Если и до знакомства с Гортензией Вуайю Жан, разлучен-

ный с Мишель, не получавший от нее писем, страдал от своего заточения в Балюзак, то ему стало совсем уж невозможно с тех пор, как его лишили последнего развлечения — участвовать в беседах, к которым он уже привык, слушать, как школьный учитель читает вслух статьи Эрве, Жиро-Ришара, Жореса (а Гортензия лихо, как мужчина, пропускает стаканчик арманьяка, курит сигарету и разлагольствует с таким терпким юмором, что Жан много лет спустя все еще восхищался прелестью ее речей).

Аббат Калю предпочел бы, чтобы его воспитанник возмущался, бесился, но как одолеть эту тоску дикого зверя, попавшего в клетку, особенно после того, как настоятельница Сакре-Кер в весьма сухих выражениях попросила балюзакского кюре прекратить всякую переписку с ее воспитанницей Мишель Пиан? Жан бросил читать, уваливал от уроков, бродил до ночи по лесу или скакал на своей кляче. Спустя несколько недель он стал изредка заглядывать к учителю. Аббат Калю закрывал глаза на эти посещения, хотя не сомневался, что Жану всякий раз вручают там письмо от Гортензии или он сам оставляет ей записочку. Мирбель дал слово не видеться с аптекаршей, но не давал слова не писать ей. Не будь этих почти ежедневных эпистолярных бесед, возможно, их отношения не приняли бы любовного оттенка, и именно романтически-приподнятый тон юношеских писем дал мыслям Гортензии Вуайо новое направление. Ее осенило: то, что поначалу она считала невозможным с этим мальчиком, который в сыновья ей годится, вдруг стало возможным. Она начала с того, что осторожно перешла на язык дружбы, и это помогло ей добиться успеха, хотя на самом деле была неспособна питать дружеские чувства к кому бы то ни было, ибо с первого дня своего пребывания пансионеркой в лицее вплоть до получения аттестата зрелости дружба была для нее лишь ширмой желания. А сейчас в игру вступило желание мести. Впрочем, она не строила себе иллюзий относительно тех чувств, какие внушала Мирбелю. Хотя Жан и не сделал Гортензию своей поверенной, она знала, что он страдает, что сердце его занято другой. Но, будучи более искушенной, нежели аббат Калю, она сумела распознать в этом мальчике зверя, каким он, в сущности, и был, догадалась, что он уже весь во власти своего инстинкта, этого слепого, неотвратимого зова.

Гортензия Вуайо разгадала первым делом эту сторону натуры юноши. У Жана сохранились два-три ее письма, и он

много позже показывал их мне: ни следа сентиментальности, зато написаны они с весьма умелым расчетом, без всякого, впрочем, нажима пробудить юное воображение, отданное во власть одиночества. Одна из немногих записей аббата Калю, касающаяся непосредственно Гортензии Вуайо, показывает, до какой степени, чуть ли не до кошмаров, он был встревожен поведением этой женщины. «Тут целая наука, непостижимая в деревенской жительнице,— пишет он.— Ибо порок тоже является своего рода воспитателем. Не всякому дано лицедреть зло столь непосредственно. Жалкие наши личные слабости, которые мы называем злом, не имеют ничего общего с этим стремлением истребить душу человеческую. Я знаю, самый дух зла, тот, что был известен еще в XVIII веке и описан в «Опасных связях», живет и дышит всего в нескольких метрах от моего дома, за ставнями обыкновенной аптеки...»

Весна выдалась ранняя. Хотя в этом году Жан должен был сдавать экзамены на бакалавра, он по-прежнему убегал с уроков. Гортензия отлично знала, что непременно встретит его, когда, по ее мнению, придет время их встречи, и что для этого ей достаточно выйти прогуляться по берегу Сирона, но она не торопила события, не желая ничем рисковать. Она решила прежде всего стать наваждением для этого юноши, желала, чтобы он неотступно мечтал о ней, и уже начала строить иные планы, более далекие, чем простая месть. Ей было мало просто нанести аббату Калю смертельный удар. С тех пор как Гортензия лишилась своей подружки, она стала искать подходящего предлога отделаться от старика аптекаря, ставшего для нее бесполезной обузой. Она прикинула в уме, что юный де Мирбель явится не только орудием ее мести, но и поможет ей освободиться от брачных уз, если только он согласится пойти на скандал, но она еще колебалась, прежде чем занести ногу на следующую ступеньку.

С наступлением первых погожих дней аббат Калю, как и каждый год, начал объезжать на велосипеде поселки и отдаленные фермы. Надо было набрать ребят для изучения катехизиса, проведать больных, главным образом стариков, которых любящие сыновья вынуждали трудиться от зари до зари, нередко до самого смертного часа. И часто он наталкивался на немощного старца, уже не встававшего с постели, а рядом сидела сноха и попрекала свекра куском черного хлеба, который медленно перемалывали беззубые десны. Людская порода сурова сама к себе, беспощадна к другим, и в глазах ее любой

священник просто лентяй и проныра: «ничего не попишешь, все-таки попы нужны...» Смутное ощущение этой необходимости совпадало, в сущности, с самой дорогой в ту пору для аббата мыслью о том, какой урок был дан людям этим врытым намертво в землю крестом, к которому был прибит гвоздями бог, не могущий даже пошевелиться; так и священнослужитель пригвожден к тому же позорному столбу, тоже отдан всем на посмеяние и служит для людей загадкой, хотя они даже не пытаются ее отгадать.

Как-то к вечеру, было это уже в конце апреля, когда кюре вернулся домой еще до сумерек, поджидавшая хозяйина Мария доложила, что вот уже больше получаса его ждет в гостиной господин Вуайо, аптекарь, и что она в честь гостя разожгла камин. Впервые аптекарь переступил порог дома священника. Заинтригованный не на шутку аббат Калю обнаружил своего посетителя в уголке у чадающего камин. При появлении аббата гость поднялся со стула. Он принарядился. Узенький черный галстук не закрывал пуговицы рубашки. Между воротничком и иссохшей шеей можно было свободно засунуть кулак. При улыбке аптекарь показывал свои беззубые десны.

Сначала гость долго и пространно извинялся за то, что до сих пор не пришел отдать дань уважения их священнику. Но боялся, что его неласково встретят. Однако всем известно, что он вовсе не разделяет убеждений своей супруги. При жизни первой жены он по большим праздникам даже ходил в храм божий, а до девятнадцати лет пел в церковном хоре. Ему бы хотелось, чтобы господин аббат не считал его своим врагом, а главное, он надеется, что тот окажет ему честь и порекомендует его своим прихожанам: где же это видано, бегать за какими-нибудь таблетками в Валландро.

Каждое слово было продумано, казалось, аптекарь повторяет тщательно вы зубренный урок, и господин Калю никак не мог догадаться, куда он клонит. Гость снова дал понять намеком, что он не одобряет убеждений мадам Вуайо. Жизнь у него не такая уж сладкая, пусть господин аббат ему поверит. Он пожертвовал собой, заменив отца дочери своего старого друга Дестиу, когда та, сиротка, осталась одна на всем белом свете, да еще с целым состоянием на руках. Аптекарь известно, что люди считают, будто он женился на Гортензии из корысти... Но что он выиграл от этого брака? Только одни заботы да не-

приятности, связанные с управлением землей, выгод никаких, а главное, из-за завиральных идей мадам Вуайо он растерял половину клиентов. Ох, хлопот с ней не оберешься! Тут-то и показался кончик его ушей: конечно, он не вправе давать священнослужителю советов, но он не перестает дивиться, как это кюре разрешает своему воспитаннику встречаться с особой, известной своим враждебным отношением к церкви. Во всяком случае, он в качестве мужа, хоть скорее считает себя отцом, а не супругом, так вот, он обеспокоен этими свиданиями, о которых болтает весь Балюзак... Конечно, юный Мирбель просто мальчишка, в его возрасте такие вещи не имеют значения, по все же, все же... Тут кюре прервал гостя, заверив, что его воспитанник к ним в аптеку больше не ходит, но старичок заговорил о свиданиях в лесу, которые не доведут до добра молодого человека, да и Гортензии тоже не пристало заниматься такими вещами, доказательство этому — что она огрызается на все его замечания. словно бы начисто забыв о том, что всего несколько минут назад он старался изобразить свой брак как некий подвиг бескорыстия и преданности, аптекарь вдруг начал хныкать: ужасно грустно после стольких трудов очутиться на старости лет под угрозой потери имущества и разом лишиться плодов своих стараний. Когда долгие годы возишься с наделом жены, ставишь хозяйство на ноги, поднимаешь в ландшах целину, прореживаешь лес, устанавливаешь границы владения, оспариваемые соседями, словом, приводишь все в идеальный порядок, грустно, когда тебя выгоняют как простого слугу.

Господин кюре заметил посетителю, что его воспитанник ко всему этому никакого отношения не имеет. Аптекарь согласился, что действительно все это ерунда, что он не на то намекает, но надо отдать справедливость и Гортензии: она не из тех, кто заводит романы, и обвинять ее в подобных склонностях... (тут старичок метнул на кюре пронищательный взгляд и быстро прикрыл глаза воспаленными веками).

Аббат, вооружившись щипцами, ворошил поленья, чтобы они разгорелись — камин сильно дымится, сказал он, потому что зимой они его ни разу не топили. Старичок, хоть и кашлялся от едкого дыма, не отставал от господина кюре, пусть он поговорит со своим воспитанником. Ясно, ничего страшного не случится... но к чему давать повод для сплетен? И потом, Гортензия уже в критическом возрасте...

Щипцы задрожали в огромных лапах священника. Он под-

нялся и нагнул голову, чтобы заглянуть своему собеседнику в лицо.

— Будьте покойны, господин Вуайо, даю слово, что с завтрашнего дня мой воспитанник прекратит беготню по лесу.

Аптекарь нашел, что вид у него для священника не слишком благолепный. Потом он рассказывал, что никогда в жизни не видел, чтобы человек так остервенился, словом, от такого вполне можно ожидать самого худшего. Не хотелось бы господину Вуайо очутиться в шкуре этого мальчишки, когда тот вернется домой к ужину.

Оставшись один, аббат Калю прошел к себе в спальню, налил в таз холодной воды и окунул туда лицо. Потом опустился на колени, но слова молитвы не шли с его губ, мысли путались, как листья, подхваченные шквальным ветром. В семье его брата до сих пор еще говорили: «Это было на капикулах восьмидесятого года, в год великого гнева Эрнеста...» Последняя по датам вспышка «великого гнева» задержала на год его посвящение в плодьяконы. С тех пор с помощью милосердного бога он научился овладевать собой, прежде чем вспышка оборачивалась плохо...

Этим вечером, преклонив колени на скамеечку, он молчал, обхватив голову руками. Внутренний голос звал к нему: «Опасность рядом... Смотри, не причини ему зла...» Но этот призыв к благодарности заглушали куда более мощные раскаты: это говорило желание, чтобы Мирбель был уже здесь, чтобы можно было схватить его за шиворот, поставить на колени и держать, пока тот не попросит пощады. И потом, хватит шуточек: отныне с ним будут обращаться так, как требовал дядя Адемар. Раз на Жана можно воздействовать только силой, раз он повинуетя только из страха, что ж, балюзакский кюре сумеет его обуздать так, что он станет покорнее пса. «Молись, постарайся выиграть время», — неустанно твердил ему тот первый голос. И вдруг он услышал на лестнице знакомые шаги. Кюре приоткрыл дверь:

— Войди, мне надо с тобой поговорить.

И так как Жан ответил: «Сейчас зайду...», — священник повторил: «Не сейчас, а немедленно». Жан молча пожал плечами и стал подыматься на второй этаж. Но тут его вдруг схватили за воротник, поддали коленкой под зад, и он в мгновение ока очутился среди книг и журналов на диване-кровати, куда его бросили, словно тюк. Не помня себя от удивления, он

сел и увидел на уровне своего лица два огромных кулачища. Он только и сумел пробормотать: «Что это вас разобрало?» Аббат судорожно задышал и вытер ладонью пот с лица. Слава богу, мальчика не покалечил, опасность миновала.

Ледяным тоном, стараясь сдержать дрожь в голосе, кюре признал крах своего метода с таким воспитанником и предупредил, что с сего дня он будет ограничиваться лишь внешним надзором и намерен держаться такой тактики в отношении Жана вплоть до того времени, пока семья Мирбелей не освободит аббата от взятых им на себя обязательств. Он хочет надеяться, что у Жана хватит благоразумия не переводить их спор в область применения физической силы, потому что если аббат даст себе в этом отношении волю, то ему трудно будет обуздать себя, а бьет он больно.

После чего он велел Жану подняться в свою комнату, ужип ему подадут туда. «Все это время, пока он говорил со мной как последний хам,— писал Жан Гортензии Вуайо,— он ни разу не поднял век, а когда замолкал, должно быть, молился про себя, хотя губами не шевелил,— таковы они, эти люди, всегда найдут увертку, лишь бы ускользнуть от вас».

Аббат сдержал слово — он сам неотступно сидел с Мирбелем, а если выходил из дому, призываемый своими священническими обязанностями, то поручал Марии следить за юношей. Нет сомнения, что Жану не раз удавалось улизнуть из дому, а переписки с Гортензией Вуайо он и вовсе не прерывал ни на день благодаря посредничеству учителя, приходившего заниматься с Жаном математикой. Но тем не менее Мирбелю пришлось признать себя побежденным и смириться перед этой неспясаемой волей. Впрочем, приближение экзаменов — все ту же затягивавшийся на его шее в эти последние недели ошейник — побудило Жана отложить на будущее свой план сопротивления. До экзаменов он был допущен, но по устному провалился, после чего месяц провел у графини в Ла-Девизе и лишь в сентябре вернулся в Балюзак. Впервые после зловещего открытия в Балозе Жан увиделелся с матерью. «Мне подменили моего Жана,— писала графиня аббату Калю,— раньше это был просто юный сорванец, а теперь это юный циник. Стоит мне произнести слова увещевания или попытаться перевести спор в сферу высокой морали (а сейчас это главная моя забота), и тут же этот маленький негодяй позволяет себе смеяться мне

прямо в лицо. Разрешите мне, господин кюре, заметить, что если я не сомневаюсь в достоинствах вашего метода, то тем не менее должна признать, что он потерпел неудачу в отношении моего сына».

Во время каникул Жан почти ежедневно получал от аптекарши письма, а когда вернулся в Балюзак, их прежде расплывчатые проекты приняли более конкретную форму. В октябре Мирбель снова провалился на экзамене и тут отбросил все колебания. Господину Калю пришлось на несколько дней отлучиться из Балюзака в связи с церковными делами, и все это время Жан не расставался с Гортензией. Вернувшись домой, аббат нашел своего воспитанника в спокойном, почти размягченном состоянии духа и ослабил свой надзор. Теперь их отношения сводились к отношениям учителя и ученика, которые говорят только о занятиях и стараются избегать любых спорных вопросов. Священник в новом приливе доверия отдался своей малочисленной пастве: дети перестали дичиться, полюбили его. Поэтому-то он не заметил, что между ним и его воспитанником снова пробежала черная кошка: в силу непостижимой непоследовательности Жан элился на аббата Калю, охладевшего к нему, и мучился от этого охлаждения, и именно эти муки сыграли не последнюю роль в принятом им роковом решении, которое Гортензии Вуайо удалось представить в розовом свете.

Случается в жизни, мы дорожим привязанностью людей, которых не любим или же которыми, как нам кажется, пренебрегаем. Ни за какие блага мира Жан не признался бы в этом и, конечно, не понимал, что аббат Калю по-прежнему отводит ему в сердце своем и в мыслях своих самое первое место. Мистики повинуются некоей закономерности, и нет возможности растолковать ее тайны непосвященным. Мог ли священник быть спокойным за Жана и не считать, что он перед ним в долгу, если отдал мальчику всю свою жизнь без остатка и с каждым новым днем возобновлял свою жертву? Эта система взаимного обмена, компенсации, обратимости, в которой по воле небес живет тот, кто верит, бесконечно далека от плотского мира, где подросток начинает осознавать самого себя! Поэтому Жан считал, что его предали, что его бросил единственный на свете человек, знавший все его тайны, знавший, как он страдал и продолжает страдать из-за матери и из-за Мишель. Если аббат тоже покинул его, ничего ему не остается, как бежать из этого подлого мира, где нет для него места.

Конечно, насчет Гортензии он знал, что это не навсегда, даже не очень надолго... Но такова уж была его природная тяга к несчастью, и больше всего в этом приключении привлекало его то, что оно не давало выхода, не несло надежды, зато срывало с якоря и бросало в поток, откуда уже не выплыть.

XIV

Нам пришлось задержаться в Ларжюзоне до торжественной мессы, которую служат по покойнику на восьмой день и которая зовется в Жиронде «осьмитина». Накануне мачеха получила письмо от монахини, ухаживавшей за Октавией. Плод сохранить не удалось, после преждевременных родов начался флебит, температура не спадает, сердце совсем ослабло, словом, доктор опасается самого худшего. На улице Мирей полная нищета. Вопреки категорическому запрещению господина Пюибаро монахиня решила прибегнуть к помощи мадам Пиаи, так как булочник и аптекарь уже начинают скандалить. Известие это удручающе подействовало на нашу мачеху. Конечно, она успела бы съездить в Бордо и вернуться поездом к мессе, но она опасалась нарваться на дерзкий прием со стороны Пюибаро и с обычной своей щедростью решила отправить деньги телеграфом на имя монашенки и ее монастыря.

Брижит то и дело советовалась со мной, размышляла при мне вслух, словно бы не замечая моего холодного молчания. «Что бы с ними случилось без меня? — твердила она и начинала перебирать вслух все, что она сделала для четы Пюибаро. — Я их предупреждала, все, что я предсказывала, сбылось слово в слово. И даже этот несчастный случай, и эту смерть, потому что она, безусловно, умрет, хотя я и не смела об этом прямо сказать, но бог видит, что и это я предчувствовала... Но не мне, бедной женщине, было ставить точки над *i*, директор коллежа оказался человеком легкомысленным, только он один мог удерживать их на краю бездны, а он, наоборот, сам столкнул их туда... Но вот увидишь, Пюибаро всю вину взвалит на меня. Ведь и твоя сестра считает, что я виновата в смерти вашего отца и даже в том, что Жан совершил кражу со взломом... Просто невероятно!» Она пристально вглядывалась мне в лицо, и ее тревожный смех вымаливал хоть слово, хоть возражение, но упорное молчание, которым я встречал все ее речи,

показывало достаточно ясно, что я по всем этим пунктам согласен с Пюибаро и Мишель.

Тогда ей не осталось иного прибежища, кроме себя самой, она бродила по комнатам или кружила вокруг стола, вновь и вновь возводя для себя самой стройную систему самозащиты. Вправе ли я и сейчас взвалить всю тяжесть постигших нас бед на плечи этой женщины, мучимой эриниями Нового завета, всеми мыслимыми угрызениями совести, теми, что со дня сошествия Иисуса Христа на нашу землю терзают смятенные души? Те эринии, что преследовали Брижит Пиан, требовали, чтобы она немедленно возвратилась в город, дабы допросить на месте Пюибаро и услышать из его уст слова успокоения. Но так как поезд проходил здесь всего раз в день, нам оставалось ждать до завтра и присутствовать на торжественной мессе.

Мы поднялись еще до рассвета, в темноте. В течение всего пути Брижит Пиан пришлось терпеть присутствие Мишель, которая в Ларжюзоне упорно не показывалась ей на глаза. Три часа мы провели в наглухо закрытом купе второго класса, и девочка-подросток, казавшаяся еще мрачнее от черной креповой вуали, все это время словно бы играла в игру — ни разу не встретиться взглядом с мачехой, хотя та буквально вымаливала взгляда Мишель. Сейчас я испытываю жалость к этой женщине, уже давно превратившейся в прах, но тогда, сидя в ледяном вагоне, я не ощущал ничего, — хотя проводник дал нам грелки с горячей водой, но я все равно взобрался с ногами на скамейку, надеясь согреть озябшие ступни. И однако же я начинал понимать, что происходит в душе мадам Брижит. Не без любопытства следил я за этой импозантной дамой, за этой монументальной бронзовой статуей, чья тень омрачила все мои детские годы, и вдруг этот монумент покачнулся на моих глазах. По бронзе поползли трещины, возможно, мне еще предстояло видеть, как рухнет этот истукан. Когда мы выходили из вагона, мне почудилось, будто мачеха стала меньше ростом, и, помнится, я очень удивился этому обстоятельству, не сообразив тогда, что просто вырос я.

Мачеха назвала кучеру не наш адрес, а адрес Пюибаро. Этим хмурым утром грохот нашего фиакра до краев заполнил унылую улицу Мирей. Мы подняли глаза к окнам квартиры, где жил мой бывший учитель, и увидели, что ставни закрыты. Консьержка высунула изможденное лицо из-за дверей антресолей, заменявших обычную каморку привратника. На наш во-

прос она ответила, что все было кончено еще вчера вечером, что господин Пюибаро не велел никого к нему пускать, что час похорон ей неизвестен. Мы догадались, что консьержка получила на наш счет самые строгие указания. «Бывает, что человек в горе становится неблагодарным...» Консьержка подтвердила, что так бывает, что она и сама это замечала. Когда мы снова уселись в фиакр, Мишель вдруг переменяла тактику, она уже не отводила глаз, а уставилась жестким, пристальным взглядом в лицо нашей мачехи, так что та в конце концов не выдержала и отвернулась к окну. Хотя губы Брижит Пиан почти не шевелились, я понял, что она уже начала молиться за упокой души Октавии. И не сомневаюсь, Брижит сдерживалась, чтобы не крикнуть через все пространство вечной тишины: «Ну как? Кто был прав, бедная моя Октавия?»

Поэтому-то в начале пути она испытывала чуть ли не ликование при мысли, что ее предвидения так явно совпали с предвидением самого Всевышнего. Но не успели мы еще свернуть на Интендантский бульвар, как лицо ее помрачнело. Мишель сразу же прошла в свою комнату и не показывалась до вечера. Брижит Пиан заглянула было ко мне, но, так как я еле отвечал на ее вопросы, оставила дверь между нашими спальнями открытой, ей было необходимо мое присутствие, пусть даже враждебное. Через минуту она снова появилась в моей комнате и снова начала рассказывать мне историю своих отношений с четой Пюибаро за последние два года, причем смело воздавала себе хвалу по любому самомалейшему поводу и сделала исключение лишь для их последней встречи у постели больной Октавии. Только бы Леонсу Пюибаро не взбрело на ум, что здоровье его жены ухудшилось из-за этой маленькой размолвки! Мачеха старалась передать мне все перипетии их размолвки и даже припоминала все свои тогдашние выражения. Я слушал ее вежливо, но холодно и не вымолвил ни слова одобрения или утешения.

Наконец, не выдержав, она попросила меня сходить на улицу Мирей: само собой разумеется, меня господин Пюибаро примет и сообщит, в каком часу состоятся похороны. Но, несмотря на все мои довольно настойчивые попытки, консьержка не пропустила меня к Пюибаро, и мне пришлось идти в церковь Сент-Элуа, где я узнал, что заупокойной мессы не будет, а завтра утром в восемь часов будет только отпевание.

Предсказания нашей мачехи, что мы будем там в одино-

честве, не оправдались, на отпевание пришло немало народу. Пришли бывшие ученицы Октавии, а также ее коллеги-учительницы по частной школе. Многие плакали, и воздух был так густо насыщен молениями, что я ощущал это почти физически. Господин Пюибаро в старом черном сюртуке, в котором он ходил в прежние времена зимой на переменах по двору коллежа, стоял прямо, не преклонял колен, не плакал, и лицо его было такое же бледное, как, должно быть, у Октавии под деревянной крышкой гроба. Так как он, казалось, не замечает никого из присутствующих, мы могли считать, что лично против нас он враждебных чувств не питает, но у ворот кладбища он сделал вид, что не видит моей протянутой руки, так что я почти силком схватил его руку, но он тут же вырвал ее. А наша мачеха не посмела даже последовать моему примеру, потому что Пюибаро поклонился ей, не глядя в ее сторону, и даже рукой не пошевелил.

В тот же вечер, после обеда, мачеха снова пришла ко мне в комнату и сказала, что боится, как бы Леонс Пюибаро не поддался духу возмущения, и она очень сожалеет, что ей не удалось побеседовать с ним, склонить его к смирению и покорности. Я ответил, что, если он вел себя так враждебно в отношении нас, это вовсе не означает, что он испытывает такие же чувства в отношении бога, и коварно заметил, что, раз он был женат на святой, наша мачеха может смело на нее положиться: она-то вымолит у господина милости для Леонса Пюибаро. «На святой? — повторила Брижит Пиап. — На какой святой?» Она посмотрела на меня без гнева, но неестественно внимательно, даже как-то тупо, молча покрутилась вокруг моего стола и ушла наконец в спальню, унося с собой на всю ночь новый груз смятения и страхов.

После похорон Октавии мачеха не пыталась увидеться со вдовцом, но продолжала тайком помогать ему через посредство монахини, ухаживавшей за Октавией. Мишель вернулась в Сакре-Кер; и снова мы с мачехой зажили прежней жизнью с глазу на глаз, причем она всячески старалась завоевать мою симпатию, даже с каким-то оттенком унижения, будто не было у нее на свете иного прибежища, кроме этого подростка, который вел себя с приводящей в отчаяние вежливостью.

Я послушался совета аббата Калю и еще из Ларжюзона написал письмо графине де Мирбель, в котором справлялся о Жане. Ответ ее ждал меня в Бордо — письмо, каждое слово

которого было тщательно взвешено с целью притушить скандал. «Я ничуть не удивляюсь, мой юный друг, что Вы беспокоитесь о Жане и что Вас встревожили нелепые сплетни на его счет, распространившиеся в Ваших краях. Он приехал к нам сюда и сам тоже ужасно удивлен и даже сконфужен всеми этими слухами относительно него. Главные виновники здесь кюре и аптекарь: оба они подняли шум на всю округу, и если второму из этих господ можно в какой-то мере найти извинения, то первому не хватило здравого смысла и простой уравновешенности — вещь недопустимая для священнослужителя, особенно если он притязает на роль воспитателя юношества! Я прямо так ему и сказала, когда ездила в Балюзак отдать деньги, которые он дал моему сыну и относительно которых злые языки сочинили чисто рокамболевскую историю. Хочу надеяться, что Вы в нее не поверили. Священник даже не нашелся, что ответить на мои обвинения, в которые я, возможно, вложила излишний пыл материнского сердца». (Много позже я оценил все величие этого молчания: аббат Калю мог единственным словом уничтожить эту осыпавшую его оскорблениями даму, ибо тогда она еще не знала, что Жан всю ночь просидел, дрожа от холода, под окошком ее номера в гостинице в Балозе и что едва от этого не умер. И то, что видели его глаза и слышали его уши, осталось в нем на всю жизнь, как рана, как яд в крови.) В конце письма графиня извещала меня, что Жан будет продолжать учение в Англии, что, готовясь к отъезду, он проведет несколько дней в Бордо и надеется, что ему разрешат с нами попрощаться.

Письмо графини поставило меня в тупик, я буквально не знал, на что решиться. Пересылать ли это письмо аббату Калю, как я ему обещал? Я понимал, что лучше всего спросить совета у мачехи, но для этого надо было отказаться от моей стоической сдержанности. Но мне любопытно было посмотреть, как она отнесется к письму графини. Я ждал, что мачеха тоже набросится на балюзакского кюре, но тут она меня удивила. По ее словам, не следовало наносить еще одной раны и без того страдающему человеку, но, с другой стороны, письмо могло послужить господину Калю на пользу; мачеха посоветовала мне переслать в Балюзак этот документ, но сообщить от нашего имени, что никто из нас не поверил наветам графини. Таким образом, впервые за все время, что я знал Брижит Пиан, она отступила от своего первоначального мнения. В письме к аббату я не преминул подчеркнуть эту удивительную перемену и на-

писал об этой метаморфозе в ироническом тоне, не понравившемся аббату. Лишь к концу недели от него пришел ответ: могу сказать только, что после чтения этих строк, которые я переписываю здесь с особой любовью и уважением, я стал другим мальчиком, чем был раньше.

«Дорогой мой Луи, я не сразу тебе ответил, так как твое письмо в Балюзаке меня не застало и его переслали к моему брату, у которого я временно живу... Не буду, сынок, прибегать с тобой к обинякам. Тебе и так все слишком хорошо известно, поэтому не стоит ничего выдумывать. Я не являюсь больше священником Балюзака, мне даже приказано было без промедления оставить свой приход и поселиться в семье брата. Это, на мой взгляд, прямая опала и, пожалуй, даже больше, чем просто опала. Мирбели и старик Вуайо объединенными усилиями выставили меня как главного виновника разразившегося скандала. К тому же скромные старания мадам Брижит, коими она почтила меня, ее послание, написанное несколько месяцев назад главному церковному викарию, предвосхитили пункт за пунктом все, что произошло в дальнейшем. Последующие события придали особый вес ее критическому разбору, весьма сжатому и весьма примечательному, где твоя дражайшая мачеха живо обрисовала мой характер и мои склонности. Пишу это без всякой иронии, дорогой мой Луи, и, признаюсь откровенно, насмешливый тон твоего письма доставил мне не слишком много удовольствия. Я не верю, как, надеюсь, ты сам понимаешь, в случайность, не верю и в то, будто все предсказания мадам Брижит сбываются только в силу случайности. Конечно, я вовсе не собираюсь утверждать, что она здраво истолковывает все факты, а равно и мотивы чужих поступков, но есть у нее определенный дар прозревать их тайную злокозненность. Думаю, она была бы очень удивлена, если бы узнала, что, хотя мы с ней избрали разные пути, я нахожу наши с ней заблуждения сходными: и она и я — она, повинувшись голосу рассудка, а я — голосу сердца, — считали себя вправе вмешиваться в чужие судьбы. Разумеется, главное в нашей миссии, как и любого христианина, — это возвещать евангельские истины, но это вовсе не значит, что мы должны переделывать наших близких на свой лад и сообразно нашим личным вкусам, ибо даже самих себя мы переделать не можем; мы можем только идти впереди Всевышнего, как идет пес впереди невидимого охотника, с большим или меньшим успехом, какой зависит от того, будем ли мы достаточно внимательны,

покорны и податливы, дабы слиться с волей Учителя и пренебречь собственной. Мадам Брижит в отношении меня не ошибалась: она обвиняла меня в недостатке чувства меры и способности суждения и утверждала в выражениях чрезвычайно резких, что, ежели священнослужитель обладает этим недостатком в такой степени, как я, он рискует навлечь худшие беды, чем самая преступная страсть; а ведь именно поэтому я очертя голову вмешивался в чужие дела, вмешивался безрассудно, не по здравому размышлению и, конечно, неосторожно. О, разумеется, Всевышний извлек из этого пользу, ибо такова любовь нашего господа, который умеет все обратить к вящему благу тех, кого любит. Но по тому вреду, который скапливается вокруг нашего, как мы считаем, апостольского служения, не так уж трудно установить, сколько примешивается к нему скрытой корысти, тайных вожелений, о которых, впрочем, мы имеем лишь смутные представления, и вот почему превыше всего мы должны рассчитывать на милосердие свыше.

Дорогой мой Луи, все это, очевидно, покажется тебе чересчур туманным; вернемся к этому разговору через несколько лет, если отец небесный не призовет к себе своего не только бесполезного, но и опасного служителя, каким являюсь я. А пока что разрешу себе высказать свое мнение относительно мадам Брижит: не высмеивай того, что происходит в ней сейчас, не считай посланное ей испытание малым. Всю жизнь она видела лишь поучительную сторону своих поступков, а теперь они все разом и все вдруг обернулись к ней страшным своим ликом. Когда Иисус Христос открывает нам глаза и все поступки наши начинают теснить нас, подступать к нам, мы дивимся им, как тот прозревший евангельский слепорожденный, коему люди представились «подобными ходящим деревьям». Но мне хотелось бы, чтобы мадам Брижит поняла то, в чем я сам уверился лишь сейчас, находясь на последних ступенях унижения, степень коего ты не можешь и вообразить, ибо не было такой грязной клеветы, которую не обрушили бы на меня; люди считают себя вправе выдумывать все, что им угодно, и в архиепископской епархии, и повсюду. Могу сказать, что на пороге старости я потерял свою скромную человеческую честь и допустил, чтобы в лице моем оскорбляли Иисуса, отметившего меня своим знамением. Семья моя рассержена, унижена, ибо я навлек на нее позор, не говоря уже о том, что мое присутствие в их доме увеличило материальные трудности. Младшему из моих племянников пришлось уступить мне свою

комнату, и теперь он живет вместе с братом. Все они, понятно, очень добры ко мне, но моя невестка, пожалуй, слишком часто спрашивает, что я рассчитываю в дальнейшем делать, и приходится ей отвечать, что я и сам ничего не знаю, так как и впрямь я не годен ни на что, никому не нужен. О, теперь я не ошибусь: я стою перед господом моим нагой, лишенный всех своих заслуг, совсем беспомощный, как ни один человек на нашей земле. Возможно, такое состояние и должно пожелать людям, избравшим своим призванием, если только я так осмелюсь выразиться, добродетель. Люди, избравшие своим призванием добродетель, неизбежно составляют себе преувеличенное мнение о ценности собственных поступков, сами берутся судить собственные свои заслуги, и при сравнении себя с другими у них голова идет кругом от собственной добродетели. От души хотелось бы, чтобы мадам Брижит в час посланного ей испытания поняла, что вступает на путь великих откровений...»

Возможно, читая эти строки, кто-нибудь решит, что аббат Калю, обратившийся с такими словами к шестнадцатилетнему мальчику, и в самом деле доказал, что не слишком преуспел в области здравых суждений. Я не решился показать это письмо махехе, хотя она уже не старалась ввести меня в заблуждение, я жил в невыносимой атмосфере, созданной ее страхами. В это примерно время тонкий еженедельный журнал «Батай», орган анархистов, промышлявший в основном скандальными происшествиями, начал публиковать серию весьма ядовитых замечаний о «похищении аптекарши». Я страшно удивился, когда Брижит Пиан попросила меня доставлять ей еженедельно этот гнусный листок; сама она не осмеливалась его покупать и не хотела посылать за ним лакея, а я никак не мог взять в толк, какую усладу черпает она в подобном чтении, пока мне не сообщили в коллеже, что господин Пюибаро работает в «Батай» секретарем и читатели справедливо, нет ли приписывают его перу все публикуемые в журнале антирелигиозные статьи.

Каждую субботу я присутствовал при этом чтении, длившемся весь вечер; думаю даже, что Брижит Пиан вставала ночью и снова бралась за журнальчик, как бы желая глубже проникнуть в бездны падения этой души, которую она своими руками (во всяком случае, так ей казалось) толкнула к бунту, к ненависти и отчаянию. Дети, даже подростки, обычно не за-

мечают физических перемен у взрослых, с которыми они живут бок о бок. Но я видел, как день ото дня сохнет моя мачеха, теперь аметистовый капот свободно болтался у нее на плечах, как будто толстая и жирная змея волос, заплетенных в косу, кормилась ее собственным телом. Самое удивительное во всей этой истории было то, что спустя несколько месяцев Леонс Пюибаро не только ушел из журнала и удалился в монастырь ордена трапистов в Сетфоне, но и остался там навсегда и, таким образом, в одеянии послушника выполнил то, чего от него всегда ждала моя мачеха: тут опять-таки предсказания Брижит Пиан совпали с предначертаниями небес... Но в то время, о котором я говорю, она еще не могла предугадать этот неожиданный поступок, и если иной раз ее мятущийся дух отвлекался от мыслей об отступнике, то лишь для того, чтобы кружить вокруг других своих жертв: мужа, Октавии, которые, возможно, остались бы в живых, не встретить они на своем пути Брижит Пиан. Думала она также о Мишель, о Жане, об аббате Калю, на которого донесла...

До сих пор для меня остается загадкой одно обстоятельство: ведь наша мачеха могла бы найти себе опору и поддержку в лице духовного наставника в это критическое для нее время. Но я не знал, кто именно ее духовник, даже и не очень уверен, что у нее таковой был. Впрочем, как мне кажется, даже в те времена, когда она особенно гордилась своими успехами на пути к совершенствованию и когда никто еще не мог предвидеть, что в один прекрасный день ее будут терзать все фурии больной совести, мачеха исповедовалась гораздо реже, чем можно было этого ждать от особы, столь любящей афишировать свое благочестие. В дни моего детства еще не угас спор о том, как часто полагается ходить к исповеди, спор, начавшийся еще два с половиной века назад. В наши дни верующий католик старается причащаться святых тайн как можно чаще, а сорок лет назад страх и трепет царили в отношениях между христианскими душами и воплощенной любовью, каковая, согласно янсенистской традиции, считалась неумолимой.

Верно одно: в том году, когда начался великий пост и уже близилась пасха, страхи Брижит Пиан переросли в ужас. Как-то вечером она без стука ворвалась ко мне в спальню. Я уже лег и читал роман Фромантена «Доминик» и поднял на непрощеную посетительницу взгляд, затуманенный картинами воображаемого мира, откуда я с трудом вынырнул наружу.

— Еще не спишь? — спросила Брижит робко и умоляюще. Она прочла на моем лице выражение досады грубо оторванного от своих грез человека. Другое дело, если бы я еще не лег, тогда я охватил бы голову обеими руками, заткнул бы пальцами уши, склонился бы над книгой, словом, одна моя поза отбила бы охоту вступать со мной в разговор. Но сейчас, лежа под одеялом, я был безоружен.

— Послушай, Луи, я хочу попросить у тебя совета... Возможно, ты удивишься, но в иные минуты как-то перестаешь видеть ясно. Какое, по-твоему, большее из двух зол: нарушить требования церкви и не причащаться на страстной неделе или же, повинаясь заповеди, будучи недостойной, причаститься?.. Нет-нет, не отвечай так сразу, сначала подумай хорошенько. Вспомни-ка, что сказал апостол Павел о тех, кто не познает тела Христова...

Я ответил, что думать тут особенно нечего и что вопрос решается просто, достаточно покаяться в грехах священнику, чтобы на нас вновь снизошла благодать.

— Для тебя, Луи, дорогой, для чистого сердца ребенка, может, это и так, конечно, так!

Она тяжело опустилась на край моей постели. Уселась, видимо, надолго. Увы, пришлось отказаться от общества «Доминика» и слушать бессвязную болтовню этой стареющей дамы.

— Прежде всего грехи должны быть совсем простые, ясно распознаваемые, четко определенные, так что можно было бы вложить их в четкую формулу. Но как же, по-твоему, я могу растолковать какому-нибудь священнику все то, что меня мучает? Что он поймет из моих отношений с твоим отцом, с Леоном и Октавией Пюибаро, с господином Калю, с Мишель? Я уже трижды пыталась это сделать: поочередно обращалась к простому священнику, к доминиканцу, к иезуиту. И все трое, представь, решили, что я из числа слишком совестливых грешниц, а исповедники боятся их как чумы и действуют с ними оружием, каковое лишь усугубляет страх, а именно делают вид, что не принимают всерьез их самобичеваний. Таким образом, выходишь из исповедальни в твердом убеждении, что тебя не поняли и что поэтому тебе не будет прощен грех, раз сам священник не разобрался в твоих словах... Ну да, ну да, я тоже поражена этим недугом, — помолчав, крикнула она. — Но самое главное — знать, кается ли человек с чистыми намерениями или нет; если мы терпим подобную пытку, это не означает еще, что речь идет о выдуманных проступках...

— В таком случае,— прервал я ее наставительным тоном,— речь идет не просто о больной совести, но о раскаянии...

— Ты вложил персты в открытую рану, Луи. Мы пытаемся себя успокоить, прибегая к самым мягким терминам, ты прав, даже очень прав: я страдаю не от больной совести, а от угрызений, да, от ужасных угрызений. Ты, ты с первого слова сумел все понять с обычной твоей быстротой соображения, которой так восхищался бедняжка Леонс Пюибаро. А я отчаялась что-либо объяснить этим неопытным людям, для которых любой грех есть легко определяемый поступок и которые не понимают, что зло может порой отравить всю жизнь, что зло может быть многоликим, невидимым, необъяснимым, а следовательно, его нельзя выразить словами, оно в буквальном смысле не имеет названия...

Она замолчала, чуть привалилась ко мне, я слышал ее бурное дыхание.

— Мне пришла в голову одна мысль,— начал я. (Меня охватило волнение, знакомое мне еще с той поры, когда господин Пюибаро обращался ко мне как к оракулу, а я старался ослепить его своим ответом, в равной мере неожиданным и мудрым.) — Священник, который мог бы успокоить вашу душу, должен не только знать вас уже давно, но ему также должны быть известны в мельчайших подробностях те события, которые вас так мучают. Да-да,— настаивал я, а она смотрела мне в лицо с тем выражением, с каким безнадежно больные люди смотрят на изрекающего свой приговор врача,— господин Калю знал все наперед, в последнем письме он описывает мучающий вас недуг. Неважно, как его назвать — угрызения совести или раскаяние в содеянном: зная причины недуга, он даст вам отпущение грехов.

— Аббат Калю? Да что ты говоришь? Исповедоваться у него мне после того, что я ему сделала...

— Именно после того, что вы ему сделали.

Мачеха поднялась и стала кружить по моей спальне. И простонала, что ни за что не посмеет...

— Безусловно, вам будет тяжело,— настаивал я,— но тем большей будет ваша заслуга...

При слове «заслуга» она вскинула голову.

— Для большинства людей это было бы выше их сил, но для вас...

Она снова выпрямила стан.

— В конце концов...— прошептала она.— Видимо, придется ехать к его брату... А имеет ли он право исповедовать? — допытывалась она.— Да, конечно, в пределах епархии...

Она снова зашагала по комнате. Я нарочно громко зевнул и закутался в одеяло.

— Засыпаешь, Луи? Ну, спи, спи, счастливое дитя.

Она нагнулась над постелью, и ее шершавые губы коснулись моего лба.

— Признайтесь, я подал вам богатую мысль? — самодовольно спросил я.

Мачеха не ответила, толкуя и перетолковывая в уме мое предложение. Уходя, она потушила лампу, но, как только закрылась дверь, я снова зажег свет и снова «Доминик» увел меня далеко-далеко от этой измученной женщины.

XV

Выйдя из поезда, который привез ее от аббата Калю, Брижит Пиан сообразила, что до обеда остается еще часа два, поэтому она не наняла карету, а пошла пешком в тумане, среди людской толчеи, по ужасно печальному бульвару Сен-Жан, не замечая того, что всегда было ей ненавистно, уверенная в том, что ей простились все грехи. Шла она легкой поступью, и впервые в жизни к порыву благодарности, возносившей ее к богу, примешивалась смиренная человеческая нежность. С нее сняли бремя боли, она уже не страдала, дышалось ей свободно. Иной раз ее охватывало беспокойство, словно пронзительный зов: сумела ли она во всем до конца признаться? Ну да, конечно, впрочем, тот, кто выслушал ее, уже все знал наперед...

Она жадно внимала тому, что говорили ей в промозглой комнате, побеленной известкой, скудно мебелированной, где ее принял аббат Калю. Он не пытался ее успокаивать, но пристыдил Брижит, что она приписывает слишком большое значение своим заблуждениям, как будто не знает, что даже наши грехи господь заставляет служить своим предначертаниям. Он умолял ее поглубже проникнуться собственным своим ничтожеством и не заменять прежние иллюзии величавого продвижения по пути совершенства убеждением в том, что нет ее греховнее. Он добавил, что Брижит многое может сделать для тех, перед кем следует загладить причиненные ею обиды; в отношении мертвых это само собой понятно, но вот в отноше-

нии живых... «Вы, например, могли бы помочь мне,— заверил он ее,— походатайствуйте за меня перед кардиналом». (И Брижит сразу поняла, что Калю просит ее об этом ради нее же самой, ибо жалеет.) А он и не добивается для себя прощения у высших церковных властей, а только просит разрешения поселиться на свой счет между Бастид и Суи — в самом что ни на есть нищенском и заброшенном квартале, снять там себе квартирку, и пусть ему разрешат учить детей закону божьему и отправлять службу. Шагая в тумане легкой, свободной походкой по мокрым тротуарам, Брижит решила, что она сама покроет все его расходы, и уже рисовала в своем воображении, как новенький приход вырастет вокруг аббата Калю.

Брижит Пиан уже успела заглянуть в собор, прежде чем закрылись его ворота, и простояла под сводами несколько минут неподвижно, как зачарованная, будто растеряла все человеческие слова, потом вышла на улицу и добралась до дому, даже не заметив, какой дорогой она идет. В передней поздрил ее защекотал непривычный запах табака, и она сразу опустилась с небес на грешную землю: кто это смеет курить в ее доме? Прислушавшись, она различила голос Мишель и еще какой-то незнакомый и тем не менее уже знала, что он там, в ее гостиной, посмел прийти сюда! В своем письме графиня намекнула на возможное посещение юного Мирбеля, но Брижит ни на минуту не допускала мысли, что этот воришка наберется наглости и явится к нам. А он явился! И мы его приняли! За этой самой дверью он непринужденно болтает с Мишель. Брижит выпрямила свой стан. В нашей прихожей, освещенной язычком газа, заключенным в стеклянный матовый шар, она вновь стала прежней, той, что пребывает в состоянии благодати, уверенная в своем праве вмешиваться в жизнь тех, кем она имеет право распоряжаться. Но в то же время в ней глухо зарокотал тот праведный гнев, с которым ей было так трудно бороться, когда кто-нибудь осмеливался нарушить ее приказ, увиливать от выполнения того, что она решила и предписала.

Брижит уже схватилась за ручку двери, но пальцы ее перешитительно разжались. Вопреки налетевшему гневу вновь обретенный душевный покой, глубокое умиротворение не покинули ее. Те, что сидели сейчас в гостиной, она знала это, тоже обвиняли ее за причиненное им зло. Однако в этом пункте совесть ее была чиста. А как она могла себя вести иначе? Она охраняла

Мишель, совсем еще девочку, как охраняет родная мать. Однако аббат Калю придерживался иного мнения, и она отлично знала, что представляет для него юный Мирбель, хотя сегодня даже имени его не было произнесено. Но многое из того, что говорил аббат, было, безусловно, подсказано памятью об этом заблудшем ребенке: каждая судьба, говорил аббат, неповторима и исключительна, быть может, в этом-то и есть одно из проявлений тайны милосердия и справедливости, которые учат нас, что не существует общего закона, дабы судить и осуждать людей; каждый из нас получает незавидное наследство, отягченное грехами и заслугами нашего рода, и мера сего не может быть нами установлена, и каждый свободен сказать «да» или «нет» в ту минуту, когда любовь господня находится с ним совсем рядом; не можем мы присвоить себе право судить о том, что именно влияет на человека, предопределяя его выбор. Чету Пюибаро имел аббат в виду, когда сказал: «Не следует, подобно слепорожденному или глухому, встречать между двумя любящими существами, будь даже их любовь во зло. Самое главное — это сначала понять, что именно означает их встреча, ибо пути людские пересекаются не случайно...»

Стоя под дверью, Брижит Пиан слышала два голоса, звучащие попеременно: голос Мишель, чуть принужденный, и другой, уже мужской, но еще не установившийся, с глухими раскатами. Уже не гневаясь, а колеблясь, Брижит присела на деревянный ларь. Так, со стороны и не подумавшись, что она подслушивает под дверью (она действительно не разбирала, о чем говорят в гостиной), просто она замешкалась в прихожей, потом прошла к себе в спальню и долго, не зажигая огня, пробыла там одна, преклонив колени.

Жан де Мирбель нарочно выбрал четверг для встречи с Мишель: он знал, что утрами по четвергам она свободна. Сначала он выразил желание повидаться со мной. Первым моим побуждением было пойти предупредить Мишель, но я сразу догадался, что она уже знает о приезде Жана в Бордо. Ее очень портила монастырская форма. Волосы собраны узлом и стянуты на затылке сиреневой лентой, завязанной бантом. Из-за высоких ботинок на пуговицах лодыжки казались толще, чем на самом деле. Меня не обманывало ее наигранное спокойствие. Мы понимали, что при вечном своем недоброжелательстве наша мачеха может превратно истолковать этот визит, и потому заранее условились, что, как бы ни просил меня Жан, я не уйду из комнаты до конца свидания.

Мы вошли в гостиную. Еще не было четырех, но из-за штор, украшенных плетением из золотого шнура и вышитых гладью, в комнате было почти темно, так что пришлось зажечь лампу. Запах керосина витал над выдвижным столиком с выжженными узорами, над разрисованными экранами, свет оживлял раззолоченные кресла. Мирбель, безусловно, вырос и возмужал, зато лицо его стало чересчур худым. Щеки ввалились, и нос — а мы помнили, что нос у него горбатый, но небольшой — теперь казался слишком крупным. На лбу его пролегли морщины, неожиданные у восемнадцатилетнего юноши. На нем был новый костюм из магазина готового платья, слишком широкий в плечах.

Они, которые полюбили друг друга еще в ту пору, когда их тела не успели сформироваться, поглядывали друг на друга в удивленном молчании, показавшемся мне чересчур долгим; было бы лучше, если бы две эти несчастные бабочки прошли в обратном порядке все этапы своего превращения и сейчас достигли бы стадии детей, когда они были так дороги друг другу. И несомненно, первыми узнали друг друга глаза, которые совсем не изменились.

А что касается меня, то от детской моей ревности не осталось и следа, мне хотелось только одного — стушеваться, стать невидимым. Впрочем, мне удалось это без труда: с первых же слов остались только те двое, все прочее исчезло. Однако разговор не завязывался; со стороны могло показаться, будто они не знают, что сказать друг другу, — она, сидевшая в кресле, и он, стоявший спиной к окну. Не спросив у Мишель разрешения, Жан закурил сигарету. В углу, куда я забился, от меня ускользали многие их реплики, особенно то, что говорил Жан, повторивший несколько раз нетерпеливо и раздраженно: «Да не в том дело... Это совершенно неинтересно», на что Мишель отвечала насмешливым тоном: «Ты так считаешь?» Я догадался, что она намекает на аптекаршу. Жан засунул руки в карманы и, подняв плечи, покачивался на носках; по его словам выходило, что единственное бесспорное во всей этой истории — то, что Мишель не захотела больше знать с ним, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, лишь бы отделаться от него; впрочем, это вполне естественно, она и сама не верила ни минуты, что он ей дорог. Мишель перебила его и сказала совсем так, как когда они ссорились детьми: «И ты еще меня обвиняешь? Ну, знаешь, это уж чересчур! Разве не ты первый...» И Жан раздраженно проговорил: «Ты злишься из-за этой дурацкой ис-

тории. Да пойми ты в конце концов, что для меня это все равно что побить стекла, сбежать... Мне необходимо было вырваться из Балюзака... Из-за тебя, потому что я не мог выносить такой жизни. Ну да, ну да, ты всему виной. Эта женщина?.. Да ты бы сама первая хохотала как сумасшедшая, если бы видела нас с ней в Биарице, в гостинице все считали, что я ее сын. А она не смела протестовать. Впрочем, ее это не задевало... Поверь, ей было плевать на меня. Просто я не могу тебе всего объяснить...» И так как Мишель крикнула: «Верно, лучше даже не пытаться», — он заверил ее, что во всей этой истории Гортензию Вуайо интересовал лишь аббат Калю: «Она только о нем и думала. Вот сейчас, говорила она, он вернулся домой, сейчас он все узнает. Какова будет его первая реакция? Способен ли такой человек заплакать? Видел ли я когда-нибудь, как он плачет? Вот с какими вопросами она ко мне приставала. Она хотела сыграть с ним злую шутку... а может, отомстить... Но за что? Хотя бы за то, что он носит сутану, она хотела причинить ему зло... Во всяком случае, я тут был, если хочешь знать, ни при чем». Мишель возразила: весьма вероятно, что эта женщина над ним смеялась, но он-то сам попался на удочку, вот что она ему никогда не простит. Жан принял эту гневную вспышку неожиданно кротко, и я понял, что объяснялось это его крайней усталостью: «Зачем же тогда спорить?» Он лично прекрасно знает, что с этим покончено. Мишель даже представления не имеет, что пришлось ему пережить, а он не может ей всего рассказать. Единственной его нравственной опорой была Мишель, он жил мыслью, что она сохранит ему верность, что бы ни произошло... Но, естественно, он отлично понимает, Мишель переоценила свои силы: разве может молоденькая девушка связать свою судьбу с таким типом, как Жан де Мирбель! Того и гляди, он увлечет ее и погубит.

— Ты все искажаешь, — стояла на своем Мишель, упрямо возвращаясь к разговору об этой женщине, об этой Вуайо.

И Жан жалобно простонал:

— Ничего ты не понимаешь...

Только я один, не участвовавший в этом словесном поединке, проникал в суть вещей. Я понимал, что Мишель поражена тем же недугом, от которого я страдал из-за них, когда был еще ребенком. Мишель, с трудом признававшая в этом тощем юнце своего Жана, уже могла бы начать сомневаться, любила ли она его, если бы не тоска по нем, в какой она жила все последнее время. А Жан вроде бы не замечал ревности Мишель, вызы-

вая к ней из глубины своего одиночества: «Бери меня таким, каков я есть, взвали на себя заботы о больном юноше, потому что я больной!» Но Мишель не слышала этого крика: она уже была женщиной, одной из тех женщин, которые не видят ничего, до такой степени их ослепляет гнев, подсказанный плотью. Женщиной практической, положительной. «Хорошенькое дело, еще тебя и жалеть, — твердила она. — Скоро ты скажешь, что тебе, Жану де Мирбелю, закон не писан». А он не нашелся, что ответить, вернее, не находил таких слов, которые могли бы тронуть эту упрямцу. С удивлением он слушал, как она говорит о преимуществах, которые дает его происхождение, его богатство... Как втолковать ей, что им движет на самом деле? А движет им закон, в котором одновременно уживаются неприятие и требовательность, закон, которого он еще и сам не понимал. После долгого молчания он проговорил: «Объясни мне, Мишель, почему я был таким ребенком, которого обязательно надо было лупить, таким мальчиком, на которого тыкали пальцем, которого скот дядюшка решил вымуштровать... И потом, пойми ты, есть вещи, которых ты не знаешь...» Мишель спросила, каких это вещей она не знает.

Жан покачал головой не то чтобы в знак отказа ответить, как я тогда подумал, а желая отогнать прочь картину, о которой позже, когда мы стали неразлучными, он рассказал мне подробно, картину, преследовавшую его словно наваждение: улочка в Балозе, заросли крапивы у соборной стены, квадратная фигура мужчины в проеме окна и тоненькая беленькая фигурка, с трудом протиснувшаяся между широким мужским плечом и стенкой. Помолчав, он добавил: «Я должен тебе вернуть... знаешь что?» Он имел в виду медальон. Мишель запротестовала: «Нет, нет, оставь себе». Но Жан уже расстегнул ворот рубашки и пытался отцепить медальон от цепочки. Но после неловких попыток он отказался от дальнейшей борьбы, снова сел и замолк, понутив голову. Я не сразу заметил, что он плачет. То, что не смогли сделать слова, сделали слезы: Мишель сдалась, но она не шагнула к нему, а он не поднялся со стула — этот материальный знак боли, причина которого была непонятна Мишель, победил ее сопротивление, хотя она не уступила ни в одном из пунктов. Ни одна из ее обид не была забыта — всю свою жизнь Мишель держала их при себе, добавляя новые, рожденные всем по иным поводам, и вскармливала ими будущие ссоры. Но теперь он плакал, и Мишель физически не могла этого перенести. Она подошла ближе и, чуть нагнувшись над ним, утерла

ему слезы своим маленьким носовым платочком. А другой рукой провела по волосам Жана.

Я отвернулся, но видел Мишель и Жана в зеркало. И увидел также, как открылась дверь из прихожей. Но в дверь так никто и не вошел. Жан де Мирбель поднялся. На пороге появилась Брижит Пиан, держа в обеих руках поднос с чашками и тартинками. Я догадался, что она не могла открыть двери с такой ношей и ей пришлось поставить поднос на ларь. Улыбались только губы, а глаза смотрели на нас хмуро.

XVI

Обслуживала она нас со смиренной суетливостью, но не с той прежней, к какой она прибегала, намереваясь наставить нас на путь истинный, а может, если и входил в ее поведение правоучительный элемент, то не это я ощутил прежде всего, а крутую перемену, происшедшую с ней. Вообще-то люди не меняются; теперь, в мои годы, я уже не сомневаюсь в этом, но нередко они начинают склоняться к тому, против чего до исступления боролись всю свою жизнь. Это вовсе не значит, что в любом случае верх берет плохое начало: религия тоже может служить для них таким притягательным началом, и многие поддаются на ее благие соблазны.

На первых порах случай Брижит Пиан был совсем иным, хотя, повинуясь советам аббата Калю, мачеха на наших глазах сложила с себя на несколько недель все свои высшие житейские полномочия и пыталась найти в самой себе источник внутренней веры. Но то, что она собиралась устранить из своей жизни, как раз и составляло в ее глазах религию, а именно все, что удовлетворяло ее страсть к владычеству, к самоуправству, стремление никому не уступить по части чистоты или совершенства.

Как сейчас вижу ее в нашей уродливой гостиной — вот она стоит, держа в каждой руке по чашке чая. В течение тех нескольких минут, что она проторчала с нами в гостиной, рухнули все преграды, отделявшие Мишель от Жана и меня от них двоих: перед лицом этой стареющей женщины мы сразу же стали единым блоком юных. Так три звезды, разделенные безднами пространства, кажутся ближе друг к другу по отношению к четвертой, совсем от них далекой.

Мачеха смотрела на нас с жадным вниманием, и поначалу я не мог понять, откуда оно. «Наконец-то мы ее усмирили, те-

перь она сдалась!» — воскликнула Мишель, как только мачеха удалилась. Но нет, дело тут было совсем в другом. Безусловно, Жан передал ей милое письмецо от своей матери; Брижит даже высказала пожелание, чтобы Жан из Англии давал нам о себе знать и, таким образом, признала за ним право переписываться с Мишель... Смысл этого кажущегося поражения открылся мне полностью в те два-три года, которые предшествовали моему отъезду в Париж. В течение всего этого времени Жан из Кембриджа писал Мишель по нескольку раз в неделю. Мало сказать, что мачеха этому не препятствовала: она буквально целыми днями выслеживала Мишель, стараясь угадать по выражению ее лица, получила ли она очередное письмо, что оно принесло сестре — радость или муки. Словом, Брижит Пиан ничего не желала упускать из этой любви, вернее, из этой непрерывной грозы, историю которой я как-нибудь расскажу. «Она радуется, когда мне плохо...» — злилась Мишель. Нет, Брижит не радовалась: она была заинтересована и не просто, а страстно заинтересована.

И еще Мишель говорила: «Теперь, когда Брижит не может больше никого мучить, она находит удовольствие в том, чтобы подсматривать за другими...» Эти слова были, по-моему, ближе к истине. Жизненные интересы Брижит Пиан сместились. Теперь, когда она перестала самозабвенно трудиться над своей власяницей лжесовершенства, она на досуге могла присмотреться к другим людям, наблюдать за теми странными играми, в которые они играют, — а называются эти игры любовью. Раньше Брижит с отвращением сторонилась их долгие годы, даже не пытаясь проникнуть в тайну, скрывающуюся под этим словом.

Мишель не только не трогал повышенный интерес нашей мачехи к ее любовным делам, напротив, сестра приписывала ей самые недоброжелательные мысли и всячески старалась скрывать от нее историю своих отношений с Жаном. Но Брижит научилась разбираться в каждой перемене настроения моей сестры, растолковывать каждое случайно вырвавшееся слово, каждый вздох, даже молчание.

Очевидно, мачеха упорядочила свою религиозную жизнь и, возможно, даже чаще стала ходить к исповеди, потому что ее уже не мучили угрызения совести. Но отныне она стала вести как бы две жизни: выйдя из храма божьего, проникала в другой мир, не имеющий ничего общего с небесами. В пятидесятилетнем возрасте она открыла для себя художественную литературу, и я часто заставал ее у себя в комнате, когда она рылась

в моих книгах. Читала она так же, как ела, — с детской жадностью заглатывая двойные порции: она старалась наверстать часы и дни, потерянные на пустяки, впрочем, была достаточно проницательной, дабы относиться к этим пустякам пренебрежительно. Помню даже, каким жестом она открывала пачку «хороших книг». Брала первый попавшийся том, сразу же начинала читать, перескакивала через две страницы, вздыхала, пожимала плечами. Теперь она с одинаковой жадностью хваталась за «Адольфа», «Лилию долины», «Апну Каренину». Я потакал ее пристрастию к точному описанию чувств. Каждая любовная история привлекала мачеху, лишь бы только автор не искажал действительности. Так человек, осужденный на сидячий образ жизни, упивается книгами о путешествиях, но требует от писателя абсолютной точности и правдивости описаний.

С аббатом Калю она почти не встречалась. Ее хлопоты разрешить ему возглавить приход в Суи не увенчались успехом. Высшее духовное начальство совершенно несправедливо приписало перу незадачливого священнослужителя ядовитые заметки, публиковавшиеся в «Батай» и задевающие начальство епархии. Аббат Калю принадлежал к числу тех наивных людей, которые не умеют сдерживать острого слова и которые скорее согласятся пойти на виселицу, нежели проглотить оскорбление. На его беду, кардинал Лeko оставил должность прелата Аквитанского, и его место занял человек ограниченный и потому беспощадный. Возможно, когда-нибудь я еще и расскажу о восхождении святого аббата Калю на Голгофу. Пока что он ждал со дня на день отстранения от должности и допекал Брижит Пиан рассказами о своих горестях; из поездок к нему она возвращалась разочарованной, но уже на следующий день забывала обо всем, кроме любви Мишель, или с головой окуналась в чужие судьбы, чуть ли не до зари читая романы.

Не то чтобы в ней полностью умерла фарисейка, напротив, она гордилась теперь тем, что, не утратив былой проницательности, способна ясно видеть и осуждать себя. Она не допускала мысли, что на свете существует много таких, как она: шутка ли, в пятьдесят лет верующая христианка вдруг убеждается, что всю жизнь шла неверным путем. Даже самой себе она не признавалась, что ей приятно именно то, что теперь она никого не наставляет. Правда, иной раз ее охватывала глубокая печаль при мысли о минувших годах.

Помню, мы возвращались с похорон моего опекуна мэтра Мальбека. Его принесли домой с перекошенным ртом от его любовницы. После него осталось довольно запутанное наследство, так как втайне от всех он вел беспутный образ жизни. «А все-таки этот Мальбек,— вдруг сказала мне Брижит Пиан, когда мы ехали в карете с кладбища,— а все-таки этот Мальбек, он хорошо пожил...» Я запротестовал: разве это значит жить? Мачеха сконфуженно замолчала, потом стала меня уверять, что я ее плохо понял, о людях, ведущих широкий образ жизни, обычно говорят: такой-то хорошо пожил, только это она и имела в виду. Разумеется, говорила она искренне и, однако, не переставала удивляться тому, что я так усидчиво занимаюсь. «Ведь все мужчины ужасные шалопаи»,— твердила она совсем не тем ядовитым тоном, как раньше, напротив, с улыбкой. Когда я поселился в Париже, где поступил в Политехнический институт, во время моих коротких посещений Бордо мачеха не отставала от меня с вопросами весьма настойчивыми, но ловко завуалированными. Она ничуть не сомневалась, что я веду в столице жизнь, полную страстей и интрижек, и оживленно переписывалась с графиней де Мирбель насчет нас с Жаном (в девятьсот десятом году мой друг тоже переехал в Париж). Здесь я снова воздержусь от рассказа об этих парижских годах, сделаю я это когда-нибудь потом. Упомяну лишь одно-единственное приключение, и то лишь потому, что в него вмешалась Брижит, и именно в этом случае особенно ярко проявили себя перемены, происшедшие с этой женщиной.

С самой ранней своей юности я носился с мыслью о женитьбе; мне не терпелось поскорее вкусить опыт счастья, и я находился в условиях, которые редко выпадают на долю моих сверстников, однако одержимость моя объяснялась совсем другим — тайными муками сердца, и я боялся погибнуть от них. Теперь я мог бы вполне применить к тогдашнему своему состоянию слова Ницше, которыми он так глубоко охарактеризовал французский XVII век: «В нем много от хищного зверя, много от самоистязаний аскета, решившего обуздать себя».

Когда один мой приятель заговорил со мной о своей кузине, рожденной в артистической, но богатой среде, когда он стал превозносить ее до небес, я сразу попался на удочку, с первой же встречи, даже не разглядев ее толком. Недаром я жил в такой интимной близости с богом, недаром верил, что ничего не может со мной случиться без вмешательства Вездесущего, верил, что никто не сможет войти в мою жизнь, не будучи, так ска-

зять, посланцем небес, и не удивительно, что я приготовился к встрече с этой девушкой, как к встрече с ангелом-освободителем. «Они опережают меня, эти глаза, полные света!» Но если быть до конца откровенным, эта моя мадонна и муза оказалась менее решительной и более норовистой, чем бы мне хотелось. Еще ничего не было решено, как она уже потребовала путешествия по Шотландии. Но моя любовь прекрасно уживалась с постоянными разлуками и неурядицами, ставила их в заслугу этой юной и весьма возвышенной особе.

Я и не догадывался, что за ширмой возвышенности эти крупные буржуа взвешивали все «за» и «против» и осторожно ко мне присматривались. Я считался богатым, но семья наша была провинциальная и уважаемая — не более. Можно ли делать ставку на такого, как я? Эти люди принадлежали к числу тех просвещенных парижан, которые знают, что искусство и литература дают в будущем человеку со спекулятивной жилкой возможность получать прибыль. Они уже тогда шли на риск, покупая полотна Матисса. Но представляю ли я реальную ценность? Пугаясь моего нетерпения, они не знали, на что решиться, и всячески изощрялись, желая держать меня, дурачка, в состоянии неопределенности. Едва я заговаривал о разрыве, они удваивали свои авансы, и дело дошло до того, что, когда стало известно, что мачеха получила откуда-то довольно неприятные сведения о состоянии здоровья их семьи, они умоляли меня пойти расспросить их врача, которого, по их уверениям, они освободили от профессиональной тайны.

Иногда мне кажется, что все эти поступки, все эти нелепые и гнусные демарши мне просто пригрезились. Как сейчас вижу, я сижу за столом напротив этого коновала, готового с ледяным равнодушием отвечать на любые вопросы, какие я соблаговолю ему задать. Все это кончилось последним свиданием, из которого я вышел уже женихом, и душераздирающим письмом от моей невесты. Но на следующее утро — крутой поворот! Мне отказали, даже не извинившись, не объяснившись... «Значит, во мне все дело», — думал я и решил, что не могу нравиться женщинам вопреки весьма обнадеживающим доказательствам обратного. Подобная неудача сводила на нет в моих глазах все прочие благоприятные знаки внимания. Есть же во мне что-то такое, что отвратило от меня даже ангела. Неисцелимый романтизм юноши! У всех у нас в крови было это убеждение в своей несостоятельности, в том, что наш удел — одиночество и безнадежность!

Я кратко известил мачеху об этом разрыве сразу же после помолвки. И ждал от нее соболезнующего письма, и вдруг, к великому моему удивлению, она сама прикатила в Париж. Моя незадача, видимо, задела ее за живое. Она пылко изъясляла мне свое сожаление и несколько раз намекнула, что опасается с моей стороны отчаянного шага. Ее нескромные утешения нагоняли на меня смертную тоску, а также показали мне, что я вовсе не так несчастен, как подумалось было мне сгоряча, и что страдает главным образом мое уязвленное самолюбие. Брижит увезла меня в Ларжюзон. Я чувствовал, что моя рассудительность ее разочаровала. Но в течение лета одиннадцатого года, на редкость знойного, мачехе пришлось покориться непреложной очевидности: я не только не был сражен насмерть своим любовным злоключением, напротив, с каким-то яростным неистовством требовал от жизни всех и всяческих реваншей. Этим летом я прочел подряд всего Бальзака и почерпнул в его творениях опасное противоядие. Сам по себе писатель не может быть ни моральным, ни аморальным: он оказывает на нас влияние только в зависимости от нашего личного предрасположения. В том состоянии духа, в каком я тогда находился, Бальзак хоть и привязал меня к жизни, но заразил цинизмом мой еще полудетский ум, и я восхищался расчетливостью и хитростью юных честолюбцев.

Именно в это время Брижит Пиан начала отходить от меня. Видимо, я разрушил то представление о любви, какое она себе создала. Теперь самой ненавистной для нее чертой любого человека было отсутствие страсти. Ей непереносима была мысль, что я так быстро утешился. Сказать мне это в лицо она не решалась, но я прекрасно чувствовал, что она презирает меня за то, что я не принадлежу к клану мучеников. Я тогда еще и сам не знал, как жестоко она ошибается.

Летние каникулы одиннадцатого года Мишель проводила в Ла-Девизе, у Мирбелей. Так что мачехе, да и мне тоже, оставалось лишь одно прибежище — книги. Печаль ее росла с каждым днем. Уже в ту пору она стала пренебрегать религиозными обязанностями. Все ее разговоры неотвратимо клонились к единственной теме: ее наваждением стала человеческая страсть. Несколько раз она заговаривала со мной о моей покойной матери, говорила о ней враждебно, но с восхищением и завистью. Но гораздо чаще, обессилив, она сидела в полутемной прихожей, и только внезапные приливы крови окрашивали румянцем ее обычно матовые щеки.

С детства неврастеники внушали мне ужас, поэтому отъезд в Париж я воспринял как освобождение. Теперь мы с мачехой почти не переписывались, только изредка обменивались полуофициальными письмами. Мишель, ожидавшая окончания срока военной службы Жана, а следовательно, и их свадьбы, по-прежнему жила на Интендантском бульваре. В своих письмах она намекала на «невероятную историю с Брижит», но решила рассказать ее мне только лично, когда приехала в Париж погостить у Ла Мирандьезов.

История и впрямь до того невероятная, что, выслушав ее, я молча пожал плечами. Чтобы наша мачеха влюбилась в своего врача, которому было уже за шестьдесят, — все это выдумки Мишель, — но в Бордо я сам смог убедиться в этом собственными глазами. Казалось бы, чего естественнее — стареющая женщина привязалась к человеку, который ее лечит, но нет, тут было другое, тут была дикая, безумная любовь — и (вот это-то самое удивительное!) любовь счастливая, разделенная. Нет-нет, конечно, в их отношениях не было ничего предосудительного: доктор Желлис, пламенный гугенот, имевший пациентов в самом высшем протестантском обществе города Бордо, был вне всяких подозрений, но так как с женой, покрывшей его имя позором, он уже давно жил в разводе, так как ему приходилось кормить целую кучу своих детей, уже взрослых и даже женатых, но неустроенных и вечно чего-то от него требовавших, до чего же сладостно было ему на склоне лет найти существо более сильное, более вооруженное против житейских невзгод, чем он сам, и стать единственным помыслом этой женщины; он виделся с Брижит каждый день, ничего не предпринимал, не испросив предварительно ее совета. Эти два одиноких создания не стеснялись словесного выражения своих чувств, не боялись они также показаться смешными. Когда их дышавшие нежностью лица склонялись друг к другу, ни один не замечал в любимых чертах признаков наступившей старости. Они жили друг для друга, эти два чистых сердцем существа, окруженные злобствующими родственниками, среди насмешливого шепота городских сплетников.

Жан служил уже последний год, и свадьбу решено было отпраздновать в октябре. Обе семьи устроили торжественные обеды, обменялись брачными контрактами. Брижит Пиан, которой пришлось заменить Мишель родную мать, согласилась на эту роль неохотно. Страсти падчерицы уже перестали ее инте-

ресовать, но особенно она сожалела о том, что неосторожно дала обещание на дарственную, так как в свое время тешила мыслью этим способом загладить зло, причиненное ею. Личное состояние Брижит было меньше, чем наше, ей осталось денег в обрез (а спохватилась она слишком поздно), капиталов достало только на то, чтобы купить небольшой участок, примыкавший к частной лечебнице доктора Желлиса. Графиня де Мирбель заявила, что, по ее мнению, «это в корне меняет проблему». В глазах графини недоданные полмиллиона усугубляли мезальянс.

Брижит притворялась, что ничего не слышит, не понимает никаких намеков, стараясь избежать любых стычек, которые могли бы омрачить ее странное и глубокое счастье. А счастье это, если перевести его в зрительный образ, представляло собой шестидесятилетнего коротконового толстячка и скрывалось под тесноватым сюртуком; крапёная бородка на безволосом строгом лице придавала ему известное сходство с канцлером Мишелем де Л'Опиталь; говорил он много и красноречиво и не слушал никого, кроме Брижит, но она предпочитала молчать и впитывала каждое слово своего возлюбленного. Беседовали они о самых возвышенных предметах и касались даже теологии. Наша мачеха вдруг обнаружила, что ей доступна логика кальвинизма, хотя ни одна из сторон не имела тщеславных притязаний обратить другую в свою веру: либо оба они относились с уважением к религии, которую исповедовал другой, либо вопросы такого сорта уже не слишком их тревожили; годы научили их ценить каждую минуту, и ничто не должно было отвращать их от главной и единственной потребности, каковой стала для них любовь.

С этих пор Брижит отделилась от нас. Бывая проездом в Бордо, я даже не останавливался на Интендантском бульваре, мою бывшую комнату превратили в спальню доктора Желлиса, и он ночевал там, когда задерживался в городе после посещения театра или концерта, куда они ходили вместе с Брижит, ибо он, сам страстный любитель музыки, приохотил к ней нашу мачеху. Автомобилия у доктора не было, а была старенькая двухместная старомодная карета, — когда видишь такую на улице, с первого взгляда понимаешь, что едет врач; естественно, путь от центра города до его больницы отнимал много времени.

Вовсе не обязательно, чтобы седовласые старички влюблялись в юных дев, равно как и дамы на возрасте — в юнцов. Нередко бывает так, что после поисков, длящихся всю жизнь,

мужчина и женщина случайно встречаются друг друга в сумерках своего заката. Страсть их выигрывает в отрешенности и в безразличии ко всему прочему. Ведь им отпущено так мало времени. Пусть смеются люди, они же не знают, что таится в глубине этих сердец. Когда я изредка появлялся на Интендантском бульваре, Брижит смотрела на меня даже с жалостью: из нас двоих я был бедняком. Только иногда давали себя знать грозные стороны ее натуры, когда, например, разговор заходил о моей покойной матери или о Пюибаро, о людях, которым ей нечего было сейчас завидовать и которые не познали, подобно ей, всех упоений разделенной любви.

Всякий раз, когда в глазах Брижит под ее густыми, сросшимися на переносице бровями загорался жестокий пламень, я злился и даже осмеливался намекать, что существует такой аспект любви, какого ей никогда не узнать. Я нащупал слабинку в ее горделивой и удовлетворенной страсти: ежели страсть не воплощается физически, она просто фантом, призрак, внушал я мачехе. Коль скоро мы не находим гибели или воскресения в любимом существе, нам остается лишь опьянять себя словами, жестами, но никогда мы не узнаем, действительно ли мы извели страсть... Брижит прерывала меня: «Ты сам не знаешь, что говоришь... Не знаешь, о чем идет речь...» И на лице ее появлялось привычное выражение брезгливого ужаса, как в былые дни, когда при ней касались запретных тем.

Сейчас меня мучает совесть при мысли, зачем я своими намеками омрачал ее радость, ибо примерно в то же самое время, когда я читал ей мораль, Мишель сообщила мне, что идиллию наших Филемона и Бавкиды нарушают порой первые грозы. Возможно, Брижит стала выражать в присутствии своего возлюбленного кое-какие сожаления, предъявляла к нему определенные требования. Боюсь даже мысленно представить себе эти жалкие попытки, эти уродливые гримасы тел, состарившихся раньше, чем состарились одушевлявшие их сердца. Юность, которая мучается своими муками (а я как раз мучился), гнушается удовлетворенной любви стариков.

На доктора Желлиса наседали его дети и старшие из его внуков. Покупка участка, смежного с лечебницей, а было это накануне свадьбы Мишель, только подлила масла в огонь. К доктору был откомандирован один из самых уважаемых пасторов Бордо, домочадцы Желлиса обратились к Мишель с письмом, где умоляли ее направить к мачехе священника, которому бы она доверяла и который мог бы наставить ее на путь истины.

пый. Произошло это как раз тогда, когда аббата Калю лишили права служить мессы, и, так как он был отстранен, хотя и не отлучен, каждое утро в часовне неподалеку от факультета словесности в момент причастия опозоренная его сутана терялась среди черных платьев старушек прихожанок; он проходил к алтарю под градом любопытных или жалостливых взглядов, и лицо его было ликом ангела.

Домашние доктора не успели прибегнуть к помощи аббата Калю. Если воспользоваться легкомысленным до жестокости словом графини де Мирбель, все устроилось само собой: как-то вечером, уже у самой лечебницы, автомобиль врезался в карету доктора, и он был убит на месте. Наша мачеха узнала об этом происшествии на следующий день из газет. По городу ходили, конечно, сильно приукрашенные слухи о том, как Брижит Пиан, не помня себя от горя, не надев даже шляпки, примчалась во флигель, где жили Желлисы; уверяли, будто старший сын доктора пытался было преградить ей вход в комнату, где лежал покойник, но она отшвырнула его и, разметаив родственников, стоявших чуть ли не цепью, ворвалась в спальню, упала на бездыханное тело, не проронив ни слезинки, не крикнув, и только силой ее удалось оторвать от покойного.

Как раз в это время я гостил у друзей на Кап-Мартэн и счел, что это печальное событие официально не имеет ко мне никакого отношения и ехать в Бордо мне незачем. Поэтому я ограничился тем, что послал мачехе письмо, написанное с огромным трудом и оставшееся без ответа. Но так как Мишель и Жан совершали по Алжиру свадебное путешествие, мысль о Брижит все время точила меня. По не зависящим от меня обстоятельствам я вынужден был ехать прямо в Париж, минуя Бордо, и, таким образом, не удостоверился лично, сохранила ли рассудок наша мачеха. Эту мучительную повинность я выполнил только в начале весны.

Служанка, не знавшая меня в лицо, оставила меня одного в прихожей. Я услышал возглас мачехи: «Ну конечно, пусть войдет!» И, не уловив в ее голосе никаких перемен, я почувствовал огромное облегчение. Мачеха сидела на своем обычном месте перед письменным столом, уже не заваленным циркулярами и приглашениями на благотворительные базары. Она не постарела. Не сразу я заметил, что она стала причесываться по-прежнему, поднятые волосы, увенчанные буклями, открывали большие уши и лоб красивой лепки. На камине возле букета си-

рени стоял фотографический портрет доктора Желлиса. Ничто в облике мадам Брижит не говорило о смятении или растерянности. Плечи ее прикрывала строгая пелеринка лиловой шерсти. При моем появлении она положила на стол четки, те самые, которые я помнил еще ребенком. Первым делом она извинилась, что не ответила на мое письмо, и самым естественным тоном добавила, что находилась несколько недель в состоянии протрации и только с большим трудом ей удалось справиться с собой.

— А сейчас? — спросил я.

Она задумчиво поглядела на меня.

— Если бы господин Пюибаро был здесь, он наверняка сказал бы, что ты один способен понять...

Она спокойно улыбнулась.

— Все дело в том, — продолжала она, — что я его не потеряла... Об этом я ни с кем говорить не могу... Никогда, даже во время своего существования на нашей земле, дорогой мсье Желлис не был мне так близок, как сейчас. Еще при жизни он начал выполнять свою миссию в отношении меня, ту, какая была ему предназначена, но мы только ничтожная плоть... Да, нас разлучала плоть, зато теперь нас ничто не разлучает...

Еще долго распространялась она на эту тему, и я подумал сначала, что это просто хитрый маневр скорби, похищающий у смерти дорогого доктора Желлиса. Но через несколько дней мне пришлось признать, что обычная человеческая любовь успела произрасти на бесплодных полях затянувшегося фарисейства и что с «гроба повапленного» наконец была снята крышка и он стоял отверстый. Возможно, там лежало несколько костей, немножечко праха. Случалось, что грозные брови, как в прежние времена, сходились к переносице над огневыми глазами. Иной раз давняя незаживающая обида вырывала из ее уст горькие слова. Но «дорогой мсье Желлис» был здесь, был рядом, и он вел мадам Брижит к небесному успокоению.

Письмо от графини де Мирбель срочно призывало меня в Ла-Девиз, куда только что и задолго до назначенного срока вернулись Мишель и Жан. Их неожиданный приезд меня встревожил. Я тотчас же выехал из Бордо и сразу попал в самую гущу драмы новобрачных, о чем я когда-нибудь расскажу особо. Я стал неизменным спутником их трагедии: меня втянуло в вихри ссор и примирений, и стареющая женщина с Интендантского бульвара, насквозь пропитанная чуть слащавым по-

смертным обожанием «дорогого мсье Желлиса», отошла в моей памяти на задний план. Странная мне выпала участь: беспрерывно метаться от Жана к Мишель и обратно, парировать удары, которые наносили друг другу эти два слепца, — участь, особенно странная для молодого человека, ибо он тоже страдал, но страдал в одиночку и никто не приходил ему на помощь.

От этого полусна всех нас разбудила мобилизация, объявленная 2 августа 1914 года. словно под ударом грома стихли тысячи личных драм, подобных нашей. Разворошило все наши норы, и нас вытолкнуло на свет божий из болота темных наших страстишек, нас, глухих, ослепленных этим безмерным несчастьем, его и сравнивать-то было стыдно с теми горестями, что мы сами себе напричиняли. Я расстался с Жаном и Мишель, которые уже не могли мучить друг друга в те минуты, когда им предстояла разлука; и тут только я постиг всю глубину своего одиночества, — оказывается, мне не с кем было проститься, кроме одной Брижит Пиан.

Она сторбилась, похудела. Привлекла меня к своей груди и расплакалась; помнится, я удивился ее слезам. Имя мсье Желлиса не было произнесено ни разу, и Брижит пеклась обо мне, как родная мать. Позже я узнал, что как раз в это время она часто виделась с аббатом Калю, который снова вошел в милость к епархиальному начальству, помогала ему, но конец его был уже близок.

На фронт она то и дело посылала мне посылки, письма, главной их темой было мое здоровье, вопросы, в чем я нуждаюсь. Свой первый отпуск с театра военных действий я провел у Брижит Пиан. За несколько дней до того у нее на руках скопчался аббат Калю, и она рассказала мне о его смерти почти сухо, без обычной нравоучительной подоплеки. По ее словам, аббат не только стал меньше ростом, его вообще словно бы уже не было на нашей земле. Его мучала жесточайшая грудная жаба, приступы которой бросают больного в пароксизме мук к открытому окну. Но стоило ему хоть чуточку отдышаться, и он уверял, что еще может переносить страдания. На столе у него стояла фотографическая карточка: я сделал этот снимок давным-давно в садике Балюзака, и изображал он Жана и Мишель: босонogie и скривившиеся от солнца, они тащили вместе лейку с водой. Брижит добавила, что вопреки своим непомерным мукам аббат Калю отнюдь не внушал жалости.

Мачеха не уклонялась от разговора, когда я намекал на прошедшие события, но я понял, что она отрешилась даже от сво-

их ошибок и во всем положила на небесное милосердие. На закате своих дней Брижит Пиан наконец-то поняла, что не следует человеку быть лукавым рабом, старающимся пустить пыль в глаза хозяину своему и выплачивающим всю свою лепту до последнего обота, и что отец небесный не ждет от нас того, чтобы мы аккуратно вели мелочной счет своих заслугам. Отныне она знала, что важно лишь одно — любить, а заслуги уж как-нибудь накопятся сами.



МАРТЫШКА

ПОВЕСТЬ



Le sagouin

Перевод И. Жарковой и Н. Немчиновой

— И ты еще смеешь говорить, что знаешь урок? Ты ровно ничего не знаешь!.. Извольте видеть, он учил урок! Учил? Наизусть выучил?

Раздался звук пощечины.

— Марш в свою комнату! И до обеда не смей показываться мне на глаза!

Мальчик схватился за щеку и завизжал так отчаянно, как будто ему сломали челюсть.

— Ой-ой-ой! Больно! (Выгоднее было преувеличить силу удара.) Вот я скажу бабусе...

Рассвирепев, Поль схватила сына за худенькое плечико и залепила ему вторую пощечину.

— Ах, ты бабусе скажешь? Бабусе? Пойди еще папочке своему пожалуйся! Ну? Чего ты ждешь? Вон отсюда!

Мать вытолкнула его в коридор, захлопнула дверь, потом снова открыла и выпшвырнула учебник и тетрадки. Мальчик с громкими всхлипываниями подобрал их, ползая по полу. Потом

настал тишина, из темноты только чуть слышно доносились всхлипывания. Убрался-таки наконец!

Мать прислушивалась к удаляющемуся топоту детских ног. Конечно, к отцу он не побежит искать сочувствия и защиты. Бабушки, его драгоценной «бабуси», нет дома — как раз пошла по его делам к учителю. Значит, побежал на кухню плакаться фрейлейн. Наверно, сейчас «вылизывает какую-нибудь кастрюльку», а старуха-австриячка смотрит на него жалостливым взглядом. «Так и вижу его...» Когда Поль думала о своем сыне, она представляла себе только его кривые коленки, его тонкие, как снычки, ноги, носки, спустившиеся на ботинки. Она совсем не замечала, что у заморыша, которого сама произвела на свет, огромные бархатистые, темные глаза, зато с отвращением смотрела на его рот, вечно полуоткрытый, как у всех детей, которым мешают дышать полипы, на его нижнюю губу, правда, не такую отвислую, как у отца, но все же напоминавшую материн рот ненавистного ей мужа.

Опять в ней закипела бешеная злоба — злоба, а может быть, чувство отчаяния. Иной раз не так легко отличить отчаяние от ненависти. Она возвратилась в свою комнату и, остановившись на минуту перед зеркальным шкафом, оглядела себя. Которую уже осень она носит эту зеленую шерстяную кофточку, ворот совсем растянулся, всюду пятна. Сколько ни чисти, жирные пятна все равно выступают. К коричневой юбке присохли брызги жидкой грязи, перед вздернулся, как у беременной. Один бог видит, что это не так!

Она произнесла вполголоса: «Баронесса де Сернэ. Баронесса Галеас де Сернэ. Мадам Поль де Сернэ...»

Губы ее тронула улыбка, от которой ничуть не просветлело желчное лицо, покрытое заметным пушком над губой и по подбородку — парни в деревне посмеивались над бакенбардами барыни Галеас. Поль де Сернэ усмехнулась, вспомнив, как тринадцать лет назад она, молоденькая девушка, точно так же стояла перед зеркалом и, чтобы легче было переступить роковой порог, твердила про себя: «Барон и баронесса Галеас де Сернэ. Господин Констан Мельер, бывший мэр города Бордо, и его супруга мадам Мельер честь имеют уведомить вас о бракосочетании своей племянницы Поль Мельер с бароном Галеас де Сернэ».

Ни дядя, ни тетка, хотя им очень хотелось поскорее сбыть с рук племянницу, не толкали ее на этот безумный шаг, напротив, даже отговаривали. Кто же внушил ей почтение к дворян-

ским титулам? Может быть, она вынесла его из лицея? Какому побуждению она поддалась? Теперь она уже не могла бы этого сказать. Может быть, в ней заговорило любопытство, захотелось проникнуть в заказанную ей среду... Никогда ей не забыть: в большом сквере резвятся девочки, отпрыски родовитых семейств — Кюрзэ, Пишон-Лонгвиль, — но ты и не смей мечтать о дружбе с ними. Напрасно племянница мэра вертелась вокруг этих чопорных дурочек. «А мама нам не велит с тобой играть...» Вот взрослая девушка и решила отомстить за ту девчущку. Да еще казалось, что замужество откроет ей путь к чему-то неизведанному, к какой-то иной, удивительной, необыкновенной жизни. А теперь она прекрасно знает, что такое «замкнутая среда». Действительно замкнутая! Кажется таким трудным, почти невозможным проникнуть в нее, но попробуй-ка вырваться отсюда!

И ради этого испортить всю свою жизнь! Нет, не чувство сожаления, налетавшее временами, даже не мучительная мысль, ставшая наваждением, а именно вот эта непреложная очевидность, неотступное сознание своего идиотского тщеславия, преступной своей глупости, непоправимо смявших ее судьбу. Вот где разгадка всех ее бед! И в довершение всего она даже не стала «баронессой». Существует лишь одна баронесса Сернэ — старуха свекровь. А Поль, жена ее сына, навсегда осталась просто-напросто мадам Галеас. Приклеили ей нелепое имя какого-то кретина — теперь она навеки связана с ним, раз вышла за него замуж; его жалкая участь навсегда, навсегда будет и ее участью.

Даже ночью ее не оставляла мысль об этой насмешке судьбы, об этом ужасе: продалась из тщеславия и так обманута! Нет даже слабой тени удовлетворения честолюбивых надежд. И она все думала об этом, не спала до рассвета. Даже когда она пыталась отвлечься, придумывая какие-нибудь занимательные, иной раз непристойные истории, в голове у нее неизменно копошилась одна и та же мысль. Поль словно билась в темной яме, в которую сама бросилась очертя голову, и хорошо знала теперь, что ей уже не выбраться оттуда. Ночи были одинаково мучительны во всякое время года. Осенью в старых тополях, чуть не под самыми окнами спальни, протяжно ухали совы, будто выли на луну псы. Но во сто раз омерзительнее их воплей было безжалостное пение весенних соловьев. А утром, в миг пробуждения, особенно зимой, когда фрейлейн резким движением раздвигала на окнах занавески, вдруг так больно про-

низывала сердце мысль, что судьба жестоко обманула ее: вынырнув из потемок сна, Поль видела за окном похожие на призраки деревья в лохмотьях ржавой листвы, раскачивавшие по ветру свои черные ветви.

И все же это были лучшие минуты за день! Можно было полежать в оцепенении дремоты, пригревшись под одеялом. Гийом охотно «забывал» зайти поцеловать мамочку. Нередко Поль слышала, как в коридоре свекровь вполголоса уговаривала мальчика зайти пожелать маме доброго утра. Старая баронесса терпеть не могла невестку, но не допускала нарушения традиций. Гийом робко входил в комнату и с порога со страхом устремлял взгляд на эту грозную голову, утопавшую в подушках, на эти черные, прилизанные на висках волосы, узкий, заросший, слабо очерченный лоб и на желтую щеку с родинкой, выглядывавшую из-под темного пушка. Наклонившись, он быстрым поцелуем касался этой щеки и уже заранее знал, что мама торопливо вытрет ее и брезгливо скажет: «Опять всю обслонявил!..»

Поль не пыталась бороться с чувством брезгливости в отношении к сыну. Разве она виновата, что ее сын такое жалкое существо? И ничего нельзя с ним поделать! Ну что можно сделать с таким слабоумным и скрытным ребенком, который к тому же всегда чувствует за собой поддержку бабушки или старой фрейлейн? Но, кажется, уже и сама баронесса начинает прозревать: согласилась, например, поговорить о мальчике со школьным учителем. Да-да, с учителем светской школы. Впрочем, выбора у них нет, священник обслуживал три прихода, да и жил в четырех километрах от усадьбы. Уже два раза, в 1917 и 1918 годах, после заключения перемирия, Гийома пробовали отдать в пансион: сначала устроили его в Сарла, к иезуитам, а потом отдали в семинарию в Нижних Пиренеях. Оба раза его через три месяца возвращали к родителям. Мартышка портил простыни. Учебные заведения, которые содержались духовными особами, не были приспособлены в те годы для воспитания отсталых или больных детей. А как примет старуху баронессу этот молодой кудрявый учитель, чудом уцелевший под Верденом? У него такие веселые глаза. Может быть, ему будет лестно, что сама баронесса пришла к нему в качестве просительницы? Поль не пожелала принять участия в этих переговорах — теперь она ни с кем не решалась встречаться, и больше всех она боялась этого учителя, прославившегося своими блистательными педагогическими талантами. Управляющий помещьем Сернэ, Артур Лусто, хоть и состоял в «Аксбон франсез», востор-

гался учителем, уверяя, что малый пойдет далеко... «Старая баронесса, — думала Поль, — как и все дворяне, выросшие в деревне, умеет говорить с крестьянами. Знает все тонкости местного диалекта. Пожалуй, одной из черточек обаяния, еще сохранившегося у нее, как раз является ее речь — все эти старинные слова и выражения, которые она произносит с каким-то старомодным изяществом. Да, но ведь школьный учитель — социалист, человек совсем другой породы; чрезмерная любезность баронессы, возможно, покажется ему оскорбительной. Людей этого сорта не возьмешь подчеркнутой учтивостью, якобы уничтожающей социальные различия. Впрочем, кто его знает. Он был ранен под Верденом. Это обстоятельство может сблизить его со старухой, ведь ее младший сын, Жорж де Сернэ, без вести пропал в Шампани».

Поль отворила окно и увидела в конце аллеи худую и скорбленную фигуру свекрови. Баронесса шла, сильно налегая на палку. Черная соломенная шляпка забавно торчала у нее на самой макушке. Старуха медленно шествовала меж двух рядов старых вязов, пламенеющих в лучах заката, заливавшего своим светом и ее самое. Сноха заметила, что баронесса сама с собой разговаривает и жестикулирует. Значит, она очень взволнована, а это дурной признак. Поль спустилась по великолепной лестнице (гордость замка де Сернэ), расходившейся двумя полу-кружиями, и подождала свекровь в вестибюле.

— Это настоящий хам, моя милая! Хам! Как и следовало ожидать.

— Он отказался? Может быть, вы оскорбили его? Должно быть, держали себя чересчур высокомерно? Я же вам говорила и предупреждала...

Баронесса затрясла головой, словно отрицая обвинения снохи, на самом же деле это были те произвольные движения, которыми старики как будто говорят «нет!» стоящей перед ними смерти. Белый матерчатый цветок смешно подпрыгивал на черной соломенной шляпке. В глазах старухи застыли слезы.

— А под каким предлогом он отказался?

— Говорит — некогда. Очень много времени отнимают обязанности секретаря мэрии...

— Да бросьте! Наверно, еще какие-нибудь причины приводил...

— Да нет, дитя мое, уверяю вас... Все время рассказывал, какой он занятой человек. Только о том и твердил.

Держась за перила, баронесса поднималась по лестнице, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться. Сноха шла за ней по пятам и с безотчетной бешеной злобой упрямо продолжала свой допрос. Заметив наконец, что совсем запугала старуху, Поль постаралась сбавить тон, но слова вырывались у нее с каким-то змеиным шипением.

— Почему же вы тогда сказали, что он вел себя по-хамски?

Баронесса присела на мягкую банкетку, поставленную на площадке лестницы; голова у нее по-прежнему тряслась, а губы искривила гримаса, похожая на усмешку. Поль опять принялась кричать. Да или нет? Назвала свекровь учителя хамом или не называла? Пусть скажет!

— Да нет, моя милая, нет. Я преувеличила... Может быть, я не так поняла его слова. Вполне возможно, что он говорил искренне... Может быть, я усмотрела намек там, где никакого намека и не было.

Поль прицепилась к этим словам. Что за намек? Какой намек? По поводу чего?

— Да вот, когда он спросил, почему мы не обратились к священнику. Я ответила, что священник живет далеко, что у него на руках три прихода. И вдруг, представьте себе, что мне заявляет этот школьный учитель... Да нет, вы, чего доброго, рассердитесь, дочь моя...

— Что он вам сказал? Извольте повторить слово в слово! Слышите?

— Ну, хорошо. Ухмыльнулся и сказал, что единственно в этом вопросе он полностью солидаризируется со священником, он, видите ли, не любит историй и не желает, чтобы у него были истории в нашем замке. Я сразу поняла, на что он намекает... Право, если б этот человек не получил ранения под Верденом, я, моя милая, уж будьте уверены, заставила его высказаться до конца и уж сумела бы вас защитить...

Злобное возбуждение снохи сразу утихло. Она понурила голову. Не сказав ни слова, она стремительно сбежала по лестнице и сдернула с вешалки свою тальму.

Баронесса выждала, пока хлопнула дверь, и вся просияла в улыбке, обнажившей превосходно сделанные вставные зубы. Перегнувшись через перила, она буркнула: «Что, съела?» — и вдруг дребезжащим, но пронзительным, тонким голосом позвала:

— Галеас! Гийу! Детки!

Снизу, из недр людской и кухни, тотчас донесся ответный крик:

— Бабуся! Мамуленька!

Отец и сын взбежали по лестнице совсем бесшумно, потому что оба скинули деревянные башмаки в кухне и остались в толстых шерстяных носках. Призыв старухи означал, что враг на короткое время удалился. Можно собраться всем вместе и посидеть у огонька в уютной бабушкиной комнате.

Галеас взял мать под руку. У него были узкие и покатые костлявые плечи, обтянутые коричневой вязаной фуфайкой, слишком большая по росту голова с целой копной волос, довольно красивые глаза, смотревшие каким-то детским взглядом, и уродливый, вечно открытый рот с мокрыми губами и толстым языком. Он был худ как скелет — брюки болтались на его тощих ногах, свисали сзади крупными складками.

Гийом ухватился за свободную бабушкину руку и терся щекой о ее ладонь. Из разговора взрослых он уловил только то, что было важно для него: школьный учитель не хочет давать ему уроки. Значит, не надо будет трепетать перед учителем, страшная тень чудовища удалась. Все остальное он не совсем понял. Бабушка сказала: «Я подпустила твоей супруге шпильку...» Что это значит — «подпустила шпильку»? Какую шпильку? Все трое вошли в свою любимую бабушкину комнату. Гийом тотчас прошмыгнул в свой заветный уголок — между кроватью и скамеечкой, на которую бабушка во время молитвы преклоняла колени. Верхняя крышка скамеечки открывалась, там был устроен шкафчик. Здесь хранилась целая коллекция старых четок: одни четки были из перламутра, их благословил сам папа Римский; другие четки — из оливковых косточек, бабушка привезла их из Иерусалима. Была там еще металлическая шкатулка с изображением Собора святого Петра в Риме — воспоминание о крестинах: на шкатулке блестело серебряными буквами имя Галеаса. Были у бабушки еще молитвенники с множеством картинок, с которых улыбались лица каких-то неживых людей. Бабуся и папа шушукались у стола, освещенного висячей лампой. В камине жарким огнем горели сухие виноградные лозы; дрожащие отсветы пламени освещали все углы комнаты. Бабушка достала из ящика круглого столика засаленные пасьянсные карты.

— Ну, сегодня хоть вздохнем спокойно. До ужина она не вернется. Можешь поиграть на пианино, Галеас...

И бабушка углубилась в раскладывание пасьянса. Пианино перенесли в ее комнату, и без того заставленную всякой мебелью, по требованию Поль: она не выносила, когда ее муж

«бренчал» на пианино. Гийому заранее было известно, какие марши, вальсы и этюды будет играть отец, все эти музыкальные пьесы следовали одна за другой в неизменном порядке. Сначала раздавались звуки «Турецкого марша». Гийу уже знал, в каком месте отец собьется, и каждый вечер ждал этой фальшивой ноты. Иногда Галеас, не прерывая игры, перебрасывался с бабушкой краткими репликами. Его бесцветный голос казался еще тусклее.

— Скажите, мама, этот учитель красный?

— Лусто говорит, просто ужас какой красный.

Мелодия «Турецкого марша» заковыляла дальше. Гийом старался представить себе этого красного человека, измазанного с головы до ног бычьей кровью. Правда, он несколько раз его встречал, вечно ходит без шляпы, прихрамывает и опирается на красивую палку черного дерева. Должно быть, это из-под одежды не видно, что он красный. А сам красный, как рыбки в аквариуме. Сквозь задернутые занавески еще пробивался сумеречный свет. Мама будет бродить в полях до самого ужина. Она всегда где-то бродит, если рассердится. Вернется растрепанная, в забрызганном грязью платье, от нее будет пахнуть потом. Как только встанут из-за стола, уйдет к себе в спальню и ляжет в постель. До ужина еще долго, можно посидеть у бабушкиного камелька. В комнату вошла фрейлейн — высокая, толстая, рыхлая старуха. Она всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы побыть с ними, пока общий враг носится где-то по дорогам. Какие подать каштаны? Вареные или жареные? Не надо ли сварить яичко для Гийу? Фрейлейн приносила в бабушкину комнату запах лука и кухонного чада. Мнение хозяев она спрашивала только для порядка: яйца для Гийу все равно были бы поданы к обеду (с начала войны мальчика стали звать Гийу, потому что он, на свое несчастье, был тезкой кайзера Вильгельма, или «кэзера», как произносила бабушка).

И сразу разговор пошел о ней: «А она мне, значит, сказала: «У вас на кухне грязно». А я ей говорю: «Уж извините, но на кухне хозяйка я...» Гийу наблюдал за взрослыми: бабушка и папа, вытянув худые шеи, внимательно слушали фрейлейн. Ему-то самому были совершенно не интересны такие истории, он не чувствовал к другим людям ни ненависти, ни любви. Бабушка, отец и фрейлейн создавали вокруг него зону безопасности, откуда мать яростно старалась его извлечь, как хорек, нападающий на кролика, забившегося в самую глубину норы. Ошеломленному, испуганному зверьку волей-неволей приходи-

лось выползать из своего спасительного убежища, терпеть на-
надки расвирепевшей женщины; он весь съеживался и покор-
но ждал, когда пройдет гроза. Однако благодаря междоусобной
войне, никогда не затихавшей в доме, мальчик пользовался от-
носительным покоем. Он прятался за широкую спину фрейлейн,
и старуха-австриячка простирала над ним благодетельную сень
своего грубоватого покровительства... Комната бабуся представ-
ляла собой более надежное убежище, чем кухня, но безошибоч-
ное чутье говорило мальчику, что не стоит слишком доверять
бабушкиным ласкам или словам. Одна только фрейлейн любила
своего «цыпленочка», своего «утеночка» неизменной, нерассуж-
дающей материнской любовью. Она до сих пор мыла его в ван-
не и терла намыленной перчаткой, не жалея своих шершавых,
заскорузлых рук.

Выбежав из подъезда, Поль свернула на тропинку, которая
шла влево от крыльца, и, никем не замеченная, вышла задом
на узкую, почти всегда пустынную дорогу. Она шла решитель-
ным мужским шагом, с какой-то странной торопливостью, хотя
ей никуда не нужно было спешить и некуда было идти. Но бы-
страя ходьба помогала ей вникнуть в слова учителя, которые
пересказала свекровь, а в словах этих, несомненно, заключался
намек на ее отношения с прежним приходским священником.

Никогда не исчезавшую горечь сознания, что она сама ви-
новата в своей злосчастной судьбе, еще можно было бы пере-
нести, если б в первые же годы замужества на нее не обру-
шился незаслуженный позор; и теперь уже ничего нельзя было
сделать — в глазах всех она несла на себе клеймо не совершен-
ного ею греха, низкого, а главное, смешного проступка. Но ви-
новниками клеветы, ее замаравшей, были на сей раз не муж и
не баронесса, и она ничем не могла отомстить своим неведомым
врагам. Лишь один раз она видела в церкви этих главных
викариев, этих каноников, считавших сноху баронессы де Сер-
нэ особой, пагубной для священнослужителей. Гнусную выдум-
ку разнесли по всей епархии. В Сернэ уже сменилось три свя-
щенника, и каждому епархиальное начальство напоминало, что
теперь служить мессу в домовый часовне замка в Сернэ не до-
зволено: невзирая на блеск прославленного, знатного имени,
надлежит, соблюдая все правила учтивости, сторопиться этого
семейства, ибо «всем памятен разыгравшийся скандал».

Уже много лет из-за мадам Галеас в часовне баронов де Сер-
нэ не отправляли богослужения; это обстоятельство ничуть не

огорчало Польш (наоборот, поскольку приходская церковь была расположена довольно далеко, можно было под этим предлогом и вовсе туда не заглядывать). Но ведь на десять лье в округе все прекрасно знали, почему часовня попала под запрет: из-за невестки старой баронессы, у которой была история с приходским священником. Более снисходительные добавляли, что, конечно, никто не знает, как далеко зашло дело. Не хочется верить, что тут было что-то дурное. Но, во всяком случае, священника пришлось перевести в другой приход...

Стволы деревьев потемнели, но на горизонте еще алела полоска заката. Уже давно Польш не обращала внимания на деревья, на облака, на широкие дали. Если она иной раз и вглядывалась в них, то как вглядываются крестьяне, чтобы угадать, какая завтра будет погода, холодно будет или тепло. В ней умерла та частица души, которая когда-то так жадно воспринимала весь зримый мир. Когда-то в такой же самый час она шла той же самой дорогой рядом со священником, высоким, тощим и совсем наивным юнцом. Он вел свой велосипед за руль и вполголоса разговаривал с Польш. Крестьяне, видевшие их прогулки, не сомневались, что они ведут любовные разговоры. Но у них и речи не было о любви. Просто встретились в жизни два несчастных и одиноких существа.

Польш услышала за поворотом дороги веселый хохот: шла деревенская молодежь — парни и девушки, они подходили все ближе; Польш бросилась в лесок, чтобы их не видеть, чтобы они ее не увидели. Совершенно такое же безрассудное бегство возбуждало в прошлом первые подозрения, когда она свернула однажды на боковую дорожку, увлекая за собой спутника. Сейчас земля была сырая, но Польш все же присела под каштаном на грудку желтых опавших листьев и, подтянув колени к подбородку, обхватила их руками. Где он теперь, этот несчастный мальчишка, этот священник? Она не знала, что с ним, где он мучается, но если он еще жив, то уж, конечно, мучается. А ведь ничего между ними не было, совсем не это их связывало. Интрижка со священником казалась ей немыслимой. Польш с детства внушали отвращение к сутане. А это дурачье ни с того ни с сего причислило ее к каким-то маньячкам, которые гонятся за служителями церкви. И теперь уже не сорвать с себя этот ярлык. А он, бедняга, — в чем была его вина? На горькие излияния молодой женской души он отвечал не советами духовного пастыря, а сам открывал ей душу: вот и все его преступление. Она искала у него поддержки — это было ее право; он

же отнесся к ней, словно потерпевший кораблекрушение, выброшенный на необитаемый остров и вдруг увидевший, как на берег выходит другой несчастный, его сотоварищ в беде.

Она так и не поняла как следует тайные причины отчаяния этого священника, еще сохранившего юношеский облик. Насколько Поль могла судить (а такого рода вопросы ее не интересовали), он считал себя выброшенным из жизни, никому не нужным, бесполезным. В нем зародилась ненависть к косной крестьянской среде; он не умел говорить с этими толстокожими людьми, у которых на уме был только свой надел и которые ничуть не нуждались в духовном наставнике. Эта отчужденность сводила его с ума. Да, он почти помешался от одиночества. И господь бог не пожелал ниспослать ему помощь. А ведь этот болезненный юноша рассказывал Поль, что принял решение пойти в священники в минуту экстаза, когда почувствовал, что его осенила «благодать божия», как он сам выражался, что с тех пор, как он принял сан, ничего подобного с ним не повторялось, и таким образом попался в силки... Словно кто-то заманил его в ловушку. Поймал, а потом и думать о нем забыл. Так по крайней мере Поль истолковала его жалобы. Но все это принадлежало, по ее мнению, к совершенно пелепому, «немыслимому» строю чувств. Она рассеянно слушала сетования своего собеседника, и, лишь только он умолкал, чтобы перевести дыхание, она сама начинала жаловаться: «А у меня...» — и вновь на все лады перебирала историю своего замужества. Однажды, когда они беседовали в саду церковного дома, он, едва не лишившись чувств от слабости, на краткое мгновение опустил голову ей на плечо. Она тотчас же отстранилась. Но сосед увидел их. Все от этого и пошло. Из-за такого пустяка (а ведь из-за него, должно быть, перевернулась вся жизнь этого юноши) никогда больше не затеплится лампада в алтаре домового часовни усадьбы Сернэ. Старуха баронесса даже почти не роптала против этого запрещения, как будто считая его вполне естественным: для бога стало неудобным пребывание в Сернэ с тех пор, как там поселилась жена ее сына, урожденная Мельер.

В роце совсем стемнело. Поль дрожала от холода. Она поднялась и, отряхивая платье, вышла на дорогу. Меж темных верхушек елей показалась одна из башен замка — та, что была выстроена в XIV веке. Стало так темно, что повстречавшийся на дороге погонщик мулов и вправду не узнал ее.

Двенадцать лет она сносила позор грязной клеветы, распространявшейся о ней повсюду, и вдруг ей стало нестерпимо, что

эти лживые наветы дошли до какого-то учителя, с которым она никогда и словом не перемолвилась. Она хорошо знала в лицо всех мужчин в окрестностях и любого узнала бы издали, но, должно быть, образ этого кудрявого незнакомца, образ школьного учителя, глубоко запал ей в душу и запомнился, хотя она даже не знала его имени. Впрочем, ни учитель, ни священник не нуждаются в именах — исполняемые обязанности вполне достаточно их определяют. Поль не могла примириться с мыслью, что учитель еще один лишний день будет считать правдой те мерзкие слухи, которые о ней распустили. Она решила рассказать ему всю правду. Ее снова томила потребность излить все, что накипело в душе, сбросить невыносимое бремя, — та же мучительная потребность, которая двенадцать лет назад толкнула ее на откровенные и неосторожные признания человеку слишком молодому и слабому. Придется побороть свою робость, пойти к учителю и еще раз обратиться к нему с просьбой, в которой он отказал старухе баронессе. Может быть, он согласится. Во всяком случае, они познакомятся, а возможно, и сблизятся.

Она повесила тальму в вестибюле. Обычно она мыла перед обедом руки под краном в буфетной, а потом шла в столовую для прислуги, со времен смерти Жоржа, младшего сына баронессы, служившую для господских трапез. Парадная столовая, огромная и холодная, как погреб, оттиралась только на рождество и в сентябре, когда из Парижа приезжали гости: старшая дочь баронессы, графиня д'Арби, с детьми и маленькая Даниэль, дочка покойного Жоржа. Тогда два сына садовника облачались в ливреи, баронесса нанимала кухарку, брала для парижан напрокат двух верховых лошадей.

Но в этот вечер Поль хотелось начать поскорее спор по поводу учителя, и она направилась не в столовую, а в комнату свекрови, в которую заглядывала не больше десяти раз в год. У двери она в нерешительности остановилась на минутку, прислушиваясь к веселому гулу голосов трех заговорщиков и звукам пианино, на котором Галеас наигрывал одним пальцем мелодию какой-то песни. Явственно раздался голос фрейлейн. Повидимому, она отпустила какую-то шутку, потому что старуха баронесса громко засмеялась своим снисходительным и деланным смехом, который Поль ненавидела. Тогда она, не постучавшись, распахнула дверь и вошла. В комнате сразу все замерли, как заводные фигуры на старинных часах. Баронесса застыла

с поднятой рукой, в которой держала карту. Галеас, захлопнув крышку пианино, круто повернулся на табурете. Фрейлейн обратила к недругу свое широкое лицо и всем своим видом напоминала кошку, которая, увидев перед собой собаку, смотрит на нее, прижав уши, выгнув дугой спину, — вот-вот фыркнет. Гийу, вырезавший из журнала картинки с аэропланами, бросил ножницы на стол и снова забился в свой уголок между спинкой кровати и скамеечкой. Там он сжался в комочек и оцепенел, как неживой.

Все это было для Поль привычно, но еще никогда она так ясно не чувствовала силу своей пагубной власти над тремя этими существами, с которыми ей приходилось жить. Однако старая баронесса быстро оправилась от страха и, криво улыбаясь, заговорила со снохой с подчеркнутой, слащавой любезностью, словно обращаясь к постороннему человеку, занимающему подчиненное положение. Бедняжка Поль, наверно, совсем промокли ноги, пусть скорее сядет у огня согреться и обсушиться.

Фрейлен заворчала, что не стоит задерживаться, сейчас она подаст суп. Как только фрейлейн двинулась к двери, Галеас и Гийом бросились за нею следом. «Ну, разумеется, — подумала баронесса, — оставили меня одну на съедение».

— Разрешите, дитя мое... Я сейчас поставлю у огня экран, а то еще вылетит искра.

У порога она деликатно посторонилась, ни за что не пожелала выйти первой и все время говорила, говорила, так что сноха, пока не сели за стол, не могла вставить ни слова. Галеас и Гийу уже ждали их, стоя у своих стульев, а как только сели, принялись шумно хлебать суп. Баронесса то и дело обращалась к ним, призывала их в свидетели того, что вечер необыкновенно теплый и что в ноябре в Сернэ никогда не бывает холодов. Как раз сегодня она начала варить варенье из дыни. Нынче она собирается добавить к дынному варенью сушеных абрикосов.

— Хочу взять тех самых, которые мой бедный Адемар так забавно называл «старушечьи уши». Помнишь, Галеас?

Баронесса говорила, говорила, лишь бы только не молчать. Для нее важно было одно: помешать Поль снова начать пререкания. Но, исподтишка наблюдая за снохой, она заметила на ее ненавистном лице опасные признаки раздражения. Гийом сидел, втянув голову в плечи, чувствуя, что мать не спускает с него глаз. Он тоже чуял надвигающуюся грозу и догадывался, что речь пойдет о нем. Напрасно он старался слиться как

можно плотнее со столом, со стулом, он чувствовал, что бесконечные бабушины речи не могут заполнить зловещих минут молчания, что они слишком слабая преграда для грозного потока слов, готовых прорваться из-за плотно сжатых губ противника.

Галеас ел и пил, не поднимая глаз, так низко нагнувшись над тарелкой, что Поль видела перед собой только копну седящих волос. Он сильно проголодался, так как весь день работал на кладбище, наводя там порядок, — это было его любимым занятием. Благодаря ему на кладбище в Сернэ все могилы были ухожены. Галеас чувствовал себя спокойно, жена теперь совсем не замечала его, ему повезло: она вычеркнула его из своей жизни. Поэтому только он один держал себя за столом непринужденно и мог безнаказанно исполнять все свои прихоти: «делать бурду» (наливать вино в суп), изобретать всякого рода смеси, «мешанину», как он говорил. Он крошил, раздавливал, разминал каждое кушанье, размазывал его по тарелке, и баронессе стоило большого труда удерживать Гийома от подражания отцу, причем в своих наставлениях она старалась не умалять отцовского авторитета: «Папа имеет право делать все, что он хочет», «Папа может позволить себе все, что ему угодно...» А Гийу должен держать себя за столом как благовоспитанный мальчик.

Гийу и на ум не приходило судить отца, он даже помыслить об этом не мог. Папа принадлежал к совсем особой породе взрослых — к разряду безопасных, которых можно не бояться. Таково было мнение Гийу, хотя он и не умел его выразить. Папа все делал бесшумно, не мешал Гийу рассказывать самому себе увлекательную историю, даже мог сам войти в фабулу на манер безгласного и безвредного персонажа вроде вола или собаки. Зато мать насильно врывается в его внутренний мир и оставалась там наподобие инородного тела, присутствие которого чувствуется не всегда, но вдруг безошибочно обнаруживаешь пораженный им участок. Вот она произнесла его имя... Началось! Опять будут говорить о нем. Мать упомянула имя учителя. Гийом пытался понять, о чем идет речь. Бедного кролика схватили за уши и вытащили из норы на свет, на яркий, ослепительный свет, привычный для взрослых.

— Так вот, дорогая мама, скажите, пожалуйста, что вы намерены делать с Гийомом? Думали вы о его будущем? Вы же знаете, он умеет читать, писать, считает с грехом пополам. И только. А ведь ему тринадцатый год!.. Куда это годится?..

По мнению баронессы, ничего еще не было потеряно. Следовало осмотреться, поразмыслить...

— Но ведь его уже выгнали из двух коллежей. Вы уверяете, что здешний учитель не хочет давать ему уроки. Остается только одно: нанять гувернера или гувернантку. Пусть живет тут и занимается с Гийомом.

Баронесса живо запротестовала. Нет-нет, не надо вводить в дом посторонних... Она трепетала при мысли, что появятся свидетели их жизни в Сернэ, той ужасной жизни, которая установилась в замке с тех пор, как Галеас дал свое имя этой фурии.

— А у вас, моя милая, есть какой-нибудь план?

Поль залпом выпила рюмку и налила себе еще вина. С первого же года женитьбы Галеаса баронесса и фрейлейн заметили, что их враг питает склонность к алкоголю. Фрейлейн стала отмечать карандашом уровень вина в бутылке, тогда Поль начала прятать в своем шкафу водку и ликеры: анисовку, шерри, кюрасо. Старуха фрейлейн обнаружила и их. Баронесса сочла своим долгом предостеречь «дорогую дочь», указав ей на опасность злоупотребления крепкими напитками, но тут Поль устроила такой скандал, что свекровь уже никогда больше не поднимала этого вопроса.

— Я считаю, дорогая мама, что нам ничего другого не остается, как хорошенько попросить учителя...

Всплеснув руками, баронесса возмущенно запротестовала. Нет-нет, ни за что на свете она не согласится еще раз выслушивать дерзости этого коммуниста. Но Поль заверила, что об этом и речи быть не может — теперь уже к учителю пойдет не баронесса, а она сама, и, может быть, ей удастся уговорить его. Возражения свекрови она пресекла, заявив резким тоном, что она так решила, а в вопросах воспитания Гийома последнее слово должно оставаться за ней.

— Однако мне думается, что и мой сын может сказать тут свое слово.

— Вы прекрасно знаете, что никакого своего слова он сказать не в состоянии.

— Во всяком случае, моя милая, я имею право потребовать, чтобы вы говорили с этим субъектом только от своего имени. Можете сказать ему, что я ничего не знаю о ваших хлопотах. А если эта невинная ложь вам неприятна, прошу вас уведомить его, что вы обращаетесь к нему вопреки моему желанию, выраженному мною совершенно ясно и определенно.

Поль издевательским тоном посоветовала старухе баронессе во имя блага ее внука перенести с христианской кротостью это унижение.

— Ну уж нет, дочь моя, я ни в малейшей степени не беру на себя ответственность за то, что вы уже сделали или в дальнейшем собираетесь сделать. Не в обиду вам будь сказано, но можно только диву даваться, как вы не подошли к нашей семье!

Баронесса говорила учтивым тоном светской дамы и даже улыбалась любезной улыбкой, от которой вздергивалась ее длинная верхняя губа, открывая слишком ровные и белые зубы.

Поль уже не в силах была сдерживать раздражение.

— Вы совершенно правы, дорогая мама. Я нисколько не стремлюсь походить на господ де Сернэ.

— Ах, так! Что ж, дорогая моя, вы можете радоваться: никто никогда не сочтет вас принадлежащей к людям нашего круга. Вы избавлены от такой несправедливой обиды. Вы всегда были, есть и будете сами собой.

Гийому очень хотелось улизнуть из столовой, но он не осмеливался. К тому же его заинтересовала битва богов, гремевшая над его головой, хотя он и не понимал смысла тех оскорблений, которые наносили друг другу противники. Галеас, не любивший сливочного крема, встал из-за стола, когда подали сладкое, и вышел, предоставив сражению идти своим чередом.

— К несчастью, меня все равно сочтут членом вашей семьи в тот день, когда придут поджигать с четырех концов ваш замок...

— Вы хотите запугать меня? Не удастся! Слава богу, наш род всегда уважали и любили. И в этом нет ничего удивительного. Четыреста лет де Сернэ делали здесь добро людям и подавали пример...

От негодования у баронессы дребезжал голос.

— Вас любят? Уважают? Кто это вам сказал? Да в деревне вас ненавидят. Вы вот, например, во время войны не пожелали расстаться со своей австриячкой...

— Ах, не смешите, пожалуйста! «Моей» австриячке шестьдесят четыре года. Она поступила к нам девочкой и с тех пор неотлучно живет в нашем доме... Военные власти и те благодушно закрывали глаза...

— А здешние жители с радостью ухватились за этот предлог... Нет, право, какое ослепление! Просто невероятное ослепление! Ведь вас всегда ненавидели! Неужели вы думаете, что

ваши арендаторы и торговцы очарованы вашей медоточивой любезностью? А из-за вас люди ненавидят всех, кого вы любите: священников и прочих! Вот увидите, вот увидите... К несчастью, и я погибну вместе с вами, и все-таки, хочу надеяться, я умру довольная.

И в виде заключения Поль произнесла вполголоса такую грубую фразу, что баронесса застыла на месте. Она никогда не слышала ничего подобного. «Как речь выдает человека!» — подумала она и сразу же успокоилась. Иногда случалось, что ее дочь, приезжавшая из Парижа, и даже внуки позволяли себе употреблять при ней жаргонные словечки, но подобных вульгарных выражений она никогда от них не слыхала. «Заткни лучше хайло...» Да, она именно так и сказала. Как всегда, бесная злоба невестки возвратила старухе баронессе спокойствие. Она сразу получила перевес, который дает самообладание.

— Да нет, нет... Ваша непаவிсть к дворянам нисколько меня не удивляет, но что бы вы ни говорили, а крестьяне нас любят. Они чувствуют себя с нами на равной ноге. Если кто и ненавидит нас, то только буржуазия, мелкая и средняя, и ненавидит потому, что завидует. Во времена террора больше всего напачей дала именно буржуазия.

Сноха с самодовольным видом заметила, что предательство эмигрантов вполне оправдывает террор — он был необходимой и справедливой мерой.

Баронесса, величественно выпрямившись, ответила:

— Мой прадед и два моих двоюродных деда погибли на эшафоте, и я запрещаю вам...

Поль тотчас подумала об учителе. Ведь это ради него она говорила все это, ему, конечно, понравилось бы, он бы ее одобрил, а она просто наслушалась таких тирад от своего дяди Мельера, радикала и франкмасона, человека с узким кругозором. Но какой страстной выразительностью вдруг окрасились эти слова в устах Поль Галеас, когда она произносила их во имя кудрявого учителя! Она решила пойти к нему завтра же, в четверг, в этот день он свободен, занятий в школе нет. Она уже говорила под его влиянием (ее дядя, старик Мельер, был тут ни при чем) — под влиянием человека, с которым она никогда не перемолвилась словом, лишь встречала его изредка на дороге; если она проходила по деревне, когда он копался в своем садике, он даже не кланялся ей, только переставал орудовать лопатой и смотрел ей вслед.

— Знаете, кто вы такая, дочь моя? Поджигательница, просто-напросто поджигательница!..

Гийом поднял голову. Ему было известно, что такое «поджигательница». Он сто раз видел в старом иллюстрированном журнале картинку, посвященную событиям 1871 года: две женщины сидят во мраке на корточках около подвальной отдушины какого-то большого дома и разводят нечто вроде костра. У обеих на головах высокие чепцы, какие носят женщины из простонародья. Костер уже разгорелся, и языки пламени поднимаются выше этих чепцов. Открыв от изумления рот, Гийом уставился на мать. Поджигательница? Ну да, конечно...

Поль схватила его за руку.

— Ну-ка, вставай из-за стола! Живо!

Бабушка торопливо перекрестила его, но не поцеловала, а, когда он вышел из комнаты, заметила:

— Нам следовало бы избавить ребенка от таких сцен.

— Успокойтесь, дорогая мама, он нас не слушает, а если и слушает, то ничего не понимает.

— Вы ошибаетесь. Бедненький мой котенок! Он понимает гораздо больше, чем нам кажется... Поэтому нам следует вернуться к тому самому вопросу, от которого мы совершенно напрасно отклонились. Так вот... Я думаю и очень надеюсь, что учитель опять откажется...

— Ну что ж! Пусть тогда ваш Гийом растет, как деревенский мальчишка. Смотреть тошно, когда богатым олухам дают образование, которого они недостойны, а простые мальчишки, дети народа...

Опять ее опьянили те общеизвестные истины, которые в ее присутствии любил развивать дядюшка, радикал Мельер. Наверно, учитель держится таких же убеждений. Поль приписывала ему все те взгляды, которые считаются передовыми. Она не сомневалась, что в этом отношении он вполне соответствует установленному образцу.

Желая избежать новой вспышки, старая баронесса ничего не ответила и встала из-за стола. Поль двинулась вслед за ней по лестнице.

— А не могли бы мы с вами сами заниматься с ним и передать ему наши скромные познания? — сказала баронесса.

— Занимайтесь, дорогая мама, если у вас хватит терпения, но я уже совершенно измучилась.

— Ну, утро вечера мудренее. Спокойной ночи, дочь моя.

Прошу вас, забудьте, если я сказала что-нибудь для вас обидное. И я тоже охотно прощаю вам обиду.

Невестка пожала плечами.

— Ах, все это слова! Разве они изменяют хоть сколько-нибудь подлинные чувства? Мы с вами уже не можем питать иллюзий...

Они стояли друг против друга в коридоре, который вел в спальни, и обе держали в руке по зажженной свече. Дрожащее пламя ярко освещало их черты, и у той, которая была моложе, лицо казалось особенно грозным.

— Поверьте, Поль, я совсем не так несправедлива к вам, как вы, очевидно, считаете. И если вы нуждаетесь в извинении, достаточно вспомнить, какую жизнь вы ведете здесь, ведь для молодой женщины это тяжкое испытание.

— Мне было тогда двадцать шесть лет...— сухо сказала Поль, прерывая ее.— Я никого не обвиняю. Я сама выбрала свою участь. Впрочем, и вы, бедная мама...

Слова эти означали: прежде всего мой жалкий муж приходится вам родным сыном. Поль утешалась мыслью, что она не одна страдает в этом аду — вместе с нею адские муки терпит и давний ее недруг. Но баронесса не пожелала понять намеков.

— О нет, мне выпала совсем иная судьба! — воскликнула она, и голос ее дрогнул от волнения.— У меня был дорогой мой Адемар. Мы прожили с ним в любви и согласии двадцать пять лет, я была счастливейшей из женщин...

— Возможно, но не счастливейшей из матерей!

— Вот уже скоро пять лет, как мой Жорж пал смертью храбрых: я его не оплакиваю. У меня осталась малютка Даниэль, его дочка. Остался Галеас...

— Вот именно... Галеас!

— У меня в Париже живет дочь, у нее дети,— упрямо не желала сдаваться баронесса.

— Совершенно верно... Но ведь семейство Арби вас обирает. Вы всегда были для них дойной коровой — и только. Нечего вам качать головой, вы прекрасно знаете, что это правда. Фрейлейн тоже упрекает вас за это, когда вы обе думаете, что я вас не услышу... Погодите, не перебивайте... Если я захочу, так во весь голос буду кричать...

Слова эти гулко разнеслись по коридору и разбудили Гийома. Он поднялся и, сев на постели, прислушался. Ага, боги все еще ведут свою битву над его головой. Он опять забрался под одеяло. Уткнулся ухом в подушку, а к другому уху прижал

ладонь и в ожидании того мгновения, когда к нему снова придет сон, принялся сам себе рассказывать замечательную историю о том, как он нашел необычайный остров в океане и там оказалась пещера — словом, все как у «Двенадцатилетнего Робинзона». Тусклый свет ночника едва озарял тесную каморку, в которой он спал, нечто вроде чуланчика, и перед его глазами в неверном свете чадившей лампочки проходили милые сердцу картины и прирученные чудовища.

— Мы живем в этом замке, как нищие, ради того, чтобы ваша драгоценная дочь, мадам Арби, могла жить на широкую ногу и вести «брачную политику», как она выражается. Если мы тут все сдохнем с голоду, она и глазом не моргнет, лишь бы ее Иоланта вышла за какого-нибудь герцога еврейских кровей, а ее милейший Станислав женился бы на бесстыжей вертихвостке-американке...

Поль наседала на старуху баронессу, а та, решив молчать, отступила к своей комнате и, юркнув в нее, заперлась на ключ. Но и сквозь запертую дверь до нее донесся неумолимый голос невестки, крикнувшей на прощание:

— Можете распрощиться со своими надеждами... Станислав никогда ни на ком не женится... Это же девочка...

И в заключение она отпустила такую шуточку, что баронесса все равно не поняла бы ее, даже если бы расслышала, даже если бы, не рухнув на скамеечку, не начала молиться, обхватив голову обеими руками.

Но, лишь только Поль вошла в свою спальню, гнев ее сразу утих. В камине еще тлели две-три головешки. Она бросила туда вязанку хвороста, зажгла керосиновую лампу, стоявшую на столе около шезлонга, разделась перед огнем, накинула на себя старый халат на теплой подкладке.

Про человека говорят иногда: «Он предается любви». С таким же правом можно сказать: «Предается ненависти». Предаться ненависти приятно, это дает отдых, нервную разрядку. Поль отперла дверцу шкафа и нерешительно протянула руку. Что взять? Она выбрала кюрасо. Потом бросила на ковер подушки с дивана, поближе к огню, и легла у камина так, чтобы бутылка и стакан были под рукой. Она курила сигарету за сигаретой, прихлебывала кюрасо и все думала об учителе, о враге аристократов и богачей. Ведь он красный, может быть, даже коммунист. Он терпит презрение тех же самых людей, которые презирают и ее тоже. Она завоюет его своим смирением... И в конце концов войдет в его жизнь... Он женат. Какая у него

жена? Она ведь тоже учительница. Поль совсем ее не знала, даже ни разу не видела. Сейчас Поль ее отстраняла, не хотела, чтобы эта фигура попала в тот роман, который она создавала в своем воображении. Она погрузилась в свои вымыслы, вкладывая в них куда больше фантазии, чем те, в чью обязанность входит рассказывать читателям воображаемые истории. Видения, возникавшие перед ее внутренним взором, превосходили все то, что может выразить человеческий язык. Она лежала неподвижно, приподымаясь лишь для того, чтобы налить себе вина или подбросить хворосту в огонь. Потом снова вытягивалась на подушках, и порой вспыхнувшее пламя вдруг освещало ее запрокинутую голову и худое лицо — лицо преступницы или мученицы.

II

На следующий день после завтрака, надев непромокаемый плащ и ботинки на толстой подошве, низко надвинув на лоб берет, она направилась в деревню. Шел дождь, но так даже лучше, думалось ей, по крайней мере холодные струи смывают с лица следы ее одинокой оргии. Вело ее не вчерашнее возбуждение, а только одна воля. На ее месте другая женщина тщательно выбрала бы туалет, подходящий для подобного визита, и, уж во всяком случае, постаралась бы прихорошиться. Мадам Галлас даже и в голову не пришло, что ей надо напудриться и попытаться сделать менее заметным темный пушок над губой и на щеках. Она не позаботилась вымыть голову, чтобы волосы не висели сальными прядями. У нее не возникло мысли, что незнакомый ей учитель, как и большинство мужчин, возможно, чувствителен к хорошим духам... Нет, она уделила заботам о своей наружности не больше внимания, чем обычно, и, решив в последний раз попытать счастья, двинулась к своей цели такая же неухоженная, как и всегда.

А ее герой, этот школьный учитель, сидел у себя на кухне напротив жены и, разговаривая с ней, лутил горошек. Это было в четверг, в самый благословенный день недели. Здание школы стояло у самой дороги, так же как все прочие дома в этой неуютной деревне Сернэ. Кузница, мясная, быстро, почтовое отделение не располагались живописной группой вокруг церковной колокольни. На холме, который, словно мыс, выступал над долиной Сирона, одиноко вырисовывалась церковь, возле кото-

рой теснились могилы. В Сернэ была лишь одна улица — в сущности, она представляла собой шоссейную дорогу. Школа стояла на окраине деревни. Дети входили через главную дверь, а дверь в квартиру учителя была с правой стороны здания, в узком проходе, который вел на школьный двор, где ученики играли на переменах. Позади двора разбит был сад и огород.

Супружеская пара, Робер и Леона Бордас, не тревожась никакими предчувствиями относительно гостя, приближавшейся к их дому, все еще говорила о странной посетительнице, которая явилась к ним накануне.

— А все-таки,— возражала жена,— это составит сто пятьдесят, а может быть, даже двести франков ежемесячной прибавки к нашему жалованью; урок с баронским мальчишкой — это ведь не пустяк. Давай-ка еще раз подумаем хорошенько...

— Да что у нас, горькая нужда, что ли? Чего нам, скажи, пожалуйста, не хватает? Теперь я даже получаю бесплатно почти все книги, которые мне нужны. (Он писал для «Учительской газеты» обзоры романов и стихов.)

— Ты только о себе думаешь, а ведь у нас сын растет.

— Жан-Пьер тоже ни в чем не нуждается. Может быть, ты хочешь, чтобы я ему репетиторов нанимал?

Жена снисходительно улыбнулась. Разумеется, их сын несколько не нуждался в репетиторах. Он шел первым по всем предметам. В тринадцать лет уже был в предпоследнем классе — на два класса обогнал своих сверстников. Вероятно, ему предстояло два года пробыть в выпускном классе, потому что вряд ли ему разрешат в четырнадцать лет держать экзамен на аттестат зрелости. Его уже прославляли и баловали как будущую гордость лицея. Преподаватели не сомневались, что он выдержит конкурсные экзамены в Эколь Нормаль сразу по литературе и математике.

— А вот представь себе, я хочу, чтобы он брал частные уроки.

Леона сказала это — вернее, сделала это заявление,— не сопроводив его ни взглядом, ни жестом, говорящим о сомнениях или о просьбе. У этой худенькой, бледной, чуть рыжеватой женщины были мелкие черты, прелестное, хотя уже увядшее лицо; говорила же она резким, пронзительным голосом, так как привыкла кричать в классе.

— Да-да, ему надо брать уроки верховой езды.

Робер Бордас продолжал лулчить горошек, делая вид, что считает слова жены милой шуткой.

— Ну, конечно, ну, разумеется! Как же без верховой езды? И вдобавок еще уроки танцев, если уж ты так размахнулась!

Он смеялся, щуря свои миндалевидные, узкие глаза. Хотя он был небрит, одет в старую рубашку с расстегнутым воротом и был не так уж молод — лет сорока, в нем еще сохранилось юношеское обаяние. Каждый мог представить себе, какое лицо было у этого человека в детстве. Он поднялся с места и обошел вокруг стола, опираясь на палку с резиновым наконечником и слегка прихрамывая. В линиях его худой и гибкой, как у кошки, спины было что-то мальчишеское. Он закурил сигарету и сказал:

— Подумать только! Жаждет революции и при этом мечтает, что ее сын будет держать скаковых лошадей.

Она пожала плечами.

— Почему же в таком случае ты хочешь сделать из Жан-Пьера кавалериста? — настаивал он. — Чтобы он поступил в Либурийский драгунский полк и всякие шалопаи издевались бы над учительским сынком?

— Ну-ну, не волнуйся, побереги свои голосовые связки для публичного выступления одиннадцатого ноября.

По лицу Робера жена поняла, что зашла слишком далеко, поэтому она быстро пересыпала из фартука горошек на блюдо и подошла к мужу. «Послушай, Робер», — сказала она, прижимаясь к нему. Все желания Леоны совпадали с желаниями мужа, и он отлично это знал. Она шла за ним слепо, с безоговорочным доверием. Пусть она слабо разбирается в политике, пусть даже не совсем ясно представляет себе, каким будет мир после победы революции. Одно она знала твердо: управление страной поручат лучшим людям, самым культурным, самым образованным и, конечно, тем, кто обладает всеми качествами вождя.

— Ну и что такого? Да, я хочу, чтобы наш Жан-Пьер умел ездить верхом, хочу сделать из него человека ловкого, храброго, мужественного, ведь согласишься, что ему чуточку недостает этих качеств. Природа наделила его всем, а вот в этом отношении...

Робер Бордас растерянно смотрел на жену, но она не замечала этого. Сейчас ее душа была далеко от мужа.

— Эколь Нормаль готовит сливки университетской профессуры, — заметил он сухо. — Ради этого она и существует.

— Ну, что ты! А министры, а великие писатели, а партий-

ные вожжи, которые оттуда вышли? Вспомни хотя бы Жореса, Леона Блюма!..

— Меня лично вполне бы устроило, если бы Жан-Пьер удачно защитил диссертацию и стал преподавателем факультета словесности, — прервал ее Робер. — Большого я не требую. И кто знает, может быть, даже в Сорбонне? Или в Коллеж де Франс? Вот это действительно было бы чудесно!

Жена ядовито засмеялась.

— Вот так так, ну и революционер, как я погляжу! Значит, по-твоему, все эти древности уцелеют?

— Безусловно, уцелеют! Обучение в университете будет перестроено, обновлено, но высшее образование во Франции останется высшим образованием... Ты просто не понимаешь, о чем говоришь...

Робер внезапно умолк: из пелены тумана выступила женская фигура и направилась к стеклянной двери.

— Это еще что такое?

— Должно быть, какая-нибудь мамаша будет приставать и жаловаться, что ее малыша зря обидели.

У входа Поль долго скребла о скобку подошвы, чтобы не нанести в помещение грязи. Супруги не узнали ее. Они с удивлением смотрели на странную посетительницу — берет был надет низко, до самых бровей, черные, обведенные синевой глаза блестели, щеки были покрыты темным пушком, как у юноши. Поль не назвала себя. Она просто сказала Роберу, что она мать того ребенка, по поводу которого баронесса де Сернэ приходила сюда накануне. Пока муж старался понять, о чем идет речь, Леона уже все сообразила.

Она пригласила госпожу Галеас пройти в соседнюю нетопленную комнату и открыла ставни. Тут все блестело: паркет, буфет и стол. На окне — запавеси из небеленых кружев. По широкому карнизу шли огромные букеты гортензий. Обои были темно-красного цвета.

— Тут вы можете без помехи побеседовать с моим мужем.

Поль запротестовала — у нее нет никаких секретов, ей хочется только выяснить вчерашнее недоразумение. Кровь вдруг прилила к бледным щекам Робера Бордаса — досадную манеру краснеть некстати он сохранил еще с юношеских лет. Уши его запылали. Значит, эта дама с недобрый взглядом решилась требовать у него объяснения по поводу вчерашнего шуточного намека? Очевидно, так! У нее хватило нахальства заговорить об этом, и притом без всякой неловкости. Однако гостья сказа-

ла только, что ее свекровь, по-видимому, не совсем поняла его певинное замечание и зря погорячилась. Она вовсе не желает вырывать у господина Бордаса согласие, поскольку он отказался, но она была бы просто в отчаянии, если бы из-за этого пуштякового инцидента у нее, беззащитной женщины, появился здесь, в деревне, новый враг, и кто же, единственный человек, от которого она вправе ждать понимания.

Ее блестящие глаза перебегали с Робера на Леону. Опущенные уголки губ придавали ее большому, покрытому темным пушком лицу выражение трагической маски. Робер пробормотал, что он очень огорчен, но в его словах не было ни малейшего намерения кого бы то ни было оскорбить. Поль, не дослушав, обратилась к Леоне:

— Я так и думала. Вы оба испытали на себе здешние нравы, а следовательно, знаете, как здесь охотно разносят любую сплетню.

Поняли ли супруги Бордас намек, заключавшийся в ее словах? Дошел ли до них слух, который облетел всю деревню, — учитель, мол, во время войны окопался в тылу и был ранен где-то за тридевять земель от фронта? Кое-кто из злопыхателей утверждал даже, что слишком уж неловко он разрядил ружье... Но чета Бордасов не проявила ни малейшего волнения. Поэтому Поль не поняла, достиг ли ее удар цели. На всякий случай она добавила:

— Я знаю, сударыня, что вы принадлежите к старинному семейству из окрестностей Бордо.

На самом деле родители Леоны принадлежали к старинному роду мелких крестьян-землевладельцев, но односельчане косились на них как на вольнодумцев: дочь в церкви не венчалась, и не известно еще, крещен ли их Жан-Пьер. Не желая расставаться с родными, Бордасы недавно отказались от повышения.

— Наше Серна, — сказала Поль, — не заслуживает такого учителя.

Моложавое лицо Робера снова залилось краской, но гостыя веско повторила: «Не заслуживает». Она-то, слава богу, знает, что при желании Робер Бордас мог бы заседать в Бурбонском дворце. Робер снова покраснел и пожал плечами:

— Вы, очевидно, насмехаетесь надо мной!

— Да-да, сударыня, — весело подхватила Леона, — мой бедный Робер теперь совсем загордится!

Робер улыбнулся, его миндалевидные молодые глаза сузились.

— Я тут ни при чем, я повторяю только слова господина Лусто, нашего управляющего и, если не ошибаюсь, вашего друга. Хотя он роялист, он умеет отдать должное противнику. И когда, сударыня, имеешь такого мужа, как ваш, нет ни малейшей опасности оказаться слишком тщеславной.

Поль добавила вполголоса: «Ах, будь я на вашем месте...» Слова эти были произнесены как раз тем тоном, каким требовалось их произнести. В них прозвучал пусть еле слышный, но явный намек на ее злополучного супруга.

— В нашем семействе место великого человека уже занято заранее, — возразил, смеясь, учитель, — и занято оно нашим сыном Жан-Пьером, правда, Леона?

Их маленький Жан-Пьер? Любезная улыбка смягчила суровые черты гостьи. Ну, конечно, она слышала про него, тот же господин Лусто все время о нем твердит. Как, должно быть, гордятся таким сыном счастливые родители! Снова вздох, снова намек на свое собственное несчастье. Но на этот раз она смело добавила:

— Раз уж мы заговорили о вашем чудесном мальчике, разрешите мне все же поговорить о моем несчастном сыне. Возможно, моя свекровь преувеличила. Не спорю, это отсталый ребенок. И я прекрасно понимаю, что вас это и отпугивает!

Робер горячо запротестовал, его отказ обусловлен полным недостатком досуга — и только; кроме того, он просто опасается, что не сумеет уделить частному уроку достаточного внимания: секретариат мэрии и собственные труды отнимают буквально все свободное от школы время.

— Да, я знаю, что вы неутомимый труженик, даже слышала про некоторые появившиеся без подписи статьи в газете «Франс дю Зюд-Уэст», — добавила она заискивающим и заговорщицким тоном.

Щеки и уши Робера снова запылали. Желая перевести разговор на другую тему, он стал расспрашивать гостью о Гийоме: умеет ли мальчик бегло читать, пишет ли он? Берется ли он когда-нибудь за книгу не по принуждению, а по собственному почину? В этом случае еще не все потеряно.

Поль заколебалась. Ей не хотелось отпугнуть учителя заранее, но в то же время необходимо было хоть отчасти подготовить его к встрече с будущим учеником-полуидиотом. Да, произнесла она твердо, он читает и перечитывает две-три любимые книжки, например без конца листает альманахи «Сен-Ни-

кола» (выпуск девяностых годов), но никому не известно, запоминает ли он прочитанное, понимает ли что-нибудь. Увы, ее несчастная мартышка не слишком располагает к себе сердца, не слишком привлекательна, куда там! Она, родная мать, и то подчас с трудом его выносит...

Учитель страдал за нее. Он предложил привести мальчугана сюда завтра к пяти часам, после того как ученики разойдутся. Он посмотрит, а пока ничего обещать не может. Поль схватила его за руки. Наполовину притворное волнение сжимало ей горло, она произнесла задыхаясь:

— Я с ужасом думаю, что вы неизбежно будете проводить параллель между моим несчастным мальчиком и вашим Жан-Пьером.

Она отвернулась, как бы желая скрыть краску стыда. Право, сегодня она действует по наитию! Эта учительская чета, уже давно живущая во враждебной атмосфере — крестьяне относились к Бордасам с недоверием как к богачам, духовенство косилось на этих врагов общества, — даже не могла себе представить, что нечто подобное вообще возможно: один из обитателей замка добивается от них милости, молит их об одолжении, мало того, восхищается ими, завидует им. С каким смирением эта дама открыто намекнула на своего мужа, на своего дегенерата сына! Робер, несколько взволнованный всем этим происшествием и тем, что к нему явилась настоящая баронесса, пусть в нахлобученном на лоб берете и непромокаемом плаще, произнес добродушным тоном:

— Знаете, сударыня, я даже удивлен, как это вы не боитесь моего дурного влияния на вашего сына... Вам ведь, надеюсь, известны мои зловередные мысли?

Он улыбнулся, глаза его сузились, и Поль видела теперь только две ярко горящие щелки.

— Вы меня не знаете, — веско произнесла она, — вы не знаете, какая я.

Скажи она, что даже рада их влиянию, лишь бы оно оказало свое действие на ее мальчика, они все равно не поверили бы.

— Ведь мне, так же как и вам, чужды идеи моей среды... Когда-нибудь после я вам расскажу.

Это было уже преддверием будущих откровенных излияний. И не надо больше ничего добавлять, только напортишь. Поль поднялась и стала прощаться с хозяевами, которые удивленно переглядывались, вспоминая ее слова об идеях. Было услов-

лено, что завтра после четырех она приведет Гийома. Но вдруг гостыя заговорила светским тоном, подражая своей свекрови и золовке Арби.

— Весьма вам признательна! Вы представить себе не можете, какое вы мне сделали одолжение. Да-да, именно одолжение!

— Ты ей понравился, я сразу заметила,— сказала Леона. Она освободила угол стола и со вздохом пододвинула кипу тетрадей.

— А по-моему, она не такая уж противная.

— Смотрите-ка вы! Она перед тобой лебезит, но, попомни мое слово, остерегайся ее.

— Мне кажется, что она не совсем в своем уме... Во всяком случае, особа чересчур экзальтированная.

— Не в своем уме, а отлично знает, чего хочет. Вспомни-ка, что о ней говорят, хотя бы эту историю со священником! Смотри, берегись.

Робер встал со стула, потянулся, широко раскинув свои сильные руки, и сказал:

— Ну, знаешь, я не любитель бородатых дам.

— Если бы она за собой следила, она была бы ничего,— заметила Леона.

— Я теперь вспомнил, что мне рассказывал Лусто. Она сама не аристократического происхождения, не то дочь, не то племянница Мельера, бывшего мэра Бордо. А почему ты смеешься?

— Потому что ты как-то огорчился, что она не настоящая аристократка...

Робер сердито взглянул на жену и, сутулясь, подошел к порогу; там он прислонился к стене и яростно, даже с присвистом, стал сосать трубку.

В то время пока мать предавала сына в руки красного учителя, ее несчастный кролик, извлеченный на свет божий из своего укромного убежища, куда, увы, уже не было возврата, глядел на взрослых и растерянно моргал, словно от слишком яркого света. В отсутствие мамы между тремя добрыми богами — папой, бабусей и фрейлейн — начался спор. Откровенно говоря, бабушка и фрейлейн часто сцеплялись, но обычно по самым нелепым поводам. Австриячка иной раз позволяла себе дерзкие выражения, которые казались особенно странными от-

того, что в разговоре со своей баронессой она почтительно ради употребляла третье лицо. Но сегодня Гийом догадался, что и фрейлейн тоже хочет отдать его красному учителю.

— Почему бы ему не стать образованным господином? Он не хуже прочих, уж поверьте!

И, повернувшись к Гийому, она произнесла:

— Поди поиграй, детка, в комнатах, иди, мой цыпленочек...

Мальчик вышел, но тут же снова проскользнул в кухню: ведь все равно считалось, что он ничего не слышит, а если слышит, то не понимает.

Баронесса, даже не удостоив ответом дерзкую фрейлейн, отчитывала сына, который сидел в своем любимом соломенном кресле у кухонного очага: зимой он проводил все вечера за выделкой бумажных спичек или начищал до блеска отцовские ружья, хотя ни разу сам не выстрелил.

— Покажи хоть теперь свою власть, Галеас,— умоляла его старая баронесса,— скажи только: «Нет, не желаю! Не желаю доверять своего сына этому коммунисту», а гроза тем временем пройдет.

Но фрейлейн снова вмешалась в разговор:

— Не слушай баронессу (она была кормилицей Галеаса и поэтому говорила ему «ты»). Почему это Гийу не должен быть таким же образованным, как дети Арби?

— Оставьте детей Арби в покое, фрейлейн. Они здесь совершенно ни при чем. Я просто не желаю, чтобы мой внук набрался у этого человека вредных идей, вот и все.

— Бедный мой цыпленочек, да неужели с ним будут о политике говорить...

— При чем тут политика... А религия — это, по-вашему, ничего не значит? Он и так слаб в катехизисе...

Гийом не спускал глаз с отца, который неподвижно сидел в кресле, глядя на пылавшие в очаге сухие виноградные лозы, и только время от времени слегка покачивался — налево, потом направо. Мальчик, открыв рот, старался понять, о чем же идет речь.

— Баронессе, конечно, наплевать, что он вырастет неучем. Кто знает, может быть, баронесса как раз этого и хотят!

— Совершенно излишне защищать от меня интересы моего собственного внука! Это уж чересчур,— твердо проговорила баронесса, но в ее притворно-негодующем голосе слышались смущенные нотки.

— Разумеется, баронесса очень любят Гийу, они рады, что он при них живет, а вот когда речь заходит о будущем, о семье, так баронесса кое на кого другого рассчитывают.

Баронесса заявила, что фрейлейн повсюду сует свой нос. Но пронзительный голос австриячки без труда заглушил реплику хозяйки.

— Пожалуйста! Вот вам и доказательства! Ведь было же решено после смерти Жоржа, что старший Арби, Станислав, присоединит к своему имени имя Сернэ, будто нет на свете, кроме него, других Сернэ, будто наш Гийу не зовется Гийом де Сернэ...

— Мальчик слушает,— вдруг произнес Галеас. И снова замолчал.

Фрейлейн взяла Гийу за плечи и тихонько выставила его за дверь, но он остановился в буфетной и слышал ее крики:

— Однако ж кого-то не пожелали назвать Дезире*, когда он родился! Пусть баронесса вспомнят, что они мне тогда говорили: «Нечасто бывает, чтоб больной сделал сиделке ребенка...»

— Ничего подобного я вам не говорила, фрейлейн. Галеас чувствовал себя прекрасно, И к тому же говорить такие грубости вообще не в моих привычках.

— Тогда пусть баронесса вспомнят, что мальчик явился на свет, так сказать, вне программы. Я-то хорошо знаю моего Галеаса, я знаю, что он не ротозей какой-нибудь, не хуже, слава богу, других, это всем известно.

Подозрительный огонек зажегся между розовых, лишенных ресниц век австриячки. «У вас судачьи глаза»,— сказала ей как-то мадам Галеас. Шокированная баронесса повернулась к фрейлейн спиной.

Сплюснув нос об оконное стекло, Гийу стоял в буфетной и смотрел, как дождевые капли подпрыгивают, словно маленькие танцующие человечки. Взрослые без конца занимались им и никак не могли договориться на его счет. Его не захотели назвать Дезире. Хорошо бы сейчас вспомнить те истории, которые он сам себе рассказывал, которые знал он один, но сегодня отвлечься ему не удавалось, он должен сначала убедиться в окончательном отказе учителя. Вот-то будет радость, вот-то будет счастье, и он ничуть не станет жалеть, что оказался нежеланным. И вообще ничего ему не надо, пусть только не

* Дезире — желанный (франц.).

вставляют быть вместе с другими детьми, которые изводят его, пусть только не нанимают учителей, которые говорят таким громким голосом, раздражаются, так сердито выкрикивают какие-то бессмысленные слова.

Бабуся не желала его, а мама и подавно! Неужели они раньше знали, что он получится не такой, как другие мальчишки! Ну, а бедный папа? Во всяком случае, папа не отдаст его учителю. А баронесса тем временем наставляла сына:

— Ты только скажи «нет»... Неужели так трудно сказать всего одно слово! Ведь я же тебе повторяю, скажи только «нет»... Скажи только «нет».

Но сын молча качал тяжелой головой в шанке сидящих кудрей и наконец заявил:

— Я не имею права.

— Как так, Галеас? Отец имеет все права в вопросах воспитания детей.

Но он упрямо качал головой и твердил: «Я не имею права...»

В эту минуту в кухню ворвался Гийом и, рыдая, уткнулся в колени фрейлейн.

— Мама идет! Идет и смеется сама с собой. Значит, учитель согласился.

— Ну и что из того? Не съест же он тебя, дурачок. Утрите ему нос, фрейлейн, на ребенка противно смотреть.

Когда торжествующая мама переступила порог кухни, Гийу успел спрятаться за лохань.

— Ну, все уладилось,— сказала она.— Завтра в четыре часа я отведу к нему Гийома.

— Если только ваш муж даст свое согласие.

— Безусловно, мама, но он, конечно, согласен, не правда ли, Галеас?

— Во всяком случае, милая дочь моя, мальчиш задаст вам хлопот.

— Кстати, где он? — спросила Поль.— По-моему, он где-то тут спит?

При этих словах из-за лохани вылез Гийом; вид у него был особенно жалкий, он размазал по всей физиономии сопли, слюны и слезы.

— Не пойду,— захныкал он, не глядя на мать.— Не пойду к учителю!

Всякий раз, видя сына, Поль не могла отделаться от чувства стыда; но сегодня на этом маленьком личике, искажен-

ном гримасой, особенно отчетливо проступали черты отца, спокойно сидевшего в кресле. Этот полуоткрытый рот был точной копией его холодного и слюнявого рта. Поль сдержалась и произнесла почти мягко:

— Не поведу же я тебя к учителю силком. Значит, придется отдать тебя пансионером в лицей.

Баронесса пожала плечами:

— Вы же отлично знаете, что нашего несчастного малютку не будут держать в лицее.

— Тогда остается одно: устроить его в исправительное заведение.

Мать так часто повторяла свою угрозу, что Гийу в воображении довольно точно представлял этот страшный исправительный приют. Он задрожал всем телом и, рыдая, воскликнул: «Не надо, мама, не надо!», бросился к фрейлейн и спрятал свое лицо на ее мягкой груди.

— Да ты не верь ей, цыпленочек... Неужели же я позволю, как ты думаешь?

— Фрейлейн не уполномочена решать такие вопросы, и на этот раз я говорю совершенно серьезно, я уже все обдумала и узнала даже адрес,— добавила Поль с каким-то веселым возбуждением.

Но, пожалуй, больше всего напугало мальчика то, что его бабуся громко рассмеялась.

— Тогда почему же, милая, уж не прямо в мешок? Почему тогда не утопить его в реке, как котенка?

Обезумев от страха, Гийу тер лицо грязным носовым платком.

— Не надо в мешок, бабуся!

Мальчик был лишен чувства юмора и все принимал за чистую монету.

— Ну-ну, дурачок! — сказала баронесса, привлекая к себе внука.

Но тут же мягко оттолкнула его.

— Не знаешь, как к нему приступить, настоящая мартышка! Уведите его, фрейлейн. Иди умойся...

Стуча зубами от страха, мальчик пролепетал:

— Я пойду к учителю, мама, я буду слушаться!

— Вот и хорошо. Видишь, какой ты умный мальчик.

Умывая Гийу из крана над лоханью, фрейлейн старалась успокоить его:

— Это они хотят напугать тебя, а ты им не верь, плюнь на них.

Галеас вдруг поднялся с кресла и, не глядя на присутствующих, произнес:

— Солнышко выглянуло. Пойдешь со мной на кладбище, малыш?

Гийу не особенно любил гулять с отцом, но на этот раз быстро протянул ему руку и, всхлипывая, поплелся вон из кухни.

Дождь перестал. Мокрая трава блестела под теплыми солнечными лучами. Дорога в деревню шла через луга. Гийу ужасно боялся коров, которые, завидев прохожего, подымали голову и долго следили за ним глазами, словно раздумывая, броситься на него или не стоит. Отец сжимал ручонку сына и не произносил ни слова. Они могли ходить целыми часами, не разговаривая. Гийу не догадывался, что бедный барон с трудом переносит это гнетущее молчание, что он старается собраться с мыслями, но тщетно: он не знал, о чем говорить с ребенком. На кладбище они проникли через заросший крапивой пролом в стене позади церкви.

На могилах увядали букеты, принесенные в день всех святых. Галеас выпустил ручонку сына и взялся за тачку. Гийу смотрел вслед удалявшейся фигуре отца. Заштопанная коричневая фуфайка, отвислые на заду брюки, спутанная густая шевелюра и маленький беретик — вот это он, его папа. Гийу присел на могильную плиту, почти ушедшую в землю. Осеннее солнце слегка нагрело камень, но мальчику было холодно. А вдруг он простудится, заболеет и не сможет завтра выйти из дому? Умрет... Станет таким же, как те, что лежат здесь, в этой жирной земле, станет как мертвецы, которых он силился представить себе, как эти люди-кроты, чье присутствие выдают лишь низенькие холмики.

За кладбищенской оградой он видел по-осеннему безлюдные поля, иззябшие виноградники, липкую и черную землю, словно смазанную маслом, эту враждебную человеку равнодушную стихию, столь же коварную, как волны моря, довериться которым может только безумец. У подножия холма бежал ручеек, приток речки Сирон, вздувшейся от осенних ливней, впитывавшей в себя тайны болот и непроходимых зарослей; Гийу слышал, что иногда на том берегу поднимали бекасов. Мальчик, извлеченный из своего убежища, дрожал от холода и страха,

очутившись среди всей этой враждебной жизни, недружелюбной природы. По склонам холмов блестела кармином новая черепица на кровлях домов, но его взгляд бессознательно обращался к бледно-розовой, слинявшей под дождями, старой круглой черепице. Возле него ящерицы оскверняли стены храма, один витраж был разбит. Гийу знал, что боженьки там больше нет, что господин священник не пожелал оставить здесь боженьку, боясь святотатцев. Не было боженьки и в старой домашней часовне, где фрейлейн складывает теперь метлы, ящички, сломанные стулья. Где же в этом жестоком мире живет бог? Где он оставил хоть какой-нибудь след?

Гийу замерз. И больно обстрекал крапивой ногу. Он поднялся, подошел к памятнику павшим воинам в виде пирамиды, который поставили в прошлом году. Тринадцать имен на одну их маленькую деревушку: Сернэ Жорж, Лаклот Жан, Лапейр Жозеф, Лапейр Эрнест, Партиг Рене... Гийом видел, как над могилами мерно склоняется коричневая фуфайка отца, слышал пронзительный визг папиной тачки. Завтра его отдадут красному учителю, но ведь учитель может внезапно умереть сегодня ночью. А вдруг что-нибудь случится: ураган, землетрясение... Но нет, ничто не заставит умолкнуть страшный мамин голос, ничто не притушит блеска ее злых глаз, прикованных к нему, и под этим взглядом он вдруг начинает видеть и свое худенькое тельце, и грязные коленки, и спустившиеся на ботинки носки; в такие минуты Гийу судорожно глотает слюну и, желая умиловить врага, старается закрыть рот... А сердитый голос восклицает (ему кажется, что его раскаты слышны даже здесь, на маленьком кладбище, где он стучит зубами от холода): «Убирайся куда хочешь, чтобы я тебя больше не видела!»

А Поль тем временем разожгла в спальне камин и мечтает. Никто не в силах заставить себя полюбить, никто не волен понаравиться другому, но ни земные, ни небесные силы не могут помешать женщине избрать себе мужчину и сделать его своим богом. Пусть даже он об этом ничего не знает, раз от него ничего не требуют взамен. И вот она непременно воздвигнет себе кумира, и он станет средоточием всей ее жизни. Она водрузит алтарь среди окружающей ее пустыни и посвятит его кудрявому божеству, ибо ничего больше ей не остается.

Пусть другие женщины рано или поздно начинают вымаливать милости у их бога, она знает твердо, что не будет ничего

ждать от своего кумира. Она похитит лишь то, что может взять незаметно. Чудесной властью обладает взгляд исподтишка, неуловимая для другого мысль! Может быть, настанет день, когда ей позволено будет приблизиться к своему кумиру, быть может, бог стерпит прикосновение ее губ к его руке...

III

Мама стремительно тащила его за собой по дороге, изрезанной глубокими колеями, где стояла дождевая вода. Навстречу попадались школьники, они расходились домой без криков и смеха. Только оттопыривающаяся на спине пелерина выдавала присутствие невидимого ранца, отчего ребята казались маленькими горбунами. Из-под капюшонов, надвинутых на лоб, поблескивали карие и голубые глаза. Глядя на школьников, Гийу думал, что все эти мальчики, такие мирные с виду, не замедлили бы превратиться в его мучителей, если бы ему пришлось сидеть вместе с ними в классе или играть на школьном дворе. Но сейчас его отдадут учителю, и учитель будет заниматься только им одним, на него одного будет обращена вся опасная власть взрослых, которые стараются подавить маленького Гийу своими вопросами, озадачить своими объяснениями и доказательствами. Этой власти с лихвой хватило бы на целый класс. А придется одному Гийу противостоять этому чудовищу учености, которое будет сердиться и кричать на ребенка, не понимающего смысла громогласных речей.

Он шел в школу в тот час, когда все остальные мальчики расходились по домам. Гийу почувствовал укол в сердце: он вдруг еще яснее ощутил свое отличие от них, свое одиночество. Сухая теплая рука, державшая его ручонку, судорожно сжалась. Равнодушная, если не враждебная, сила влекла его за собой. Замурованная в своем никому не ведомом мире страстей и мыслей, мать за всю дорогу не сказала сыну ни слова. Вот уже выступили из сумерек первые домики, запахло дымом, замелькали за мутными стеклами огоньки керосиновых ламп, заблестели яркие огни гостиницы Дюпюи. Посреди дороги стояли два воза, и широкие спины возчиков загораживали стойку. Еще минута — и вот он, тот огонек... Гийу вспомнилось, как бабуся, рассказывая ему сказку про Мальчика-с-пальчика, произносила страшным, грубым голосом: «Перед ним был дом людоеда». Сквозь стеклянную дверь Гийу различил фигуру жены людоеда. Она стояла, видимо поджидая свою добычу.

— Почему ты дрожишь, дурачок? Господин Бордас тебя не съест.

— Может быть, он озяб?

Поль пожала плечами и бросила с измученным видом:

— Нет, это у него нервное, начинается совершенно неожиданно и без всяких причин. В полтора года у него был родимчик.

Зубы Гийу громко стучали. В комнате слышались только эта дробь да мерный стук маятника больших стенных часов.

— А ну-ка, Леона, сними с него башмаки,— скомандовал Людоед.— И надень на него туфли Жан-Пьера.

— Пожалуйста, не надо,— умоляюще произнесла Поль.— Да не беспокойтесь вы.

Но Леона уже вынесла из соседней комнаты пару туфель. Она посадила Гийу на колени, сняла с него пелерину и пододвинулась к огню.

— Стыдись, такой взрослый мальчик,— сказала мать.— Я не принесла сегодня ни книг, ни тетрадей,— добавила она.

Людоед заверил, что это совсем не обязательно: сегодня вечером они только поговорят, познакомятся.

— Я зайду через два часа,— сказала Поль.

Гийу не слышал, о чем говорили мать и учитель, который пошел провожать Поль до входной двери. Мать ушла, и он почувствовал это, потому что ему сразу стало теплее. Дверь хлопнулась.

— Хочешь, давай чистить со мной горошек,— предложила Леона.— А может быть, ты не умеешь чистить горошек?

Гийу расхохотался и сказал, что он всегда помогает фрейлейн чистить горошек. То, что первая фраза, с которой к нему обратились, была о горошке, подбодрило его. Он до того осмелел, что даже добавил:

— А у нас горошек уже давно собрали.

— Ну, это, видишь ли, последыши,— объяснила учительница.— Среди них много порченных, приходится отбирать.

Гийу подошел к столу и взялся за дело. Кухня Бордасов была похожа на все кухни — огромный очаг, над ним висит на крюке котел; длинный стол, на одной полке — медные кастрюли, а на соседней выстроены в ряд горшочки с маринадами, с потолочных балок свисают два окорока, завернутые в мешковину. Однако Гийу казалось, что он попал в странный и восхитительный мир. Может быть, в этом повинен был запах трубочного табака, который исходил от господина Бордаса, даже

когда он не курил. А главное, книги, повсюду книги, груды газет на буфете и на круглом столике, стоявшем возле учителя. Удобно вытянув ноги, не обращая никакого внимания на Гийу, учитель разрезал страницы журнала в белой обложке, на которой большими красными буквами было выведено название.

Над камином висел портрет какого-то толстого бородатого человека со скрещенными на груди руками. Под портретом была надпись, и мальчик, вытянув шею, пытался вполголоса ее разобрать: Жор... Жор...

— Жорес,— вдруг подсказал людоед.— Ты знаешь, кто такой Жорес?

Гийу отрицательно покачал головой.

— Надеюсь, ты не собираешься начинать урок с разговора о Жоресе! — запротестовала Леона.

— Да он сам со мной о Жоресе заговорил,— ответил господин Бордас.

Он засмеялся. Гийу с удовольствием посмотрел на его сузившиеся, как щелки, глаза. Ему очень хотелось знать, кто такой был Жорес. Чистить горошек, пожалуй, даже было приятно. Испорченные стручки он откладывал в сторону. Никто не обращал на него внимания. Он мог думать о чем угодно, глазеть на людоеда и на людоедову жену, осматривать их жилье.

— Может быть, хватит? — вдруг спросил господин Бордас.

Учитель не читал журнала, он изучал оглавление, разрезал страницы, разглядывал подписи, близко поднося к лицу книжку, с наслаждением вдыхая запах типографской краски. Ведь этот журнал прибыл из самого Парижа... Робер думал о том, как должны быть невысказанно счастливы те, кто сотрудничает в этом журнале. Он пытался представить себе их лица, редакционную комнату, где они собираются, чтобы обменяться мнениями,— собираются люди, которые знают все, обозрели все философские системы. Даже от Леоны он скрыл, что послал в журнал статью о Ромене Роллане. И получил отказ, правда очень вежливый, но все же отказ. Статья, писали ему, носит слишком явный политический характер. Дождевые капли стекали теперь прямо с крыши, так как переполненный водосточный желоб уже не вмещал воды. Человеку дана всего одна жизнь. Робер Бордас никогда не узнает, что такое парижская жизнь. Господин Лусто сказал ему, что его здешняя жизнь в Сернэ тоже может стать материалом для творчества... И посоветовал вести дневник. Но Робер не особенно интересовался

собственной персоной. Впрочем, и другие люди интересовали его не больше. Ему хотелось убеждать их, внушать им свои взгляды, но их индивидуальные особенности не привлекали его внимания... Он был талантливым оратором, мог в один присест набросать статейку. Его заметки для «Франс дю Зюд-Уэст», по мнению все того же господина Лусто, были гораздо выше всего, что печатали в Париже, конечно, за исключением «Аксьон франсез». А в «Юманите», если верить господину Лусто, никто не мог с ним сравниться. Париж!.. Робер дал слово Леоне, что никогда не покинет Сернэ, даже когда Жан-Пьер поступит в Эколь Нормаль, даже потом, когда сын преуспеет, выдвинется в первые ряды. Не следует его стеснять, мешать ему. «Каждому свое место», — думала Леона.

Робер встал и прижался лбом к стеклянной двери. Но, когда он обернулся, он заметил, что Гийу следит за ним ласковым влажным взором. Мальчик тут же отвел глаза. Робер вспомнил, что его новый ученик любит читать.

— Не довольно ли тебе чистить горошек, малыш? Хочешь, я дам тебе книжку с картинками?

Гийу ответил, что хочет любую книжку, даже без картинок.

— Покажи ему библиотеку Жан-Пьера, — сказала Леона, — пусть сам выберет.

Предшествуемый господином Бордасом, который нес лампу, мальчик переступил порог супружеской спальни. Она поразила его своим величием. На огромной кровати с резным узором раскинулся царственно прекрасный пуховик алого цвета, словно на стеганое одеяло опрокинули бутылку смородиновой настойки. Под самым потолком были развешаны увеличенные фотографии. Потом господин Бордас ввел Гийу в комнату поменьше, где стоял какой-то нежилой запах. Учитель с гордостью поднял лампу, и Гийу восхищенно оглядел комнату молодого Бордаса.

— Конечно, в замке апартаменты пороскошнее, но все-таки и здесь неплохо, — добавил учитель не без удовольствия.

Мальчик не верил своим глазам. Первый раз в жизни маленький барчук вдруг ясно представил себе крохотный чуланчик, где он спал. Там безраздельно царил запах мадемуазель Адриен, на обязанности которой лежали штопка и чинка господского белья и которая все послеобеденное время проводила в чулане. Рядом со швейной машиной стоял манекен, которым уже давно не пользовались. В углу складная кровать в чехле, на ней во время болезни Гийу обычно спала фрейлейн. Маль-

чик вдруг отчетливо увидел потертый коврик у постели, на который он столько раз опрокидывал свой ночной горшок. А у Жан-Пьера Бордаса была собственная спальня, где он жил один, была белая кровать, расписанная голубыми цветами, книжный шкаф, где за стеклом стояли ряды книг.

— Почти все эти книги Жан-Пьер получил в награду за успехи,— пояснил господин Бордас.— Все награды в классе всегда получает он.

Гийу погладил ладонью корешок каждой книги.

— Выбирай что хочешь.

— Ой! «Таинственный остров». Вы читали? — спросил Гийу, вскинув на учителя заблестевшие глаза.

— В твои годы читал,— ответил учитель.— Но, по правде сказать, позабыл. Кажется, это что-то вроде «Робинзона»?

— Нет, это лучше «Робинзона!» — с жаром воскликнул Гийу.

— А чем же лучше?

Но при этом вопросе, поставленном в упор, мальчик снова ушел в себя. Взгляд у него стал опять отсутствующий, почти тупой.

— А я думал, это продолжение,— сказал, помолчав, господин Бордас.

— Да, сначала нужно прочитать «80 000 лье под водой» и «Дети капитана Гранта». Я не читал «80 000 лье под водой»... Но, знаете, все равно понять можно. Только я пропускаю те страницы, где Сайрес Смит изготавливает динамит.

— А там, в «Таинственном острове», был какой-то человек, которого нашли спутники инженера на соседнем острове, или не было?

— Был, был, Айртон. Значит, вы помните? Как хорошо ему Сайрес Смит сказал: «Ты плачешь — значит, ты человек».

Не глядя на мальчика, господин Бордас снял с полки толстую книгу в красном переплете и подал ее Гийу.

— Ну-ка найди это место. По-моему, там была еще картинка.

— Это конец пятнадцатой главы,— пояснил Гийу.

— А знаешь что, прочти мне эту страницу, я послушаю, словно я маленький.

Господин Бордас зажег керосиновую лампу и усадил Гийу у стола, который Жан-Пьер залил в свое время чернилами. Мальчик начал читать прерывающимся голосом. Сначала учитель различал только отдельные слова. Он нарочно сел в сто-

ронке, в тени, и почти не дышал, словно боясь вспугнуть дикую птичку. Но через несколько минут голос Гийу окреп. Очевидно, он забыл, что его слушают.

— «Дойдя до того места, где подымались первые мощные деревья леса, листья которых слегка колыхались от ветра, незнакомец с наслаждением вдохнул резкий запах, пронизывающий воздух, и глубокий вздох вырвался из его груди. Колонисты стояли сзади, готовые схватить незнакомца при первой попытке к бегству. И действительно, бедняга чуть было не бросился в ручей, отделявший его от леса; ноги его на мгновение напряглись, как пружины... Но он тут же сделал шаг назад и опустился на землю. Слезы покатались из его глаз. «О, ты плачешь,— воскликнул Сайрес Смит,— значит, ты снова стал человеком!»

— Как это прекрасно! — сказал господин Бордас. — Теперь я припоминаю... Кажется, на их остров напали пираты.

— Да, папали. Айртон первый заметил черный парус... Хотите, я вам прочту?

Учитель отодвинул стул еще дальше. Он мог бы, он должен был бы удивляться, слушая выразительное чтение мальчика, который слыл чуть ли не кретином. Он мог бы, он должен был бы радоваться этой новой задаче, которую взял на себя, радоваться, что в его власти спасти это маленькое, трепещущее существо. Но он внимал не столько голосу ребенка, сколько сумятице собственных мыслей. Он, сорокалетний мужчина в расцвете сил, полный желаний и мыслей, осужден навеки прозябать здесь, в этой школе, притулившейся на краю безлюдной дороги. Он все понимает, он правильно рассуждает обо всем, что напечатано в журнале, сладкий запах которого — типографской краски и клея — он вдыхал с таким наслаждением. Любая журнальная дискуссия была ему доступна и понятна, хотя здесь он мог говорить на такие темы только с одним господином Лусто. Леона, конечно, тоже могла бы понять многое, но она предпочитала оглушать себя каждодневной работой. И чем ленивее становился ее мозг, тем с большим жаром отдавалась она физической деятельности. Она гордилась тем, что вечерами, намаявшись за день, чуть не засыпает на стуле. Будучи от природы умницей, она порой жалела мужа, сознавала, что он страдает, но ведь у них есть Жан-Пьер, и он вознаградит их за все невзгоды. Она верила, что мужчина в возрасте Робера может доверить сыну свершить то, что не суждено было свершить ему самому... Она верила в это!

Робер заметил, что Гийу дочитал главу и остановился.

— Читать дальше?

— Нет, не надо, — сказал господин Бордас. — Отдохни. А ты очень хорошо читаешь. Хочешь, я дам тебе домой какую-нибудь книгу Жан-Пьера?

Мальчик живо вскочил со стула и снова стал рассматривать одну за другой книги, читая вполголоса названия.

— А «Без семьи» интересно?

— Жан-Пьер очень любил эту книгу. А сейчас он читает более серьезные вещи.

— А вы думаете, я пойму?

— Конечно, поймешь! Видишь ли, школа отнимает у меня слишком много времени, и мне некогда читать... Ты каждый вечер будешь мне что-нибудь рассказывать, а я с удовольствием послушаю.

— Ну да, это вы нарочно говорите, для смеха...

Гийу подошел к камину. Он не отрываясь смотрел на фотографию, прислоненную к зеркалу: лицеисты полукругом стоят возле двух учителей в пенсне, на чьих толстых коленях чуть не лопаются брюки. Гийу спросил, есть ли на фотографии Жан-Пьер.

— Есть, в первом ряду, справа от учителя.

Гийу подумал, что, если б ему даже не показали Жан-Пьера, он все равно узнал бы его. Среди бесцветных физиономий его лицо светилось. А может быть, это только так казалось, потому что Гийу столько слышал рассказов о Жан-Пьере. Впервые в жизни ребенок с таким вниманием приглядывался к человеческому лицу. До сих пор он мог часами рассматривать какую-нибудь картинку в книге, вглядываться в черты несуществующего героя. И вдруг он подумал, что этот мальчик с высоким лбом и коротенькими кудряшками, с твердой складкой между бровей, что этот самый мальчик читал все эти книги, работал за этим столом, спал в этой постели.

— Значит, это его собственная комната? И к нему нельзя войти, если он не хочет?

Он, Гийу, был в одиночестве только в уборной... Дождь упрямо барабанил по крыше. Как, должно быть, прекрасно жить здесь, среди книг, в этом тихом пристанище, куда нет доступа посторонним. Но Жан-Пьер не нуждался ни в тихом пристанище, ни в покровительстве, ведь он был первым в классе по всем предметам. Даже за гимнастику он получил награду, как сказал господин Бордас. Леона тихонько приоткрыла дверь.

— За тобой мама пришла, малыш.

Гийу последовал за учителем, который по-прежнему нес лампу, в супружескую спальню. Поль де Сернэ сушила у очага свои грязные туфли. Как обычно, она весь вечер проплутала по тропинкам.

— Боюсь, вам мало что удалось из него выудить?

Учитель запротестовал.

— Напротив, для начала совсем неплохо.

Мальчик стоял, понунив голову, Леона застегнула ему перерину.

— Вы не проводите меня немного? — предложила Поль. — Дождь перестал, и вы мне скажете откровенно ваше мнение о мальчике.

Господин Бордас снял с вешалки непромокаемый плащ. Жена пошла за ним в спальню: неужели он пойдет ночью бродить по дорогам с этой сумасшедшей? Да на него пальцем будут показывать. Но он сухо оборвал жену. Хотя супруги говорили вполголоса, Поль догадалась, о чем шел спор в спальне, но даже виду не подавала и, повернувшись на пороге, осыпала Леону благодарностями и уверениями в дружбе. Наконец она вышла за учителем во влажную осеннюю мглу и приказала сыну:

— Ступай вперед, не болтайся под ногами.

Потом она в упор спросила учителя:

— Не скрывайте от меня ничего. Как бы ни был мучителен для матери ваш приговор...

Он замедлил шаги. Почему он не послушался Леоны? Было совершенно ни к чему очутиться в полосе света, падавшего из дверей гостиницы. Но если бы даже Робер был твердо уверен, что их никто не увидит, он все равно предпочитал держаться настороже. Именно так он и вел себя в отношении женщин даже в молодые годы. Инициатива всегда исходила от них, а он старался ступешаться, и отнюдь не для того, чтобы подогреть интерес к своей особе. Когда они подошли к гостинице, Робер остановился.

— Давайте лучше поговорим завтра утром, я уйду из мэрии примерно в половине двенадцатого.

Поль поняла, почему он вдруг остановился, но даже обрадовалась: это походило на сговор между ними двумя.

— Да-да, — прошептала она, — так будет лучше.

— До завтра, Гийом. Ты мне считаешь «Без семьи».

Господин Бордас притронулся пальцем к берету, он даже не протянул ей на прощание руку. Вечерний сумрак уже поглотил

его, но еще долго Поль слышала стук трости о булыжную мостовую. Мальчик тоже стоял неподвижно среди дороги, обернувшись в ту сторону, где сиял огонек в спальне Жан-Пьера Бордаса.

Мать схватила его за руку. Она даже не спросила его ни о чем: все равно из него слова не вытянешь. Впрочем, так ли уж это важно? Завтра состоится их первая встреча, их первое свидание. Она крепко сжимала ручонку Гийу и временами вздрагивала от холода, оступившись в ледяную лужу.

— Подойди к огню, — скомандовала фрейлейн, — ты же промок до нитки.

Глаза всех присутствующих обратились к Гийу. Приходилось отвечать на их вопросы.

— Ну как, не съел тебя твой учитель?

Гийу отрицательно мотнул головой.

— А что ты делал там целых два часа?

Мальчик не знал, что ответить. И правда, что он делал два часа? Мать ущипнула его за руку:

— Ты что, не слышишь, что ли? Что ты делал там два часа?

— Горошек чистил...

Баронесса воздела к потолку морщинистые руки.

— Они заставили тебя чистить горошек! Шикарно! Шикарно! — повторила она, невольно подражая жаргону своих парижских внуков Арби. — Нет, вы слышите, Поль? Учитель и его супруга теперь будут хвастаться, что заставляли моего внука чистить горошек. Это неслыханно! А кухню они не велели тебе подмести?

— Нет, бабуса, я только горошек чистил... Там было много испорченного, надо было его отбирать.

— Они сразу поняли, на что он способен, — заметила Поль.

— А по-моему, они просто не хотели пугать его для первого раза, — возразила фрейлейн.

Но баронесса прекрасно знала, чего можно ждать от «таких людей», когда попадешь к ним в лапы.

— Эти люди рады издеваться над нами. Но если они надеются меня подразнить и воображают, что меня можно этим задеть, напрасно стараются...

— Если бы они плохо обращались с Гийу, — ядовито ввернула фрейлейн, — я уверена, что баронесса не потерпела бы, разве это не их внук?

Гийу заговорил громче:

— Да он совсем не злой, учитель!

— Потому что заставил тебя чистить горошек? Конечно, тебе это нравится, ты только и способен, что возиться на кухне... Но пичего, он тебя засадит за чтение, за письмо, за арифметику... И с ним дело пойдет на лад, — добавила Поль. — Да ты понимаешь, какой он учитель?

Гийу повторил дрожащим, тихим голосом:

— Он совсем не злой, он уже велел мне читать, он сказал, что я хорошо читаю...

Но мама, бабуся и фрейлейн уже сцепились и не слушали его. Тем хуже! Тем лучше! Он сохранит для себя одного свою тайну. Учитель велел ему читать вслух «Таинственный остров», а завтра он будет читать «Без семьи». Каждый вечер он будет ходить к господину Бордасу. И будет смотреть, сколько ему захочется, на фотографию Жан-Пьера. Он уже страстно любил Жан-Пьера. Во время рождественских каникул они непременно подружатся. Он прочтет все-все книги Жан-Пьера — книги, которых касались руки Жан-Пьера. Мысль не о господине Бордасе, а о незнакомом мальчике переполняла его счастьем, и он скрывал свое счастье от всех, сидя бесконечно долго за ужином, пока разгневанные боги, разделенные пропастью молчания, упорно не произносили ни слова, и до слуха Гийу доносилось только чавканье и громкие глотки отца. Это ощущение счастья не покидало его, когда он ощупью раздевался в уголке между манекеном и швейной машиной, когда дрожал от холода под засаленным одеялом, когда повторял слова молитвы, когда боролся против желания повернуться на живот. Он заснул, а улыбка еще долго освещала это детское, это старческое личико с мокрой, отвисшей губой. И если б его мать по примеру всех матерей поднялась к нему, постояла бы у его кровати, благословляя на ночь своего сына, она удивилась бы этому отблеску счастья.

А в это время Леона кричала на мужа, сидевшего с журналом на руках.

— Нет, ты посмотри, что он наделал с книгами Жан-Пьера! Эта несчастная мартышка все переплеты захватала пальцами. Даже следы соплей видны! И почему это ты вдруг решил ему дать книги Жан-Пьера?

— Ну, знаешь, это ведь не святыня, и ты тоже не божья мать...

Но раздраженная Леона закричала еще громче:

— Я не желаю, чтобы эта мартышка плясала к нам, слышишь? Давай ему уроки где хочешь — в школе, в конюшне, но только не здесь.

Робер захлопнул журнал, подошел к очагу и сел рядом с женой.

— До чего же ты непоследовательно мыслишь, — сказал он. — То упрекала меня, что я невежливо обошелся со старой баронессой, а теперь сердись, что я слишком любезно принял ее сноху... Признайся лучше, что ты просто боишься бородатой дамы! Бедная бородатая дама!

Оба рассмеялись.

— А все-таки ты возгордился! — сказала Леона, обнимая мужа. — Я тебя понимаю, еще бы, баронесса из замка!

— Если бы я даже хотел, боюсь, что не смог бы.

— Верно, — согласилась Леона. — Ведь ты мне сам объяснил, какая разница между мужчинами: одни всегда могут, а другие не всегда...

— Те, которые могут всегда, для этого и живут, потому что это, что ни говори, все-таки самое приятное на свете...

— А те, которые могут не всегда, — подхватила Леона (супруги десятки лет обсуждали эти давным-давно решенные, сокровенные вопросы — так повелось у них еще со времени помолвки, и всякий раз это обсуждение клало конец их спорам), — те посвящают себя богу, науке или литературе...

— Или гомосексуализму, — заключил Робер.

Леона расхохоталась и прошла в туалетную комнату, не закрыв за собой дверей. Раздеваясь на ночь, Робер крикнул:

— А знаешь, мне было бы любопытно заняться мартышкой!

Леона вышла из туалетной комнаты и со счастливой улыбкой подошла к мужу. Она заплела на ночь свои жиденькие косички и теперь, в розовой батистовой рубашке, полинявшей от стирки, казалась очень хорошенькой.

— Значит, ты откажешься?

— Только не из-за бородатой дамы, — сказал он. — Ты знаешь, что я подумал: надо прекратить все это. Вообще я зря согласился. Мы не должны иметь никаких отношений с замком. Классовая борьба — это ведь не просто так, для учебников. Она вторгается в нашу повседневную жизнь, она должна направлять все наши поступки.

Робер замолчал. Жена, скорчившись, стригла себе ногти на ногах, она явно его не слушала. Ну разве можно говорить с женщинами? Матрас громко скрипнул под его крупным телом.

Леона задула свечу и прижалась к мужу. Их обдало привычным и особенно дорогим им запахом стеарина — он, этот запах, возвещал любовь и сон.

— Нет, сегодня не надо,— сказала Леона.

Они лежали рядышком и шептались.

— Замолчи, я спать хочу.

— Я хотел тебя вот о чем спросить: как бы нам поумнее отделаться от этой мартышки?

— А ты напиши бородатой даме, объясни ей про классовую борьбу. Она поймет. Подумаешь! Мадемуазель Мельер! А завтра утром пошлем письмо с каким-нибудь мальчишкой... Ты посмотри только, какая ночь светлая!

В деревне перекликались петухи. В бельевой замка, где фрейлейн забыла опустить занавески, луна освещала Гийу, маленький призрак, сидевший, скорчившись, на горшке, а сзади него подымался безрукий и безголовый манекен, которым никто не пользовался.

IV

Письмо, принесенное мальчишкой, подняло маму и бабуся гораздо раньше обычного часа. Они спустились вниз страшные, как страшны обычно поутру немолодые люди, еще не успевшие умыться: их серые зубы, вкрапленные в розовую каучуковую челюсть, заполняют весь стакан, стоящий на тумбочке у изголовья кровати. Сквозь желтоватые пряди у бабуся проглядывала блестящая кожа черепа, а беззубый рот провалился. Обе говорили разом. Галеас сидел за столом, на полу примостились две гончие собаки, которые страшно щелкали зубами, когда он кидал им кусочки хлеба. Папа пил кофе с таким видом, будто это причиняло ему боль. Казалось, каждый глоток с трудом проходит ему в горло. Гийом думал, что этот огромный папин кадык преграждает путь пище. Он старался сосредоточить мысли на отце. Он не желал знать, почему, получив письмо, мама и бабуся сразу начали ругаться и о чем они ругаются. Но он уже знал, что никогда больше не зайдет в комнату Жан-Пьера.

— Меня это ничуть не трогает! Подумаешь! Какой-то учительшка-коммунист! — кричала бабушка. — Он же вам написал, это все маскировка, моя милая.

— Причем тут маскировка! Он дал мне урок и поступил совершенно правильно, и мне ничуть не стыдно, что мне дали урок. Классовая борьба? Я тоже верю в классовую борьбу. Не

желая причинять ему зла, я побуждала его изменить своим прин...

— Да бросьте вы, моя милая, нечего выдумывать!

— У него впереди вся жизнь, он имеет право рассчитывать на многое, а я чуть не скомпрометировала его в глазах товарищей и его вождей... И чего ради? Кого ради, я вас спрашиваю? Ради маленького выроodka, ради дегенерата...

— Я здесь, Поль.

Поль скорее догадалась, чем разобрала этот протестующий возглас мужа, который сидел, уткнув нос в кружку с крошенным в кофе хлебом. Когда он волновался, слишком толстый язык не слушался его и говорил он так, словно рот у него был полон каши. Он добавил громче:

— Гийом тоже здесь.

— Нет, вы только послушайте! — закричала фрейлейн и по плечи нырнула в лохань, где она стирала белье.

Тем временем старуха баронесса перевела дух.

— Гийом, если не ошибаюсь, и ваш родной сын!

Плешивая голова старухи, уже готовой принять небытие, задрожала от ненависти еще сильнее. Поль наклонилась и шепнула ей на ухо:

— Да посмотрите вы на них обоих. Неужели вы не видите, что он точная копия отца? До галлюцинации похож!

Старуха баронесса величественно выпрямила стан, оглядела сноху с головы до ног и, ничего не ответив, не сказав ни слова Гийу, выплыла из кухни. Да и что могло выразить это серое ребяческое личико? Во дворе сгустился туман, а так как фрейлейн никогда не мыла единственного кухонного окна, кухню освещало только пламя очага, где пылали сухие виноградные лозы. Собаки улеглись, уткнув морды в лапы, возле грубо обструганных ножек огромного стола, которые на миг осветил багровый язык пламени.

Все замолчали. Даже Поль поняла, чтохватила через край; она оскорбила весь род Галеасов, целый сонм почивших навеки предков. Галеас поднялся, вытянулся на своих длинных ногах, утер рот тыльной стороной ладони и спросил Гийу, где его пелерина. Он сам застегнул на этой дышлячей шейке застёжку и взял сына за руку. Собаки, думая, что их тоже возьмут на прогулку, весело запрыгали вокруг барона, но он пнул их ногой. Фрейлейн осведомилась, куда они идут. Но за них ответила Поль:

— На кладбище. Куда же еще?

Да, они пошли на кладбище. Багрово-красное солнце силлось пробиться сквозь свинцовую пелену, а туман словно раздумывал, подняться ли облаком в небо или пролиться дождем. Гийу взял было отца за руку, но тут же выпустил ее, такая она была влажная. До самой церкви они шли молча. Усыпальница баронов Сернэ выступала над оградой кладбища, которое господствовало над всей долиной Сирона. Галеас зашел в ризницу, где он прятал мотыгу. Мальчик присел в стороне на могильную плиту. Он низко надвинул свой капюшон на лоб и не шевелился. Господин Бордас не хочет с ним больше заниматься. Туман был наполнен звуками: скрип повозки, пение петуха, однообразное гудение мотора были особенно слышны на фоне неумолчного аккомпанеента мельничного колеса и рева воды у плотины, где летом купались голые мальчишки. Совсем рядом с Гийу запела малиновка. Его любимые перелетные птицы уже улетели на юг. Господин Бордас не желает больше с ним заниматься, и никто не желает. Он твердил вполголоса: «Ну и пусть...» Он повторял это «ну и пусть» как бы назло невидимому врагу. Как громко ревет вода у плотины! Правда, до нее по прямой не больше километра. Из разбитого витража вылетел воробей. «Там боженьки нет,— сказала бабуся,— отняли у нас боженьку». Боженька, должно быть, теперь только на небе. Если мальчик или девочка умирают, они становятся вроде ангелов и лица у них чистые и сияющие. А бабуся говорит, что лицо Гийу от слез становится еще грязнее. И чем дольше он плакал, тем грязнее становилось его лицо, потому что руки у него были в земле и весь он перепачкался. А когда он вернется домой, мама ему скажет... бабуся ему скажет... фрейлейн ему скажет...

Господин Бордас не желает больше с ним заниматься.

Никогда в жизни он не переступит порога спальни Жан-Пьера. Жан-Пьер! Жан-Пьер Бордас! Как странно любить мальчика, которого ты никогда не видел, с которым ты никогда не познакомишься. «Если бы он меня увидел, он тоже подумал бы, что я плохой, что я грязный и глупый». «Ты плохой, грязный и глупый»,— каждое утро твердила ему мама. Жан-Пьер Бордас никогда не узнает, что Гийом де Сернэ был плохой, грязный и глупый мальчик, настоящая мартышка. И кем еще? Что сейчас сказала про него мама? Какое-то слово, услышав которое, папа вздрогнул, словно его ударили камнем в грудь. Гийу старался вспомнить и наконец припомнил: ренегат. Не совсем так, но похоже на слово «ренегат».

Сегодня вечером он заснет не сразу. Придется ждать, пока еще явится сон, ждать целых полночи, и ночь не будет похожа на вчерашнюю, когда он трепетал от счастья. Он заснул тогда в надежде, что, проснувшись, снова увидит господина Бордаса, что вечером в спальне Жан-Пьера он начнет читать ему вслух «Без семьи»... Ах, подумать только, что и сегодня вечером в доме и все вокруг будет такое же, как и всегда... Гийу поднялся, обогнул усыпальницу баронов Сернэ, перешагнул через низенькую ограду и пошел по крутой тропинке, спускавшейся к Сироне.

Когда Галеас обернулся, он заметил, что мальчика нет. Он подошел к ограде: среди виноградников мелькал маленький капюшон. Галеас бросил мотыгу и поспешил за удаляющимся сыном. Когда он уже почти догнал мальчика, он замедлил шаги. Гийу скинул капюшон, а берет он забыл дома. По сравнению с огромными оттопыренными ушами его наголо остриженная головка казалась совсем крохотной. Кривые ноги, обутые в громадные туфли, напоминали виноградные лозы. Из слишком широкого воротника пелерины торчала дылячья шейка. Галеас жадно смотрел на этого маленького, семенящего перед ним человечка, на эту раненую землеройку, вырвавшуюся из капкана и истекавшую кровью. Это его сын, его подобие, перед ним вся долгая жизнь, а он уже достаточно страдался и сейчас страдает. Но пытка лишь начиналась. Одни палачи у человека в детстве, другие — в юности. И еще новые отравят его зрелые годы. Сумеет ли он зачерстветь, огрубеть? Сможет ли защитить себя, защитить каждое мгновение своей жизни от женщины, от вечного присутствия этой женщины, от женщины с желчным и злым лицом Горгоны? Он задышался от ненависти, но еще сильнее задышался от стыда, ибо он сам был палачом этой женщины. Он обладал ею только раз, всего один раз; она была словно запертая в конуре собака, запертая не на день и не на два, а на всю свою молодость. И долго еще ей выть, призывая отсутствующего самца. А он, Галеас, чем он только не обманывал свой голод: грезами, даже жестами. И так каждый вечер, да, каждый вечер! И утро тоже... И таков же удел этого недоноска, родившегося от их единственного объятия, который семенит сейчас, торопится — куда? Знает ли он сам куда? Хотя мальчик ни разу не оглянулся, он, должно быть, почуял присутствие отца. Галеас вдруг понял это: «Он знает, что я иду за ним. Он не старается даже спрятаться от меня или запутать следы, он ведет меня туда, куда хочет, чтобы я шел за ним». Галеас

не решался представить себе тот конец, который спешили принять оба последних Сернэ. Трепещущая листва предвещала близость реки. Нет, не лесной царь скакал, догоняя сына в бешеной и последней его скачке, а сын сам увлекал развенчанного и опозоренного отца к стоячей воде шлюза, где летом купались голые мальчишки. Вот сейчас они достигнут сырых берегов царства, где мать, где жена не сможет их больше терзать. Сейчас они освободятся от Горгоны, сейчас они уснут.

Они взошли под покров сосен, особенно привольно разросшихся из-за близости реки. Не тронутые еще морозом папоротники были одного роста с Гийу, и Галеас с трудом разглядел в их ржавой зыби стриженую головенку сына. Потом мальчик снова исчез за поворотом песчаной тропинки. Им мог попасться смолокур, погонщик мулов с мельницы, охотник за бекасами. Но все статисты покинули этот уголок мира, чтобы могло наконец разыграться действие, которое им предстояло совершить, — один увлекал другого или толкал его, даже того не желая? Никто никогда не узнает! И не было иных свидетелей, кроме великапов сосен, теспившихся у плотины. Они сгорели потом через год, в августе. Сосны никто так и не удосужился срубить, и еще долго они, обугленные, протягивали обгоревшие руки к спящей воде. И долго еще вскидывали к небесам свои почерневшие главы.

В округе решили, что Галеас бросился в воду, чтобы спасти сына, что мальчик уцепился ему за шею и увлек за собой отца. Неясные слухи, которые пошли было сначала, умолкли перед трогательной картиной: сын, уцепившись ручонками за отца, увлекает его за собой в бездну. Если какой-нибудь скептик, покачивая головой, говорил: «А по мне, не так все это было», он все равно не мог себе представить, что же произошло в действительности. Да нет, конечно, нет! Как заподозрить отца, который обожал своего сына и каждый день водил его с собой на кладбище? «Господин Галеас был простоват, но насчет здравого смысла — не скажите, и добрее его никого не было».

Никто не оспаривал права фрейлейн на пелерину Гийу, которую она сняла с мокрого маленького тельца. Старая баронесса утешилась тем, что дети Арби отныне будут именоваться де Сернэ; кроме того, из ее жизни навеки уходила сноха Поль. Она уехала к своим Мельерам. «Снова села нам на шею», — как они выражались. Но у нее оказалась злокачественная опухоль.

На гладкой, блестящей стене, в удушливой больничной атмосфере (и сиделка входит с судном, хотите вы или не хотите, даже если вы не в силах открыть глаз, и морфий, который плохо действует на ее печень, и посещение тетки, безутешной перед лицом огромных и бесполезных расходов, поскольку рецидив неизбежен), на этой гладкой и блестящей стене иногда, как на экране, возникала огромная курчавая голова Галеаса, а мартышка подымала над разорванной книгой, над залитой чернилами тетрадью свою грязную и встревоженную рожицу. Неужели это ей только казалось? Ребенок шел по берегу, подходил вплотную к воде: он дрожал, он боялся — нет, не смерти, а холода. Его отец крадучись пробирался за ним... И тут начиналась область догадок: он ли толкнул сына и бросился за ним или, может быть, взял ребенка на руки и сказал: «Прижмись ко мне крепче и не оборачивайся...» Поль не знала этого и не узнает никогда. Она радовалась, что смерть ее близка. Она твердила сиделке, что от морфия ей делается плохо, что при ее печени вообще нельзя делать никаких уколов, она желала испытать чашу страданий до последней капли не потому, что верила, будто существует этот некий невидимый мир, где нас ждут замученные нами жертвы, где можно упасть на колени перед тем, кто был доверен нам и погиб по нашей вине. Она не представляла себе, что она может предстать перед судилищем... Она отвечала только перед своей собственной совестью. Она прощала себе свое отвращение к сыну — живой копии ненавистного отца. Она изрыгала из себя Сернэ, потому что никто не властен над тошнотой. Но от нее зависело, делить ли ложе с этим чудовищем, с этим вырожденком. Это объятие, на которое она ответила, было в ее глазах поистине смертным грехом.

Боль временами становилась непереносимой, и, поддавшись искушению, Поль соглашалась на укол. Тогда, в минуты облегчения, она мечтала об иных жизненных путях, которыми могла бы пойти. Вот она — жена Робера Бордаса, вокруг играют здоровые мальчуганы, и нижняя губа у них не отвислая, и с нее не стекает слюна. Каждый вечер мужчина заключает ее в свои объятия. Она засыпает, прижавшись к нему. Она мечтала о волосатой мужской груди, о запахе мужчины. Она не знала, ночь сейчас или день. Боль уже стучалась у дверей, проникала в нее, располагалась по-хозяйски и начинала медленно ее грызть.

«Мать, которая стыдится своего сына и внука, да где же это видано?» — думала фрейлейн. Фрейлейн не могла простить своей хозяйке, что она так недолго оплакивала Галеаса и Гийу,

а возможно, даже радуется их смерти. «Ничего, баронесса заплатятся за это. Арби не дадут им спокойно умереть в Сернэ. Только не хочется повторять, что мне наговорил шофер тогда, в день похорон! «Садовник, помощник садовника, двое слуг! Да в их ли годы вести такой дом! Должно быть, из ума выжидают». Я-то знаю, что Арби уже приценивались к месту в богадельне Верделэ. Баронесса, зарывшись в подушки, отрицательно качала своей лысой хищной головкой. Не поедет она ни в какую богадельню. Но если Арби захотят, баронесса поедут, и я с ними. Ведь баронесса ни за что не решатся сказать Арби «нет». Арби их совсем зашугали, и меня тоже».

Сегодня четверг, уроков не будет. Но сегодня учитель работает в мэрии. Он быстро проводит губкой по опухшему от сна лицу. Стоит ли бриться, да и к чему? Ботинок тоже не надо: в это время года тепло и в домашних туфлях, а если надеть еще сабо, то нечего бояться промочить ноги. Леона ушла к мяснику. Он слушает, как стучат по черепице капли: дождевая вода заполнила обе колеи и лужей разлилась поперек дороги. Когда Леона вернется, она первым делом спросит: «О чем ты думаешь?» И он ответит: «Ни о чем».

Они ни разу не говорили о Гийу с того самого дня, когда у мельничного колеса нашли два тела. В тот день он только сказал: «Мальчик кончил самоубийством, или это отец...» Но Леона пожала плечами: «Да что ты». И с тех пор они ни разу не произнесли его имя. Однако Леона отлично знает, что маленький скелетик в пелерине и низко надвинутом на лоб капюшоне день и ночь блуждает по зданию школы, пробирается он и на школьный двор, но никогда не играет с детьми... Леона ушла к мяснику. Робер Бордас входит в комнату Жан-Пьера, снимает с полки «Таинственный остров», книга сама раскрывается все на той же странице: «И действительно, бедняга чуть было не бросился в ручей, отделявший его от леса; ноги его на мгновение напряглись, как пружины... Но сейчас же сделал шаг назад и опустился на землю. Слезы покатались из его глаз. «О, ты плачешь,— воскликнул Сайрес Смит,— значит, ты снова стал человеком!» Господин Бордас присаживается на кровать Жан-Пьера, держа на коленях открытую толстую книгу в красном переплете. Гийу... Сознание медленно созревало в этом хилом тельце. Ах, как чудесно было бы помочь ему вырваться наружу! Быть может, для этого-то труда и явился на землю Робер Бордас. В Эколь Нормаль один из преподавателей объяснял студен-

там происхождение слова «учитель», «наставник», «instituteur». Учитель — тот, кто наставляет, тот, кто учит, тот, кто пробуждает человеческое в человеке, — какое же это прекрасное слово! Может быть, на его пути встретятся еще такие, как Гийу. И ради ребенка, смерть которого он не предотвратил, он ни в чем не откажет тем, кто придет к нему. Но ни один из них не будет этим маленьким мальчиком, умершим потому, что господин Бордас пригрел его как-то вечером, а наутро выгнал, словно бродячего пса, которого впускают в дом лишь на минуту... Он возвратил его тьме, и тьма навеки поглотила ребенка. Но тьма ли это? Его взгляд скользит поверх книг, поверх степ, поверх черепичной крыши, Млечного Пути, созвездий зимнего неба и ищет, ищет царство духа, оттуда, быть может, ребенок, обретший вечную жизнь, смотрит на него, Бордаса, видит, как по его щеке, поросшей черной щетиной, ползет слеза, которую он забыл вытереть.

Весной травы заполонили все кладбище. Заброшенные могилы вновь заросли чертополохом, и мох так густо одел могильные плиты, что нельзя разобрать надгробных эпитафий. С тех пор как господин Галеас взял своего мальчика за руку и решил разделить с ним вечный сон, некому больше в Сернэ позаботиться о мертвецах.



ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН

РОМАН



Un adolescent d'autrefois

Перевод Р. Линцер

Я пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю, думаю иначе, чем должен думать, и так до самых темных глубин.

Кафка

ГЛАВА I

Я не такой, как все мальчики. Будь я таким, как все мальчики, в свои семнадцать лет я бы охотился вместе с Лораном, моим старшим братом, и Дюбером, нашим управляющим, и Симоном Дюбером, его младшим сыном — «аббатом», которому полагалось бы сейчас присутствовать на вечерней службе, и его братом Прюданом Дюбером, который подбивает Симона распрощаться с кюре. Я стрелял бы из охотничьего ружья, а не рыскал в кустах, выслеживая дичь, как собака, не играя бы, изображая из себя собаку.

Да, я изображаю собаку, но в то же время раздумываю о том, что же происходит в голове у Симона. Он подоткнул полы сутаны, чтобы она не цеплялась за ветки и колючий терновник; не знаю почему, но его толстые икры, обтянутые черными шерстяными чулками, вызывают у меня неудержимый смех. Он любит охоту не меньше, чем наши собаки Диана и Стоп. Охота у него в крови, это сильнее его, хотя он отлично знает, что в этот самый час господин настоятель служит вечерню и смотрит на пустую скамью, где следовало бы находиться Симону, но где

его нет. После службы господин настоятель придет к нам поговорить об этом с мамой. Надеюсь, я успею вернуться, хотя они очень осторожны и умолкают, едва заведя меня. Я пустомеля, как говорит мама, а господин настоятель считает, что у меня дурное направление ума, так как я задаюсь вопросами, которыми он никогда не задавался и которых ему никогда никто не задавал, а тем более я. Но он знает, что я считаю его глупцом.

«Послушать тебя, так все глупцы!» — обычно упрекает меня мама. Что правда, то правда, в нашей семье умным я считаю лишь себя самого, но я знаю, что ничего не знаю, потому что меня ничему не научили. Мои учителя не могли ничему меня научить, только азам. Товарищи превосходят меня во всем, что в их глазах имеет какую-то цену. Они презирают меня и имеют все основания презирать: никаким спортом я не занимаюсь, сил у меня не больше, чем у цыпленка. Я краснею, когда они говорят о девицах, а когда они показывают друг другу фотографии, я отворачиваюсь. Однако иные из них относятся ко мне дружески, и больше чем дружески.

Они знают, что они станут делать, у них есть свое место в жизни. А я? Я даже не знаю, какой я. Я отлично знаю, что все проповеди господина настоятеля и все, во что верит моя мать, не вяжется с тем, что существует в действительности. Я знаю, что они и понятия не имеют о праведности. Мне ненавистна их религия. И все-таки я не могу обойтись без бога. Вот это, в сущности, и отличает меня от всех прочих, а совсем не то, что я изображаю из себя собаку и рыскаю в кустах, вместо того чтобы охотиться с Лораном, Прюданом и Симоном Дюбером, и даже не умею обращаться с охотничьим ружьем. Все, что рассказывает господин настоятель, и то, как он это рассказывает, кажется мне полным идиотством, и, однако, я верю, что все это истина, решаюсь написать для самого себя: я знаю, что это истина. Словно слепой поводырь ведет меня к непреложной истине каким-то нелепым путем, бормоча свою латынь и заставляя бормотать ее все рedeющие толпы верующих, а точнее, просто жалкое стадо, которое будет пастись всюду, куда его ни пригонят... Но что с того! Свет, в котором они идут, — я его вижу, вернее, свет этот уже во мне. Они могут болтать все, что им угодно: ведь они и есть те невежды и идиоты, против которых ополчается мой друг Донзак, примкнувший к «модернистам»*.

* Модернизм — течение в католицизме, пытающееся привести религиозные доктрины в соответствие с требованиями современной философии.

И все-таки то, во что они верят,— истина. Вот, на мой взгляд, к чему сводится история церкви.

Зайца они затравили у самых полей Жуано. Возвращение было мучительным: семь километров по этой мрачной, но милой моему сердцу дороге, между двух стен вековых сосен. «Все тут принадлежит мадам, все, насколько хватает глаз!» — то и дело объявлял Дюбер со своей нелепой мужицкой гордостью... Ужасно даже писать об этом. Я заранее знал, что всю дорогу Симон будет шагать рядом со мной, не открывая рта. А Лоран сам вдруг превратился в ребенка. Он играл, подбрасывая ногой сосновую шишку: если доведет ее до дома, значит, выиграл.

С Симоном мы не разговариваем ни о чем. Наверное, кюре сетовал при нем на мое «дурное направление ума», и Симон восхищается тем, что в семнадцать лет я способен внушать тревогу этому ограниченному человеку, под чьим присмотром он будет находиться все время — ведь он семинарист, приехавший на каникулы.

Сейчас я исповедуюсь перед богом в своем обмане: все, что делает меня опасным в глазах настоятеля и, возможно, вызывает восхищение Симона, не более как смутные отголоски речей моего друга Андре Донзака, все уши мне прожужжавшего премудростями, взятыми из «Анналов христианской философии». Он превозносит издателя этого журнала, некоего отца Лабертоньера, члена конгрегации ораторианцев, одно имя которого повергает нашего настоятеля в ужас. «Это «модернист», таких еретиков на костре сжигали», — утверждает он. Я презираю его за этот жестокий и тупой образ: костер! О, они всегда готовы сжечь того, кто верит с открытыми глазами.

Тем не менее я обманщик, я бью их наповал зажигательными речами Андре, выдавая их за свои собственные, и делаю вид, будто знаю то, что неизвестно им, хотя сам я такой же невежда, как они... Нет, я клеветчу на себя. Как выражается Андре, я проник в Паскаля. Я читаю Паскаля без всякого усилия, особенно «Примечания» в издании Бренсвига, которое дал мне Андре. Меня касается все, что касается Пор-Рояля.

А вот читал ли Паскаля Симон Дюбер, хоть он и сдал экзамены на бакалавра? Подозреваю, что ни с одним автором, упомянутым в программе, он не знакомился непосредственно, а довольствовался изложением в учебнике... Он шагает рядом со мной. От него пахнет потом, пропитавшим всю его сутану. Не то чтобы он был грязен, он чище плотнее своей крестьянской

семьи, которая и понятия не имеет, что значит мыться, и, может быть, даже чище нас, потому что ловит рыбу у мельницы и чуть не каждый день полощется в воде. Он стучит по корням ольхи, загоняя в верши щук и налимов... Впрочем, я не собираюсь рассказывать здесь о рыбной ловле.

По правде говоря, меня мутит не столько от запаха Симона, сколько от его шестых пальцев — этих дрожащих отростков на каждой руке и на каждой ноге: ему приходится даже шить башмаки по мерке, и ноги кажутся одинаковыми что в длину, что в ширину — прямо как у слона! Но шестой палец на ноге мне случается видеть не так уж часто, зато от этих хрящиков без фаланг на руках меня бросает в дрожь. К тому же он и не старается их прятать, он даже откровенно радуется, что лишние мизинцы избавят его от военной службы. Но его старший брат Приудан другого мнения: «Ты мог бы поступить в Сен-Сир...» Это единственные произнесенные при мне слова, когда Приудан выступил в роли искушителя, которую, если послушать маму и настоятеля, он играет в жизни младшего брата.

Я подумал, какой роман я мог бы написать на эту тему: Приудан, хилый, тощий, темнолицый, с гнилыми зубами, да еще влюбленный, это я знаю наверняка, в Мари Дюрос, их соседку, дочь плотника, сестру Адольфа Дюроса, двадцатилетнего великана, похожего на Геракла из учебника греческой истории, — Приудан в лице своего брата сведет счеты с этим миром, где сам он всего лишь плесень... Не считая того, что он, как все Дюберы, умен. Его бунт доказывает это. По моему замыслу в этой придуманной истории Приудан должен отказаться от Мари Дюрос и вручить ее Симону. Впрочем, Мари Дюрос, вероятно, смотрит на младшего брата с таким же отвращением, как на старшего, даже с большим, из-за этих его мизинцев и сутаны, словно прилипшей к телу... Но что мне об этом известно? Все это я выдумываю, хотя уверен, что это правда, потому что знаю парня, которого любит Мари Дюрос, к которому она ходит, наконец, — он друг Адольфа, ее брата-великана.

Впрочем, господин настоятель, пожалуй, прав, когда утверждает, что Симона искушает не дьявол вожделения, а дьявол честолюбия. На девушек он почти не глядит. Я прекрасно понимаю, что его так вышколодили, чтобы он на них не глядел. И все равно ему еще не приходилось по-настоящему бороться с искушением. Но что я об этом знаю? Я не знаю ничего ни о Симоне, ни о ком бы то ни было. Даже мама и господин настоятель подчас ставят меня в тупик.

Когда мы вернулись с охоты, Лоран отнес зайца на кухню. Я устал и растянулся на диване в прихожей. Мама присела рядом. Она потрогала рукой мой лоб и спросила, не хочу ли я пить. Ей не терпелось поговорить. Должно быть, они заранее условились с настоятелем, о чем следует со мной говорить: ведь считается, будто Симон поверяет мне свои тайны. На самом деле этого и в помине нет. Его расположение ко мне никогда не проявляется в словах. Разделяющая нас пропасть его не смущает. Во всяком случае, он ни разу не пытался преодолеть ее.

Мама, впрочем, тоже. Она меня любит, но я ее не интересую. Ее не интересует ничто, кроме наших земель и еще чего-то, что она держит в тайне от всех, подозреваю, что ее мучат угрызения совести — об этом я могу судить: я сам терзался угрызениями совести в детстве, я от них освободился, или почти освободился, с тех пор как открыл, благодаря Донзаку, что нам вдолбили в голову, будто наше вечное спасение зависит от всяких нелепых запретов, от таблицы грехов простительных и так называемых смертных.

Господин настоятель, должно быть, возложил на маму миссию заставить меня разговориться, а я нарочно закрывал глаза, делая вид, что хочу спать. Она не стала прибегать к уловкам и прямо спросила меня, как был настроен Симон во время охоты.

— Он только и думал, что о зайце и еще, разумеется, о том, с каким лицом встретит его завтра утром господин настоятель, когда он явится к мессе.

Мама лишь этого и ждала, она тут же выложила свои карты.

— У господина настоятеля не такие уж узкие взгляды. Он не придает ни малейшего значения тому, что Симон в девятнадцать лет предпочитает охоту вечерней службе. Воскресная вечерня не обязательна. Господин настоятель признавался, что она даже для него испытание. А что касается Симона, то совсем не это важно.

— Разумеется, не это, — сказал я. — Важно то, что Симона обрекли, возможно против его воли, на такую жизнь, для которой он не создан.

С мамой произошло то, что она называет «приступом». Она побагровела так, что мне стало за нее страшно: во что я вмешиваюсь?

— Но, мама, ты же первая об этом заговорила. А я, пожалуй, единственный, кто не вмешивается в дела Симона.

Со свойственной не только маме, а, по мнению Донзака, и

всем женщинам нелогичностью она возразила, что я не прав и что долг велит мне вмешаться.

— Так вы не верите в благодать? Вы полагаете, что богу нужна наша помощь в том споре, который идет в душе Симона и касается только его одного?

— На Симона все это время оказывают давление, о котором мы и не подозревали, тут настоящий заговор. Ты должен все знать, это очень важно: втайне от нас с первого дня каникул он часто встречается... Как бы ты думал, с кем? С мэром, да-да, с господином Дюпором, а тот франкмасон и поклялся отвратить Симона от церкви...

— Но мы же все знали, что Симон встречается с госпожой Дюпор...

— С этой сумасшедшей, да, но не с ее мужем, которого один вид сутаны приводит в бешенство. Я думала, Симон приходит в дом Дюпоров только днем, когда мэр у себя на лесопилке. Долгое время так оно и было... Госпожа Дюпор сама нас предупредила...

Госпожа Дюпор сама! Я не верил своим ушам. «Дюпоры! Мы с ними не видимся». На мамином языке это означало, что она не обменивается с ними ежегодным визитом (во время летних каникул, когда мы живем в Мальтаверне), которым могут похвастать три или четыре местные дамы. Но это верно также и в буквальном смысле слова: Дюпоров не видят, на них не смотрят. Они вычеркнуты из нашего крохотного мирка. Попытаюсь рассказать по порядку эту историю Дюпоров и Симона. Госпожа Дюпор, как говорят, хорошенькая женщина, намного моложе своего мужа — мне-то она всегда казалась старухой, — внушала недоверие уже тем, что была не из наших мест («не известно, где он ее взял, не известно, откуда она...»); наши места — это ланды Базаса. У Дюпоров была единственная дочь Тереза, родившаяся в один день с Симоном Дюбером. Мари Дюбер ходила к Дюпорам на поденную работу и брала с собой маленького Симона, который играл с Терезой, позволял ей тиранировать себя и подчинялся ей, потому что сыну поденщицы полагалось подчиняться дочери мэра, но также и потому, как смеясь говорили все вокруг, что он был в нее влюблен и она в него, а правилось ей в нем больше всего то, чего я совершенно не переносил, — этот ужасный шестой палец... Терезу в несколько дней унесла какая-то болезнь. Может быть, менингит? Родители доверились доктору Дюлаку, первому помощнику мэра, тоже ра-

дикалу и франкмасону. Это было для них страшным ударом. Госпожа Дюпор, которая раньше ходила по воскресеньям в церковь и молилась, прячась за колонной, больше там не показывалась, она отвернулась от бога. Зато каждый день в любую погоду она отправлялась на кладбище. Когда попевали вишни, она приносила их на могилу, потому что Тереза любила вишни. Ребятишки, прибегая из школы, их съедали.

Эти странности умеряли сострадание окружающих. В довершение всего она отказалась принять маму. Это было невероятно. И вот ни один житель местечка не переступал более порога ее дома, кроме Мари Дюбер и во время каникул — Симона. От них мы узнали, что в прихожей со дня похорон лежали рассыпанные по полу цветы и ветки и что Мари Дюбер запрещено к ним прикасаться.

Симона госпожа Дюпор, если бы могла, держала бы у себя днем и ночью. Он возвращал ей Терезу, он был Терезой. Но он-то был жив, и он был мальчишкой. Его нельзя было просто поместить на стул, точно неодушевленный предмет, или пичкать целый день вареньем и бисквитами. К счастью, он до безумия любил читать. Помню, уже позднее в какой-то игре каждый из нас должен был придумать себе девиз и в нем наименьшим количеством слов выразить то, что он считает счастьем. Симон написал сначала: «Охотиться и читать». Потом исправил: «Читать и охотиться». У госпожи Дюпор был полный комплект «Рождественского иллюстрированного альманаха», «Журнала путешествий», романы Жюль Верна, «Путешествие двух детей по Франции» и множество других чудес. Она усаживала Симона у окна и говорила: «Читай, не обращай на меня внимания».

Сначала Симона смущал неотрывно устремленный на него взгляд и позвякивание вязальных спиц, потом он привык. Каждый два-три дня, а если книга была интересная, то и каждый день он приходил после обеда и устраивался у окна в этой, должно быть, странной комнате, которую он никак не мог мне описать: крестьяне не видят того, что видим мы, — они видят то, чего мы не видим. Однажды он попросил у госпожи Дюпор разрешения унести книгу домой. Это был единственный раз, когда она на него рассердилась. Ни одна из книг, которые читала Тереза, которых касалась рука Терезы, не должна была покидать дом. Но на следующий день она сказала Симону, что хотела бы, чтобы он читал ей вслух, пока она вяжет, а она будет платить ему по часам, как его матери.

Сейчас я думаю: уж не это ли жалованье, ослепившее Дюберов, помешало маме и господину настоятелю ощутить беспокойство, которое должны были бы им внушить ежедневные встречи двенадцатилетнего семинариста с экстравагантной особой, женой мэра-франкмасона. Правда, в те времена мэра по целым дням не бывало дома, он был поглощен своим заводом и делами муниципалитета. Кроме того, как я узнал позднее, у него были две связи: одна в Бордо и другая в Базасе.

Разумеется, госпожа Дюпор, рассорившаяся с богом после смерти Терезы, в церковь не ходила, но Симон уверял настоятеля, что она никогда не заговаривала с ним о религии. Она и в самом деле ни о чем с ним не говорила, она только смотрела, как он читает. «Первое время мне было не по себе: она так и ела меня глазами. А теперь я не обращаю внимания...» — уверял Симон. Он даже не терял аппетита, когда она приносила ему «полдник», как называл он легкую закуску — чашку какао и хлеб с маслом, — и не сводила с него глаз, пока он ел.

В октябре, когда мы все возвращались в Бордо, Симон брал с собой в семинарию заработанные им деньги на карманные расходы. Ни господину настоятелю, ни маме и в голову не приходило, что ему следовало бы от них отказаться. Меня поражаало еще в детстве, что деньги для этих христиан были высшим благом, которое не отвергают, которым не жертвуют, разве лишь по особому обету, как францисканцы или трапписты. Лет с двенадцати в голове у меня стала созревать некая смутная мысль, которую за прошлый и этот год помог мне окончательно осознать Донзак, а именно, что, сами того не ведая, воспитавшие нас христиане во всем поступают наперекор Евангелию, что каждую заповедь блаженства из Нагорной проповеди они превратили в проклятие: они вовсе не кроткие, они не только не праведники, но сама праведность им ненавистна.

Драма разразилась из-за сутаны, в которую обрядили Симона, едва ему исполнилось пятнадцать лет. Каким отличием была для него эта сутана! Он получил право на особое место на хорах и право надевать стихарь во время службы. Если в местечке все по-прежнему говорили ему «ты», то посторонние, несмотря на его детское лицо, называли его «господином аббатом». Но сутана в доме мэра! Госпожа Дюпор надеялась, что Симон согласится обойтись без этой сутаны два раза в неделю. Он отказался с таким видом, словно речь шла о вечном спасении. Мари Дюбер, для которой эта сутана была свершением

мечты всей ее жизни — домик при церкви, где она хозяйничала бы на кухне и в прачечной, — осмелилась одобрить отказ Симона.

И тут мама и господин настоятель заподозрили то, что я уже ясно видел, хотя мне было всего четырнадцать лет: не маленький дружок Терезы нужен теперь госпоже Дюпор, а тот Симон Дюбер, каким он стал, тот, кто внушал мне такое отвращение, с этим его резким запахом, с его крестьянским костяком и лишними мизинцами. Мы убедились, что она не могла обойтись без него, она мирилась с его отсутствием в течение учебного года, но, я думаю, все это время было для нее лишь предрождественским бдением, приуготовлением к пришествию Симона... Впрочем, нет, теперь я вспоминаю, что и мама и настоятель ни о чем не догадывались. У них открылись глаза после того, как Симон передал настоятелю слова госпожи Дюпор: она сказала, что не она, а ее муж не выносит сутаны; она же, напротив, привыкла к ней и даже видит в том некую выгоду — залог того, что Симон всегда будет тут, рядом, и его никто у нее не отнимет...

— Никакая другая женщина? — спросил я.

— Да, конечно, — сказала мама.

— Значит, она его любит!

Этот вывод напрашивался сам собой, я сообщил его самым естественным тоном и был поражен тем эффектом, который он произвел. Правда, хоть мне и исполнилось в том году четырнадцать лет, со мной обращались так, как сейчас не обращаются даже с восьмилетними.

— Что ты выдумываешь? Пустомеля! Сам не понимаешь, о чем говоришь.

— Раз говорю — значит, понимаю.

— И тебе не стыдно? В твоём-то возрасте! Что подумает о тебе господин настоятель?

— Устами младенца порой глаголет истина, — сказал настоятель.

Он встал и забежал вокруг бильярда, бормоча про себя:

— Как мог я быть таким слепцом...

— Но, господин настоятель, разве вы могли предположить... Госпожа Дюпор, в ее возрасте!

— Это страшный возраст, увь... Заметьте, по моему мнению, тут Симону ничто не грозит — я знаю, как он...

Он оборвал фразу, боясь, что сказал лишнее. Все, что он мог сказать о Симоне, даже хорошее, нарушало тайну исповеди.

— Да,— произнес я,—но, по словам Симона, она ест его глазами, пока он ест свой «полдник». Может быть, в один прекрасный день ей этого станет мало...

— Что это ты хочешь сказать? Да кто тебя научил?..

— Это верно,— вполголоса проговорил настоятель,— есть такие людоедки...

— И людоеды,— добавил я невинным тоном.

— Людоеды? Какие людоеды?

Они устали на меня в тревоге: на что я намекаю? Да, без сомнения, ничего определенного я им сообщить не мог или предпочел умолчать, однако я знал, что людоеды бродят вокруг всех пятнадцатилетних мальчиков, но приближаются, лишь если чувствуют молчаливое согласие.

— Это приводит в трепет,— сказала мама.— Зачем существует зло? — добавила она в раздумье, сама не понимая, что задает единственный вопрос, способный подорвать веру.

Постараюсь вспомнить все, что они придумали, чтобы спасти Симона от этой вампириши. Кюре попросил своего собрата из Шаранты пригласить Симона поохотиться, и тот задержал его до начала занятий. В этот год Симон вернулся в семинарию, не заезжая в Мальтаверн.

Что касается меня... Осмелюсь ли я самому себе рассказать, какую шутку сыграл я с настоятелем? Да, это необходимо, чтобы ясно представить себе, кто же я такой на самом деле. Седьмого сентября, в капун Рождества Богородицы, мама без лишних слов объявила мне, что господин настоятель ждет меня в три часа к исповеди: «Ты тогда успеешь пройти до всех этих дам». Подобное вторжение в религиозную жизнь четырнадцатилетнего мальчика казалось ей совершенно нормальным. Я был для нее ребенком, за которого она считала себя ответственной перед богом. Злой, раздраженный (но не взбешенный, как это было бы сейчас), я все же понимал эту совестливую христианку, передавшую мне по наследству свою большую совесть, от которой я не вполне излечился и в семнадцать лет. Должно быть, ее все еще мучило то, что я посмел сказать о людоедах: во время покаяния я выложу все до конца. Разумеется, для нее и речи быть не могло, чтобы нарушить тайну исповеди: мама не стремилась «знать». Для успокоения ей достаточно было снова «прибрать к рукам» своего мальчика, который вступал в опасный возраст. Я взбунтовался: после конкордата день Рождества Богородицы не был уже обязательным праздником.

— В нашей семье,— возразила мама,— он остался обязательным. Мы всегда соблюдали его. Наши фермеры не пахут на волах в этот день. К тому же господин настоятель ждет тебя. И говорить об этом больше печего.

— Но ты же не заставляешь Лорана...

— Лорану восемнадцать лет. Ты еще ребенок, и я отвечаю за тебя.

Сам дьявол подсказал мне эти слова:

— Если я дурно исповедуюсь, у меня будет дурное причастие. И оба греха лягут на тебя.

Она побледнела, вернее, щеки ее приобрели землистый оттенок. Я бросился ей на шею:

— Нет-нет, я пошутил, я буду и исповедоваться и причаститься...

Она прижала меня к груди.

По дороге в церковь злость охватила меня с новой силой, но теперь она целиком обратилась против ни в чем не повинного настоятеля. Я силился побороть ее, мне ни к чему была дурная исповедь... «Ну что ж,— подумал я,— ладно, скажу ему все и даже больше, чем он пожелает, больше, чем ему когда-либо приходилось об этом слышать».

Он читал требник, сидя около исповедальни. Он еще некоторое время продолжал читать, потом спросил, готов ли я, вошел в свою каморку и снял с гвоздя епитрахиль. Я услышал, как открылось окошечко, и увидел его огромное ухо. Сообщив, что не исповедовался с 15 августа, я отбарабанил *Confiteor** и выложил *recto tono*** свой обычный малый набор, который не менялся со времен первой исповеди: «Грешен в чревоугодии, лжи, непослушании, лени, плохо молился, плохо слушал мессу, повинен в гордыне, злословии...»

И это все? У него был разочарованный вид. Да, думаю, что все.

— Ты уверен, что тебя ничто больше не тревожит? Может быть, какие-нибудь мысли...

Я спросил:

— Какие мысли?

Он не настаивал: не очень-то он доверял мне, этому маленькому чудовищу, но вполне вероятно, что я мог быть и чудовищем невинности.

* Молитва перед исповедью (лат.).

** Напрямик (лат.).

— Всегда ли ты исповедовался искренне?

Вот тут дьявол обуюл меня и подсказал мне ответ:

— Нет, отец мой.

— Как? Надеюсь, ничего важного ты не утаил?

— Не знаю. Может быть, это и есть самое важное.

— Бедное мое дитя! Твоя мать, твои наставники, сам я, все мы всячески остерегали тебя против малейшего отклонения от святой добродетели...

Так он именовал целомудрие. Я возразил, что в этом пункте ни в чем серьезном упрекнуть себя не могу. В то время это была чистая правда. Каким невинным мальчиком был я всего три года назад...

— Однако ты сказал, что речь идет о самом важном... Что же это значит?

— Важно это или нет, судить вам. Так вот, я — идолопоклонник.

— Идолопоклонник? Да что ты болтаешь?

— Я не могу сказать, что в буквальном смысле поклоняюсь идолам. Я исповедую тайный культ. Знаете большой дуб в парке?

— Ну, не такой уж он большой,— заметил кюре, видимо желая вернуть меня на твердую почву, в наш надежный мир, где все можно измерить и взвесить.

— Для меня он — бог, да, с сознательного возраста я всегда считал его богом и поклонялся ему.

— Вот оно что! Ты поэт, известное дело (он произносил «пуэт»). Тут нет ничего плохого.

— Я так и знал, отец мой, что вы мне не поверите. Это и мешало мне до сегодняшнего дня исповедаться в своем грехе: я боялся, что никто мне не поверит, даже вы. Но поймите, я придумал богослужение в честь большого дуба, я приношу ему жертвы...

— Полно, полно! Это вполне дозволенная пуэзия, дурачок. Чего ты добиваешься? Уж не думаешь ли ты посмеяться надо мной? Тогда это было бы большим грехом: над богом не смеются.

— Я не смеюсь над вами, просто я понимаю, что вы не в силах мне поверить.

— Все пуэты, и христианские тоже, поклоняются природе — это дозволено.

— То, что делаю я, не имеет ничего общего с излияниями Ламартина или Гюго. Уверяю вас, все деревья для меня живые,

все они божества, особенно сосны в парке. Я предпочитаю их людям, — добавил я, с наслаждением отдаваясь во власть рассчитанного и в то же время искреннего вдохновения.

Да, люди уже и тогда внушали мне страх, даже те будущие люди, с которыми я имел дело в коллеже. Правда, наших религиозных наставников, даже самых плохих, я не боялся, потому что их держали в узде благочестие и суровые правила. Но мои соученики! Эти уже были способны на все! Помню, я все перемены просиживал в уборной, умирая от страха при одной мысли о мяче, летящем мне прямо в лицо...

— Полно, Ален, вернемся к серьезным вещам.

— Почему, — воскликнул я в тоске, не притворной, но все же сознательно вызванной и даже не лишенной самолюбования, — почему отказываете вы мне в прощении, не желая принять мои признания всерьез?

Кюре привычным движением разминал свое лицо, словно вылепленное из глины. Внезапно он спросил меня:

— Ты поклоняешься всем деревьям или только большому дубу?

— Нет, все они, разумеется, живые существа, но только большой дуб — бог.

— Что ж, это было тебе дано в откровении?

Я видел, как он качает своей большой головой. Постучать себя пальцем по лбу он не решился.

— Нет, у меня не было никакого откровения. С тех пор как я себя помню, я поклонялся земле, деревьям...

— Но не животным? И то хорошо.

— Нет, не животным... Хотя нет! Я в самом деле забыл, — сказал я, — но теперь все вдруг вспомнилось. Вы знаете, отец мой, заброшенную ферму?

— В Силе? Да.

— Когда мне было семь или восемь лет, не знаю уж, кто или что навело меня на мысль, будто в заброшенной ферме живет наша ослица Гризета, которая к тому времени давно околела от старости. Я твердо в это уверовал и убедил также Лорана, хотя он старше меня. Мы ходили к заброшенной ферме и перед запертыми на замок воротами распевали какое-то дурацкое славословие: «Гризета, милая моя, мы поздравляем все, любя, с веселым праздником тебя, мы принесем тебе овес и засахаренный абрикос...»

— Засахаренный абрикос? Ослице?

Кюре притворно расхохотался, он пытался вернуть все на свое место.

— Это оттого, что в семь лет для меня не было ничего лучше засахаренных абрикосов, но Гризете я поклонялся буквально. Я вдруг понял, отец мой, что я действительно совершал грех идолослужения, в котором язычники упрекали первых христиан: ведь они обвиняли их в поклонении ослиной голове.

Я замолчал и в самом деле подавленный этим неожиданным открытием. Кюре тоже молчал, быть может колеблясь, не выгнать ли меня из исповедальни за то, что я над ним насмехаюсь. Но кто знает? Насмехался ли я? Он отлично знал, что я совестливое дитя, страдающее той же болезнью, что и моя мать. Вдруг он спросил меня громко и почти торжественно:

— Алелуя, веришь ли ты в бога?

— О да, отец мой!

— Веришь ли ты, что Иисус есть Христос, сын бога живого, отдавший свою жизнь за тебя и воскресший из мертвых?

Я верил в это всем сердцем, всей душой.

— Любишь ли ты Пресвятую Деву?

— Да, люблю...

— Тогда не думай больше об этих глупостях. Если ты согрешил, я отпускаю тебе грехи твои, вернее, сам господь бог тебе их отпускает.

Он направился в ризницу быстрыми шагами, словно спасался бегством. Я едва успел прочитать покаянную молитву и снова очутился на улице, в оцепенелом покое сентябрьского дня. Теплый ветер был подобен дуновению, как привыкли писать поэты, но в тот день штамп был правдой: дуновение, вздох живого существа... Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно для меня самого эта шутка не то чтобы принесла мне облегчение, но напомнила о той любви, что всегда была мне убежищем. О поклонении, которое никогда не посягало на иную любовь, на иное поклонение — христианскому богу, а вместе с ним хлебу и вину, рожденным землей, солнцем и дождем. Это двойное убежище отнюдь не лишнее. Никогда никакое убежище не будет лишним для защиты от людей. Сейчас, спустя три года, моя тоска возрастает день ото дня по мере приближения к тому, что кажется мне самым ужасным из всех ужасов: жизни в казарме, солдатской артели. Я не поверял это никому, даже Допзаку. Я не стыжусь своей тоски, я знаю, в ней нет ничего бесчестного, но не следует материализовать ее, выражая словами,

не то она обернется трусостью; иногда я думаю, что последний мой шанс — умереть до призыва в армию.

Размышляя обо всем этом на обратном пути, я в то же время вспоминал, как вел себя настоятель перед расставленной ловушкой. Он занимал одно из первых мест в списке католиков-бланов, который мы с Донзаком составили параллельно со списком умных католиков, и вот я восхищался, что он вышел из положения с тактом, не свойственным ему в повседневной жизни, словно по мгновенному наитию. Да, так оно и было, теперь я в этом не сомневался. В глубине души я не так уж был уверен в своей невинности по части греха идолопоклонства; исповедуясь, я постепенно в него поверил. Если б не это, я не почувствовал бы облегчения совести и моя радость не выразилась бы, как всегда, в сумасшедшей беготне по парку, в которую я вовлек и Лорана. В беге, несмотря на то что я моложе на четыре года, я почти всегда побеждаю, потому что он задыхается.

Как я причащался на следующий день, не помню. Причастия запоминаешь не больше, чем сновидения. Однако день восьмого сентября сохранился в моей памяти, хотя прошло три года. Я отказался пойти с Лораном охотиться на жаворонков в поля Жуано. Чувство, охватившее меня с необычайной силой, я помню ясно; потому что постоянно испытываю его и сейчас — желание остаться одному, бродить по лесам, по полям, шагать до полного изнеможения по песчаным дорогам, где невозможно встретить никого, кроме бредущего впереди своих волов фермера, который, прикоснувшись к берету, скажет мне «*Aduchats!*» *, или пастуха с его стадом. В этих безликих ландшафтах никому до меня нет дела. И все же у меня была своя цель. Во время этих прогулок я обычно не без колебаний выбирал одно из четырех направлений: истоки Юра, Большая сосна (исполиное дерево, привлекавшее любопытных со всей округи), дом барышень в Жуано и старик из Лассю; на этот раз я выбрал старика, может быть потому, что ему уже перевалило за восемьдесят и он мог вскоре навсегда покинуть Лассю, где он сиднем сидел всю жизнь. Он не охотился уже много лет, разве что на вяхирей в октябре. Чем заполнял он свои дни? У него был совершенно озадаченный вид, когда он узнал от меня как-то, что есть на свете такие сумасшедшие, которые покупают книги. К себе он не пускал никого, кроме доктора. Кюре заполучит его мертвым, го-

* Приветствие на местном наречии.

ворил он, а живым — никогда. Что касается наследников (он состоял в родстве со всеми богатыми помещиками и с нами тоже, но в очень дальнем), он спускал собак на каждого, кто осмеливался подойти к дому. Зная, что он ненавидит их всех одинаково, они все вместе потешались над этим. Единственная надежда у них была на его ужас перед смертью, который, если верить нотариусу, не позволял старику из Лассю составить завещание. Но Сегонда, которая за ним ходила после того, как спала с ним больше сорока лет, по-видимому, позаботилась, чтобы все было сделано. Она-то наверняка и унаследует его восемьсот гектаров, или, вернее, унаследует ее сын Казимир: ведь она в полном подчинении у этого скота, который никогда ничего не желал делать, только охотился на вяхирей в октябре для старика из Лассю. Остальное время года он что-то мастерил, если не бывал пьян, носил воду из колодца, пилил дрова. Мне было все равно, увижу я его или нет. Он, пожалуй, ближе к неодушевленному миру, чем к живым существам, так же как Большая сосна, как сам старик из Лассю. В них нет ничего человеческого в грозном значении этого слова. Они настолько скоты, что не принадлежат к тому роду, которого я боялся, от которого мне не терпелось уйти.

Я шел и шел. Папоротник, еще не тронутый осенним увяданием, в то лето почти достигал моего роста, я сильно вырос только на следующий год. Папоротник был моим врагом, мне с детства внушали, что он содержит синильную кислоту. Я сбивал палкой самые надменные верхушки, а то и врубался в густые заросли и вдыхал аромат ядовитого сока, словно запах пролитой мной крови.

Когда я проходил мимо Силе, заброшенной фермы, где некогда поклонялся Гризете, я услышал топот копыт и едва успел отскочить в сторону: мадемуазель Мартино проскакала мимо, не заметив меня или, скорее, не удостоив меня заметить, сидя верхом, как Жанна д'Арк; ее золотистые кудри развевались по ветру, словно живые, да, словно живые змеи извивались вокруг ее головы. Может быть, она опасалась, что я с ней не раскланяюсь. Хотя мы были родней, а Мартино состояли в свойстве со «всеми, что есть лучшего в ландах», как говорила мама, мы их не замечали, они нас тоже. Не одно поколение нашего рода было в ссоре с Мартино. Еще наши деды не разговаривали друг с другом. Но мадемуазель Мартино подвергалась особому ostracismu — в те времена (сейчас я осведомлен лучше) я все сводил к тому, что она вопреки приличиям ездила верхом в муж-

ском седле; к тому же она трудилась, была лектрисой, компаньонкой в Базасе у баронессы де Гот, особы не нашего круга, принадлежавшей, как говорила мама, к другой среде, а с ней никакие отношения были немыслимы, ее частная жизнь даже не подвергалась, подобно жизни людей нашего круга, маминому безапелляционному суждению: ведь не будем мы обсуждать нравы муравьев, или енотов-полоскунов, или барсуков. «Эта баронесса де Гот... — начинала мама. — Говорят, будто... впрочем, нет, ты не поймешь!»

Я видел мадемуазель Мартино только верхом: она словно приросла к своему коню, как мои оловянные солдатики. Поскольку она жила в Базасе, ее нельзя было встретить во время мессы или чьих-нибудь похорон...

Дом старика был отделен от фермы изгородью; вокруг дома росли посаженные Сегондой чахлые георгины. При моем приближении стали рваться на цепи собаки и сразу же на пороге возникла Сегонда. Старик закричал из дома: «Quezaco?» «Кто там?» Она взглянула из-под руки и, узнав меня, крикнула в полуоткрытую дверь: «Lou Tchikoï de lou Prat!» «Мальш из Лу-Прата!» — так звал меня старик из Лассю. Дело в том, что лес, где мой дед построил себе дом, назывался Лу-Прат и сохранял это название еще до недавних дней, когда мы с Лораном перекрестили его из-за того, что фамилия одного жирного и дураковатого мальчишки, учившегося с нами в коллеже, была Лупрат. А я настоял на названии «Мальтаверн», по заглавию пленившей меня повести в одном из «Рождественских альманахов» за 90-е годы. Но старик из Лассю знать ничего не знал, кроме «Лу-Прата».

Черный старушечий платок прикрывал волосы Сегонды. Губы были втянуты в беззубый провал рта. Появился старик, весь взъерошенный, в застиранной рваной фуфайке и в шерстяных носках, несмотря на жару. Он притворялся, будто не помнит своего возраста, но когда-то он дрался на стороне версальцев: для него Париж навсегда остался гнездом коммунаров. Он не рассказывал об этом никому, только Лорану и мне — ведь мы не принадлежали к ненавистой банде наследников, — главным образом мне, я ему нравился, я это прекрасно чувствовал, так же как нравлюсь Симоцу Дюберу, как нравился аббату Грилло, который всегда выводил мне на экзаменах средний балл, даже когда я заваливался.

— Он все растет! Растет! Придется положить ему на голову камень потяжелее.

Затем последовала перебранка между стариком и Сегондой. Я не говорю на местном наречии, но все понимаю. Старик велел ей принести бутылочку пива. Сегонда уставилась на меня, словно настороженная наседка, и заворчала, что он и так много пива выпил, «недолго и живот застудить». Мало ли что я не наследник, а там кто меня знает? Ей пришлось все-таки уступить, и она поставила бутылку и стаканы на ржавый садовый столик. Увидев, что она все торчит рядом с нами, старик прикрикнул: «А l'oustaou!» «Домой!» Она повиновалась, но, конечно, подслушивает в кухне, прячась за приоткрытыми ставнями.

Мы со стариком чокнулись. Он разглядывал меня из глубины своих восьмидесяти лет, ничуть не тяготясь наступившим долгим молчанием... Быть может, с какой-то смутной тоской? Впрочем, нет, слово «тоска» не подходит этому старому вепрю, ведь для него восемьдесят лет прошли как один бесконечно долгий день; ружье под рукой, бутылка медака на столе — единственный зримый признак его богатства, а выглядел он таким же грязным, таким же невежественным, как самый невежественный, самый грязный из его арендаторов, боявшихся его пуще огня. И все-таки это была именно тоска, ее выдали первые же его слова:

— Я ездил в Бордо в девяносто третьем году, жил три дня в гостинице «Монтре». Там была ванная...

— И вы ею пользовались?

— Чтобы заразиться! Э!

Он замолчал, и вдруг опять:

— А обедал напротив, в «Жареном каплуне». Ну и вина там...

Он снова помолчал, потом захихикал. Я отвел глаза, чтобы не видеть двух гнилых пеньков, торчавших у него на месте передних зубов. Он спросил меня:

— Знаешь «Замок Тромпетт»?

— Но, господин Дююи, его снесли больше ста лет назад!

— В девяносто третьем году его еще, видать, не снесли, раз я туда ходил.— Он все смеялся. Его «Замок Тромпетт» был борделем, о котором шушукались по уголкам во дворе коллежа «грязные типы».— Недешево это обходится... Это еще не для тебя.

В ту минуту я уверился, что бессмертие уготовано очень малому числу избранных душ, а для остальных адом будет не-

бытие. Впрочем, господь обещал бессмертие лишь немногим: «И в грядущих веках вечная жизнь». Или еще: «Тот, кто вкусит от хлеба сего, не умрет». Но остальные умрут. Несомненно, это была одна из тех «вспышек интуиции», которыми восхищался Андре Донзак, он утверждал, что это особый дар, восполнявший недостаток у меня философского мышления. Я написал ему в тот же вечер, надеясь ослепить его своим открытием относительно бессмертия избранных, но с обратной почтой получил письмо, в котором он высмеял эту абсурдную мысль: «Все души бессмертны, либо не бессмертна ни одна из них». Но в этот момент я с наслаждением повторял про себя, что не останется ничего от старика из Лассю, ничего от Сегонды, ничего от Казимира, ни вот столечко, чтобы поддержать хоть крохотный язычок неугасимого пламени.

— Ты еще не вошел в возраст...

Он, должно быть, испытывал смутное раскаяние, что заговорил со мной о «Замке Тромпетт», так как резко переменял тему и стал расспрашивать, что болтают о нем в местечке.

— Только и разговоров, подписали вы бумагу или нет...

Я заговорил шепотом из-за Сегонды, которая наверняка подслушивала.

— Только и разговоров, скоро ли Сегонда и Казимир отхватят кусок, а может, уже отхватили...

Я коснулся запретной темы. Старик посмотрел на меня сердито:

— А ты сам что думаешь?

— О! На месте ваших наследников я спал бы спокойно.

— Почему так уж спокойно?

Я знал, что надо было ответить старику, чтобы вывести его из себя.

— Лучше мне помолчать: Сегонда подслушивает.

— Ты же прекрасно знаешь — она глухая.

— Она все слышит, когда хочет, вы сами мне говорили.

Он настаивал. Я чувствовал, что он обеспокоен, встревожен. Донзак говорит, что я возмутитель спокойствия в полном смысле этого слова. Правда, не всегда. Но в тот день, пожалуй, так и было.

— Не может быть, чтобы такой проницательный человек, как вы, господин Дюнюи, не понимал, что, пока бумага не подписана, Сегонда и Казимир заинтересованы в том, чтобы вы не умирали.

Он проворчал:

— Не говори об этом!

— Но речь идет именно об этом и ни о чем другом. А в тот день, когда вы подпишете, наоборот: в их интересах будет...

Он прервал меня стоном, похожим на лай.

— Сказано — не говори об этом.

Он встал, сделал несколько шагов, волоча подагрическую ногу. Обернулся и крикнул:

— *Bey-t'en!* Убирайся!

— Я не хотел вас оскорбить, господин Дюпюи.

— Да это же не убийцы: они ко мне привязаны.

Я покачал головой и засмеялся, подражая его хихиканью.

— Еще бы, пиявки всегда привязаны к хозяину, а эти вдовбавок слишком трусливы, чтобы стать убийцами. Они отлично понимают, что, раз вы подписали бумагу, их первых заподозрят, если ваша кончина породит какие-то сомнения, и что ваши наследники будут вести расследование беспощадно. Тем не менее...

Я вышел за ограду; старик стоял среди георгинов, потрясенный тем, что я заговорил с ним о его кончине, может быть, еще больше, чем мыслью о грозящем ему убийстве. «Что? Что?» — бормотал он. На его лице проступила болезненная бледность. Казалось, он вот-вот умрет на месте. Пожалуй, его убийцей мог стать я сам. Но я об этом не думал. Я наносил удары, словно в исступлении.

— ...Тем не менее, господин Дюпюи, неужели вам это не приходило в голову? В таком уединенном месте, как Лассю, где нечего бояться свидетелей, согласитесь, совсем нетрудно убрать с дороги, не подвергая себя никакому риску...

— *Bey-t'en!*

— Вот не знаю, — продолжал я задумчиво, как бы рассуждая сам с собой, — удастся ли обнаружить при вскрытии, что человека удушили, придавив периной? А еще можно вызвать крупозное воспаление легких, если привязать старика голым к кровати зимой на всю ночь перед открытым окном, конечно, если на улице ниже нуля! Но тут я тоже не знаю, как при вскрытии...

— Убирайся, не то я позову Казимира.

Я видел, что Казимир вышел из ворот фермы. Я пустился наутек, даже не обернувшись, чтобы бросить прощальный взгляд на Лассю, куда мне теперь пути заказаны, покуда жив старик...

Ну ладно! Все это неправда. Эту историю я сам себе рассказал. Все ложь, начиная с того, что старик сказал мне про «Замок Тромпетт». Прямо настоящий роман! Хорош он? Или плох? Во всяком случае, все здесь ложь, все отдает ложью. Я и двух слов не произнес бы — старик вколотил бы мне их обратно в глотку. Впрочем, я никогда не совершил бы смертного греха, обвинив в убийстве или покушении на убийство Казимира и Сегонду, которые и в самом деле привязаны к своему старому мучителю. Есть еще и другой вариант этой истории, которую я сам себе рассказываю: старик неожиданно решает, что его наследником буду я. Я придумываю, на что употребить эти деньги: Лассю я превращу в библиотеку, мы будем там хранить все свои книги, Донзак и я. Отгородимся от мира живых го-рами книг и музыкой тоже — там будет пианино для Андре, а то и орган, почему бы и нет?

Может, я сочинял эту историю на обратном пути? Не помню. Помню только, что я был умиротворен и счастлив, как бывает почти всегда, когда я причащаюсь поутру. Я размышлял о том, что годы моего отрочества протекают в мире чудовищ, или, вернее, карикатур на чудовища, одни из них любят меня, другие боятся. Ни одна девушка еще не обратила на меня внимания, как это бывает в романах, хотя в коллеже считается, что у меня «смазливое личико»; правда, я тощий и у меня нет мускулов. Андре говорит, что девчонки не любят слишком тощих мальчишек. Единственную девушку, которой я восхищаюсь, я вижу только верхом, неприступную, как Жанна д'Арк. Она так презирает меня, что даже не глядит в мою сторону. Да... Но меня как раз и пленяет в ней то, что тут я ничем не рискую, она не спешит, не подойдет ко мне, не потребует, чтобы я перестал быть ребенком и вел себя как мужчина... Думал ли я об этом тогда, возвращаясь из Лассю? Или сочиняю уже новую историю? Еще меня волнуют те девушки, что поют в церкви, обступив фисгармонию, на которой играет сестра Лодойса... Особенно дочка аптекаря, они носят черную бархотку на шее, и при пении шея у них раздувается, как у голубки...

За время этих каникул не произошло ничего, что нарушило бы обычное течение нашей замкнутой жизни. Симона с нами уже не было. О госпоже Дюпор почти не вспоминали, прошел слух, будто она выпивает, а по словам Мари Дюбер, которая по-прежнему работала у нее поденно, она даже «вставала по ночам, чтобы пропустить рюмочку». Линия Дюпор — Симон за-

терялась среди других; потом — начало занятий, возвращение в Бордо; Мальтаверн стал для меня сказочным островом, о котором я мечтал до наступления следующих каникул, когда я переходил в класс риторики. На этот раз произошло только одно событие: сам мэр согласился на визиты облаченного в суктану Симона к госпоже Дюпор. Мама и настоятель радовались этому, как победе, или по крайней мере притворялись, будто радуются. Происходили ли уже тогда тайные встречи господина Дюпора с Симоном? Задумал ли мэр еще в том году похитить его у церкви? По словам Симона, при встречах мэр никогда не говорил с ним о религии, он был очень любезен, советовался иногда по тому или иному поводу, рассказывал о своих политических друзьях, с которыми видится на заседаниях генерального совета департамента. Он даже был близок с молодым министром Гастоном Думергом и мог бы обратиться к нему с любой просьбой...

Этим летом Симон как воды в рот набрал — про мэра ни слова. И вдруг словно гром среди ясного неба: госпожа Дюпор явилась вчера в ризницу, после того как настоятель отслужил мессу, и открыла ему замысел своего мужа. Как говорила мама, мэр пообещал Симону взять на себя его содержание, пока он не получит диплом лиценциата, и даже после этого, если Симон захочет поступить в Эколь Нормаль и потом готовиться к конкурсу на звание преподавателя.

По словам госпожи Дюпор, разгадать намерения Симона невозможно. Ей казалось, что он поддается искушению, но еще колеблется. Настоятель боялся своим вмешательством все испортить. Я заставил его осознать собственную тупость. Я видел, что он в трудном положении и не надеется без меня распутать весь этот запутанный клубок в голове и сердце юного крестьянина, пересаженного на семинарскую почву и неожиданно оказавшегося — пусть в масштабах столицы кантона — ставкой в той борьбе, что завязалась во Франции между государством и церковью, или, вернее, между франкмасонством и конгрегациями.

Я-то знал, что Симон увильнет от спора еще до того, как он начнется. У Симона, вероятно, есть в семинарии друг, которому он все рассказывает, но я для него существо высшей расы, я сын мадам; он любит меня, я уверен, но для него я так же недоступен, как для меня мадемуазель Мартино или вечерняя звезда. Он ничего не скажет, разве только...

Я всегда предпочитал писать, а не говорить: с пером в руке я не знал удержу.

— Я мог бы,— сказал я господину настоятелю,— написать Симону письмо, оно уже сложилось у меня в голове.

— Но он сильнее тебя в богословии...

— Как будто дело в богословии! Я знаю, с какой стороны повести наступление...

На самом деле я узнал это не более двух минут назад, и все еще было окутано туманом, но наконец-то я напал на след.

Настоятель твердил свое:

— Заставь его разговориться!

— Повторяю, он ничего мне не скажет. Да и вообще никто никому ничего не говорит. Я не знаю, в каком это кругу люди объясняются при помощи вопросов и ответов, как в романах, как в театре...

— Чего ты добиваешься? А чем же еще мы занимаемся целыми днями? Чем занимаемся мы с тобой сейчас?

— Это верно, господин кюре, но часто ли у нас с вами бывает такая приманка для разговора? Не помню, чтобы мы с мамой разговаривали иначе, как банальными фразами, зачастую на диалекте: ведь то же самое говорят и фермерам и прислуге. Может быть, нам мешает разница в возрасте или общественном положении, только у нас нет общего языка... Но я заметил, что фермеры тоже не разговаривают друг с другом, при встрече они спрашивают: «*As déjeuner?*», «*Позавтракал?*» Важнейший и даже единственный интерес в жизни — это еда, которую они разминают своими беззубыми деснами, словно жвачку жуют. А влюбленные, разве они разговаривают? — вздохнул я.

Кюре повторил:

— Чего ты добиваешься?

— Если бы тут была мама, она сказала бы: «Пустомеля!» — и все стало бы ясно... Но написать всегда можно. Я могу написать Симону великолепное письмо, он будет его читать и перечитывать, будет носить на сердце...

— Ты одержим гордыней,— сказал настоятель.— Что ты возомнил о себе? — И после недолгого молчания: — Что ты ему напишешь? Ты его совсем не знаешь.

— Я знаю, в каком направлении я хочу действовать, вернее, должен действовать... Сам-то я ничего не хочу.

Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно увлекся сам. То, что я хотел написать Симону, разворачивалось

вдаль и вширь перед моим внутренним взором. Мне не терпелось скорее все изложить на бумаге, чтобы быть уверенным, что это чудо свершится.

ГЛАВА II

Прошло больше года, и снова я открываю эту тетрадь: записи в ней прерваны не за недостатком материала, о господи, нет! Но все мною пережитое не поддавалось никакому толкованию, а главное — убило во мне ребенка. Нет, это неправда: я стал другим, оставаясь самим собой. Я не отказываюсь от того, что написал в семнадцать лет. Теперь я вступаю на порог девятнадцатого года и, разумеется, не стал бы по собственному почину записывать все, что было пережито. Но Донзак придает слишком большое значение — и это мне кажется странным — моей реакции на повседневные события жизни. Нет, пожалуй, это не так уж странно. Дело в том, что Донзак, будучи бескопечно умнее меня (хотя он и написал мне однажды: «Ты не так умен, как я, но почти что...»), страдает бесплодием, которому сам удивляется: он все понимает, но выразить ничего не может. Он не сочиняет, не творит, больше того — он не умеет излагать свои идеи. Он способен на потрясающие формулировки, но совершенно не способен на развитие мысли. Только мои сочинения обычно удостоивались чести быть прочитанными вслух перед классом, его же — никогда. Донзака это поражает больше, чем меня. «Подумать только, что именно ты, а не я, — вздыхает он, — ты будешь выдающимся человеком, а я так и останусь никем до конца своих дней!» Но вот он в чем великолепен: он не считает, что это несправедливо. Он верит, что я стану писателем, даже большим писателем, а он будет всю жизнь преподавать латынь невеждам-семинаристам. Но он верит также, что, отправляясь от любого написанного мною текста на тему, подсказанную жизнью и преломленную моим восприятием, он, Андре Донзак, совершит то, что сам я не способен совершить, то, что он называет «открытием». Открытие чего? В его понимании речь идет о выявлении некой скрытой точки, где правда жизни, постигаемая опытом, соединится с правдой, данной нам в откровении, в том откровении, которое следует извлечь из грубой породы, затвердевшей вокруг слова божьего в течение двухтысячелетней истории церкви.

И вот мы условились, что я должен черным по белому, не опуская ни одной подробности, изложить все, что произошло в

Мальтаверне, доверив это только ему и никому другому, рассказать ужасную историю Симона так, как она сложилась в моем сознании и продолжает развиваться, грызя меня изнутри. Я понял, что во мне ничто не может умереть, что я до краев полон каким-то странным, мучительным и мрачным миром... Что же будет, когда во мне скопится столько воспоминаний, словно я прожил две тысячи лет, как говорит Бодлер? Какая чудовищная старость ждет такого человека, как я! Наверно, я умру молодым... Нет! Это неправда: я не верю, что умру молодым, я не верю, что вообще должен умереть, — я чувствую себя невероятно вечным.

Итак, вот что произошло после того, как я обещал кюре поговорить с Симоном и сломить его молчание, написав ему письмо, строки которого уже складывались у меня в уме и не ответить на которое он бы не мог.

Я спустился к Юру — речке, протекающей через Мальтаверн; я знал, что застану там Симона за рыбной ловлей. Было четыре часа дня, мимоходом я захватил в буфетной гроздь винограда. Поблескивала мокрая трава — там, где теперь раскинулись луга, было когда-то болото. Я заметил, что ольха, окаймлявшая берег, отливала голубым. Вспугнутые мной сверчки и кузнечики, жаркое дыхание болотной топи, гудение лесопилки господина Дюпора, грохот тележек, доносившийся с дороги в Сор, — все впечатления этой минуты останутся во мне навсегда, я не избавлюсь от них, хотя бы дожил до глубокой старости.

Я не видел Симона, рыбачившего где-то в конце луга, но слышал его. Забравшись в ольшаник, я сел у берега, уверенный, что раз он идет вдоль ложа реки, стуча по корням и выгоняя щук и налимов, то рано или поздно поравняется со мной и не сможет не заговорить. Тогда-то и начнется большая игра.

Я сидел на коврикe из мяты. Голубые и серые стрекозы плясали над зарослями осмунды, которую мама называет самкой папоротника. Обычный сентябрьский день каникул, я мог бы заниматься тем же, чем и остальные восемнадцатилетние юноши... А чем они, собственно, занимаются? Я боюсь даже думать об этом. Ну а я, что за демон или ангел владел мной в тот час? Или все это была комедия? Но тогда кто суфлировал мне в этой роли? Кто заставлял репетировать перед выходом на сцену?

Я прислушивался к всплескам воды при каждом шаге Симона и вдруг в просвете между деревьями увидел его самого. Он был в трусах, ужасающе белый — той белизной, которая всегда делала для меня невыносимым вид обнаженного тела, особенно такого вот, с широким крестьянским костяком, крепко сбитого, но словно обессиленного интеллектуальной жизнью, которая изпурила этого бедного «бунтаря Жаку».

А может быть, волосатый мужской торс — явный признак мужественности — внушал мне ужас? Но я никогда не задерживался на подобных вопросах, приученный с самого раннего возраста видеть тут только «дурные мысли».

Когда Симон поравнялся со мной, я крикнул ему: «Adou-chats!» Он оглянулся, воскликнул: «О, извините!», выскочил на берег, второпях натянул штаны поверх мокрых трусов и сунул голову в фуфайку. Он был без сутаны — это меня поразило. Я просил его продолжать свое занятие. Но он уже кончил: все равно ничего не ловится. Народ из местечка приходит вытаскивать верши чуть свет. Он бросал на меня быстрые взгляды, но тут же отводил глаза, торопясь уйти и в то же время — я решаюсь так написать, потому что это правда и, кроме Донзака, никто никогда этого не прочтет, — покоряясь моим чарам; очень важно, что он был под властью моих чар в этот момент и что сам я был охвачен «вспышкой интуиции». Ведь Симон только и хотел сбежать, сбежать от меня. Надо было удержать его силой. Я сказал, что последние дни все только и делают, что чешут языки на его счет. Он насунился:

— Болтают? А мне без разницы. А, б...!

Как должен был он волноваться, чтобы употребить такое неправильное выражение, да еще произнести при мне ругательство! И вдобавок повторил его. Правда, его брат Прюдан каждую свою фразу словно приколачивал этим словом и Симон на каникулах слушал это целыми днями. Я возразил, что все касающееся его, Симона, мне далеко не безразлично. И тут он, может быть, впервые в жизни надерзил одному из сыновей мадам:

— Это мое дело, а не ваше.

— И мое, потому что я привязан к вам.

Он пожал плечами и усмехнулся.

— Это настоятель просил вас заставить меня разговориться и выудить все, что ему надо?

— Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что я на стороне настоятеля и мадам.

— Но вы, однако, и не друг господина мэра.

— Нет, разумеется! Но если бы я мог вести игру — вашу игру, на вашем месте, я играл бы на все — и против мэра, и против кюре одновременно.

— Да, но раз пикто вас об этом не просит... Нет! Скажите на милость! Что можете вы в восемнадцать лет знать такое, чего не знают другие?

— Я как раз знаю то, чего не знают они и знаю только я.

— Ах! Вот оно что!

Симон остановился посреди луга и пристально посмотрел на меня.

— Однако и самонадеянны же вы!

— Что знаю, то знаю, и вы тоже знаете, что я это знаю.

— Что я знаю?

— Что в Мальтаверне только я один зрячий, может быть, я и вы. Но вы слишком всем этим связаны, чтобы видеть ясно, вы слишком в этом погрязли.

— Ладно! Это уж как вам будет угодно, господин Ален. Но я желаю, чтобы вы оставили меня, к чертовой матери, в покое.

Груб со мной, первый раз в жизни...

— В покое? Бедный Симон! Да вы скоро вконец успокоитесь. Я бы мог открыть вам глаза одним словом... Нет, пожалуй, не одним, это уже бахвальство: я должен говорить столько, сколько понадобится...

— Я не желаю, чтобы вы со мной об этом говорили.

— Тогда разрешите мне написать. Хотите, я напишу вам?

— Вы этого никогда не делали, даже когда я был удостоен первого чина, — сказал он с неожиданно прорвавшейся старой обидой, — даже когда получил высшую награду... Разве я хоть что-нибудь значу для вас?

— Вы это отлично знаете, Симон, вы не можете этого не чувствовать сейчас, когда я страдаю из-за вас...

— Ах, так! Но кто я для вас? Деревенщина Симон, которому все «тыкают»...

— Только не я.

— Да, это верно, только не вы, но для вас я всегда был Симон, а вы для меня — господин Ален, даже когда вам было четыре года. Господин Лоран, господин Ален! Скажите на милость! А, б...!

Он был вне себя. Он ускорил шаг. Мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы идти с ним рядом. Я настаивал, чтобы он мне разрешил написать ему.

— Да какое я имею право запрещать вам?

— Обещайте, что прочтете мое письмо.

На этот раз я нашел нужный тон. Он остановился. В этом месте река делала крутой поворот. На траве лежали длинные тени тополей. Было, должно быть, часов пять. Симон сказал:

— Да, конечно, господин Ален, я прочту ваше письмо, я отвечу вам. Не беспокойтесь. Но что вы можете знать обо мне, чего не знают другие?

— Первое, что я могу сказать вам сразу же, но не от своего имени, а от имени господа бога...

Он только пробормотал: «А! Ха! Вот как!» Я вел крупную игру. Но моя сила была именно в том, что я не играл: я действительно был во власти своего вдохновения.

— Эти болваны не знают, что господь возлюбил вас таким, какой вы есть, то есть юным честолюбцем. Каждая часть вашей души любезна богу, так почему же не мог он возлюбить честолюбие, которое сейчас в ней главенствует?

Хотя ни один мускул не дрогнул на его лице, я почувствовал, что он насторожился. Я продолжал:

— Все они одинаково слепы — и те и другие. Мы с вами знаем, Симон, пусть церковь действительно стала походить на изъеденные ржавчиной трубы, которые мэр так высмеивает, а мама и господин настоятель принимают за высшую истину, но мы-то знаем, что по трубам этого древнего водопровода текут, пусть не потоком, пусть скупыми каплями, но все же текут слова вечной жизни...

Сам того не сознавая, я цитировал Донзака. Симон пробормотал:

— Э! Скажите пожалуйста, а при чем тут честолюбец? Вы ведь не знаете, что они мне предлагают. Вы сами говорите, это ржавые трубы... А жизнь, правда жизни, и вы это отлично знаете, теперь уже проходит не по ним.

— Нет, в сущности, я не согласен с тем, что сказал о старом водопроводе: ведь римская церковь, ее обряды, ее учение, даже ее история, и святая и преступная, ее искусство, наконец, воплощенное в соборах, в церковном пении, в картинах фра Анжелико, — прекраснее этого нет в мире ничего, меж тем как все, что олицетворяют господа Лубэ и Комб, Большой и Малый дворцы в Париже, кажется мне самым низменным периодом человеческой истории. Но хватит. Не об этом речь. На карту поставлен Симон Дюбер, его земная судьба и вместе с тем его вечное блаженство. Выслушайте меня внимательно:

чем бы ни заманивал вас господин Дюпор, этот провинциальный франкмасон, даже если это будет завидное место у сенатора Мони или даже в Париже, у Гастона Думерга...

— Откуда вы знаете?

Откуда я знал? Я попал в цель, но не совсем наудачу. Думерг приезжал к нам в прошлом году на открытие Сельскохозяйственной выставки, и господин Дюпор представил ему Симона.

— Я знаю только то, что господу угодно, чтобы я знал. Но слушайте внимательно. В мирской жизни, как бы вы ни поступали, вы все равно будете орудием той или иной партии; без дара красноречия, которого вы лишены, вы останетесь пешкой, вы никогда не выйдете на первое место, вам всегда будет не хватать...

Я заколебался, я боялся оскорбить его. На языке у меня вертелись слова, постоянно повторявшиеся в маминых разговорах: «элементарной воспитанности». Симон понял меня.

— Ах, так! Я навсегда останусь деревенщиной, черноземным, да еще бывшим церковным служкой.

— Я не это хотел сказать, но подумайте сами: сутана меняет человека и духовно и социально. Сутана — это новая кожа. Маршальский жезл в ранце простого солдата — какая чепуха! Зато кардинальская шапка за плечами умного семинариста действительно возможна, поверьте, и только от вас зависит, добыть ее или нет. Да, все зависит от вашей воли и вашего ума. Что не мешает вам быть хорошим священником, верным своему долгу, и даже священником святым. Святые епископы тоже бывают, и даже святые кардиналы.

Какой гениальный ход! Я освятил первое место, к которому стремился Симон. Он покачал головой:

— Все это старая сказка, с этим покончено, страница перевернута. Комб спустил свою свору на травлю церкви...

— Полноте! Церковь — империя, объединившая пятьсот миллионов душ, — устоит перед всем, что обрушилось на ее французскую провинцию: ведь наше духовенство, и черное и белое, вело себя по-идиотски, попадало во все ловушки, расставленные правыми националистами, а верующие, это панургово стадо, слепо следовали за ним...

— А! Вы признаете, что были у нас ошибки?

— Да еще какие! Ошибка — слишком мягкое слово; сообщничество с негодями из генерального штаба, совершившими

подлог, чтобы держать на каторге невинного,— этому нет прощения. Да, церковь до конца расплатится за это.

Симон смотрел на меня, раскрыв рот.

— Вы признаете Дрейфуса невинным? Вот тебе на!

— Но, Симон, я признаю лишь то, что бросается в глаза,— тупой антиклерикализм Комба под стать тупому клерикализму, который царил и продолжает царить в нашем лагере; мы можем наблюдать это здесь, в нашем кантоне, как в капле воды под микроскопом: требование моей матери, чтобы арендаторы отдавали дочерей на обучение монахиням, положение учительницы светской школы, «барышни», которой чураются как прокаженной, а в церкви загоняют в угол.

Симон прошептал:

— Но тогда...

— Что тогда? Пусть не будет ни грана подлинного христианства у наших мнимых христиан, пусть получают они по заслугам еще на этом свете, это не меняет ничего в условиях задачи, поставленной перед молодым аббатом, жаждущим пробиться на первое место. Необходимо выбрать правильное направление с самого начала, взять курс на Париж, на духовную академию, затем, если возможно, на Рим. Главное, стать необходимым одному из тех, кто активно действует на церковной арене, им всегда нужна в помощь голова вроде вашей, «голова, в которой все уместается», как говорит моя мама. Они по большей части не слишком сильны в науке.

— Боюсь, что и я не сильнее.

— Не беда! Главное иметь «голову, в которой все уместается». Основы у вас есть, я полагаю? Томизм* для повседневного употребления, то, что Донзак называет «непоколебимый томизм»...

Мы остановились на лугу, прямо против дома. Симон стоял к дому спиной и не видел, что на террасе маячат две черные грузные фигуры — мама и господин настоятель. Заметив нас, они поспешно скрылись.

— Разумеется, Симон, вам нужно будет как следует познакомиться с ересью, против которой вы собираетесь бороться,— с «модернизмом». Читали ли вы хоть немного Ньюмена, Мориса Блонделя, Ле Руа, Луази, Лабертоньера?..

* Учение Фомы Аквинского, принятое ортодоксальной католической церковью.

Он жалобно признался, что едва знает их имена.

— Донзаку ничего не стоит дать вам полную библиографию.

— Но он ими восхищается?

— Да, но он не может не удивляться глупости и невежеству их противников, он знает, как следовало бы с ними спорить, стоя на точке зрения томизма. Он сумеет великолепно вооружить вас против них, причем так, чтобы ваша позиция не отдавала ретроградством. Впрочем, богословие — это только основа. Важно правильно выбрать себе специальность, например каноническое право, одним словом, какую-нибудь дисциплину в этом роде, тут я вам не советчик, так уж у меня устроена голова — в ней умещаются только определенные идеи.

Я свернул на аллею, ведущую к большому дубу, чтобы нас не могли увидеть из дома. Сумерки еще не наступили, но от реки потянуло прохладой. Симон теперь уже не пытался уйти. Хоть этого-то я добился. Он шел, опустив глаза, словно окаменев, в глубокой сосредоточенности: жесткое, мертвенно-бледное лицо без кровинки — не выделяются даже губы — с черной двухдневной щетиной на щеках, это лицо встает у меня перед глазами, когда я думаю о Симоне. Таким я увидел его, когда мы подошли к большому дубу. Он прошептал:

— Слишком поздно! Слишком поздно!

— Нет, не поздно, раз вы еще здесь.

Я сел на скамью, прислонившись к дубу. Он остался стоять. Мне почудился трепет надкрылий готового взлететь майского жука. Ах, удержать его, удержать во что бы то ни стало!

— Большой дуб, — сказал я, — помог мне сыграть забавную шутку с господином настоятелем...

— Вы позволяете себе шутки с господином настоятелем?

Я рассказал ему о своей исповеди седьмого сентября. Сначала он не хотел верить: «Э! Рассказывайте!» Он смеялся. Никогда я не видел, чтобы он так хохотал. Раньше чем приобщать его к «модернизму», придется научить его пользоваться зубной щеткой.

— Самое интересное, — сказал я, — что я действительно с детства придерживаюсь идолопоклонства!

Я прижался к божественному дубу щекой, а потом надолго прильнул губами. Симон присел рядом. Он уже не смеялся. Он спросил, не была ли эта исповедь кощунством.

— Нет, настоятель рассудил иначе.

— Он знал, что вы неповинны в других грехах?

Я не ответил. Симон пробормотал:

— Извините меня.

— Вам не в чем извиняться. Просто я не люблю говорить о таких вещах.

— Однако они связаны со всей этой историей, с нашим спором. Да, с тем, что господин мэр называет «грехом против природы», то есть с вынужденным безбрачием... Вы не понимаете,— сказал он с неожиданной нежностью,— вы ангел. Впрочем, полуангел, полудьявол,— добавил он, засмеявшись.

— Послушайте, Симон, я знаю, о чем идет речь, уж поверьте мне. Разумеется, прежде чем согласиться на эти условия, человек должен испытать себя. Но если хватит у него сил и мужества, как поможет ему это в дальнейшем продвижении! Вас ждет крутой подъем, подумайте, какое преимущество — не тащить за собой детей. Безбрачие? Но оно облегчит вам победу.

— Да, но речь идет о чистоте. А послушали бы вы, что говорит об этом господин Дюпор...

— Господин Дюпор сам не лучше других, у него две постоянные связи, да еще он работников к себе зазывает...

— Возможно, но ведь и не хуже?

— Во всяком случае, не брак способен разрешить задачу, поставленную перед нами плотью и этим непонятным сочетанием души, взыскующей бога, с самым животным инстинктом.

Симон пробормотал:

— Но есть же такие, что любят друг друга.

— Да, Симон, есть такие, что любят. Но, может быть, это тоже призвание.

— Господин Дюпор говорит, что его во мне истребили и в вас тоже. В общем, он так полагает.

— Я сам часто обвинял в этом воспитание, которое получили мы оба, Лоран и я. Но Лоран как раз похож на всех остальных. Он даже раньше времени стал бегать за девицами. Я же родился иным... Я родился с чувством отвращения... А во все не ангелочком, как вы думаете... Сейчас я вас удивлю: я еще и боязлив до малодушия. Причиной всему один пустяковый случай. Вы бывали на ярмарке в Бордо, на площади Кенконс, в октябре и в марте?

— Э! Вы думаете, нас, семинаристов, водят гулять на ярмарку?

— Это изумительное место, поэтичное необыкновенно.

— Что? Бордоская ярмарка?

Крестьянин прежде всего думает, что над ним смеются.

— Да, там в каждом балагане свое небывалое представление. В каждом играют свою музыку, не заботясь о других. В общем, получается чудовищная какофония, пропитанная запахом карамели и жареного картофеля, а в стороне — подозрительный домик с женским именем на вывеске, и сквозь дыру в занавесе вдруг мелькнет рука или ляжка великанши. И размазанные картины, где господа и дамы распивают шампанское, а у метрдотеля во фраке вместо головы череп — это смерть! А за площадью словно театральный задник — река и скользящие по небу корабли...

— Зачем вы мне все это рассказываете?

Симон смотрел на меня с подозрением. Я неосторожно вспугнул его, вместо того чтобы приманить. Я снова почувствовал, как дрогнули надкрылья майского жука. Я быстро заговорил:

— Чтобы вы узнали об одном происшествии, которое могло мне сделаться, по вашим словам, ангелом. Однажды на этой ярмарке я зашел в музей Дюпюитрена. Там были выставлены восковые муляжи органов человеческого тела. Цели, очевидно, были самые правоучительные, но среди прочего там изображались и роды.

— Мадам разрешила вам?

— Нет, случилось так, что я вышел из дому один, с товарищем. И вдруг я увидел... Я буду видеть это до конца моей жизни, да, до последнего вздоха... На этикетке было написано: «Половой орган негра, изъеденный сифилисом».

Некоторое время мы оба молчали. Вдруг Симон спросил:

— Что означает для вас чистота? Что сказали бы вы семинаристу, если бы он спросил у вас, зачем пужна чистота?

— Чтобы можно было отдать себя. Так ответил мне молодой священник, которому я однажды исповедовался. Отдавать себя всем, говорил он, — в этом наше призвание, и оно требует абсолютной чистоты. Тогда можно отдать себя без остатка, ни о чем не рассуждая.

— Э, нет, господин Ален! Вы что же, издеваетесь надо мной? Только что вы возвещали и сулили мне триумфы в миру, а теперь, выходит, надо отдать себя и стремиться к чистоте для того, чтобы можно было себя отдавать...

Он ухмылялся, злорадствуя, что ткнул меня носом в мои же противоречия. Я взял его за руку. Она была влажная. Я ощутил его лишенный суставов шестой палец, похожий на червя, которого можно раздавить и «выпустить сок», как гово-

рил Лоран, когда был маленький. Преодолев отвращение, я сказал:

— Вы не понимаете меня. Разумеется, в том плане, в каком идет спор с господином Дюпором, я не могу обещать вам ничего другого, кроме успеха в миру, который, самое большее, может сделать вас князем церкви... князем церкви и перед людьми, и перед богом. Ибо если вы добьетесь успеха, то в сане епископа или кардинала вы будете выполнять долг милосердия и по отношению к верующим, и ко всей церкви в целом. Но знайте: в любой момент стремительного бега к почестям, на любом повороте этого триумфального пути вы можете его оставить, отказаться от всего, стать святым, об этом вы тоже мечтаете, я знаю.

Откуда я это знал? Уж не оттого ли, что приписывал себе дар прозрения?

— Я — святым? А, б...!

— Да, святым. Возможно, вы не выдержите этой бешеной гонки за почестями и укроетесь в каком-нибудь захолустном приходе, а может быть, станете послушником. Но скорее я представляю вас в нищем приходе, брошенным туда, словно кусок хлеба в рыбный садок.

— А почему же у меня не будет такой возможности в Париже, в мирской среде, где я подвергнусь испытаниям?

Я не выпускал его руки, хотя теперь она уже стала совсем мокрой и скользкой.

— Нет, Симон, если только вы войдете в этот мир, оставьте всякую надежду, вода сомкнется над вами. Я не хочу сказать, что вас не ждут там известные выгоды, но пути к богу будут отрезаны.

Он огрызнулся:

— Что вы об этом знаете? Бог не станет спрашивать у вас разрешения. Мы-то уж хорошо знаем, что его пути — не наши пути. Нам все уши об этом прожужжали.

— Знаю, и все тут, — сказал я. — Вы вовсе не обязаны мне верить, но, если вы выберете Париж, вы погибли.

Я знал, что он уже сделал выбор. Знал, что все для него кончится плохо. Он высвободил руку. Я вытер свою носовым платком. Он сказал совсем тихо:

— Я уезжаю завтра на рассвете.

Прюдан отвезет его в двуколке в Вилландро, а там он сядет на поезд, никто здесь и не заметит его отъезда.

— Если только вы не разболтаете.

— Нет, Симон, я не разболтаю.

По дороге шло стадо, я услышал крики пастуха. Симон закашлялся. Я произнес мамину неизменную фразу:

— Тянет холодом с речки.

Симон спросил еще раз:

— Вы никому не расскажете?

Он согласился, что будет лучше, если я подготовлю настоятеля и маму, чтобы смягчить удар, но не сообщу, что это случится так скоро. Он зашагал прочь по тропинке. Я направился к дому и на пороге столкнулся с Лораном, который заявил, что «смывается»: у нас сидит кюре да вдобавок еще мамаша Дюпор!.. Мамаша Дюпор? Лорана это не удивило, его ничто не удивляет.

В прихожей горела висячая лампа, хотя было еще совсем светло. Прежде всего я увидел сидевшую напротив господина настоятеля и мамы, неподвижно, словно каменное изваяние, госпожу Дюпор в траурной вуали, с пожелтевшими глазами, какую-то потерянную и неряшливую, хотя, готовясь к визиту, она, несомненно, уделила внимание своему туалету, по женщине, которая выпивает, может выдать любая мелочь. Надо было видеть, каким взглядом пронзала мама эту пьянчужку, к тому же, по-видимому, питавшую привязанность, склонность к Симону! «Просто невероятно, что только не происходит с этими людьми», — должно быть, думала она. Просто невероятно было, что госпожа Дюпор сидит здесь, у нас.

— Вы знаете моего сына Алена?

Госпожа Дюпор повернула ко мне лицо, напоминавшее мертвую маску, которую не могли оживить не то коровьи, не то птичьи глаза, из-за этих глаз она казалась порождением какого-то мифологического соития. Она ответила, не сводя с меня взгляда, что Симон ей часто рассказывал обо мне. Тогда настоятель заметил, что она может говорить свободно в моем присутствии — надо, чтобы я был обо всем осведомлен. Но у госпожи Дюпор пропала охота говорить. Она уставилась на меня круглыми глазами священной коровы. Она принадлежала к той породе коров, которая, как мне известно, считала меня съедобным.

Пришлось господину настоятелю изложить то, что сообщила им госпожа Дюпор: Симон, если ему удастся, через год закончит учение в Париже и получит там место в канцелярии радикальной партии на улице Валуа; но это лишь ширма: разработан план, который стал известен госпоже Дюпор, он состоит в том, чтобы досконально использовать воспоминания Симона о като-

лической школе и семинарии. По словам господина Дюпора, любое из этих воспоминаний дает богатую пищу. Он взял у Симона все его школьные тетради, тщательно изучил учебники истории и философии.

— Но как же Симон согласился?

— Его уверили, что, если рассмотрят его тетради — тетради первого ученика в классе, — это будет способствовать его назначению.

Тут вмешалась госпожа Дюпор:

— Симон слишком умен, чтобы не понять, что это предательство.

Я запротестовал:

— Симон не представлял себе, будто можно что-то извлечь из его школьных тетрадей.

Да и в самом деле, что можно было из них извлечь? Из учебников, пожалуй, еще можно. В нашем коллеже учебники для католических учебных заведений были начинены смехотворной ерундой, и мы с Донзаком составили себе из них целый репертуар. Во всяком случае, нельзя назвать предателем человека, сообщившего нечто, доступное всем. Симон хочет вкусить от запретного плода. Настоятель спросил, сказал ли он мне об этом.

— Я это понял сам. Ставка сделана.

Настоятель возразил:

— Нет! Он к нам вернется!

Я покачал головой. Я прошептал:

— Он погиб!

— Погиб для нас, может быть, — пылко воскликнул господин настоятель. — Но не погиб, бедное мое дитя, нет! Нет! Не погиб!

Мне он понравился в эту минуту, наш бедный священник. Я заявил, что верю в это так же, как он. А мама, видимо, решила молчать, пока госпожа Дюпор пребывает здесь, но госпожа Дюпор словно приросла к креслу, заполнив его всей своей массой. Она смотрела на меня, не скрываясь: я чувствовал на себе ее взгляд. Тогда мама, которая во всех случаях жизни знает, как прилично и как неприлично поступать, поднялась, вынудив подняться и всех нас, кроме госпожи Дюпор, хотя и той должно было стать ясно, что мама предлагает ей уйти, правда смягчив это выражением благодарности за сообщенные сведения. Наконец госпожа Дюпор встала, подошла ко мне и проговорила:

— Приходите ко мне, пока не начались занятия. Мы поговорим о нем.

Я извинился: занятия начнутся через две недели.

— Но у вас в этом году позже, ведь вы уже бакалавр. Симон говорил, что вы остаетесь в Мальтаверне поохотиться на вяхирей.

Значит, они обо мне говорили! Вот кого я, оказывается, интересовал. Мадемуазель Мартино обо мне не говорила ни с кем.

— Ну, какой из меня охотник!

— Что ж, тем лучше, у вас будет время.

Она улыбнулась закрытым ртом, как все, кому приходится скрывать плохие зубы. Кюре, негодуя, произнес властным тоном:

— Я провожу вас, сударыня! — и повел ее к выходу.

Я пошел было вслед за госпожой Дюпор и господином настоятелем, но мама приказала:

— Нет, оставайся!

Мы вернулись в гостиную. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Чтобы помолиться или чтобы скрыть свою ярость? Я думаю, она пыталась и молиться, и побороть свою ярость, но все же под конец взорвалась.

Бедная мама, одно за другим у нее вырывались слова, которых я так опасался. Она подвела итог всему, что истратила на Симона в течение десяти лет. Чем больше для них делаешь, тем больше они вас обворовывают. Ах! Как нас провели!

— Впрочем, я преувеличиваю, меня-то не провели, у меня не было никаких иллюзий. Как говорит господин настоятель, надо отдавать себя целиком и при этом знать, что взамен ничего не получишь.

— Это, может быть, верно для господина настоятеля, — сказал я, — но мы — другое дело. Утешься, ты возьмешь свое с этого скота.

Мама оторопела:

— С какого скота?

— Этот старый выучный скот Дюбер за триста франков в год управляет твоими десятью фермами, и только он один знает границы наших владений, так что, уйди он сегодня, мы будем зависеть от милости наших соседей.

— Кто же виноват, если ты и твой брат никуда не ходите, если вы не способны даже запомнить межи...

— Ты прекрасно знаешь, что так этому научиться нельзя, надо тут родиться и жить здесь безвыездно. Ты сама не раз видела, как Дюбер пробьется сквозь заросли, поскребет землю там, где и знака никакого нет, и вдруг среди кустов ежевики

появится межевой камень. Ты без него не сможешь обойтись. Он еще может тебя шантажировать, возьмет да и потребует втрое больше, чем ты ему платишь. И то будет смехотворно мало.

— Ну, это уж слишком! У него есть жилье, отопление, освещение, он получает молоко и половину свиной туши.

— Да он и не знал бы, куда девать те деньги, которые ты ему недоплачиваешь. Вот он и работает даром.

Она простионала:

— Всегда ты на их стороне, против меня...

В это время вернулся господин настоятель. Он проводил господа Дюнора домой и сделал вид, что идет к себе.

— А сам вернулся сюда. Нам необходимо поговорить.

— Во всяком случае, без этого дурачка. Хвалился, что уговорит Симона, а теперь его оправдывает и во всем обвиняет меня.

— Я ничего не обещал. Я был уверен, что знаю, о чем надо говорить с Симоном. И не ошибся, но теперь уже поздно.

— Во всяком случае, мы-то с вами сделали все, что могли.

Мама обращалась к кюре. Она требовала одобрения, похвального листа. Он молчал; своей худобой, крепким крестьянским костяком он походил на Симона: большой иссохший остов, и это грубое, словно вылепленное из глины лицо, и глаза, как капли глазури. Он молчал, она настаивала:

— Да или нет? Разве не сделали мы все, даже невозможное?

Кюре вполголоса бросил слово на местном наречии, я даже не знаю толком, как его писать: «beleou» (конечное «ou» почти без ударения), означает оно «может быть». Это «beleou» уже в двадцати километрах от Мальтаверна не поймет ни один крестьянин.

— Мы хотели дать церкви священника.

— Вопрос поставлен неправильно,— сказал кюре.— Мы не властны распоряжаться жизнью ближнего, даже если хотим посвятить ее богу, а тем более если он зависит от нас материально. Все, что мы могли сделать — вернее, все, что я, как мне казалось, желал сделать для Симона,— это понять, какова воля божия в отношении этого мальчика, помочь ему разобраться в себе самом.

Меня поразили слова кюре: «как мне казалось». Я не удержался и пробормотал:

— Ах, вот оно что, а на самом-то деле у вас были другие мотивы!

На маму снова накатил «приступ»:

— Извинись перед господином настоятелем сию же минуту!

Кюре покачал головой:

— В чем извиняться? Он меня ничем не оскорбил.

Я посмотрел на него и после некоторого колебания наконец сказал:

— Вы, господин настоятель, принимали, как и все мы, участие в этой смехотворной комедии. Но при этом вы помнили о своем облезлом, сыром церковном доме, где сидите по вечерам в одиночестве, об алтаре, где отправляете службу по утрам в почти пустой церкви. Вы-то знаете...

— Какое отношение все это имеет к Симону? — спросила мама.

— И о поражении, унылом поражении. Легче потерпеть его от руки противника, нежели от мнимого приверженца. Враги — те по крайней мере ненавистью своей доказывают, что церковь еще способна возбуждать страсти.

Кюре прервал меня:

— Я лучше пойду. А то ты уже заговариваешься, как скажет мадам.

Он поднялся. В эту минуту вошел Лоран. Я ненавидел запахи, которыми он был весь пропитан к концу летнего дня, но тогда я обрадовался, что он здесь. Одно его присутствия было достаточно, чтобы наступила разрядка. Ничто уже не имело значения, кроме силков, которые он поставил, или щенка Дианы, которого он, как и подобает такому скоту, дрессировал, надевая на него парфорсный ошейник. Только мужичью полезно считать, что в мире хоть что-то имеет значение. Донзак любит повторять этот афоризм Барреса. Я сказал:

— Я провожу вас до церковных ворот, господин настоятель.

Туман, поднимавшийся над рекой, не дополз еще до аллеи. Кюре сказал:

— Чувствуется осень.

Я пробормотал, сам не знаю, с состраданием или ехидством:

— И вся зима еще для вас впереди...

Он не откликнулся. Помолчав немного, он спросил, не знаю ли я, когда уезжает Симон.

— Я тебя не спрашиваю когда. Но просто, знаешь ли ты?

Я ничего не ответил. Он не настаивал, но, когда мы уже подошли к церковным воротам, я спросил, служит ли он по-прежнему раннюю мессу в семь часов.

— Можно, я приду прислуживать завтра?

Он понял, схватил меня за руку; он будет ждать меня.

— Я приду чуть раньше, чтобы успеть исповедаться. Может быть, и мама придет.

— Нет, завтра не ее день.

Он ответил слишком поспешно, словно торопясь меня успокоить и успокоить себя самого. Больше мы не произнесли ни слова до самых дверей его дома. Там он сказал вполголоса:

— Я ошибся.

И так как я запротестовал: «Нет, нет, господин настоятель!» — он повторил:

— Я всегда буду ошибаться.

— Только не в самом главном, господин настоятель.

— Что ты имеешь в виду?

— Вы верите в то, что вы делаете. Может быть, вы вливаете новое вино в старые мехи, те, которыми обзавелись еще в семинарии? Но это новое вино вы обновляете каждый день вопреки старым мехам и старой теологии, которой повсюду приходит конец.

Кюре вздохнул, тихонько потренировал меня за ухо, проворчал:

— Юный «модернист»! — И ласково попрощался: — До завтра!

ГЛАВА III

Утренняя месса, ужасная сцена, разыгравшаяся между Дюбером и мамой, когда она узнала, что Приудан отвез Симона к поезду в Вилландро, — все было вытеснено из моей памяти событиями, разыгравшимися в Мальтаверне несколько дней спустя. Но с чего начать? Я вижу себя на дороге в один из обычных вечеров, на дороге из Жуано. Кажется, всходила луна. Во всяком случае, в моих воспоминаниях царит луна. Тишина стояла такая, что, проходя через мост, я слышал, как бежит по древним камням Юр. Легкий, нежный плеск. Повсюду в этот час, во всяком случае если верить моим любимым книгам, соединяются живые существа. Раз даны декорации, должна быть дана и пьеса. Почему же я в стороне? Потому что даруются нам только декорации, все остальное — это уж наше дело, а у меня — в восемнадцать лет, — у меня не было сил... Сил для чего? Ни для того, чтобы умереть, ни чтобы жить. Я услышал кваканье жабы и вспомнил, как незадолго до смерти моя бабушка (впрочем, святая женщина) сказала, что лучше быть жабой под камнем, чем умереть. Как будто быть жабой под камнем — это не есть

уже счастье, как будто существует большее счастье на свете, чем тихо звать свою самочку и соединяться с ней под камнями или в путанице трав! Сейчас мне кажется, будто я предчувствовал, что ночью случится беда. Речной холодок, коснувшийся моего лица, был дыханием смерти... Но, возможно, все это я просто придумал.

Мама, завернувшись в шаль, бродила по аллее. Должно быть, читала молитвы, перебирая четки. Она предупредила меня, чтобы я не шумел: Лорану нездоровится, и он лег спать.

— Подумать только, ты заставляешь нас жить в одной комнате, как будто в этом сарае комнат не хватает! Понять не могу, для чего ты это делаешь.

Она не рассердилась. Только сказала, как бы оправдываясь:

— Вы никогда не разлучались.

— Этого хотела ты, а не мы: ведь у нас с Лораном разные вкусы, нам не о чем разговаривать.

Мама пустила в ход свой обычный упрек:

— Ты всех считаешь глупее себя!.. А вот кто настоящий дурень, — продолжала она с неожиданной яростью, — так это Симон. Подумать только, что он выбросил за борт...

— Да нет же, ничего существенного он не выбросил. При нем осталось все, чему он научился, его диплом бакалавра — все, чем он тебе обязан и чем воспользуются другие, если только это может тебя утешить.

— Не об этом речь, ты отлично знаешь!

— Но именно эта мысль для тебя непереносима. Ну а судьба Симона тебя не очень интересует: ведь ты его не любишь. Не станешь же ты уверять меня, будто любишь Симона? А даже если бы любила, ну, так, как принято любить, в общем, так, как любит его госпожа Дюпор...

— Иди спать!

— Тогда тебе и дела бы не было до бессмертной души Симона, ведь ты любила бы в нем именно то, что смертно...

Она подтолкнула меня к лестнице:

— Ступай, ложись потихоньку, не разбуди брата, и чтобы больше я тебя не слышала... Этот мальчик убьет меня.

Я возразил, что еще рано ложиться спать. Я пройду по парку.

— Оденся. Хватит с меня одного больного. И когда будешь ложиться, не открывай окна, Лоран кашляет.

— Он часто кашляет по ночам, — сказал я. — Он кашляет во сне.

— Ты-то откуда знаешь? За всю ночь ни разу не проснешься.

— Я слышал сквозь сон.

Уверен, что этого я не выдумал, помню, как сам был поражен своими словами и вдруг почувствовал страх за Лорана; я хотел произвести впечатление и неожиданно сам стал жертвой своей ворожбы, но тревога моя продолжалась лишь несколько секунд. И вот я снова в молочном сумраке лунного вечера, и я такой же, каким всегда бываю в этот час, стою и впитываю в себя журчание Юра, и тихий шепот ночи, подобный всем другим ночам, и лунный свет, тот самый, что омоет могильный камень, под которым будет догнивать тело, когда-то бывшее мною. Время течет, как Юр, а Юр всегда тут, и пребудет тут вечно, и вовеки не остановит свое течение... Впору завывать от ужаса. А как же поступают другие? Они словно и знать ничего не знают.

Впрочем, я тоже не знал, что наступившая ночь со всеми ее бесчисленными тревогами... Но об этом надо рассказать, ничего не выдумывая, и составить для Донзака точный отчет, протокольную запись. Я вернулся домой. Это было за год до того, как мама решила провести у нас электричество. Горела одна-единственная лампа, висевшая над бильярдом. Я взял подсвечник и поднялся в нашу комнату, расположенную над маминой, в комнату мальчиков. Большая комната в два окна; наши кровати стояли голова к голове, так что мы с Лораном хоть и ночевали вместе, но даже не видели друг друга, к тому же он обычно вставал на заре. По вечерам, когда мы были еще детьми, он засыпал, сидя за столом, и его часто относили в постель на руках. Последние два года он, как все говорили, «бегал», и теперь уже я спал как убитый, когда он, держа башмаки в руках, тайком прокрадывался в комнату. А утром, когда я просыпался, Лорана уже и след простыл.

Несмотря на мамин запрет, я твердо решил открыть окно — воздух в комнате был тяжелый. Я не узнал привычного запаха Лорана: от него всегда исходил здоровый запах, хотя и слегка отдававший псиной. У болезни свой особый запах, и я сразу его почувствовал. Лоран спал, он не храпел, но дышал тяжело. Я начал было раздеваться, когда появилась мама в халате, с заплетенной косой. Она подошла к кровати Лорана, осторожно пощупала ему лоб и шею — он и не проснулся — и сказала шепотом, что я не засну, а Лорану может понадобится ее помощь; лучше она ляжет в мою постель, а я пойду к ней в комнату. Я не заставил себя просить и, даже не взглянув на брата, спу-

стился вниз, в мамину комнату; она была чуть поменьше нашей, потому что в одном углу устроили туалетную, в другом — гардеробную, между ними образовался альков, где и стояла кровать. Я с наслаждением открыл окно и скользнул в постель, в которой был зачат. Странная мысль, завораживающая и в то же время невыносимая, я прогнал ее, движимый привычкой, сохранившейся от моей прежней детской нетерпимости, когда я верил, что одна-единственная дурная мысль ставит под угрозу наше вечное спасение.

Чтобы победить искушение, я прибегнул к средству, которое помогало мне незаметно погрузиться в сон, — стал рассказывать себе историю: я всегда что-нибудь сочинял. История, которую я сейчас придумал, очень мне понравилась. В тот год я впервые прочел в «Человеческой комедии» Бальзака «Блеск и нищета куртизанок»; самоубийство Люсьена де Рюампре в тюрьме несказанно огорчило меня, и я пересочинил его историю: Люсьен де Рюампре не был скомпрометирован и не попал в тюрьму. Карлосу Эррере удалась его затея, он выманил у барона Нусингена огромную сумму, необходимую для женитьбы Люсьена на дочери герцога Гранлье. Я преодолел все препятствия. Благодаря поддержке герцога и Карлоса Эрреры Люсьен получает назначение при посольстве в Риме; венчание происходит тайно в часовне посольства, таким образом, в Париже никто ничего не знает и все, что может повредить Люсьену, устранено. Через некоторое время Карлос Эррера принимает решение «умереть» и снова превратиться в беглого каторжника Жака Колена. Он притворяется, будто поражен злокачественной опухолью. Все уверены в его скорой смерти. Он ложится на операцию в частную клинику в Швейцарии, зависящую от его банды. Труп другого оперированного выдают за труп Карлоса Эрреры, и Жак Колен сматывает удочки... А я скольжу, погружаюсь в глубокий, крепкий сон, где кишит великое множество людей, и вынырну из него только утром, когда первый луч солнца проникнет ко мне сквозь решетчатые ставни.

Но на этот раз я проснулся среди глухой ночи, чувствуя себя потерянным в чужой постели, от которой нахло мамой. Я сразу понял, происходит что-то неладное. Да, я сразу понял, что дело неладно. На лестнице раздавались торопливые шаги, никто не заботился о тишине, хлопали двери. Что-то случилось наверху, у меня над головой. С Лораном? Слышался звон тазов и кувшинов — я успокоился: должно быть, его тошнит. Я повернулся к стене. В это время вошла мама, держа

в руке лампу, ярко освещавшую ее крупное серое лицо и всклокоченные волосы. Она остановилась на пороге:

— Послушай... лучше, чтобы ты знал...

У Лорана открылось кровохарканье, и остановить его не удается. Доктор Дюлак и настоятель сейчас при Лоране. Я пыривался встать, но мама умолила меня не двигаться до рассвета.

— Утром ты поедешь к барышням в Жуано. Надо бежать, бежать,— твердила она как потерянная.— Я вздохну спокойно, только когда ты будешь далеко.

— Но Лоран...

— Речь идет уже не о Лоране, а о тебе.

— Но, мама, Лоран? Лоран?

Она стояла в оцепенении, держа лампу в руке, длинная седая прядь пересекала ее лоб. Она смотрела на меня горящими глазами.

— Молись за своего бедного брата, но первый наш долг — изолировать тебя. Дай бог, чтобы не было поздно. Когда я подумаю, что все эти годы ты жил с ним в одной комнате, и в Бордо, и в Мальтаверне... И даже прошлую ночь вы дышали одним воздухом.

— А Лоран, мама?..

— Мы сделаем все возможное и невозможное, ты сам понимаешь. Завтра будет консилиум. Но лучше, чтобы ты знал...— Она заколебалась: — Доктор считает...

Потом, прервав себя, нова обстоятельно стала говорить о том, что она решила относительно меня. Словно бы несчастье имело отношение только ко мне, словно все его значение и последствия касались меня одного. Я уеду, не взяв с собой ни белья, ни одежды, только в том, что на мне: ведь все мои вещи находятся в зараженной комнате.

— Я даже не поцелую тебя на прощание, и, разумеется, ты не подойдешь к комнате Лорана. Да он и не в состоянии... Лучше, чтобы ты не видел его таким в последний...

— Нет, не в последний, мама, не в последний раз!

— Да, да! Ты ведь знаешь, я всегда все вижу в черном свете. Пойду приготовлю тебе кофе. Посни еще немного.

Я не стану сопротивляться, я буду делать все, что она захочет. Она сумела напугать двенадцатилетнего юношу, как пугала маленького мальчика, чтобы он слушался. Была в Мальтаверне комната, кровать, где умер наш дедушка, а в Бордо была комната, кровать, где умер наш папа. Теперь здесь будет

комната, кровать, где Лоран... Он вышел вдруг из своего ничтожества последнего ученика в классе и начал во мне свое новое существование. Не помню, чтобы он когда-нибудь произнес хоть одно слово, не имевшее отношения к вихрям, к бекасам, к зайцам или его собакам. Он готовился в Гриньонскую высшую школу, но сельскохозяйственная наука интересовала его не больше, чем латынь или древнееврейский язык. Он любил повторять: «В нашей семье я буду крестьянином...» Но Мальтаверном он не интересовался.

— Все я должна делать сама! — жаловалась мама, но не потерпела бы, если бы мы хоть раз сунули нос в ее дела, вернее, в наши, поскольку Мальтаверн принадлежал нам, а она была только опекуницей.

Так блуждала моя мысль, пока вдруг не остановилась, словно споткнувшись: «Теперь не будет никого, кроме меня, я останусь один в Мальтаверне, я и мама». Да, это вдруг пришло мне на ум, но, видит бог, я не обрадовался, потому что быть не могло, чтобы мама не подумала о том же, чтобы она с ее маниакальной страстью к земле хотя бы смутно этого не ощутила. Она боготворила землю, но совсем не так, как я, она ненавидела разделы... Донзак, для которого я пишу, поймет все без моих объяснений; все это еще не было мне ясно в ту зловещую ночь, ничто еще не было высказано, принято, признано. На эти ночные часы я как бы накладываю решетку моих мыслей в той связи и последовательности, в какой они сложились за последующую неделю, которую я провел у барышень в Жуано.

В ожидании рассвета я растянулся одетый на маминой постели. Мама пришла еще раз, но не переступила порога комнаты, она принесла мне кофе и сказала, что Мари Дюбер гладит мое белье и соберет для меня все необходимое. Мне оставалось только уложить книги и свою писанину, как называла мама все, что я писал. Я задремал. В полусне я услышал, как протарахтели колеса двуколки Дюбера. Вошла Мари с подносом, повязанная черным старушечьим платком, сама вся черная лоснящейся чернотой куриных перьев и вообще смахивающая на курицу своим испуганным взглядом и подпрыгивающей походкой. После бегства Симона, которому Дюберы немало способствовали, мама разговаривала с ними, лишь чтобы отдать какое-нибудь приказание. Мари уверила меня, что Лоран сейчас задремал и мадам от него не отходит. Доктор вызвал сестру

из Базасской больницы. Мари причитала: «Ah! Lou praou mous-su Laurent!» *. У Дюберов любимцем был он: «Ah! Lou praou!»

Никогда не прощу себе, что удрал из родного дома, так и не повидав умирающего брата. Мама была на страже и не допускала меня в комнату, но я все же заглянул в приоткрытую дверь и в неверном, мигающем свете ночника на секунду увидел передвинутую мебель, разбросанное по полу белье. Я подчинился. Все произошло так, как решила мама. В девятнадцать лет я позволил ей обращаться со мной, как с младенцем. Я слабо возражал, она даже не слушала. Она говорила:

— Как только минует кризис, ты его увидишь. Обещаю тебе. Я сразу же пошлю за тобой. Ты поговоришь с ним издали, все будет хорошо. Мы уложим его в саду, на солнышке. Сосновый лес в таких случаях — самое целебное.

О! Это сентябрьское утро, запах тумана... Я-то не умру, я буду жить. Мама уже отправила барышням письмо, предупредив их о моем приезде и сообщив о нашем несчастье. Мадемуазель Луиза и мадемуазель Адила поджидали меня в полном смятении: нечаянная радость моего приезда, сострадание, горе — все смешалось. Но радость преобладала, особенно у мадемуазель Адила, обреченной на одинокое существование рядом с глухой сестрой, «которая все понимает по движению губ», в семи километрах от местечка, в этом затерянном уголке, где обрывалась единственная дорога, а дальше, до самого океана, раскинулись обширные пустынные ланды. Одна из самых старых ферм на краю огромного просяного поля. Мне приятно думать, что мы тоже родом с такой фермы. Этим утром жаворонки заливались над полями, жаворонки, в которых никогда больше не будет стрелять Лоран. Еще на рассвете для меня открыли большую комнату, где пахло плесенью; там, как я знал, отец барышень, разорившись, покончил с собой, но никто не знал, что я это знаю. Я разложил на столе брэншвигова Паскаля, машинописную копию «Действия» Мориса Блонделя, которую дал мне почитать Донзак, «Материю и память» Бергсона и тут же пошел рыться в книжном шкафу «общей гостиной», который, бывало, в детстве доставлял мне такое счастье, какого не узнать тому, кто не испытал великого чуда чтения, когда ничто во внешнем мире не способно смутить гладкую поверхность летнего дня каникул, когда реальный пейзаж сли-

* Ах! Бедный господин Лоран! (франц. диал.)

вается с воображаемым и даже запах дома проникает в тебя и остается там навеки, на долгие, долгие годы, хотя уже и самого дома не существует.

Не Бергсона я читал теперь, не Паскаля, не «Летопись христианской философии», а «Детей капитана Гранта», «Таинственный остров», «Без семьи». И тем не менее комната Лорана, в трагическом свете починика, такая, какой увидел я ее в приоткрытую дверь, не выходила у меня из головы. Я не забывал о ней ни на минуту, в ней черпал я свою тоску, свое горе, но, может быть, также и счастье ощущать свои девятнадцать лет и быющую через край жизнь.

Я услышал, как мадемуазель Адила, которая привыкла, разговаривая с сестрой, орать во все горло, сказала кухарке:

— Если случится несчастье, вот будет завидная партия — господин Ален с его тремя тысячами гектаров...

— Э! Так-то оно так, но, пока жива его мамаша, хозяйкой будет она...

— Молчи уж, — крикнула мадемуазель Адила. — У его матери хватит и своего добра — чуть не тысяча гектаров, дом в Ноайяне, да и наличными бог знает сколько!

— Да, но...

Я вышел, чтобы больше ничего не слышать. Лоран был жив, он жил. Мама любит нас обоих. Днем приехал господин настоятель и сообщил мне новости:

— Твоя мать, как всегда, достойна восхищения. Полночи она не отходила от Лорана, чтобы сестра милосердия могла поспать. Она решила не видаться с тобой даже издали. Она идет на эту жертву. Увы, ждать осталось недолго.

В этот день я впервые услышал роковые слова: «Скоротечная чахотка». Я услышал, как отдается во мне ее стремительное течение, навсегда уносящее моего старшего брата во тьму, куда последую за ним и я, может быть, не так скоротечно, а простым шагом; но как бы медленно я ни продвигался, все равно в конце концов угодоблюсь старику из Лассю со своими тремя тысячами гектаров и сворой нетерпеливых наследников, которых я буду ненавидеть и, так же как он, гнать от себя. Ужас собственности. Собственность — абсолютное зло. Что делать, как избавиться от нее? Я охотно отказался бы от всех благ мира сего, но только не от самого мира, только не от языческой радости, которой я упивался в тот день под дубами Жуано, пока моего брата уносило стремительное течение в ночь, не знающую конца.

На следующий день я неожиданно-негаданно воочию увидел в доме у барышень микроб собственности — отвратительную десятилетнюю девчонку Жаннетту Серис, их наследницу, которая в этом качестве приезжала гостить к барышням и принимать поклонение фермеров. Нелепей всего было то, что это чудовище, единственная дочь в семье, рано или поздно окажется обладательницей одного из самых больших поместий наших ланд, в котором именье барышень затеряется, как капля воды в море. Но для этих ненасытных пожирателей земли каждый гектар имел значение. Мне Жаннетта внушала ужас. Иссинья-бледная, конопатая девчонка — казалось, что и на месте глаз, лишенных бровей и ресниц, поблескивают две из ее бесчисленных веснушек. Круглая гребенка придерживала надо лбом зачесанные назад жидкие волосы. Детей фермеров приводили к ней играть. Они подчинялись ей, как мужицкие дети маленьким боярам во времена крепостного права. На следующее утро, проснувшись, я услышал, как мадемуазель Луиза кричит мадемуазель Адиле: «...да между ними невелика разница, меньше десяти лет. Он подождет!» Мадемуазель Адиле, должно быть, ответила только движением губ, я ничего не услышал. Глухая продолжала орать: «Без разрешения матери он не женится. Будет ждать сколько нужно...» О боже! Речь шла обо мне и Жаннетте. Об этом поговаривали в округе, как некогда о помолвке французского дофина и испанской инфанты. Но на сей раз имели в виду меня одного: Лорану эта опасность больше не грозила. В том, что для мамы все было решено, я не сомневался. И в довершение всего девчонка за мной бегала, она, это страшилище, со мной заигрывала. Значит, и она об этом думала. Именно в те дни я впервые устыдился своего невежества, своего безразличия ко всему, что касалось социальных вопросов. Я решил прочесть Жореса, Гедэ, Прудона, Маркса... Для меня это были только имена. Однако что такое собственность, я знал лучше, чем они. Пусть даже она воровство, на это мне плевать, но она развращает, бесчестит людей.

ГЛАВА IV

Спустя два года я начинаю в Бордо новую тетрадь. Первую Донзак выпросил у меня и увез в Париж, где он поступил в кармелитскую семинарию. Ради него я снова решаюсь продолжать этот дневник. Дневник? Нет, это стройный, упорядоченный рассказ о том, что я черпал день за днем в нашей с мамой исто-

рии в течение этих двух лет. Но прежде всего это попытка понять, кем же я стал после смерти Лорана.

Кем я стал? Стал ли я другим? Юноша двадцати одного года, который готовится в Бордо к диплому лиценциата словесности, — чем отличается он от подростка, каким я был когда-то? Он тот же и обречен оставаться тем же, если только я не умру молодым, как Лоран. Старик из Мальтаверна, который живет во мне, займет в негласной истории больших ланд место старика из Лассю, но и в восемьдесят лет он останется точно таким же, каким являюсь я сейчас, а какой-нибудь мальчишка — поэт 1970 года будет издали смотреть на него, неподвижно сидящего у порога и словно превратившегося в неодушевленный предмет.

Смерть Лорана изменила не меня, а условия моего существования. Несколько месяцев я провел в каком-то оцепенении. Мама все взяла на себя, ее чувства ко мне сосредоточились на заботе о моем физическом здоровье. У меня было «затемнение в левом легком». Она не успокоилась, пока не добилась для меня освобождения от военной службы. Я был рад этому, хотя и сторал от стыда. В конце концов я стал еще более нелюдимым и злился на маму. Она же, избавившись от своих волнений, с каждым днем все больше и больше погружалась в дела Мальтаверна. И так как в том году мы купили автомобиль марки «дион-бутон», она то и дело отпраивалась на несколько дней в деревню. Расстояний больше не существовало. Еще в прошлом году, чтобы попасть в Мальтаверн поездом, приходилось делать две пересадки. Уже под сводами Южного вокзала мы чувствовали себя оторванными от дома. Большие ланды, единственная моя отчизна, были далеки, как звезда. А теперь я знал, что она начинается сразу же по выезде из Бордо, и по шоссе, если не подведет мотор и если мы не разобьемся, можно за каких-нибудь три часа покрыть сотню километров, отделяющую Бордо от Мальтаверна.

Я пишу о чем попало, лишь бы не касаться наболевшей раны, которая мучительно ныла после того, как уснул Лоран. Что произошло между мамой и мной? В чем я могу ее упрекнуть? Она все берет на себя, освобождает меня от всего. Когда она, как сейчас, находится в Мальтаверне, я пользуюсь в Бордо свободой, какой не знал никогда ни один студент, — кухарка и дворецкий в полном моем распоряжении. Если я не способен вос-

пользоваться этой свободой, то уж никак не маму я должен упрекать.

— Почему у тебя нет друзей? Почему ты отказываешься от приглашений или подпираешь стену во время танцев?

Я не танцую потому же, почему не охочусь. Это все одно и то же...

Нет, совсем не одно и то же. То, что я сейчас расскажу, уже пережитое, а не история в ее становлении, хотя история все еще продолжается. Донзак сумеет уловить разницу между истолкованным и обработанным мною документом и тем, что изо дня в день, из страницы в страницу принимает облик неизбежной судьбы. Донзак сумеет истолковать ложь, которой оборачиваются мои умолчания, и, без моего ведома, превратит ее в правду, ту правду, которую я сам хотел бы вырвать из себя, которой я домогаюсь с пугающей меня страстью, пугающей потому, что речь идет о маме, потому что ее я постепенно разоблачаю, и по мере того, как раскрывается ее истинный образ, мне становится страшно.

Но теперь я больше не один. Я больше ей не подвластен. Явился некто. Некто. Все началось в книжной лавке Барда, в Пассаже, соединяющем улицу Сент-Катрин с площадью Комеди. Я не сразу набрел на эту мрачную пещеру, заваленную книгами. Моим книготорговцем был Фере, на Интендантском бульваре. У Барда издания «Меркюр де Франс» занимали лучшее место. Литература здесь была в чести. На витрине лежали книги современных поэтов.

Я заходил сюда по пути из университета почти каждый день, после того первого дня, когда, просматривая новую книгу — «Имморалист», так погрузился в чтение, что вздрогнул от неожиданности, услышав у себя над ухом женский голос.

— Даже если у вас нет лишних денег, советую вам ее купить. Это первое издание, а первые издания Андре Жида...

Я поднял глаза и увидел в полутьме этой пещеры мадемуазель Мари, которая продает книги и вообще хозяйничает в магазине (сам Бард сидит за кассой, а Балеж, горбатый приказчик, делает всю черную работу). Мадемуазель Мари в своем черном халате старается быть незаметной, но только не для тех, на ком остановит она взгляд, как, например, в тот первый день остановила на мне. И какой взгляд! Нежный, и вместе с тем насмешливый, и пугающе-проницательный. Ее привлекло и тронуло во мне, как всех, кто меня любит, именно то, что оттал-

кивало всех прочих. Я, однако, обманул ее, сам того не желая. Я так люблю книги и так мало их покупаю, я так долго колеблюсь, прежде чем решиться на покупку, — одним словом, я настолько не способен израсходовать хотя бы франк и к тому же так плохо одеваюсь — всегда в одном и том же галстуке тесемочкой, — что она приняла меня за бедного студента. Потом я узнал, что ее все же удивило мое пальто, хотя изрядно поношенное, но явно спитое на заказ, и дорогой кожаный портфель с инициалами. Но трудно было предположить, что у меня есть карманные деньги. Она решила, что я сын каких-нибудь сельских жителей, разорившихся или скупых, и отложила для меня несколько первых изданий.

— Заплатите в следующем месяце, — сказала она.

Я не стал разубеждать ее, и, конечно, не из дурных побуждений. Может быть, это был стыд? Нет, скорее, счастье чувствовать себя любимым за самого себя, знать, что могу понравиться такой замечательной девушке, и не подозревающей во мне наследника Мальтаверна. В редкие вечера, когда мама посылает меня взглянуть, как танцуют другие, я отлично знаю, что все смотрят на меня одинаковым взглядом — невидимый ярлычок пришили к моему смокингу: тысячи гектаров ланд, недвижимое имущество. Одна и та же искательная улыбка у всех, одни и те же потуги поговорить «о том, что считается интересным». А представление этих дурочек об «интеллектуале»!.. Нет, даже думать об этом не хочется. Достаточно, если Донзак поймет, каким неожиданным счастьем с первого же дня стала эта девушка, с такой любовью смотревшая на бедного студента, за которого она меня принимала. Мое нежелание показываться с ней вместе на улице — это я узнал впоследствии — она объяснила боязнью скомпрометировать ее, таким ангелочком я ей показался; потом мы немало смеялись над этим. Но истинной причины я ей не открыл, да и сам не очень был в ней уверен. Дело было, конечно, и в том, что стоит нам выйти из темного грота книжной лавки, как миф о бедном студенте рассеется, но главное было то, что я не отделял Мари от книжной лавки, с которой сам соединил ее, так же как не отделял мадемуазель Мартино от ее скакуна.

Я был защищен от нее и вместе с тем мог наслаждаться ею, как будто видеть ее в волшебном полумраке книжной лавки уже само по себе было для меня наслаждением. Тут не вставала передо мной ни одна из тех гнусных проблем внешнего мира, которые я, разумеется, не в силах был разрешить.

Такое положение могло бы длиться вечно, хотя бы потому, что Мари сама его приняла; оно отвечало тому образу, который она создала в сердце своем, тому моему свойству, которое она называла *poli me tangere* *. Если бы не случайная встреча... Но я не верю в случай, а совпадения, пожалуй, доказывают, что в нашей жизни и в самом деле все предопределено.

Хотя душой книготорговли Барда была Мари, хозяин и Балеж не одобряли того, что она разрешает многим клиентам, а я был в числе постоянных, рыться в книгах, которых они не покупали. Благодаря ей книжная лавка приобрела облик описанной в романе Анатоля Франса «Под вязами» книготорговли Пайо, где господин Бержере каждый день встречался со своими друзьями. Мари рассказала, что ей пришлось особенно горячо защищать меня и еще одного молодого учителя из Таланского лицея, который проводит у Барда все вечера по четвергам, в единственный свой свободный день. Как раз в этот день я никогда не появлялся у Барда: по четвергам книжная лавка была набита битком.

— Он такой же нелюдим, как вы, он ни с кем не знаком...

— Но он знаком с вами, — возразил я не без досады.

Моя досада вызвала у нее улыбку, она решила, что я ревную. Было ли это так? Во всяком случае, я почувствовал ревность, едва лишь напустил на себя страдальческий вид: я полагал, что влюбляются механически, так же как, согласно Паскалю, становятся истинно верующими.

Меня беспокоил возраст неизвестного соперника. Он был на несколько лет старше меня. Он внушал ей жалость полным своим одиночеством и безнадежной горечью, которая проскальзывала в его речах, казалось, в юности он пережил какое-то непоправимое несчастье. Она говорила о нем с сочувствием, возраставшим по мере того, как возрастало мое огорчение, на сей раз непритворное; я действительно был огорчен, и вскоре Мари не выдержала. Мы были с ней одни, скрытые от чужих глаз полкой с подержанными книгами. Впервые она взяла мою руку и удержала ее в своей.

— Подумать только, — сказала она, — я даже не знаю, как вас зовут. Я знаю лишь первую букву, я видела инициалы на вашем портфеле. Какие же имена начинаются на А?.. Вас ведь зовут не Артур, не Адольф? А может, Август? Или Августин?

Я почти коснулся губами ее маленького ушка. «Ален...» —

* Не тронь меня (*лат.*).

прошентал я, словно речь шла о величайшей тайне, и она повторила: «Ален», будто боялась забыть. Я спросил:

— А как вы меня называли, когда думали обо мне?

— Никак не называла. В те дни, когда вы не приходили, я думала: «Сегодня ангел не пришел...»

— Ах,— вздохнул я,— и вы тоже?

Я вспомнил те сумерки в Мальтаверне, когда Симон сказал мне: «Вы — ангел». Да, я подумал о нем именно в тот момент, когда он вот-вот должен был снова возникнуть в моей жизни! Мне самому это кажется настолько странным, что я подозреваю, уж не придумал ли я, сам того не сознавая, эту историю и так складно ее построил? Но нет, все произошло именно так. Помню, я бросился к выходу, даже не попрощавшись, а Мари шла за мной, повторяя вполголоса:

— Что с вами? Что с вами? Я не хотела вас обидеть...

— Девушки не любят ангелоподобных юношей,— сказал я. (Мы стояли с ней рядом, у порога. Ни одного покупателя в лавке уже не было.) — Впрочем, они правы.

— Потому что есть злые ангелы? — спросила Мари. Она деланно засмеялась, пытаясь рассеять возникшее между нами облачко.

— Нет, злого ангела они бы любили. Он причинил бы им страдания...

— Ну, смотря какие девушки,— сказала она.— Мне никогда не нравились грубияны. Я всегда их боялась.

— А я кажусь вам безопасным.

— Вы обижаетесь на каждое мое слово.

— А этого учительшки из Таланса, который приходит по четвергам, вы не боитесь?

— Ах, так это из-за него вы терзаетесь! Бедняга он, я из всех сил стараюсь, но, кажется, безуспешно, скрыть от него свое отвращение. Я даже заставляю себя брать его за руку, мне даже удастся удержать ее на несколько секунд в своей. Вы не поверите, но у него по шесть пальцев на каждой руке. Если б вы знали, как противно прикасаться к этому мягкому отростку, к этому хрящу, бр-р...

Я прислонился к витрине. Я спросил:

— Симон? Он в Бордо?

— Вы его знаете? Откуда вы его знаете?

— А известно ли вам, что и на ногах у него тоже по лишнему пальцу? Ну что ж, Мари, в четверг скажите ему, что одного из ваших клиентов зовут Ален и что он ангел, тогда вы

узнаете все обо мне, о моей матери, о моем детстве, откуда я родом,— Симон Дюбер тоже из тех мест. Сам я сегодня не стану говорить с вами о нем, я не могу это сделать, не посвящая вас во все подробности моей несчастной жизни, а это мне не под силу. Пусть уж он расчистит дорогу... А я только дополню его показания. После того как он все расскажет, мне легче будет ввести вас в эту историю, которая, в общем-то, никому не интересна.

Она прошептала:

— Кроме меня.

Затем я выслушал то небольшое, что она знала о Симоне. Он не вынес жизни в Париже и, едва защитив диплом, получил с помощью влиятельных покровителей, которыми очень гордился, назначение в Бордоский округ.

— Но он уверяет, что здесь его одиночество было бы еще ужаснее, чем в Париже, если бы он не встретил меня.

— А к своим родным он не ездит?

Об этом она ничего не знала. Он никогда не говорил о родных, как будто стыдился их. Я подумал, что, появившись он в Мальтаверне, моя мать не могла бы не знать о его приезде. Я сказал «до свидания», толкнул дверь. И вдруг подумал о предстоящем мне вечере и содрогнулся. Все, что мешало мне выходить на улицу вместе с Мари, исчезло бесследно. Скоро она все узнает обо мне и моей семье. Я даже не спросил, свободна ли она, я сказал:

— Не оставляйте меня одного сегодня. Мама в деревне. Она покинула меня. Я вам все расскажу.

Мне хотелось встревожить Мари, но ее радость заглушала всякую тревогу. Она попросила проводить ее до дому:

— Я забегу на минутку, только предупрежу маму и переоденусь.

Магазин закрывался через полчаса. Мы условились встретиться у «Гран-театр».

Это было первое мое свидание, и шел мне двадцать второй год! Сегодня вечером я буду не один. Я зашел в кафе и позвонил Луи Ларпу, нашему дворецкому, что пригласил к обеду приятельницу. Воображаю его изумление. «Даму, господин Ален?» — «Да, даму». — «Боюсь, что приготовлен только один бифштекс для вас, господин Ален». — «Откройте банку гусяного паштета и подайте бутылку вина по своему усмотрению».

Я ждал в тумане, перед дверью одноэтажного домика на улице Эглиз-Сен-Серен, где жила Мари, пока она переодевалась. Когда она появилась, это была она и не она, ускользнувшая из темной книжной лавки, от своего ремесла, а я впервые в жизни гордо выступал, ничем не отличаясь от других молодых людей в этот ноябрьский вечер, навсегда оставивший во мне свой аромат. Я торопился попасть на площадь Гамбетты и Интендантский бульвар — решусь ли признаться? — да, чтобы меня увидели с этой молодой женщиной. Я все же спросил у Мари:

— Вы не боитесь, что вас увидят на бульваре в сопровождении молодого человека? А не то мы можем пойти в обход переулками...

Она рассмеялась:

— О! Я, знаете ли... Скорее я могу вас скомпрометировать...

Я сказал, что мы родом из Базаса и в Бордо у нас мало знакомых. Надо было, однако, за десять минут пути до улицы Шеврюс, где я жил, подготовить ее к роскошной квартире, к дворецкому.

— У нас две тысячи гектаров сосновых лесов, вот что! — брякнул я самым дурацким образом. Эта цифра, казалось, не произвела на нее впечатления. Я добавил совсем уже глупо: — Не считая всего остального.

— Хвалиться тут особенно нечем.

— Я не хважусь, но я скрывал все это от вас. А теперь надо же вас предупредить.

— Нет, Ален, это меняет дело. Я не буду обедать в доме вашей матери в ее отсутствие и без ее ведома. Я поведу вас в маленький ресторанчик в порту, к Эйрондо.

Я возразил, что это невозможно, что я позвонил домой, заказав достойный такой гостии обед.

— Ну что ж, вы можете позвонить от Эйрондо и отменить свои распоряжения.

— Вы не знаете Луи Ларпа, нашего дворецкого. Я никогда не решусь... Он открыл банку гусяного паштета. Для него это священнодействие. Кроме того, я ненавижу телефон. Я позвонил ради вас, но никогда к этому не привыкну. Я почти не пользуюсь телефоном.

— И вам не стыдно?

— Да, стыдно. Мама всегда твердит: «Каким бы умником ты себя ни считал, ты просто жалкий трусишка».

— Я вижу, что появилась вовремя.

— Вы меня презираете...

— Нет, почему же? Несмотря на ваши тысячи гектаров, вы никогда не примиритесь с этим миром, вы никогда не станете одним из них... Я встречаю их в книжной лавке, правда, немногих: ведь читать они не любят. Но иногда попадаются клепенты, которые собирают редкие издания. Я наблюдаю за ними: книжный прилавок — это вроде баррикады! Я их выслушиваю, исподтишка слежу за ними, я их знаю.

— Но меня, Мари, вы не знаете. А когда узнаете...

Мы сидели в самом дальнем углу ресторанчика — раньше здесь, наверно, был матросский кабачок, а теперь сюда забегали поесть ракушек, миног или — в грибной сезон — белых грибов. Мари подошла к стойке, чтобы позвонить ко мне домой. Она вернулась, смеясь до упаду, я и не знал, что она умеет так смеяться:

— Успокойтесь! Я слышала, как дворецкий крикнул кухарке: «Он все отменяет! Хорошо, что я не открыл паштет». Ну как, успокоились?

— Я просто смешон, — проговорил я жалобно.

Когда я размышляю об этом вечере, меня поражает мое жадное желание излить свою душу — нескромность, с какой я, не умолкая, говорил о себе, как будто этой молодой женщине или девушке, которую я совсем не знал, нечего было рассказать мне о своей жизни, словно само собой разумелось, что из нас двоих интерес представляю только я один. Она слушала меня весь вечер, не задавая иных вопросов, кроме тех, в которых я нуждался, чтобы окончательно освободиться от душивших меня признаний.

— Симон Дюбер вам расскажет больше, чем решусь я сам...

— Если хотите, я не стану говорить с ним о вас.

Я возразил, что, напротив, хотел бы, чтобы наш враг — а он стал нам врагом — описал Мальтаверн в самых черных красках.

— Обо мне, впрочем, он не скажет плохого, если только сам не переменялся: меня он любил. — Помолчав, я спросил: — Признался он вам, что учился в семинарии, что носил сутану?

— А, теперь я понимаю, почему у него такой неприкаянный вид. Священники мяли и месили его, а потом выбросили на свалку...

Я колебался, прежде чем спросил:

— Мари, существует ли для вас религия?

— А для вас, Ален? Я спрашиваю, хотя и знаю ответ.

Откуда она знала? Я настаивал:

— Но вы, Мари?

Она сказала:

— Я — это неинтересно. — Потом добавила: — Для меня игра кончена, все мои карты биты — мне двадцать восемь лет. Сообщаю вам свой возраст, чтобы вы не подумали, будто я способна мечтать о вас.

Я спросил:

— Почему бы и нет? — и вдруг вскочил, словно в панике: — Уйдем отсюда!

— А счет, мой дорогой Ален!

Когда мы вышли на уже обезлюдившую набережную, где навстречу нам попадались одни лишь подозрительные личности, я почувствовал желание поскорее вернуться на площадь Комеди. По вечерам случалось немало нападений на улицах, особенно после полуночи. Мари сказала, смеясь, что я выпил один чуть не всю бутылку «марго» и поэтому она не слишком доверяет всему, что я наговорил о Мальтаверне.

— Нет, верьте мне, Мари. Впрочем, вы сами убедитесь, что такую историю никто не может придумать, и к тому же Симон вам все подтвердит. При жизни моего брата я думал, да и все остальные думали, что любимцем матери был я. Мое счастье было в том, что я в это верил. Когда Лоран нас покинул, мне в голову пришла постыдная мысль, к которой я несколько раз возвращался не без удовольствия: я подумал, что теперь остались только она и я. Да, я был способен на такую мысль: теперь никто больше не встанет между нами. Но все обернулось иначе; очень скоро я убедился, что никогда, ни в какой момент моей жизни я не был так далек от нее, что никогда еще мы не были так чужды друг другу. Но не человек стоял между нами, вы не поверите — между нами стояла собственность.

— Какая собственность? — устало спросила Мари больше из вежливости, чем из интереса.

— Наша, я хочу сказать моя, потому что Мальтаверн достался нам от отца, а теперь я унаследовал и часть, принадлежавшую Лорану. Но мама управляет всем, я передал ей мои права, и она чувствует себя полновластной хозяйкой. Разумеется, я знал ее любовь, нет, не к земле, в том смысле, в каком люблю ее я, а к собственности...

— Какой ужас! — сказала Мари.

— Нет, это не так низменно, как вы думаете. Это стремле-

ние к владычеству, стремление править необъятными пространствами...

— ...Править рабами. Вы сохранили рабство. О, проводите меня домой. Я боюсь возвращаться одна...

— Но сам-то я, Мари, во всей этой истории я тоже только жертва. Конечно, я провожу вас, но выслушайте меня: при жизни Лорана, пока мы были детьми, мамина страсть к собственности не так бросалась в глаза. Мама была нашей опекуницей, забота о земле была ее прямой обязанностью. Я думаю, главное, что изменило наши отношения после смерти брата, была уверенность в том, что теперь раздела не будет, что империя останется нерушимой.

— Это чудовищно.

— Еще более чудовищно, чем вы себе представляете. Один из наших соседей по Мальтаверну — Нумá Серис, дальний наш родственник, — владеет самым крупным поместьем в округе после нашего. Он вдовец, его жена умерла от горя, он ее уморил...

— От горя не умирают, — сказала Мари с раздражением.

— Как выдерживает Нума Серис аперитивы, коньяки и вина, которые поглощает с утра до вечера и считает единственной своей услугой, — эта тайна меня мало интересует. Но я всегда удивлялся, зачем к нему ездит мама. Она уверяла, что ей необходим его совет при продаже леса или в спорах с фермерами. Но в скором времени я открыл, что связывает ее с этим гнусным типом. У него есть препротивная дочка, которую мы ненавидели, Лоран и я. Зовут ее Жаннетта, но иначе, как Вошка, мы ее не называли. Помню, Лоран незадолго до смерти сказал: «Мне повезло, я слишком взрослый, чтобы жениться на Вошке. На Вошке женишься ты». И злая шутка неожиданно превратилась в прямую угрозу...

— Почему же в угрозу? Ведь вы не маленькая девочка, которую силком выдают замуж. Признайтесь честно: в душе вы отчасти сообщник вашей матери, сам мечтающий об этом мерзком союзе, и его-то, этого сообщника, вы и боитесь.

Мы стояли перед ее дверью. Она держала в руках ключ. Она сказала:

— До свидания, Ален. Не приходите в лавку до пятницы. Накануне я увижусь с Симоном Дюбером. Может быть, все мне представится по-другому.

Дверь захлопнулась. Я остался один на тротуаре, на этой узенькой улочке квартала Сен-Серен. Я примостился на сту-

пеньке крыльца и, упершись локтями в колени, заплакал. Мое отчаяние было непритворным, но, строго говоря, все-таки было игрой. Я упивался собственной скорбью. И тем не менее настоящие слезы текли у меня между пальцев, настоящие рыдания я безуспешно пытался удержать.

Дверь позади меня приоткрылась. Я вскочил. Мари появилась на пороге с лампой в руках. Она еще не успела снять шляпку. Она сказала:

— Хорошо, что я увидела вас в глазок.

Она повела меня за собой, предупредив, чтобы я не шумел, хотя спальня ее матери и выходит во двор. Мы вошли в узкую комнату, очевидно гостиную. Там было холодно и стоял нежиданый запах. Кресла были покрыты чехлами. Даже люстра была затянута кисеей. Мари усадила меня рядом с собой на диван. Я продолжал плакать, и она сказала:

— Какой вы еще ребенок! Вам даже не пятнадцать — вам десять лет! Так и хочется спросить: «Ну как, прошло это страшное горе?»

Она первая обняла меня. Я уткнулся лицом в ямку ее плеча у шеи. Она не шевелилась, словно боялась спугнуть птицу, опустившуюся к ней на палец, а я был потрясен сошедшим на меня покоем и счастьем. Я делал первые робкие шаги. Я позволил наконец себя «тронуть» в прямом смысле этого слова. Я согласился не быть больше «неприкосновенным». Она сначала вытерла мне глаза своим носовым платком, потом прикоснулась к ним губами, положила на них свою прохладную ладонь. И тихонько погладила меня по щеке, больше ничего. Я снова начал говорить, а она — терпеливо слушать.

— Мне стыдно, — сказал я, — что у вас создалось такое страшное представление о моей бедной маме. Я сам вижу, что многое в этой истории неубедительно. Как объяснить вам, что за человек моя мать? Единственный раз, когда я решился сам заговорить о ее планах насчет этой маленькой Серис, изложить ей причины моего отвращения, она не пожелала даже выслушать их. Вам это покажется невероятным, но она совершенно искренне убеждена, будто все, что я называю физической любовью, не существует для людей особой породы, к которой принадлежим мы, она и я, что все это выдумки сочинителей романов, а на самом деле есть лишь долг, возложенный на женщину творцом для продолжения рода и удовлетворения скотских желаний мужчины; она призналась, что это для нее самое непонятное в сотворенном богом мире. Я согласился, что столь тес-

ная связь души, взыскующей бога, с животной плотью способна привести дух на край пропасти. Мама бурно запротестовала, уверяя, что это испытание, через которое христианину надлежит пройти, а главное, не надо поддаваться соблазну, читая об этом в книгах, заполнивших всю мою жизнь. «Но ты — мой сын,— добавила она,— я знаю тебя и не сомневаюсь, что ты испытаешь такое же отращение ко всему этому... Ты еще не можешь понять...»

И тут я подумал о своем отце, которого не знал, самом кротком, самом ласковом из людей. Я прошептал: «Бедный папа...» Она ответила едва слышно, не простив ему ничего: «О! Клянись тебе, он не щадил меня. Я никогда не уклонялась». Я повторил: «Бедный папа». Помню, помолчав немного, я спросил у мамы, не терзает ли ее совесть, что она прочит эту несчастную Жаннетту такому мужу, как я, который наверняка станет избегать ее. «Но, дорогой мой, это счастье для нее! После того как она родит тебе сына, ты оставишь ее в покое, и она будет гордиться, что благодаря ей создано поместье, самое значительное в округе по размерам, по качеству земли. И маленькая Серис сможет облагодетельствовать все подвластное ей население, а это единственная законная улада, дозволенная женщинам нашего круга...»

Бедная моя мать! Мари удивилась, почему я не сказал маме, что подобное обожествление земли непозволительно для такой усердной христианки, как она.

— О! На этот счет у нее достаточно резонов, да и выполнение долга оправдывает все. Для мамы зло заключается в вожделении, которого она никогда не испытывала, она называет его похотью и чувствует к этому отращение. Ей и в голову не приходит, что грех может быть связан с гордыней обладания и власти. Читала ли она когда-нибудь, то есть я хочу сказать, задумывалась ли она над иными словами господа, которые повергают меня в трепет? Нет, неправда, я трепещу не больше, чем она.

И тут мы оба замолчали.

Наконец я прошептал:

— Что сказала бы мама, если бы нас увидела?

— Тебе не холодно?

— Нет, с тобой тепло, как в гнездышке.

Мари тихо проговорила:

— «Первое ты с любимых уст слетело...»

Я поправил:

— «Первое да»...»

Прошло еще какое-то время, она отбросила мои волосы со лба и прижалась к нему губами; теперь пришла моя очередь напомнить ей стихи Верлена: «...порою вас целует в лоб, как малое дитя».

Мы сидели не шевелясь. Вдруг она выпрямилась и обхватила мою голову руками:

— Оставь ее! Да, свою мать, покинь ее, отдай ей все и живи один.

Я печально ответил:

— Никто не может сделать так, чтобы все это перестало быть моим.

— Ты — собственность своей собственности. Ты будешь мужем Вошки!

Я прижался к ней. После долгого молчания я сказал:

— Как мне бросить маму? Всю жизнь она была со мной. Пойми, моя драма не в том, что она захватила принадлежавшие мне земли, а в том, что она предпочла их мне.

— В том, что она изменяет тебе с ними!

— Это так, и, может быть, с твоей помощью я в конце концов сбегу от нее.

— Чем я могу тебе помочь, бедный мой малыш? Я могу открыть тебе глаза, то есть сделать еще более несчастным, но не могу вдохнуть в тебя волю, которой у тебя нет...

Я возразил, что благодаря ей уже переменялся, я не мог бы и вообразить себя таким несколько недель назад; теперь я понимаю, что вырваться от матери было бы счастьем, но не вижу, каким образом смогу обойтись без нее: ведь я совершенно не способен управлять имением. Разумеется, я дорожу им — я не стыжусь этого — больше всего на свете. Мальтаверн — моя единственная любовь. Но зато земли Нума Сериса для меня ничто. А Вошка внушает мне ужас. Всю жизнь я только и слышу похвалы матери, что она всегда добивается своего. Если ей приглянулся участок леса, она способна ждать годы, но рано или поздно приберет его к рукам. О продаже каждого клочка земли нотариус заранее предупреждает ее или Нума Сериса. Они ведут игру вдвоем, по очереди уступая друг другу. Я был главным козырем в их завершающей комбинации, а после смерти Лорана моя мать стремится к ней с такой нескрываемой и бурной страстью, что, по-видимому, у меня нет никакой возможности вырваться из этого плена.

Мари спросила, сколько лет Вошке, и успокоилась, узнав, что ей всего двенадцать.

— Но, бедный мой малыш, в твоём распоряжении по меньшей мере семь-восемь лет, чтобы отразить этот удар, ведь прежде всего ты можешь жениться. Ты не стал бы даже думать о Вошке, не будь ты сыном своей матери и своей земли, они-то и держат тебя, они обе.

— Да, но теперь со мной ты.

Она слегка отстранилась, пропела: «Пора нам расставаться, настало время сна», потом открыла передо мной входную дверь.

Я широко шагал посередине пустынной мостовой.

Радость и сила бушевали во мне, и жертвой их стала моя мать. Теперь вслед за приговором, который я сам ей вынес, словно прорвались с запозданием все копившиеся во мне чувства. Итак, этот вечер все поставил на свои места: отвращение, скрыть которое не могла Мари, испытывал теперь также и я. Более того, прислушиваясь к своим шагам на ступенях нашей старой парадной лестницы, я чувствовал нестерпимую злую обиду за то, что мама бросила меня одного, это же преступление — не предпочесть меня всему... Но было нечто худшее. Она, эта старая регентша, не задумываясь, предпочла своему сыну счастье управлять его империей, а сына заранее приносила в жертву, мысленно уже принесла в жертву, сочетав его с Вошкой, и нет ей оправдания, нет оправдания, даже если она никогда не знала плотской любви. Ведь она видела, как страдал мой отец. Мой отец! Отец! Нежно любимый незнакомец. Помню, как-то вечером, когда мне было лет десять или двенадцать, я возвращался из коллежа и меня вдруг осенила мысль, что ты не умираешь. Не знаю уж, какую я сочинил историю, но выходило так, что ты должен был вернуться после долгого путешествия и сейчас я застаю тебя дома. Я бросился бежать как безумный, расталкивая прохожих. Я взлетел по этой самой лестнице, по которой сейчас медленно шагал. Под китайским фонарем мама проверяла Лорана по катехизису. Кресло бедного папы напротив нее было пусто. Отец, от тебя осталась лишь прибитая над маминной кроватью фотография, увеличенная Надаром...

ГЛАВА V

Ровно в пять я был в книжной лавке, и, хотя Мари нахмурила брови, я с первого же взгляда понял, что она рада моему непослушанию. Но ее еще осаждали последние покупатели: она велела зайти за ней через полчаса. Шел дождь, я прогуливался, укрывая под зонтиком свое счастье, свою гордость. Я погляды-

вал на свое отражение в витринах. Теперь я походил не на ангела, а просто на юношу, которого любит девушка. И не первая попавшаяся девушка. Нет, любовь не ослепляла меня: Мари стояла неизмеримо выше своего положения (ох, уж эти буржуазные понятия о положении; что тут удивительного, что Мари на голову выше всех дурочек из нашей среды!). Она была очень начитанна для женщины: в нашей семье дамы обычно читали только романы «Библиотеки легкого чтения». Особенно меня поражало в ней умение судить обо всем и общее с моей матерью стремление руководить и даже главенствовать. Приказчик Балеж без конца твердил:

— Что бы делал хозяин без нее...

В тот день, когда мы встретились под колоннами «Гран-театр», где я поджидал ее, прячась от дождя, а потом отправились в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа, пропитанное ненавистным мне запахом абсента, она поведала мне со своей ясной, почти резкой манерой то, что, по ее мнению, я должен был знать о ней:

— Я уже говорила, я не строю никаких тайных планов на твой счет, это для меня невозможно, никогда не стану я мечтать о том, о чем мечтают все девушки, которые любят и любимы...

Ее отец, сборщик налогов из Медока (я припомнил эту историю), бросил свою жену, стал играть, растратил несколько миллионов; его нашли повесившимся в каком-то сарае.

Что делать? Что сказать? Я неловко взял Мари за руку, она ее убрала. Потом твердо продолжала:

— Но я еще не кончила (бесстрастным тоном, словно давала показания в суде о трагическом происшествии).

Друг родителей устроил ее к Барду.

— Этот друг был одних лет с моим отцом, он знал его с детства. Первое время он даже был нам предан. Но это оказалось сильнее его, и рано или поздно я должна была за все расплатиться. Он преследовал меня. Моя мать закрыла глаза, а я... в те дни мне все было безразлично. Я не представляла себе, к чему это приведет. Ты будешь удивлен: я понимаю твою мать — не ее поклонение земле, а ее отвращение к плотской любви. Я благословляю тебя, именно тебя, за то, что ты не похож на этих скотов, которые меня преследовали. Даже Балеж! Да, этот горбун. Он хвастает своими победами, и не без оснований.

Она принадлежала старику! Она согласилась на это! Я не смел поднять глаза на Мари. Почти шепотом я спросил:

— Кто вас избавил от него?

— Грудная жаба. Он боялся смерти.

Может быть, она плакала, я не видел ее глаз. Я чувствовал только неловкость, я был шокирован. Я проговорил принужденно:

— Не плачьте.

— Я плачу не о том, что произошло тогда, а оттого, что вы сказали мне «вы».

— О! Это нечаянно. Послушай, Мари, теперь я понимаю, почему ты выбрала меня. Тебя, девочку, отдали в жертву скотам, ты вырвалась от них, но в душе навсегда сохранишь страх перед ними.

Она не ответила, она хотела еще что-то сказать, я это чувствовал. После довольно долгого молчания она решилась:

— И еще меня тревожит то, что ты христианин. Ален, могли я оторвать тебя от того, с чем связана вся твоя жизнь?

Я повторил: «Моя жизнь?» Эти слова поразили меня. Но поразила меня не ее шепетильность, а что-то нарочитое, какой-то неуловимый оттенок в голосе. Я понял это не сразу; только час спустя, когда я медленно поднимался по лестнице своего дома на улице Шеврюс, меня охватила тревога, которую она пробудила во мне. Дело было не в затруднениях религиозного порядка, на которые намекала Мари, а в том, почему она вспомнила о них, заговорила о них. И вдруг, когда я остановился передохнуть на лестничной площадке, где пахло газом, я произнес полным голосом: «Она притворялась». Вспышка интуиции внезапно все озарила.

Я не поддался. Этот дар, которым я так кичился, не выдумали его я сам? А может, меня убедил в этом Донзак. Я сходил с ума, боясь, что дурачу самого себя. Я попытался успокоиться. Шаг за шагом я восстановил в памяти все, что рассказала мне в этом кафе Мари, и скрытые мотивы и причины вдруг осветились беспощадным светом: все было заранее продумано — это очевидно, я должен был узнать из ее собственных уст о растрате, которую совершил ее отец, об этом мрачном происшествии и обо всем, чем оно для нее обернулось. Никакие сплетни ей теперь не страшны. Она защитилась. Без сомнения, она ожидала другой реакции с моей стороны после нанесенного удара. Почему она произнесла эти неожиданные слова «ты христианин»?..

«Ты христианин, ты христианин...» Черт возьми! Это значит, вне брака, от которого она, разумеется, отказывается, больше того, якобы не допускает и мысли о нем, между нами ничего

невозможно. Вот в чем следовало меня убедить. Я ответил ей весьма легкомысленно, чтобы она не беспокоилась о христианине, он охотно согласится стать грешником, с этим он уже как-то свыкся.

— Нет, Мари, не беспокойся: *felix culpa!* * Если только грех может принести счастье...

Однако Мари не ошиблась: я никогда не порывал с религией. Для меня нестерпима даже самая мысль об этом. Как странно, что она догадалась. Откуда она это знала? Трудно поверить, чтобы женщина ее среды, по-видимому совершенно равнодушная к вопросам религии, могла по немногим сказанным мною словам заключить, что причащение святых тайн мне куда нужнее, чем неосвященные хлеб и вино. Она это знала. Она слышала об этом от другого. От кого?

О боже, боже! На этой мрачной площадке я вдруг увидел все и был ослеплен своим открытием. Она мне солгала. Симон Дюбер, не замеченный мною, должно быть, видел меня в лавке и сказал Мари: «Знаю я его, вашего бедного студента, знаю я вашего ангела». Они действовали заодно. Но, в конце концов, у нее не было никаких оснований предполагать, что я поражен болезнью, свойственной многим юношам, которые считают, будто ни одна женщина не может их полюбить ради них самих. Не делал ли я каких-нибудь признаний Симону на этот счет? Нет... Да! Вспомнил! Рассказывая ему о бордоской ярмарке, об этих анатомических восковых муляжах, я разоткровенничался. «Он все передал ей. И она тотчас же заговорила о своем собственном отвращении. Она играла наверняка». Я твердил себе: «У тебя нет никаких доказательств! Ты жертва арабского сказочника, который живет в тебе и неустанно придумывает всякие истории, чтобы заткнуть щели между прочитанными тобой книгами, чтобы в стене, отгородившей тебя от мира, не было ни единого просвета. Но на сей раз история, которую ты сочиняешь, — твоя собственная история. Истинная или выдуманная? Какая доля тут принадлежит воображению? Где именно перекроило оно на свой лад действительность?

Я пересек маленькую мамину гостиную, разделявшую наши с ней спальни. Хотя два года назад у нас провели электричество, я чиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу, ту самую, что еще в детстве светила мне, когда я читал, когда делал уро-

* Счастливым грех (лат.).

ки, когда готовился к экзаменам. Я присел на кровать, ни на минуту не спуская мысленного взгляда со всей совокупности фактов и упорно повторяя: «Это ничего не доказывает...». Я чувствовал, что не в силах убедить себя. Да, Мари тщательно подготовилась к своей вечерней исповеди в кафе, да, она своим признанием рассчитывала нанести двойной, даже тройной удар: она заранее нейтрализовала все, что могли бы мне рассказать о ее прошлой жизни; она вменила себе в заслугу то, что у нее нет и задней мысли о замужестве; вместе с тем она напомнила мне о моей религиозной жизни и сообщила о своем решении не посягать на нее. Таким образом, если я все же не могу обойтись без Мари, то надо опять-таки вернуться к мысли о браке... Да, но маловероятно, чтобы она на это рассчитывала. И потом, бесспорным было чувство, которое она питала ко мне. В этом я уверен. Я нравился редко, но когда нравился, я это твердо знал. В чужих желаниях я никогда не ошибался.

Я заметил, что на кровати лежит почта — газеты и единственное письмо, от мамы. Я поднес его к лампе. У меня не хватает духу его переписать. К чему навязывать Донзаку это чтение? Все эти расчеты его не интересуют. Мама откладывала свое возвращение на несколько дней. «Игра стоит свеч, — писала она. — Нума Серис отказался покупать Толозу, хотя это лучшие земли в округе. (Очевидно, была ее очередь совершить сделку.) Уверяет, будто у него нет наличных денег. Разумеется, они у него есть, но он считает, что получит Толозу без лишних трат, когда ты женишься на его дочери. Он и внимания не обратил, когда я сказала, что у тебя нет склонности к женитьбе. Конечно, он не подозревает о моем отращивании. Да и зачем говорить об этом? У нас впереди по крайней мере десять лет. Твои чувства могут перемениться. Даже наверняка переменятся...»

Ничего больше не существовало — даже от ее религии, фарисейской, близкой к фетишизму, оставалась только оболочка. Все было съедено изнутри. Да, видимо, и внутри никогда ничего не было. Я оглядел эту комнату, которая была моей, но не носила ни малейшего моего отпечатка — вот разве только книги и журналы... Коричневые обои преобладали в нашем доме: «Ваша бабушка обожала коричневый цвет». Все стандартное, из универсального магазина: худшее из уродств — уродство, порожденное недостатком культуры.

Я взял с письменного стола фотографии произведений современной живописи, которые присылал мне из Парижа Донзак,

«чтобы воспитать мой глаз». Но как составить себе представление о картине без цвета? Я никогда не видел других полотен, кроме картин Анри Мартена, которые висят в музее в Бордо, где мы иногда укрывались от дождя: «Тинторетто рисует свою умершую дочь» и «У каждого своя химера».

Не знаю, почему я задумался обо всем этом убожестве именно в ту минуту, в этом мертвом доме, где единственными живыми существами были двое старых слуг, которые спали в каморке под крышей.

И как всегда, когда я бываю несчастен до того, что готов умереть — умереть буквально (Донзак знает, в нашей семье многие покончили с собой), я встал на колени перед кроватью и снова заплакал, но на этот раз так, словно прижимался лбом к невидимому плечу. Вся моя вера заключалась в этом движении несчастного ребенка, которое многим покажется глупым и малодушным; но разве из малодушия бросается в пруд загнанный олень, спасаясь от собак? Я знал, что сейчас на меня снизойдет великий покой; пусть я проживу целый век, и даже если все мудрецы и философы отвергнут Христа, и даже если все покинут его, я все равно останусь с ним; не затем, чтобы служить ближнему, как истинные христиане, не потому, что я возлюбил ближнего, как самого себя, а только потому, что мне нужен этот поплавок, чтобы удержаться на поверхности нашего страшного мира и не пойти ко дну.

Таково было направление моих мыслей в тот вечер, когда я стоял на коленях, зарывшись лицом в простыни. Я умилился душой. Снова я вернулся к мысли, к которой возвращался не раз, одно время, после первого моего причастия, я был просто одержим ею: поступить в семинарию. Но мама своей верховной властью решила, что у меня нет призвания, и мобилизовала всех священников, с какими я мог встретиться, чтобы они отговорили меня от этого намерения. Сейчас мне двадцать один год и надо мной никто не властен. Одним махом я избавлюсь от всего. Эту проклятую собственность я оторву от себя, я оставлю ее маме. Все земли будут принадлежать ей, но это убьет ее: ведь мамина одержимость — это наследование, вечное наследование, побеждающее даже смерть. Если я устраню себя, останутся только дальние родственники... Государство пожрет все. «К тому же, — обычно заключала она, — вопрос ясен. У тебя нет призвания. Это и слепому видно». Все, что служило ее страсти, не подлежало обсуждению, было видно и слепому. Но мне то что? Я могу уйти, даже не оглянувшись...

Боже мой, как бы ни любил я свою мать, а я любил ее до безумия, ты знаешь, что все равно я люблю ее не больше, чем тебя. Я затаил против нее обиду, которая все отравила навсегда. Истина в том, что, подобно маме, я предпочел тебе Мальтаверн, но совсем по другим причинам, чем мама: дело не в собственности ради собственности, не в обладании в том смысле, как понимает его она. Я не решился бы признаться никому, кроме Донзака: я не могу покинуть эту землю, эти деревья, речушку, небо над вершинами сосен — моих любимых великанов. горький запах смолы и болота, для меня он (пусть это дико!) — запах моего отчаяния.

Вот о чем думал я в этот вечер. Я сорвал с себя одежду и, даже не умываясь, погрузился в сон, пошел ко дну.

ГЛАВА VI

Звяканье подноса с утренним завтраком, бледные лучи летнего солнца, заглянувшие сквозь раздвинутые занавеси, пробудили ото сна уже не вчерашнего убитого горем мальчика. Я встал, чувствуя себя пронизательным и холодным; ночью, пока я спал, во мне созрела ясная мысль: я знал, что следует мне делать или по крайней мере попытаться сделать. Мари назначила мне свидание перед самым закрытием магазина; около шести часов я встречу с Симоном, который, как уверяла она, тоже придет к этому времени. Но она забыла, что по четвергам, как она сама рассказывала, Симон проводит в лавке всю вторую половину дня, приезжая из Таланса сразу же после завтрака. Значит, я должен его подстеречь и увидеться с ним до того, как он войдет в магазин.

Это был единственный шанс узнать, состоял ли он в заговоре с Мари или же я сам этот заговор выдумал. Без сомнения, он попытается обмануть меня, но я знал, что это ему не удастся. Он принадлежал к тем немногочисленным людям, над которыми мне дана власть — власть в полном смысле слова. Безумие писать об этом, но ведь я пишу только для Донзака, а он знает, о чем идет речь. «Один из тех, кого ты заволакиваешь...» — как он говорит. Я узнаю все очень скоро, если удастся поговорить с Симоном где-нибудь хоть полчаса, только не на улице. Но как встретить его наверняка? Из Таланса он придет трамваем, потом пешком поднимется по улице Сент-Катрин. Я не пропущу его, если с двух часов буду караулить на

углу Сент-Катрин и Пассажа, разве только они решили, чтобы подготовить план сражения, позавтракать сегодня вместе... Нет, обедать она может не дома, а завтракает всегда с матерью. Она мне говорила, так у них заведено. Мать готовит завтрак для них обеих... Значит, Симон около двух встретится с ней в книжной лавке. Мне надо занять свой пост как можно раньше.

В половине второго я уже был у входа в Пассаж со стороны улицы Сент-Катрин. Несмотря на толчею, труднее всего оказалось остаться незамеченным. Сразу видно было, что я кого-то поджидаю, причем неизвестно кого; а если молодой человек неподвижно торчит на тротуаре — это уже приманка. Можно было бы разглядывать витрины, но тогда возникала опасность упустить Симона. Я стирал от желания увидеть его, однако сам запрещал себе об этом думать из суеверного страха, сохранившегося у меня с детства, что ничего не происходит так, как мы того ожидаем, поэтому не надо заранее представлять себе события, как нам того хотелось бы.

Тем не менее все произошло именно так: около трех часов Симон внезапно появился в поле моего зрения (меня он не видел), неповоротливый, как всегда, вытянувшийся, надутый, с приобретенной еще в семинарии важной осанкой, в твердом воротничке сомнительной чистоты, вероятно целлулоидном, и широкополой черной шляпе — словом, учитель с головы до ног, невероятно постаревший. Сколько же ему лет? Он на четыре года старше меня — двадцать пять, возможно ли? Выражение «человек без возраста» подходило к нему в буквальном смысле слова. Так старит страдание, непрерывное страдание, в котором утопал он еще мальчиком, которое, по-видимому, захлестывает его и сейчас. Понял ли я это сразу, с первого же взгляда? Нет, я выдумываю, опять выдумываю — и все же это, должно быть, правда. Мне всегда казалось, что он тонет в какой-то обжигающей его жидкости. Но я не выдумал это лицо, словно вырубленное из грубой породы. Не выдумал я и молодой румянец, на мгновение окрасивший это окаменевшее лицо, едва он меня увидел, и мимолетную улыбку, и внезапный панический страх. «Нет-нет, не сейчас, господин Ален, только не сейчас», — заговорил он, едва я взял его за руку. Я не ошибся: он не должен был меня видеть до нашей встречи в книжной лавке.

— Послушайте, Симон, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз...

— Нет, я обещал.

— Но ведь вы не знали, что мы встретимся. Эта встреча от вас не зависела, она была угодна...

— Вы хотите сказать: угодна богу? Вы остались все таким же, господин Алэн. Достаточно взглянуть на вас.

— Угодна богу? Не знаю. Я-то, во всяком случае, хотел ее. Я подстерегаю вас целый час, теперь я вас не отпущу. Мари вы скажете все, что хотите, или вообще ничего не скажете...

Тут вдруг на меня нашло вдохновение, и я произнес именно те слова, которых он ждал:

— Нам-то что за дело, вам и мне? Эта история ее не касается. Это наша история, Симон, история Мальтаверна, наша тайна...

Его окаменевшее лицо вспыхнуло снова. Он повторил:

— Наша тайна, господин Алэн, наша жалкая тайна...

— Послушайте, знаете ли вы кафе Прево, «Шоколад Прево», тут рядом, на бульваре Турни? В этот час там пусто. Мы посидим там совсем недолго, сколько вы захотите.

Симон больше не сопротивлялся. Мы вышли на площадь Комеди. Он повернул ко мне свое неподвижное лицо и заговорил. Он сказал, что ни в чем не упрекает господина Дюпора, благодаря ему он смог подготовить в Париже диплом, а благодаря Гастону Думергу получил место преподавателя в коллеже департамента Сена и Уаза. «Но они не приняли в расчет мое произношение. Я и не подозревал, какую бурю может вызвать мое произношение в Париже, особенно в классе, где учатся двенадцатилетние мальчишки. Вы, бывало, не раз говорили: «Люблю только деревья, животных и детей». Так вот, последний пункт советую вам вычеркнуть: вы не знаете, на что они способны!» Его травили безжалостно. «Мы в Жиронде и не подозреваем, что творится в Париже, стоит лишь нам открыть рот». Тогда его назначили в Таланс. «Но даже в Талансе...» Мари обещала ему помочь исправить произношение. Она знает специальный метод. Я сказал, что он и так сделал большие успехи, его акцент почти незаметен. Бывает ли он в Мальтаверне?

— Что вы! Это слишком дорого... Нет, дело даже не в этом. Главное, что мадам почти не выезжает оттуда, впрочем, вы и сами знаете. Не надо даже говорить ей обо мне. А я... прошу прощения, но я тоже не могу видеть мадам, буквально... Не говоря уж о госпоже Дюпор. Эта никогда не протрезвляется, просто страх берет. Родители два раза приезжали в Таланс.

Я оплатил им дорогу. Прюдан как-то тоже приехал, ночевал у меня, в моей постели... Представляете...

Мы вошли к Прево. В этот час там и правда сидела только одна парочка за чашкой шоколада.

— Это напомнит вам полдники госпожи Дюпор,— сказал я смеясь.

Но Симон не засмеялся: ирония была ему недоступна, он опять замкнулся и оцетинился. Тщательно намазывая хлеб маслом, он макал его в шоколад, жадно ел и молчал. Времени оставалось не так уж много.

— Странно, что Мари решила обмануть меня,— начал я.— Почему она скрыла, что вы рассказывали ей обо мне, что она все знала обо мне от вас...

— Эта девушка говорит лишь то, что хочет сказать.

— А сама таит какие-то мысли насчет меня. Да, в конце концов, и я гожусь в мужья.

— Ну! Уж вы скажете! Она ведь не сумасшедшая. Молодой Гажак и продавщица книжной лавки! Не говоря уж о ее прошлом. Она слишком умна... И потом, она вас хорошо знает, хотя и обмолвилась как-то при мне (не говорите, что я вам передал): «Если бы я хотела вашего ангела, если бы я захотела, я получила бы его...» Мне даже кажется, она сказала: «Когда я захочу, я получу его». Но это могло означать и...

Он говорил, набив рот шоколадом и хлебом. Я сказал:

— Что ж, вот я и выскользнул из сетей.

— Какие сети? Нет тут никаких сетей. Она любит вас, понимаете? Это уж, во всяком случае, правда. Я ревновал и здорово на вас разозлился... Хотя нет, это неправда, не злился я на вас. Мне всегда казалось, что так и должно быть — вам дано все. Вот что: мы скажем, что встретились с вами на улице Сент-Катрин у Пассажа, в конце концов, так оно и было. А о чем мы не скажем — это о нашем разговоре у Прево.

Я расплатился и встал. До книжной лавки было не больше пяти минут ходу.

— Она нам не поверит,— вдруг сказал я,— так же как не поверил ей я. Вы лжете нам обоим, Симон. То, что вы лжете ей, я еще понимаю. Но мне!

Он пробормотал:

— А что я такое для вас?

Я не ответил. Войдя в Пассаж, мы в последнюю минуту решили не разыгрывать комедии, а честно рассказать Мари, как произошла наша встреча. Она увидела нас еще на пороге

лавки, в которой, как всегда по четвергам, было полно народу, окинула нас быстрым, испытующим взглядом и, не ответив на наши улыбки, снова занялась осаждавшими ее покупателями. Мы остановились у витрины. Симон сказал:

— Этого она мне никогда не простит. Но она и себе не может простить, зачем скрыла от вас, что я ей все рассказал. А все-таки это правда: вы понравились ей, когда она считала вас бедняком.

В этот момент Мари, воспользовавшись передышкой, подошла к нам. На этот раз она улыбалась и, шутливо подтолкнув нас к выходу, сказала:

— Теперь, когда вы встретились, вам нечего тут делать. Я буду только мешать вам.

Когда я возразил, что мы придем за ней к закрытию магазина, она сухо запретила нам это делать. Она обращалась к нам обоим, но смотрела на меня одного. Существовал только я. Она прикоснулась пальцем к моему лбу.

— Бог знает, что там происходит,— сказала она,— чего только вы не напридумывали... Тем хуже! К счастью, господин Дюбер не может больше ничего рассказать вам обо мне. Он ничего обо мне не знает.

Кто-то из покупателей отозвал ее. Я думал, что Симон не понял ее слов, но, едва мы вышли на улицу, он с яростью воскликнул:

— Ах, так! Я ничего не знаю о ней? Я знаю больше, чем она думает, и именно то, что она хотела бы скрыть от вас и о чем, ей кажется, я и понятия не имею...

Мне гораздо чаще приходилось быть в роли того, на кого женщина и не глядит, чем наоборот, но в таких случаях я испытывал лишь легкий укол ревности, я не ведал той горечи, почти отчаяния, которое обуревало Симона: так будет всегда, думал он.

— Что ж, мой удел — это мамаша Дюпор. Прощайте...

Я удержал его за руку и попросил проводить меня на улицу Шеврюс.

— Вы хоть немного отдохнете у меня в комнате...

Он последовал за мной, но нехотя, уныло повесив голову. Что он знал? Что мог рассказать о Мари? Я вовсе не страдал. Я хотел знать. Да, пусть все в ней станет явным. Это было любопытство самодовлеющее, как бы отчужденное. Но я упустил момент, когда Симон готов был заговорить из мести, теперь

нельзя было рисковать. Он поднимался по нашей лестнице почти с благоговейным чувством. Он был потрясен.

— Да,— сказал я,— лестница недурна. Двести лет назад в Бордо умели строить... Но комнаты! Во что мы только их превратили!

Я ввел его в большую гостиную, где Мунете, мамин драпировщик, «обрядил», как он выражается, окна со всей пышностью, не поскупившись на сборки, кисти, бахрому и помпоны. Симон был ослеплен.

— Это грандиозно!

— Это уродливо. Вспомните, Симон, кухню Дюберов, вашу кухню — окорока, подвешенные к балкам, деревенские ходики с тиканьем, подобным биению сердца, буфет, скромные фаянсовые тарелки, оловянные ложки, запах муки и жареного сала, а главное, та священная сень, где обитает бог, сень «Странников в Еммаусе»...

— Э! Вот еще! Посмотреть на вас — можно подумать, вы сами верите тому, что говорите...

— Буржуазная обстановка, такая, как наша,— это совершенное уродство. Едва крестьянин начинает богатеть и помышлять о гостинной, он переходит в буржуазию, то есть в уродство.

Симон повторял:

— Э! Вот еще!

Я повел его в маленькую мамину гостиную.

— Вот здесь и живет мадам! — произнес он с почтением, смешанным с ненавистью.

— Не часто она здесь живет. Подумайте, Симон, каково мне в этом старом мертвом логове! Мы вдвоем занимаем целое крыло. Но признаюсь честно: я сам создал эту пустыню. Я всегда боялся чужих...

— Особенно девушек?

— Так же, как юношей.

— Но Мари вы не боитесь. Она говорит о вас: «Я его приручила...»

По сжатым губам Симона проскользнула быстрая усмешка, которую я помнил у него с детских лет.

— Вы что-то знаете о ней, Симон, а она не знает, что вы это знаете...

— О, господин Ален! Забудьте о том, что вырвалось у меня в сердцах. Будет нехорошо, если я расскажу вам... Впрочем,— добавил он,— это может помочь вам понять ее. Она рассказала

вам о себе не все, но то, что она скрыла, может быть, сделает ее для вас еще дороже, а может быть, еще ужаснее... Разве с вами угадаешь?

— Кто мог рассказать вам о ней в Талансе? Да и здесь вы никого не знаете. Я вам не верю.

— Э! И не верьте. Я-то вас ни о чем не прошу!

Он снова окаменел.

— Но я, Симон, я вас прошу об этом. Придите мне на помощь, вы, знающий о ней то, что делает ее для меня еще дороже или еще ужаснее. Нельзя оставлять меня в таком сомнении. Чего только я не насочиняю теперь?

Тоска терзала меня, но я еще и разыгрывал ее, чтобы сломить последние колебания Симона. Настоящие слезы лились у меня по щекам, но, будь я один, я, может быть, и не пролил бы их. Таков уж я есть. Да простит меня бог!

Ничего необыкновенного не было в том, что Симону все стало известно. Балеж, горбатый приказчик, жил в квартале Сен-Женес. По четвергам, как и обычно, вечером после закрытия магазина, он отправлялся домой в том же трамвае, каким ездил и Симон к себе в Таланс. Сначала они обменивались лишь несколькими словами.

— Но и он тоже, этот Квазимодо, мечтает о Мари как одержимый. У него нет никого: ни семьи, ни друзей, я — первый живой человек, который слушал его с интересом и даже — он сразу догадался — готов был с такой же страстью, как и он, разговаривать о Мари без конца.

Я не стану воспроизводить здесь для Донзака рассказ Симона. Не стану восстанавливать эту сцену с мнимой правдивостью «повествования». Донзаку важно знать лишь то, что весть о страшной беде, поразившей эту девушку, угнетавшей ее и поныне, сразу принесла мне облегчение, успокоение — теперь я вздохнул свободно. Мне показалось было, будто Мари кем-то предупреждена о моей совестливости и строгости верующего христианина, но теперь я нашел объяснение в том, что Балеж рассказал Симону. У Мари, по крайней мере вначале, не было никаких расчетов, никакого намерения женить меня на себе, когда она заговорила о моей приверженности к соблюдению обрядов и таинств. Достаточно было Симону дать ей представление о моем строгом религиозном детстве, о моей матери и ее испан-

ском католицизме, об удушающей атмосфере Мальтаверна, чтобы эта девушка, которая все понимает, все чувствует, угадала мою драму, повторявшую ее собственную. Об отце Мари — распутном сборщике налогов — я знал, но у нее была еще и мать, очень набожная, но в своих религиозных взглядах как будто более терпимая, чем моя мама. Случилось так, что человек, носивший высокий духовный сан — не буду ничего говорить о нем, чтобы Донзак не мог догадаться, кто он, — каждый год проводил летние месяцы в Сулак-сюр-Мер, где жила семья Мари. Он был духовным наставником и матери и дочери. Мари стала его добровольным секретарем, больше того — любимой ученицей. Ему она обязана своим интересом к отвлеченным идеям, своей неожиданной для молодой провинциалки образованностью, но также, по словам Балежа, и безраздельной преданностью тому, что воплощало в ее глазах церковь, хотя на самом деле оказалось просто мужчиной.

У меня, разумеется, нет никаких оснований доверяться сплетням Балежа, пересказанным, возможно не вполне точно, Симоном. Мне достаточно было почувствовать, что трагический отлив веры, в одно мгновение опустошающий полную до краев душу, для Мари был связан с открытием (сколько юных христиан его совершали!), что святой, заслуживший ее доверие, был и сам всего лишь жалким созданием из плоти, таким же, как все остальные, еще хуже, чем остальные, из-за маски, которую он обречен носить вечно. Сокращенные тем, кто обратил их... да, немало я знал таких. Но я увлекся. Все это я уже сочиняю. В чем во всей этой истории я могу быть уверен? В том, что после скандала, вызванного самоубийством отца, Мари пришлось отказаться от своего положения среди руководимой прелатом молодежи, и это ей было тяжело, что друг отца, устроивший ее к Барду, тоже ученик и фанатичный последователь пастыря, порвал с ним из-за нее. Что произошло в действительности, Балеж точно не знал. Скорее всего, между двумя пятидесятилетними стариками, из которых один долго был под влиянием другого, произошла такая же ссора, какая вспыхивает из-за девочки у двух мальчишек в баре или на улице. Полагаю, не нужно придумывать иных объяснений теперешнего полного безверия Мари и ее основанного на собственном опыте понимания моей личной драмы...

— И вы, Симон, — сказал я ему, — и я сам — оба мы, так же как она, жертвы того, что слово сына человеческого, сына божия доходит до нас лишь через грешников. И не только его

слово. Мы отождествляем его с ними. Вот причина бедствия, которое длится две тысячи лет.

— Но вы-то, господин Ален, сохранили веру.

— А вы, Симон? Вы, значит, думаете, что потеряли ее?

Он не ответил, закрыв на мгновение лицо своими уродливыми руками. Он вздохнул.

— Что значит сохранить веру? Что значит потерять ее? Я думал, что потерял ее. Господин Дюпор поручил одному из своих друзей, профессору Сорбонны, составить для меня наглядную таблицу всех доказательств невозможности существования бога. Не смейтесь, вы понятия не имеете о современной науке, господин Ален, да и я тоже...

— Но для нас с вами существует иная невозможность: невозможно предположить, будто в определенный момент истории не явился тот, кто произнес известные слова...

— Кому приписывают известные слова.

— Да, и известные деяния.

— Мы с вами — последние, кто придает этому значение. Вы никогда не выходили из своей норы, господин Ален. Если бы вы знали, насколько все это несущественно в Париже, до какой степени с этим делом покончено...

— Но мы-то с вами знаем, что это существует...

— Что вы называете «это»? То, что вам вдалбливали с детства и чего я наглотался еще в семинарии?

— Нет, Симон, напротив: то, что сопротивляется этим формулам, этому бездумному повторению, этой выучке, то, что не зависит от заложенного в нас автоматизма... Но вы меня понимаете. Только вы один и можете меня понять!

Он спросил вполголоса, со сдержанным пылом:

— Почему вы так думаете?

Но зачем преподносить Донзаку нашу беседу в упорядоченном и приукрашенном виде, тем более что все существенное в ней я заимствовал у него же? Я хотел бы подчеркнуть, выделить из контекста самое важное в этой вечерней встрече, то, что, может быть, совершенно изменило мою жизнь отныне, сделало ее совсем не такой, какой была бы она, не явись мне этот призрак — Симон... Или, вернее, нет! Надо было написать так: то, что помешало мне изменить свою жизнь в тот самый момент, когда Мари готова была круто повернуть ее течение, то, что вернуло бегущую по ландам речушку в ее старое русло между ольховых деревьев, подобных неподкупной страже...

Я уверен, что именно в этот вечер, а не позже я почувствовал, что способен относиться к своей матери как к врагу, потому что тогда, в этой маленькой гостиной на улице Шеврюс, Симон открыл мне глаза; больше он не переступал наш порог, ведь моя мать вернулась из Мальтаверна на третий день, после того как купила Толосу.

Отныне каждый четверг около четырех часов я отправлялся к Барду, где ожидал меня Симон. Мари, окруженная покупатолями, улыбалась мне издали. Мы выходили вместе, Симон и я. Я уводил его к Прево. Там я старался не садиться против него, чтобы не видеть, как он макает в шоколад намазанную маслом булочку. Мы встречались с Мари после закрытия магазина, но теперь уже не в кафе на углу улицы Эсприде-Луа (после возвращения моей матери мы стали осторожнее), а в ледяной гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен.

Но прежде всего Донзак должен узнать, что сообщил мне Симон в тот вечер на улице Шеврюс. Тайну эту открыл ему Приудан, его брат, в день своего первого и последнего приезда в Таланс. Оказывается, моя мать была не так уж уверена в моей покорности и в своей конечной победе. Мне уже двадцать один год, и я могу стать добычей первого встречного, первой встречной. Она опасалась, как бы кто-нибудь, прельстившись моим богатством, не подцепил меня на крючок. Мое отвращение к браку не слишком ее успокаивало, она понимала, что женитьба была бы для меня единственной надежной защитой от Вощки. Наибольшая опасность, по ее мнению, таилась в моей студенческой жизни в Бордо. Она понимала, что я не легкая добыча. Она хорошо знала ту силу инертности, какую я противопоставлял всякой попытке соблазнить меня. Но достаточно будет одной встречи, чтобы разбудить во мне мужчину, такого же, как все, или даже хуже, чем все. Пока я не возвращусь в Мальтаверн, и не возвращусь навсегда, ей своего не добиться. Когда она наконец вернет меня и я брошу там якорь навеки, все произойдет так, как она задумала.

Главное, как объяснила она старому Дюберу (от него-то и узнал Приудан все, о чем рассказал брату), — не дать захватить себя врасплох. «Я выпустила его из рук, — твердила она, — я чувствую, как он ускользает от меня». Когда я решу жениться, хуже всего будет, по словам мамы, если я сделаю подходящий выбор, не вызывающий никаких возражений. Но даже и тогда она сумеет найти непреодолимые преграды: преграды

всегда найдутся. Я должен буду подчиниться ее запрету, безоговорочному запрету. Вся ее сила зиждется на моей неспособности вести дела, даже думать о них. Несмотря на то что она всегда гордилась моими школьными успехами в дни распределения наград, она судила обо мне в соответствии с привычной для ее среды шкалой ценностей, которой пользовался еще папаша Гранде. Ничего не изменилось во Франции со времен Бальзака. «Никчемное создание» — вот кем я был в глазах мамы, несмотря на все прочитанные мною книги.

Если же я буду упорствовать, она удалится в свое имение в Ноайяне и оставит меня одного с моими двумя тысячами гектаров. Но и это еще не все; чтобы лишить меня всякого выхода, она взяла с Дюберов обещание переехать вместе с ней в Ноайян. Обойтись и без матери, и без управляющего я не смогу, таким образом, мне не останется ничего другого, как покориться. Это пойдет мне только на пользу, помимо моей воли, она спасет меня. Я словно слышал ее голос: «Я тебя выносила и буду нести до конца моих дней».

Вначале Симон говорил равнодушно, как бы по обязанности: «Нужно, чтобы вы узнали, господин Ален...» Но постепенно озлобление против мадам, тайно копившееся в нем с самого раннего детства, начало прорываться в каждом его слове. Что же касается того, что испытывал я сам... Маме даже не было нужды появляться во плоти, чтобы я впал в обычное свое оцепенение. Она крепко держала меня в руках и была права, что не сомневалась в этом. Я вздохнул:

— Что ж, выхода нет!

— Да есть выход, господин Ален! Есть! Его нашла Мари. Если вы захотите, она спасет вас.

Тут он уперся и больше ничего не пожелал говорить: она сама, а не он, должна посвятить меня в свой план. И вдруг после долгого молчания он сказал с внезапно прорвавшейся приглушенной страстью:

— А я, господин Ален, клянусь вам, что если когда-нибудь не будет у вас управляющего и вообще никого... да ладно, вы знаете, границы имения мне известны не хуже, чем отцу. Подайте только знак, и я примчусь. О! Главное, не думайте, что я брошу все ради вас. Нет, я вырвусь из ада этой жизни в Талансе и снова обрету Мальтаверн...

— А Мальтаверн — это я.

Он отвернулся и встал:

— До четверга в книжной лавке.

Я слышал, как постепенно замирали на лестнице шаги Симона, потом захлопнулась тяжелая дверь. Я вышел из своего полунапускного оцепенения или, если хотите, из оцепенения, которому не стал противиться, едва речь зашла о маме. Теперь, когда я остался один, меня захлестнула холодная ярость не только против нее, но и против Мари, позволившей себе иметь какой-то план; это было бешенство человека, который слышит таким слабым, что внушает женщинам только жалость, меж тем как в нем бушуют неисчерпаемые силы. «Они увидят, эти женщины! Они увидят!» Что увидят? Главное — сохранить холодный рассудок. Самое радостное за сегодняшний вечер то, что теперь я знаю: по первому моему зову Симон бросит все. Чтобы бежать из своего ада, сказал он. Возможно... Но ни для кого другого он этого не сделает. Что бы ни ждало меня впереди, я буду не один.

ГЛАВА VII

Моя мать вернулась из Мальтаверна через два дня, вся еще в пылу битвы за Толозу: сто гектаров сосняка и столетних дубов в пяти километрах от деревни. Нума Серис считал цену непомерно высокой. Она же не сомневалась, что превосходно поместила капитал. После ужина мы сидели с ней в уголке у камина в нашей маленькой гостиной. С рассеянным видом, какой я напускал на себя, когда обсуждались подобного рода дела, я спросил у нее, откуда она взяла деньги на покупку Толозы.

— О! Я пустила в ход резервы, они всегда у меня под рукой.

— Да, конечно, крепежный лес, сбор смолы за текущий год. Не считая вырубки сосен в Бруссе...

Мать взглянула на меня. Я сохранял знакомое ей отсутствующее выражение лица, и она успокоилась.

— Важно иметь деньги,— сказала она,— не все ли равно, откуда они.

— Для меня и это важно. Если ты заплатила за Толозу из своих личных доходов, полученных с Ноайяна, Толоза — твоя. Если же из доходов с Мальтаверна...

На маму нашел «приступ».

— Чего ты добиваешься? Наши интересы совпадают, и тебе это отлично известно.

— Но они не совпадают с интересами государства. Накладно будет платить когда-нибудь налог на наследство за Толозу, которая фактически принадлежит мне. А кроме того, не всегда наши интересы будут совпадать: я не давал обета безбрачия.

Последовало молчание, и прервать его я остерегся. Тянулось оно долго, во всяком случае, так мне показалось. Наконец мама произнесла вполголоса:

— Кто-то сбивает тебя с толку. Кто же это сбивает тебя с толку?

Я изобразил величайшее изумление, на какое только был способен. Я напомнил маме, что мне исполнился двадцать один год и, право же, я не нуждаюсь ни в чьей подсказке, чтобы заинтересоваться кое-какими вопросами. Тут она взорвалась, обвинила меня в неблагодарности: она управляла нашим имуществом осмотрительно и успешно, являя пример для всех; она неслыханно его приумножила; она уедет в Ноайян, если я этого хочу, и больше палец о палец не ударит! К этой угрозе я остался нечувствителен. Я покачал головой и даже улыбнулся. Мама покинула гостиную и, проследовав к себе в комнату, щелкнула задвижкой, согласно неизменному сценарию, порядок которого я решил в этот вечер нарушить: я не стану, как обычно, стучаться к ней в дверь и умолять: «Мама, открой мне!»

Я подбросил в огонь полено и замер в спокойном отчаянии, но это был не тот даруемый богом покой, который предвкушал я в иные часы моей жизни. От этого покоя я отдаляюсь с каждым днем, вернее, мирские блага окружают меня все более плотным коконом, и, хотя я выступаю беспощадным судьей своей матери, оба мы друг друга стоим в своем стремлении завладеть землей, которая принадлежит всем и не принадлежит никому и в конце концов сама будет владеть нами...

На этот раз мама не возьмет верх. Ей больше не взять верх никогда. Возможно, она это предчувствовала. Я вспомнил ее восклицание: «Кто-то сбивает тебя с толку!» Должно быть, едва переступив порог, она, как всегда, стала расспрашивать Луи Ларпа и его жену о моем поведении. Обед, заказанный для дамы и через час отмененный по телефону самой же дамой,— этого было более чем достаточно, чтобы мама встревожилась. Доказательство тому я получил немедленно. Я услышал щелканье задвижки, дверь маминой комнаты отворилась.

Мама не стала дожидаться, пока я приду просить прощения, и сама сделала первый шаг. Она снова заняла свое место напротив меня, как будто между нами ничего не произошло.

— Я все обдумала, Ален. Ты прав, я действительно забываю о твоём возрасте и обращаюсь с тобой, как с ребёнком, хотя ты уже не ребёнок. Я освобождала тебя от всего, ни во что не вовлекала. Но ты ведь сам этого хотел. Для меня будет счастьем, если ты наконец заинтересуешься тем, что рано или поздно станет твоим прямым долгом! Ведь я не вечно буду с тобой.

Она умолкла, надеясь, что я встану и поцелую её, но я продолжал сидеть неподвижно и молчал. Тогда она напомнила, что при жизни Лорана покупку каждого гектара, каждую трамбу она совершала только как наша опекуница и от имени нас обоих. После смерти Лорана и до покупки Толозы речь шла лишь о мелких участках. А с Толозой надо было действовать решительно: владелец мог, того и гляди, передумать. Пришлось подписать купчую и выплатить деньги в тот же день, но она признаёт, что напрасно так поторопилась. Теперь она сделает все, что нужно, и из собственных средств вернёт в кассу Мальтаверна стоимость Толозы.

— А если ты когда-нибудь женишься, Толоза будет моим свадебным подарком. Но в двадцать один год не женятся.

— Потому что это призывной возраст. Но от армии меня тоже оградил: я избежал и этого. А вот женитьбы мне, может быть, избежать не удастся.

— Надеюсь, что так.

Я не выразил согласия ни словом, ни знаком; молчание между нами стало невыносимым. Мы поднялись и пожелали друг другу спокойной ночи.

Ещё не пробило и десяти. Пелагаю, каждый из нас, сидя в своей комнате, думал об одном и том же человеке: для мамы это была незнакомка, которую я пригласил как-то вечером в её отсутствие и которая настолько меня преобразила, что я осмелился спросить у матери отчета в покупке Толозы; но и для меня эта женщина оставалась незнакомкой, хотя я держал её в тот вечер в своих объятиях и верил, что она любит меня. Она мне солгала, она знала, что я это знаю, и не сделала ни малейшей попытки осведомиться, что же во мне происходит...

После встречи с Симоном я не был в книжной лавке у Барда целых три дня! Мари, должно быть, прочла в этом свой

приговор и отказалась от борьбы. Дикая голубь, которого она приручила, испугался и улетел: она постарается меня забыть. Такие мысли я приписывал ей. Потом я вспомнил, что Симон говорил о каком-то плане Мари спасти меня от женитьбы на Вошке. План Мари, задуманный Мари...

Я решил затаиться до четверга — для нашего свидания с Симоном. Но на другой день после приезда мамы, возвращаясь из университета, я не выдержал. Я пытался бороться. Как всегда, я зашел в собор, это было по пути: я даже сокращал дорогу. Обычно я там задерживался. В этом месте, принадлежавшем всем людям, я чувствовал себя наиболее защищенным от людей, как бы плавающим в безбрежном море любви, заказанной мне навеки, мне, подобно богатому юноше из Евангелия, который «отошел с печалью, потому что у него было большое имение».

В тот день я в соборе не задержался. Я дошел по улице Сент-Катрин до Пассажа. Не успел я переступить порог лавки, как Мари меня увидела, а я с первого взгляда почувствовал, что она страдает. Страдание состарило ее. Это была уже не молодая девушка, даже не молодая женщина, а живая душа, страдавшая долгие годы, но теперь она страдала из-за меня. Мне известно — и Донзаку тоже — одно свойство моей натуры, не знаю, моя ли это особенность или черта эта свойственна многим людям: если я привязан к человеку, мне, чтобы быть спокойным, нужно увидеть, как он страдает. Прежде чем я обменялся с Мари хоть словом, на мою душу снизошло великое умиротворение. Мы наскоро пожали друг другу руки. Я попросил ее зайти к Прево, как только она освободится, а в ожидании пытался убить время, кружа, как потерявшаяся собачонка, в лабиринте пустынных кварталов Сен-Мишель и Сент-Круа. Потом я сидел у Прево за чашкой шоколада, предаваясь животной радости отдыха. Наконец она вошла. «Она подкрасилась», — сказала бы с осуждением моя мать.

— Я пришла не затем, чтобы оправдываться. Можете думать что хотите... Но у меня не было никаких тайных мотивов. Просто я знала: если вы встретитесь без меня с Симоном Дюбером, между нами все будет кончено раньше, чем начнется...

— Я тоже обманывал вас, Мари. Мы оба лгали, чтобы не потерять друг друга.

— Потерять можно лишь то, чем владеешь. Нет, Ален, я не потеряла тебя.

Она не потеряла меня, она хотела меня спасти. Она видела, что мне грозит смерть, потому что для мужчины страшнее смерти вынужденный брак с женщиной, внушающей ему такой ужас, какой внушала мне Вошка. Моя мать знает, что время работает на нее, что каждый выигранный год приближает осуществление мечты, которую она лелеяла всю свою жизнь.

— Надо опередить ее, раз уж нам известно, куда направит она первый удар... Но прежде всего, Ален, все зависит от вас, и вы сами должны твердо знать, с кем вы, хотите ли вы, чтобы мы вас спасли? Симон Дюбер уверяет, что вы на это решились. Но, может быть, так было в день вашей встречи, а сегодня вы уже менее тверды?

Она искала мой взгляд, но мы сидели рядом, и мне нетрудно было уклониться. Я сказал, что готов ко всему и не готов ни к чему, что никогда больше не вернусь в ярмо, от которого мысленно уже освободился, но оставляю за собой право судить о путях, которые мне будут предложены.

Сам не знаю, как получилось, что главной темой нашей беседы стал Симон Дюбер. Она говорила о нем с увлечением и, я уверен, без всякой задней мысли, и то, что она мне рассказала, объяснило мне истинный смысл предложения Симона бросить все и последовать за мной, лишь бы избавиться от ада в Талансе. Бедный Симон. Свой ад он носил внутри себя. В Париже он был на грани самоубийства. Он все время близок к самоубийству, его удерживают лишь остатки веры. Он сохранил их и только поэтому устоял против своих новых учителей, которые пытались использовать его в своих целях. Они уговаривали Симона написать исповедь молодого крестьянина, которого хотела сбить с пути богатая ханжа. План книги был для него составлен, ему оставалось только заполнить пустые графы. Симон взбунтовался, они не настаивали, и, поскольку он был полезен в канцелярии, его терпели... Я вдруг вспыхнул:

— Оказывается, я ждал вас битых два часа и слонялся как потерянный по лабиринту этих мрачных кварталов лишь затем, чтобы поговорить о Симоне...

— Да, это правда, я говорю с вами о нем, потому что боюсь заговорить о нас, потому что знаю, о чем вы подумаете... Но, собственно, почему вы можете об этом подумать? Вы знаете, чья я дочь, на сколько лет я вас старше, что я делала, или, вернее, что со мной сделали за эти годы — что сделали со

мной эти старики. Ах! Какой я была в вашем возрасте, Ален, какой я была...

Нет, она не играла в эту минуту, а если играла, то какая это была актриса! Самым ужасным для нее было мое молчание. Я ничего не ответил, но не оттого, что был таким бесчувственным, а потому, что единственные пришедшие мне в голову слова, слова хорошо воспитанного юноши, прозвучали бы хуже любого оскорбления.

Я должен верить, сказала она, что, вступая в этот заговор, она не ищет для себя никакой выгоды, разве лишь испытает то удовольствие, с каким освобождаем мы из паутины муху, пока ее не сожрал паук. Наконец она перешла к плану битвы: как только моя мать уедет в Мальтаверн, я сообщу ей туда письмом о своей помолвке с «продавщицей из книжной лавки Барда». Мари была согласна, чтобы я воспользовался ее именем: ведь она действительно та женщина, которая должна внушать моей маме особенный ужас — ее среда, ее возраст, все, что мама немедленно узнает о ее семье и о ее прошлом, — этого будет вполне достаточно, чтобы моя мать сразу поставила меня перед выбором: она или Мари, а так как я буду упорствовать, она удалится в свое ноайянское имение и увезет с собой Дюберов.

Тут я прервал Мари: мне казалось невероятным, чтобы Дюберов можно было оторвать от Мальтаверна. Они приросли к нему, как устрицы к своей раковине. Но Мари считала, что опасаться нечего: старик Дюбер поймет, что это просто хитрость, чтобы вызволить меня из сетей какой-то дурной городской женщины. Он, так же как его хозяйка, мечтает прибрать к рукам земли Нума Сериса и считает себя незаменимым. Он ни на минуту не усомнится, что через недельку я позову его обратно.

Поразмыслив, я спросил:

— И вы думаете, она не сможет парировать удар? Вы не знаете мою мать.

— Я знаю вас, Ален. Вся ее сила — в вашей слабости. Вы хозяин всего, вы владеете всем, но она владеет вами.

Я не возражал. Мари поднялась и вышла одна. Нас не должны были видеть вместе. Мы уговорились встретиться в четверг в книжной лавке, когда там будет и Симон.

Хотя я не запоздал к ужину, мама, стоя на площадке, подстерегала мой приход. Я увидел ее большое бледное лицо, склонившееся над перилами: «Ах! Вот и ты!» Она не отойдет ни на

шаг, она будет следить за мной не спуская глаз, таков будет ее первый ход. Я понимал, что замысел Мари можно осуществить лишь в том случае, если мама уедет в Мальтаверн. Она должна узнать о моей помолвке из письма. Выступить против нее с открытым забралом я не решусь никогда. А если бы и решился, она разоблачит меня немедленно. Никогда еще мне не удавалось солгать ей так, чтобы она тут же не пристыдила меня.

В течение всей зимы, не посылая никого шпионить за мной, не прибегая ни к какой слежке, она каждый четверг узнавала, что я прихожу домой после тайного свидания с ее неизвестными врагами. В те вечера, когда Мари ждала меня в доме на улице Эглиз-Сен-Серен и уводила в ледяную гостиную, я напрасно по возвращении домой мыл лицо и руки над умывальником в буфетной, прежде чем запечатлеть на маминой щеке ритуальный поцелуй, обязательный в любой самый поздний час. Моя мать притягивала меня к себе, вдыхала мой запах и сразу распознавала нечто чужеродное. Ни разу она не сказала об этом. Но я знал, что она это знает. Мы оба с жестокой проникательностью видели друг друга насквозь.

Впрочем, этой зимой она получила неоспоримые доказательства, что я ее обманываю. Я, ненавидевший танцы, стал безотказно принимать все приглашения и чуть не каждый вечер надевал смокинг или фрак. Провожая меня, мама говорила: «Потом все расскажешь...» — и принималась расспрашивать сразу же, едва я возвращался домой. Она хотела все знать о званом вечере, и немного ей требовалось времени, чтобы догадаться, что я сам ничего не знаю, так как вовсе там не был или забежал лишь на минутку, достаточно было самых простых вопросов. На балах я никогда не задерживался. И еще одно доказательство: она ни разу не встречала меня у причастия; я устраивался так, чтобы не ходить к мессе, если мама была в церкви. Даже на сочельник я был приглашен к товарищу за город.

Луи Ларп всегда вручал маме всю почту, и она сама ее просматривала. Подозрительных писем там никогда не было. Она еще не напала ни на след Мари, ни на след Симона. Мы больше никогда не выходили вместе. Мы отказались от встреч у Прево и в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа. Мы встречались или в книжной лавке после закрытия, в «закутке» Мари, или в гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен. Теперь и думать было нечего, чтобы Симон переступил порог дома на улице

Шеврюс, и весной я сам несколько раз навестил его в Талансе. Он жил на пансионе у какой-то вдовы, в одном из тех одноэтажных домишек, которые в Бордо называют «балаганами». Симон долго сопротивлялся моему намерению посетить его: непреодолимое расстояние установилось между классами с покорного согласия бедняков и часто против воли богачей, стыдящихся своего богатства, как я.

Это была самая обычная комната, обставленная мебелью красного дерева, с окном, выходящим в сад священника, за оградой которого шла дорога на Байонну. Повсюду были разбросаны журналы и книги, но не романы, не стихи, а «Паскаль» Бутру, «Жизнь святой Терезы, написанная ею самой», «Святой Франциск Ассизский» Йоргенсена, сочинения Жана де ла Круа... В первый мой визит, когда я удивился такому выбору книг, Симон сказал: «Пополняю свое религиозное образование благодаря вам», — и тут же перевел речь на другое. В тот день я понял, что для него все теперь зависело от исполнения тайной мечты: я и он в Мальтаверне. Мечта, ни с чем несообразная и все же осуществимая.

Хотя из нас троих Симон был самым нетерпеливым, он считал, что Мари не права, желая приступить к действиям как можно скорее, и не советовал мне добиваться у мамы разрешения на поездку в Париж или в Ниццу, откуда я мог бы сообщить ей о своей помолвке. Симону казалось очень важным, чтобы бомба разорвалась во время пребывания моей матери в Мальтаверне, расположенном всего в нескольких километрах от Ноайяна. Тогда ее демонстративный отъезд и переселение Дюберов состоятся немедленно. Долго ждать нам не придется: несмотря на твердое намерение моей матери не оставлять меня одного, ей придется поехать в Мальтаверн проследить за сбором смолы, продать крепежный лес и подсчитать наличие сосен после нескольких вырубок.

Мы не предусмотрели, что на своем «дионе» она может, выехав на рассвете, тем же вечером вернуться в Бордо. Дважды она оставалась в Мальтаверне ночевать, но только на одну ночь, а надолго не задерживалась ни разу. Так прошел двадцать второй год моей жизни, и за это время незаметно и постепенно Мари превратила мальчика-ангела в мужчину, подобного всем другим. Однако мальчик продолжал жить вопреки всему, и всякий раз он возрождался снова, но не затем, что-

бы проклинать Мари: он прижимался к ней еще теснее и позволял себя баюкать.

Одно утешение все же было мне дано в том году: к Симону вернулась надежда. Будущая жизнь в Мальтаверне представлялась ему уходом в убежище, где мы оба — независимо от того, останусь я там или нет, — будем вместе искать и в конце концов обретем истину. Да, мы вместе совершим открытие. Какое открытие? Он говорил, что благодаря мне прозрел: все, чем церковь вызывает ненависть своих врагов, действительно заслуживает ненависти — это бывало и раньше, в любую годину истории человечества, — как заслуживает ее фарисейская религия мадам. Враги яростно нападали на те установления, перед которыми иные люди преклонялись, как, например, одержимый грегорианец Гюисманс. Но преклонение было так же бесплодно, как и проклятия. Мы с Симоном знали, что в известный момент истории бог проявлял себя, что он проявляет себя и поныне, в судьбах отдельных мужчин и женщин, которых объединяет общая черта — стремление теснее приобщиться к кресту.

— Вам это заказано, господин Ален, потому что вы — «богатый юноша». А вот мне — нет. Я, как был беден, так бедным и останусь. Вы не должны будете платить мне ни одного су сверх того, что дает моему отцу мадам. Я буду более чем вознагражден, если вы поделитесь со мной благами своих озарений, этим дарованным вам свыше светом.

Я предостерег его от иллюзий, будто существует верный способ ощутимо приблизиться к богу, напомнил, что меньше всего это зависит от нашей воли, а само это желание свидетельствует о поисках упоения, которые приводят нас к тому, чего хотели мы избежать.

Итак, ничего не произошло. Это был мой последний год перед защитой диплома, поэтому при любом затруднении я оправдывался подготовкой к экзаменам. Мари и Симон уточняли план военных действий применительно к условиям летних каникул. Оба они в толк не могли взять, как это двадцатидвухлетний юноша боится отправиться в путешествие без матери, и не только потому, что не хочет ее огорчать, но и потому, что сам все еще остается ребенком, который, бывало, приходил в ужас, когда мать на минуту оставляла его одного в вагоне, чтобы купить газету: во время поездок мама, еще больше чем

в повседневной жизни, освобождала меня от всего. Но она никогда не помогала мне в моих занятиях, как это делала Мари, когда я готовился к письменным экзаменам и каждый день приходил к ней на улицу Эглиз-Сен-Серен после закрытия книжной лавки. Маму я уговорил перенести ужин на более поздний час.

Так истек этот год, от которого мы ждали столько драматических событий, но который прошел без всяких историй, кроме истории нашей внутренней жизни; но об этой общей нашей истории, и даже о своей собственной, я не могу сообщить ничего, что не было бы придумано или приукрашено из желания заинтересовать Донзак. Мне кажется, моя душа как бы еле тлела — подготовка к экзаменам заставила меня все остальное, и даже бога, взять в невидимые скобки. Я больше не сомневался в Мари, потому что она страдала.

И даже бога... Здесь Донзак снова обнаружит свое влияние. Он проповедовал, что иногда надо давать своим естественным влечениям передышку. Я знал, что Мари печальна, потому что между нами скоро все будет кончено, но со времен своей работы у отца Х. она сохранила воспоминание об одном мистике, создавшем целую доктрину так называемого «тайнства преходящего мгновения». Она говорила: «Эта минута принадлежит мне, ты здесь, я здесь, дальше я не загадываю».

Не могу сказать, чтобы в течение этого времени ко мне порой не возвращались сомнения насчет Мари: один раз она уже солгала, она может снова солгать. Я считал, что она вполне способна разыгрывать роль страдающего из-за меня создания, она знала, что именно это и было мне нужно, чтобы не страдать самому. Может быть, она раскрыла мне свой план не до конца. Может быть, в нем таилась ловушка, о которой знала лишь она, и в один прекрасный день я окажусь связанным с ней перед богом и людьми. Но я достаточно осторожен, меня не захватишь врасплох, я буду принадлежать ей, только пока я этого хочу... Из нас троих один Симон был унесен надеждой.

ГЛАВА VIII

Все произошло совершенно неожиданно. В июле я получил диплом с отличием. Так как я отказался сопровождать маму в Дакс, где она собиралась пройти курс лечения, она тоже не поехала, чтобы не упускать меня из виду, и мы с ней остались один на один, обмениваясь только самыми необходимыми

словами в выжженном небесным огнем, словно пустыня, августовском Мальтаверне. Мы жили, как ночные птицы, вылетающие из своего укрытия лишь в сумерках.

Мари, заточенная в своей книжной лавке, прощаясь со мной, не смогла сдержать слез, она надеялась, что придуманный ими с Симоном план, пусть даже и безрассудный, даст ей силы выжить в Бордо, где не будет меня. Она скоро увидит меня снова и наконец-то узнает Мальтаверна.

Моя мать решила выполнить обещание, данное когда-то старику Дюберу, — отвезти его в Лурд на паломничество, которое проводила наша епархия с 17 по 20 августа. Дюберы были в восторге, но также и в некотором страхе, потому что путешествие предполагалось совершить на мамином «дионе». Луи Ларп с женой получили отпуск. Таким образом, я буду в Мальтаверне один с Приюданом (но он был нашим сообщником), на попечении жены Приюдана, женившегося еще в январе, — трепетавшей перед ним рабыни, которая, конечно, не скажет никому ни слова, если он прикажет ей молчать. Буржуазные дома поселка опустеют, наши дамы, эти старые овечки, отправятся либо в Лурд, сбившись вокруг господина настоятеля, либо на отдых в горные и приморские деревушки.

Мари и Симон останутся у Дюберов. Дальше мы не загадывали. О том, что произойдет между нами, а потом между мной и мамой после ее возвращения, я старался не думать. Зато я отлично видел, как по мере приближения дня отъезда возрастало ее беспокойство, потому что я оставался в Мальтаверне один. Почему бы, спрашивала она, не провести мне эти три дня в Люшоне, она тоже приехала бы туда, поручив Дюберов господину настоятелю? Должно быть, маму покорила резкость моего отказа, а главное, теперь я знаю, это пробудило в ней подозрения. Я заявил, что не хочу лишать себя радости остаться наедине с Мальтаверном, неожиданно освобожденным от всей своей человеческой субстанции. Она больше не называла меня пустомелей, она вглядывалась в меня, доискиваясь, что скрывается за этими сумасбродными речами.

— Что же ты будешь делать эти три дня?

— Буду бродить. Пойду взгляну еще разок на старика из Лассю, посмотрю, каким я стану через шестьдесят лет, когда превращусь в старика из Мальтаверна.

Я дрожал, как бы мама не передумала и под каким-нибудь предлогом не отменила поездку. Я вздохнул свободно, лишь ко-

гда услышал на дороге замирающий шум автомобильного мотора, и, оставшись на террасе один, с наслаждением втянул в себя утренний туман, предвещавший знойный день, нескончаемый день ожидания. Симон и Мари должны были приехать вечерним поездом. Прюдан поедет на станцию один и привезет их в Мальтаверн напрямик через лес, где вечерами не встретишь ни души.

Жена Прюдана выскребла добела комнату его родителей, постелила самые лучшие простыни. Я велел ей приготовить на всякий случай комнату для гостей в замке (так называла она наш дом), где даме будет удобнее, так как там есть туалетная комната. Она повиновалась, не выказав ни малейшего удивления.

Я не хотел бы, чтобы описание этого вечера, этой ночи походило на те сочинения, которым завидовал Андре Донзак в наши школьные годы. Однако же пусть знает свидетель моей жизни, что то был миг, озаривший эту жизнь, придавший ей истинный смысл, ибо то была ночь греха и вместе с тем — ночь благодати.

Я взял у Мари чемодан и пошел впереди нее в комнату для гостей, не спрашивая согласия ни у нее, ни у Симона. В светлом летнем платье и соломенной шляпке она казалась совсем другой Мари, совсем не той, что у Барда: юная девушка, которой я никогда не знал, которую знали другие. Но эта мысль причинила мне лишь мимолетную боль.

Мы собрались все трое в столовой и поели наспех в полном молчании. Мари сама предложила мне прогуляться по парку. Она вышла на террасу. Я накинул ей на плечи свою старую школьную пелерину. Она медленно сошла по ступеням. И сказала:

— Все это я уже знала заранее через вас. Как здесь все похоже на вас.

Я сказал, что, если бы она испытала разочарование, я бы ей никогда не простил.

Она знала только исхлестанные морем сосны Сулака, рядом с ними сосны Мальтаверна казались исполинами. Я взял ее под руку, чтобы она не оступилась. «А это большой дуб?» Она узнала его, хотя это был такой же дуб, как все другие; я прижался к нему губами, согласно своему ритуалу, потом мы с Мари обменялись нашим первым поцелуем.

«Больше всего я люблю в Мальтаверне...» Об этом я мог говорить без умолку. Я все уши прожужжал Мари, рассказы-

вая о своем отвращении к живописным местам и о том, что чувствую природу только там, где могу наслаждаться ею один, один или с теми, кто любит ее вместе со мной, во мне. До ручейки мы не дошли, луг был уже весь мокрый от росы, но мы стояли поодаль неподвижно и молча, вслушиваясь в потаенное журчание, которое все не умолкало и не умолкнет во веки веков.

— Почему,— спросил я Мари,— ни на берегу большой реки, ни даже на берегу океана я не испытываю того чувства, что вызывает во мне этот ручеек, где я ребенком пускал кораблики, которые мастерил из сосновой коры?

Ведь знать, что ты смертен,— совсем не то, что чувствовать это всей своей плотью. Этому научило маленького мальчика журчание Юра в те давние летние ночи, когда он замирал, вслушиваясь в тишину — тишину, звенящую пением цикад, прорезанную рыданием ночной птицы или призывным стоном жабы, полную едва ощутимого шороха ветвей.

Мы остановились посреди аллеи послушать тишину. Мари прошептала:

— Мне кажется, здесь кто-то ходит. Я слышу, как шуршат сосновые иглы.

Но нет, это был просто ветер, а может, хорек: столько всяких зверушек пожирают друг друга или соединяются в ночи.

А мы сами разве ведем себя иначе? И все-таки мы совсем другие.

Эта ночь была для нас той минутой, когда мы ближе всего подошли к истине, которую предчувствовали оба (я знаю это потому, что мы долго говорили об этом, стоя босиком на балконе в час самой глубокой тишины): человеческая любовь — это одно из воплощений того, кто сотворил нас, но иной раз — и так было для нас двоих в эту греховную ночь — она похожа на любовь, посвященную творцом своему творению и творением — своему творцу, а счастье, затопившее и Мари и меня, было, словно заранее дарованное нам прощение.

Я задремал. Меня разбудили рыдания. Я прижал ее к груди: отчего она плачет? Сначала я не понял слов, которые она шептала сквозь слезы:

— Никогда больше! Никогда!

— Нет, Мари, нет, навсегда и навеки.

Она возразила:

— Ты сам не понимаешь, что говоришь.

Самое странное, что в эту минуту все мои подозрения исчезли бесследно. Казалось бы, все ясно: она привела меня — возможно, без всякой хитрости и, несомненно, с любовью, — однако же привела меня к торжественному обещанию связать себя с нею навсегда, но даже такая очевидность не могла устоять перед откровением этой ночи. В том счастье, которое дают друг другу два живых существа, нет места лжи. Это, во всяком случае, верно, а для меня было еще более верно, чем для любого юноши моих лет: ведь Мари исцелила, освободила меня от тайного запрета. Может быть, это ненадолго? Нет, навсегда! Навсегда!

— Видишь ли, — сказал я, — самым неприятным, даже отвратительным для меня в нашем плане была необходимость лгать моей матери, притворно уверять ее, будто я хочу на тебе жениться. Так вот, моя радость, теперь я скажу, глядя ей прямо в лицо: «Я приведу тебе мою невесту...» И это будет правдой. Ты плачешь? Почему ты плачешь?

— Твоя невеста... Ты прав: это по крайней мере будет правдой. Я буду твоей невестой «взаправду», как говорят дети.

Я спросил, разве в эту ночь не была она моей женой «взаправду»?

— Да, в эту ночь... Мне останется эта ночь.

Я сказал:

— И все ночи моей и твоей жизни...

Петухи, переключаясь с фермы на ферму, возвестили рассвет. Скоро встанет жена Прюдана, Мари хотелось, прежде чем вернуться в свою комнату, еще раз выйти со мной на балкон, несмотря на густой туман, который ветки сосен словно сбрасывали с себя. Она вздохнула:

— Мальтаверн... Я гляжу на тебя и не могу наглядеться, как будто боюсь позабыть тебя.

Я сказал:

— Кто-то ходит по аллее.

Мы вернулись в комнату. Наверное, это был Прюдан или его жена. Из-за тумана нас все равно не было видно, а разговаривали мы совсем тихо. Последнее наше объятие было коротким. Она убежала в свою комнату, а я с наслаждением погружился в сон, от которого меня пробудила жена Прюдана, поставив передо мной поднос с завтраком. Даме она уже подала кофе. Я спросил, кто это ходил совсем рано, часов в шесть, вокруг дома, она или Прюдан? Нет, они не ходили. Должно

быть, это... Она замялась. Мадам разрешила Жаннетте Серис играть в парке, когда мсье не будет. Она тут целые дни бегают, чувствует себя как дома. Утром она, наверное, приходила вытаскивать верши, которые закинула в Юр вчера вечером.

— Вчера вечером она была там?

— О да, но она хорошо спряталась, ее и слышно-то не было.

Я наспех оделся, и мы все трое собрались на совет в кухне Дюберов. Не было никакого сомнения, что моя мать поручила Вошке шпионить за нами, и теперь она все узнает сразу же по приезде. У нас уже не было выбора. Я решил уехать вместе с ними в Бордо, передав через Прюдана письмо, извещающее маму о моей помолвке. Симон переедет ко мне на улицу Шеврюс, он может спать на кровати Лорана. Правда, в августе жить в Бордо невозможно. Но «наш особняк на улице Шеврюс — настоящий ледник», — как говорит мама. Если события развернутся так, как мы предполагаем, то, едва лишь моя мать и Дюберы покинут Мальтаверн, мы водворимся там, и уже навсегда.

Из нас троих больше всех был воодушевлен открытием военных действий Симон. Он не мог не догадаться, как провели эту ночь Мари и я, но, казалось, это не причиняет ему боли.

Все утро мы просидели на кухне у Дюберов, взвешивая каждое слово в письме, которое должно было нанести первый удар моей матери и которое Прюдан вручит ей, едва она выйдет из автомобиля. Первый набросок, целиком принадлежавший мне, красноречивый и неистовый, в котором вылились все мои обиды, вызвал восторг Симона, но отнюдь не Мари, и я подчинился ее доводам. В конце концов мы сочинили короткое и корректное письмо: «В твое отсутствие я принимал здесь молодую женщину, свою невесту, которую хотел бы поскорее тебе представить. Мы знакомы уже несколько месяцев. Она работает у книготорговца Барда и очень образованна. Юность ее прошла в суровых испытаниях...» Я вспомнил о печальном конце ее отца: моя мать, несомненно, знала эту историю. Симон спросил: «Вы не боитесь, что ее хватит удар?» Я чувствовал, что он сам скандализован этой помолвкой (хотя и считал ее только хитроумным ходом). Приказнице от Барда выйти замуж за молодого Гажака! Это было настолько невероятно, что мадам не поверит и заподозрит ловушку.

Следовало также заручиться молчанием Прюдана. Он всегда гордился своим братом. И вдруг Симон возвращается в

Мальтаверн — и все его дипломы теперь ни к чему! Прюдан, хотя и был старшим, не мог претендовать на место отца: он не умел ни читать, ни писать и с грехом пополам считал, но возвращение Симона — каким это будет для него поражением!

Пока оба брата спорили в кухне, Мари сказала мне, что хотела бы взглянуть на Юр: ведь ночью она слышала только его журчание. Но за нами шпионила Вошка, она еще, того гляди, пойдет следом, прячась за соснами. Мне было тошно и подумать, что я могу столкнуться нос к носу с этой мерзкой девчонкой. «Я способен удушить ее!»

Мари спросила, нельзя ли выйти на берег Юра, минуя парк. Да, конечно, песчаных дорожек сколько угодно, и там уж Вошке спрятаться негде. Мы вышли. Остатки утренней прохлады еще держались в ключьях тумана, но вот запела одна цикада, потом другая, третья, и зазвенели все вразнобой. Я сказал Мари:

— Не думай, что я заставляю тебя жить в такой нечеловеческой жаре. Мы будем приезжать сюда только на время, подышать свежестью...

Мари не ответила. Она с трудом шагала по песку. Должно быть, ее все время мучило составленное нами письмо. Она сказала:

— Представляю себе чувства твоей матери, когда она прочтет письмо, и, что ни говори, она будет права. А она еще не знает, что я старше тебя на десять лет... И всего, что было со мной за эти годы... И ты... такой, как ты...

— Такой, как я? Что хорошего в этом затянувшемся детстве, в том чудовище, которое ты называешь ангелом? А ты, Мари... Люди должны были оберегать тебя, а оказались кровожадными волками...

Я увидел, что она плачет. Мы прошли лугом к берегу Юра и сели на ствол поваленной ольхи. Прижавшись ко мне, она продолжала плакать. Я сказал: «Осторожно, здесь крапива». Эта крапива вокруг нас превратится в моих воспоминаниях в мяту, в ароматные листочки, которые я растирал между пальцами. А чахлый ручеек под ольховыми деревьями — немало из них теперь уже вырублено — сольется, как всегда, с отчаянием вечного убывания; он увлекал меня за собой вместе со всем, что меня окружало, и я значил не больше, чем вырезанные из сосновой коры кораблики, которые мы с Лораном пускали вниз по течению... А эта прижавшаяся ко мне женщина, которая

больше не плакала, это бедное, служившее другим тело, заботу о котором я взял на себя до конца моей жизни...

Туман не рассеивался, но пробивавшиеся сквозь него солнечные лучи жгли невыносимо. Должно быть, днем будет гроза. Хоть бы пролился наконец дождь на жаждущие ланды, где каждый день то там, то здесь вспыхивали пожары: говорили, что виноваты пастухи, но достаточно было солнечного луча, упавшего на осколок бутылки... Какая таинственная алхимия преобразует в моих воспоминаниях все ничтожные подробности, словно то, что они отошли в прошлое, дает им право на преобразование!

Лучше было дожидаться часа отъезда у Дюберов, там было прохладнее. Мы рассчитывали сесть в поезд на станции Низан, в десяти километрах от Мальтаверна. Туда мы доедем на двухколке Прюдана. Я предупредил Мари, что придется ехать сразу же после завтрака, в самый зной, когда даже скот не выходит на волю. «И даже Вошка», — прошептала Мари.

Тряска в гремящей двухколке под палящим полуденным солнцем, среди роя слепней и мух, по выбитой пыльной дороге — вот каким кошмаром закончился наш сон в летнюю ночь. Я сидел на заднем сиденье между обливавшимся потом Симоном и Мари. Руку я прижал к спинке сиденья, чтобы предохранять Мари от толчков. Она держалась прямо, неподвижная, безмолвная, а я со своим даром угадывать тайные чувства других людей — я знал, что в ее душе волшебный Мальтаверн нашей ночи превращается в проклятую землю, от которой надо бежать не оглядываясь. Мы услышали автомобильный рожок, потом шум мотора. Стелла, наша старая кобыла, встала на дыбы. Нас обогнал «серполле», где сидело за рулем какое-то чудовище в очках. Пыль поднялась такая, что Прюдану пришлось постоять немного на обочине дороги.

Поезд запаздывал. Мы ждали его почти в полном одиночестве на раскаленной платформе заброшенной станции, среди клеток с подыхающими от жажды курами.

ГЛАВА IX

Мари умолила меня не приходить на улицу Эглиз-Сен-Сен в отсутствие ее матери, которая уехала в Сулак. Мы можем видаться сколько угодно в ее закутке в книжной лавке.

Наша лестница на улице Шеврюс казалась раем. За те три дня, что мы с Симоном прожили вместе, поджидая ответа от мадам, мы не раз покидали маленькую гостиную и спасались от жары на ступенях этой ледяной лестницы. Ночами, еще более душными, чем дни, нас осаждали несметные полчища самых крупных, самых ядовитых moskitov, какие только водились в наших широтах. У меня была кровать с пологом: прежде чем заснуть, мне следовало только проверить, не запер ли я в клетку вместе с собой и какого-нибудь хипчика. Но на кровати Лорана полога теперь не было. На второй же день я увидел, что у Симона все лицо перекосилось: москит ужалил его в веко. Он был удивлен, что меня это огорчает.

— Да это пустяки, господин Ален. Стоит ли беспокоиться из-за moskitov, из-за шишки над глазом!

Спал он тем не менее отлично и на рассвете ушел из дому. Верно, хотел присутствовать на мессе? Я не решился спросить у него, но, по правде говоря, не сомневался в этом. После завтрака мы встретились в темной, прохладной книжной лавке, где почти не было покупателей. Бард отдыхал в Аркашоне и всецело положился на Мари. Балеж был болен или притворялся больным. В витрине новинок я нашел «Антологию современных поэтов» Леото и Ван-Бевера и, читая ее, совершал открытие за открытием. Особенно нравились мне стихи некоего Франсиса Жамма: «Вот-вот посылет с неба снег...» Они восхищали меня, «ранили радостью», но я не мог разделить это счастье ни с Мари, нечувствительной к такого рода поэзии, ни с Симоном, нечувствительным к поэзии вообще; кроме того, Симон гораздо больше нас тревожился, ожидая ответа мадам. Он торопил меня домой: «Скоро должны принести нечто...»

Мы пересекли улицу Сент-Катрин и по узкой улочке Марго спустились к улице Шеврюс. Я шел немного позади Симона, глядя себе под ноги, весь поглощенный сочинением какой-то истории. Вдруг меня оглушили слова Симона, хотя он произнес их вполголоса:

— Мадам здесь! Приехала мадам!

Я поднял голову в полной растерянности. Да, мамин «дион», наше ручное чудовище, стоял перед крыльцом. Что же нам делать? Я посоветовал Симону вернуться в книжную лавку и предупредить Мари. Я встречаюсь с матерью один на один и, как только смогу, присоединюсь к ним. Он не заставил себя долго просить и пустился наутек. Я трусливо позавидовал ему:

ведь мне предстояло выступить в одиночку против этого опасного, разгневанного божества. Как могли мы быть настолько глупы, чтобы не ждать от нее другого ответа, кроме письма, чтобы не предположить, что она обрушится на нас сама, явившись перед нами во плоти?

— Впрочем, этот приезд не был немедленной реакцией: ведь с тех пор, как Прюдан вручил ей наше письмо, прошло три дня. Очень скоро я узнал, что побудило ее примчаться на улицу Шеврюс. Едва я вошел в маленькую гостиную, где она стояла, не успев еще снять шляпку, как она прижала меня к груди:

— Бедный мой малыш! Какое счастье, что я приехала не слишком поздно.

Она не сомневалась, что стоит ей рассказать мне все об этой девице, как я от нее откажусь и не смогу больше думать о ней без отвращения. Я узнал, что, получив наше письмо, два дня она провела словно пораженная громом. Потом она отправилась посоветоваться с господином настоятелем, и то, что она от него узнала, превзошло, по ее словам, своей мерзостью и без того омерзительную историю сборщика налогов. Когда разразился этот скандал, господин настоятель был викарием в Лепарре. В то лето он поддерживал не постоянные, но все же довольно близкие отношения с отцом Х. Таким образом, ему стал известен другой скандал, хотя и не разразившийся, но гораздо худший, чем первый.

В глазах моей матери женщина, способная соблазнить священника, духовное лицо, грешить с ним или хотя бы, поправились она, пытаться согрешить (в том случае, если, как утверждают друзья отца Х., ничего не произошло, не следует впадать в грех необоснованного осуждения), — такая женщина одержима дьяволом, проклята и одним своим прикосновением может перенести на другого это проклятие, как постыдную, неизлечимую болезнь.

— Теперь ты видишь, ты сам онемел от отвращения...

— Да нет же, бедная мамочка, я все это знал.

— Знал?!

Изумление лишило ее дара речи. Я все знал — и собирался дать этой девице свое имя, познакомить ее с матерью, подарить ей Мальтаверн, связать с ней навсегда свою жизнь! Она закрыла лицо руками хорошо знакомым мне театральным жестом.

— Боже мой, — простонала она, — чем я прогневила тебя?

Этот жест почти всегда сопровождался ропотом на бога. И на этот раз тоже.

— Попытайся понять, мама.

Я напомнил ей, что любое событие выглядит по-иному, если взглянуть на него с другой стороны. Орден, к которому принадлежит отец Х., встал на его защиту, приписав всю вину дурной женщине, истеричной девушке, которая желала погубить его, но ничего не добилась. Вот этот-то звон и услышал наш настоятель. Однако речь шла о совсем юной девушке, верующей христианке, преданной ученице святого отца, которая в постигшем ее жестоком горе не ведала другой опоры, кроме него.

— Я знаю, кем была она во всей этой истории, мрачное продолжение которой тебе неизвестно: маленькой мученицей. Да, вот кем она была. А теперь,— добавил я,— она будет моей женой, которую я имел счастье встретить на своем пути.

— Ты сошел с ума, бедное мое дитя, она свела тебя с ума!

Мы опасались разгневанного божества, а передо мной стояла сраженная горем мать, удрученная христианка, которую мои слова скорее утвердили, нежели поколебали в ее убеждениях. Впрочем, мне никогда не приходилось видеть, чтобы мама задумывалась над чужими доводами или хотя бы выслушивала их. Она искала носовой платок в своем ридикюле, стоя посреди комнаты, глядя на чудовище, в которое превратился ее сын. Она высморкалась, вытерла глаза. Я попытался обнять ее, поцеловать, но она отшатнулась, словно боясь моего прикосновения. Может быть, ей действительно было страшно?

— Послушай, Ален...

Она видит, что я одержим, околдован, что она ничего от меня не добьется, но я могу уступить матери хотя бы в одном — дать ей время на размышление, согласиться на отсрочку, которая, принимая во внимание мой возраст, была бы обязательной, даже если бы речь шла о нормальной помолвке с девушкой нашего круга. Мама говорила, не повышая голоса, она чувствовала под собой твердую почву. Кто может не счесть это предложение разумным? Я согласился с ней, неопределенно кивнув головой.

— Скажем, один год... Через год мы снова обо всем поговорим.

Я почувствовал, как затягивается у меня на шее петля. Я взбунтовался и заявил, что могу ждать только четыре месяца, оставшиеся до Нового года. Четыре месяца, что ж, за это

время все-таки можно передохнуть, оглядеться. Она попросила посвятить их ей целиком, не отходить от нее, не расставаться с ней до самого Рождества.

— Только в том случае,— сказал я наугад,— если в начале учебного года моя работа не потребует поездки в Париж.

— Какая еще работа?

— Моя диссертация.

— Ты пишешь диссертацию? Какую диссертацию?

— Но я же говорил тебе. Ты никогда не слушаешь, когда я рассказываю тебе о своей работе. Я пишу о зарождении движения францисканцев во Франции. Взять эту тему посоветовал мне мой профессор Альбер Дюфур.

Но она уже не слушала меня. Она сняла шляпку, медленно вытащила из нее длинные булавки. Я спросил, не собирается ли она вернуться в Мальтаверн. Разумеется, нет, она не оставит меня одного. Она телеграфировала Луи Ларпу и его жене. Сегодня вечером они будут здесь.

— А потом поедem куда захочешь или останемся в Бордо. Я в твоem распоряжении, как, в сущности, была всегда.

Что делать? О боже! Как мог я тешиться детской надеждой (впрочем, мы разделяли ее все втроем), что действительность подчинится нашему плану, что все пойдет так, как мы решили, что поступки моей матери будут именно таковы, какими мы их себе представляли?

— У меня к тебе еще одна просьба, Ален, я думаю, ты мне в этом не откажешь: согласиcь повидаться с господином настоятелем. Завтра он придет к завтраку. Можешь говорить с ним, можешь не говорить, как тебе будет угодно.

Как только мать ушла к себе, я бросился в комнату Лорана, впопыхах уложил чемодан Симона Дюбера, сорвал с кровати простыни и засунул их под комод. С чемоданом в руках, изнемогая, обливаясь потом, я появился в книжной лавке перед Мари и Симоном. Мари, отпустив покупателя «Путеводитель по Юго-Западу», прибежала к нам в закуток, где Симон донимал меня вопросами.

— Ах, Симон,— сказал я ему,— клянусь вам, мадам не умирает, мадам и не собирается умирать.

Я постарался дать им точный отчет обо всем, что произошло между мной и матерью.

— Как всегда, я подчинился ей, и так оно будет и впредь...

Мари возразила:

— Но, бедный мой малыш, никогда не были вы в такой степени хозяином положения, достаточно только проявить волю. Ваша мать согласится на все, лишь бы расстроить нашу помолвку... по крайней мере в данный момент, а вообще-то не обольщайтесь: от чего она не откажется никогда — это от тысячи гектаров Серпса, от возможности воцариться перед смертью в этом неоглядном королевстве сосен и песка, в этой огнедышащей печи...

— Но, Мари,— возразил я, понизив голос,— ведь мы «взаправду» помолвлены.

Она покачала головой и, когда Симон направился в магазин, желая оставить нас вдвоем, сказала:

— Да, ты мог так думать в те недолгие мгновения нашей ночи. Будь благословен за эти мгновения. Но ты отлично знаешь, что это не «взаправду»...

— Почему, Мари? Почему?

Облегчение, которое я почувствовал, ужаснуло меня самого. Но тут вернулся Симон, он был так поглощен своими мыслями, что, казалось, нас и не видел.

— Мы были идиотами,— сказал он.— Сначала я подумал, что Прюдан нас предал. Но нет, пожалуй, было время, когда мадам и впрямь надеялась, что заставит вас плясать под свою дудку, если бросит Мальтаверн и увезет с собой моего отца. Но ведь она должна, кажется, знать, что даже в нашем местечке найдется больше чем нужно кандидатов на его место. А то, что отец мой знает границы поместья,— это, конечно, удобно, но на худой конец ведь существует земельный кадастр.

— А может быть,— сказал я Мари,— когда моя мать узнала от господина настоятеля, как хорошо вы поставили книжную торговлю Барда, она поняла, какую выгоду вы можете извлечь из Мальтаверна. Между нами говоря, моя мать никак не заслужила своей репутации деловой женщины. Ее животная страсть к собственности проявляется лишь в том, что она чванится своими стройными соснами, а ведь многие из них давно надо было бы вырубить, они гниют и теряют всякую ценность. Если вы станете хозяйкой Мальтаверна, вы увидите, что можно будет немедленно выручить сотни тысяч франков без всякого ущерба для имения. Даже напротив...

Она, смеясь, спросила, чего я домогаюсь: хочу соблазнить ее или внушить ей сожаление? Я запротестовал.

— Ах,— вздохнула она.— Вы истинный сын мадам.— И ти-

хо добавила: — А воли у тебя, в сущности, не меньше, чем у нее.

— Да,— прошептал я, опустив голову.— И знаете, какая мысль преследует меня? Я знаю, на кого я буду похож в 1970 году. Я часто рассказывал вам о старике из Лассю...

Мари позвал какой-то покупатель, и она убежала, но Симон услышал меня.

— А я, господин Ален, каким буду я в 1970 году? Или, вернее, каким бы я мог быть, потому что к тому времени от меня останутся одни кости. Я не буду никем. А вот у вас будет настоящая жизнь, жизнь, о которой можно будет рассказывать, о которой вы расскажете сами, потому что меня, ее свидетеля, уже не будет в живых. Первую премию за сочинение и в 1970 году получите вы, вот увидите! А я...

— Вы, Симон — теперь мы это знаем,— вновь обретете себя, если вернетесь к своему исходному положению. То царство, от которого вы отказались, оно внутри вас и пребудет с вами повсюду, где будете вы.

— Никогда! — воскликнул он со сдержанной страстью, которой его акцент придавал комический оттенок.— Э! Уж не думаете ли вы, что я стану упрашивать их принять меня обратно!

Я не ответил, немного помолчал и, заметив, что он успокоился, спросил равнодушным тоном, встречает ли он когда-нибудь господина настоятеля. Нет, он с ним не видится, но «иногда мы обмениваемся письмами, он от меня не отступился».

— Завтра он будет завтракать на улице Шеврюс. Хотите, я приведу его в книжную лавку?

На этот раз Симон не вспылил, и его каменное лицо даже слегка порозовело, как в тот день, когда он впервые встретил меня на улице Сент-Катрин. Он сказал:

— Я был бы рад его увидеть... но только как друга, не как пастыря! С этим покончено. Больше мне никто не нужен, я сам знаю, что мне делать.

— Никто, Симон, кроме, может быть, его одного. Всегда есть кто-то, кто и в дурных и в хороших наших поступках понимает нас лучше, чем мы сами, яснее все видит. Для меня это был Донзак, потом Мари и вы тоже.

— Я, господин Ален? Я? Что я мог вам дать?

— У вас прозрачная душа, вы помогаете мне верить в благодать. Вы лишены всего, чем я был осыпан и обременен: я

начинал тонуть под грузом своего большого имени, тогда как вы...

Донзак поймет, что я излагаю здесь только суть нашего разговора в комнатке за лавкой; там произошел между мной и Симоном пророческий обмен: каждый из нас ясно увидел и определил призвание другого. Не в тот день я впервые задумал писать — я писал всегда. Но именно в тот день я увидел, что могу стать писателем, пусть даже использовав как сюжет жизнь самого автора. То, что я сейчас пишу, пишу в эту минуту, я смогу потом опубликовать. Ах, последняя глава!.. Мне остается лишь перефразировать конец последней главы «Воспитания чувств»: «Он не отправился в путешествие. Он не изведal ни тоски пароходов, ни утреннего холода после ночлега в палатке, он не забывался, глядя на пейзажи и руины, не узнал горечи мимолетной дружбы... Он не вернулся, потому что никуда не уезжал...»

Когда я подошел к выходу из Пассажа, я увидел, что буйный грозовой дождь затопил наш благословенный город. Я переждал ливень вместе с другими прохожими, которые радовались и поздравляли друг друга. Однако я испытывал чувство освобождения не только из-за грозы. Завтра я опять вернусь сюда, мы назначили здесь встречу. Но с книжной лавкой я распрощался, распрощался навсегда. То, ради чего я однажды появился там, пришло к своему завершению. Я вынырнул из Мальтаверна и из своего нескончаемого детства и окинул взглядом всю жизнь, которую, как уверенно предсказывал Симон, мне суждено прожить. И вот я тоже ни в чем больше не сомневался, я был уверен, был убежден в том, что не умру, хотя недуг, поразивший моего брата Лорана, каждый день уносит столько юношей и девушек вокруг и у меня самого затемнение в левом легком... Но я не умру, я буду жить, наконец-то я начну жить.

Когда дождь прекратился и мне удалось перейти улицу Сент-Катрин и по улице Марго добраться до улицы Шеврюс, я уже знал, что больше и речи нет о том, чтобы отступить с Симоном в Мальтаверн. Я устремлюсь в Париж, и да свершится все, чему суждено свершиться. Всею свой час — и вещам, и людям. Но я не утрачу тот Мальтаверн, из которого я выплываю на поверхность, я унесу его с собой, это будет мое сокровище вроде того, которое мы с Лораном закопали под сосной в надежде вновь отыскать его на будущий год, хотя это был всего лишь ящичек с агатовыми шариками...

Донзак вправе не поверить, что все эти мысли предстали передо мной с такой ясностью сразу же после ухода из книжной лавки, пока грозовой дождь заливал улицу Сент-Катрин. Но проблески этого видения уже были во мне, я чувствовал, что рубеж преодолен, что жизнь начинается, и это чувство радости я вновь переживаю сейчас, когда пишу. Радость! Слезы радости! Бесконечный путь, где даже грозы будут наслаждением. Мне двадцать два года. Мне двадцать два года! Разумеется, я не ликую по этому поводу: стоит подумать, как ужасно, что не пятнадцать, не восемнадцать... Я понимаю, что теперь каждый год — это ступенька, ведущая вниз... Но я останавливаюсь на пороге своих двадцати двух лет, вернее, тешу себя иллюзией, будто остановился, ибо на самом деле ни Юр, ни время не останавливают своего течения никогда.

ГЛАВА X

Мама ждала меня на лестничной площадке, но против моих ожиданий она отнюдь не была взволнована или измучена. Она стояла передо мной бледная от ярости, такая, какой я думал ее увидеть сразу после приезда, но какой она тогда не была. Бог знает, что могло вывести ее из себя в мое отсутствие.

— Она спала здесь! Ты посмел уложить ее в постель своего бедного брата! Эту потаскушку!

Как же я этого не предусмотрел? Едва я вышел за дверь, она устремилась по следу, и чутье привело ее прямо к этим простыням, наспех засунутым под комод.

— Грязные простыни! Что говорить, грязи на них достаточно! Ты сам спал на них, и ты тоже! В доме своей матери, в постели своего брата! Никогда я не думала, что ты способен на такую мерзость! И ты еще смеешься, несчастное дитя! Что она только с тобой сделала!

— Я не смеюсь, я печально улыбаюсь тому, что ты снова совершаешь обычный свой грех — высказываешь необоснованные суждения. Молодая женщина, которую ты так оскорбляешь, не зная ее, здесь никогда не была. А если бы она и пришла, то, да будет тебе известно (я на мгновение заколебался), нам не понадобилась бы постель Лорана.

Мама и бровью не повела. Должно быть, просто не поняла меня.

— Тогда кто же спал в этой комнате, на этих простынях? Кого это ты подобрал на улице?

— Но ты его отлично знаешь, мама, ты его знаешь чуть не с самого рождения.

Она решила, что я издеваюсь над ней. Когда я бросил ей в лицо имя Симона Дюбера, она на минуту онемела.

— О, только его тут не хватало! Этого отступника!

— Потеря веры еще не есть отступничество. Семинарист, покинувший семинарию, — жертва ошибки стрелочника.

— Он перешел в стан врагов, ты это отлично знаешь.

— А если я скажу тебе, что в те два дня, что он здесь жил, он каждое утро ходил к ранней мессе?

По правде говоря, бесспорных доказательств у меня не было. Возможно, он вставал на заре просто по старой крестьянской привычке. Но я не устоял перед соблазном окончательно сбить с толку мою бедную мать, которую мне в этот момент даже стало жалко. Я сказал, что не огорчаться, а радоваться надо тому, что она от меня узнала.

— Пока ты тут делала обыск и искала следы моих преступлений, я разговаривал с Симоном — с ним-то и было у меня назначено свидание — и добился от него согласия встретиться с господином настоятелем. Не здесь, не пугайся.

Луи Ларп в белой летней куртке распахнул двери и провози гасил:

— Кушать подано, мадам.

Не помню, чтобы я когда-нибудь видел свою мать такой растерянной, как во время этого обеда, она была поколеблена в своей уверенности, в главной своей уверенности, что она всегда права, а люди именно таковы, какими она их считает, и иными быть не могут. Если я не обманывал ее и младший Дюбер действительно ходил каждое утро к мессе, значит, она судила о нем неправильно. Все, что я говорил об «этой потаскушке», ей было удобнее начисто отместить и придерживаться банальной истории о невинном мальчике, околдованном дурной женщиной. Но эту женщину она никогда не узнает. А вот Симон вновь возник перед ней. Впрочем, он никогда не уходил со сцены, он всегда оставался предметом спора между мамой и настоятелем.

Откуда я черпаю все, что я тут пишу о маме, если не в самом себе, не в том представлении, которое сложилось у меня о ней? Не пытаюсь ли я, с тех самых пор как веду этот дневник, показать Донзаку воображаемый Мальтаверн, столь же пререальный, как Спящая Красавица, Дракон или Рике-с-Хохо-

лком? А что же было реальным? Моя мать, отличавшаяся здоровым аппетитом, всегда внимательная к тому, что ей подают, внушавшая кухарке трепет своими непререкаемыми суждениями, в этот вечер ни к чему не притронулась. Едва закончился обед, она удалилась к себе, предоставив мне полную возможность уйти из дому. Но я никуда не пошел; не желая терять ни глотка ночного воздуха, освеженного грозой, я распахнул все окна, но из страха перед москитами решил сидеть в темноте и даже не стал читать.

Чтение настолько заполняет всю мою жизнь (порой я спрашиваю себя, не избавляет ли оно меня от необходимости жить?), что, возможно, в двадцать два года я так и не знал бы, что скрывается за стертым выражением «внутренняя жизнь», если бы москиты моего родного города подчас не обрекали меня на неподвижное созерцание клочка звездного неба над крышами в проеме окна. Быть может, я так никогда и не узнал бы того, что я знаю и о чем не решусь рассказать никому из страха прослыть самонадеянным дурачком или сумасшедшим. Дело в том, что слова «царство божие внутри вас» верны буквально, то есть для того чтобы в него проникнуть, достаточно погрузиться в самого себя.

Опыт, проделанный мною в тот вечер, означает важную вежу в моей жизни, потому что я проник в это царство так глубоко, как никогда раньше не проникал, хотя, без сомнения, пребывал тогда в состоянии тяжкого греха. А я был воспитан в убеждении, что смертный грех безвозвратно отлучает вас от бога: это побуждает грешника махнуть на все рукой, сказать себе: «погиб так погиб...» и прекратить борьбу. В тот вечер, услышав знакомый призыв, удрученный сознанием своей греховности, я прибег к уловке Донзака, которая состоит в следующем. Надо сказать себе: «Если бы я принадлежал к сонму христиан, горячо верующих, но лишенных исповеди, как лютеране или кальвинисты, я обратился бы с мольбой о прощении к тому, кто пребывает внутри меня. Полное раскаяние, как нас учили, недоступно простым смертным, оно уготовано лишь святым. Если же оно окажется достижимым, то достижимо и царство божие — это Сезам, который непременно откроет свои врата».

Итак, я начал думать обо всем, что произошло между Мари и мной, и установил, что не только не испытываю сожаления, но считаю свой грех не кощунством, а благодатью, что хуже

всего было бы, если б вообще ни одна женщина не вошла в мою историю... Но нет, тогда благодатью было бы ее отсутствие. Теперь уже не я говорил с самим собой. Великий покой снизошел на меня. Временами я напевал на музыку Мендельсона, которой нас научили в коллеже, или Гуно, которую больше любит господин настоятель, молитву Расина:

Сердец, исполненных любви к тебе,
Господь, вовеки не смутить покоя.
Они не помышляют о себе,
По высшей воле следуют своей тропею.
О, есть ли в небесах иль на земле
То счастье, что милей блаженного покоя
Сердец, исполненных любви к тебе?

На следующее утро мама не вставала с постели. Ставни в ее комнате были закрыты. Мучившая ее мигрень не шла ни в какое сравнение с мигренью у других женщин. Всю ночь она провела без сна, меняя компрессы на лбу. Она попросила меня извиниться перед господином настоятелем. Может быть, она преувеличила свою болезнь, желая облегчить нам свидание с глазу на глаз — ее последнюю надежду. Настоятелю было нелегко скрыть, какое счастье для него завтракать со мной вдвоем. Его дряблое, словно вылепленное из хлебного мякиша лицо, всегда такое озабоченное и печальное, было озарено невинной ребяческой радостью. Он сильно постарел, и его тонзура не нуждалась больше в услугах парикмахера, а главное, он перестал чваниться: этим он прежде всего и отличался от пастыря времен моего детства. Он утратил свой важный, самоуверенный вид.

При первых же его словах, которые во исполнение воли мадам должны были заставить меня разговориться, я уклонился. Я уверил его, что моя мать напрасно забрала себе в голову, будто единственная женщина, завладевшая моей жизнью, — это она и будто бы для меня не существует иной задачи, кроме освобождения из-под ее власти, хотя бы даже ценой безрассудного в глазах общества брака. Я остерегся внушать господину настоятелю полное спокойствие, а лишь дал ему понять, что для меня еще ничего не решено.

— Но, — сказал я, — не я сейчас представляю для вас интерес (он хотел возразить), я хочу сказать, что не ради меня следует вам бросаться в воду, а ради Симона, с которым я вижу теперь каждый день. Да, пришло время вытащить его на

берег, но на этот раз он сам устремится туда, куда влечет его призвание, а вам останется только облегчить ему путь. И будьте осторожны, помните, что стоит вам заговорить о «духовном руководстве», как он сразу же замкнется в себе.

Он слушал меня со смиренным вниманием, и меня это трогало. Бедный настоятель, все его страстные, не знавшие применения отцовские чувства обратились на этого крестьянского парня, не бессердечного, конечно, но озлобленного и ожесточившегося, он готов был говорить о нем без конца.

— Я никогда не упускал его из виду, знаешь, я издали следил за ним, но он и не подозревал об этом. В первую зиму в Париже он заболел воспалением легких. Я завязал отношения с его хозяйкой, задобрил ее, и она сообщала мне о его здоровье — тайком, разумеется! Симон решил бы, что он при смерти, если бы узнал, что я брожу вокруг его одра.

Мама лежала у себя в комнате, поэтому ничто не мешало настоятелю встретиться с Симоном на улице Шеврюс, а не в книжной лавке. Он согласился, «но только с разрешения мадам». Когда я, приоткрыв дверь, изложил маме нашу просьбу, она прервала меня слабым голосом:

— Ах, делайте что хотите, лишь бы он не попадался мне на глаза.

Встреча произошла в маленькой гостиной и длилась около двух часов; потом Симон отправился к себе, не простясь со мной. Они договорились, что Симон еще на год останется в Талансе, где местный священник, «святой аббат Муро» — друг господина настоятеля — возьмет на себя заботы о нем и подготовит к возвращению в семинарию, разумеется не в Бордо, может быть, в Исси-ле-Мулино. Все это требовало немалых раздумий и хлопот.

Я со своей стороны обещал настоятелю, что скоро он увидит меня в Мальтаверне: моя мать в конце концов добилась от меня согласия на отъезд, но с оговоркой. Я заявил, что прежде я должен сделать необходимые для своей диссертации выписки в городской библиотеке. Вряд ли кто-нибудь мог похвалиться, что видел меня там хоть раз за все это время...

Два месяца я не открывал этой тетради. То, что я пережил, не поддается никакому описанию, не укладывается в обычные слова: есть стыд, который невозможно выразить. То, что я смогу рассказать здесь об этом, будет, как и все остальное, лишь

изложением событий в определенной последовательности и порядке. Итак, попытаюсь: я должен выполнить обещание, данное Донзаку... Говоря откровенно, зачем мне этот предлог? Словно сам я не испытывал горького удовольствия, снова и снова переживая этот стыд, час за часом, до самого конца моей истории, вернее, до конца одной главы моей истории, которая только еще начинается!

Я пишу это 20 октября, держа тетрадь на коленях, в нашем охотничьем домике, в урочище Шикан, затерянном в глуши, далеко от всех ферм. Стоит мягкая погода, туман, в этот день ждали большого перелета, но вяхири не летят: сегодня тепло, они прячутся в ветвях дубов и обедают желудями. Я вижу остроносый профиль Прюдана Дюбера, его тяжелый подбородок, он высматривает сквозь вершины сосен небесные пути, по которым должны потянуться летящие стаи, если только они появятся. Раздается свист, к Прюдану присоединяется какой-то фермер, спрашивает:

— *Passat palumbes?*

— *Nade! Nade! **

Под могучими кряжистыми дубами, укрывшими нашу хижину, я всегда всем своим существом ощущаю вечность, так же как на берегах Юра проникаюсь сознанием бренности нашего бытия. Человек — это даже не мыслящий тростник, а мыслящая мошка, но и в те немногие минуты, что отпущены ей для жизни, она находит время для совокупления — вот что ужасно. Из всего происшедшего я попытаюсь записать то немногое, о чем, мне кажется, можно сказать.

Я не посещал городскую библиотеку вовсе не потому, что почти каждый вечер ходил на улицу Эглиз-Сен-Серен. С Мари я встречался только после закрытия магазина и легко мог примирить требования работы над диссертацией с требованиями своей страсти. Но в эти тяжкие тягучие дневные часы в отупевшем от жары городе я способен был только ждать... Что же тут такого? В чем, собственно, драма? Такова история всех и каждого в известном возрасте, в известный момент жизни. Вероятно, нужно быть христианином, как я, или быть им хотя бы в прошлом, как Мари, чтобы думать, будто речь идет о чем-то большем, чем наша земная жизнь, когда мы уступаем инстинк-

* — Летят вяхири?

— Нет! Нет! (*диал.*)

ту размножения, свойственному всем видам живых существ. Или, вернее, надо принадлежать к тому виду нетерпимых христиан, к которым принадлежу я: сделав уступку, они не ищут себе оправдания. Если суждено им погибнуть, они погибнут с открытыми глазами.

В одном я больше не сомневался — в искренности Мари в тот день, когда она говорила о своей боязни оторвать меня от бога, а я заподозрил, что она «притворяется». Она отказалась от бога для себя, но не для меня. Она уверяла, что я создан из сплава, в котором слилось то, что исходит от Христа и от Кибелы... Но если послушать ее, во мне преобладает христианская сторона. «Я не хочу губить тебя», — твердила она. Я возражал, напоминая ей нашу ночь в Мальтаверне. Почему, вопрошали мы себя, она больше не повторилась? Почему чуть не каждый вечер я униженно возвращался на улицу Эглиз-Сен-Серен, хотя, расставаясь накануне, мы в полном согласии решали, что это в последний раз? Почему эти повторные падения так мало походили на тот наш сон в летнюю ночь, когда все счастье мира открылось мне в одно мгновение, словно наши души обрели на этот вечер, на один-единственный вечер, право соединиться в тот же миг, что и наши тела? И вот я снова обречен на отвлечение. Кто вдохнул в меня это отвлечение?

«Чего ты добиваешься?» — как сказала бы бедная мама. Мари не походила ни на какую другую женщину, может быть, потому, что была когда-то верующей девочкой. И в этом тоже не было лжи: ее мука бесконечно превосходила мою. Эта мука старила ее, вернее, выдавала ее настоящий возраст, тогда как я, по ее словам, сохранял свой ангельский вид, «даже крылышки не измялись», говорила она с насмешкой и тоской.

На улице Шеврюс мама, поджидая меня, бродила по комнатам с трагическим выражением лица для особо серьезных случаев. Я сколько мог тянул время под предлогом занятий в городской библиотеке. Наконец она потребовала, чтобы я хотя бы назначил дату нашего отъезда. Я отказался называть какую бы то ни было дату. По прошествии недели она уже ни о чем не спрашивала, и было ясно, что больше она себя дурачить не даст. Она знала, откуда я возвращаюсь каждый вечер, и знала, что я это знаю. Она обнимала меня лишь затем, чтобы обнюхать, но она была слепа и не видела того, что преисполнило бы ее радостью, пойми она это: она считала, что я запутался в паутине, и это действительно было так, вернее, паути-

на опутывала мое тело в часы ожидания, а потом — еще несколько минут. Но о том, что ни Мари, ни я больше не помышляли соединиться навек, моя мать и не догадывалась: из моего временного порабощения она делала вывод, что я порабощен навсегда.

Вечером, после ужина, я уходил из дому, сытый и усталый. Мама знала: на этот раз я выхожу не затем, чтобы творить вло,— я всегда предлагал ей прогуляться вместе. Она отказывалась, но была спокойна. Иногда я возвращался через час, иногда попозже, если слушал музыку на площади Кенконс, где летом устраивались открытые концерты. Но чаще всего я довольствовался мороженым в кафе на площади Комеди или, невзирая на москитов, бродил по аллеям Ботанического сада, подальше от толпы, окружившей духовой оркестр 57-го полка.

Я был уверен, что теперь, в конце августа, никого здесь не встречу. Но в тот вечер на скамье в дальнем углу площадки сада сидел какой-то молодой человек и курил трубку. Я устроился на другом конце скамьи, не глядя в его сторону. Он насмешливо спросил:

— Август, а ты в Бордо? Почему не в Аркашоне, или Понтейяке, или Люшоне?

Я узнал студента последнего курса по фамилии Келлер, одного из тех христиан, которые «идут в народ», «сеятеля», одного из тех молодых людей, которых я раздражал еще прежде, чем раскрывал рот.

— Должно быть, потому,— сказал я вызывающим тоном,— что здесь у меня есть занятия повеселее.

Он проворчал:

— Чего же еще от тебя ждать?

Когда мы с ним познакомились на факультете два года назад, этот апостол, прельстившись мной, пустился проповедовать. Но тогда книга Барреса «Под взглядом варваров» давала мне ответ на все, снабжала меня формулами для защиты от коллег «с язвительным, раскатистым смехом». От всех прочих я отгораживался «гладкой поверхностью». Я не преминул воспользоваться этим оружием и против Келлера, который вскоре определил меня как одно из самых презренных существ в мире — обеспеченный крупный буржуа.

— А что ты знаешь обо мне? — возразил я. — Только то, что я сам позволил тебе увидеть, чтобы ты оставил меня в по-

кое и все это кончилось. С таким же успехом я мог представить номер в твоём вкусе, в жанре «возвышенной души».

— Что же скрывается под каждой из этих масок? Полагаю, нечто не слишком привлекательное...

— Но я ведь не прошу тебя смотреть!

Мой тон, очевидно, поразил этого христианина, и он поспешно сказал:

— Прости, пожалуйста. Признаюсь, я не имел права относиться к этому так свысока. Все мы одинаково несчастны.

— Да, Келлер, но есть разница между таким несчастным, как я, избалованным, пресыщенным, думающим только о себе, и таким несчастным, как ты, алчущим и жаждущим справедливости.

— О! Но ты знаешь, несмотря ни на что, я ищу радости... Мы должны снова увидеться,— продолжал он с воодушевлением,— я не буду читать тебе проповеди.

Я почувствовал желание рассказать обо всем, довериться ему. Я задышался. Я сказал:

— Охотно, но я сейчас переживаю тяжелое время. Бог покинул меня.

Он взял меня за руку и ненадолго задержал ее в своей.

— «Когда думаете вы, что далеки от меня, тогда я ближе всего к вам». Знаешь эти слова из «Подражания»?

— Но дело не просто в холодности, в черствости, я творю зло.

— Ты творишь зло?

— Да, и та, с кем я творю его, не меньше меня желает, чтобы мы отказались от зла... Но каждый день наступает час, когда это не зависит ни от нее, ни от меня...

— Да, я понимаю,— сказал Келлер проникновенно.— Я буду молиться за тебя. Я близко знаком с настоятельницей монастыря визитандинок.

— О нет,— возразил я.— Не стоит труда. Это такие пустяки, меньше, чем пустяки...

— Ты называешь это пустяками?

Я встал, я снова заговорил тем тоном, который в свое время приводил Келлера в отчаяние.

— Да, я исполнен смирения, в смирении я не знаю себе равных, я полагаю, что ни один мой поступок не имеет ни малейшего значения.

— И однако же, от малейшего нашего поступка зависит наше вечное спасение. Ты в это не веришь?

— Нет, верю... Но от этого поступка не больше, чем от другого. Худшее во мне, Келлер,— это, видишь ли, не мои дела, это даже не мои мысли. Худшее во мне — равнодушие, отсутствие той страсти, которой одержим и ты, христианин, и все молодые воители — социалисты, анархисты... Худшее во мне то, что я равнодушен к страданиям других и охотно мирюсь со своим привилегированным положением...

— Ты — буржуа, крупный буржуа, его нужно убить в тебе. Мы убьем его, вот увидишь.

— У буржуазии крепкий хребет. Я родом из тех крестьян, жителей ланд, которые заставляют стариков родителей работать, пока те не подохнут, а если берут в прислуги какую-нибудь маленькую девчущку — «девку», как они выражаются, — то выдерживает она только потому, что этот возраст все стерпит...

Я замолчал, устыдившись, что доверился этой случайно встретившейся мне возвышенной душе, и встал:

— Прощай, Келлер. Не ходи за мной. Забудь все, что я сказал. Забудь обо мне.

— Неужели ты думаешь, что я о тебе забуду? Мы увидимся, когда начнутся занятия? Обещай мне...

Бедный Келлер! Он будет молиться, страдать за меня, заставит молиться и страдать святых сестер. Какое безумие! И однако же, ничто на свете не волнует меня сильнее, чем это общение святых душ, их взаимодействие: мое раздражение против Келлера было вызвано тем, что он коснулся самых сокровенных моих тайн, но я не сомневался в его власти воздействовать на мои дела и направить их по другому руслу. Нет, я не думаю, что происшедшие на следующий день события были связаны с этой встречей в Ботаническом саду. Все, что случилось, было в порядке вещей и даже неизбежно: мама не могла больше терпеть эту неопределенность и тревогу, время шло, пора было ей вмешаться.

На следующее утро, едва открыв глаза, я уже знал, что в обычный час мне не придется звонить у дома на улице Эглиз-Сен-Серен, что Мари будет ждать меня за дверью. Дождя не было, но где-то он, должно быть, прошел, дышалось, во всяком случае, легче. Я мог весь день, словно заблудившийся пес, трусить рысцой по набережным. Я дошел до самых доков. Обратоно приехал в трамвае, стоя на задней площадке, зажатый в толпе дэкероv. Я побродил еще немного. Все, что я делал до ожи-

даемой минуты, значения не имело. В половине седьмого Мари за дверью не оказалось, я позвонил, но тщетно. Должно быть, ее задержали. Я решил прогуляться по улицам, ждать тут было неумоготу. Минут на десять я погрузился в темные недра церкви Сен-Серен, самой мрачной во всем городе, потом вернулся к дому Мари. И тут я увидел, что она переходит улицу. Она была бледна и задыхалась. Она достала ключ из кармана:

— Входи скорее.

Она втолкнула меня в гостиную с закрытыми ставнями. Не успев даже снять шляпку, она сказала:

— Сейчас я видела твою мать.

— Где ты ее видела? Ты говорила с ней?

— Да, представь себе! Я показывала книгу покупателю. Вдруг мне стало не по себе от пристального взгляда дамы в черном, довольно полной и с виду очень важной, которая вошла в лавку. Я сразу почувствовала, что это не покупательница, что интересую ее только я, и вдруг я увидела тебя, да, тебя, Ален, передо мной возник твой ангельский лик, отделившийся от этого крупного властного лица Агриппины или Гофолли. Я узнала твою мать, такой я и рисовала ее себе. Пожирать глазами — оказывается, это бывает буквально так! Мало сказать «пожирала» глазами — она рвала меня на куски. Мне казалось, я знаю, что значит быть чьим-нибудь врагом. Нет, чувствовать к себе ненависть, настоящую ненависть приходится гораздо реже, чем кажется: как будто вас убивают медленной смертью, чтобы сильнее насладиться этим, если возможно, — теперь я знаю, как выглядит ненависть.

Может быть, надо было дать ей уйти? Что бы сделал ты, Ален? Я уступила своему первому побуждению, в сущности, пожалуй, любопытству. Я обратилась к ней, спросив самым деловым тоном: «Что вам угодно, мадам?» Она несколько опешила. Потом заявила, что зашла лишь взглянуть на новинки. «Да, — сказала я, — а быть может, и на меня?» Представь себе ее лицо в этот момент. «Вы знаете, кто я?» — «Я знаю о вас все, мадам». Она побледнела как смерть, она прошептала: «Он говорит с вами обо мне? Теперь меня уже ничто не сможет удивить!» Я возразила: «О, я все о вас знаю не потому, что он рассказывает мне о вас, а потому, что на нем лежит ваша печать, вы сами вылепили его, он — дело ваших рук, даже когда он ускользает от вас; я знаю о вас все в той мере, в какой я знаю все о нем». Она сказала: «Все это слова... — тем тоном, каким, должно быть, говорила тебе раньше «пустомеля». — Невоз-

можно разговаривать в этой лавке...» — проворчала она. «Тут есть подсобное помещение, мадам. Если вы считаете для себя возможным пройти туда...» Она согласилась. Я попросила Ба-лежа заняться на несколько минут покупателями и ввела твою мать в закуток.

— Мама — в закутке!

— Да, представь себе, в этом шкафу мы оказались, как ты любишь выражаться, нос к носу. Первые обращенные ко мне слова не соответствовали ее бешенству; очевидно, она их подготовила заранее, с холодной головой, и, мне кажется, по мере того как она их выкладывала, она сама успокаивалась и постепенно применялась к их звучанию. Она заверила меня, что воздерживалась от всякого суждения обо мне, более того, она заинтересована в том, чтобы все хорошее, что ты говорил ей обо мне, было правдой, и хотела бы этому верить. «Но, мадемуазель, если вы действительно столь избранное существо, каким он вас изобразил (помимо ее воли презрение шипело змеей в этих словах), то невозможно, чтобы, любя Алена так, как, по вашим словам, вы его любите, вы не понимали, что ничего не может быть хуже для двадцатидвухлетнего мальчика, которому в известном отношении не больше пятнадцати...» — «Ему было пятнадцать, мадам, до того, как он со мной встретился». Она отлично поняла, о чем я говорю, стиснула челюсти, но сдержалась и продолжала: «Ничего не может быть хуже, чем женитьба на женщине, которая настолько старше его, и, простите, если я обижаю вас, но что поделаешь, на женщине с прошлым...» — «Да, — сказала я, — и с настоящим и, почему бы я не сказать, с будущим!» Я дразнила ее из холодного расчета, чтобы она вышла из себя. Но она продолжала: «Не думаете ли вы, мадемуазель, что найдется на свете мать, которую не огорчила бы подобная женитьба? Я уж не напоминаю вам о том, что делает в буквальном смысле слова немыслимым союз между двумя нашими семьями...» — «Разумеется, мадам... прежде всего я не принадлежу к тому, что называется хорошей семьей. А Ален, он — молодой Гажак, типичный молодой человек из хорошей семьи...»

Я с раздражением прервал Мари:

— Ты высмеивала меня перед моей матерью! Тебе хотелось блеснуть, взять над ней верх, раздавить ее, и ты воспользовалась мною.

— Что ж, — сказала она, — не стану скрывать, я испытала

острое наслаждение, сводя эти счета, я позволила себе удовольствие дерзить вовсю. Выспей дерзостью было бы сказать ей то, что вертелось у меня на языке: «Ваш сын просил моей руки, но успокойтесь, и речи быть не может, чтобы я согласилась: я люблю Алена, а не его богатство, которое вызывает у меня ужас, не его среду, которая мне отвратительна...» Я могла бы даже признать, что разница в возрасте может быть угрозой нашему счастью, и для меня в большей степени, чем для тебя. Да... Но, Алел, это значило бы выдать ей секрет, снять с нее огромную тяжесть, она сразу снова стала бы хозяйкой твоей жизни, а ты лишился бы обменной монеты, которой я тебя снабдила: ведь твоя мать готова согласиться на все, лишь бы я исчезла. Значит, надо было продолжать игру, и я сыграла ее до конца. Сначала я с ней не спорила, я дала себе труд вникнуть в ее доводы. Я признала, что с точки зрения социальной и даже с любой точки зрения я отнюдь не являюсь той супругой, о какой мечтает мать единственного сына, да еще такого богатого, как ты... Разве лишь,— добавила я,— с одной целью — избавить его от худшего зла...

— О! — возмутился я.— Надеюсь, ты не бросила ей в лицо обвинение в страсти к земле, не упомянула о Нума Серисе, Вошке?

— Нет, я ничего не бросала ей в лицо, я все ей преподнесла весьма любезно — так, чтобы она не ушла, хлопнув дверью. Я вменила себе в заслугу, что теперь почти все связывавшие тебя путы порваны, но призналась, что освободила тебя еще не до конца; я объяснила, как нетрудно было бы доказать тебе, что не требуется никакого колдовства, чтобы наблюдать за тем, как растут сосны, которые растут сами по себе, чтобы заставлять фермеров собирать смолу и класть себе в карман денежки. Вместо того чтобы гноить деревья, которые давно уже следовало вырубить и к вящей выгоде заменить новыми, я научила бы тебя проводить регулярные рубки и обеспечила бы тебе огромный годовой доход, из которого сейчас вашим фермерам ничего не достается... Но мы, сказала я, все эти порядки переменим — выручку за проданный лес мы будем делить с фермерами. Так мы решили, Алел и я...

— Но это неправда,— воскликнул я,— не могла ты ей сказать такую ложь!

— А вот и сказала! Доставила себе такое удовольствие.

О, этот недобрый голос Мари, я не раз его слышал, когда на мгновение прорывалась горечь, накопившаяся в ней за годы

ее печальной юности, но только встреча с моей матерью разрушила все плотины и хлынул этот поток, окативший заодно и меня. Я вдруг оказался на стороне своей матери. Я понял это по вырвавшемуся у меня крику:

— Да во что ты вмешиваешься!

— А! — крикнула она в исступлении. — Вот оно что! Это почище, чем «кто тебе сказал?» Гермियोны! Что же так возмутило тебя: оскорбление, нанесенное матери, или, может быть, идея разделить с фермерами деньги за вырубку сосен? Так, значит, из-за того, что я хотела отнять у тебя эту кость, ты показал вдруг клыки! О, ты истинный сын своей матери! Беги, утешь ее!

Я пробормотал:

— Мари, дорогая...

Я хотел обнять ее, но она меня оттолкнула: она была вне себя.

— А вот чего ты, боюсь, никогда не сумеешь — это вести себя с женщиной, как мужчина: этому научить нельзя.

Сначала я даже не почувствовал удара и стоял неподвижно, опустив руки. Должно быть, она увидела мое перевернутое лицо и мигом отрезвела. Она простонала:

— Ален, малыш мой...

Но теперь настала моя очередь оттолкнуть ее, и я изо всех сил хлопнул входной дверью.

ГЛАВА XI

Льет дождь на дубы Шикана. От неумолчного шороха капель уединение этого затерянного в ландах уголка кажется еще более полным. У меня есть убежище — крохотная столовая, сложенная из сосновых бревен и крытая сухим папоротником, она сливается с хижинкой и не отпугивает вяхирей. В комнатке камин, когда-то в нем жарили для Лорана жаворонков, которых он отстреливал в полях Жуано; он не любил охоту на вяхирей: ведь она вынуждает охотника сидеть неподвижно. Вот уже четыре года, как он лежит не шевелясь, бедный мальчуган, не шевелясь лежит то, что от него осталось. То, что осталось от этого молодого, полного жизни существа... Ничто ни к чему не приводит в этом мире. Но очевидность этой истины бессильна против тоски, порожденной определенным событием — несчастьем, уже свершившимся, непоправимым, которое мне придется нести те шестьдесят лет, что я еще отпустил себе для жизни. Попы-

таюсь победить эту тоску, продолжая в своей тетради нашу историю с того места, где я ее прервал, переживая ее снова, минуту за минутой, до последнего сразившего меня удара.

Итак, дверь Мари захлопнулась за мной: все кончено, на этот раз все кончено бесповоротно. «Ален, малыш мой!» Ее последний призыв взбесил меня, вместо того, чтобы растрогать. Нет, я не «твой малыш». Как ты ни стара, ты все же не могла бы быть моей матерью. Я спускаюсь по улице Эглиз-Сен-Серен, я бегу к маме — кто знает, быть может, она при смерти. Она иногда жалуется на сердце, она часто говорит: «У нас в семье умирают от сердца». Луи Ларц, поджидавший меня на площадке, предупредил, что у мадам мигрень и обедать она не будет. Я, не стучась, захожу к ней в комнату. Она лежит, но не в темноте, как бывает в самые тяжелые дни. Лампа у ее изголовья зажжена. Она очень бледна, улыбается мне и как будто спокойна. Я стараюсь не выдать себя, но неужели она не заметит, что я потрясен? Она привлекает меня к себе, и я раздражаюсь рыданиями, словно в былые времена, когда я получал прощение после вспышки гнева и она говорила: «Ты умеешь раскаиваться».

— Что с тобой, дорогой мой?

— Я знаю, тебе причинили боль.

— Ах, ты знаешь? Да, боль... но также и облегчение. Не все ли равно, что думает о нас эта несчастная девушка? Главное, что в душе своей — надо отдать ей справедливость — она понимает, какое непреодолимое расстояние лежит между нею и тобой, теперь я спокойна...

— Она сказала тебе, что отказалась?..

— О! Не окончательно, но я поняла: она решила сыграть благородную роль. Она не желает твоих денег, твоих земель, твоей буржуазной среды. Это она тебе отказывает, понимаешь? (Мама рассмеялась, настолько это казалось ей нелепым.) Что ж, я вполне довольна!

Значит, все произошло не так, как рассказала мне Мари. Она изобразила передо мной наполовину вымышленную сцену. Для чего? Чтобы отомстить за то, что потерпела поражение? А она, конечно, потерпела его, раз к маме вернулось спокойствие.

— Да, я успокоилась. О, не столько из-за ее выпада против всего, что мы для нее олицетворяем, но и оттого, бедный дру-

жок мой, что я увидела ее. Я признаю, — добавила она тут же, — у нее прекрасные глаза. Этого у нее не отнимешь. Но выглядит она много старше своего возраста: это женщина, которая трудится, ведь так?

— Да, — сказал я, — и которая много страдала.

— О! Такие страдания...

Мама благоразумно проглотила последние слова. Помолчав, я спросил:

— Вы говорили о Мальтаверне?

— Нет, разумеется! На это у нее не хватило наглости, если не считать ее тирады против земельной собственности и крупных собственников.

— Ручаюсь, она возмущалась тем, что мы не делимся с фермерами доходами от вырубки леса?

Я спросил это самым безразличным тоном. Слегка отодвинувшись, я разглядывал освещенное лампой крупное бледное лицо, на котором не выражалось ничего, кроме изумления:

— Чего ты добиваешься? Представляешь себе, как бы я отчитала ее, если бы она посмела... Но ты не ужинал, мой бедный мальш. Сегодня у нас заливной цыпленок. Иди, не беспокойся обо мне, я довольна.

Я был голоден и поел с аппетитом под одобрительным взглядом Луи Ларпа. Я еще не страдал. Может быть, я и не буду страдать? Я считался болезненно-чувствительным ребенком, а потом — подростком и сам этому верил. Но только я один знал, каким чудовищем равнодушия могу я внезапно обернуться, и не только по отношению к другим, но и по отношению к самому себе. Почему Мари обрушилась именно на меня? Почему она решила выместить на мне обиду за то, что мама взяла над ней верх, как брала верх над фермерами, слугами, арендаторами, поставщиками, Нума Серисом и, более чем над всеми, над своим несчастным сыном? Быть может, Мари внезапно возненавидела во мне все, что раньше особенно любила: мою слабость, мою неизлечимую инфантильность. «Чего я добиваюсь?» Она решительно вырвалась из своего последнего сна о счастье, которое воплощалось для нее во мне... А я? А я? Растянувшись за кисейным пологом, я прислушивался к зудению москитов, круживших вокруг меня с ожесточением диких зверей. Я и не подозревал, что появление самого опасного зверя еще впереди. Я все твердил: а я? Я стиснул зубы. Нет, я не так чувствителен, как все они считают, и даже не так слаб.

Через два дня мы отправились в Мальтаверн. Накануне я ездил попрощаться с Симоном. Я назначил встречу у него в Талансе, там мы могли беседовать без помех. Мне не удалось уговорить его поехать со мной хотя бы на несколько дней. Он отказывался не только из-за мадам — больше всего его пугали Дюпоры. Симон успокоился, смягчился; имя господина Муро не сходило у него с языка. Он отдал себя в руки господина Муро. Я признался, что совершенно не способен на такое полное, по Паскалю, подчинение своему духовному руководителю. Последний год работы в лицее теперь уже не страшил Симона. Это будет время «сосредоточенности», как он говорил. Потом он поступит в семинарию в Иси: «К тому времени вы будете в Париже, мы с вами увидимся». Для него не было никакого сомнения в том, что я поеду в Париж и по-прежнему буду осыпан и обременен всем тем, что ему дано познать только через меня и во мне. Я почувтил, что таким образом он будет познавать мир при моем посредстве и, пока я буду губить себя, он заработает себе спасение. Он произнес вполголоса: «Наше спасение, спасение нас обоих».

Я не знал, что он тоже нанесет мне удар. Я считал его безобидным, не способным причинить мне ни добро, ни зло, да, самым безобидным существом. Мы еще не обменялись ни единым словом о Мари, и я чувствовал, что за этим молчанием что-то кроется. Я привык вечно слышать от своей подозрительной и проницательной мамы: «Ты от меня что-то скрываешь». Я сам перенял у нее эту склонность доискиваться, что скрывают от меня другие. Прощаясь, я спросил у Симона, знает ли он все обо мне и Мари? Да, он видел ее вчера. Я пожалел, что произнес это имя. Я чувствовал, что ему не хватит такта, этому крестьянину. Такта ему не хватило, он сказал:

— Знаете, ей словно больной зуб вырвали... — И добавил: — Это лучше для вас обоих. Ведь, как бы там ни было, она никогда не верила... Вы подозревали, что она мечтает о браке. В ее-то положении — да нет, что вы! Такая умница, как она, пожалуй, могла бы подвести вас к этому, но она прекрасно понимала, какой это будет ад. Она не сумасшедшая. Но, только если бы эта история слишком затянулась, она могла испортить кое-что другое, а это для нее дело решенное. Правда, старик Бард не так уж строго на все смотрит...

— А какое дело Барду до личной жизни Мари?

— Вот тебе на! Разумеется, в этом смысле между ними ничего нет, да никогда и не будет. Старик Барду семьдесят лет.

В сущности, Мари выходит замуж за книжную лавку. Он и так превратился только в счетовода, а душой дела стала она. Книжная лавка, знаете ли, для нее все. Клянусь вам, она предпочитает ее Мальтаверну. Послушали бы вы, как она вспоминала о крапиве на берегу Юра, о мухах, о езде в двуколке на одолеваемой слепнями кляче, об ожидании на Низанском вокзале...

— Если мог кто-нибудь понять Мальтаверн, его истекающие смолой сосны, эту скорбную бесплодную землю, то именно Мари...

— Э, нет, господин Ален, надо там родиться и чтобы наши деды и прадеды родились там. Только мы с вами... Она городская, она и жизнь-то проводит не на улице, не на вольном воздухе, а в Пассаже.

— И вы думаете, будто Бард и она...

— О, не раньше Нового года, скорее, к середине января...

— Значит, я был последней передышкой, которую она себе позволила... Все-таки это ужасно.

— Да нет же, ведь ничего такого не произойдет, ничего и не может произойти, просто они устроят свою жизнь...

— Да и что тут такого! — воскликнул я. — Она привыкла к старикам.

— Это нехорошо, господин Ален, это нехорошо!

— Какой ужас — старики, которые стремятся приблизиться к молодым, какая мерзость! А старые писатели еще смеют говорить об этом в своих книгам, и не стыдно им? Подумать только, она была обречена на это! Правда, у нее был я. Но так оно бывает всегда. Когда Балеж уйдет на покой, она сможет нанять себе двадцатилетнего приказчика.

— Нет, господин Ален, она вас любила, она вас любит.

— Что ж, полюбит и двадцатилетнего приказчика, а потом они убьют Барда и поженятся. Что и говорить, все это вполне в духе Золя, эта книжная лавка в Пассаже.

— О! Господин Ален, что вы! Это нехорошо...

— И в ней тоже есть что-то от Золя — то, что я всегда не навидел. Что может понять в Мальтаверне Тереза Ракен? А все-таки она его полюбила, знаете, она любила его в вечер вашего приезда, и потом ночью, и еще на рассвете, до того, как отверзлась эта раскаленная печь, и сосны, казалось, протягивали к нам ветви, благословляя ее и меня... Но нет, они благословляли только меня, они знали только меня, у нее с ними не было ничего общего.

И вдруг меня охватила ярость:

— Да, конечно же, она создана для Барда! В конце концов, она ненамного его моложе!

— О, господин Ален!

— Как только для женщины кончилась первая молодость, она уже переходит в другой стан, в стан Барда.

Я не знал, что скорбь может довести меня до такого бешенства.

— И подумать только,— закричал я,— что все эти священники скулят втихомолку и жалуются на безбрачие, тогда как лучшее в их существовании то, что они избавлены от этого скотства. Даже у скотины это не так грязно!

— О, господин Ален, как сказала бы мадам, вы заговариваетесь. Плоть священна, вы это знаете.

Я разрыдался:

— Да, я это знаю.

Симон не имел ни малейшего представления, что нужно делать и говорить, когда такой господин, как господин Ален, рыдает перед ним. С самого детства он никогда не плакал — ни перед другими, ни даже в одиночестве. Слезы тоже были одной из моих привилегий.

Я быстро пришел в себя, вытер глаза, извинился: просто меня поразил этот брак со стариком. Но я уже начинаю привыкать к этой мысли. Так, значит, замуж она выходит за книжную лавку, чего же лучше? Все прекрасно... Я сел в автомобиль. С Симоном мы увидимся, когда начнутся занятия. Едва «дйон» отъехал, я снова начал страдать. Это страдание совсем не походило на то, что я обычно именовал страданием. Оно причиняло физическую боль, было физически невыносимым. Мари знала, она это всегда знала, она взяла себе для забавы желторотого птенца, прежде чем связать себя навсегда. Когда она станет госпожой Бард, ей придется вести себя осторожно. Как справиться с этой болью? Долго я так не выдержу. Если бы мне не надо было завтра уезжать в Мальтаверн, я разыскал бы Келлера, он отвел бы меня в свое братство, — может быть, я там встретил бы кого-нибудь. Он сказал: «Братство сеятелей» — это дружба». Люди любят друг друга, это любовь, тут нет никакого скотства.

На следующий день мы уже были в Мальтаверне. Я и слышать не хотел ни о Люшоне, ни о том, чтобы поселиться где-нибудь в гостинице. Мама видела, что я страдаю, но считала, что через несколько дней это пройдет. Операция сделана, и сейчас наступил, как всегда, тяжелый послеоперационный период.

А сама она была спокойной и нежной, какой я не видел ее уже много лет, умиротворенной, как человек, избежавший смертельной опасности. Она и не подозревала, что была буквально на шаг от величайшего несчастья, никогда не была она к нему ближе, чем в тяжкие часы между краткими просветлениями, еще дарованными мне судьбой. Эти строки я пишу только для себя, их не прочтет даже Донзак, потому что самое постыдное, самое презренное — это сделать вид, что хочешь умереть, и не умирать. Неудавшееся самоубийство всегда вызывает подозрение, но оказаться неспособным даже на неудачу! Лучше уж не давать повода для пасмешек.

Итак, что же оберегало меня все это время — после встречи с Симоном накануне отъезда в Мальтаверн и до сегодняшнего дня — от безумного желания заснуть навеки, от этого «стремления-не-жить»? Я не знаю, что известно об этом недуге врачам, но хорошо знаю, что испытывает несчастный, в чьем роду и прадед и брат прадеда утопились в лагуне Тешуэйра. Пастухи называют этот недуг «пелагрой» и говорят, что всех, кто им страдает, тянет в воду.

Я думаю, что эта болезнь, подобно всем прочим болезням, у нас в крови, она порождена тоской, отпущенной нам в смертельных дозах, она составляет самую сердцевину нашего существа, она появляется на свет вместе с нами и звучит уже в первом нашем младенческом крике.

В течение последних недель, которые я прожил рядом с мамой, смягчившейся и просветленной, прощавшей мне все, готовой во вред себе кормить меня раками и грибами, я пришел к заключению, что от смерти меня уберегла только моя неумелость. «Ничего-то ты не умеешь делать собственными руками, — не раз с презрением говорила мне мама, — ты не способен даже стать грузчиком!» Да, и даже убить себя. Лагуна Тешуэйра сейчас совсем обмелела. А яд... разве можно купить его у аптекаря без рецепта? Я слишком труслив, чтобы решиться принять смерть, как Анна Каренина, под колесами поезда, слишком труслив, чтобы броситься вниз с высоты, слишком труслив, чтобы пажать гашетку.

Самое странное, что единственная моя опора — вера в вечную жизнь — не имела тогда для меня ни малейшего значения. За дефинициями малого катехизиса и запретами казуистов мне слышался издевательский хохот: эти болваны приравнивают к убийству акт добровольного ухода из жизни... Прежде всего

не такой уж он добровольный, поскольку его необходимость заложена в нас так же, как все, что убивает нас изо дня в день, от рождения до самой смерти. В этот мой приезд земля Мальтаверна стала для меня именно тем, чем она была, — угрюмыми бесплодными ландами, которые рано или поздно выгорят дотла. Преображал ее мой собственный взгляд, магия моего взгляда. Так же как и Мари. Земля Мальтаверна и Мари навсегда остались такими, какие есть. Я потерял над ними власть преображения. Только бы Мари не подумала, что я хотел умереть из-за нее.

Я пытаюсь молиться, но слова лишаются всякого смысла, когда я произношу их, и это прибежище, где я так часто спасался и где, как я считал, можно погрузиться в созерцание, оборачивается зияющим провалом в пустоту, в ничто.

Но, повторяю, бывают дни облегчения. Неожиданно я снова обретаю вкус к жизни. Я знаю, это ненадолго, болезнь вернется, но я пользуюсь временем, отпущенным мне для передышки. Глубокой ночью я встаю и выхожу босиком на балкон, где мы с Мари стояли, опершись на перила. И мои глаза видят все это еще раз, да, все это было — небо с угасающими звездами, вознесенные к небу вершины сосен, и мои глаза, смотревшие на них, и сжимавшееся от отчаяния сердце. Это было, я лгал, утверждая, что ничего не было, и, если я потерял ключ от этого бессмысленного мира, это еще не значит, что ключа нет.

Часы облегчения приходили все чаще, пока не произошел случай, о котором я сейчас расскажу. Я и правда думал, что это только случай, а это был тот поворотный пункт, где судьба подстерегала меня и схватила за горло, словно все мои мысли о самоубийстве были предвестием беды, готовой обрушиться на всех нас.

Хотя в сентябре никто уже не купается возле мельницы господина Лапейра — вода там холодна как лед, — но в этот день было так тепло, что я на всякий случай захватил с собой купальный костюм. Без сомнения, меня не покидала мысль о возможности покончить все разом в этот день: ведь я, наверное, буду там один. Меня страшил конец Анны Карениной, но не конец Офелии — скорее всего я втайне знал, что инстинктивно начну делать движения, которые не дадут мне утонуть. У меня мелькали какие-то неясные мысли о возможности несчастного случая. Я представлял себе горе матери, горе Мари. Будут говорить то, что говорят в таких случаях: предполагать судорогу, кровоизлияние. Свидетелей не будет.

Спускаясь по песчаной дороге к мельнице, я с досадой увидел, что в пруду плещется какой-то одинокий купальщик. Вода слишком холодна, долго он там не пробудет. Я решил подождать, пока он освободит мне место, и скользнул в гущу папоротника, откуда мог наблюдать за ним, сам оставаясь незамеченным. Есть особое удовольствие — обычно в нем не признаются, но я признаюсь — смотреть на того, кто нас не видит, даже не знает, что мы здесь, и думает, что он один. Поистине удовольствие, доступное только богу. Очень скоро я заметил, что мой купальщик был купальщицей — правда, такой тоненькой и длинноногой, что легко было ошибиться. Но, пожалуй, уже не маленькой девочкой. У девочек не поймешь — девочки никогда не бывают детьми, детство им заказано. Эта, очевидно, была еще девчушкой, она купалась в мальчишечьем купальнике. Девушка из местечка никогда бы себе этого не позволила. Она вышла из воды, уселась на берегу на солнышке, чтобы обсохнуть, огляделась вокруг. Был полдень — тишина и безлюдье. Она проворно спустила бретельки купальника, невинно обнажив худенькие плечики и едва наметившуюся грудь. То, что я почувствовал, совсем не похоже на то, что может подумать Донзак, — не сладострастие фавна. Нет, маленькие девочки еще не вызывают у меня дурных мыслей. Мне показалось, будто кулак, сжимавший мое горло, внезапно разжался (если бы я только знал!), будто кто-то убрал ладони, закрывавшие мои незрячие глаза, и я вдруг прозрел. Уже одно это создание было чудом, а в мире таких миллионы — в том мире, которого я не знал и в который, впрочем, ничто и никто не заставит меня вступить, если я предпочту сидеть в своей комнате, где одни только книги и нет ни одного человека.

Поднявшись, девочка долго стояла под лучами солнца, и так далеки были от меня нечистые мысли, что, глядя на нее — пусть это важно только для меня одного, — я, как всегда при виде прекрасного юного тела, ощутил со всей несомненностью, что бог есть. Бог существует, вы видите сами. И тот же голос, который кричал мне в ухо: «Все перед тобой, все тебе дано, убивай и ешь...» — тот же голос шептал: «Но ты можешь выбрать: и отказаться от всего, и искать меня, и в этом единственный выход».

Девчушка исчезла в зарослях папоротника и скоро появилась снова, в коротенькой юбчонке, не слишком красивая, на-

сколько я мог судить издали: круглая гребенка туго стягивала ее волосы и лоб казался слишком высоким.

Но я видел ее без платья и знал, что она прекрасна — не красотой, запечатленной в уже сложившихся чертах, а той, что таится в изменчивых линиях, складывающихся в пору созревания. Я подглядел мгновение между зарей и рассветом, или, вернее, между рассветом и утром, — чудо, которое продлится недолго и по-настоящему еще не началось.

Я дал ей уйти и пошел следом, держась чуть поодаль. Она шагала, то чинная и серьезная, как взрослая девушка, потом, вдруг подпрыгнув, как козленок, ныряла в чащу напоротника, наклонялась, что-то там собирала и снова шагала дальше. Неожиданно сухая ветка хрустнула у меня под ногой. Она обернулась, поднесла ручонку к глазам, чтобы рассмотреть, кто это идет за ней, и вдруг — может быть, она узнала меня? — бросилась бежать со всех ног и исчезла за поворотом тропинки. Когда я подошел к повороту, ее уже и след простыл — должно быть, скрылась в лесу.

ГЛАВА XII

Возвращаясь с мельницы, весь поглощенный мыслями о вспугнутой купальщице, я издали увидел, что мама поджидает меня на крыльце. Она крикнула, что мне пришла телеграмма, и, когда я подошел, протянула ее мне, уже вскрытую:

— Я ее вскрыла, естественно! Это Симон... хватает же наглости!

Я прочел: «Необходимо срочно увидеться. Телеграфируйте возможность приехать завтра Таланс».

— Если хочешь послушать моего совета, потребуй, чтобы он сначала написал, в чем дело.

— Нет, он скромнейший человек. У него, должно быть, есть серьезные причины. Я поеду завтра же утром. Надо только предупредить шофера.

— Разумеется! И автомобиль твой, и шофер твой.

В предрассветном тумане петухи Мальтаверна перекликались с петухами дальних ферм. «Крик, повторяемый тысячью часовых». Я был почти уверен, что вызывает меня Мари и что я застаю ее у Симона. Мне это было даже не слишком любопытно, я твердо решил уклониться от бесполезных объяснений; когда имеешь дело с комедианткой, нет надобности притворять-

ся, будто веришь в реальность создаваемого ею персонажа, даже если она сама в него верит и умеет обмануть себя. Донзак говорит о романах Бурже, что это грошовая психология. Да, именно такой медной монетой мы расплачиваемся друг с другом. А кроме того, хотя я и обрел сейчас какую-то передышку на своем пути, я был в полном изнеможении, я уже ничего не чувствовал. Сидя один в автомобиле, я смеялся при мысли, что из всех моих претензий к Мари всплыло на поверхность только то, что сказала она Симону о крапиве на берегу Юра, о мухах, о двуколке и о Низанском вокзале, — ее отречение от Мальтаверна, она отеклась от него, неблагодарная, недостойная, идиотка!

Ее не было у Симона, когда я приехал, но она должна была прийти к завтраку. Бард беснуется, сказал Симон, оттого, что Мари бросит на час лавку. Она была в отчаянии, что сама не рассказала мне о своем будущем замужестве, которое сводилось для нее только к тому, чтобы книжная лавка не попала в чужие руки. По признанию Симона, он слишком сгустил краски, описывая Мари, в какую ярость я впал, когда он без всякой подготовки сообщил мне о ее планах, думая, что мне все уже известно.

— Вы передаете каждое мое слово, — упрекнул я его с раздражением. — Вы способны все испортить. Скромность — это, к сожалению, добродетель, которой научить нельзя.

Он слабо защищался. Вероятно, на его совести было немало подобных грехов.

Мари приехала на трамвае около полудня. То, что должно было вот-вот на меня обрушиться, но чего я тогда даже отдаленно не мог представить, теперь, когда это произошло, мешает мне точно припомнить сбивчивые слова, которыми обменялись мы с Мари в комнате Симона, где он оставил нас одних. К чести Мари, должен сказать, что, увидев мое печальное лицо, она уже не думала больше ни о ком, кроме меня. Таким, видимо, я обладаю даром — пробуждать в женщинах заботливую и восторженную мать. Она нежно сжала мое лицо обеими руками и сказала:

— Мне не нравится твой взгляд.

Я, не затеяв спора, выслушал все соображения Мари по поводу ее брака, словно уже не чувствовал никакого огорчения. Те несколько часов, которые прошли после этого объяснения с Мари, после завтрака в таланском бистро, куда пригласил нас Симон, эти несколько часов кажутся каким-то бесконечно про-

тяжелым временем, паузой в моей жизни между двумя мирами. А потом — как будто истинная причина моей тоски внезапно открылась мне — и заметки о банальнейшем происшествии, заметки под портретом в «Жиронде», которую принес мне консьерж на улице Шеврюс вместе с утренним кофе, оказалось достаточно, чтобы в мгновение ока швырнуть меня в бездонную пропасть, куда я продолжаю лететь вниз головой.

Итак, в то утро, отхлебнув несколько глотков кофе, я рассеянно заглянул в газету, и мне показалось, что это галлюцинация — лицо маленькой девочки с зачесанными над слишком высоким лбом волосами, это лицо без улыбки я сразу узнал. Это была девочка с мельницы. И внизу курсивом: «Жаннетта Серис ушла из дома своего отца господина Нума Сериса позавчера в полдень и не вернулась. Предполагают, что она бежала из дому, у девочки замечалась такая склонность. На ней была полосатая фуфайка, белые сандалии на босу ногу. В волосах круглая гребенка». Далее следовал адрес Нума Сериса, номер телефона. Это была Вошка! Прежде чем понять, обдумать и передумать все, что внесла эта история в мою неизбывную тоску, я не мог не усмехнуться: какую злую шутку со мной сыграли! Так, значит, это Вошка купалась возле мельницы господина Лапейра и показалась мне такой прелестной! Это не могло быть случайностью, слишком ловко все было подстроено. Как сказано в писании: «Враг сделал это...» Да, враг открыл мне ее прелесть, но что случилось с ней самой? Мое появление привело ее в ужас, она бросилась бежать, она исчезла, и, может быть, навсегда...

Я был единственным свидетелем. Надо немедленно возвращаться в Мальтаверн. Но в полдень у меня назначено свидание с Мари и Симоном. Я расскажу им все, сделаю так, как они мне посоветуют. Впрочем, скорее всего, это бегство; я не знал, что у нее есть такая склонность: ведь при мне о ней никогда не говорили. Господи, зачем ты посмеялся надо мной?

Я торопливо оделся, вышел, купил еще две бордоские газеты, увидел тот же портрет, то же объявление. Я забежал в Лионский банк и в редакцию газеты «Франс» на улице Порт-Дижо, там всегда вывешивают последние сообщения: об исчезновении маленькой Серис не было ничего. Я вернулся на улицу Шеврюс. Признаюсь; я дрожал от страха, изнемогал от тревоги. Страх перед чем? Тревоги перед чем? Я был уверен, что надо быть готовым к самому ужасному. Если это ужасное произой-

дет, что ж, на этот раз я найду силы и способ перейти на ту сторону. Враг не заполучит меня, как бы хорошо он все ни подстроил.

Мне казалось, будто я обеими руками удерживаю петлю, обвившуюся вокруг моей шеи, а она с каждой секундой затягивается все туже и туже. В полдень я уже стоял за дверью и распахнул ее, не дав им позвонить. Не знаю, на кого я был похож. Мари крикнула:

— Ален, что случилось?

Я не мог говорить, я показал им фотографию. Ну и что же? Они ее видели, они даже посмеялись. Девочка убежала... Я возразил:

— Не над чем тут смеяться — это дело моих рук.

— Да ты с ума сошел, Ален!

Тогда я начал рассказывать им всю историю, сам не узнавая своего голоса. Они больше не смеялись. Мари сказала:

— Сейчас мы позавтракаем, и ты отправишься туда. До вечера ее найдут. Как только приедешь, дашь свои показания.

Я не мог проглотить ни куска, и Мари предложила пойти выпить чашку шоколада у Прево.

— Тебе предстоит только одна неприятность — давать показания...

— И увидеть свое имя во всех газетах, — перебил ее Симон.

Мари пристально посмотрела на него, пожала плечами и предложила зайти в книжную лавку — оттуда она позвонит своему постоянному клиенту, заведующему отделом хроники в «Жи-рэнде»: может быть, он меня успокоит.

Лавка была в этот час закрыта, мы вошли через боковой вход. Приятеля Мари в газете не оказалось, но она знала его домашний телефон и довольно быстро дозвонилась к нему. Она протянула мне трубку. Да, есть новости: «Какой-то сборщик смолы видел, как девочка пробежала мимо него, ему показалось, что она чем-то или кем-то напугана или даже спасается от преследования. Этого человека непрерывно допрашивают. Пока он только свидетель, но...» Трубка выпала у меня из рук.

— Ален, ну можно ли так сходить с ума?

— Он не соврал, этот человек, она бежала, потому что испугалась. Это меня она испугалась. Меня — ведь я видел, как она купается...

— Да, но через пятнадцать минут ты уже был в Мальтаверне и тебе вручили телеграмму Симона. Чего же ты волнуешься?

Симон покачал головой.

— Да вы что, в самом деле думаете, будто не из-за чего портить себе кровь?..

— Да замолчите вы, идиот! — крикнула она в сердцах. — Взгляните только на него. Я хотела просить вас проводить его до Мальтаверна, но пусть уж лучше едет один, чем с вами... Впрочем, нет! Я сама с ним поеду. А вы оставайтесь тут до прихода Балежа. Вы ему все объясните... И если надо, поможете. Я вернусь завтра утром.

— Но что скажет мадам, когда вас увидит?

— Она увидит также своего сына, и ей достаточно будет одного взгляда: она поймет, это вы ничего не понимаете.

Я почувствовал облегчение, я отдал себя в ее руки, ничего плохого не случится со мной, раз она рядом. Я вздохнул свободно. Автомобиль продвигался со скоростью черепахи по запруженной улице Сент-Катрин. Потом мы выехали на Леоньянскую дорогу, и вскоре начались сосны. Мари взяла меня за руку. Она спросила:

— Ты больше не боишься?

Нет, сейчас я не боялся, но я знал, что скоро это опять начнется. Я понимал, что заподозрить меня нельзя, но через десять минут я, возможно, перестану это понимать. Одно мне было ясно — все было против меня.

— Даже ты, Мари, если тебя будут допрашивать и ты расскажешь все, что тебе известно, окажешься свидетелем обвинения...

— Успокойся, малыш, ты опять начинаешь все снова...

— Помнишь, утром перед нашим отъездом ты захотела взглянуть на Юр и я повел тебя окольным путем, потому что мы знали, что девочка за нами шпионила? Помнишь, что я сказал о ней? Я сказал тебе: «Я ее задую!»

— Ты бредишь, Ален. И вообще это не имеет никакого значения.

— И однако же, если тебя будут допрашивать, твой долг вспомнить эти разоблачительные слова.

— Что же они разоблачают, кроме минутного раздражения? Я сама разозлилась, да и каждый на твоем месте...

— Она знала, что я ее ненавижу, раз она так испугалась: достаточно ей было меня увидеть, и она бросилась в лес, где подстерегал ее этот человек.

— Ну, это уже рок, как сказал Шарль Бовари, во всяком случае, не твоя вина.

— Сухой прутик хрустнул у меня под ногой, она обернулась и увидела меня. Я мог поставить ногу рядом с этим прутиком, и она пошла бы дальше по песчаной дороге до Мальтаверна. И в тот день я увидел ее нагой, именно в тот день я открыл, что ошибался в ней, что теперь она так же не похожа на девочку, которую мы называли Вошкой, как бабочка на гусеницу...

Помолчав, Мари прошептала:

— Какая катастрофа для твоей матери!

— Так ты ее понимаешь?

Да, она ее понимала. Больше мы не разговаривали. Время от времени она брала меня за руку и слегка сжимала ее, словно напоминая о своем присутствии: не бойся, я тут. Так говорила мама, когда мне бывало страшно по ночам. Мари знала этот мой недуг, она наблюдала его у одного из своих стариков.

— Ты сказал Симону, что я привыкла к старикам...

Он передавал ей решительно все!

— Да, он передает все. Так вот, одного из моих стариков буквально душили кошмары, которые он сам себе придумывал.

В Вилладро, где мы остановились заправиться горючим, люди у гаража что-то горячо обсуждали. Садясь за руль, шофер сказал нам:

— Этот мерзавец признался, он задушил ее. Сначала спрятал тело в овечьем загоне, а ночью довез на тачке до Юра и бросил в омут, выше мельницы.

Я закрыл лицо руками — не затем, чтобы скрыть от Мари свои слезы, а чтобы не видеть больше этот проклятый мир, уйти из которого у меня не хватало мужества.

Мама сидела одна в гостиной, ставни были закрыты. Она молчала, словно пораженная громом, и даже не обратила внимания на Мари. Да и узнала ли она ее?

— Я не хотела, мадам, чтобы он ехал сюда один после такого удара.

Мама пристально на меня посмотрела.

— Это был удар для тебя?

— Да, более страшный, чем ты думаешь: ведь это меня испугалась девочка, от меня бросилась бежать как безумная.

Мама несколько раз устало повторила: «Что это ты мелешь?» Но вскоре она насторожилась. Когда я кончил, она сказала:

— Теперь, когда преступника задержали и он сознался, не стоит тебе ничего говорить, все это останется между нами.

— Нет,— не согласилась Мари,— это важно для того несчастного. Свидетельство Алена докажет, что девочка в самом деле испугалась, что она бежала бегом через лес, что все произошло так, как он рассказал, хотя ему и не поверили: маленькая девочка, выбившаяся из сил, запыхавшаяся...

— Да,— сказал я,— наверно, она совсем запыхалась, это ее и погубило.

Я хотел тут же пойти в жандармерию, но сейчас, по словам мамы, жандармы все были на мельнице: убийца показывал, куда он бросил тело. Я не хотел ждать. Мама сама попросила Мари:

— Вы не оставите его?

Я заинтересовал их гораздо меньше, чем ожидал. Они задержали убийцу и собирались выловить тело. Я считал своим долгом рассказать, как испугалась меня маленькая Серис, но бригадир, который допрашивал меня, очевидно, не придавал моим словам ни малейшего значения. Для них это было уже ясное дело. Вернувшись домой, я проспал два часа как убитый. Я узнал, что во время моего сна мама и Мари разговаривали обо мне, или, вернее, Мари старалась объяснить маме, что за мной нужно присмотреть. Должно быть, она поняла, что убедила маму, поскольку в шесть часов уехала на станцию, не повидавшись со мной.

— Но,— уверила меня мама,— теперь она за тебя спокойна.

Тревога, разбуженная Мари, передалась маме и хоть немного отвлекла от мыслей о маленьком трупе, который мерещился ей неотступно. Ночью мама прилегла на кровать Лорана, чтобы быть рядом со мной, и тут я сделал неожиданное открытие: оказывается, с маленькой Серис ее соединяли совсем не те низменные расчеты, которые я ей приписывал: она нежно привязалась к ребенку, не знавшему матери, и Жаннетта тоже была к ней привязана.

— Но ты не знал, да и не мог знать — ведь ты запрещал мне говорить о ней,— как велика была ее любовь к тебе.

— Ее любовь ко мне?

— Да, это кажется невероятным: ведь ей было всего двенадцать лет. Я бы никогда не подумала, что это возможно, или, пожалуй, была бы шокирована, если бы сама не видела этого обожания, этой нежной преданности, совсем еще детской, но

вместе с тем и женской, хотя, разумеется, совершенно чистой и невинной. Уж мне-то известно, со мной она говорила о тебе без умолку. Знаешь, что помогает мне не роптать против надругательства над невинным ребенком? Я говорю себе: сейчас она видит, что ты перестал ее ненавидеть, ты плачешь о ней и никогда ее не забудешь, она теперь для тебя не Вошка...

— Но она же не знала, что я звал ее Вошкой?

— Знала. Сам понимаешь, не я ей об этом рассказала. Нума Серис услышал об этом от Дюберов — полагаю, от твоего дорогого Симона — и как-то вечером, когда был пьян, рассказал девочке. Как она плакала, как плакала...

Теперь плакали мы с мамой. Глубокой ночью мы плакали вдвоем, мама и я, не в силах примириться с чудовищной реальностью, с тем, что вытерпело тело несчастной девочки, со всей этой скверной, с этим поношением...

— Ален, ты прочел все книги, ты знаешь все, что написано о зле, которое допущено богом: зачем же, если это ребенок, маленькая девочка, зачем, прежде чем умертвить ее, нужно было предать и тело ее и душу слепому скоту? В чем смысл испытаний, через которые ежедневно проходят дети? И мы еще знаем только то, о чем пишут в газетах. Но ежедневно, повсюду, во всем мире!..

Она умолкла, ожидая ответа. А я плакал над маленьким обещанным телом, которое никогда не смогут отмыть все воды Юра. Наконец я сказал:

— Может быть, зло воплощено в ком-нибудь одном.

— Значит, этот один существует, он был создан, эта власть была ему дана.

— Мама, другого ответа нет, только это нагое (ибо он был наг), покрытое плевками, гвоздями прибитое к кресту тело, над которым насмеялись книжники, — тело господне. Ответ этой девочка будет вечно хранить в своем сердце. Отныне и во веки веков. И скоро мы познаем то, что ощущаем всякий раз, причащаясь этого оскверненного, распятого и восславленного тела.

— Да, я верю, я верю.

Я слышал ее рыдания, первый раз в жизни услышал, как она рыдает от любви.

— Я любила эту малютку, как не любила никого, даже тебя. Я говорила ей: «Ты должна стать образованной, я никогда ни о чем не могла поговорить с Аленом. В нашем кругу нет подходящих женщин для такого юноши, как он». И вот, хотя она кончила только начальную школу, девочка стала брать уроки у

нашего учителя, а он очень образованный, скоро защитит диссертацию. И еще она занималась латынью с господином кюре, и он растолковывал ей вопросы, которые тебя интересуют. Он тоже теперь ими интересуется. Бедный наш настоятель, ты и не подозреваешь, какое влияние ты на него оказывал. Я мешаю тебе спать. Надо спать, мой дружок.

— Я не хочу спать. Главное, чтобы ты была здесь.

Мы лежали некоторое время молча. Под порывами ночного осеннего ветра заговорили сосны Мальтаверна, и они вместе с нами оплакивали маленькую девочку, заживо брошенную дикому зверю, но не просто пожрал ее дикий зверь, как деву Бландену, а была она отдана на самое страшное поругание, какое только может выпасть на долю божьего творения на нашей земле, и последний ее взгляд был устремлен на искаженное, нечеловеческое лицо... Мама заговорила снова:

— Если я правильно поняла эту особу («этой особой» была Мари), ты забрал себе в голову, будто я поручила малютке шпионить за вами в мое отсутствие. Неужели ты считал меня способной на это?.. Правда, я многое ей рассказывала... Мы жили с ней так дружно, когда я бывала в Мальтаверне без тебя! Она знала все мои опасения, с тех пор как эта особа вошла в твою жизнь. Ведь мы только о тебе и говорили. И если малышка тогда за вами подсматривала, то не потому, что я ее об этом просила, нет, это она сама, по собственному почину. Никогда бы я не поверила, что девочка ее лет может так ревновать. Она сама рассказала мне, как она страдала из-за тебя в тот вечер, в ту ночь, она мне рассказывала все. Мы друг другу все рассказывали. А я, знаешь, я не была ревнивой. Я готова была отдать свою жизнь, только бы ты полюбил ее. Она верила, что ты в конце концов ее полюбишь, и даже меня заставила в это поверить. Ужаснее всего, что это правда, ты действительно полюбил ее за час до того, как ее изнасиловали и задушили...

— Да, и буду любить до конца своих дней, буду беречь ее, посить в своем сердце эту бедную маленькую Вошку, единственную мою любовь.

Вдруг я услышал, что мама смеется. Да, она смеялась. Она сказала:

— Знаешь, как она отомстила за то, что вы прозвали ее Вошкой? Так вот, эту особу она иначе, как Крючок, не называла, потому что она знала, как я волнуюсь из-за девицы, «которая подцепила тебя на крючок»..

На этот раз мы долго молчали, потом мама уснула. Ее дыхание было хриплым, казалось, оно с трудом прорывается сквозь все еще не пролитые слезы. Я не спал, мысленно я повторял уже пройденный путь, свой крестный путь: первая остановка — смерть брата; вторая — изнасилованная девочка. Слабый, безоружный, найду ли я силы сделать еще хоть один шаг? Ах, лечь на голую землю, в заветном уголке Мальтаверна, который я в детстве называл «отрадой». Почему «отрада»? Распластаться и ждать, пока я не усну беспробудным сном.

Наконец задремал и я. Когда я проснулся, мамы в комнате не было. Должно быть, пошла к утренней мессе. А я, я не пытался молиться. Это не было бунтом, но после подобного несчастья ощущаешь пустоту — не то чтобы отсутствие, нет, просто немыслимо, что там кто-то есть, и, однако, он есть: такова тайна веры, нерушимой у тех, на кого снизошла ее благодать, веры, способной устоять даже перед убийством маленькой девочки, этим убийством, при одной мысли о котором мне хотелось быть протяжно и монотонно, как страдающее животное.

Проснувшись, каждый из нас вернулся к своей скорби, замуровался в ней снова. Чтобы избежать назойливости журналистов (мои показания появились в газетах), сегодня утром я отправился охотиться на вяхирей. В Шикане меня никто не найдет. Кроме того, убийца сидит за решеткой, он сознался, и вся эта история уже вытеснена другими. Самое главное было найти силы, чтобы продолжать свою собственную историю, решить, в каком направлении идти. Мари написала, что мне следовало бы уехать в Париж, как только я почувствую себя в силах, «...вырвать корни,— твой Баррес объявил это злом, но это единственное исцеление, единственная надежда на выздоровление после полученного тобой удара. Конечно, где бы ты ни был, то, что случилось, навсегда останется в тебе, но, может быть, ты наделен даром, который так восхищает тебя в других,— даром оживлять прошлое, извлекать его из могилы. Знаешь, что говорит о тебе Симон Дюбер с упорством, несколько утомительным, но, в конце концов, подкупающим? «Он будет великим человеком, вот увидите!» — твердит он. За это я люблю его, несмотря на все его дурные черты, черты развращенного крестьянина, несмотря на то, что вы в своем Мальтаверне превратили его в чудовище. Он верит в тебя. Он любит тебя не так беззаветно, как ты воображаешь, иногда даже ненавидит, но он в тебя верит. Когда в нас верят другие, эта вера указывает нам правиль-

ный путь. Вслед за Донзаком мы с Симоном указываем тебе твой путь, и вне его настоящей дороги для тебя нет.

Единственное препятствие — твоя мать, и, поверь, я не стану тебе советовать не считаться с ней. Если я и испытываю угрызения совести, вспоминая нашу историю, то только из-за этой бедной мадам, которую я так безжалостно упростила, поверив образу, созданному тобой и Симоном. Помнишь, я говорила тебе по поводу ее частых отлучек в Мальтаверн, что «она изменяет тебе с твоим именем»? Что ж, теперь мы знаем, она изменяла тебе с Вошкой — все объяснялось любовью, хотя ни плоть, ни кровь тут были ни при чем».

Да, наконец я это понял: старая женщина излила на девочку всю нежность, которая никому на свете не была нужна, кроме мужа — но он был ей физически противен, или меня — но я превратился для нее в существо непонятное, принадлежащее к другой породе, хотя и вышел из ее чрева; одно мое присутствие еще больше углубляло пучину одиночества, где утонула бы бедная мадам, не будь имения, которое поддерживало ее на поверхности, и благочестивых обязанностей, размечавших, как вехами, все ее дни... Но была еще эта малышка, которую я ненавидел, и которая любила меня, и которую она полюбила.

Да, обойти это препятствие было нелегко. Мама одобряла мое желание ехать в Париж, но просила повременить еще хоть год. Конечно, я могу готовить свою диссертацию и в Бордо. Как будто дело было в моей диссертации! Речь шла о моей жизни (во всяком случае, в этом я убеждал себя). Нужно было испробовать последний шанс, вырвать себя с корнем из этой земли, где я был ранен в самое сердце, произвести опыт пересадки — как у нас говорят, «пикировку» растения в другой грунт — ради идеи, которую внушили мне не только Донзак, Симон и Мари, но, возможно, также и дельцы, из которых я был родом, — идеи использовать свой страшный дар, сделать так, чтобы из него даже крошки не пропало. «Даже крошка не должна пропасть», — твердили, бывало, нам, детям, но тогда речь шла о корке хлеба или об огарке свечи. А теперь для меня «не должно пропасть» то, что я выстрадал сам и заставил выстрадать других: и эта девочка, брошенная убийцей в бегущую под ольховыми деревьями речку, которая будет струиться во мне до последнего смертного часа, и моя мать, подавлявшая всех, но сама теперь раздавленная горем. На этот капитал и придется мне жить. Все, что еще может со мной случиться, как бы долг ни

был мой путь, останется вне рокового круга, замкнувшего этот период моей жизни.

Мама говорила мне: «От горя не умирают. Люди не умирают от горя. Даже если они не могут утешиться, они не умирают, а вот я умру, я чувствую, что постепенно умираю. Подожди немного, не покидай меня». Я не мог ей ответить, что для меня, в двадцать два года, все это не так просто, что я сам должен постараться выжить. Каждый день я уносил с собой в Шикантомик Бальзака из библиотеки моего отца в издании Шарпантье 1839 года, где многие романы названы по-другому, чем в полном собрании сочинений. Бальзак не принадлежит к самым любимым моим писателям. Он слишком мясист (я говорю о его стиле). Но он принадлежит к тем авторам, которые наиболее непосредственно воздействуют на меня, как возбудители нежелания умирать. Мне отвратительна порода описанных им молодых честолюбцев, их жестокость; однако же они вызывают у меня — даже у меня — желание попытаться счастья на своем пути, моем пути, который мне предстоит еще открыть.

А пока что я по-прежнему нахожусь внутри замкнутого круга: все происшедшее еще не завершилось настолько, чтобы можно было его переложить на бумагу и описать. Оно не пережитое, оно то, чем я живу и сейчас. И мама здесь, она еще жива, и я не могу оставить ее умирать в одиночестве, когда в ней еще жив обожаемый образ изнасилованной девочки с открытыми глазами. Она говорила мне: «Каждую минуту, и днем и ночью, я вижу ее мертвую, но глаза у нее расширены от ужаса».

Она каждый день ходила к старому Серису, который против ее ожидания пил умеренно, но только потому, что хотел привести в порядок свои дела, а уж потом «всерьез взяться за вино».

— Поверишь ли, — говорила мама, — на похоронах, где плакали буквально все, старика Сериса, казалось, тропули только твои слезы. Он мог бы тебя возненавидеть, хотя и не подозревает, что малышка столько из-за тебя настрадалась, так нет же! Знаешь, что он мне предложил? Фиктивную продажу всех его земель, чтобы ты стал его наследником, наследником Жаннетты...

— Ни за что на свете! — воскликнул я.

— Разумеется, — сказала мама, — об этом не может быть и

речи. Я была так уверена в твоём отказе, что отказалась от имени нас обоих. Тогда он стал уговаривать меня совершить настоящую сделку, с сохранением за ним права пользования. Тебе решать.

— Но, мама, я сделаю все, что ты хочешь.

— Что я хочу? Я больше ничего не хочу. Одна мысль о том, чтобы извлечь пользу из этой смерти, приводит меня в ужас. Имение Сериса будет разделено между его племянниками и тем самым уничтожено. Этого я и хочу: пусть не останется ничего из того, что принадлежало ей. Я была бы рада, если бы все сгорело. Впрочем, Нума Серис уверен, что так оно и случится, все в конце концов сгорит.

— Но, мама, почему же сейчас все должно сгореть, а раньше не сгорело? Уже давным-давно бьют в набат и одолевают огонь...

— Потому что, говорит Серис, если в будущем и ударит кто-нибудь в набат, никто не придет больше на его зов: на фермах никого не останется. Люди не хотят жить, как волки, в этом захолустье, питаюсь черным хлебом и маисовой кашей. Серис говорит, что американским ученым не нужна больше наша смола для извлечения скипидара, а спрос на сосну для шахтных креплений и железнодорожных шпал будет все время падать. И тогда все сгорит,— повторила мама с каким-то безнадежным удовлетворением,— ведь вокруг никого не будет... И почему это только одним деревьям дарована пощада? Они тоже умрут, сгорят заживо. Уж лучше так... Ты думал, что я люблю землю ради земли. А я мечтала, как ты и малышка станете хозяевами всех этих угодий, а я буду оберегать вас обоих и ваши интересы, и смотреть на нее, и видеть, что она счастлива с тобой. Когда настоятель увещевал меня и твердил без конца: «Не унесите же вы свои фермы с собой!», я отвечала ему: «На смертном одре я буду радоваться, что передам их своим детям и оставляю все в отличном состоянии». Я уверяла настоятеля, что земельная собственность долговечна и если страдает она от разделов, то приумножается с помощью браков и наследования и потому смерть ей нипочем. Теперь я знаю, что это неправда. Но что же правда, Ален, что же правда?

Мне оставалось лишь одно: вручить себя в руки божьи и ждать от него того знака, зова, который, возможно, услышу только я и который возвестит час мой. Но я не принимал во внимание того, что без моего ведома, без ведома самой мамы происходило в ее душе, да, буквально «происходило», изменя-

лось и неожиданно вылилось в принятом ею решении, которое вернуло мне свободу.

В День всех святых мы пошли на кладбище отнести цветы маленькой Серис. Я был поражен, что мама не прочла «De Profundis», как обычно читала, приказав мне и Лорану стать на колени, когда мы приходили на могилу бедного папы: «Из глубины взываю к тебе, господи...» Может, в мамином голосе вопреки ее воле это моление звучало слишком драматически, а может, моя собственная тоска придавала ее голосу такое звучание? В этот День всех святых никто не взывал из глубины, из бездны, на краю которой, выпрямившись, стояла мама — старый дуб с еще зеленой листвой, но уже сраженный молнией. Она не преклонила колени, губы ее не шевелились. На обратном пути она сказала:

— Сейчас я приняла решение: Я не вернусь в Бордо. Я буду ждать здесь. А ты можешь отправляться в Париж, как выразилась эта особа в тот день, когда она тебя привезла: «Ему необходимо отправиться в Париж...» — твердила она.

— Но... чего же ты будешь ждать, мама?

Она повторила: «Ждать...» Я напомнил ей, что здесь не будет господина настоятеля, который решил доживать свой век в Бордо, но не во главе какого-нибудь прихода, как он мечтал и надеялся, а наставником в школе женского монастыря.

— Я знаю, но его преемника мне долго ждать не придется.

Мы еще не были знакомы с новым священником: он отказался посетить нас, сначала он решил обойти всех до одного фермеров своего прихода. Он весьма резко объявил бедному настоятелю о своем твердом намерении не превращаться, подобно ему, в «священника при замке».

— Голод не тетка, — сказала мама, — скоро я увижу его здесь с протянутой рукой. А фермерам он понадобится, как обычно, только затем, чтобы освятить новый свинарник. Господин настоятель, впрочем, находит, что его преемник прав, что мы все заблуждались и будем заблуждаться и впредь.

Она шла по дороге твердым шагом, отвечая на приветствия, строго дозируя свои кивки и улыбки в соответствии с общественным положением встречного, и, однако же, в эту пору своей жизни она напоминала мне муху, у которой один мой школьный товарищ, изображая разжалование Дрейфуса, обрывал лапку за лапкой, крыло за крылом. Так и мама изо дня в день лишалась всех своих непоколебимых убеждений. Ничто не было истинным из

того, во что она верила, но самым ложным оказалось то, что она принимала за откровение. Даже если сейчас она не сознавала всего с полной ясностью, она воспринимала это как очевидность, мрачно и бесчувственно, как женщина, сраженная утратой ребенка, которого любила больше всего на свете: теперь можно отпять у нее все, она больше ничего не почувствует.

— Когда у нас ничего не остается,— сказал я ей,— когда мы чувствуем себя покинутыми, наступает час, неизбежный для каждого, и приходит наш черед воззвать: «Отец мой, почто ты меня оставил?» Этот час окончательного поражения воплощен в кресте, крест является его символом, непереносимым, неприемлемым для человека в молодом или зрелом возрасте — вплоть до того дня, когда очертания его полностью сольются с очертаниями нашего тела...

Мама прервала меня:

— И нашего сердца.

Меня поразило это слово в ее устах. Значит, она знала, что распинают всегда именно наше сердце? Неужели мы все просто не замечали, что мама жила только сердцем? Может быть, нежность, с какой она относилась к Жаннетте, проявлялась и раньше? Я попытался припомнить. В моей памяти всплыло воспоминание, как после смерти отца в наш старый особняк, куда почти никому не удавалось проникнуть, раз или два в год приходила маминна подруга по монастырской школе Сара М., ирландка или англичанка; она приводила с собой маленькую девочку, «свою воспитанницу», говорила нам мама. Они приезжали откуда-то издалека, похожие на морских птиц, ветром прибитых к берегу во время бурь равноденствия. Рождение этой маленькой девочки, ее звали Андре, было связано с одной из тех тайн, о которых мама говорила: «Это вам еще рано знать». Все было нам еще рано знать, но все входило в меня и ничто теперь не должно пропасть.

Последний арьергардный бой мама дала мне, уговаривая меня поселиться в Париже вместе со студентами-католиками. Я заверил ее, что в двадцать два года я уже достаточно взрослый и меня не только не пугает отсутствие знакомых в Париже, но даже подзадоривает: начать с нуля, попытать счастья в этом вечно повторяющемся завоевании столицы юным провинциалом, без единого рекомендательного письма в кармане.

— Но как ты будешь жить?

— Ну, как всякий прилежный студент, не упускающий ни одного шанса преуспеть. А в первом ряду удач стоят встречи с разными людьми.

Мама спросила:

— Ради добра или ради зла?

— Так просто никогда не бывает. Я уверен, что все встречи, даже самые дурные, служат ко благу.

— Что ты об этом знаешь, бедный мой дурачок!

И в самом деле, что я об этом знал? Я сам осмыслял свою историю, строил ее произвольно, в согласии со своими целями, приписывал предвечному человеческие побуждения и сам был доволен собственным вымыслом...

Мама больше не слушала меня. Она спросила, какую сумму надо будет высылать мне каждый месяц. Я мог бы ответить, что ей незачем в это вмешиваться, что для распоряжения своим состоянием я не нуждаюсь в посредниках. Это ей и в голову не приходило. До самого конца она будет проверять мои расходы, проводить все воскресные вечера, склонившись над счетными книгами.

ГЛАВА XIII

Ноябрь выдался какой-то лучезарный. Мама проводит меня в Бордо, поможет уложить вещи и вернется одна в Мальтаверн, она это решила твердо. Но я повторял ей без конца, что ничего не хочу решать заранее и останусь с ней, если найду это нужным, хотя вижу, что от меня ей теперь помощи мало. Она не стала спорить хотя бы для виду.

За день до нашего отъезда она попросила меня пойти вместе с ней к мельнице господина Лапейра. Я признался, что и сам хотел пройти еще раз тот путь, но не мог собраться с силами.

— Вдвоем мы сможем, — сказала она.

На маме была городская шляпка, она натянула черные перчатки и раскрыла зонтик. Она не носила траур, она не имела права носить траур по Жаннетте, которая не была ей родственницей, но теперь в ее туалете не проявлялось ни малейшей небрежности, допустимой в деревне, как будто мертвая девочка, неотступно стоявшая перед ней, обязывала ее к строгому соблюдению неписаного церемониала.

Мама, которая обычно редко ходила на прогулки, выступала по песчаной дороге, покрытой ковром сосновых игл, особенно

величаво. Когда показалась мельница, она взяла меня под руку, раньше она этого никогда не делала.

— Вот отсюда я ее увидел,— сказал я,— сначала я подумал, что это мальчик.

Мама остановилась. Она долго смотрела на спящую в заруде воду, поверхность которой не тревожило дуновение ветра. Она попросила отвести ее в то место среди папоротника, где я тогда сидел.

— Кажется, это было здесь. Да, здесь.

Она застыла, повернувшись лицом к сонной воде, и тут я увидел, как она, никогда не плакавшая при нас, прижала к глазам натянутую перчаткой руку. Она сказала:

— Дай мне твой платок.

— Пора возвращаться, мама. Вернемся ближним путем.

Она не ответила, вышла из зарослей и направилась к запруде. Нет, это невозможно, нельзя подвергать ее такому испытанию. Я взял ее под руку, но она отстранилась. О, как долго тянулись бесконечные минуты, и я все смотрел на искаженное водой отражение моей матери, одетой по-городскому, в шляпке и в перчатках, под раскрытым зонтиком.

— Вернемся,— сказала она наконец.

Мы пошли по песчаной дороге, которая для маленькой Серис оказалась последней дорогой в ее жизни. Я должен был показать маме, на каком расстоянии от меня то чинно шагала, то весело подпрыгивала бедная Красная Шапочка.

— Ах,— прошептала она,— вот тропинка, по которой она побежала, когда увидела тебя...

— Да, здесь она свернула в лес.

Словно отыскивая затерянный след, мама расспрашивала меня, пристально вглядываясь в землю:

— Ты уверен, что именно здесь она свернула?

В лес мама не пошла. Она стояла неподвижно, возвышаясь над папоротником, лицом к соснам, которые видели все... Я попытался взять ее за руку, но она вырвала ее и, не поворачивая головы, произнесла вполголоса:

— Все оттого, что она тебя боялась. Если бы ты просто не обращал на нее внимания, как всякий юноша твоего возраста на ребенка, она бы и не подумала бежать, ничего не случилось бы, она была бы жива. Она пришла в такой ужас, потому что знала, как ты ее ненавидишь...

— Нет, мама, нет! Она знала, и именно от тебя, что я не хочу этого брака, задуманного из корыстных соображений.

— Не из корыстных. Это ты мне их приписывал.

— Ты никогда ничего такого не говорила, чтоб я мог считать иначе...

— Но ведь ты так ее ненавидел, что я боялась даже произнести при тебе ее имя. Раскрой я тогда рот, ты заставил бы меня замолчать, ты ушел бы, хлопнув дверью. Она знала, что ты дал ей эту мерзкую кличку. Вот отчего она умерла. Да, она была уже ранена насмерть, когда бросилась в лес. Ты давно уже нанес ей этот смертельный удар.

— Ты слишком несправедлива, мама.

Я снова хотел взять ее под руку, но она оттолкнула меня почти грубо и пошла вперед одна, а я тащился следом, повторяя: «Ты слишком несправедлива, слишком несправедлива...» Тогда она полуобернулась и сказала с вызовом:

— Да, все это ты! Все это ты...

— Неужели, мама, ты не видишь, что если я виновен в этом несчастье, то и ты тоже, ты прежде всего. Ведь ты сделала все, чтобы этот план стал мне омерзителен. Ты всегда все решала за меня, но, в конце концов, мне двадцать два года, у меня вся жизнь впереди, а ты собиралась распорядиться ею по своему усмотрению, и напрасно ты отрицаешь — ни о чем другом, кроме земель Сериса, не было и речи. Никогда, ни разу в жизни не мог я догадаться о твоей привязанности к девочке...

— Потому что я боялась рассердить тебя еще больше, если бы ты узнал, что я люблю ее..

— Больше, чем меня?

Она не ответила. Она поднималась на крыльцо Мальтаверна, останавливаясь на каждой ступеньке. В прихожей она снова оттолкнула меня:

— Мне надо побыть одной. Мне больше никто не нужен. Пойми меня, никто.

Я услышал, как захлопнулась дверь ее спальни, и присел у камина. Поднялся ветер, сосны, размахивая ветвями, казалось, подавали мне знаки в окно. Их протяжный, жалобный стон сливался с немим криком, который готов был сорваться с моих уст, с ропотом против бога, кротким и безнадежным. Лампу я не зажег. На что мне решиться? Моей матери я сейчас не нужен, больше того, мое присутствие для нее невыносимо. И все-таки я должен охранять ее, быть рядом, чтобы откликнуться на первый ее зов. Ее враждебность смягчится, волей-неволей я стану ее единственным прибежищем: ведь, кроме меня, у нее нет нико-

го. Да, но если она откажется уехать отсюда, что будет со мной? Проведем ли мы с глазу на глаз всю зиму в Мальтаверне или я останусь один на улице Шеврюс, под присмотром Луи Ларпа?

Мысли мои следовали одна за другой без всякой связи. Сам не знаю, сколько времени прошло, сколько я просидел, не зажигая света, у камина. Сумерки за окном сгущались, и я различал уже только два бледных пятна вместо моих рук, лежавших на острых коленях, и тут я услышал на лестнице мамины тяжелые и медленные шаги. Ужинать было еще рано. Значит, она возвращалась ко мне. Она вошла. Я не встал с кресла. Она провела рукой по моему лбу и откинула волосы назад, как бывало в детстве, чтобы поцеловать меня, но в этот вечер поцелуя не последовало. Тем не менее она заговорила с вымученной нежностью, вообще ей не свойственной.

— Забудем все, что мы наговорили друг другу, бедный мой мальчик. Мы оба были несправедливы. Помню, я огорчилась, когда ты уверял, что между нами нет никакого обмена мыслями, что мы никогда друг с другом не разговариваем по-настоящему, как в пьесах или в романах. Ну что ж, по дороге с мельницы мы наверстали упущенное.

— Да, все это произошло против нашей воли.

— Все, что произошло, надо забыть,— во всяком случае, забудь, что наговорила я. Мне нужно было на кого-то пожаловаться, на кого-то свалить вину. И тебе тоже... Вот мы и сваливали друг на друга...

— Да,— ответил я мрачно,— как два сообщника на суде, обвиняющие один другого.

Она сказала:

— Замолчи!

Я не видел ее лица, но слышал, что она плачет. Я встал, обнял ее, попросил прощения.

— Нашей вины тут не было, мама. А то, что от нас зависело, могло привести на худой конец только к недоразумению, и оно бы рассеялось, даже очень быстро рассеялось: ведь мне не терпелось узнать, кто эта купальщица, и я узнал бы это в тот же вечер, не приди телеграмма от Симона.

— Это ничего бы не изменило. К тому времени все уже свершилось.

— Да, мама, и ни ты, ни я не виноваты в этом ужасном совпадении. Такие преступления всегда бывают вызваны случайностью. Всегда можно сказать: «Если бы девочка пошла другой дорогой...»

Она прршептала:

— Теперь все кончено. Это было, это свершилось.

Мы сидели молча. Я различал только неясную темную фигуру в кресле напротив.

— Послушай, Ален, оставим пустые слова и поговорим на чистоту. Для тебя вопрос решен, тебе надо уехать. Так будет лучше для нас обоих. Ты будешь часто писать мне: в письмах люди не раздражаются. Будешь рассказывать о своей жизни, вернее, о той части своей жизни, о которой сможешь мне рассказать. Я стану заниматься твоими делами; если я заболел, достаточно послать телеграмму — «дион» будет ждать тебя в Бордо, и в тот же вечер ты приедешь в Мальтаверн.

— Да, на расстоянии тебе будет легче меня переносить, ты снова ко мне привыкнешь...

И на этот раз она не стала спорить. Но слышала ли она, поняла ли? Она спросила:

— Ты твердо решил ехать послезавтра? Один день, так или иначе, надо провести в Бордо...

— Нет, мама. Книги, которые я хочу взять с собой, у меня здесь. Автомобиль отвезет меня прямо к парижскому поезду. Он отходит в одиннадцать четыре.

— Но ведь почти все твои вещи на улице Шеврюс...

— У меня здесь есть все необходимое для студента, которым я собираюсь стать, а студента никто не станет приглашать в гости, он ни с кем не знаком.

— Но в конце концов у тебя завяжутся знакомства...

— Возможно... Но прежде чем пуститься в свет, я все-таки посмотрю, как одеваются в Париже. Вспомни, чего только потерпел бедный Люсьен де Рюампре, когда явился в Париж, одетый по ангулемской моде.

— Какой еще Люсьен де Рюампре? — спросила она рассеянно, словно не ожидая ответа.

— Полно, мама! Ты ведь читала «Утраченные иллюзии»! Я сам тебе давал.

— О, ты знаешь, я ведь не то что ты: у меня в голове ничего не держится, все сразу улечучивается.

Она принялась ворошить головешки в камине, упершись, как всегда, локтями в колени, и вдруг сказала:

— Надо телеграфировать этой особе, пусть встретит тебя на вокзале и посадит на поезд.

— Нет, мама. Меня уже не нужно сажать на поезд. Да и потом, я ненавижу вокзалы не меньше, чем кладбища. Я начну

новую жизнь послезавтра, в одиннадцать четыре. Это будет мое второе рождение.

Жена Приудана доложила, что ужив подан.

— Подумать только,— сказала мама, поднимаясь,— я поем с удовольствием: я проголодалась.

Мы сидели друг против друга под висячей лампой, она коптила, пахло керосином. Я вдруг почувствовал радость при мысли о скором отъезде в другой мир, в другую жизнь.

Нет, это была не радость — это было нетерпение, какое испытываешь в нескончаемом, душном туннеле: нужно вырваться из него во что бы то ни стало, как можно скорее, бежать навсегда, не оглядываясь, унося все свои сокровища в себе самом.

Мать тяжело поднялась из-за стола, и мы снова устроились, каждый в своем кресле. Она подбросила полено в камин и, как всегда, немного приподняла юбку, чтобы согреть ноги у огня. Не глядя на меня, она внезапно сказала:

— Вот я все думаю об этом, по-моему, тебе следует известить эту особу о своем отъезде и сообщить ей, когда отходит поезд.

— Тебе не кажется забавным, мама, что именно ты...

Я вовремя остановился, побоявшись причинить ей боль каким-нибудь неосторожным словом.

— Да,— сказала она,— я дурно о ней думала. Для меня она была той особой, которая угрожала счастьем моей малютки. Разве я могла вообразить в своем ослеплении, что, прежде чем погубить это счастье, погубят ее, бедную мою девочку, и какой страшной будет эта гибель. Все мне представляется теперь по-иному, и люди, и их поступки... Или, вернее, я их вижу такими, какие они есть, не хуже, не лучше. Ах, теперь мне нетрудно будет выполнять заповедь: «Не судите...» Нет, больше я не судья. А кроме того, я знаю эту особу лучше, чем ты думаешь. Я не рассказывала тебе подробно, о чем мы говорили в те два часа, когда ты спал как убитый после показаний в жандармерии. Она не разыгрывала комедию, поверь мне. Она хотела только одного — чтобы я не упускала тебя из виду. Она полагала, что ты страдаешь недугом, который она наблюдала у отца Х., сыгравшего такую зловещую роль в ее жизни. Я поняла, чем она была для тебя, чем могла быть и впредь... Да и не все ли равно теперь, она ли, другая.. Она завяла бы мое

место, она защитила бы тебя, охраняла, не требуя ничего взамен. Когда-то ты сказал мне: она выстрадала больше, чем любая другая девушка ее возраста. Теперь я понимаю, что это значит: она переступила черту, за которой уже нет ничего. Раньше, хотя я и была старухой, я жила своими надеждами, ненавидела все, что им угрожало. Но теперь... почему бы и не она, в конце концов? Я протяну еще некоторое время, но не так уж долго. Ты останешься оди. Так вот, почему бы и не она?

— Нет, мама, не начинай все сначала, не будем начинать сначала. Моя жизнь здесь была подобна смерти, вот от нее-то мне и нужно освободиться, и я освобожусь. Если не выдержу и погибну, что ж, чем скорее, тем лучше. Но нет, я буду жить! Я буду жить!

— Неблагодарный! Ты всегда был неблагодарным. Теперь это узнает и та особа, а я это знала всегда.

— То, что могла мне дать только она, и то, что дала она мне, я никогда не забуду, сколько буду жить на свете. Но пойми меня, мама, я тоже переступил черту, за которой уже нечего думать о счастье: речь идет о том, чтобы подчинить себе жизнь. Эту черту я переступил в двадцать два года, а ты — после шестидесяти.

Эти слова я говорил маме накануне своего отъезда в Париж. Но теперь я их перевел на бумагу. Я занимался транспонированием себя самого, с тех пор как начал свои записи, без всякой задней мысли, только потому, что всегда был первым по сочинению и продолжал писать с привычным рвением прилежного ученика. Теперь для меня настал час взглянуть прямо в лицо искушению — и при этом не умереть от стыда, — уступить которому я смогу, лишь когда мамы больше не будет: пусть книжка в дешевом переплете, ценой в три франка станет завершением всех этих страданий. Новый, родившийся во мне человек выкажет силу и мужество, дерзнув использовать для своего восхождения собственную свою судьбу, которая станет содержанием книжки ценой в три франка, в дешевом переплете.

Мы еще долго беседовали с мамой во время этого вечернего бдения, пока наконец не разошлись молча по своим комнатам (неся в руке все ту же сохранившуюся с былых времен керосиновую лампу, иначе нельзя было бы выключить на втором

этакже электричество!), но в моей памяти не сохранилось больше ничего. Наверное, мысли мои были чем-то отвлечены, все мое внимание было поглощено возникшей передо мной очевидностью, которую до той поры я не мог ясно сформулировать: я понял, что отречение от мамы и отречение от Мари было продиктовано мне одной и той же необходимостью; дело было не в моей эгоистичной или жестокой натуре, не в моей черствости по отношению к другим. То, что нашло наконец во мне свое выражение, то, чему я готов был подчиниться с холодной решимостью, было желание выжить, и всеприменным условием этого стало для меня двойное отречение.

Долгой осенней ночью, вытянувшись под ледяными простынями, безуспешно пытаясь согреться в своей деревенской спальне, я методически продумывал все от начала до конца. Керосиновая лампа еще горела, но вне узкого светового круга комната была залита полумраком, благоприятствующим призракам, живым и умершим. Я спрашивал себя, поможет ли мне полная безликость номера в парижском отеле заклясть эти призраки? Нет, я не боялся их, но начать эту новую, неведомую жизнь я смогу, лишь когда они уснут во мне и не будут отвращать меня от предстоящей битвы.

Я не останусь одинок, это я знал. Я буду любим, это я знал. Но я заранее решил не перекладывать свое бремя на чужие плечи. Достаточно я чернил себя, и не следует больше подбавлять черной краски в описание своего характера. Этой ночью у меня не было и мысли о том, чтобы использовать других людей, заставить их служить моему успеху или моим удовольствиям. Я не знаю, что называет господь грехом против духа, тем грехом, который он не отпускает, но я знаю, я всегда знал, что такое грех против плоти. Малышка Серис, изнасилованная и задушенная,— это и есть чудовищный образ преступления духовного, безнаказанно совершаемого множеством людей, которые даже не знают, что они виновны, а может быть, и на самом деле не виновны. Но я, господи, что бы я ни делал, я виноват перед тобой. Я буду стараться обрести былую чистоту, потому что знаю: я не могу обойтись без тебя, и ты тоже знаешь: рожденный в другой среде, я, возможно, мог бы обойтись без всего, кроме тебя.

Так я молился в эту предпоследнюю ночь в Мальтаверне: мысли мои блуждали между прошедшими временами и грядущими, между пережитыми страданиями и теми, что еще предстоит мне пережить вместе с новыми встречами, поражениями,

ошибками, болезнями и неожиданностями. Я всегда думал только о своей собственной истории, как будто история Франции меня не касалась.

Я снова принимаюсь за эту тетрадь в комнате, такой же тихой и мирной, как моя комната в Мальтаверне. Окно ее смотрит в узкий садик отеля «Эсперанс» на улице Вожирар, что против семинарии кармелитов. Гул Парижа глуше, чем гул сосен в парке под дыханием бурь равноденствия; я спокоен, я не страдаю. Вчера, воскресным утром, я продавал газету Санье «Демократия» у выхода из церкви Сен-Сюльпис после торжественной мессы. На второй же день после приезда я пошел на бульвар Распай. Для начала мне дали это поручение, не поглядев на мое звание лиценциата словесности, которым я, кажется, впервые похвалился. Без сомнения, они были правы, подвергнув меня такому испытанию — оно оказалось решающим: больше они меня не увидят. Пять или шесть лет назад я бы на это согласился, сейчас — слишком поздно. Итак, мне не остается ничего другого, как посещать библиотеки, записаться на факультет, слушать лекции, быть студентом среди студентов, ничем не выдавая того, что я несу в себе, хотя, возможно, мой груз не тяжелей груза, что отягощает любого из них. Но за эту историю отвечаю я, и никто другой, только я могу уследить, чтобы из нее не пропало ни крупицы, чтобы не пропало ни крупицы отрочества, не похожего на все другие. Да, это было отрочество, самое щедрое и вместе с тем самое обездоленное, а главное — самое одинокое; и, как ни мало участников в этой драме, у какого другого юноши есть такая мать, как у меня, кто из них хранит в своем сердце оскверненную и задушенную маленькую девочку?

Последние страницы этой тетради должны ясно ответить на один, казалось бы, простой вопрос, от которого, однако, я уклоняюсь с тех пор, как приехал в Париж. Андре Донзак живет напротив моего отеля, в семинарии кармелитов, но он полагает, что я еще в Бордо. Почему я не дал ему знать о своем приезде? Сначала я рассчитывал на случайную встречу, которая казалась мне неизбежной, как будто улица Вожирар была улицей Шеврюс! Говоря откровенно, я боюсь этой встречи. Почему? Я ведь отлично знаю, что непременно должен его увидеть. Мне нужно, чтобы кто-нибудь ввел меня в Сорбонну, но не торопливый и равнодушный посредник, а друг, такой, как Донзак, который знает меня и взялся бы руководить мной, пока

это будет нужно,— в Сорбонне, в библиотеках, а также в музеях. Я живу в двух шагах от Люксембургского музея, от зала Кейботта, где Андре бывает чуть не каждый день; я поклялся ему, что не пойду туда без него: он хочет видеть, как я впервые взгляну на «Балкон» Мане. Я подожду, я терпелив: парижские улицы стоят всех музеев.

По правде говоря, у меня есть более настоятельный повод выманить Донзака из берлоги: я жажду снова заполучить свои тетради, которые он держит у себя. Ах! Это главное! А вдруг пожар уничтожит ветхую семинарию, вдруг Донзак умрет скоропостижно... Дневник подростка. Какое безумие ставить всю свою жизнь на одну эту карту! А я поставил. Слава богу, кроме меня, никто об этом не знает и не может надо мной посмеяться.

Сейчас мне еще нужно заполнить четыре страницы еженедельного письма к маме. Душевные переживания ей ни к чему, я должен, как она говорит, «что-нибудь рассказывать». До сих пор я писал ей только о своей гостинице, о том, как меня кормят и обслуживают. В двух кратких ответах она сообщала о своем здоровье и о продаже леса.

Но давайте кошнем поглубже. Донзак принадлежит, по крайней мере в данный момент, к тому же подзолу, к тем же пескам, из которых я вырвался, чтобы не умереть. Боюсь, что, как только мы встретимся, одно его присутствие развеет чары Парижа. Как определить эту пьянящую колдовскую силу? Я брожу, словно хмельной, я погружаюсь в людскую реку, меня уносит ее течением, и я то плыву по тротуарам, то ныряю в бары и погребки вроде «Таверны Пантеона» на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суффло. В Бордо я был молодым Гажаком и боялся людей, но в Париже я — никто, я никому не известен, как только может быть неизвестен человек, лишенный имени, хотя, к сожалению, не лишенный лица — дело в том, что тут полно охотников за смазливymi личиками, но я их не боюсь, в подобной охоте дичь должна быть сообщником ловца, а этого, я уверен, со мной не случится.

Я шагаю в ночи до тех пор, пока меня носят ноги. Ах! Теперь я знаю, почему столько лет я бродил по лесам Мальтаверна, то к Большой сосне, то взглянуть на старика из Лассю!

Первые вечера я не переходил на другой берег Сены. Я стоял, облокотившись на парапет моста — я люблю эти парапеты, на них опирались Бодлер, и Морис де Герен, и множество вы-

мышленных персонажей! Я читал про себя «Пьяный корабль» (Рембо я узнал только в этом году) и Виктора Гюго, чей дух витал здесь над каждым камнем. Но вот однажды я перешел через Сену и теперь перехожу почти каждый вечер. Подле Лувра, у самой стены дворца, есть каменные скамьи, где по ночам никто не сидит. Я сажусь передохнуть и созерцаю прославленную, неизменную декорацию, но сейчас, в 1907 году, Стефан Пишон, Бриан, Барту (хотя, правда, есть еще Клемансо и Пикар...) — просто лилипуты, резвящиеся среди шекспировских декораций. Я иду по улице Риволи до площади Согласия. И там подмостки пусты, антракт: в 1907 году не происходит ничего. Все, что произойдет в будущем, я еще увижу, мне двадцать два года! Я всегда увлекался историей, сам того не зная. В Париже я это понял. Всматриваясь в оба дворца, возведенные Габриэлем, и в эти статуи, олицетворяющие города Франции, в Страсбург с его венками и вылинявшими знаменами, я думаю о том, что зреет в этой Лилипутии 1907 года и что мне будет суждено увидеть...

Окончательно выбившись из сил, я делаю привал в кафе Вебера, единственном большом кафе, куда я решаюсь заходить, кроме привычных кафе Латинского квартала. От постыдного страха истратить лишний грош, связывавшего меня в Бордо, не осталось и следа. Я заказываю дюжину устриц и полбутылки «мумма». Не знаю, какой у меня при этом вид, на кого я похож, за кого меня принимают. Но, говоря по совести, вряд ли я зашел бы еще хоть раз к Веберу, если бы не пара, которую я встретил там в первый же вечер и встречаю теперь каждый раз. Первой является старуха. У нее волосы с проседью, подстриженные, как у Жанны д'Арк. Да, старая Жанна д'Арк — вот на кого она похожа. Ей подают холодное мясо по-английски и кружку пива. Она курит, не сводя глаз с входной двери. Молодая появляется ближе к полуночи, у нее усталый вид, она голодна: интересно, после какой работы она приходит сюда? На Жанну д'Арк похожа и эта, но у нее белокурые волосы и она в возрасте Жанны д'Арк. Когда я увидел ее во второй раз, она посмотрела на меня, она меня узнала. Старуха наблюдала за ней в зеркало.

Домой я возвращаюсь в омнибусе на резиновых шинах, отыскав по цвету фонарей тот, что идет на улицу Вожирар.

Иногда в ненастную погоду я не иду дальше кафе, расположенных на бульваре Сен-Мишель. Я избегаю только кафе Арку из-за вечно толкующихся там жалких, назойливых и гнус-

вых проституток. В такие вечера я попадаю во власть своей навязчивой идеи. Тайна зла, являвшегося для меня лишь одним из аспектов духа, раскрывается передо мной воочию. Зверь, набросившийся на маленькую Серис в лесу у мельницы господина Лапейра, бродит, кажется мне, повсюду, но здесь за каждым чудовищем злобно следят другие, и оно мечется, сбросив маску, и все видят его безумные глаза и этот гнусный рот, который надо прятать от всех.

Я еще не решаюсь добраться до Монмартра. Латинский квартал и его фауна мне уже привычны, у меня тут есть знакомые, но Монмартр внушает мне страх. Я немало слышал о нем в «Таверне Пантеона», где всегда много народу, где любой может обратиться к вам с вопросом. Я отвечаю охотно, ведь я — никто.

Я ложусь около двух часов ночи и погружаюсь в глубокий сон, которого не знал в Мальтаверне, где петухи будили меня на заре. В Париже я выплываю на поверхность, когда рабочий люд трудится уже несколько часов. Слишком поздно, чтобы идти к утренней мессе, разве что в воскресенье. В полдень я завтракаю вместе с другими студентами, живущими в гостинице, — единственное время дня, когда я разговариваю с себе подобными, с людьми, которые знают мою фамилию и имя, знают, из какой провинции устремился я в Париж, которые ненавидят или боготворят Морраса, а мне настолько безразличны, что я их просто не замечаю.

Потом я снова брожу по городу, но после полудня привалами для меня служат церкви, хотя мой дневной путь не отличается от ночного: во всем, что видели мои глаза ночью, я спрашиваю у тебя отчета, господи. Я начинаю всегда с церкви Сен-Сюльпис, к ней я пробираюсь по узкой улочке Феру, где жил студентом мой отец в последний год Империи. Внутри церкви мой маршрут тоже неизменен: я сажусь справа от входа перед фреской Делакруа. Я чувствую себя одновременно и Иаковом и ангелом, я сам в смертельной схватке с самим собой. У меня рассеянный вид, но нет, я тверд и упорен, я требую ответа, сидя позади главного алтаря перед Святой Девой Пигаля — Донзак терпеть ее не может, а я люблю. Я остаюсь там долго, сколько могу выдержать, потом выхожу на улицу Сервандони. Добравшись до набережной, я поднимаюсь вдоль Сены до Собора Парижской богородицы. Я ныряю в него, словно погружаюсь на самое дно, как в церкви Сент-Андре в Бордо, но попадаю во

власть бушевавшей здесь человеческой истории, и она заслоняет от меня бога.

Иной раз я просыпаюсь еще до рассвета. По торцовой мостовой шуршат колеса запоздалого фиакра. Мне кажется, что ничто не может случиться со мной в этом мире, что больше ничего со мной не случится, все вышито до капли, съедено до крошки, и та ночь на балконе Мальтаверна рядом с Мари, которая меня любила, — это все, что было мне отпущено. Я — ничий, уже получивший подавание, и нечего мне больше ждать ни от кого — даже горя, потому что и свою долю горя я получил в тот день, когда маленькая девочка бежала передо мной по дороге от мельницы господина Лапейра, а потом сухой сушок хрустнул у меня под ногой и она оглянулась.

И все-таки кое-что случилось, но это такая малость, что я даже не знаю, стоит ли об этом писать. Вчера вечером старая Жанна д'Арк не появилась у Вебера: может быть, заболела. Я думал, что молодая тоже не придет, однако же все время поглядывал на дверь. Она вошла в обычный свой час, села за столик, долго изучала меню, словно не зная, что все равно закажет мясо по-английски, потом подняла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. АНДРЕЕВ. ЧИСТИЛИЩЕ ФРАНСУА МОРИАКА</i>	<i>5</i>
<i>ТЕРЕЗА ДЕСКЕЯРУ. ПЕРЕВОД Н. НЕМЧИНОВОЙ</i>	<i>22</i>
<i>ФАРИСЕЙКА. ПЕРЕВОД Н. ЖАРКОВОЙ</i>	<i>116</i>
<i>МАРТЫШКА. ПЕРЕВОД Н. ЖАРКОВОЙ И Н. НЕМЧИНОВОЙ</i>	<i>296</i>
<i>ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН. ПЕРЕВОД Р. ЛИНЦЕР . . .</i>	<i>352</i>

Франсуа Мориак

Тереза Дескейру. (Роман)

Фарисейка. (Роман)

Мартышка. (Повесть)

Подросток былых времен. (Роман)

Художник *Т. Толстая*
Художественный редактор *А. Куцков*
Технический редактор *Н. Рабина*
Корректор *А. Никитина*

Сдано в производство 30/XI 1970 г.
Подписано к печати 10/III 1971 г.
Бумага 60×84¹/₄. Бум. л. 16. Печ. л. 29,76.
Уч.-изд. л. 29,71. Изд. № 12411/71.
Цена 1 р. 70 к. Зак. 1611.

Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров
СССР

Москва, Г-21, Zubовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валуевская, 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Редакция художественной литературы

Серия «МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ»

ВЫШЛИ В СВЕТ избранные произведения:

К. Х. СЕЛЫ (*Испания*)

М. ВАРГАСА Льосы (*Перу*)

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ избранные произведения:

Я. КАВАБАТЫ (*Япония*)

С. ДЫГАТА (*Польша*)

М. ЛАУРИ (*Канада*)